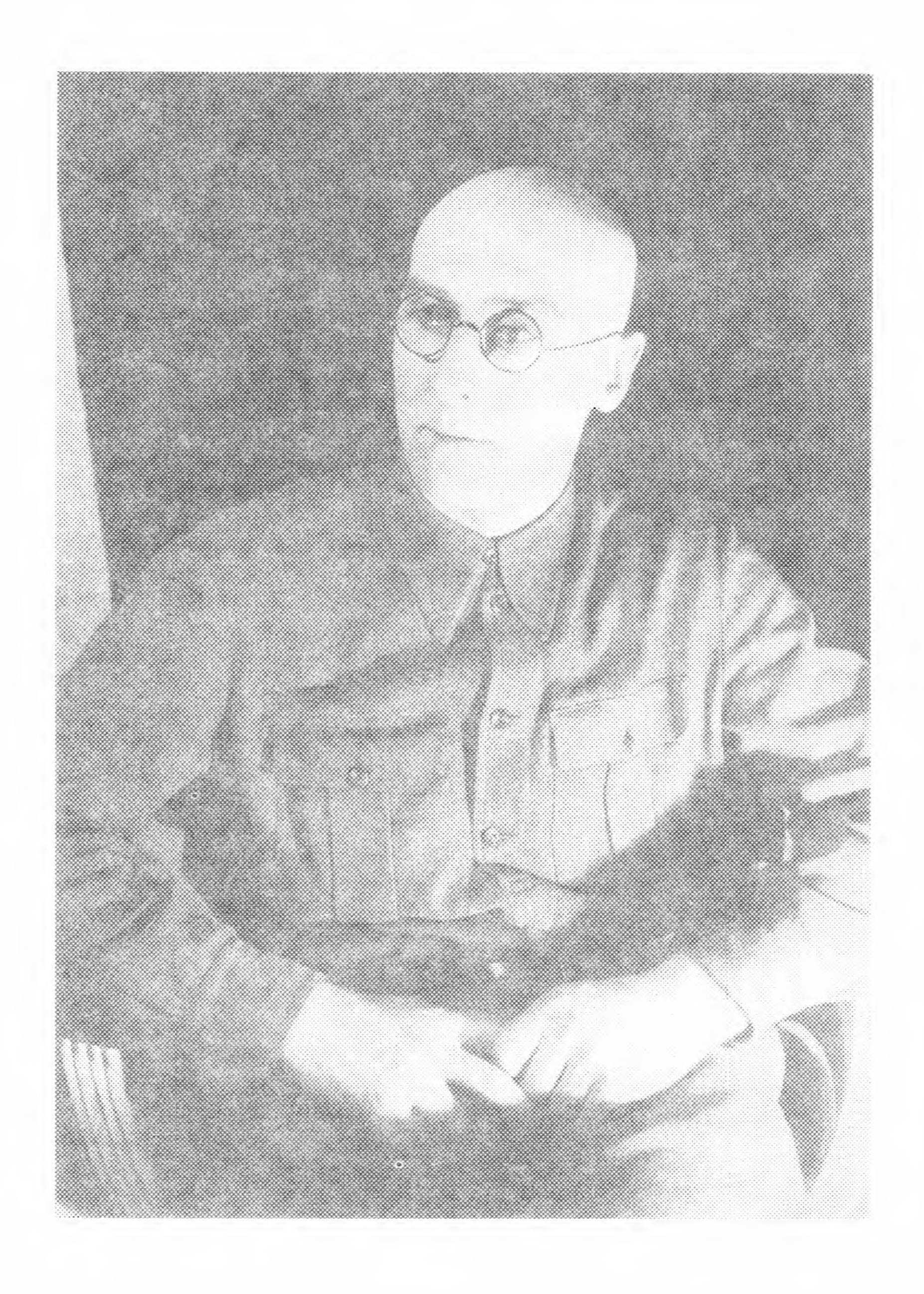
СЕРГЕЙ ТРЕТЬЯКОВ




СЕРГЕЙ ТРЕТЬЯКОВ
СТРАНА-
ПЕРЕКРЕСТОК



СЕРГЕЙ ТРЕТЬЯКОВ

СТРАНА-ПЕРЕКРЕСТОК

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА

- ДЭН ШИ-ХУА
- ЛЮДИ ОДНОГО КОСТРА
- СТРАНА-ПЕРЕКРЕСТОК
- БУДЕТЛЯНЕ

МОСКВА
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
1991

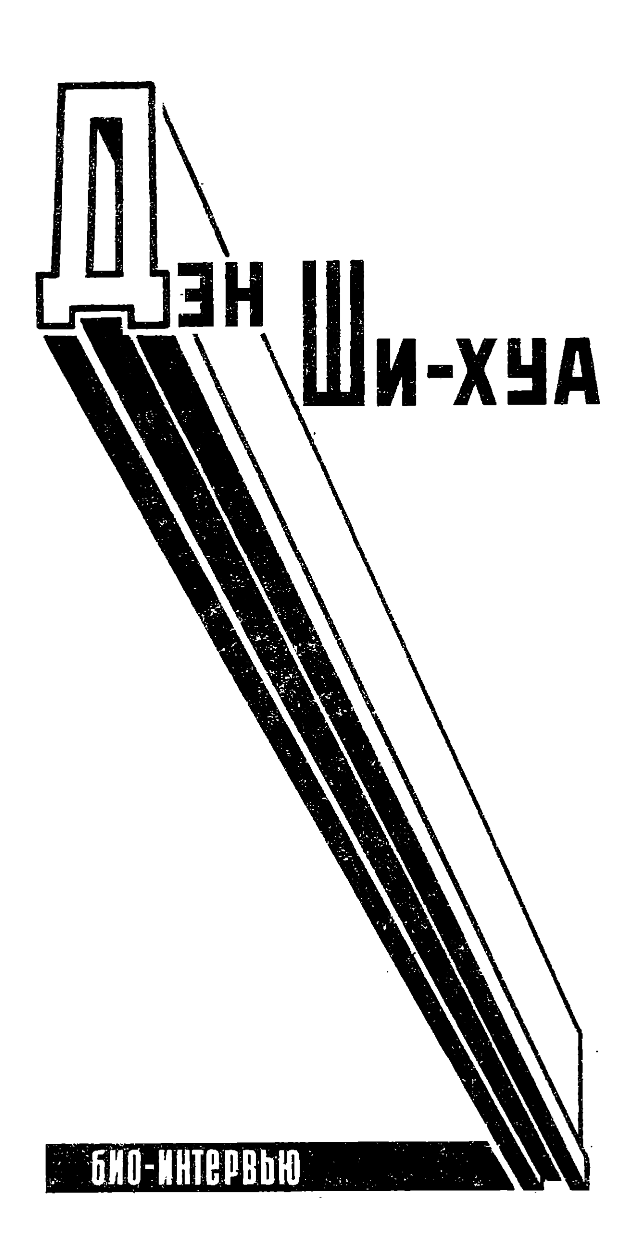
ББК 84 Р7
Т 66

Составление, послесловие, комментарии
Т. С. Гомолицкой-Третьяковой

Художники
Николай Лаврентьев и Варвара Родченко

Т $\frac{4702010201-134}{083(02)-91}$ 138—90

ISBN 5—265—01203—6


ДЭН ШИ-ХУА
БИО-ИНТЕРВЬЮ


С. ТРЕТЬЯКОВ
ДЭН ШИ-ХУА

КАК СДЕЛАНА КНИГА

Книга «Дэн Ши-хуа» сделана двумя.

Сам Дэн Ши-хуа был сырьевщиком фактов своей биографии.

Я строил книгу из этого сырья, пользуясь своим запасом наблюдений, которые накопились у меня за несколько поездок в Китай, из которых самой продолжительной было полуторагодичное профессорство в Пекинском национальном университете.

Потом оказалось, что есть своеобразная перекличка между детством сычуанского интеллигента Дэна и моим собственным детством в семье русского провинциального учителя.

Так моя биография пришла на помощь работе, и мое детство прозвучало своеобразным углубляющим биографическое звучание обертоном над строками детства Ши-хуа.

Строй мыслей и чувств оказался схожим. Так в одинаковости детских затей, проказ, любвей и мечтаний истлел ядовитый насильнический миф о несоизмеримости рас.

Дэн Ши-хуа был моим студентом на русской секции университета в предгрозовые годы 1924—1925.

В эти годы был подписан советско-китайский договор.

Руководимые Сун Ятсеном кантонцы обернулись лицом к Советской стране и развернули над собой красное знамя.

Капитан британской канонерки «Кокчефер» потребовал казни двух невинных, угрожая целому городу расстрелом.

Здесь родилась тема для пьесы «Рычи, Китай!».

В эти годы умер Сун Ятсен.

В эти годы вызревали в Кантоне, Шанхае, Ханькоу бойцы для знаменитых битв 1927 года.

Расстрел рабочих и демонстрантов империалистическими полицейскими в Шанхае 31 мая 1925 года отдался по всей стране оглушительным взрывом протестов и демонстраций, известных под именем Шанхайских дней.

Красный Китай вошел в строй пролетарских революций и потребовал знания о себе. Политическая статья и схема дает алгебру событий. Отдельный именованный человек тонет в многозначной многозначительности цифр. Очерк, дневник, корреспонденция и запись очевидца накапливают арифметику Китая, но отдельный человек в них мимолетен и не вырастает в формулу ответственного значения.

Требовалось глубокое бурение.

Так возникла и закрепилась мысль проточить древесину сегодняшнего Китая биографией, как жук-древоточец прогрызает балку.

То было и время, когда между советскими литераторами шел ярост-

ный спор, строить ли роман на действительно существующем герое или слагать этого героя из особенностей разных наблюдаемых людей.

В этом споре о «живом человеке» я был за живого «живого человека», и почетное когда-то звание сочинителя казалось мне оскорбительным, ибо означало выдумщика.

Лишь много позже разглядел я в своей собственной работе, из каких тончайших и сложных напластований сложился такой на что уж живой и невыдуманный персонаж, как Дэн Ши-хуа моей книги.

Делом чести советского писателя было рассказать про Китай самую настоящую правду, ибо редкая страна была столь оболгана экзотическими писаками государств-колонизаторов, как Китай. Хотелось написать книгу, чтобы была, как учебник, зоркая и честная, и чтобы были в ней рассказаны все вещи, люди и события, сквозь строй которых проходит человеческая жизнь.

Разглядеть и рассказать свою собственную жизнь — умение нелегкое. Привычные вещи часто невидимы.

И у Дэн Ши-хуа не было этого умения, оно у него будет, когда он испишет много стоп бумаги. С энтузиазмом встретил он мое предложение рассказать свою биографию подробно и конкретно, но, увы, первой его фразой было:

— Семья наша интеллигентная и мелкобуржуазная.

Неподробно и неконкретно.

Он благородно предоставил мне великолепные недра своей памяти. Я рылся в ней, как шахтер, зондируя, взрывая, скалывая, отсеивая, отмучивая. Я был попеременно следователем, духовником, анкетщиком, интервьюером, собеседником, психоаналитиком. Часто совсем простую вещь удавалось выузнать лишь окольными путями за долгие часы беседы.

Дэн говорил по-русски с трудом. Не выпуская из рук карандаша, рисовал он по ходу рассказа — очаг, меч, кровать, невод, монастырь, флейту, орех, и часто по рисунку его приходилось в дальнейшем допытываться у знатоков, как эта вещь называется по-нашему.

Все, что я оформил, затрудняюсь назвать иначе как интервью, но интервью это охватывает целую жизнь человека, поэтому я назвал эту вещь «био-интервью».

То, что я интервьюировал именно Дэна, было моей удачей. Его биография, начавшаяся на Янцзы, в сычуанской глуши, а затем через медлительный одутловатый Пекин достигшая напряженно-волевой Москвы, хорошо прочертилась по земному шару.

Он не был коммунистом. Гоминданство отца передалось ему как бы по наследству. Отравленный сладостями искусства и самомнением интеллигента, он не сумел расслышать смертного приговора подымающихся масс своему чванному сословию «шен-ши» — владельцам знаний, земель и должностей.

На измены гоминдановских генералов он ответил болезненным недоумением, но уйти от гоминдана у него не хватило воли.

Он уехал обратно в Китай в 1927 году.

Социальная энергия старого Китая явно надламывается в его по-

колении. Вожаки нового Китая идут из глубины тех сословий, от которых сызмальства среда приучала шарахаться Дэн Ши-хуа.

Китайцы-коммунисты, прослушав отрывки из био-интервью, говорили:

— Это наше детство, наша школа, наша жизнь.

Так типична биография Ши-хуа для сегодняшних молодых интеллигентов, вырастающих то в бесстрашных комсомольцев, то в расчетливых генеральских письмоводителей.

За последние годы «Дэн Ши-хуа» переведен в Германии, Польше, Англии и Америке. Зарубежными читателями книга была принята хорошо. По мнению рецензий, книга ценна тем, что стоит на скрещении науки и искусства и говорит правду о том, что доныне было извращено колониально-экзотической беллетристикой.

Ноябрь 1934

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава 1

Я

Имя.— Чу-пу.— Предки

Меня зовут Дэн Ши-хуа. Дэн — моя фамилия. Имя Ши-хуа значит «Мир Китая». Одновременно это означает «Светлый цветок».

«Мир Китая», «Светлый цветок» — странные это имена в наши годы, когда в Китае война.

Хуа — мое личное имя. Ши — имя всего нашего поколения. Оно есть в имени сестры Ши-куэн и в именах двоюродных братьев.

Я родился в большом родовом доме Дэн в январские дни, когда обмелевшая и поголубевшая, словно в болезненной худобе, с шумом бежит великолепная Янцзы в теснинах крутых сычуанских берегов. Наш дом — цепь дворов, обставленных комнатами,— террасами лепится вверх по горе. С верхних террас через верхушки деревьев видно голубое тело реки. В молитвенном зале — литан — лежит книга метрик — чу-пу. В нее вписана вся история рода Дэн.

Наш род начинается 2000 лет тому назад мифическим Дэн Цзы, учеником Конфуция. Для китайских родов обычно обзаводиться знатными или святыми родоначальниками. От этого Дэн Цзы в книге идет запись одних только родоначальников. Эта часть — легендарная.

Историческая часть книги начинается триста лет тому назад. С пришествием к власти маньчжур верный павшей китайской династии Минов мандарин и военачальник Дэн Фын-у ушел в Сычуан в добровольную опалу.

В то время Сычуан был полупустыней. Террор разбойничьих шаек вырезал целые уезды. Сычуан обезлюдел. Отбился от разбойников только один уезд, предводимый женщиной-полководцем. В этом уезде доныне уцелел коренной сычуанский язык. В остальном Сычуане язык почти тот же, что в северных коренных китайских провинциях Чжили, Шенси, Хэнань. Этот язык занесли сюда переселенцы. Земли было много — бери кому не лень.

Дэн Фын-у сел на землю со своей семьей. Семья разрослась в поселок Дэн Цзя-чжень, что значит в переводе — деревня имени Дэн. Сначала все люди в этой деревне носили фамилию Дэн и были родичами. Затем некоторые Дэн, разоряясь, стали переходить на другие места, а на место их поселились пришельцы.

И сейчас в деревне Дэн Цзя-чжень много людей носят фамилию Дэн, но для меня они уже не родные. Они за порогом пятиюродства. А мы считаем шестиюродных уже чужими.

Когда я родился, в родовом доме жило семнадцать человек Дэн и три прислуги. Когда-то этот дом был много больше. Дэн плодились, расселяя своих сыновей и внучат в пределах огромной родовой стены.

Но пришло время, некоторые из них обеднели, захудали, куски прежнего владения перекупили деревенские торговцы гаоляном и пшеничным самогоном. Однажды, бродя под Новый год по деревне от двери к двери, я заглянул в самогонную мастерскую этих богачей. От котла над очагом шла бамбуковая трубка в холодильник. Мне ударил в нос тяжелый, мутный запах спирта. Я убежал прочь, прыгая по истлевающим фундаментам выморочных кусков владения к воротам, за которыми жили живые Дэн.

Глава 2

ДОМ

Янцзы.— Фын-шуэй.— План дома.— Кто живет.— Литан.— Курительные палочки.— Кормление предков.— Моя невежливость

Берег Янцзы каменист и глинист. Глина и рухлый камень около пристаней, где грудятся лодки рыболовов и перевозчиков. Янцзы широка в этом месте. Она раз в пять шире Москвы-реки против Кремля.

В детстве я хорошо различал, что делается на том ее берегу. А теперь северный пекинский ветер и пыль испортили мне глаза. Весною Янцзы великолепна: бугры берегов не просто зелены, они красны, желты, голубы — от цветения, и цветенье это отражается в чистой голубой воде. К лету Янцзы рыжеет, набухает илистою мутью,— это льют ливни у далеких истоков, в диких притибетских горах. Когда вода Янцзы голуба, мы ее пьем, предварительно вскипятив на очагах. А кули — бродячие жнецы и бурлаки барок — пьют ее сырой, устав от работы и зажаждав. Пьют, закусывая головкою горького лука, который, по их мнению, делает всякую воду здоровой.

Между стеной дома и рекой по склону — гряда деревьев. Если глядеть на нашу деревню с реки, ее трудно различить сквозь древесные чащи. Каждый клочок, каждая стена в строгом порядке обсаживаются деревьями по указаниям почтенного фын-шуэй.

Фын — значит ветер, шуэй — вода. Фын-шуэй — это человек, который указывает новоселам, где поставить дом, как лучше осветить его солнцем, и чтобы ветры разбивались о стены, и как выгоднее обсадить деревьями и какой породы. Он же, когда умирают люди, отыскивает подходящие места для их могил, чтобы около них росли хорошие цветы, чтобы тела их не съела подпочвенная сырость, чтобы красивые виды окружали то место, откуда, по буддийским поверьям, душа начинает свои бесконечные посмертные перевоплощения. Фын-шуэй — деревенский гадальщик и астролог.

Сквозь обсады дерев глаз не проникает до стен и до ворот. Зелены густые сады и чист воздух в нашем Сычуане.

В первом большом дворе среди деревьев — огромный каменный бассейн полутора аршин высотой. В нем копится дождевая вода и живут

золотые с коричневым и серебряные с фиолетовым рыбешки. Из этого бассейна поливается зелень, растущая внутри домовых стен. Вдоль стены лепятся деревья мускатного ореха. Он очень дорог. Чтобы его не покрали, он посажен под прикрытием основной домовой стены. Тремя дворами-террасами рассечен дом и замкнут по верху огородной террасы. Лестницы ведут со двора во двор сквозь стены, а между вторым и третьим двором помещается проходная, где принимают гостей. За гостиной — последний двор, а за двором — ряд главных комнат. Посредине зал — литан, рядом с залом — комната деда, начальника рода и дома, а по другую сторону живет его брат. За верхнею стеною дома огород, обсаженный деревьями и окаймленный полукруглой живой бамбуковой изгородью. Он переходит во фруктовый сад. Там тутовые деревья, гранаты, абрикосы, апельсины, персики, каштаны, мандарины, приносящие в среднем до пятисот оранжевых шаров на деревцо, орехи. Сад и огород вокруг дома вместе с самим домом занимают двадцать му земли. Это — полтора гектара. С этих полутора гектаров свободно живет семнадцать человек, населяющих дом. Огород богат, как музей. Различные кочны сычуанских капуст, среди которых главенствует зеленая. Ее, соленную в бочках, Сычуан сбывает вниз по Янцзы. Огурцы, редиска, редька, репа, сладкий картофель, горох, салат, кабачки. Эти зеленые кормильцы ежедневно переходят с гряд на наш обеденный стол. Только старшие едят ежедневно немного мяса, остальные получают мясной кусочек не чаще двух раз в месяц.

Поколения распределялись по горе сверху вниз. Старшие жили наверху, окруженные кладовыми и окружая собою родовой алтарь шень-кан.

Он стоит в молитвенном зале прямо против входной двери, похожий на европейский буфет. Он — черный и огромный. Хитрое резное дерево его выложено костью. По черному дереву его верхней половины дорожкой сверху вниз тянутся золотые иероглифы. Их пять: «Небо», «Земля», «Император», «Предок», «Учитель». Этот столбик иероглифов снизу подпирается шестым иероглифом, значение которого — «Престол». По обе стороны этой главной таблицы — тан-ли, похожей на запрестольные иконы ваших русских церквей, висят кипарисные дощечки в две ладони длиною. На этих дощечках начертаны имена предков ближайших трех поколений — деда, прадеда и прапрадеда. Более ранние предки уже убраны отсюда в деревенский храм. Сверху вниз тянутся иероглифы имени, ученой степени и чина, причем справа идет колонка иероглифов предка, а слева — его жены.

Низ шень-кана гораздо пузатее, чем верх, поэтому образуется приступочка. Посередке приступочки, перед лентой главных иероглифов, фарфоровая курильница, ушастая, ведерного объема. В ней копится пухлый пепел курительных палочек.

Внутри нижней части алтаря — шкаф. Там курительные палочки, масло для светильника, связки денежных слитков, клеенных из фольги, сжигаемых в день поминовения мертвых, и родовая книга — чу-пу. В ней имена, даты рождения, браков и смертей, дни получения ученых степеней и чинов и дни ухода из родных мест в чужие страны.

Каждый день, утром и вечером, кто-нибудь из маленьких Дэн — обычно этим делом занимаются внучата и сыновья — втыкает в пепел

три палочки и зажигает их верхние концы от желтого язычка пламени, день и ночь горящего у носика небольшого светильника, похожего на соусник. Когда в семье было достаточно денег, этот светильник горел в литане и день и ночь. Когда у Дэн не стало хватать денег на масло, они начали зажигать светильник только на ночь. Он из лампады стал ночником.

Палочки тлеют, от них тянутся синие веселые нитки к таблицам, и белый пепел цилиндриками обваливается в курильницу.

Когда пепла в курильнице набирается с верхом, его ссыпают в реку под домом.

— Святой пепел в святую воду Янцзы,— приговаривает бабушка, передавая внуку тяжелую курильницу.

По бокам курильницы вазы с цветами и медная чаша. Это чаша-гонг. В нее бьют палкой, и она кричит, созывая души предков на парадный обед к столу, поставленному посреди литана, по праздникам, когда полагается поминать предков. Чаша воет в дни рождения предков, в Новый год, в летний праздник повелителя воды — дракона, в праздник молодого риса, в праздник наступающей осени и в главный праздник — поминовения всех предков. На стол перед шкафом ставятся лучшие блюда. Тут и мясо, и рыба, и молодые овощи.

Вот сейчас май, у вас в Москве холодно, над Чистыми прудами идет снег, а у нас в Сычуане хозяйки рвут с желтых гряд и кладут на стол свежие огурцы.

Внучата (старшим некогда) аккуратно вырисовывают имена предков на квадратах бумаги и кладут эти визитные карточки мертвецов перед таблицами. Это значит, что предки пришли и сели за обеденный стол. Потом вся семья становится на колени и трижды кланяется главной таблице, сняв лоснящиеся ермолки и держа их обеими руками. А затем женщины уносят блюда в столовую, а дети собирают визитные карточки предков, чтобы, неровен час, искра не попала на бумажную оклейку окон и не спалила бревенчатых стен дома.

Так начинается праздничный обед. Мы сами едим, вместо духов, а алтарь стоит, важный и безмолвный, в полутемном литане. Мне было шесть лет, когда я проявил первое вольнодумство по отношению к этой священной машине.

Я гощу у бабушки. Гляжу на цветы в вазах, они пахнут полями и берегами. Говорю:

— Зачем предкам цветы?

— Почему ты это говоришь? — хмурится старший дядя.

— Так ведь они очень хорошо пахнут.

— Вот душам предков и приятно.

— А разве у душ есть носы, чтобы чуять запах?

— Как тебе не стыдно, Ши-хуа? — говорит дядя.— Дедушка на тебя смотрит.

Со стены литана глядит портрет деда, умершего в первые годы моей жизни. Как полагается всякому родоначальнику, в день пятидесятилетия он заказал за двадцать даянов портрет художнику из Чунцзина. Родоначальник должен оставить о себе память, пока смерть не пришла

за ним. Дед — ученый второй степени, цзю-жень. Это звание провинциального масштаба. У него вислые усы с проседью, расходящаяся кверху шапка маньчжурских времен и нагрудный мандаринский квадрат на халате, с вышитыми на нем шелковыми и золотыми птицами.

Впрочем, дом в Дэн Цзя-чжень помню плохо и отрывочно. Меня увезли в деревню Сиань-ши, когда мне было два года. По вашему счету, мне тогда был только год.

Мы, китайцы, считаем возраст не от рождения, а от зачатия.

Глава 3

СТАРШИЙ ДЯДЯ

Шен-ши.— Дядины звания.— Экзамены в клетках.— Долгий траур.— Опиекурильщик.— Где папа?

Отец в Японии, в университете. Я его не знаю.

Близок и роден мне в дни моего раннего детства старший дядя, Дэн Сао-пу, человек, который должен был стать гордостью рода и не стал ею.

Ши — это правящее сословие старого Китая — ученые. Только выдержав экзамен и став ши, можно было надеть на себя шен — форменный пояс чиновника, тугой обруч, выложенный камнями и зеркальцами.

Ученость соединялась с государственной должностью и приносимыми ею выгодами.

Шен-ши — это именитые семьи, владеющие землей, посылающие своих детей учиться, с тем чтобы потом занять должность и на доходы от нее преумножить земельное владение.

Мы, Дэн, тоже шен-ши, только обедневшие. Шен были редки в нашем роду, оппозиционно настроенном против маньчжурской династии. Но зато ученые степени красовались в нашем чу-пу рядом с именами предков.

Задолго до моего рождения старший дядя, окончив среднюю школу, получил звание студента — тун-шань. Через три года в окружном городе (эти города узнают по приставке «фу», например Чифу) он выдержал экзамен на бакалавра — сю-цай. Прошло еще три года, и дядя поехал в Ченду, столицу Сычуана, чтоб держать экзамен на ученого второй степени — цзю-жень.

Он мне рассказывал, как это было. Экзаменующихся сажали в клетки. Это делалось для того, чтобы с внешней стороны обставить экзамены наиболее честно. Человек вносил с собою в клетку бумагу, кисточку, тушь и мозги, распухшие от потрясающего количества всосанных ими имен, строк, афоризмов, комментариев и дат. Экзамены были только письменные.

Существовало поверье, что если человек безнравственен или преступен, то в клетке он потеряет присутствие духа и срежется. Поэтому готовящийся к экзамену и идущий в клетку ученый должен был всячески следить за собою, чтобы не совершить греха, хотя бы величиною с булавочную головку. Даже шагал ученый по-особенному, осторожно, чтобы

не раздавить жужелицы или муравья. Даже жестикулировать он должен был осторожно, плавно, дабы не повредить какое-либо из микроскопических существ, носящихся в воздухе. Так велел буддизм.

Ученому запрещено было и думать о романах, любви и куртизанках чайных домов. Даже при встрече с женщиной на улице он должен был опускать глаза. Ученым оставалось из удовольствий вино и опиум. Если сдавший экзамен ученый не шел в чиновники и не пускал своего высокого звания в выгодный оборот, ему оставалось одно — учительство. Дэн редко шли в чиновники, но учителей в их роду было много. Отец и оба дяди немало часов своей жизни положили на учительский стол, муштруя очередное поколение коротеньких и серьезных человечков в халатиках.

В дни досуга ученые собирались в клубе за пьяной трапезой с приятелями по экзаменам. За этими обедами, под круговую чашечку подогретой рисовой водки, развеселившиеся педанты состязались, сочиняя внезапные стихотворения на заданную тему — то нежные и лирические, то иронически философствующие. В этих стихах пустою ракетой взрывались мозги, начиненные строками поэтов, кости которых обратились уже в тысячелетнюю пыль.

Дядя был очень способен. Его сочинение было признано блестящим, отпечатано на казенный счет и разослано родичам и ученым. Казалось, еще три года — и он выйдет из экзаменационной клетки Пекина ученым первой степени — цзинь-ши, а там, кто знает, выдержит в императорском дворце экзамен на высшую ученую степень академика — хан-лин.

Но... в семье случился ряд смертей. Умер дядин дед. Дядя надел траурную белую одежду. Строгий траур длится три года, и в эти годы нельзя ни жениться, ни держать экзаменов. Дядя терпеливо ждал. Траур приходил к концу, но умерла бабушка. Опять три года ожидания. За бабушкой дядя похоронил своего отца, мать и мачеху.

Пятнадцать лет траура подряд выдержал он. А когда траур его кончился, оказалось, что за это время была отменена (1905) старая система экзаменов. А еще через немного лет сунятсеновцы свергли императорскую династию и отменили ученые степени.

Никогда не мог простить этого дядя новому Китаю в лице моего отца, революционера-сунятсеновца.

— Твой отец — изменник,— часто говорил он мне впоследствии сквозь пьяненькие слезы,— из-за него я не смог получить ученых степеней.

Когда дядя трезв, он брюзжит. Выпив за столом чайник горячего желтого вина, он делается веселым, остроумным и добродушным монархистом. Совсем опьянев, он снова ругается. Он споил бы и меня, младенца, если бы не вмешательство бабушки. Помню, он окунул обеденную палочку — куай-цзы — в вино и дал мне обсосать. Мне не понравилось — горько. Кроме того он курит опий.

Я забираюсь к нему в комнату. Там стоит кровать — огромное сооружение с дощатыми полом и потолком, вдвигающееся в комнату, как внутренность фотографического аппарата в его оболочку. Между кроватными потолком и полом — столбики. К ним прикрепляется полог,

задергиваемый на ночь. В изголовье кровати, на том же помосте, стоит столбик и рядом с ним ящик, заменяющий европейский комод. В теплые дни все это сооружение можно вытаскивать во двор и спать на вольном воздухе. Не страшен даже дождь. Он стечет с досок над кроватью. В комнате кроватный потолок нужен для того, чтобы с бревен комнатного потолка не сыпалась на спящих разная нечисть, вроде сколопендр.

Дядя лезет в ящик и вынимает оттуда толстую бамбуковую опийную трубку, тяжелую от прикипевшего к ее стенкам опийного дегтя, толстую, как флейта. Он достает банку с опиумом, не плохим, черным как вакса, а прозрачным, желтоватым, густым, как клей. Вынимает камень, иглу и лампочку. Лампочка особая, медная. Пламя ее закрыто стеклянным колпачком с маленьким отверстием наверху, в которое вытягивается от огня жаркая струйка. Посредине трубки — медное седло с отверстием, куда вставляется стеклянная полая луковица. Концом иглы дядя достает из банки каплю опия и нагревает ее над лампочкой. Опий вскипает и пузырится белой пеной. Эту пену на полированном камне дядя скатывает в плотный шарик, прокалывает этот шарик иглою, как бусинку, помещает эту бусинку в раструб стеклянной луковицы и ложится на кровать, держа выходное отверстие трубки у губ, а шарик все время подогревая над купольцем лампы. Вдыхая опийный чад, он рассказывает:

— В экзаменационной клетке я сидел три дня. Я взял с собой бамбуковую корзину с едой. Специальные сторожа обыскали меня и корзину. Они следили, чтобы в лепешках и огурцах не было запрятано заранее заготовленной статьи. Я должен был написать комментарий к поучениям Конфуция. Я выдержал экзамен с треском. Мое сочинение было отпечатано и разослано по всему округу знакомым, родственникам и товарищам по экзамену. Я не скажу тебе темы, ты мал и не поймешь ее, да и сам я, боюсь, забыл уже ее сложное заглавие.

Гнусный сладкий запах опиума затягивает комнату. Дядя уже рассказывает легенду. С нее перескакивает на стихотворную строфу.

Под купольцем лампочки горит фитиль, плавающий в горчичном масле; оно дает безвкусное пламя, ценимое курильщиками опия.

Потом дядя замолкает, лицо его синеет, рот отваливается от трубки. Иногда я пугаюсь и бужу его, но чаще убегаю из комнаты, одуренный вязким и тошным запахом.

Позже это изменилось. Умирая, дед запретил дяде курить опиум. Он повиновался. Но сила привычки так велика, что после обеда дядя уходит в свою комнату, вынимает из ящика и раскладывает около себя на кровати все принадлежности для опиекурения.

Лежит около холодной трубки.

Но не курит.

Дядя в семье — старший. Но живет он отдельно от нас, при школе, где учительствует.

Он крепко любит меня, малыша. Я еще не слезаю с рук старших и только что научился говорить.

Помню праздник. На берегу реки возятся дети. Они теребят отцов за свежие полы халатов и выпрашивают игрушки или конфеты. Они пристают к отцам, и слово «баба» (так на простонародном китайском

языке называют отца) многоголосо крутится над берегом. Я спрашиваю дядю:

— Дядя, а разве у меня нет папы?

Но я называю отца не «баба», а «фу-цин» — термином изящной китайской литературы, как меня научил дядя.

Однажды, расчувствовавшись, он стал мне дарить свою мандаринскую шапку с костяной шишечкой, обозначавшей его ученую степень. Я отказался взять это емкое, но неудобное сооружение — мне оно не понравилось. Дядя отвернулся и тихо заплакал. Он слезлив.

Глава 4

БАБУШКА

Учусь считать.— Сказки про ягу.— Что такое кули? — Строю мост.— Песенка.— Яйца.— Цветы на ладонях

В серых, сплывающихся сумерках детства прорывы лиц, слов, вещей и голубой Янцзы в корыте расцветших гор. Дом в Сиань-ши много меньше родового. В нем тесно и бедно. Отец в Японии. Приходится жаться. В доме одна прислуга, да и то в дни, когда мать болеет. Огорода нет, вместо него небольшой фруктовый сад с персиками и бананами да относящийся к дому мандаринник.

Бабушка кормит меня подсолнухами, высушенными на солнце. Она расколупывает зерна и — семечко за семечком — учит меня считать: ига, лянга, санга, сыга, уга — один, два, три, четыре, пять...— а потом рассказывает сказки:

«В старые времена жили дети, которые не слушались старших. Однажды мать их пошла пригласить в гости бабушку и сказала:

— Не выходите, дети, из дому, потому что в горах живет баба-яга, которая ест детей.

Мать ушла. Дети терпели-терпели, не вытерпели. Был среди них один неслух и непоседа. Он решил погулять по саду и подбил на прогулку других. Увидала баба-яга детей, обернулась она бабушкой и пришла к ним в гости.

— Где мама? — спрашивает баба-яга, а дети отвечают:

— Вас звать пошла.

— Ну, значит, я с нею разошлась по дороге.

Дети бабушке обрадовались и после ужина пошли спать с нею вместе.

Разлеглись все на кроватях. Баба-яга положила к себе под одеяло младшенького, а когда стали дети засыпать, то под одеялом съела его.

Ест баба-яга, хрустит косточками. От хруста дети проснулись и спрашивают:

— Что ты, бабушка, кушаешь?

А баба-яга отвечает:

— Боб жую, сухой попался.

Дети встрепенулись:

— Дай нам тоже.

— Ладно, одному дам,— сказала баба-яга, позвала маленького к себе под одеяло и съела его, как и первого.

Так поела она всех детей, вплоть до старшенького. Лежит старшенький в постели, и напало на него сомнение: откуда это у бабушки так много бобов? Как только сытая баба-яга уснула, он украл у нее боб и увидел, что это братний палец...»

Здесь был сказке конец. Рассказывая эту сказку, бабушка пучила глаза и делала страшные гримасы. Я очень боялся этой сказки и никуда не ходил один.

Бабушка — вторая жена моего деда, портрет которого висит на стене в литане. Она мачеха моего отца, детей у нее нет, потому она так неотвязно нянчится со мной.

Мама работает на кухне или учит приходящих девчонок грамоте. Мамой я горжусь: грамотных женщин, да еще учительниц, во времена моего детства в Китае было мало.

Бабушка шьет, а я сижу около нее на низеньком стульчике. На мне халатик и вышитые цветами туфли поверх белых носков. Босиком ходить нельзя, засмеют. Босиком ходят только кули. Ку значит тяжесть, ли — сила. Кули — это низшие люди, мазаные, грубые, ободранные извозчики, бурлаки, носильщики, бродячие жнецы, словом, все, кто за медные цяни с квадратной дыркой посередке продают свои огромные коричневые, трудом и дракой налитые клубки мускулов. Я побаиваюсь кули, но в доме у нас с ними якшаются, особенно младший дядя, живущий с нами (тоже учитель). За это он на подозрении у деревенской знати.

Зато если нам для чего-нибудь понадобится кули, мы его находим очень легко.

Сижу около бабушки, раскладывая из обрубков и брусков дома, пагоды, мосты. Мне кажется, что я строю мост, самый мой любимый, перекинутый близ Сиань-ши через речонку, бегущую в Янцзы. Он — каменный, в скульптурах. Двухметровые резные драконы стерегут его. Трое ворот своими лапами вцепились в мост. Эти ворота посвящены честнейшим вдовам округи Сиань-ши, не нарушившим верность мужьям и после их смерти.

Мост этот выстроил богатейший шен-ши пятьдесят лет тому назад. Единственный сын его вырастал калекой. Приближение женщин к нему доводило его до припадков; нечего было думать о потомстве от этого слабоумного. Род богача угасал. Некому было оставлять скопленные деньги. Тогда вырос мост. На его плитах в жаркие дни жатвы крестьяне молотят снятый с полей урожай. Нет лучше токов в округе, чем наглаженные каменные половицы моста.

Кладу бруски и смешиваю их снова около бабушкиных ног, маленьких и круглых, как лошадиные копыта. Бабушка называет их гордо «золотыми лилиями». Бабушка шьет и напевает и меня учит песенке:

И ды ó	Первая пара гусей,
Эр ды ó	Вторая пара гусей
Фы́ тю	Улетают,
Фы́ най	Прилетают

Тье га по́	Встречать бабушку (и не просто всякую бабушку, а мать матери).
Га по пу́ цзы	Бабушка не любит
Ю чжаю фа́нь	Рис со свиным салом.
Яо цзы ся́ хо	Бабушка хочет кушать
Шуэй я то́нь	Яйцо дикой утки.

Я понимаю эту хитрую бабушку, почему она хочет дикое утиное яйцо. Оно редкостное, его трудно добыть.

У нас в доме едят только куриные яйца. Мама и бабушка очень вкусно их готовят. Они приготовляют кашу из глины и пепла гороховой или рисовой соломы, обмазывают сырое яйцо, оно обсыхает, делается большим, с кулак величиной, а затем его зарывают в землю на двадцать дней. Когда такое яйцо в праздник попадет к нам на стол, у него твердый коричневый белок, мягкий зеленоватый желток и свежий, хороший вкус только что сваренного. Бывают у такого яйца в белке прожилки в виде веточек кипариса. «Это я его выдержала в кипарисовом пепле»,— объясняет мне бабушка.

Прохладный ветер колышет жару. На кухне гудят, пылая, очаги и шуршит посуда в маминых руках. Далеко внизу, на пристанях видной отсюда Янцзы, зычно кричат рыбаки и с писком всплескивают ребятишки. Мне хочется идти к реке, но меня туда не пускают. Мама боится: могут зашибить, обидеть, столкнуть в воду. «Хорошо, я пройдусь садом»,— говорю я. Мать смотрит на меня подозрительно, ведет в классную комнату, возит кисточку в медной тушечнице, сажает меня на колени и тонкой щекотной кистью выводит трехлепестные черные цветы на моих ладонях и полотняных подошвах туфелек.

Теперь я волен идти. Если я пройдусь по мокрому или шлепну по воде ладонью, она смоет цветочки, и я буду выдан.

Я видел, как других ребят били родители за смытые знаки.

Я не пойду к реке. Она возле Сиань-ши страшная. Берег круто уходит в глубину подводия. Рыбачата и бурлачата плавают и ныряют у пристаней, дерутся и ругаются. Удилища внимательно склонились к воде. Вода желтая, бьется о глыбы. Рыба табунами идет в верховья речонок метать икру.

Глава 5

МОЕ УТРО

Встаю.— Одеваюсь.— Мойка.— Косицы.— Лавка.— Аптека.— «Чжун Тай-гун здесь».— Завтрак.— Кухня.— Девочки.— Полдень

Просыпаюсь очень рано. Еще темно. Кричат рассветные петухи. Мать ровно дышит рядом. Ее голова спокойна на четырехгранном бруске подушки. Она с бабушкой легла поздно, ей еще рано и трудно просыпаться.

Верчусь. Это не разбудит матери. Спрессованная солома тюфяка не шумит под лепешкой ватного матрасика. Ватное одеяло за ночь угрело меня, но я хочу гулять. Я люблю синеватым досолнечным утром смотреть, как над каждой крышей Сиань-ши подымается сизый дымок от дров, запаленных в очаге.

Сплю я в рубахе. Я тихий ребенок, не озорник и не пачкун. Я ношу ее бережно и меняю раз в три дня.

— Уо яо чжи най,— шепчу я матери на ухо,— я хочу вставать.

Мать не целует меня, даже не прижмется щекой к щеке. Погладит по голове, скажет ласковое слово, вот и все.

Быстро садится мать на постели и одевается. Мамины ноги чуть меньше нормы. Чуть слишком выгнут подъем. Я люблю мамины ноги больше бабушкиных «золотых лилий». Бабушка на своих ходит вразвалку, от шага до шага минута, а мне хочется торопиться.

Быстро натянула на себя мать самодельные белые тканевые чулки и матерчатые туфли, продела ноги в трубочки синих штанов, накинула халат до колен и принялась за меня. Она застегивает на моем боку халатик шариками пуговиц и обмывает меня. Приносит из кухни горячей воды в медном тазу (всю ночь под котлами на кухне тлели угли), опускает конец пухлого полотенца в воду, отжимает, намыливает и этим мыльным концом бережно протирает мне лоб, лицо, шею, уши. Пока я жмурю намыленные глаза, она ополаскивает полотенце и снимает с меня мыло. Затем приносит новую порцию кипятку и полотенцем, смоченным в свежем кипятке, обтирает начисто и накрепко мою физиономию. Я с удовольствием высвобождаю из ее пальцев последовательно веки, ноздри и оттопыренные губы.

Пока я был мал и кочевал с маминых рук на бабушкины, мама чистила мои десны, обрастающие сахаром зубов, намотанной на палец тряпочкой.

Теперь я — большой. У меня своя мягкая щетка из лошадиного волоса. Соленый зубной порошок гонит слюну. А затем я долго полощу рот водой, сливаемой после варки риса.

Четырежды в день моюсь я и чищу зубы: утром, вечером и после двух пищ.

Светло сверкают зубы сычуанцев. Все, даже кули, даже ободранные носильщики паланкинов, если не чистят, то обязательно после еды полощут рот. Потому мало у нас зубных врачей.

А если из улыбки богатого купца светится золотой резец, это не значит, что он его проел на конфетах или выбил в драке. Вставить золотой зуб купец считает щегольством и шиком. И он дает дантисту опилить совершенно здоровый зуб только для того, чтобы надеть на него нарядный чехол из желтого металла.

Со мною кончено. Мама принимается за себя. На столике возле ее изголовья таз и зеркало. Пальмовым гребнем она прочесывает волосы, смазывает их маслом, разделяет на пряди, пряди скручивает на затылке и серебряным лезвием шпилек, плоских, как ложка, скалывает эту котлету волос.

Я свою сложную шевелюру несу в бабушкины руки.

— Цин вэн,— говорю я учтиво, входя в бабушкину комнату,— как ваше здоровье?

Мудрая матово-сизая лысина сияет над моим курносьем. Над лбом у меня волосы подбриты, но отпущены за ушами. Бабушка заплетает мне две косички с боков. Длина косичек — это моя и бабушкина гордость. Когда я вырасту, длинная коса взрослого мужчины ляжет на мою спину.

Бабушка бережет мои волосы и раз в три дня стирает мою голову в горячей воде.

Одевание кончено, до еды еще далеко, дороги мамы и бабушки расходятся. Мама уходит на кухню, а бабушка со мной, захватив бамбуковую корзину с кухонного стола,— за овощами на улицу.

Разносчики гнутся под упругими коромыслами. Капуста, огурцы, редька оттягивают их плечи. Хрупкий кочан и тупоносые огурцы переселяются из корзины разносчика в нашу. Здесь не Дэн-Цзя-чжень, здесь у нас нет своего огорода.

Особенно я люблю, когда бабушка ходит в лавку за свиным салом и коричневой острой соей, приготовленной из бобов. Дома их смешают, и получится темная каша — мое любимое блюдо.

Лавка узенькая, темная, похожа на коридор. В тяжелых горшках на полках — соя, соль, уксус, перец и другие приправы. Рядом еще более лакомая лавка. Там желтоватый песок неимоверной сладости, приготовленный из сахарного тростника; там зеленые палки этого тростника мокнут в чанах с водой; сушеные фрукты, варенье в глиняных корчагах и стеклянных банках и грецкие орехи.

Хозяин лавки — наш свойственник. Он протягивает мне конфету. Я молча уставляюсь в бабушкины глаза. Если она разрешит, я конфету возьму. Но бывает — она, хлопоча по лавке и принюхиваясь к товарам, не заметит моего просительного взгляда, тогда я ухожу без конфеты.

Никогда бы я не взял конфеты тайком и самовольно. Старший дядя любит говорить: «Не надо брать чужих вещей». Даже если в гостях мне дарят игрушку, я, уходя домой, тихонько оставляю ее где-нибудь в уголке.

Впрочем, я не особенный любитель конфет. Хотя мне четыре года, но я рассуждаю: от конфет портятся зубы. А черные огрызки первой сгнивающей смены зубов во ртах моих знакомых школьников наводят на меня ужас.

По каменным плитам утренних улиц Сиань-ши мы с бабушкой тянемся домой. Вход к нам сквозь аптеку. Меня поташнивает от душного запаха лекарств, идущего из полутемных каморок, где по стенам нагорожены пчелиными сотами ящики с надписями. В ящиках — ветки, сушеные цветы, листья, травы, ягоды, корни. В ящиках смердят сушеные ядовитые насекомые — скорпионы и мушки. Белые кости тигра толкут и пьют с водкой или, растерев в порошок, смешивают с салом и намазывают на пластырь. Костями тигра лечат костоеду, переломы и те болезни костей, при которых стучат костыли. Мертвая вонь идет от

пантов — это молодые рога оленей-маралов, твердоватые бархатистые шишки с присохшей изнутри кровью. Их отваривают в воде, а потом сушат и растирают в порошок. Пилюли из пантов едят люди, прозрачные от перенесенных болезней, и бородачи, которых трясет старость, и хилые отцы, у которых никак не рождаются первенцы. Одного рога хватает на многих, и рога эти дороги.

Верхний щит морской черепахи варится подобно рогу и лечит слабых, а в особенности от мучительных и сложных женских болезней. Но если бы какому-нибудь хворому богачу из нашего Сиань-ши врач прописал растертые в порошок рубины и топазы или корень «женьшень», стоящий дороже золота, или сушеное сердце, вырезанное из преступника, у аптекаря этого не нашлось бы. Его аптека — только деревенское отделение уездной богатой аптеки.

У аптекаря двое ребят: один постарше, другой — мой ровесник. Но я прохожу сквозь аптеку, уцепившись за бабушкин рукав и не глядя в их сторону. Они сейчас молчат — поразительный случай. Это единственные в мире ревы. Перед плакательными способностями их пасуют все ослы Сиань-ши и его окрестностей. За это мама запрещает мне знаться с ними.

Улица Сиань-ши, пригреваемая все выше и выше лезущим солнцем, с ее разносчиками, хозяйками и детьми, бегущими в школу, остается за моей спиной. Я огибаю стоящую против ворот раздвижную переносную ширму и вступаю в отрезанный и от деревни, и от Сычуана, и от всего света мир нашего двора.

Я знаю, зачем ширма, поэтому никогда не толкну и не уроню ее. Она оберегает наш двор не только от посторонних глаз, но и от злых духов, которых носится в ветре больше, чем мух над падалью, больше, чем комаров над болотами. Ширма не даст рывку ветра закинуть к нам во двор таких тварей.

В Новый год на двери и дворовые ширмы лепят красную бумагу для отпугивания духов. На бумаге написано: «Чжун-Тай-гун здесь».

Чжун Тай-гун — герой, который ухитрился запереть на замок всю нечисть и чертовщину загробного мира. Духи боятся его имени, как мухи мухомора.

На нашей ширме нет имени Чжун Тай-гуна. Наших взрослых он мало интересует, а я мал и не могу написать иероглифа, потому что не умею еще держать в руках кисточку.

Восемь часов утра. Пора завтракать.

В столовой за квадратным столом мама, бабушка, дядя и я. Мы едим рис, вареную зеленую капусту, сою с салом, тоу-фу — творог из бобового молока, соленые огурцы, фасоль и редьку. Все блюда стоят на столе, а перед каждым едоком белая плошка и палочки для еды — куай-цзы.

Когда я был мал, ел ложкой со своей плошки. Был горд, когда впервые получил куай-цзы и стал есть как взрослый. Но обижало, что мать и бабушка накладывают еду мне на тарелку. Пылая самолюбием, встал на стуле на колени и самостоятельно протянул куай-цзы к миске свежих овощей. На коленях не удержался, тело перевесило, и я грох-

нулся виском об угол стола. Криком оглушил сам себя. Все вскочили. Дядя схватил меня на руки, к стремительной ране приложил мамин платок и побежал со мной к врачу.

Чернобородый врач заклеил рану пластырем. Рана гноилась двенадцать дней, потом зажила. Рубец над бровью и поныне.

Чай пью, когда захочу. Иду на кухню и наливаю его из медных чайников, круглые сутки стоящих на очаге.

На кухне от дыма все утро плачут мамины глаза. Из-под трех вмурованных в плиту котлов выбивается пламя с кудерьками дыми. Узкая труба не вмещает в себя огненной струи, идущей от двух каменноугольных топок и одной дровяной. Хрустят под котлами огромные поленья дров. Они пришли к нам на кухню из лесов с неохватными деревами, что растут на горах выше Сиань-ши. Они приплыли сюда горными речонками и приволоклись на плечах крестьян, которые в свободные от полей дни промышляют дровяным делом.

Дрова дешевы. Метровое полено, диаметром четверть, стоит один тунзер — полкопейки.

А уголь приехал по Янцзы с копей, что за сорок ли от Сиань-ши.

Я слышу на лестнице полуптичий-получеловечий щебет. Это пришли девочки, мамины ученицы.

Часто моргая замученными дымом глазами, мама вытирает свои закопченные руки, подтягивает штаны, одергивает кофту и отправляется учить их грамоте.

Эти девочки — единственная моя компания. Я сын их учительницы, поэтому они относятся ко мне заботливо и называют меня братом.

Летом девочки белые. Весной и осенью их кофты и штаны синеют, а зимой становятся черными. У каждой под затылком коса замотана цветным шнурком, как электрический провод изоляцией. На лоб падает челка, из-под которой мышатами бегают глаза.

Девчонки не говорят, а перешептываются, не смотрят, а переглядываются, не хохочут, а перехихикиваются. Что ни случись, все им смешно. Они прыскают в платок. Сбившись в кружок, они рядят и пересуживают, кто красив, кто некрасив, кто неловок, кто скуп, кто наряден. В свободные минуты между уроками они кличут меня в свои игры, но я не умею играть и являюсь только затем, чтобы поглядеть, как они подбрасывают ногой тянь-цзы — ножной волан — оперенный комочек, который под ловким ударом ступни взлетает на воздух и никак не может упасть на камни.

Надев веревочное кольцо на пальцы, девочки снимают друг у друга это кольцо в подвертку, и кольцо обращается в веревочные узоры, перила, решетки.

Девочки учат меня играть в шахматы. Эти шахматы не похожи на европейские. На доске девять на девять квадратов нет выточенных фигур. На черных и красных шашках выведены иероглифы. В игре пять пешек, две пушки, две повозки, два коня, два канцлера, двое ученых и один император. Вся эта армия располагается не в два ряда, как в Европе, а в три, и не внутри квадратов, а на скрещениях линий.

Между лагерями нейтральная зона — «река».

А потом девочки играют на флейте. Тонкие, кудрявые, внезапно обрывающиеся мелодии.

Я сижу на знойных плитах двора и наблюдаю мелких желтых муравьев, многолюдною улицей суетящихся от щели до щели. Я должен уважать муравьев — они образец общественной жизни. Так мне говорит бабушка.

Конским хвостом, насаженным на рукоять, девочки бьют тучных мух и дают их мне, а я кормлю ими муравьев. Брошенная муха обрастает желтыми капельками муравьиных тел, а через минуту на этом месте остается только слюда мушиных крыльев.

Бабушка шьет крохотные туфли для своих «золотых лилий». Я устал от муравьев. Сажусь на стульчик рядом с ней, кладу голову на ее колено и дремлю до обеда, который у нас в полдень.

В одиннадцать часов девочки приседают перед матерью, говорят ей «цзай-дянь» — до скорого свидания — и, щебеча полушепотом, всей гурьбой пропадают за дворовой ширмой.

После обеда людям спать не полагается. Еще Конфуций сказал своему ученику: «Любящий спать похож на трухлявый чурбан, из которого нельзя изваять статую». Но меня это не касается. Я после обеда сплю.

Ветерок с Янцзы шелестит листами, раздвигая зной. Во дворе мама с бабушкой стирают белье в кадушке и корыте. Серое мыло, приготовляемое у нас из особой жирной глины, скользит по мокрой хлюпающей ткани.

От этого мыла слава китайских прачечных; они работают только им и не пользуются европейским жировым мылом.

На тонких бамбуковых жердях виснут тяжелые от влаги, выкрученные рубахи. Солнце дожмет то, чего не дожали слабые мамины руки.

Я просыпаюсь, бабушка зовет меня гулять за деревню в поле.

Глава 6

ПОЛЯ

Коровы.— Рис.— Плодородие.— Тун-цзы.— Ужин.— И-лай-сян

Шуршим подошвами по мощеной дороге. Мимо нас сломя голову пробегают ребята. Они ведут на бечевках бумажные змейки. Змейки похожи на страшных людей, на тысяченожек, стрекоз, бабочек. Ребята их мастерят сами, купив на три тунзера бумаги, на десять — бечевки, и сами нарезают остов из бамбуковых планок.

На пять тысяч жителей Сиань-ши не больше пятидесяти лошадей. Лошади не для полей. Они у богатых людей для верховой и вьючной езды: по нашим горным тропам повозки не ходят. Лошади есть у военных, у хозяев постоялых дворов, у промышленников, дающих напрокат верховых коней, и проводников.

У крестьян коней нет. У них коровы. Коровы эти не для молока. Я не знаю вкуса этого молока.

Коровы и не для мяса: четыреста лет тому назад был издан специальный закон, запрещающий есть коровье мясо. А много раньше этого закона буддийское евангелие предписало не проливать крови животных. Корова у нас — полевая работница.

По окраине Сиань-ши стоят домишки и коровьи хлева тех крестьян, которые — я вижу это отсюда — копаются в полях. Я смотрю на них с уважением. Их сословие «нун» идет вслед за нашим — «ши». И уже на следующем после крестьян месте стоят «гун» — ремесленники, а на последнем наименее уважаемые «сан» — купцы.

Кули и солдаты — за пределами сословий.

По отлогим подошвам гор — узор глиняных ободков рисовых полей. Рисовое поле — вроде пруда. В него напускают воду, а затем взламывают дно плугом, похожим на гнутый кинжал, к которому за середку припряжена корова. Корова шагает, меся копытами и коленями желтый ил. Пахарь руками и грудью гнетет книзу рукоять кинжала. Кинжал вспарывает слежалое дно, выворачивая скользкие комья. Потом эти комья разбивают граблями, и илистый пуховик для засева риса готов.

В чуть перекрытых водой питомниках, словно ядовитая медная зелень, пушится рисовая рассада. Когда она вытянется сантиметров на двадцать, ее вырвут и, сложив пучками по десять стеблей, пойдут втыкать в ил рисовых полей-прудов. Пучок от пучка полметра. Словно по линейке размечается шахматный узор, и закат раззолачивает рисовые пруды, над водою которых чуть торчит зеленая щетина.

Быстро всходит рисовая шерсть. Наступает середина лета с ее оглушительными ливнями, когда вода бежит с гор, точно пот с ребер загнанной лошади. Озерки, выкопанные с таким расчетом, чтобы поить рисовые поля, словно на полочках разложенные под ними, переполняются водой. Вода перехлестывает через закраины полей, она разламывает глину валов и грозит пройти по тихому спеющему рису руслами новорожденных потоков.

В это ливневое время, днем ли, ночью ли, крестьяне, измокшие и голодные, по пояс в воде, отбивают атаки разъяренной воды, они мечутся вдоль глиняных оград, заляпывая проедаемые водой бреши, и шлюзовыми щитами регулируют водосток.

На рисовых полях нет женщин. Рис — трудное дело, мужское.

Зато в канавах вдоль рисовых полей много мальчуганов с закатанными выше колен штанами и руками по локти в грязи. Они шарят под камнями и чего-то ищут, раздвигая гущу созревающего риса. Это они ловят крабов.

Под осень крабы выползают из норок, чернеющих над ручьевой водой, ходят кушать вкусный рис и толстеют. Мальчишки хватают крабов за бока и бросают в корзины, чтобы завтра пронести по улицам Сиань-ши.

Рис поле рожает раз в год. Зато другие поля круглый год на полном ходу.

Весною на них вызревают озимая пшеница и бобы, засеянные еще в декабре. В апреле на смену бобам в землю ложатся кукурузные зерна

правильными рядами. За три месяца, вытянувшись саженными пиками, поспевает кукуруза, а внизу, между стеблей ее, вспухают сладостью и влагой огурцы, дыни, арбузы. Кукурузные зерна съедают люди. Листья сжевывает скот, а кукурузные палки размачивают, загнаивают и удобряют ими землю или же сушат и жгут в очагах.

После кукурузы в разгар лета снова перепахивается поле и засевается гречихой. Поздней осенью снимают гречиху, и снова озимая пшеница с бобами ложится в землю.

Больше всего я весною любил поля в бобовых цветах. Миллионы бабочек, спрятавшихся под зелень мохнатых листьев, напоминают крылатые цветы.

Наши поля никогда не отдыхают.

Приехав в СССР, я прочел о трехполье и удивился, как можно держать землю под паром. Мы возвращаем похудевшей земле жир размоченными в воде гнилыми листьями. Мы усыпаем поля пеплом рисовой соломы. Мы запахиваем в землю золу костей, мешками привозимых из города. Весенние разливы приносят скользкий ил. Северо-западные ветры несут лёссовую плодородную пыль.

Больше ста зерен за одно посеянное приносят наши рисовые поля.

Там, где поля переходят в каменистые откосы гор, растет тун-цзы — масляное дерево. На третий год после посадки оно уже приносит коричнево-зеленый плод вроде сливы, с крошечной костью внутри. Весною никакой ветер не в силах раскидать висящего над берегами Янцзы аромата белых цветов тун-цзы. А осенью его жирные сливы хлюпают и щелкают косточками под прессами, крестьяне давят его просто досками. С прессов течет обильное светлое масло — одно из великолепных богатств Сычуана. Этим маслом кораблестроители всего мира вслед за сычуанскими лодочниками промазывают подводные части барок, джонок, сампанов и кораблей, чтоб дерево не гнило, не размокало и не ели его древоточцы. Это масло горит в наших светильниках, борясь за фитиль с керосином, в светлых бидонах «Стандарт-Ойл К°» идущим к нам из Америки.

Выше тун-цзы на горные откосы карабкаются густые курчавые леса. В них вольная живность, еле заметные тропинки и сделанные из бочек ульи лесных пасечников, переманивающие к себе рои диких пчел из дупел.

А там, где обрывается лес, идут к облакам серо-зеленые склоны лугов, по которым карабкаются отары стройных и тонкохвостых сычуанских овец под командой пастушонка и помощника пастушонка, козла.

Я боюсь язвительных козлиных рогов, но люблю запускать пальцы в теплую, глупую, непроходимую овечью шерсть.

Солнце падает. Время к семи часам. Близко ужин. Обратной дорогой рву цветы. Пальцы тянутся к золоту цветов горчицы. Бабушка дергает меня за плечо:

— Нельзя! Эту горчицу засеяли крестьяне. Не смей рвать, им это не понравится.

Нутро комнат синеет. Карабкаюсь на стул и втыкаю свой букет в вазу на письменном столе. Мама наливает воду в вазу. Сажусь на свой

стульчик, отдыхаю. Молчу. Смотрю, как мать накрывает на стол и приносит горячий рис.

От всех блюд идет пар. Сегодня нет холодных закусок. Сегодня мы ужинаем без старшего дяди. Он единственный человек, заедающий холодной закуской желтую водку.

Ужин валит меня с ног.

Спать, спать, спать.

Мама меня раздевает. Мягко покрывает одеялом и говорит: «Спи спокойно, не сбрасывай одеяло и не комкай».

Со двора неистовыми бубенцами обзванивают темноту цикады. Комариный писк тычется в углы. Мама сидит рядом со мной, гладит рукой по одеялу и поет песню без слов. Я гляжу на полог из тонкой льняной ткани. На нем нарисованы ветки сливы — цветы розовые, листья синие. С досок кроватного потолка свешивается корзинка. В ней белые цветы — и-лай-сян. Эти цветы были бездушны весь день, но сейчас от них сквозь прутья корзинки сочится свежее благовоние.

Над кроватью каждого китайца ночью висит корзинка и-лай-сян. Мамина песня смешивается с запахом и-лай-сян, с темнотою, с цикадами и далеким скользким бегом Янцзы. Я засыпаю.

Глава 7
НАДО УЧИТЬСЯ

Ван Чжень-тин.— Два даяна.— Ма-гуа.— Я на коленях.— Ракеты.— Класс.— Первые ответы.— Древолаз

Старший дядя ходит особенно веселый. От лица его сияние, и глаза щурятся, словно он вот-вот расскажет смешное.

Мне уже пять лет (по-европейски — четыре). Дядя приводит меня в комнату, где на стене висят сы-фупин — четыре бумажных полотенца с красиво написанными на них иероглифами. Дядя указывает мне на верхний иероглиф и говорит — в а н. Я повторяю за ним — в а н. Дядя выдерживает паузу, чтобы «ван» прочно осело на дне моих мозгов, и называет следующий иероглиф — ч ж е н ь. А когда я заучиваю «чжень», дядя называет последний иероглиф — т и н.

Ван Чжень-тин. Я затверживаю это имя, концом пальца повторяя в воздухе очертание его иероглифов. Ван Чжень-тин — так зовут учителя, которого я еще не видал в лицо, но к которому меня скоро поведут.

«Ван Чжень-тин, Ван Чжень-тин»,— настойчиво и с смутным уважением повторяю я это имя.

Через полтора десятка лет я буду в Пекине выкрикивать имя Ван Чжень-тин с радостным политическим азартом, когда тезка первого моего учителя, пекинский сановник, подпишет договор — первый равноправный договор между Китаем и Советским Союзом.

Дома краем уха ловлю разговоры дядей и мамы о том, куда меня отдавать: в общественную ли школу, где обучают бесплатно, или в частную, где учат лучше, но зато надо платить, и платить немало.

— Вон сыновья наших соседей платят в год шесть даянов, а племянник толстого мануфактурщика Тун обходится целых двадцать даянов в год. Двадцать даянов! Но ведь мы вчетвером не проедим, не простираем, не спалим в печи двадцать даянов за месяц. Двадцать даянов — это двадцать один русский рубль.

Дядя ходит беззвучными шагами, хитро жмурится на маму, ловит самую грустную ноту ее и говорит:

— За Ши-хуа мы будем платить только два даяна в год. Учитель Ван Чжень-тин делает скидку за то, что Ши-хуа мой племянник.

Дядя рад блеснуть уважением, которое ему оказывают в Сиань-ши.

Длятся новогодние холода. Подходит к концу новогоднее праздничное, напряженное безделье. У нас дома разговоры только об учителях, только о школах. Дядя негодует:

— Сиань-ши такое большое селение — пять тысяч душ, а всего в нем одна общественная школа. Безобразие! Вот в других больших деревнях есть же кроме начальных и средние школы. Чего дремлет сю-тунг (чиновник, заведующий образованием на селе и утверждающий школьных директоров)?

Дядя подводит меня к листу бумаги. На нем три иероглифа. Знаком из них один, это иероглиф В а н — фамилия учителя, но два других незнакомы. Дядя читает их — Ц з я - у а н ь. Уань — это полукруглая долина, обведенная амфитеатром гор. Цзя-уань — квартал, где живет учитель. Туда мне на днях идти.

Хожу вдоль синеватых кирпичей нашей домовой стены. Тростинкой черчу на них какие-то небывалые знаки и воображаю: вот я уже учусь, вот я уже пишу, вот я уже знаменитый каллиграф, рисовальщик иероглифов, и за каждую букву мне платят даян.

Окно глядит на меня теменью комнаты. Окно поделено по вертикали: половина его застеклена, а половина оклеена зеленой полупрозрачной бумагой по клеткам решетки. Бумага изношена, продралась. Ветер шевелит ушками дыры, и в отверстие слышу я бубнящие звуки разговора. Погромче и погрубее — это дядя, тише и мягче — мама.

— Два даяна из уважения ко мне. Два даяна.

Проходит Новый год, настает особенный день.

— Хуа, надевай ма-гуа.

Мама одевает меня поверх нового халатика в блестящую черную атласную жилетку с длинными рукавами, закрывающими кисть руки. Я понимаю, в чем дело. Только в очень торжественные дни праздников и визитов дяди мои — я видел — надевали такие лоснящиеся парадные ма-гуа.

Оба дяди, мама и бабушка, как внимательная свита, провожают меня до ворот, прорубленных в толще глиносоломенной стены, окружающей двор, перекрытый по ребру темными черепицами.

— Теперь ты — ученик.

— Баловству и безделью конец.

— Надо учиться,— напутствуют меня вперебой их внутренне взволнованные голоса.

В школу ведет меня младший дядя. Я иду рядом с ним, не отставая

и не оглядываясь туда, где в спину мне смотрят из наших ворот три пары глаз: одна хитренькая — дядина, одна старенькая — бабушкина и одна самая любимая — мамина.

Иду взволнованный и радостный. Дома я одинок и пристегнут к старшим подолам, а впереди меня ждет веселое, интересное, буйное товарищество. Через локоть у меня корзина; в ней первая книга для чтения, курительные палочки, пара красных свечей и пока молчащая ракета, составленная из мелких хлопушек, привязанных к общему фитилю.

У самой школы два пса обругали меня лаем клыкастых пастей. Я испугался. Лезу на дядин халат. Дядя поднимает меня на руки.

Учитель, увидев нас из окна, обрывает урок и выходит навстречу.

Лицо учителя в морщинах. Макушка, брови и подбородок отмечены молоком седины. На лице умещаются только сетка морщин да серьезные глаза; улыбке места не осталось.

На пороге дома учитель и дядя задерживаются; каждый из них долго кланяется другому, указывая правой рукою путь в дом, а левой пытаясь нежно протолкнуть собеседника вперед себя.

Проходя двором, чую за стеклами сдавленный шорох и исподлобья вижу — лепятся за стеклом пирамидой, как сливы на лотке, любопытные головы многолюдного класса.

Дядя, учитель и я в литане, парадной зале школы. Перед нами алтарик с курильницей и цветами в вазах, а за алтарем — по стене — длинная надпись сверху вниз. Иероглифы говорят: «Здесь престол самого совершенного мудреца и учителя древности — Конфуция».

В литане вдруг чуть темнеет — это в дверях заслонила свет женская фигура. Жена учителя входит и становится рядом с нами.

Долго кланяются друг другу дядя и учитель, помахивая перед грудью сложенными пригоршнями рук. Потом дядя говорит, указывая на меня:

— Вот мой маленький тупой племянник. Передаю его вам, как лучшему из учителей. Может быть, под вашим влиянием ему удастся стать хорошим мальчиком.

Учитель отвечает:

— Ваш племянник, я вижу, очень разумный мальчик и много умнее других в его возрасте. Я уверен, что он вырастет таким же достойным человеком, как вы и ваш высокоученый старший брат. (Это он говорит про старшего дядю; его знают в уезде все как стихотворца и знатока литературы).

После этих речей я земно кланяюсь иероглифам Конфуция, а затем поочередно склоняю колени перед учителем и его женой: ведь жена учителя для ученика все равно что вторая мать. Я буду звать ее сы-му, что значит «учительная мать».

Пока я кланяюсь, дядя дымит в алтарной курильнице палочками и зажигает обе красные свечи. Я встаю с колен, одну руку подношу к потекшему носу, а другою общелкиваю приставшую к халату пыль.

Трра... п... п... п... пах!..— это взрывается во дворе ракета, отрывисто сообщая всему миру новость: Дэн Ши-хуа — ученик.

Учитель с дядей ведут меня в класс. Двадцать голов, которые я

видел в окне, уже распределены над столами. Здесь в одной комнате разные возрасты и группы. Благоухание, послушание и скромность исходят из-под опущенных ресниц. Учитель знакомит меня с классом:

— Вот мой новый ученик. Видите, какой он маленький. Он должен быть вам младшим братом. Учитесь дружно.

Я сажусь на скамейку за один из расставленных по классу столиков, норовя поближе к учителю.

На учительском столе целая коллекция интереснейших вещей. Камень для растирания туши лежит рядом с фарфоровой чашечкой для воды. Тушевые кисти или стоят вертикально, воткнутые в медные чехлы кистедержалки, или косо лежат на подставочке, подняв свои глянцевитые щетинистые рыльца над столом. Еще лежит на столе деревянная доска толщиною с хорошую книгу. Этой доской учитель с выразительностью ружейного выстрела бьет по столу, если класс расшумится. В руках у него палочка-указка, концом которой он в букварях нащупывает нужные иероглифы. А на стене, за спиной учителя, висит лощеная, чуть горбатая бамбуковая линейка. Но эта линейка не для черчения.

Когда он спрашивает ученика, тот быстро вскакивает со скамейки и, стоя, усердно жует глазами и губами, торопясь произнести хорошо заученный урок; или же, наоборот, стоит, переминаясь, почесывая живот и вылупив глаза, пока невнятные хныки и хряки незнания стекают с оттопыренной по-бараньи губы.

Учитель обращается ко мне с вопросом. Я стремительно свергаюсь со скамейки, но оказываюсь весь под столом — так я мал ростом. Ввиду неудобства обучать невидимого человека, стоящего под столом, учитель разрешает мне отвечать ему сидя — все таки хоть голова да видна.

Класс настораживается. Новенький отвечает. Книга передо мной раскрыта на первой странице. Я напряжен и взволнован, веду глазом из-под брови по классу — не смеются ли надо мной? Нет. Все серьезны не менее меня. Указка учителя нащупывает первый иероглиф книги.

Учитель говорит: «Тянь». «Тянь»,— повторяю я.

Я повторяю больше из вежливости, потому что по рисунку справа от иероглифа я знаю, что «Тянь» значит «небо».

Учитель поясняет:

— Тянь — это та часть синего видимого пространства, что над тобой, где проходят облака, куда прикреплены звезды и по чему путешествуют солнце и луна.

Указка учителя переползает на следующий рисунок. Не дожидаясь, пока учитель назовет рисунок, я произношу:

— Ти. («Ти» — значит земля.)

Указка перескакивает на кастрюльку, изображающую Большую Медведицу.

— Тоу,— говорю я.

— Правильно,— одобряет учитель. Палочка его дергается книзу и останавливается на рисунке звезды.

— Син,— заявляю я, довольный собою.

Морщин на лице учителя становится меньше, он оживляется. Палочка прыгает вниз, на нарисованное курчавое облако.

— Юин,— провозглашаю я.

Указка ползет. Косые линии нарисованного дождя встречаю я словом «Ю».

— Ен,— говорю я в тот момент, когда палочка дрожит в клубах черного дыма над нарисованным костром, и слово «Пин» я успеваю произнести раньше, чем палочка ткнется в восьмой рисунок, где изображен лед.

Так в первый урок я прочел восемь иероглифов.

На первый раз это хорошая порция из книги Цзянь Цзы-вань, заключающей в себе тысячу иероглифов.

— На сегодня довольно,— учитель явно ублаготворен моей сметкой.— Можешь идти домой с дядей. Завтра мой сын зайдет за тобой. Ты будешь в классе сидеть вместе с ним.

Он подзывает тонкого, гибкого мальчика лет тринадцати, ростом раза в два крупнее меня.

— Если чего не поймешь в учении, спроси его.

Молча я переглядываюсь с сыном учителя, сую книгу в корзинку, скольжу с табуретки под стол, выхожу из-под стола и чинно-спокойно, ни разу не обернувшись на молча разглядывающий меня класс, шагаю во двор, к дяде.

Дома старший дядя, бабушка и мама набрасываются на меня. Отбирая корзинку, снимая ма-гуа, они залепливают мне уши вопросами:

— Спрашивали?

— Отвечал?

— Не плакал?

Я удивлен:

— Плакал? Зачем мне плакать? Меня же никто не бил и не ругал...

Я отвечаю пристающим старшим на их вопросы вежливо, но без энтузиазма. Я не понимаю, чего они волнуются.

На другой день после завтрака учителев сын заходит за мной, и мы с ним уже без парада и провожаний идем в школу по каменным, еще прохладным в утре горбатым улицам Сиань-ши, разговаривая о школе, о том, сколько надо дней, чтобы выучить всю книжку иероглифов, и о том, что тупой Тун заучивает названия, а не знает, к каким иероглифам они относятся, и о том, как шустрый Лиу запоминает иероглифы, взглянув на них только один раз.

Учителев сын мне нравится сразу. Он говорит со мной как ровня, не кичится, не цедит слов — одним словом, не заносится.

Он уважает меня за то, что я в день могу запомнить столько иероглифов, сколько он — облазать деревьев. Он гениальный лазун. За всю жизнь я больше не встречал таких. Его ловкость граничит с обезьяньей. Он карабкается по стволу, перекидывается на боковые ветви, раскачивает их, как трамплин, и, нацелившись глазом в зеленую гущину соседнего дерева, перелетает ночною летучею собакою с одного дерева на другое. Больше того, он иногда показывает высший класс своего мастерства: он завязывает себе глаза и лазит по дереву вслепую.

Через год после нашего знакомства он залез на дерево, добрался

до верхушки, раскачался... Хотел перелететь на соседнее... Прыгнул... Промахнулся. Мелькнул по вертикали, обрывая с шелестом листья. Ударился о землю и умер...

Глава 8

УЧЕБА

Как писать иероглиф.— Сколько яиц? — Опий убил.— Плодокрады.— Наказание бамбуком.— Духовое ружье.— Ляо Гуэйчжан

Второй день в школе.

Я пишу первые иероглифы.

Учитель на листе бумаги легкими, танцующими движениями пальцев, обмакнув кисточку в красную тушь, рисует громадный красный иероглиф.

Я должен красное обвести черным. Учитель стоит надо мною и следит, как я держу кисть.

— Кисть держи тремя пальцами совершенно отвесно над бумагой и так, чтобы верхний конец ее приходился против переносицы.

Я еще слаб в писании. Я держу кисть близко к волоскам и локтем опираюсь о стол. Неподалеку от меня ученики, сидящие в классе третий и четвертый год, ловко пляшут кистью по бумаге, держа ее за середину. А учитель, иногда показывая нам высший класс писания иероглифов, берет кисть за верхний кончик и, не касаясь локтем стола, вырисовывает мельчайшие точные, быстрые завитки иероглифов.

Я способный. Поглядывая на кисточку учителя, я верю, что моим пальцам будет достаточно года, чтобы пройти путь от щетинок до верхнего конца камышинки.

Пальцы дрожат. Вместо того чтобы идти самым кончиком своим по бумаге, кисть промазывает прерывистую черную черту. Сопят носы над писанием.

Обведя все красные учительские иероглифы черным, я кладу свою стряпню на учительский стол.

Первый мой иероглиф учительская кисточка минует. Рядом со вторым рисунком кружочек. Старые ученики тянут со своих мест головы, как гуси, и шепчут на весь класс: «Яйцо».

«Яйцом» учитель отмечает хорошо написанные иероглифы, а кляксовые и каракулистые перекрещивает.

Ученики, неся от учительского стола исписанные листы, показывают классу на пальцах, сколько яиц.

Дома дядя, бабушка и мама обступают меня:

— Сколько яиц получил?

А получил я в первый день моего писания четыре яйца.

— Когда получишь сплошь все яйца,— острит бабушка,— дам тебе настоящее яйцо в награду.

День за днем как шпала за шпалой. А я старательным паровозиком

иду от иероглифа к иероглифу, от страницы к странице, обгоняя тупиц и соревнуясь со способными товарищами.

А впрочем, я в то время паровозов не видал и о них ничего не знал. Говорю же «паровозик» и «шпалы» только для образности.

Через месяц я нагоняю просидевших в классе полгода. Моя работа усложняется. Учитель пишет иероглиф, оставляя над ним и книзу несколько незанятых клеток. В эти места надо вписать другие иероглифы, чтобы таким образом получилась связная фраза.

Тучные, заплывшие лентяи класса безразлично следят за моими успехами.

За три года они накопили в своей голове меньше, чем я за три месяца.

Школа для них — один сплошной многолетний зевок. Как тупоносые куры, клюют они по двадцать, по тридцать раз зерно иероглифа и все-таки не могут его заглотить. Их глаза, скользя над страницами, упорно прилипают к стеклу окна, за которым жирная зелень деревьев прячет розовые, желтые и оранжевые плоды учительского сада.

Но прилежные товарищи, честолюбие которых раздувается не меньше моего, шутя уходят от меня вперед.

Помню одного. С ним состязаться я не могу. Ему достаточно взглянуть только один раз на самый сложный иероглиф, чтобы тотчас его запомнить.

Сквозь трудные чащи письмен он идет улыбаясь, точно вприпрыжку.

Сейчас он просит милостыню в нашей деревне. Школы он не кончил.

Случилось это так: мать его, вдова, курила опиум. Кроме опиума, она ничего в жизни не видала. Опийным чадом в толстую трубку вылетел дом, сад, все имущество ее.

В это время мой товарищ получил наследство от бездетного дяди. Мать на это имущество прав не имела. Чтобы завладеть этим наследством, она приучила своего сына, мальчишку-школьника, тоже курить опиум.

Трубка за трубкой втягивала она его в это ядовитое дело. Он перестал заниматься. Его глаза потускнели, он ослаб. Весь день он был вял и сонлив, оживлялся только к ночи. Ведь опиекурильщики, как летучие мыши,— ночные животные. Он разучился держать кисть. Его выгнали из школы. Его глаза загорались только при виде опийной трубки, в которую легким дымом вылетало дядино наследство. А потом и наследство кончилось, и он вышел на перекресток Сиань-ши, и в ладонь его звякнули первые гроши подаяния.

Но он собирал эти гроши не на хлеб. Он собирал их на трубку опия.

В перерыве между уроками «примерные» бродят с книжкой, высасывая глазами ее страницы. Лентяи оживляются и норовят в сад, поближе к фруктам.

Жена учителя их видит, но немедленно же опускает глаза. Она слишком добра и слишком нежна, чтобы подвести их под угрозу. Она проходит садом, не желая никого замечать.

Воришки чавкают, поедая плоды, шелестят листьями и наглеют.

Однажды учитель приводит пойманного плодокрада в класс.

Он гневен. Трясется. Мерзлыми каплями каплют на голову преступника его рассуждения:

— Не то скверно, что ты ел фрукты. Мой сад открыт всем достойным ученикам. А то гнусно, что такой непроходимый лентяй и невежда, как ты, вместо чтения книги ворует мои абрикосы. Я запрещаю лентяям, подобным тебе, прикасаться к фруктам.

Затем он снимает со стены бамбуковую линейку, которая не для черчения, схватывает виновника за пальцы левой руки и бьет по ладони и по спине.

Ученик, от боли топоча ногами, прорывается воплем. Но немедленно его неистовый крик я перекрываю своим смертельно перепуганным визгом.

Я в первый раз вижу телесное наказание, и оно выше моих нервов.

Все удивлены: класс, учитель, даже преступник. Учитель перестает бить, класс пучит глаза на меня.

— В чем дело?

— Боюсь,— отвечаю я.

Весь класс грохает смехом. Даже истязуемый щурит мокрые глаза. Даже никогда не улыбающийся учитель улыбается. Но он немедленно же гасит улыбку, хлопает линейкой по столу, берет меня за руку и уводит к своей жене.

Когда я вернулся в класс, все было в порядке. Только изредка всхлипывал над бумагой наказанный.

С тех пор перед экзекуцией учитель всегда отсылал меня к учительше. Тихая, добрая, бессловесная сы-му кормила меня конфеткой или персиками или, взяв за руку, водила по саду, подальше от классной комнаты, где в это время под свист и шлепки бамбука извивался, выл и визжал истязуемый.

К нам в дом приехал мой двоюродный брат, племянник мамы, Ляо Гуэй-чжан. Ляо — фамилия маминой семьи. Он мне ровесник и поступил в ту же школу.

Вместе живем, вместе учимся, крепко друг к другу привыкаем. Гуэй-чжан хитер, как пять дипломатов, и изобретателен, как Эдисон.

На мою домоседную и глубоко штатскую душу огромное впечатление производит его любовь к сложным и дальним прогулкам и бамбуковое духовое ружье. Оно стреляет пульками из наслюнявленной бумаги. Карманы Гуэй-чжана всегда набиты бросовой бумагой, подобранной в школе. (Наша китайская бумага для письма похожа на вашу европейскую пропускную бумагу: она быстро вбирает в себя влагу.)

Надо срезать бамбуковое тонкое коленце, прочистить канал, заткнуть оба конца мокрыми бумажными пыжами и ткнуть прутом — поршнем. Один пыж с треском вылетит, как пуля, а другой станет пулей для следующего выстрела.

Ружье Гуэй-чжана заразительно, как скарлатина. В десять дней в школе не осталось ни одного ученика без духового ружья.

Сначала палят друг в друга на дворе в перерыв между уроками. Потом робко постреливают на уроках. Потом робость проходит, и комната из класса превращается в артиллерийский полигон. Наконец попадают в учителя.

Он спрашивает:

— Кто зачинщик?

Класс упирается.

Учитель снимает с гвоздя бамбуковую линейку, ударяет ею по столу и сообщает, что будет бить всех подряд, пока не сознаются. Тогда из-за стола поднимается предатель и показывает на Гуэй-чжана.

Учитель тридцатью ударами истерзывает Гуэй-чжану левую ладонь, затем тычет его в книжку и приказывает читать.

Ляо отказывается. Он считает, что один урок не в силах вместить два таких серьезных дела, как порка и чтение.

Учитель, поглядев на него, смолкает.

Нет парнишки в классе, которого бы учитель бранил больше, чем Ляо Гуэй-чжана. Ляо на редкость талантлив и школьную мудрость хватает на лету, полушутя. Он умеет ответить на любой вопрос учителя. За ум, талант и живость старик его любит обидчивою, скрипучею любовью и не раз повторяет, вешая на стену бамбуковую линейку:

— Если ты, Гуэй-чжан, перестанешь быть лоботрясом, цены тебе не будет.

Глава 9

ОТЕЦ

Круговой заем.— Встречальный стих.— Как уехал отец.— Ночной перепуг.— Отец и его чемоданы.— Ночные гости.— Граммофон.— Книги.— Бомбы

Младший дядя — Дэн Ти-пу — высокий и здоровущий парень. Он учит ребят в казенной школе Сиань-ши, и ребята любят его, постоянно улыбающегося силача.

Старший дядя хитрит, подковыривает, нервничает. Младший всегда ясен, прост и прям.

Но иногда наступают дни, когда с лица младшего дяди сползает улыбка, он куда-то исчезает, прибегает, ходит советоваться к маме на кухню. Я слышу обрывки их разговоров:

— Старый Тун не хочет.

— А молодой?

— А молодой уже использован в прошлом году.

— Возьмите третьим Чжао. Ему все равно через два года надо женить сына. Или кривого Вана.

— Вана боюсь. Он только и ждет моего приглашения, чтобы потребовать от меня ответного вхождения в его заемную группу.

Имена накладываются на имена. По пальцам пересчитывают, вспоминая родичей и свояков, которых в округе сотни. Дядя снова скрывается. Ходит с визитами, кого-то навещает и наконец, совсем заморенный, в последний раз является к маме на кухню и говорит:

— Готово. Все десять найдены. Готовьте обед!

И мирная улыбка снова прочно оседает на его высоко поднятом над землею лице.

Я знаю, что это за таинственная беготня. Это дядя раздобывает денег на отца.

Обучение отца в Японии обходится четыреста — пятьсот даянов в год. Самое большее, что мы можем отщипнуть от нашего мандаринника и от дядиных учительских заработков,— сто даянов в год. Чтобы добрать остальные, младший дядя устраивает круговые займы.

В круговом займе, кроме организатора, обычно человек десять. Складываются, скажем, по пятьдесят даянов. Так составляется полтысячи, нужные организатору кругового займа. На следующий год начинается расплата. Складываются все, кроме первого приглашенного, и полтысячи идут ему в карман. На третий год полтысячи получит второй приглашенный и так далее, пока через десять лет заем не будет погашен.

Заем — не даровой. Процент достаточно велик. Организатор, получивший пятьсот даянов, выплачивает ежегодно не по пятьдесят, а, скажем, по шестьдесят. А последний в очереди, которому свои полтысячи ждать дольше всех, получает свои проценты, ежегодно платя меньше остальных, скажем, не по пятьдесят, а только сорок пять.

Очереди в круговом займе распределяются сообразно нужде каждого. Одному через год женить сына, он просит себе первую очередь. Другому через четыре года чинить дом, он возьмет себе четвертую очередь. У третьего вообще завелись свободные деньги, он согласен быть одним из последних.

Если члену кругового займа еще до очереди спешно понадобятся большие деньги, он может создать новую, свою группу, причем в нее обязан войти по первому приглашению тот человек, который его пригласил в группу. Если собиратель займа откажется войти в круговую к одному из сочленов, он прослывет жадюгой, эгоистом и никогда во всем районе не сумеет наскрести и пяти членов.

Так мы оборачиваемся с уплатой за отца, ежегодно сколачиваем круговые займы, с каждым годом все больше и больше, и платим ежегодно взносы из тех ста даянов, что дает нам хозяйство.

Из кухни валит пар, из трех топок гремит пламя. Даже бабушка совсем забывает меня. Это готовится приветственный обед очередной десятке кредиторов.

Кисть крепнет в моих руках. Множатся иероглифы в голове. Несчетное количество «яиц» приношу я с уроков каллиграфии. Иероглифы, что я пишу, становятся все мельче и мельче — значит, я уже умею владеть кистью.

Старший дядя входит в дом быстро и торжественно:

— Отец скоро вернется. Садись и слушай меня.

И медленным распевом, роняя слова на малопонятном языке, он мне читает древнее стихотворение времен танской династии, а я гляжу ему в рот и затверживаю за ним торжественные и жалобные строки, посвященные человеку, который возвращается домой после многолетнего отсутствия:

Молодым уходишь из семьи,
Старым возвращаешься в семью.

Речь родная прежнею осталась,
Но усы и волосы седы.
Дети, увидав, не узнают
И с улыбкой спрашивают гостя:
— Как вас звать?
Откуда?
Кто вам нужен?

Я улыбаюсь последней строке.

Точно такие же слова я с обязательной улыбкой говорю в праздник Нового года и в праздник Дракона, когда, изображая собой главу семьи и заменяя усталую маму, я — коротышка — выкатываюсь в гостиную навстречу входящим в наш дом седым, лысым, тучным, громадным знакомым:

Как ваша уважаемая фамилия?
Откуда вы изволили прибыть?
Кого вам угодно видеть?

— Этим стихом ты будешь приветствовать отца,— говорит дядя и, пряча от меня глаза, взволнованно выходит.

Я недоумеваю: что творится с дядей?

При имени отца обычно он хмурится и жалуется, что отец, бросив хорошее место помощника в его школе, уехал самовольно в Японию.

На дорогу отец занял у мужа сестры деда семьдесят даянов и на них доехал до Шанхая. Только оттуда он прислал письмо в семью. Только из этого письма старший дядя узнал, где отец. Он рассвирепел и поклялся не давать отцу ни копейки — вот почему круговые займы организовывал младший дядя.

Гордый своим ученым званием — цзю-чжень, монархист и знаток древних стихотворений, старший дядя был обозлен, как это отец мог бросить старую дорогу учености и уехал учиться в «варварскую» страну.

Злился, закатывал обвинительные речи за каждым чайником водки, а вот поди ж ты, накануне отцовского приезда пришел обучать меня приветственному стихотворению. Я лезу в мамин ящик и вынимаю фотографию молодого человека двадцати лет со спокойным, суровым лицом. Косы у этого человека нет.

Это отец. Я его знаю только по этой, присланной из Японии, карточке.

. . . .

Просыпаюсь ночью. Что-то мешает мне спать. Сильный шум во всем доме.

Тревога? Пожар? Смерть? Нападение?

В моей комнате светло от лампы, мамина постель пуста.

Бабушки тоже нет. Шум урчит, гудит, подымается, падает.

Кричу: «Бабушка! Бабушка!» Страшно. Вот-вот расплачусь.

Входит веселая бабушка и говорит:

— Вставай! Твой отец вернулся.

Штаны, халат, чулки и туфли вспархивают в воздух и оседают на мне с быстротой стрижей. Бабушка берет меня за руку и ведет в литан.

Зала темна людьми. Прорываемся сквозь толпу на середину, где чуть

посвободнее. Спотыкаюсь о раскрытый чемодан, чуть не выдернув бабушке руку из плеча. Подымаю глаза и вижу отца в европейском костюме, коротко остриженного. Мне сразу нравится и костюм, и то, что нет косы, и то, что отец на меня смотрит холодными, суровыми глазами и не делает ни шага, ни жеста в мою сторону. Против отца оба дяди.

Через плечи дядей вертит головами толпа.

Какие-то руки мимо дядиных халатов тянутся и щупают фалды отцовского пиджака, а одна рука, в синем драном рукаве, скрюченная, то ли рука рыбака, то ли кули — носильщика тяжестей, тянется ощупать отцовский стриженый затылок, но, не рискнув, отдергивается.

Старший дядя весь сияет необычайной улыбкой, как самая светлая керосиновая лампа:

— Ши-хуа, подойди!

Это он зовет меня и говорит, не в силах запрудить улыбки, заливающей морщины:

— Ши-хуа, ты еще помнишь стих, которому я тебя научил?

Мой комариный голос поет в зале. Становится тихо.

...Как вас звать?
Откуда?
Кто вам нужен?

Я кончил. В тишине дядя гордо поворачивается к отцу:

— Ну что, Я-пу, как я его выучил, а? Твой сын уже читает танские стихи.

Отец нагибается, вскидывает меня на руки и спрашивает полуласково, полунасмешливо:

— Ты стихи только читаешь или понимаешь тоже?

Не отрываясь от его холодного, любопытствующего взгляда, я отвечаю одними губами:

— Понимаю.

— А откуда ты понимаешь?

Глядя мимо отцовского уха, я шепчу:

— Я... я... е... о... я... и...

— Говори яснее!

— Дядя мне объяснил.

Отец спускает меня на чемодан. Отсюда мне все видно.

Толпа устала молчать. Зашатались тени на стенах. Грубоватый сиплый голос крикнул сквозь смех: «Янь-гуй-цзы! Янь-гуй-цзы!» (Поддельный иноземный черт.)

Действительно, поддельный. Лицо, речь, фамилия — родные, а все обличье — варварское.

С чемодана я вижу, какая уймища людей набилась в наш дом. Из темноты ночи выныривают еще и еще. На ходу застегиваясь, приходят заспанные, но уже взволнованные соседи. Скрестив тяжелые руки на глинистых рубахах, стоят гребцы, привезшие отца по Янцзы.

Глибоногие таскатели цзяо — носилок, в которых ездят люди по нашим тропам,— гудят сдержанными голосами. Даже ночной сторож,

оберегающий сон пяти тысяч сианьшийцев, заглядывает через плечи в комнату, и о колено его мягко гудит огромный сторожевой гонг.

Почти задавленный глядящей, тычащей и дышащей в его лицо толпой, отец делает полушаг и говорит:

— К сожалению, зал мой мал и я не могу принять в нем всех моих дорогих соседей. Но я позволю себе доставить им маленькое развлечение.

Он нагибается к чемодану, шуршит бумагой, хлопает картоном коробок, вынимает ящик, сверкающий никелем. Под металлическим гигантским цветком бежит черное лоснящееся колесо, и рупор рычит на толпу сиплыми вздрагиваниями боевой песни. Шарах толпы к дверям. Кого-то мнут. Затем смех.

Соседи обступают граммофон, оправившись от испуга. Пока отец крутит ручку и переворачивает лоснящийся диск, их любопытствующие пальцы лезут в трубу, к никелю, к диску и даже проводят по острию иглы, отчего труба вдруг начинает хрипло кашлять.

Но задние шеренги неодобрительно покачивают головами. Отец подымает перед собою ладонь и успокаивает людей:

— Внутри этого ящика нет никого. Я затрудняюсь объяснить в двух словах работу этой машины, но обещаю рассказать в подробностях, как только будет более удобное время.

Толпа прощает на время граммофону исходящие из него человеческие голоса и оркестровый вой и, оставив его под легким подозрением, обращается к багажу.

Пальцы соседей щупают холст чемодана. Холщовых чемоданов Сианьши еще не видела. Здесь люди укладывают вещи в кожаные и деревянные сундуки.

Пальцы соседей въедаются под чемодан. Руки пытаются поднять тяжелую громадину. Она не поддается. Уже подозрительно скользнули друг по другу глаза соседей. Нахмурились брови.

В шепоте, уходящем к темным дверям, я слышу, назревает тяжелое слово — «золото».

Отец вынимает ключ. Пузатый стручок чемодана лопается, распадается на две половинки, и с тихим шелестом текут из его нутра на пол глянцевитые, чуть липкие квадраты книг.

Люди пробуют книги на ладонь, чмокают и вскидывают удивленные брови — какие тяжелые книги! Китайские книги легки, как пуховые подушки, и по-другому сделаны. В китайской книге иероглифами исписана только одна сторона длинной бумажной полосы, которая затем сложена гармошкой и прихвачена корешком с одного бока наглухо.

А эти иноземные книги сделаны из отдельных листиков, испечатанных с обеих сторон. Иероглифы в этих книгах другие. Люди вертят книги в руках, рассматривают их вверх ногами и смеются, не умея прочесть японских слов.

— Вот варварский язык! Вот варварские слова!

Шум и шорханье шагов, гомон многих голосов не утихают, пока сизый рассвет не врезается четырехугольником в дверь залы.

Я продолжаю стоять на чемодане. Но веки мои сон тянет книзу. Люди

ходят передо мной бесформенным чугунным гудом. Слышу голос младшего дяди над моей головой:

— Мальчику надо спать.

Ухватываю бабушкину руку и иду, цепляясь ногой за ногу.

А самое тяжелое, что было в чемоданах, отец ухитрился-таки не показать соседям.

Черные японские ручные бомбы.

Я до сих пор не пойму, что смотрела шанхайская таможня.

Глава 10

НАЧАЛЬНИК ПОЛИЦИИ

Нужны ружья.— Разговор с даоинем.— Восемь даянов.— Наезды.— Дядя мешает.— Ночные гости.— Борода и бородавки

В Японском университете отец учился на юридическом факультете. На этом факультете проходят и науки военные. Там же готовятся на начальников полиции. Отец выбрал полицейский отдел.

Был 1910 год, когда отец после пятилетней отлучки вернулся в Сиань-ши. Незадолго до этого года основанный Сун Ятсеном в 1905 году союз тайных революционных обществ — «тун-мин-хуэй» (Тунмэнхой) — приказал своим членам входить во все щели правительственной машины, занимать всякую должность в государственном аппарате, особенно же в войсках, особенно же в полиции. Ведь там ружья, а ружей революционерам особенно не хватало.

В шестидесяти ли (тридцати километрах) от Сиань-ши — наш уездный город Теянь. Даоинь Теяни быстро узнал, что в Сиань-ши из Японии прибыл образованный китаец, да еще знающий полицейское дело.

Он вызывает отца в Теянь и предлагает ему место начальника уездной полиции.

— Дело это новое,— говорит лукавый старик,— сметы на него у меня нет, платить я вам буду только восемь даянов в месяц.

— Понимаю,— отвечает отец.

— Надо организовать инструкторскую школу,— продолжает даоинь,— и обтесать имеющихся уже головорезов на культурный образец.

— Понимаю,— говорит отец.

— Тогда нам не страшны будут никакие любители восстаний и бесчинств,— заканчивает начальник города Теянь.

Отец выходит из его кабинета начальником уездной полиции. Когда он привез домой это известие, мама по отрывистому его приказанию пошла укладывать вещи: жить он должен в Теяни, только изредка наезжая в Сиань-ши. Зато разбушевался старший дядя.

Из традиционных восьми правил вежливости он забыл и второе правило — «ти» — братолюбие, и пятое — «ли» — вежливость, и даже седьмое — «лянь» — бескорыстие.

Он забыл свою ученость и тонны стихотворных строк всех династий. Он бегает по комнате перед отцом и негодует:

— Ты с ума сошел! Восемь даянов в месяц! Лучше таскать людей в цзяо или удить рыбу! Восемь даянов в месяц... Ты израсходовался за границей... Ты по уши сидишь в долгах... Тебе надо расплачиваться... Этак Ши-хуа выгонят из школы за невзнос платы! Твоя жена изводится без прислуги... На тебя будет тыкать пальцами вся округа... Восемь даянов в месяц... и ты соглашаешься?! Тебе нельзя брать этого места. Пусть его берут те жулики, которые из восьми даянов сумеют высосать восемьсот в месяц!

Отец неподвижно и спокойно следит глазами за яростно содрогающимся братом.

— Что ты молчишь? — не унимается тот.— Я тебе говорю правду. Я, как старший, обязан тебе эту правду сказать.

Усталый дядя садится в кресло, пожимая плечами и дергая бровями. Отец улыбается:

— Бросьте! Что же вы мне можете сказать путного! Вы ничего не понимаете.

По правилам вежливого обращения отец говорит старшему — вы.

Возмущенный дядя подбегает к двери, за которой горбится мать, укладывая в чемодан вещи, машет отчаянно руками и выбегает.

Сильно опершись ладонями о стол, отец подымается легким рывком, оправляет на поясе два кобура с револьверами и прицепляет длинный полицейский палаш.

Мне кажется, что он идет ко мне. Ведь после ночи своего приезда он ни разу не коснулся меня рукой. Он идет, уставясь прямо на меня, и я подобострастно и благоговейно изо всех сил хочу угадать, что мне приказывают эти никогда не бывающие добрыми глаза.

Я ошибся. Он смотрит сквозь меня. Только дуновение ветра от его быстрого прохода остается на коже моих щек.

Младший дядя, огромный и ясный, бесшумно спешит за отцом, и по дороге его теплая ладонь успевает ласково провести по моей упрямо потупленной голове.

. . . .

Совсем пропадает отец в Теяни, где налаживает полицейскую школу. Сто кандидатов — будущих начальников полиции и двести — будущих рядовых полицейских варит отец в ней. Редким гостем стал он у нас.

Раз, много два в месяц привезет его лодка из Теяни. Загремит по плитам двора металлическими ножнами палаш, и прошагают вслед за отцом двое наглухо застегнутых вестовых.

Быстро кивнет головой матери, и вот уже перед ним улыбающийся младший дядя. Ухом ловя приближающиеся шаги старшего дяди, спешащего приветствовать редкого гостя, отец буркает младшему:

— Надо убрать Сао-пу.

Затем идет к сияющему старшему дяде, который уже иронически защуривает глаз, собираясь обронить с языка особенно изящный и особенно подходящий стих древнего поэта, но слова отца сразу смахивают с его лица и иронию, и стих, и улыбку.

— Лао Сао, я очень прошу вас на два или три дня, пока я буду здесь, выселиться в школу. Дома тесно, со мною солдаты. Я боюсь причинить вам неудобства.

Старший дядя бросает свирепый взгляд на младшего. Отец перебивает этот взгляд:

— С Ти-цзы я уже сговорился. Он тоже будет ночевать в школе.

Младший дядя, с видом полного отчаяния, утвердительно качает головой. Но стихолюб не сдается. На него не действует почтительная приставка «лао» (старик), которую отец поминает перед его именем, называя в то же время младшего брата фамильярно «цзы».

— Безобразие! А почему служишь в полиции за восемь даянов? Взял бы службу выгоднее, нанял бы дом получше, а не эту клетушку. Мне в твои приезды даже и поговорить с тобой не удается.

Отец улыбается:

— Я понимаю. Я понимаю. Будем терпеливы. Придет время. Будет большая квартира. Тогда, разрешите мне надеяться, будете жить у меня безвыездно. Тогда и наговоримся как следует.

Дядя вскидывает плечи и недовольно шаркает туфлями на расслабленных ученостью ногах.

А отец тихо говорит младшему:

— Ступай к нему с визитом и займись с ним до заката. Потом приходи вести собрание вместо меня, а я пройду к нему. А то, неровен час, соскучится и придет проповедовать.

В такие дни у матери не остается даже секунды, чтобы взглянуть на меня, даже когда я забегаю на кухню налить себе чашку чая.

В столовой отец вполголоса говорит с младшим дядей:

— От Сун Ятсена приезжали?

— Да. Двое.

— Долго пробыли? О них позаботились? Ночевку устроили? Их накормили?

— Да!

— Когда уехали?

— Поздней ночью.

— Задняя калитка не скрипит?

— Нет. Я ее смазал.

Это идет речь о ночных гостях, таинственных, никому из нас не знакомых, которые приезжают издалека, входят в наш дом осторожно, спрашивают отца, сидят в дальних комнатах, чтоб сгинуть в ночной глуши, когда все Сиань-ши спит и только ночной сторож вызванивает ударами гонга один из пяти разделов, на которые распадается старокитайская ночь. Проводив гостя, мать возвращается в спальню. Тихо ставит на столик лампу, чтобы не разбудить меня, но, заметив, что я не сплю и что мои глаза как вопросительные знаки, наклоняется ко мне, проведя своими усталыми пальцами по одеялу.

— Смотри, Ши-хуа, никогда никому не говори, что у нас бывают незнакомые люди.

Проходят дни.

Вечер. Отмываю запыленные за день ноги. Сквозь плеск воды ловлю возню туфель и легкий стук у ворот.

— Дядя,— говорю я тихо.

— А? — звучит его голос сквозь оклеенные бумагой стенки так громко, точно он рядом со мной в комнате.

— К нам стучат.

Дядя почти бежит к воротам. Шуршат его туфли. За ним отец. Наследив необтертыми ногами по полу, гляжу в дверную щелку.

Против отца молодой незнакомый приезжий. Отец смотрит на него, не узнавая, а затем сдержанно выкрикивает:

— Лэ-у! Чжан Лэ-у!..

Я часто просыпаюсь в эту ночь. Всю ночь горит огонь в отцовской комнате и идет невнятное бормотание двух голосов.

Наутро он уезжает. Он прощается с отцом; на его глазах слезы, а у отца под кожей волнуются мускулистые желваки на челюстях.

. . . .

После революции, опрокинувшей династию Цинов, Чжан Лэ-у стал одним из двух революционных губернаторов, между которыми был поделен Сычуан.

Его расстрелял диктатор Юань Ши-кай, когда революция сломилась.

. . . .

Однажды вечером у ворот нашего дома по камням забили конские копыта. Отец дома. Мы выскакиваем.

Один из подъехавших слезает с коня и, обратясь к товарищам, говорит весело:

— Не забыли, где вам каждому ночевать?

— Кто это такой? — шепчет младший дядя за спиной отца, беспомощно вглядываясь в темень.

— Се Динь-чен,— отмахивается отец от дяди и делает шаг вперед.— Динь-чен, для всех твоих товарищей найдется ночлег в моем доме. Спешивайтесь! Вводите коней во двор!

Орава, шаркая подошвами, цокая копытами, издавая запах конского пота и грязного, усталого тела, рассасывается по нашим тесным дворикам.

Впрочем, лошадей скоро куда-то спроваживают. Люди остаются одни.

Се Динь-чен скромен, как мамина ученица. Меня поражает его огромная черная борода, которая бахромой шелковой шали свешивается от ушей и подбородка.

Гости обсели стол. Снимают с себя тяжелые револьверы на цепочках, вешают их на спинки стульев или кладут рядом со своими куайцзы.

Я шепчу младшему дяде:

— Мне нравится Се Динь-чен.

А дядя таким же шепотом (ему тоже нравится Се Динь-чен) отвечает мне:

— Никто не умеет лучше него делать бомбы в Сычуане. Даоинь за ним охотится, тысячу даянов дает он за его голову.

«С бородой!» — чуть не срывается у меня: так мне нравится борода Се Динь-чена.

За столом спорят:

— Где мы возьмем винтовки?

— Сами делайте! — кричит Се Динь-чен, и глаза его тонут в смехе.— Сами делайте,— и он выбрасывает на стол из своего кармана какую-то железную штуковину, немедленно подбираемую отцом на осмотр.

Это — ружейный замок.

После ужина отец следит, как Се Динь-чен и его спутники укладываются спать. Они поскидали куртки и сидят в рубашках, почесывая грудь.

— А где ваши вещи? — суетится дядя.

— Только то, что на нас есть. Больше ничего.

Дядя конфузится.

Окликнутая отцом мать перестает звякать чашками в столовой и слушает тихие распоряжения отца:

— Сшить каждому по рубашке. Перестирать их белье. Пробудут дней пять. Надо разыскать им денег на дорогу. Нет ли у нас еще шелковых одеял, которые бы можно было заложить в ломбарде?

Се Динь-чен интересует меня все больше и больше.

Проснувшись наутро, я немедленно двигаюсь к его комнате. И столбенею в дверях. Превосходная черная борода хлопьями падает на пол под змеиным движением бритвы.

Он приветствует меня, смеясь:

— Здравствуй, юный Ши-хуа из рода Дэн.

При этом лицо его совершенно другое: вчерашняя величественность вместе с бородой лежит на полу.

— Кушали ли вы сегодня, уважаемый Ши-хуа, первенец моего друга Дэн Я-пу?

Он усмехается моему столбняку. А затем берется за совершенно для меня необъяснимое дело.

Он достает из коробочки искусственные темные бородавки с пучками волос и расклеивает их по своей физиономии. Потом отпирает свой пузатый портфель, набитый смешными маленькими книжечками, в ладонь величиной, с забавными картинками на обложке. Проверяет патроны в барабане револьвера, прикрывает ставни, оставив только узкую щель, в которую бьет наполненный пылинками день, и рассаживается читать, поместив страницу книжечки в луче.

Полный небывалого количества впечатлений и недоумений, я пячусь за порог, а из комнаты смешливый голос говорит мне:

— Ши-хуа, прикрой дверь, да поплотнее!

Этот день я брожу по саду, размышляя о бороде, бородавках и закрытых ставнях.

Проходит несколько часов. Закрытая комната интригует меня. Я приоткрываю дверь, просовываю голову в темноту и ослепшими от темени глазами роюсь в комнатном чреве.

Он нащупывает меня раньше, чем я его:

— Что скажете, юный наблюдатель?

Я набираюсь смелости и говорю:

— Вам здесь не скучно?

Он смеется, трясет книжонкой, затем подтаскивает к себе портфель за ухо и пробует его на вес.

— Вон их сколько. Разве с ними соскучишься?

Он живет у нас в доме дольше других.

Глава 11

ДВА ЗАСЕДАНИЯ

Я заседаю.— «Союз старших братьев».— Правят мертвецы.— Тревожная ночь.— Кто пойдет на казнь? — Сборщик будет ограблен.— Канадские миссионеры

Обед кончается. Гости доедают рис и обтирают руки и лица горячими сырыми салфетками. Мама уносит посуду.

Откуда-то совсем незаметно, словно они были спрятаны под стульями в этой же комнате, возникают трое новых гостей. Они раскланиваются с нашим жильцом в бородавках и с приятелями жильца. Отец усаживает их за стол и говорит:

— Начнем.

Заметив, что я не слезаю со стула и внимательно слушаю разговор, отец обращает на меня свои озабоченные глаза и приказывает мне выйти из комнаты безразличным взглядом, каким смотрят на собак или кошек. Я начинаю сползать со стула. Крепкая рука берет меня за плечо.

Это человек в бородавках. Он держит меня, просительно глядит на отца и застенчиво говорит:

— Позволь ему остаться на собрании, Дэн. Это же наш продолжатель. Пусть учится.

Отец отводит от меня глаза.

Я начинаю понимать. Это заседание революционеров. Человек, приехавший издалека, от самого Сун Ятсена, озабоченно допытывается у отца, много ли накоплено сил и можно ли выступать против даоиня с его двумя батальонами солдат, вооруженных европейскими винтовками. Отец отвечает спокойно и глухо:

— Я уже недавно посылал человека с донесением к доктору Суну. Повторяю вам вкратце, как обстоят дела. Главная наша опора в этом районе — го-лао-хуэй — тайный «союз старших братьев» (го — брат, лао — старый, хуэй — союз). Когда я сюда вернулся и получил приказ комитета партии опереться на го-лао, я сразу же убедился, что древний союз с его отчетливым лозунгом: «Долой Цинскую династию маньчжур-поработителей!» — одряхлел. Он стал скорее обществом взаимопомощи, скорее каким-то мирным землячеством, чем боевой революционной организацией. Состав союза был необычайно смешанный, разбитый на три категории.

Высший разряд — «Жень» (люди добрые и благородные). Они называли себя членами союза, но в действительности не интересовались его судьбой. Все эти офицеры, помещики, учителя значились в союзе только

по старой памяти и, как дятлы, бубнили выродившиеся и вредные для нас лозунги восстановления китайской династии Минов, вместо маньчжур — Цинов.

Вторую группу, именуемую «И», что значит «благодетели», составляли главным образом бродячие циркачи, солдаты и бандиты, помышлявшие только о том, как бы грабнуть и хапнуть побольше, а затем скрыться, прячась у сотоварищей — членов союза. Они совершенно забыли древний закон союза, говорящий о том, что отбирать можно только с разрешения собрания — го-лао или по распоряжению да-го — старшины, и притом грабить можно только богачей, только взяточников, только вымогателей. Они забыли, что отнятые деньги надо сдавать в кассу союза, а не проигрывать в кости и не пропивать по ярмарочным харчевням. Они привыкли вести себя так, что название «И» стало насмешкой над строгими законами «старших братьев».

Члены третьего разряда называются «Ли», что значит «церемония». Это ма́ленькие, бедные, забитые люди. Это кули или рыбаки, таскатели паланкинов и бурлаки, бедные землепашцы и бродяги, промышляющие то мелким воровством, то поденной работой на чьем-нибудь нищем огороде. Все они ценят союз только как способ раздобыть небольшую сумму денег про черный день или обеспечить свой труп приличными похоронами, если смерть застигнет их на чужбине или без гроша в кармане.

Мне приходится сжимать эту человеческую пыль в кулаке, чтобы превратить ее в камень. Их надо раскачать и снова зарядить ненавистью к маньчжурам — той ненавистью, которая уходит под серую золу повседневного безразличия.

Сейчас я — да-го (старшина), или, как меня еще называют, первый старший брат — для всего сычуанского востока. Мои помощники: товарищ Куэн — третий старший брат; он целыми днями занят внутрисоюзными дрязгами, делами, казною, недоразумениями; и пятый старший брат — Фу, который все время в разъездах. Сейчас он разминулся с вами, увезя мои донесения Сун Ятсену. Должностей второго и четвертого брата не существует. Кроме этой основной тройки работает еще пятерка братьев — шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый.

Если кого-нибудь из троих основных вырвет пуля или секира даоиня, эти заступят наше место. Все ребята, что учатся в моей полицейской школе, члены го-лао. Это самая преданная группа, кроме того, у них есть револьверы и сабли.

Всех членов го-лао-хуэй, приходящих ко мне проситься в полицейскую школу, я посылаю наниматься солдатами и писарями в батальоны. Там они получат винтовку и будут ждать сигнала. Сейчас по всем деревням Сычуана работают местные комитеты го-лао. Это уже не клубы богатых бездельничающих поэтов, не разбойничьи банды, готовые ободрать каждого встречного, не крохоборческие общества взаимопомощи.

Местные комитеты становятся ныне военными отрядами. Там обучаются боксу и бою на мечах и на пиках. Одного у нас было мало — винтовок. Нашим бандитам я приказал вместо денег добывать оружие. И я

боюсь, даоинь рано или поздно поймет, что значат эти постоянные нападения на арсеналы, цейхгаузы и караульные пикеты.

— А предателей в союзе нет? — спрашивает знакомец с бородавками.

— Было двое. Один из них прирезан, а другой брошен в Янцзы с камнем на шее ровно через три часа после того, как они рассказали о собраниях, происходящих у меня.

— Но как же уцелел твой дом?

Отец криво улыбается:

— Повезло. Те, к кому они пришли с доносом, случайно тоже оказались членами го-лао. У нас есть свои люди на самых неожиданных должностях. Очень умно, что Сун Ятсен решил опереться на «союз старших братьев».

— Значит, подготовку можно считать законченной? — не терпится одному из незнакомых.

Отец хмурится и качает головой:

— Нельзя торопиться: мало оружия. Надо продвинуть организацию еще дальше; нужно еще больше дисциплины, а главное — надо ударить по маньчжурам в один день, в один час, в одну минуту по всем провинциям. Только тогда они свалятся и не встанут. А как в других провинциях с тайными обществами?

Приезжий отвечает:

— На юге очень хорошо. Там мы работаем с тайным союзом — сан-кок-хуэй. Это почти сплошь крестьяне. Народ горячий — у них до сих пор по семьям живы старики, помнящие времена тайпинского восстания, когда крестьяне посрезали косы и объявили свое государство во всем южном Китае. Труднее нам приходится на севере вдоль моря. Там был когда-то очень силен союз го-леин-хуэй — боксеры. Но их так растрепали иноземные каратели за восстание тысяча девятисотого года и на их же шеях так отыгралась маньчжурская династия, втравившая их в это восстание, что они до сих пор не могут стать на ноги.

Отец уже не слушает гостя, он насторожился по направлению к выходной двери. Вскакивает, на ходу расстегивает кобур револьвера, показывает гостям наверх — там садовая выходная дверь.

— Ши-хуа, проводишь!

И быстро бежит навстречу шороху.

Через секунду возвращается:

— Это мой вестовой.

Снова опускаются в кресла вскочившие было и сбившиеся в кучу гости.

Моя голова еле вмещает слышанное, она скрипит по швам. Ловлю изумленным ухом какие-то обрывки беседы отца и знакомца в бородавках. Беседа эта — мягкий шепот, залепляющий уши, как кисель. В этот шепот вкраплены слова — «Цин», «маньчжуры», «Сун Ятсен», «даоинь», «винтовка».

— Самое страшное,— хмурится отец,— что нас держат за глотку мертвецы. Пять миллионов маньчжур завоевали Китай триста лет назад. А теперь от них осталось несколько крупных сановников, комплект

дворцовой челяди и несколько сот тысяч изленившихся жандармов, рассаженных по провинциям. Они забыли даже свой родной язык. Маньчжуры и чиновники сосут в свое удовольствие живой китайский народ. Триста лет китайцы устраивают восстание за восстанием, и триста лет маньчжуры подавляют эти восстания. Неужели опять мертвец окажется сильнее живых? И наши головы запрыгают по дворам ямыней?

Знакомец в бородавках наблюдает, как мое лицо танцует вслед за лицом отца: хмурится отец — хмурюсь я, сжимает зубы отец — сжимаю зубы я. Пресекая отцовский разговор, он вдруг заявляет:

— Дэн, пошли своего Ши-хуа в Японию учиться на актера.

Отец, быстро скользнув по мне, спрашивает Се Динь-чена подозрительно:

— Не веришь в выигрыш восстания? Хочешь сберечь его для продолжения рода? Удалить подальше от тех мест, где можно обжечься? А?

Се отвечает, весело задравши брови под самые волосы:

— Ничего подобного. Из Ши-хуа выйдет превосходный агитатор. Актер может проникать куда угодно: и в город, и в деревню, и в усадьбу, и в частный дом, и никакой даоинь его ни в чем не заподозрит.

— Ши-хуа, иди спать! — обрывает отец мое первое участие в политическом заседании сычуанского отдела партии тун-мин-хуэй[1], в которой Сун Ятсен объединил вольнолюбивых интеллигентов.

Раздеваясь, а потом вертясь под одеялом, я слышу, как расходится собрание: одни шаги к калитке, другие — к темной комнате со ставнями. Третьи шаги, одинокие и твердые, бесконечно гвоздят камни, которыми вымощен наш двор. Потом эти шаги прекращаются. Короткий лязг револьверной цепочки по камню — и тишина. Это да-го восточного Сычуана думает о своих помещиках, разбойниках и бурлаках. Это мой отец отдыхает на приступочке, утомясь долгой ходьбой.

Немного дней проходит со времени заседания тун-мин-хуэй при моем участии.

Ночь. Глушь. Я просыпаюсь и долго лежу без сна. Издалека, над черепичными крышами Сиань-ши, доплывают до меня три удара в гонг. Это ночной сторож объявляет третий раздел ночи. Но я чувствую, наш дом не спит. Правда, нет ни крика, ни лязга посуды, ни шелеста шагов, но какое-то неясное урчание, идущее со стороны залы, тревожит меня.

Слезаю с постели, накидываю халатик, жмусь к стене. Иду к зале. Я уже у окна залы. Раздвигаю лепестки прорванной в оконной бумаге дыры и просовываю туда встревоженный, любопытствующий глаз. В комнате густое кольцо народа обстало и обсело стол. Можно подумать, что

---

[1] Тун-мин-хуэй (правильнее «Тунмэнхой») — революционная организация, созданная в 1905 г. Сун Ятсеном. Объединяла прогрессивные круги китайской буржуазии и интеллигенции. Программой «Т» были три принципа, сформулированные Сун Ятсеном: национализм (свержение маньчжурской династии Цин), народовластие (учреждение республики) и народное благоденствие (уравнение прав на землю).В 1906—1911 гг. «Т» организовала ряд революционных выступлений. В 1912 г. после компромисса с другими политическими организациями, возникшими после революции 1911 г., и отказа от многих своих революционных требований была преобразована в новую партию — «Гоминдан».

в середине этого кольца кто-то играет в кости. Такие плотно сбитые кольца людей я видел на ярмарках.

Свечи на столе, на подоконниках, на шкафу. Свечам трудно гореть в этом воздухе — густом, теплом и потном. Бритые головы, головы, обмотанные полотенцами, и головы в лоснящихся шапочках колышутся и тянутся к сидящему за столом. Это старшина всех тайком собравшихся в нашу залу людей. Это — отец. Одна из голов пригнулась к нему, свистящим шепотом передается новость. Отец некоторое время думает — в тишине слышно, где-то капает на пол разбуженная чердачными крысами штукатурка. Отец говорит речь, отрывистую, как револьверные выстрелы:

— Братья, мне только что сообщено — брат Ло-гань схвачен конвоем даоиня. Он добывал винтовки в казармах конвоя. Завтра его допросят, послезавтра убьют. Четырнадцать человек семьи отправятся за ним: кроме него, в семье кормильцев нет. Но главное — отнять его у нашего отдела все равно что отрубить нам руки. На нем вся добыча оружия. Он нам нужен. Надо, чтобы завтра он был на работе.

Тогда голос — чей, разглядеть я не могу,— перебивает отца:

— В тюремном конвое есть члены союза. Можно освободить сегодня же ночью.

Отец продолжает:

— Освободить его — значит отдать четырнадцать невинных человек палачу, а главное — обнаружить, что Ло-гань связан с организацией. Даоинь должен думать, что Ло-гань казнен.

И опять второй голос, как бы продолжая речь отца, заканчивает:

— Ло-гань может быть заменен другим братом.

Круг голов вокруг отца вдруг расширяется, точно отхлынули от него люди. Отец спокойно всматривается в кольцо лиц. Невыносимое молчание разрывает тусклый голос:

— Да-го, скажи, кто должен заменить Ло-ганя?

Тут в первый раз я слышу добрые звуки в голосе отца.

Отец поясняет, что древний закон союза го-лао дает старшине право послать заместителя на казнь вместо другого брата. Но он не станет сейчас называть имени. Ночь впереди. Он подумает. Он утром сам сообщит тому, кто сядет в тюремную камеру вместо выпущенного.

К отцу склоняются две головы. Одну я знаю — это содержатель чайной на нашем рынке. Другой, судя по одежде, крестьянин из горных ущелий.

Крестьянин жалуется:

— Да-го, я двое суток не ел. Я явился в чайную, как мне было сказано. Я сказал пароль и налил в чашки чай так, как полагается, когда нужно, чтобы один брат узнал другого брата. А он сделал вид, что меня не понимает, и выгнал вон. Я не знаю, правильно ли это, да-го?

Содержатель чайной оправдывается:

— Пришлый брат неправильно сказал пароль. Раньше я его никогда не видал. Шпионы даоиня шныряют всюду. Как я мог знать, что это свой?

Отец прекращает ссору:

— Устрой ему ночевку и накорми хорошенько.

Довольный крестьянин отлипает от стола.

Одна за другой наклоняются головы к отцу — он уже сидит и, неподвижный, слушает короткие донесения этих хмурых крутоголовых людей, приехавших, пришедших, приплывших сюда из городов, селений, замков, канцелярий и рыбалок восточного Сычуана.

Когда рапорты окончены, отец говорит:

— Надо готовить кай-шань — «высокую гору» — общее собрание союза. Пусть местные отделы го-лао-хуэй уже выбирают делегатов. Гору, на которой будет происходить кай-шань, мы наметим вместе со старшими братьями и сообщим вам. В этом году кай-шань будет в особенно глухом месте, потому что сейчас для нас самое страшное — провалить свержение Цинов. В повестке кай-шань только один вопрос — восстание.

Опять несколько голосов заслоняют от меня голос отца. Они говорят сдержанно и покорно, видимо о чем-то просят. Отец выпрастывает свою голову из их шушуканья и говорит младшему дяде, все время сидящему у края стола не поднимая головы и пишущему иероглифы на полосках бумаги:

— Ти-пу, их уволили со службы. Распорядись выдать им денег. Заодно напомни братьям,— и отец называет две очень почтенных в Сиань-ши фамилии,— что да-го уже два праздника от них не получал подарков. У них достаточно денег, а в наши дни необходимо быть аккуратными.

Тут только мне становится ясным, что значат те приношения, которые в корзинках, плетенках и свертках ежедневно текут в наш дом и оседают грудами фруктов, зерна и тканей в кладовых нашего полунищего дома. Это казна го-лао.

Встает один из сидевших вокруг стола. Он худощав, большие очки поблескивают под его лбом. Он называет фамилию человека, который просит о приеме в союз го-лао. Он за этого человека ручается, как за себя самого. Он надеется, что да-го поддержит перед собранием ходатайство.

Но, прежде чем отец успевает сказать слово, перед очкастым возникает маленький и толстый. Мне кажется, что я его видел; мне кажется, что это торговец.

Он не говорит, а лает — так лают осипшие толстые собаки:

— Нельзя принимать, нельзя принимать! Только новорожденным неизвестно, что жена его путается с актерами, которые так часто во время его служебных поездок приходят к нему на дом давать спектакли.

Отец пробует перебить лай:

— Он из хорошей семьи. Отец и дед его были чуть ли не единственными чиновниками, за которыми не значится взяток и наказания невинных...

Но лай продолжается:

— Все ему кричали: «Разведись, разведись, отправь жену обратно в семью ее родителей». У этого человека хватает бесхарактерности

держать при себе этот двуногий позор. Он сделан из воска, а член общества го-лао должен быть приготовлен из железа. Я против приема.

Очкастый сверкает очками и садится. Ему нечем защитить кандидата.

Из толпы выделяется плечистый детина в шелковом черном тюрбане. Я вижу рукояти двух ножей, торчащих у него за пазухой. Он осторожно опирается кулачищами о стол, точно боится продавить столешницу, и говорит отцу:

— Сборщик податей с кассой поедет из северных уездов через четыре дня. Мои люди возьмут его в ущелье. Куда доставить деньги? В Теянь или сюда?

— Сюда.

— А какую часть этих денег мне раздать моим людям?

— Когда деньги будут принесены, поговорим.

Отец подымается. Он рассказывает историю маньчжурской династии. Маньчжурские войска, беря приступом города, верные китайской династии Минов, вырезали все живое в этих городах — до последнего ребенка, до последней собаки, до последней курицы. Он рассказывает про сильное государство на Восточных островах — Японию, у которой окованные сталью корабли и войска, бьющие европейцев, и газеты, которые читают сотни тысяч людей. Он говорит о том, как дорожает рис в Китае, потому что из китайской земли драгоценные товары — уголь, железо, хлопок, чай, рис и древесное масло — вывозят, купив за медные тунзеры, жадные и емкие пароходы чужестранцев. Он говорит о том, как эти янь-гуй-цзы — иноземные дьяволы — отрывают от мяса китайской земли один город за другим, одну провинцию за другою. Китайские железные дороги принадлежат иностранцам, в китайских таможнях сидят иностранцы, китайские деньги идут в карманы иностранцев.

— Не забывайте,— кричит он,— что сделали канадские миссионеры с братом Дин! Они купили у него землю под свою церковь. А когда Дин принес в банк полученные кредитки, бумажки оказались фальшивыми. На суде канадские священники, улыбаясь, говорили, что Дин врет, что он получил хорошие деньги. Судья ответил Дин: «Я бессилен взыскать с иностранцев. Такова уж ваша злая судьба. Не могу вам помочь». Я остановил Дин, когда он собирался броситься в реку. Я ему сказал: «Погоди, придет день, и мы протащим канадских священников лицами по той жесткой земле, которую они вымошенничали у тебя».

Голос отца звенит злобой, понятной и простой. С этих канадцев, о которых я услышал ночью в прорыв окна, идет моя собственная ненависть к иностранцам в Китае.

Отца слушают в тяжелом, оплывающем воздухе тяжелые, серьезные головы людей. Мне кажется, что я в школе и слушаю рассказ учителя.

— Пока мы не сбросим маньчжуров,— говорит отец ясным и понятным голосом,— ничего не изменится в страшной судьбе китайского народа.

Он быстро выдергивает из черной куртки черные карманные часы. Конец заседания.

Пока меня не растоптала зашевелившаяся толпа, пока невыносимые суровые отцовские глаза не остановились на мне, я улепетываю двориком,

лестницей, проходной гостиной за дверь, под полог, в мягкое ватное одеяло, ближе к маминому дыханию.

Далеко-далеко над Сиань-ши стóрож бьет в стонущий гонг пять ударов последнего ночного раздела.

Глава 12

ПЕРВОЕ НАКАЗАНИЕ

Летящие листья.— План Чжана.— Зверинец.— Мы врем.— Курица.— Джордж Вашингтон.— Избитые ладони.— Конец Чжана.

Я уже учусь не у Ван Чжень-тина, а у младшего дяди.

Дядина школа — запущенный храм.

На одной половине — священник со своими смирными деревянными богами в стойлах. На другой — дядя с нашим гамом и чтением нараспев. Мы занимаемся на террасе, огороженной каменным узором, откуда плиты лестницы спускаются во двор, протискиваясь между двумя огромными тюльпанными деревьями, чьи четырехпалые листья — как след невиданного животного.

Я только что взошел на эту террасу вместе с двоюродным братом Чжаном — тем самым, что мастерит духовые ружья.

Ясный холодок осени. Я ежусь в ватном халате. Меня не тянет к книге. Сегодня ночью приехал отец из Теяни, поэтому все в доме нашем стали на цыпочки и насторожились.

Четырехпалые лапы листьев блестят. Красные, они с легким звоном осыпаются с дерева.

Это интересно.

Из надрезов на коре течет густое масло — от него у деревенских женщин так пронзительно блестят, словно отлакированные, прически. Им натирают свои макушки скупые старухи, боясь разориться на волосяной крем.

Смотреть на масло — это тоже интересно.

Под вялый, приглушенный гул голосов класса, зазубривающего наизусть стихи и изящные древние прозаические тексты, мы глядим на летящие листья. Вот пролетело два, вот пять, вот один, вот стайка, которой и сосчитать нельзя.

Считать, сколько пролетает листьев,— это почти игра, это интереснее, чем стрелять из бамбуковой трубки...

— ...Лентяи!

Оказывается, дядя уже в третий раз произносит это слово над нашими головами. Я никогда раньше не видел у него сердитого лица.

— Я не желаю с вами заниматься, отправляйтесь домой! Пусть твой отец (мне становится совсем холодно) и твой дядя (двоюродный брат шарит глазами на террасе) сам поучит вас. Может быть, вас интересует, как он относится к лентяям?

Мы долго засовываем книги в сумки, медля уйти с террасы, но дядя молчит.

Дорога длинна. Чжан начинает рассказывать сведения из биографии моего отца:

— Давно еще, когда он был учителем, все ученики его боялись, как дракона. Ясно, он будет нас бить, и бить круто. Надо принять меры и спасти наши ладони от мучительной бамбуковой линейки. Вот план. На пристани стоит балаган; его построил человек, приехавший по Янцзы со зверинцем. У него есть медведь, потом животное с двумя горбами и птица, которая бегает, как лошадь. Пойдем и посмотрим, выиграем время и вернемся домой как раз тогда, когда полагается возвращаться из школы. Отцу скажем, что мы отзанимались, а потом подкараулим на улице дядю и сообщим ему, что курс обучения с отцом мы прошли. Вот и все.

Я поражен талантливостью двоюродной стратегии.

На пристани между сетей, просушивающихся на кольях, и опрокинутых днищами вверх лодок — балаган под нажимом берегового ветра надувает свои матерчатые щеки.

Мы входим, и сразу вылетает из нас и школа, и отец, и дядя, и листья, и наказание.

В балагане — два человека. Один — так себе, в обычном халате. Другой в остром белом колпаке, а лицо его раскрашено такими черными и белыми узорами, точно это не лицо, а свадебный сундук.

Они друг с другом разговаривают явно неискренне, но зато длинно и витиевато. Мы их не слушаем. Мы интересуемся зверями.

Первым — верблюд. Его ведет мальчик, достающий верблюду до колена. Мы поражены — как может такой маленький мальчик водить такого большого зверя. Несомненно, этот мальчик особенный, и ему суждено великое будущее. Если он таким крошкой водит, как хочет, за ноздри эту покорную тушу, то каким же героем он станет лет через двадцать и как будут сверкать пятки варварских армий в ответ на сверкание его двух мечей! В каждой руке по мечу — это мы видели уже в бродячих театрах — высшая школа геройского фехтования.

После верблюда мальчик выводит страуса и садится на него верхом.

Мы оба мечтаем. Вот бы нам такую сильную птицу. Мы бы на ней каждое утро ездили в школу, и даже не по очереди, а оба сразу.

Страус скрывается за таинственной холстиной. Взрослый, скучный человек на лязгающей цепи, зацепленной за ошейник, ведет очень мохнатого и очень унылого медведя, выпускающего лиловый язык.

Совершенно неинтересно. Шерсти много и грязи много. Не нравится нам медведь.

Путь до дому легок и быстр. Врем отцу честно, открыто и с энтузиазмом:

— Урок кончился.

Отец спрашивает:

— Почему так рано?

Этого вопроса я не предусмотрел, и у меня во рту немедленно образуется каша. Чжан отвечает вежливо:

— Именно потому так рано кончился, что вы, дядя, сегодня дома. Младший дядя отпустил нас до срока.

— А сколько вы прочли сегодня?

— Столько же, сколько и вчера, дядя.

Немедленно выбегаем на улицу, подкарауливаем младшего дядю, идущего большими шагами, и с веселыми лицами бросаемся к нему.

— Ну что? Поучил вас отец?

— Да,— хором отвечаем мы.

— И больно было?

— Нет! — хором кричим мы.

Мы идем за дядей. Войдя в комнату, он прямо подходит к отцу с вопросом:

— Ну, как они вам читали?

— Так ведь ты же их учил, чего меня спрашиваешь? — удивляется отец.

— Сегодня они лентяйничали, а потому я их отправил домой к вам на расправу,— раскрывает дядя тайну.

Отец побелел.

Я только раз видел его таким страшным. Он сидел однажды за обеденным столом задумавшись. На стол вскочила испуганная чем-то курица. Отец вздрогнул, выхватил револьвер из кобуры и застрелил ее. Кропя кровью, курица металась по двору...

Руки отца неразжимаемыми клещами охватывают наши плечи. Он трясет нас и кричит:

— Негодяи! Лгуны! В старые времена в Америке Вашингтон из озорства срубил любимое дерево отца. Но когда отец, рассердившись, спросил, кто это сделал, Вашингтон сказал правду, не боясь наказания. Почему ты солгал отцу? Как смел ты солгать отцу?

Он хватает бамбуковую линейку и бьет нас по очереди по левым ладоням. Особенно жестоко он бьет меня. Я кричу, и яростное лицо отца двоится, лучится, вспухает и дрожит, потому что нестерпимые слезы бегут из глаз.

Четыре дня я не могу в распухшую ладонь взять ни одной вещи. И сейчас, когда мне доводится вытянуть перед собой раскрытую ладонь, я вспоминаю отцовский крик о Вашингтоне, свист бамбука и лицо двоюродного брата.

Недолго он пробыл в школе после этого. Он был способен, но слыл лентяем, а родители его были бедны, почти нищи. Скоро вместо школьной кисточки пальцы его сжали палочку для вылавливания кипящих коконов в шелкомотальной мастерской.

Только в бездельные, оклеенные красными приветствиями дни Нового года прибегал он ко мне и сразу зарывался в книги, о которых не переставал тосковать. О работе своей рассказывать он не любил. Она была ему противна.

С шелкомотальни он перебросился приказчиком в мелочную лавку, в город Чунцзин. Долгие годы был мальчишкой на побегушках, работал больше двенадцати часов в день, зарабатывая в месяц два-три даяна.

В школе это был живой, ясноглазый, румяный сорванец. Лавка

слизала румянец с его щек, сделала его тихим, как паутина: потухли его ясные, словно вода зимней Янцзы, глаза.

Много позже, когда я уже собирался в университет, два генерала схватились друг с другом из-за города Чунцзина. Предчувствуя погром, который закатит городу победитель, купцы попрятались, оставив за прилавками приказчиков. Победитель вломился в город и обложил все лавки данью, угрожая, если не заплатят, грабежом. Чжан внес из хозяйской кассы генеральскому сборщику сорок даянов дани.

А потом генерал ушел и вернулся лавочник. Он накинулся с руганью на приказчика, как смел тот платить деньги без его разрешения. Он издевался, грыз его, грозил судом, называл вором, утайщиком, кричал, что выгонит.

Исполнительный хиляк заволновался, замучился; на другой день кровь пошла у него горлом. Через месяц он умер, как одинокая, заеденная тлями птица.

Когда отец пристрелил курицу на столе, мать спросила его:

— Зачем ты рассердился? Ты ведь любишь рыбок, кошек, я никогда не видела, чтобы ты бил собаку?!

Отец ответил резко и насмешливо:

— Разводить птиц — занятие бездельников.

Глава 13

СЕСТРЕНКА

Дядина школа.— С мамой неладно.— Конфета.— Ню-цай-цзы.— Кем будет сестренка

Дядина школа уже перебралась в другой храм, просторнее, но и дальше от дома. Чтобы не выхаживать мне до переутомления долгие концы от дома до школы, дядя забирает меня жить к себе и отпускает домой по субботам. Дядя придерживается европейских порядков. В его школе, как в казенной, раз в неделю день отдыха. Это не то что частные школы, держащие ученика над книгой от праздника до праздника. А праздники в Китае редки, как ручьи в пустынях.

Учебный день. Меня вызывают из класса. Это служанка. Соображаю — с матерью неладно. Служанка появляется в нашем доме только в те дни, когда мать выходит из строя.

Спешу. По дороге служанка сообщает мне то, чего я никак не ожидал:

— Мать родила тебе сестру.

Я рад, а то мне одному дома скучно.

Служанка сдает меня бабушке. Лукаво и торжественно вводит меня старуха в мамину комнату. Мать лежит бледная, худая на кровати, вытянув руки поверх одеяла, и молчит.

Рядом с ее кроватью маленькая смешная кроватка. В белых пеленках лежит что-то, сделанное из сплошных шариков и щелочек.

— Девочка,— говорит бабушка.

Я хочу потрогать сестру, но бабушка мне не позволяет. Тогда я решаю немедленно пойти в лавку и купить ей конфету. Бабушка садится на мамину кровать и смеется долго-долго тоненьким голосом. Перестает, глядит на меня, повторяет: «Конфету» — и снова смеется. Дорого обходится мне эта конфета. Бабушка умеет вышучивать. Я говорю бабушке:

— Это хорошо, что у нас родилась девочка.

— Нет, плохо,— важно возражает она.— Ведь у нас, в Сычуане, за невестой надо давать приданое. Одно разорение. Вот если бы мы жили в Цзянсу, она бы сделала хорошо, родившись: там за невесту платят семье выкуп.

Я с бабушкой не согласен. А впрочем, она опять смеется. Вероятно, все ту же конфету вспомнила.

Служанка осторожно, чтобы не расплескать, несет маме чашку с вареной курицей. Каждая роженица в Китае в послеродовые дни ест курицу. Курица — вещь вкусная. Я смотрю на нее приветливо. Мама сажает меня рядом, и мы опустошаем чашку в четыре челюсти.

Беря пустую чашку, бабушка снова серьезно глядит на меня и деловито говорит:

— Правда, Ши-хуа, хорошо бы, чтобы мать каждый год рожала брата или сестру, тогда бы ты часто ел курицу.

Через месяц в нашем тихом доме жужжат родичи. Какая их уйма! Мама ходит ясная, приветливая, но все-таки белая и худая, хотя она весь этот месяц не работала. Она выходит в гостиную с сестренкой на руках, и все родственники по очереди подходят, ворошат пучеглазую девочку, на голый живот которой падает красный фланелевый передник — от простуды. Говорят о том, чей нос, на кого похожи глаза, в кого удались губы, и изрекают пожелания счастья:

— Пусть она будет умная, как ее мать.

— Пусть из нее выйдет приветливая хозяйка.

— Быть ей самой красивой невестой в Сиань-ши.

— Она будет ню-цай-цзы.

Ню-цай-цзы — значит знаменитая писательница. Это пожелание говорит старший дядя. Я знаю, он сам любит писательствовать, поэтому всем новорожденным он говорит одно и то же: мальчикам желает быть цай-цзы — гениальными писателями, а девочкам — ню-цай-цзы.

Осмотр окончен, сестренка завернута в пеленки и унесена. Родичи подносят матери подарки. Тут и яйца в плетушках, и клохчущие куры, и кульки сахара, и отборный рис, клейкий и разваривающийся, который хочется нанизать на нитку и надеть как ожерелье — такой он красивый, и конфеты...

Ах, конфеты!

Бабушка переводит глаза с кулька конфет на меня и опять смеется.

Процессия родичей движется в столовую.

За столом от нашей семьи им раздаются ответные подарки: по два красных яйца.

Мне жалко — у нас не хватило денег, и я не мог на каждое яйцо наклеить резной, из золоченой бумаги, иероглиф счастья.

А ровно через год, в день рождения сестренки, те же родичи толпятся в

нашем доме. В зале красной скатертью накрыт стол, а на столе разложены разные вещи: нитка и иголка, кастрюля, чайник, кисть, печать, тушь, нож, книга поэм, книга рассказов, гибкая фехтовальная шпага, учебник, кусок узорчатого шелка.

Девчонку, норовящую от смущения пососать свою собственную ногу, подносят к столу и смотрят, за какую вещь она ухватится. Возьмет кисть — будет писательницей, схватит кастрюлю — станет домохозяйкой, цапнет шелк — вырастет франтихой, ухватится за шпагу — прославится как героиня и полководица.

Я не знаю, какую вещь выбрала моя сестрица. Судя по тому, что сейчас в Пекинском университете она проявляет большой интерес к литературе, она должна была схватить кисть или книгу. Впрочем, она племянница двух учителей. На красной скатерти было наворочено столько книжных, канцелярских и писчебумажных товаров, что бедная иголка с ниткой не имела почти никаких шансов попасть в лапчонки годовалой Ши-куэн.

В те дни она главенствует дома, оттесняя меня на задний план. Впрочем, я не обижаюсь. Я взрослый. Я старше ее на целых шесть лет.

Глава 14

Я БОЛЕН

Врач.— Бред.— Мама шьет.— Меня увозят.— Подозрения даоиня.— Отцовские переодевания

Самые тяжелые недели вызревания революции, когда накапливаются винтовки, отряды и боевая злоба, проходят, не касаясь моего воспаленного мозга.

Я болен. Тяжелая лихорадка перебрасывает меня из влажного жара в липкий холод. Все время на меня из-за полога кровати лезет злобное рыло того, кто меня ненавидит и хочет убить. Врач Сиань-ши уже который раз щупает мне пульс и смотрит язык. Он ничего не понимает. Мать завертывает меня в ватные одеяла, младший дядя сносит меня вниз к реке, а затем я чуть помню крытый кузов большой лодки, которую трое гребцов проталкивают тяжелыми веслами по бешеному и порожистому течению Янцзы к городу Теянь.

Восемь месяцев лежу я и таю и выгораю болезнью в комнате отцовской квартиры. Сквозь бред слышу я иногда его стремительные шаги в соседней комнате. Он ко мне не заходит. Он нами не интересуется. Пискливая сестренка, карабкающаяся на материнских руках, для него не дороже дохлой вуалехвостой рыбки, плавающей в стеклянной вазе. Он весь там, где готовят революцию, где отрывистые грубые голоса людей, а приезжающие и уезжающие проходят, как песчинки в начинающем закипать котле.

Врач приходит ко мне часто, он уже не смотрит язык и не щупает пульса. Он только недоуменно вздергивает бровью, как бы удивляясь: «Скажите пожалуйста, еще не умер». И пишет рецепты. Горчайшее лекарство течет по моему одеревенелому языку, и лихорадка нудит нутро, не давая

передышки. Я с кроватью отделяюсь от пола, и вот уже комната, балки потолка и оконные стекла и склянки на столе в изголовье начинают описывать круги вокруг меня. Так вращается ночью небесный свод с вколоченными в него звездами вокруг неподвижного земного шара.

Комната вертится колесом, и губы несут околесицу, а рядом со мною на стуле, укачав и положив в колыбель сестренку, безмолвно мучается мать.

Кризиса нет. Болезнь тянется, как необозримое болото. В светлые минуты нельзя понять: то ли это перелом к выздоровлению, то ли предсмертное прояснение запытанного болезнью мозга.

Полегчает, отпустит и снова кидает в бред и в жар.

Сквозь туман, слабость и круговорот комнаты помню глухие ночи, нестерпимо надоевший язык керосиновой лампы и мать, которая, придвинув к этой лампе свой натянутый прической гладкий белый лоб, шьет и шьет из ночи в ночь, ворошась в лоскутах белой материи с какими-то красными не то узорами, не то иероглифами.

Я ее спрашиваю:

— Мама, что это ты шьешь?

Мама, вздрогнув, сбивает лоскуты в плотную кучу и отвечает:

— Это я, Ши-хуа, тебе шью новый костюм к выздоровлению.

Я не верю. Я больше не спрашиваю. Во-первых, куда мне столько костюмов, а во-вторых, я вижу: то днем, то ночью приходят люди и уносят охапки пошитой матерью материи, и все-таки ворох ее не становится меньше.

Кончается лето. Тихо уходит болезнь. Нет уже моих крепких красных щек. Болезнь сделала меня хилым и прозрачным.

И до сих пор лапа болезни на моей впалой груди, хотя я уже взрослый человек.

Желтый октябрь проходит над Сычуаном. Уже революция близко. Уже ее нельзя спрятать. Уже она прорывается тут неосторожным словом, там выстрелом или ударом ножа.

Отец ходит страшный. Никто из наших не осмеливается подходить к нему. Он осунулся. Глаза завалились в берлоги, губы и подбородок почернели небритой щетиной, волосы отросли нечистоплотными прядями, как у монаха.

Восстание уже близко, может быть, через три дня, может быть, послезавтра.

Младший дядя появляется в нашем доме: он приехал увезти меня в деревню. Мама горько плачет, точно ее прорвало. Я тоже не хочу в деревню. Я хочу остаться с мамой. Отец гневно кричит, он приказывает. Я легкий, почти голубой, качаюсь от слабости почти так же, как качается бабушка на своих «золотых лилиях». Мать загораживает меня от отца, быстро гладит по волосам и шепчет:

— Поезжай в деревню, я сейчас же приеду вслед за тобой.

Я теперь знаю, ей хотелось побыть со мной: я с натугой влезал обратно в жизнь, а она уже тихо уходила из жизни.

Снарядить меня недолго. Быстрые мамины руки складывают в мешок мои учебные книжки с картинками, жестяную банку с вареньем, люби-

мые мои шахматы и моего приятеля, деревянного старичка — ваньку-встаньку.

Я жду маму день, другой, она не едет. Вместо нее рядом со мной бабушка. Я ее не узнаю. Точно она все время беспрерывно слушает, что происходит за шестьдесят ли отсюда — в Теяни. Она ходит как заводная и вздрагивает от каждого шума, скрипа, стука, шага.

Я начинаю понимать, почему меня убрали из города. Но почему же не едет мама?

Она так и не приехала.

В городе стало тревожно.

Прополз слух, что мой отец — революционер. Слух дошел до даоиня.

— Как? Начальник полиции — революционер?

Недоверчивый старик проверяет слух издалека.

Жена даоиня является с визитом к моей матери. У нее верткий язык, острые глаза, хорошо наставленные уши.

Идет чаепитие, беседа, сплетня.

Мать весела и приветлива. Ах, она так рада видеть уважаемую жену начальника мужа. Ах, она так счастлива с ней беседовать напролет, забывая часы сна и отдыха.

На другой день мать отдает визит жене даоиня. И опять чаепитие, опять восхищение искренней дружбы.

Как матери уехать в деревню, когда надо залепить даоиню глаза и уши липким и сладким тестом лести, а не то липкая теплая кровь казни хлынет из глаз и ушей отца, ее самой и меня, ждущего ее в далеком Сиань-ши.

Нельзя подавать вида, будто перед решительным днем восстания идет заблаговременная отсылка семьи в деревню. Женской проверки даоиню мало. Отцу приносят красную пышную визитную карточку. Даоинь приглашает его к себе на банкет.

Идти или не идти? А вдруг на банкете упадешь, почернев, под стол, проглотив отравленный бокал приветственного тоста?

А вдруг в разгар обеда, после вкуснейшей слизи акульих плавников, руки даоиньских телохранителей схватят под мышки, выведут во двор и предадут излюбленной казни, изобретенной жестоким стариком,— толстой палкой, вроде оглобли, медленно, в течение трех часов, будут забивать насмерть.

Но не пойти — значит провалить подготовку восстания.

Отец идет на банкет, согласно этикету не взяв с собой ни одного телохранителя. Трогательные беседы журчат за столом. Задушевный обед успокаивает старика на три четверти. Но все-таки он отдает приказ взять под наблюдение дом отца.

Странные зеваки появляются с этого дня на улицах рядом с полицейским управлением и отцовской квартирой. Совершенно новые разносчики раскрывают свои лотки на ближних перекрестках. В ответ на это отец отдает приказ перенести все тайные собрания за город. Работать становится невыносимо трудно.

Каждое утро отец входит во двор полицейского управления, запирает за собой дверь кабинета, у которого стоят часовые, и велит никого

не принимать. Через полчаса из полицейского управления выходит неряшливо одетый бородатый крестьянин, явный простофиля из дальних нагорий. Пряча лицо под дюжей соломенной шляпой, он уходит развалистыми шагами в сопровождении полицейского мимо скучающих сыщиков.

К вечеру тот же полицейский приводит к воротам управления захудалого фруктовщика, волокущего в бамбуковых корзинах на гибком коромысле персики и виноград. Вид у этого торговца явно беспатентный.

А еще через полчаса из ворот полицейского управления мимо отдающих честь часовых, весь в черном от носков до горла, придерживая рукой никелированные ножны палаша, идет отец, направляясь после трудового дня домой. Тайное собрание проведено, проверены новые отряды, розданы директивы.

Коробка с гримировальными красками, искусственные бороды, шляпа разносчика и лохмотья крестьянина заперты в кабинете начальника полицейского управления.

Завтра опять опасный спектакль.

Глава 15

ПАДЕНИЕ ЦИНОВ

Арестовать отца.— Решительная ночь.— Повстанцы.— Кто протестует? — Товарищ убит.— Стрижка кос.— Что с бабушкой? — Без отца.— Склока.— В ямыне

Тысяча девятьсот одиннадцатый год по европейскому исчислению; третий год царствования императора Сюань Туна по китайскому счету. Надвигается ноябрь.

Товарищ отца, организатор восстания в соседнем уезде, с которым был уговор выступить в один день и в один час, срывает план.

Он прорывается двумя днями раньше срока, арестует даоиня своего уезда и на следующий же день шлет отряды на подмогу моему отцу. А перед отрядами быстрее бега бежит слух о восстании. Войска отца еще не готовы.

Словно ветром, без всяких телеграфных проводов, доносятся до ушей даоиня страшные вести. Даоинь отдает начальнику батальона приказ арестовать отца. Это поручение передается звену солдат. Один солдат из этого звена — член союза го-лао.

Звено в полном составе является к отцу и рапортует:

— Даоинь приказал нам арестовать вас. Мы должны сегодня ночью явиться к вам на квартиру и схватить вас врасплох.

Стремительно отец мобилизует ближайший к городу отряд го-лао, всю полицейскую школу и это самое звено.

В тот самый час, когда солдаты батальона, по расчету даоиня, должны схватить отца, его в постели нет. Он на другом конце города командует шеренгами полицейских, охватывая дом даоиня.

Даоинь арестован. В этот ночной час маньчжурская власть в Теяни кончилась.

Только наутро поняли горожане, что пришла революция.

Над даоиневским ямынем и казармами нет императорского желтого флага с черным драконом.

Над восставшей Теянью на высоких бамбуковых древках полощутся революционные знамена, белые с красным кольцом посередине, в которое вшит красный же иероглиф «Хань» — древнее имя китайского племени.

Эти слова для китайца-националиста то же, что слово «Русь» для русского. Вот она — одежда, которую шила мне мама в дни болезни.

Двери тюрьмы вскрыты. В ней нет ни одного революционера. Даоинь не дал им дождаться дня революции. Они казнены.

Революция идет пока с сухими руками. Она никого не казнит. Щадит даже даоиня, сидящего под домашним арестом.

Город растерян. Говорят вполголоса, дивятся, не верят, шепчутся. Особенно опасливый шепот идет из лавок.

— Измена императору.

— Если так пойдет дальше, городу не миновать казней.

И разбегаются, смываются, исчезают, точно вода в щели.

Интеллигенты, носители чванных ученых степеней, за глаза поносят отца за участие в восстании.

— Как может человек, имеющий ученую степень, умственный аристократ, становиться во главе бурлаков и бандитов и изменять императорской династии?

Отец не слышит этих разговоров или делает вид, что не слышит. Он кипит и клокочет все двадцать четыре часа в сутки. Он отдает приказы об арестах, он вступает во владение двумя даоиневскими батальонами и долгожданными ружьями, которых до сих пор так не хватало.

Из деревень к его дому целыми днями стягиваются одиночки, группки и целые отряды людей с двурогими вилами, пиками, кривыми саблями, тонкими длинными шпагами, а то и просто с увесистыми боксерскими кулаками и все требуют патронов, оружия, еды и жилья.

Уже в городе не остается свободных храмов, где бы на плитах перед крашеными деревянными богами вместо тлеющих курильниц не горели грубые костры, согревая чай для людей, ёжащихся в ноябрьском свежем мраке.

Здесь дровосеки из дальних ущелий, в коротких куртках и травяных сандалиях, с топорами за спиной. У рыбаков и бурлаков, которых кормит илистая Янцзы, штаны до колен и тяжелые рубахи цвета застывшего ила. Синие куртки крестьян пыжатся на ватной подкладке. Безработные бродяги тянут к огню головы, замотанные белыми, синими, черными полотенцами, и вожаки их банд отличаются от своих соратников только шелком тюрбанов. Некоторые сокрушенно разглядывают неимоверные дыры штанов и выстригают из обматывающих голову полотенец кривыми ножами лоскуты на заплаты. Со всех гор руслами дорог стекают в Теянь отряды, и кажется, скоро город не выдержит их напора и треснет по каменным швам.

Никогда столько профессиональных бандитов с окрестных перепутий

не вмещал в себе город. И в то же время надо дивиться, как мало грабежей.

Но над постоями и лагерями революционных войск творится неладное. Ссоры и драки между отрядами вспыхивают ежеминутно. Пока что стреляют только языки, но могут начать стрелять и ружья. Все время рождаются и переползают от лагеря к лагерю слухи и сплетни:

— Нас обидели. Другим дали амуницию,— нам нет. Другим уже выдали рис,— нам нет!

Выручает захваченная казна даоиня. В ней восемьсот тысяч лан — полтора миллиона даянов. На эти деньги питаются, живут, одеваются и вооружаются отряды..

Среди часовых у ворот казны мой троюродный брат — офицер одного из отрядов. Его поражает форма серебряных слитков, сложенных подобно дровам за толстыми стенами казнохранилища. Он до сих пор видел только маленькие десятилановые слитки в виде туфелек, а здесь лежат целые колоды по пятидесяти лан. Он берет себе слиток... только один слиток... только для коллекции...

Приказ отца об аресте не успевает его догнать. Зная, что значит приказ Дэн Я-пу, он бежит, сводимый судорогой страха, в леса, в горы, в глушь. Больше его никогда никто не видит.

Через неделю первый удар по восстанию.

Товарищ отца, бросивший ему на помощь отряды из соседнего уезда, сам с другим отрядом двинулся в наступление на уездный город Лян-шан, находившийся в руках китайца-даоиня, верного маньчжурам. В Сычуане революция опрокидывала неманьчжуров. Коренных маньчжуров в Сычуане было только один вице-король да два-три высших чиновника.

Даоинь Лян-шана — пройдоха. Он приветствует вступающий в город отряд товарищей.

— Я за революцию,— ластится он, многократно кланяясь и сладчайше улыбаясь.— Разрешите передать вам мой гарнизон, дабы, присоединив его к своим войскам, вы могли еще успешнее повести дальнейшее наступление.

Товарищ доверчив. Даоинь оставлен на свободе.

Товарищ располагается на ночлег в гостинице. Но октябрьская ночь в Лян-шане темна, революционные переходы утомили и товарища и его телохранителей. За полночь даоинь с солдатами вламывается в спальню товарища. Тот, не успев проснуться, кропит кровать кровью, зарубленный солдатскими тесаками. Отцу трудно одному. С фланга нависает ляншанский даоинь. Труднее становится с жителями Теяни. Они опять начинают толковать, что это не революция, а бандитская вспышка. Иди доказывай им, что по всему Китаю тун-мин-хуэй опрокидывает маньчжуров.

Отец передает всю власть в городе своему товарищу, революционеру Ли, а сам во главе отряда, составленного из «старших братьев» и своих полицейских, бросается на Лян-шан.

Через месяц предательский Лян-шан и еще два верных маньчжурам уезда превращаются в уезды революционные. Войска даоиня, убийцы товарища, увеличивают собою полк отца. Даоинь схвачен. Отец велит его поставить над могилой убитого им товарища и обезглавить.

За успешные военные действия Центральное революционное правительство выдает отцу специальную премию в тысячу даянов.

Меня привозят из деревни в город посланцы отца через два дня после переворота. Но я еду один. Бабушка отказалась. Она не верит в удачу. Нервы ее дрогнули, она больше не может себя держать в руках, она больше не улыбается. Либо она впадает в столбняк и глядит перед собою часами, не мигая, точно буравит выкатившимися глазами деревянную стену, либо, прибирая комнату, в которой, кроме нее, никого нет, вдруг начинает разговаривать.

Прибежишь на разговор, спросишь:

— С кем, бабушка, разговариваешь?

— Я? Разговариваю? Что за чепуха!

А у самой вид, точно ее ведром холодной воды разбудили в самый разгар сна.

Уйма людей, протекающих сквозь наш дом, затирает меня, не дает опомниться, выбивает из колеи. Город разбужен, в нем гудят, суетятся, пререкаются, опасливо торгуют и звонко точат оружие.

Идет стрижка кос. Ножницы отщелкивают мою маленькую, столь заботливо оберегаемую матерью и бабушкой косицу. Мне ее не жалко. Пусть валится на пол. Что коса на затылке китайца, что надпись на лбу «маньчжурский раб» — одно и то же.

По стенам белеют квадраты приказа: «Тем, кто не снимет кос в десятидневный срок, отстригать таковые принудительно за казенный счет».

На теяньских заставах, там, где проселочные дороги подбегают к стенам города и, проломив их, превращаются в городские улицы, поставлены солдаты с винтовками и ножницами. Около солдат на земле растет мягкая копна кос. Около ворот не утихает ругань обкорнанных проезжающих, которые поносят революцию, держась за кургузый затылок. Снятых кос им стыдно больше, чем если бы с них стянули штаны. Именитые интеллигенты протестуют:

— Насилие! Лапа грязного туфея, разбойничавшего вчера еще на дорогах, смеет тронуть наши благородные чубы! Коса — не знак рабства, коса — знак верности императору, предкам, великим законам и древней науке. Начнут с косы, а кончат тем, что пойдут опрокидывать алтари в домах и вышвыривать лучших людей из родовых усадеб, как паршивых собак...

Негодуют крестьяне:

— Где это видано... Века с косой жили... Отцы и деды с косой ходили... Засмеют нас в деревне, как бесхвостых собак.

Только кули рады бесплатной парикмахерской и охотно подставляют под солдатские ножницы свои косы, собранные потными, смрадными, вшивыми узелками на бритом коричневом черепе. Ладно! Меньше возни с насекомыми и мойкой. Они бы и раньше состригли, если бы этого не запрещал маньчжурский закон.

Многие, проезжая ворота, складывают косы лепешечками на темени и прячут под шелковую ермолку. Но солдаты быстро разбирают, в чем дело. Взяв шапку за шишечку, приподымают они ее, как крышку чайника, и

оттуда, навстречу радостно лязгающим ножницам, вываливается коса.

Скупщики волос — за революцию. Никогда еще Китай не приносил им такого урожая дешевого человечьего волоса...

Товарищ Ли, оставленный отцом в городе, молод. Ему не управиться с начальниками отрядов.

Предводители в тюрбанах и без тюрбанов, в офицерских фуражках и штатских ермолках его презирают, рвут на части и требуют больше, чем он им может дать.

Рука отца держала их в жестком послушании, но в отсутствие отца каждый из них считает, что именно его надо было оставить заместителем.

Один из этих командиров собирает сочувствующих себе атаманов и на собрании заявляет:

— Довольно молокососу командовать нами! Пора его поставить на место!

Но командиры еще боятся устраивать переворот. Вместо того чтобы арестовать Ли, они вызывают отца из похода. К Новому году отец возвращается в Теянь.

Центральное место города — ямынь. Это огромное владение, целая усадьба, где за плотно сбитой стеной много домов. Там даоинь с канцеляриями, там комендант со своим отрядом, там квартира командующего войсками, там суд, сборщик податей и высокий частокол тюрьмы.

До революции ямынь — таинственное место. Мы, ребятишки, проходя по площади мимо его ворот, вечно охраняемых часовыми, смутно мечтаем о том, какие там залы, обеденные столы, пруды с мраморными кораблями и золотые рыбки трехсот тридцати трех фасонов.

Теперь ворота ямыня раскрыты настежь, красные полосы ткани облегают его карнизы внутри и снаружи, цепи бумажных фонарей прозрачными гармониками, желтыми, красными, зелеными, покачиваются в ветре, поскрипывая крючками по тонким бамбуковым жердям.

Члены «военно-гражданского управления уезда» — по-советски правильнее было бы сказать «военно-революционного комитета» — степенной толпой проходят в ворота ямыня. На них новые серые халаты, поверх которых парадные черные атласные ма-гуа. А через плечо перевязь, а на перевязи иероглиф занимаемой должности.

Это отец собирает революционных правителей уезда решать тяжбу недовольных командиров со своим заместителем Ли.

Глава 16
ОПЯТЬ НАКАЗАН

Подношения.— Новый год.— Кто украл? — Бить меня.— Тетка спасает.— Возвращение прислуги.— Бабушки нет

Теперь ясно — революция выиграла. Хотя не все даоини еще сдались, но вести из Ханькоу от революционного правительства хорошие.

Соседи и родственники волокут к отцу подарки. Он вежливо отказы-

вается и возвращает домой опешивших посланцев и сопровождающих их кули с тяжелыми тюками, свертками и ящиками на коромыслах.

Соседи и родичи считают отца бандитом. Они убеждены: еще немного — и он даст приказ своим двуногим зверям, сбежавшимся из ущелий Сычуана, грабить дома. Они недоумевают, когда же наконец Дэн Я-пу, человек, попавший в такое выигрышное положение, начнет зарабатывать на ловко проделанном им перевороте? А может быть, его отказ — просто намек: мол, несите больше.

Снова к нашим дверям на плечах кули колышутся тяжелые кипы материй, свистящий шелк, золото фруктов и тяжелые слитки серебра. Волнуясь, семенят сами дарители за своими подарками, кланяются, улыбаются, говорят очень красивые изречения, и их испуганные и хитрые глаза ощупывают лицо отца с тревогой: удастся ли откупиться?

Отцовское лицо спокойно, точно на него перчатка надета. Он объявляет родственникам и соседям, что фрукты примет, ибо отряды нуждаются в съестном, а принесенные дарителями плоды уже начали портиться и могут пропасть совсем. Но он предлагает взять обратно ткани и деньги. Сейчас революция в деньгах не нуждается. Он сожалеет, что этих денег ему никто не приносил тогда, когда они были нужны готовящемуся восстанию, ну хотя бы два месяца тому назад.

Я хожу среди бамбуковых корзин, в плетении которых глядят мандарины, и глухих ящиков, дышащих грушами. Я слышу голос отца, командующий матери:

— Сложить фрукты в кладовые и отослать их на Новый год войскам.

А Новый год уже близок. Не китайский Новый год. Тот ежегодно перепрыгивает с места на место, потому что в Китае месяцы согласованы строго с движением луны, в них двадцать восемь — двадцать девять дней, и таких месяцев три года подряд по двенадцати, а в четвертом году их тринадцать. Нет, приказ отца говорит о Новом годе по европейскому стилю. Этот Новый год будет праздноваться в первый раз. Его только что ввела революция.

Отец быстрым шагом, не глядя, проходит мимо меня, и я прячу свое лицо от его взгляда (но, впрочем, он на меня и не глядит, он слишком занят там, вверху, над моей головой), точно я перед ним провинился.

Мать в дальних комнатах занята с гостями. Их столько, будто у нас в доме свадьба или похороны. А каждому нужна чашка чая, любезная улыбка и несколько минут вежливого разговора. Эти минуты липнут к минутам, скатываются в сутки, а сутки сбиваются в глыбы недель.

Время, когда отец зарабатывал восемь даянов в месяц, уже миновало. Жалованье отца двести даянов. Мать уже не плачет в дыму кухни. У нее — прислуга.

Крохотной бледной тенью, с трудом выздоравливая от только что перенесенной болезни, хожу я по дому и мимо кладовых и вижу, как солдаты — они грубые и нечистые, я их боюсь — сквозь дыры бамбуковых корзин выбирают беспризорные мандарины или тесаками надламывают ящики и, высасывая спелые груши, каплют соком на плиты нашего

двора. Я слежу за ними не столь негодуя, сколь завидуя: мне фрукты запрещены врачом под страхом смерти или новой тяжелой болезни.

Новый год. По казармам разносят фрукты. Отец обходит казармы. Он останавливается перед изуродованными ящиками и полупустыми плетушками и гневно спрашивает возчиков, таскающих ящики с повозок во двор казарм:

— Кто трогал фрукты?

Возчики отвечают, что такою они взяли кладь дома.

Словно грозовая туча вплыла в комнату, так вошел отец в дом:

— Кто брал фрукты?

Мать пожимает плечами.

Отец накидывается на прислугу (она, я видел, не раз ухватывала на бегу мандарины из разодранных плетенок).

Выдержать гнев Дэн Я-пу прислуге кажется немыслимым.

Отец требует.

— Кто брал фрукты?

Она показывает на единственного человека, который непричастен к фруктовым корзинам,— на меня.

Мои сконфуженные оправдания тонут в методичном гневе отца.

— Врач тебе запретил фрукты. Ты нарушил запрет врача. Если ты взял, должен был сказать. Взявши тайком, ты — обманщик и вор.

Мать пытается вступиться:

— Тут съедены тонны. Ясно, что не маленький ребенок уничтожил эту массу фруктов.

Яростный отец отводит мать жестом, не терпящим возражений.

— Я и не говорю, что он все съел. Я говорю, что мой сын участвовал в краже фруктов, предназначенных для армии. Как ты смеешь заступаться за вора?

Тихое заступничество матери взрывается в отце бешенством. Мой лепет тонет и захлебывается в его ярости.

Вторично в моей жизни бамбуковый прут свистит по воздуху, кромсая мне ладонь и спину.

За взрослых воров и объедал отвечает моя хилая спина. Обида пересиливает боль.

Посторонняя рука хватает меня и отбрасывает в сторону от бамбукового свиста. Я не вижу отца. Его заслоняет от меня женская фигура. Отец швыряет прут в угол и молчит, загипсовав лицо в маску. Моя спасительница — старшая тетка. Она только что приехала и вошла в комнату в момент расправы. На гостью, на старшую сестру, отец не смеет поднять ни руки, ни голоса.

Из-за всех дверей, налезая стеною, наблюдают стычку поколений солдаты, несущие караульную службу в нашем доме.

В три слова тетка входит в суть вещей и набрасывается на отца:

— Прежде чем бить ребенка, надо выяснить дело и расспросить по крайней мере тех солдат, которые дом окарауливают.

И, не ожидая отцовского ответа, она огорошивает солдат вопросом:

— Неужели вы не сумеете сказать, кто брал фрукты?

Солдаты мнутся, но... во-первых, они «братья» из союза го-лао, во-вторых, с ними говорит родственница их да-го, в третьих, они слышали мой плач и знают, за что бил меня отец.

— Да, мы брали фрукты, и другие солдаты тоже,— сознаются они.

Отец молча поворачивается на каблуках и уходит в ямынь.

Он не верит никому: ни матери, ни мне, ни тетке, ни солдатам. Он убежден, что я — вор. Этого довольно.

Прислуги уже нет в доме. Когда началось теткино следствие, она сбежала: все равно, мол, хозяйка прогонит ее, узнав правду.

Проходит несколько дней. Прислуги нет. Мать посылает людей найти ее. Она является в наш дом, как на суд. На вопрос, почему она убежала, сбитая с толку, трясущаяся женщина выкладывает все. И как она испугалась отца, и как она ела фрукты, и как она оговорила меня. Мать передает ей заработанные деньги и спрашивает:

— Хочешь служить у нас дальше?

Она работает в нашем доме до маминой смерти, и нет вернее и нежнее ее сиделки около постели больной мамы.

Кончился Новый год. Стихла праздничная толчея в городском доме. Мать в деревне у больной бабушки.

Старухе хуже. Она ничего не ест. Немного соевого молока, надавленного из бобов,— вот и вся ее дневная порция. Врач хмурится.

— От старости не лечат. Ведь ей уже семьдесят.

Бабушка лежит в постели и шевелит губами. Наконец это шевеление становится слышным:

— Хочу видеть Ши-хуа.

Но тут же обрывает:

— Не надо, пусть не приезжает. Не хочу, чтобы увидал мое угасающее лицо. Будет плакать.

Когда она умирала, только мама, сама уже смертельно больная, была рядом с ней.

Бабушку хоронят тихо.

Около Дэн Цзя-чжень — деревни, носящей наше родовое имя,— есть холмы. Там наше родовое кладбище. На нем хоронят малых детей и бездетных Дэн. Бабушка была не родной матерью, а мачехой отца и к тому же бездетной. Ее похоронили на общем кладбище. Деревенский фын-шуэй определил, как положить среди многочисленных могил разных Дэн ее тело, переставшее качаться на туго забинтованных «золотых лилиях».

Глубоки наши сычуанские могилы. Глинистый пласт пробивают они до каменной подстилки. Это не то что в Цзянсу или Чжецзяне — провинциях устьев Янцзы, где близка подпочвенная вода и где гроб ставится прямо на землю и обсыпается земляным холмом.

Бабушка похоронена.

В новый поход уходит отец и перед уходом переселяет нас обратно из города в тихую деревню Сиань-ши.

Глава 17

РЕВОЛЮЦИИ ТРУДНО

Красный шарик.— Расправа.— Разбитые боги.— Ли ненавидит Теянь.— Поход на Вань-сян.— Человек под обрывом.— Граната.— Пятьсот даянов.— Самоуправец уходит

Один из отрядов заявляет отцу:

— Довольно продолжать борьбу. Что за путаница? Мы свергли императора-маньчжура, пора на его место поставить императора-китайца. Довольно с нас вашей команды и распоряжений революционного правительства, с вашим доктором Сун Ятсеном.

И, объявив себя независимым, отряд учиняет погром, резню и грабеж в той деревне, где стоит.

Нечего особенно доискиваться, откуда у отряда появилась такая любовь к китайскому императору. Командир отряда — человек из бывших императорских телохранителей; на шапочке его сияет красный шарик, знак того, что он имеет солидный придворный чин.

Отец придумывает, как раздавить взбунтовавшийся красный шарик. Но в это время от центрального правительства приходит приказ отцу наступать на ваньсянского дуду (губернатора), на которого уже вверх по течению движется сильный отряд Сюн Ке-у.

Вань-сян (Ваньсянь) — крупный порт на Янцзы[1]. Клином сидит ваньсянский дуду между революционерами Сычуана и Хубея. В столице Хубея — Ухане находится революционное правительство.

Отцу некого оставить в Теяни заместителем, кроме того самого Ли, у которого уже был скандал с командирами.

Ли должен ликвидировать отряд красного шарика, которого, кстати, тоже зовут Ли. Один Ли должен смести другого Ли.

Отец дает своему заместителю инструкцию:

— Не надо казней. Сажай в тюрьму. Таких людей, как Ли с красным шариком, у нас по отрядам много. Всех не переказнишь. И так по базарам, лавкам и храмам темный люд говорит, что мы бандиты и кровопускатели. Подойди к отряду не с кулаками, а с агитацией. Перетяни его на свою сторону и обезоружь.

Ли молод и быстр в решениях. Осторожные советы отца ему не по душе.

Отец с отрядом уже далеко от Теяни. Янцзы несет их лодки на своей бугристой спине. Ли, заместитель отца, приглашает мандарина Ли с красным шариком на банкет. Блюда обеда сменяются блюдами, повара ублажают желудки гостей. Чашки вина за чашками опрокидываются в глотки. В середине обеда хозяин делает знак своей охране. Солдаты хватают мандарина под руки, выводят во двор, и сухие выстрелы мау-

---

[1] Вань-сян тот самый город, где в 1924 году произошли события, рассказанные мной в пьесе «Рычи, Китай!» *(С. Т.)*.

зеров говорят обедающим, что владелец красной шишки больше никогда не заведет разговора о новом императоре.

Расстрел на банкете переходит в зловещий гул ропота по отрядам. Люди перешептываются, переговариваются, перекликаются:

— Мы пришли издалека. Мы боремся вместе. Если мы ошибаемся, научите нас. А вы сразу обрушиваетесь на нас смертями, не пробуя более мягких средств. Такая жестокость способна разгневать сердце наших богов, и за это они могут выпить воду из наших рисовых полей, наслать саранчу на нашу пшеницу, ливнями размыть наши кукурузники, неизлечимыми болезнями запятнать наши семьи.

Так говорят бойцы отрядов, пришедшие из глухих деревень, грея ладони у каменноугольных очагов в просторных двориках храмов, где алтарные стойла набиты глиняными или крашеными деревянными статуями богов и адских духов, которые истязают грешников, подвешенных за ребра над облупленным деревянным огнем.

Ли составляет отборный отряд, приводит солдат в храмовый двор, выстраивает их перед чудовищными глиняными куклами и командует:

— Разбить!

Солдаты шарахаются. Ли наводит на них револьвер.

Под толстыми палками в солдатских руках звенят черепки по храмовым плитам, и подымается столетняя пыль. До сих пор ее бережно смахивали монашеские нежные метелки, сделанные из куриных перьев.

Храм обезбожен. За холодными курильницами боги валяются калеками и инвалидами. Ропот переходит во всеобщий исступленный крик.

В канцеляриях, где кисточки бегают по бумаге, в лавках, где щелкают маленькие счеты, на огородах, где лопаты звякают о каменья,— один разговор:

— Он разбил наших богов. Он оскорбил нашу веру. Он не уважает наши привычки. Он не смеет оставаться во главе города. Он должен уйти.

Снова открываются ворота ямыня, и вновь на собрание идут люди с перевязями через плечо. Туда шлют своих выборных владельцы усадеб, хозяева лавок, оскорбленные шен-ши и встревоженные ремесленники.

Гордящиеся собой, злые и перепуганные собственники выхватывают власть из рук сунятсеновской партии тун-мин-хуэй.

На посты начальников собрание выбирает именитых людей, славящихся лавками, ученостью, садами и количеством арендаторов на родовых землях.

Ли уходит из Теяни.

Сейчас 1927 год. Он и до сих пор живет в родной сычуанской деревне, но никогда нога его не ступает на улицы Теяни. Он ненавидит теянцев прочной шестнадцатилетней ненавистью. Он никогда не поможет теянцу, словно между ними ожесточеннейшая кровная месть. Всякий раз, когда речь заходит о Теяни, жилы вздуваются на лбу сорокалетнего радикала. Его начинает корежить, он бегает, волнуясь, по комнате и честит теянцев залпами ругани.

Он щадит только одного жителя Теяни. Этот один — мой отец.

. . . .

1 взвод=40 человек рядовых.

3 взвода=1 рота=120 человек.

4 роты=батальон=480 человек.

4 батальона=1 полк=1960 человек.

2 полка=1 бригада.

2 бригады=1 дивизия.

Порядок у китайских военачальников таков: если у командира два полка, он именуется бригадным генералом, если же у него три полка — он ищет, как бы заполучить себе четвертый, чтобы приобрести титул дивизионного генерала.

Один батальон отец, уходя, оставляет для охраны Теяни. Один полк и один батальон, вооруженный полицейскими винтовками, отец берет с собой в поход на ваньсянского дуду. У Сюн Ке-у больше, чем у отца,— у него два полка.

Он главный командир похода на Вань-сян. Отец — его помощник.

Ваньсянский дуду, по фамилии Лиу, со своим штабом, батальоном европейски обученных войск, а главное — запасом изумительнейших винтовок, сидит за тяжелыми городскими стенами, которые, взбегая на горы и свергаясь к реке, схватывают город непробиваемым поясом с толстыми пряжками башен. Войска революционеров стоят в горах противоположного берега. У отца пулеметы, у Сюн Ке-у пушки,— артиллерии есть работа.

Утро. Пух тумана завалил и ущелья, и дороги, и всю речную ширину. По узким горным дорогам солдаты на лямках втаскивают орудия на высоты. Они глухо крякают, надрываясь. Им запрещено кричать. Часы опасные. Под туманом враг может перебросить свои взводы на лодках и расшибить рыхлые революционные батальоны. Отец и Сюн Ке-у сами обходят дозором лагерь, пулеметчиков, обозы и пикеты. Они выходят на скалистый береговой обрыв. Все бело. Не видать ни Вань-сяна, ни воды, ни рыбацких хижинок на этом берегу, только кто-то полуразличимый сквозь снятое молоко тумана лепится по выступам обрыва, припадая за камни. Ему кричат: «Говори пароль!» — но голоса падают в туман, словно крик в подушку; фигура продолжает карабкаться. Сюн Ке-у приказывает телохранителю:

— А ну-ка, возьми его на гранату.

Солдат отцепляет от пояса ручной снаряд, похожий на бутылку, хватает его за горлышко и метким броском швыряет вниз, на тропу. Граната высекает из глыбы большой огонь, и глыба, качнувшись, сначала медленно, потом все веселей и бешеней скачет вниз, делает прыжок и, ломая доски и кости, расплющивает рыбацкую избу и в ней насмерть пятерых рыбаков.

Пока глыба скачет вниз, фигура усиленно карабкается вверх. Ее миновал взрыв. Наконец, преодолев каменный отвес, к ногам Сюн Ке-у животом по граниту вылезает офицер из его же штаба. Он ходил в разведку, но забыл пароль.

Пушки расставлены и наведены. Снаряды выворачивают внутренности ваньсянских домов.

На другой день часовые приводят к отцу ваньсянских делегатов — у них завязаны глаза, они выбрались из города и пришли сквозь цепи в революционный штаб, чтобы сказать, что дуду укрыт надежно, его мало беспокоит обстрел, но обывательские лачуги, лавки и школы страдают зря.

Отец настаивает, чтобы Сюн Ке-у прекратил бомбардировку. Генерал упрям. Что значит — лавки? Что значит — школы? Пускай ваньсянцы устраивают восстание и вышвырнут дуду.

— Если хотите восстания,— говорит отец начальнику,— шлите в город организаторов, а не шрапнель.

Бомбардировка прекращается.

Все равно революционерам не приходится задерживаться на другом берегу. Дуду Лиу бездарен, как и все маньчжурские даоини и губернаторы в эпоху развала монархии. У него арсенал винтовок, но он не знает, как с ними обращаться, и поэтому винтовки у него годятся только для того, чтобы ими, как кочергами, размешивать угли в очагах.

У него отборные солдаты, но он не знает, что с ними делать. Он боится, чтобы солдаты не разорвали его самого. Однажды ночью с ближайшими родственниками и штабными офицерами дуду Лиу, переодетый, выбирается из города и удирает проселками. Вань-сян взят. Гражданский совет города выбирает отца судьей Вань-сяна.

Отец крепко помнит утреннюю гранату, скачущую сквозь туман глыбу и пять трупов в белье. Их каменная смерть застигла во время сна. Он требует, чтобы семье убитых было выдано вознаграждение. Он настаивает на пятистах даянах. Сюн Ке-у злится:

— В пустяковом боевом эпизоде расшиблена одна изба, и вы за это требуете выдачи пятисот даянов! А что же прикажете делать нам, если в больших сражениях мы разнесем в осколки десятки домов? Не надо создавать вредных прецедентов. Этак к нам весь Сычуан сбежится за пособиями. Война — это война. Их несчастье, что они в ту минуту подвернулись под глыбу. Я не говорю, что они виноваты, но ведь нет вины и на нас.

Отец не отвечает своему начальнику ни одного слова. На другой день он пишет ордер о выдаче пострадавшей семье пятисот даянов из войсковой казны.

Этого Сюн Ке-у снести не может:

— Самовольцам не место в армии. Вычесть полтысячи из жалованья Дэн.

Отец озлоблен. Он отказывается работать с Сюн Ке-у, он уходит с военной службы, оставив ему свой полк.

Теперь у Сюн Ке-у два своих полка, плюс третий отцовский, да еще один полк получается от отцовского батальона плюс ваньсянские батальоны. Всего четыре полка. Так Сюн Ке-у становится дивизионным генералом.

Ваньсянцы провожают отца жалеючи.

Он едет в столицу Сычуана — Ченду. Ченduский юридический институт приглашает его читать студентам гражданское и уголовное право.

Но у института его перехватывает начальник полиции всего Сычуана, однокурсник по Японии и член тун-мин-хуэй товарищ Тай.

«У вас большой опыт по организации полиции,— пишет Тай отцу.— Вы знаете, что генерал Юань Ши-кай[1] стал президентом китайской республики после Сун Ятсена. Нам, революционерам, надо быть начеку».

Отец, не заезжая домой, едет на север и там в ямыне получает из рук товарища Тай печать управляющего делами — знак своей новой должности.

В эти тревожные дни, когда революцию уже лихорадит, Сун Ятсен создает гоминдан. Гоминдан — это партия строителей нового Китая. У него три лозунга — «нация», «демократия», «социализм». Тун-мин-хуэй был боевым союзом. У него был только один лозунг: «Долой маньчжуров!»

Тун-мин-хуэй, организовавший революцию 1911 года, перестает существовать. Толстый усатый генерал Юань Ши-кай, бывший императорский главнокомандующий, ныне президент, начинает прибирать к рукам Китай, отдавая провинции в завоевание и управление своим полковником и генералам.

Как по китайскому поверью дракон заглатывает солнце в свинцовые минуты солнечных затмений, так зловеще пухнет над Китаем генеральская туша, грозя заслонить отсветы революции. Пока еще Юань Ши-кай забавляется пятицветным республиканским флагом. Пройдут года, и он потребует себе императорский трон и желтый флаг с драконом.

Пути отца и Сюн Ке-у, пересекшись на ваньсянских улицах, навсегда расходятся в разные стороны.

Глава 18

МАМЫ НЕТ

Ту-тю-эн.— Мамина работа.— Сваха в доме.— Мамины слова.— На свадьбе.— Завещание.— Кровяные пятна.— Бегу по улицам.— Мама спит

Кюи-кюи-янг! Кюи-кюи-янг! — так по ночам в сычуанских садах кричит птица с алой грудью, которую зовут ту-тю-эн.

Она кричит мучительно и жалобно и — люди говорят — докрикивается до крови, а наутро ее находят под ветвями с окровавленным клювом. В старых китайских книгах записаны легенды о том, откуда взялась эта птица.

---

[1] Юань Ши-кай (1861—1916) — лидер помещичье-буржуазных кругов северного Китая, названный Лениным «авантюристом, изменником и другом реакции» (В. И. Ленин. Соч., изд. 4, т. 19, с. 78). После свержения в 1911 г. Цинской (маньчжурской) династии, опираясь на поддержку империалистов, захватил пост президента. Стремился к восстановлению монархии с тем, чтобы самому стать императором. В 1915 г., чтобы получить поддержку японского империализма, принял основные из «Двадцати одного требования» Японии, которые должны были лишить Китай самостоятельности и превратить его в японскую колонию (сообщение об этом Дэн Ши-хуа неточно). В декабре 1915 г. в стране вспыхнуло антимонархическое восстание, под влиянием успехов которого Юань Шикай был вынужден отказаться от восстановления монархии. В июне 1916 г. внезапно умер в Пекине.

Богатый князь из нарядного дворца собрался в поход в далекий Сычуан. Он вскочил на коня и весело едет вперед. Верный данник — вассал — бежит за князем, умоляет не ехать: в дикой стране ждет смерть.

Князя убили. Вассал ударился об землю и плакал. Выплакал глаза, умер, обернулся птицей, и птица эта до сих пор по ночам жалобно выкликает имя князя: Су Сун-уан! Су Сун-уан!

А другая легенда говорит: не вассал плачет о князе, убитом в ущельях далекой чужой земли. Это невеста князя плачет по нем. Она пронзительным голосом кричит сквозь звездную темень ночей: «Бу-цзуй-куай!» (Лучше вернись!)

На лесных полянах Сычуана цветет красный цветок, не похожий на выставленные в московских витринах. Имя ему ту-тю-эн-хуа. Это кровь умирающей птицы ту-тю-эн распустилась цветком,— говорит сказка.

Я не верю сказкам. Но когда ночами Сиань-ши я слышу крик: «Кюи-кюи-янг!», мне кажется — это ослабевший голос моей матери. Она харкает кровью, и ее, молчаливую, забирает тоска, потому что отец далеко, в тяжелых походах, а мы с сестренкой малы.

Сейчас мне уже двадцать шесть лет. Я сам отец. Я обогнул половину земного шара и прочел много книг на разных языках, но я должен лечь на спину, чтобы не пролились мои до краев полные глаза, ибо я вспоминаю ее, мою родную жалобную птицу, изошедшую предсмертной кровью на берегу зеленоватой Янцзы.

Я знаю, вы назовете это — сентиментализмом.

. . . .

Возится с сестренкой, принимает ежедневную прорву гостей, снаряжает младшего дядю на женитьбу. Утрами боязливо откашливается, отвернувшись от меня, потом вдруг съеживается, и кашель прекращается. Это у нее горлом идет кровь, и она пережидает, чтобы кровь сгустилась и заткнула какие-то прорывы в легких.

Минуя кухонные двери, над которыми кудрявится синий дым, она проходит в мандаринник. Скоро придут перекупщики на корню покупать наш будущий урожай.

Если деревья окажутся плохи, они дадут даян за дерево, если хороши — полтора даяна. Под кургузыми деревцами копошится человек, он оглядывает листы, корни и ветви, ищет вредный черный грибок и красную тлю. Опытным глазом примечает на коре входные отверстия жучков, длинную иглу впускает он в мясо древесины, прокалывая жучка; гнутым ножом вырезает червивые опухоли.

Прислуга из дому тонко кличет маму:

— Сваха пришла!

В дом степенно и улыбчиво входит сваха. В ушах у нее золото серег. Ни одного волоска не отстает от гладко зализанной прически. Говорят же на юге: женская прическа должна быть так гладка, чтоб муха, сев, поскользнулась. Лицо залито жарким жиром; в руке платок, который она поминутно подносит к ноздрям, в минуты передышек засовывая его в широкий рукав, ближе к подмышке.

За свахой входит мужчина. Он держится скромно, почти как рассыльный. Это свахин муж.

Младший дядя женится поздно. Ему уже тридцать лет. Сколько мог, он увертывался от женитьбы, ссылаясь на бедность. Но теперь на бедность больше ссылаться нельзя: как же — в дополнение к мандариннику у нас уже двести даянов отцовского жалованья и неприкосновенный капитал — тысяча даянов премии. К разговорам со свахой прислушиваются любопытствующие родичи с окрестных улиц и из ближних деревень. Что ни день проезжающий родич заезжает проведать и, проведывая, спросить:

— Ну как?

Особенно пристают к старшему дяде:

— Наслышаны мы, что ваш уважаемый младший брат женится на такой-то девице деревни Сиань-ши. Разрешите удовлетворить наше тупое любопытство, есть ли ваше мудрое согласие на этот брак?

Старший дядя ходит пьяный и злой. Ему все не нравится: и революция, и поход отца, и здоровье матери, и то, что он, цзю-жень — ученый в провинциальном масштабе,— оказывается братом сумасброда и бунтовщика Дэн Я-пу.

Он выпучивает глаза на родича и отвечает язвительно:

— Помилуйте, у нас революция. При чем тут старшинство? Может ли меня касаться свадьба брата моего Дэн Ти-пу?

В гостиной у нас толкутся торговые люди. Мануфактурщики разворачивают на полу вязанки с шелками, портнихи распластывают на себе цветные халаты, ювелиры вынимают из карманов коробки и вертят перед мамиными глазами золотом колец и серег, серебряными сколками для причесок, похожими на бобовый стручок, и шпильками с самоцветными набалдашниками. Надо же заготовить подарки для невесты.

Приходят деловые люди, садятся, пьют чай и называют цифры, говорят про погоду, про соседей, про слухи из Теяни и опять называют цифры. Это мать на время свадьбы нанимает специальный дом для церемонии, потому что наш мал.

На кухне и в кладовых не протолкаешься. Там чаны с кислой зеленой капустой, там стеклянные глыбы прозрачной сычуанской соли ждут, чтобы ими натерли пласты свиного мяса. Нет лучше сычуанской соли. Богаты наши недра. Есть дома, где соляные колодцы — узкая долгая труба пробита сквозь почву и толстый известняк до самого пласта каменной соли; сверху труба залита водой, растворяющей соль, и прозрачный рассол черпают ведрами. А есть дворы на изломах горы, где из трещин идет горючий газ. Его по бамбуковым трубам проводят на кухни и жгут под кастрюлями. Им за плату снабжают соседей.

Свадьбу справляем летом, в ясные жаркие дни. Столы облеплены гостями. Молодожены обносят гостей вином. Гости отвечают молодоженам тостами и приветствиями. Мама встает, шум стихает. Она говорит дяде и его жене:

— Может быть, мне еще недолго осталось жить. Если меня не станет, прошу вас, позаботьтесь о моих детях, как о своих.

Недовольный гул гостей обрывает маму. Гости протестуют:

— Сегодня красный день. Сегодня счастливый день. Нельзя говорить сегодня таких слов!

Гости кричат маме:

— Пусть ваша судьба будет счастливой. Бе-нин чан-шоу! Бе-нин чан-шоу! — Сто лет! Долгая жизнь!

Мама, бледная, сконфуженно улыбается, садится за стол, рука ее ложится мне на плечо. Она говорит мне так, чтобы не слышали гости:

— Ты помнишь, Хуа, где еще пишут бе-нин чан-шоу? На поднесенных в подарок гробах пишут эти слова.

Я еще не видал гробов, поднесенных в подарок, и не знаю, что на них пишется, но я помню, часто взрослые, в ответ на мое приветствие: «Цин-вен» — отвечали мне вежливо: «Бе-нин чан-шоу».

Старший дядя надут и недоволен. Только полгода минуло со дня смерти бабушки — и уже в доме празднуют свадьбу. Куда девалась строгость траура? Эта революция начинает слишком быстро перебивать позвоночник старым обычаям. Небось сам он всеми экзаменами пожертвовал во имя полного траура.

Свадьба окончена. Столы расставлены по комнатам. Соседям вернули занятую посуду, ушли с кухни приглашенные повара. Каждый день ходит к маме доктор. Он твердит назойливо, как колотушка продавца:

— Покой, покой, покой! Нельзя работать.

Но молодая жена младшего дяди ничего не умеет, и тихие ноги молчальницы-мамы снуют по ступенькам наших двориков, а практичные руки ее сводят концы с концами в нашей растрясенной свадьбой кассе так же ловко и незаметно, как они их сводили в те тяжелые дни, когда отец учился в Японии.

В осенние праздники у нас в гостях сестра отца. Та самая стремительная тетка, которая спасла меня от наказания за съеденные солдатами фрукты.

Тетке не нравится мамин вид. Слишком быстро садится на черепные кости тощающая кожа лица. Немного торжественно, немного волнуясь обращается мама к тетке:

— Я знаю, что со мной будет. Позаботьтесь о Ши-хуа и Ши-куэн. Жене Ти-пу не до них. У нее скоро будут свои дети. Вам легче. Ваши дети уже взрослые. Возьмите эти деньги, я их скопила из медяков. Попросите человек двенадцать ваших знакомых образовать группу взаимопомощи и внесите эти деньги вкладом. Пусть каждый месяц Ши-хуа получает немного карманных денег. Кто знает, как сложится его жизнь? Отец может не вернуться, может настать нищета. Отец может вернуться с мачехой, а вдруг она невзлюбит мальчика? Он еще мал, ему только девять лет.

Нахмуренная тетка берет деньги, и долго сидят две женщины рядом на стуле в темнеющей комнате и говорят об умирающих и живущих.

Слабость одолевает маму. День за днем труднее вставать с постели, труднее ходить по дворикам, не хватаясь за стенки, когда болезнь качнет, сбивая с ног.

Вот уже она больше не встает с постели. Лоб и лицо ее пунцовы. Иногда я вижу на лбу ее капельки пота. Она не любит, чтобы я заходил к ней в комнату, боится меня заразить. С ней безотлучно прислуга, та самая, из-за которой меня бил отец. Прислуга возится с чашками, тряпками, отирает пот, замывает полотенца с кровяными пятнами и уносит из маминой комнаты чашки с нетронутым супом.

Кроме прислуги около мамы врач. Младший дядя поселил его в нашем доме. Через месяц врач уходит от нас. Он говорит:

— Положение безнадежно. Я здесь бесполезен. Буду заходить навещать.

Меня, жившего в школе у младшего дяди, переселяют домой, чтобы быть ближе к маме, чтобы она не умерла в мое отсутствие. Так длится еще месяц.

Утром врач выходит из маминой комнаты и говорит:

— Ей гораздо лучше.

Меня отправляют в школу. Проходит три часа — три урока. Меня вызывает начальник школы.

— В чем дело?

— За тобой пришел человек. Спеши домой!

Это незнакомый кули. Мы бежим по улицам Сиань-ши. Я задыхаюсь от стремительного бега. Прохожие глядят мне вслед. Из коротких слов бегущего со мной рядом незнакомого человека я уже знаю, что мама кончается. Уже нет у меня ног, только свист воздуха в ушах, да задыхающаяся колотушка сердца, да страх — поспею ли?

Я бегу. Плиты улицы шелестят под ногами. Мыслью я дома. Вспоминаю мамину комнату, и кровать, и светлые окна, и исхудалую маму (это было ровно неделю тому назад), и спелые фрукты у изголовья, и ее голубую руку, которая с трудом подносит ко рту влажную грушу, словно это не груша, а гиря. Мама высасывает грушевый сок, ее горло сухо, ее мучит неукротимая жажда. Мама улыбается мне очень светло и ясно и говорит тихо, тише обыкновенного. Я никогда еще не слыхал у нее такого тихого шепота:

— Учись хорошенько, Ши-хуа! Слушайся дяди и тетки, никогда не ругайся и не дерись.

Вбегаю в домовые ворота, разбивая плечо о косяк. Навстречу мне лицо дяди с красными, точно растертыми, глазами. Тетка, уткнувшись в платок, трясется у окна.

Я опоздал.

Мама лежит на длинной деревянной лежанке. Ее лицо закрыто листом бумаги, смоченным в спирте. Так нужно покрывать умерших от чахотки. Поверье говорит, что из их ноздрей вылетают насекомые, разносящие заразу.

Я тянусь поднять эту бумагу. Как смеют закрывать от меня мамино лицо? Дядя бросается ко мне:

— Нельзя! Что ты делаешь?

Трехлетняя сестренка, держась за лежанку, бодро топырит губы и тянет меня за рукав:

— Фу, какой ты! Не мешай! Мама спит!

Глава 19

ПОХОРОНЫ

Гробовая лавка.— Маму обряжают.— Лим-пай.— Я читаю библию.— Погребальный оркестр.— Как ждут мертвые.— Последний путь.— Сожжение вещей

В этой лавке я еще не был. Здесь можно заблудиться. Я стою и вижу себя во весь рост, как в темном зеркале, в стенке гроба, тяжелого и стеклянно отлакированного, как рояль. Здесь прославленные на весь Китай сычуанские гробы, материал которых — вековые ценные деревья наших гор.

Я с вниманием обхожу самый дорогой гроб, ждущий себе покупателя, какого-нибудь местного богача, которому нетрудно заплатить большие тысячи даянов. Толщина его больше моей разведенной пятерни. Его крышка толщиной в половину распиленного ствола. Цельные сплошные доски — его стенки и днище. Шестнадцать человек с натугой, еле-еле поднимут эту массивную тяжесть. Черный лак его наружных стенок зеркален. На скошенном вперед конце гроба вызолочены огромные иероглифы: «Шоу», что значит «век». Знак шоу окружен пятью летучими золотыми мышами, ибо слово «летучая мышь» звучит так же, как слово «счастье».

Этот иероглиф — символ долголетия, я его уже встречал на подарках, которые дарились мне ко дню рождения.

Берусь за край гроба, заглядываю внутрь. От нарядной красной киновари болят глаза. Гроб внутри — цвета взрезанного арбуза.

Черная лакированная древесина — только чехол. В наружный гроб вставят тонкий внутренний. Одуряющий, сладкий запах сандала идет от него. Он не окрашен, чтобы не мешать драгоценному дереву отдавать свой аромат разлагающемуся трупу.

Пробираюсь проходом между нагороженными гробами, маленькими и большими, дорогими и простыми, даянов за сорок, стенки которых тонки и сделаны из нескольких досок.

Дядя говорит с гробовщиком. Я слышу цену — сто даянов. Черный гроб, сверкая лаком, подымается на плечи четырех носильщиков.

Он готов уже давно. Дядя заказал его гробовщику в тот день, когда врач, потеряв надежду на выздоровление мамы, уехал из нашего дома.

Дом полон соседками и родственницами. Откуда их столько набежало? Всю ночь в доме шум, шарканье туфель, приготовление. Плещет вода — это обмывают мамино легкое, болезнью выпитое тело. Женщины одевают маму в новую одежду и перешептываются (они уже не первого покойника с интересом снаряжают в последнее путешествие).

— Другие времена пошли. Вот когда умерла первая бабка, ее одели в мандаринский мундир по чину деда и шляпу с шариком, который значил вторую ступень мандаринства.

Голоса женщин усиливаются. Они цыкают на кого-то и отгоняют. Сначала кажется, что они гонят собаку. Беременная родственница, явно

недовольная, выносит из покойницкой комнаты свой огромный живот, тянущий кверху синие штаны. Это гонят ее. Беременным не полагается приближаться к покойнику.

На дно гроба кладут ватный матрац, обтянутый шелком, а в изголовье подушку, набитую облачками пуха, собранного на травах вокруг деревни.

Одна из обряжальщиц деловито оглядывает приготовленный гроб и вспоминает: бабке-покойнице в рот положили аметист и золотой слиток величиной с три капли. От драгоценностей тело не тлеет.

И, вежливо вздохнув, обряжальщица вдевает нитку в иглу, щурясь на свет керосиновой лампы, и наглухо зашивает на маме последнюю ее одежду. Эта одежда сшита еще при жизни мамы, тайком от нее. У этой одежды нет пуговиц, она зашивается раз и навсегда.

Прислуга натягивает на мамины ступни туфли, не приспособленные для ходьбы, и нежно гладит пальцем их мягкую полотняную подошву.

Маму опускают в глубокий ящик гроба и вытягивают ей руки по швам. Тонкое одеяло закрывает ее до подбородка.

Без чьих бы то ни было разрешений в литан можно поставить гроб только старшины рода. Умерших слуг, их детей и побочных жен хозяина в молитвенную залу нельзя вносить вообще.

Чтобы внести маму в молитвенную залу, берут разрешение у трясущегося белоусого брата моего деда и старшего дяди.

Через молитвенную залу протянута белая занавеска. Она отделяет от дверей домовой алтарь, с висящими на нем таблицами предков, и гроб, стоящий перед этим алтарем. По сю сторону занавески праздничный стол с большой фарфоровой чашкой, где сжигают молитвенные палочки, и двумя бронзовыми курильницами, где тлеют на углах сандаловые щепочки, чтобы тянущийся от них сладкий дым перебивал дух мертвеца. Рядом с курильницами две неугасимые свечки. За курильницей на столе должен стоять мамин портрет, но его нет. Мама всегда отказывалась сниматься.

— Во-первых,— говорила она,— время сейчас тяжелое, революционное, опасно портрет держать в доме — повернется счастье против нас, станут по портретам разыскивать... а во-вторых,— умру, подойдут дети к портрету, плакать станут; не хочу, чтобы плакали.

Вместо портрета на столе «лим-пай» — доска души, большая таблица, на которой сверху вниз написано:

Мать
Родная
Законная
Дэн (фамилия мужа)
Ляо (девичья фамилия)
Госпожа
Престол души.

Справа от этой колонки обозначены год, месяц и число смерти, а слева, в самом низу таблицы, мелким почерком ютимся мы с сестренкой — дети умершей.

Люди весь день и всю ночь и снова день и снова ночь проходят, колыша занавеску, к столу, втыкают в пепел молитвенные палочки и складывают около стола дары: нанизанные бусами на веревки целые ожерелья десятилановых слитков, слепленных из золотой и серебряной бумаги. Несут изображения денег. Вносят в дом сделанные из бумаги нарядные платья, бумажную модель дома в метр величины, бумажных лошадей, повозки и шуршащее дяо на тоненьких бамбуковых перекладинах.

То и дело вспыхивают желтым огнем вязанки поддельных денег — это суеверные родственники пересылают маме туда, в загробный мир, слитки, чтобы было ей там чем жить.

Люди заполняют наш дом до краев, их сочувственный сдержанный говор залепляет уши. Из дальних деревень съезжаются к гробу разные Дэн, родичи отца, и многочисленные Ляо, родственники матери, которых она, может быть, при жизни никогда не видала.

Младший дядя ходит по окрестным холмам. Он сам себе фын-шуэй. Он ищет места, где положить маму, чтобы это место было сухое и цветочное и были с него видны дальние горы, узорные облака и громкая Янцзы. Поверье говорит — надо выбирать место для могилы так, чтобы дух покойника остался доволен. А то вдруг, спустя много лет после похорон, заявится новый фын-шуэй, который докажет, что место плохое, что оно выбрано неправильно, что душа мучается — и гроб надо перехоронить.

Мама лежит в гробу в прокуренной сладким сандалом комнате. Белый печальный цвет отмечает дни нашего расставания с нею. Революционное правительство объявило траурным цветом черный, но воля родичей сильней. Я одет в белый халат. От неподрубленных краев его рукавов и фалд выкрошиваются неряшливые нитки. В таких же халатах и дядя, и тетка, и сестренка, и все живущие в доме.

Сорок девять дней нам нельзя есть ни мяса, ни масла, ни яиц, ни молока, блюдя погребальный пост.

Какие-то настойчивые, многочисленные и малознакомые Дэн и Ляо ведут меня в комнату, где лежит мама, подводят к столу, вкладывают мне в руки книгу — это буддийский молитвенник. Я вижу, дядя хмурится, отрицательно мотает головой, пытается пробраться ко мне, но стена родичей облепила меня. В эти дни они, а не дядя законодатели нашего дома.

— Читай, Хуа Сао-е,— говорят они мне церемонно,— читай. Ты грамотный мальчик. Не заставишь же ты нас приглашать для чтения монаха.

— Читай, Хуа-цзы,— повторяют за ними прислуга и кули, называя меня простонародной кличкой.

Слезы щекочут углы глаз, иероглифы учетверяются и упятеряются. Трудно читать, перебивая слова всхлипами. Потом свыкаюсь, читаю незнакомые и непонятные строки, затем эти строки заучиваются и прочитываются, уже не глядя в книгу.

...Добрые станут счастливы, а несчастью злых не будет предела...

Какая ложь написана в этой книге! Вот мама — она была добрая, справедливая, тихая, а разве ее жизнь можно назвать счастливой?

Я читаю утешительные слова, не верю им и плачу гневными слезами.

Мама лежит дома недолго, всего неделю. Дольше — трудно, деньги уходят, отовсюду съезжаются все новые и новые гости, им нужно устраивать ночевки, их надо кормить. Они жгут молитвенные палочки, свечи и ароматные щепки. Правда, некоторые приносят это с собою, но далеко не все.

За день до похорон новые звуки потрясают наш дом. Это погребальный оркестр хрипит в двухсаженные дуды, ноет в свирели, ревет в металлические трубы, колотит в бочкообразные барабаны, медные гонги и печальные колокольчики. В этом оркестре мирно уживаются монахи разных религий. Буддист бьет в свою пронзительную стучалку рядом с даосом, закручивающим унылые мелодии на многоствольной флейте, похожей на кочан артишока. Монахи поют в один голос заунывные, с подвывом, буддийские псалмы. От этого пения хочется расколотить себе голову о стеклянный лак маминого гроба. Потом пение обрывается бормотанием барабанов и цоканием цимбал, и снова тянется мучительная мелодия монашеского хора.

Утро. Я выхожу на грубые голоса, заспорившие перед нашими воротами. На воротах печальная надпись: «Не встречать, не провожать». Это значит — гости не должны сердиться на хозяев, если не получат от них в эти грустные дни полной порции церемонной вежливости.

Перед воротами спорят гробоносцы. Они прислонили к стене кун — погребальные носилки из бамбуковых шестов. Их лохмотья не прикрыты парадными халатами — одеть их в церемониальные одежды обошлось бы слишком дорого.

Прислуга раздает им белые полотенца. Этими полотенцами они, перешучиваясь и переругиваясь, обвязывают свои бритые, болячками покрытые головы. Эти полотенца — единственный их траурный мундир. Они останутся им в подарок.

Мы становимся на колени около маминого гроба. Тишина, только поблескивает мрачная стенка. Крышка гроба накладывается на ящик. Он вроде пробки, туго входящей в гроб. Накрыв мягким куском материи, чтобы не повредить лака, железной кувалдой осторожными ударами пригоняют крышку. Вплотную по щели паза обтягивают белой шелковой ленточкой, и кисть, опущенная в спиртом пахнущий лак, залакировывает в несколько слоев ленту.

Если бы маме надо было ждать кого-то, кто торопится с ней проститься, крышку только бы загнали в паз, не обтягивая лентой, чтобы можно было открыть в нужный момент. Если ждать очень долго, то здесь же в комнате полузакрытый гроб засыпали бы курганом сухого песка, ибо песок поглощает дурные газы тлеющего тела. А будь мы богачами, могли бы залить гроб ртутью, привязав тело ко дну гроба, чтобы не всплыло. Но маме ждать некого. Отец в далеком Ченду. Он не знает, что мама умерла. Он знает только, что она должна умереть, но его дело важнее — он строит революцию, а поэтому проходит своей стремительной и опасной дорогой, глядя поверх маминой головы, поверх голов всей нашей семьи.

Гробовую тяжесть выносят из дому на веревках. Бамбуковые жерди гнутся под гробом, а плечи носильщиков под жердями. Путь до могилы немалый — десять ли.

От передового стержня гробовых носилок длинным полукругом тянется белый кушак. Впереди, впряженный в этот кушак, придерживая его на животе обеими руками, иду я — старший сын умершей. Остальные родственники идут позади меня, держась за этот белый гуж.

Мы — словно белая упряжка, везущая мамино тело, а носильщики — это только колеса дробно качающегося катафалка.

Все родственники, сколько их к нам ни наехало, густой упорной толпой провожают гроб до могилы.

Вот мы и на холмах. Вчера здесь при младшем дяде землекопы рыли глубокую яму. Глубина ее — два дядиных роста, так что последние лопаты земли копачи еле вышвыривали на поверхность.

— Пусть здесь хоть железную дорогу проводят, не докопаются,— говорит дядя, проверяя взглядом глубину могилы.

С плеч носильщиков гроб бесшумно садится на мягкие, нарытые кучи возле могилы.

Носильщики отдыхают, отирая лбы концами белых полотенец. Лохмотья на их лопатках слиплись от пота. Толпа родственников тиха.

Удар барабана, как выстрел, за ним металлический крик трубы, визг какой-то женщины. Заскрипели канаты носильщиков, поддеваясь под гроб; качая черное лакированное чудовище, гробоносцы, кряхтя и командуя шепотом, опускают его в землю.

Я, оттиснутый от могилы, пытаюсь протолкать себе дорогу, но ноги нахлынувших родственников и тяжкие их зады заслоняют от меня каменистый грохот земли, барабанящей в такт барабанам оркестра.

Быстро заравнивается яма, и вспучивается острый холм, вышиной в дядин рост. Бережно склоняясь над этой грядой свежей земли, дядя засаживает ее вялыми, бессильными цветами, а на самой верхушке сажает отросточек дерева, темно-зеленую метелку кипариса.

Оркестр затихает, вместо гонгов звенят уже обеденные тарелки. Из заранее выстроенной рядом с могилой кухоньки валит дым, и торопятся люди, разносящие гостям чашки с рисом, мясным варевом и овощами. Прислуга, нагруженная дымящимися чашками, сует мне одну. Я вежливо передаю ее соседу. Мне нельзя мяса.

Понурые, усталые, затурканные барабанами, дорогой и горем, возвращаемся домой. Родственники идут врассыпную, судачат о делах, критически оглядывают посевы и совещаются о ценах на мандарины в этом году.

Дома огонь и дым. На плитах двора идет сожжение. Сгорает на костре платье, в котором умерла мама, коробится и чернеет ее лим-пай, длинным огнем вспыхивают бумажные жертвенные туфли, одежда, повозки и аршинный домик. Носятся над крышей лоскутки серого пепла и не могут упасть.

Разъезжаются гости. Дядя стоит у ворот, провожая каждого поклонами.

Жена дяди с прислугой убирают в молитвенном зале белую занавеску и ставят на место стол с курильницами.

Мне пусто и неуютно в доме.

Дядя кладет на мое плечо большую теплую ладонь и говорит:

— Через две недели, Хуа, поедешь в Теянь; там будешь учиться в гимназии.

Глава 20

МОИ ПРИЯТЕЛЬНИЦЫ

«Третья старшая» сестра.— Братец.— Цзай-ин.— Дом Чен.— Комната с музыкой.— Спор двух дядей

Дома со мной невозможно. Стоит мне только зайти в мамину комнату или увидать какую-нибудь мамину вещь, я забиваюсь в угол и плачу. И без того еще слабый от прошлогодней болезни, я захирел после похорон особенно, затих и ослаб. Дядя устраивает меня в пансион при школе. Живу даром, а за еду плачу полтора даяна в месяц.

Так идут дни. Дядя живет у нас в доме, я — в его школе.

Чтобы отвлечь меня от дома, старший дядя часто водит меня в свою школу для девочек. Там у меня есть приятельница. Еще до поступления в школу она брала уроки у моей мамы.

Я десятилетка, моя приятельница старше меня. Осторожно отваживает она меня от назойливых мыслей о матери. Она садится на каменных ступенях двора, я приваливаю свою еле держащуюся на слабой шее голову к ее коленям и слушаю, как надо мной ее голос рассказывает легенды за легендами.

Фамилия ее Чен.

Она лет на пять старше меня, из нее может выйти ню-цай-цзы — знаменитая писательница. Если она будет пить вино, то, наверное, выйдет. Говорят же древние поэты, что только пьяница может быть гением. Например — поэт Ли Дай-бо, которого вдребезги пьяного приносили во дворец. Она сочиняет стихи, играет на флейте и на цзин — древнекитайской лире, она умеет говорить с людьми так умно и так вежливо, что лица самых хмурых и самых морщинистых стариков расплываются луной улыбки. Прикорнувши около нее, я снизу вверх гляжу на ее лицо и шевелимые стихами губы. Мне кажется, что она самая красивая. Такая красивая, что красивее не только в Сычуане, но и во всем Китае нет.

Во всем Китае, потому что за Китаем, в чужеземных странах, конечно, нет лиц, красивых для меня. Разве можно говорить о красоте длинноносых пучеглазых «вай-го-жен» — иностранок — с горами перьев и материи на всклокоченной шерсти голов, которых я вижу на страницах иллюстрированных журналов, забредающих изредка в Сиань-ши?

Чен худенькой не назовешь. Плотно сбитая, перекатывается она веселым шариком из одной двери в другую. Она охотно опекает меня и своего родного братца. Он мой ровесник, но учится несколькими классами ниже. Это толстый хомяк, вялый и неповоротливый, обидчивый сопун

и толстошеий тугодум. Она постоянно ему что-нибудь втолковывает, разъясняет, повторяет, журит, а в ответ на это он поводит толстыми губами и усиленно сопит.

Я ее зову «третьей старшей» сестрой. Родная сестренка моложе меня — ее зову «первой младшей». О «второй младшей» разговор впереди. Это девочка лет этак восьми. Глаза ее лукавы, и смешлива она, как порох. Она сестра моей «третьей старшей», и зовут ее Чен Цзай-ин. Она похожа и на старшую свою и на братца. Знакомлюсь я с нею много поздней, чем с «третьей старшей».

Хотя Цзай-ин двумя годами моложе своего братца, она забивает его по всем предметам. Пока он сообразит одну задачу, она решит три; пока он вызубрит два слова, она уже запомнит пять; пока он, с натугой, сопя и причмокивая, прочтет одну строку, она уже окончит целое стихотворение. Неуклюжесть и медлительность братца поминутно взрывают ее смехом.

Мы декламируем стихи наизусть, но у него строки не держатся под ежиком волос, и он лезет глазами в книгу. Цзай-ин очень вежливо предлагает ему книгу закрыть. Мы улыбаемся. Толстяк читает, вря и путая, точно через забор лезет. Мы смеемся. Он недовольно крутит головой:

— Ну вас! Очень нужны мне ваши глупые стихи. Давайте лучше сыграем в карты.

А через три минуты веселый визг Цзай-ин уведомляет нас, что он проигрывает и в карты.

Последние месяцы перед маминой смертью и в дни между похоронами и гимназией мы почти не разлучаемся. Либо я у них в школе, либо они у меня в гостях, либо я захожу к ним домой.

В их доме есть толстый и медленный отец. Он ходит важно и говорит с такой расстановкой, что от звука до звука рукою не достать. Я гляжу на него, и мне кажется, что я разглядываю в увеличительное стекло его единственного сына. Но отец бывает дома редко. Он чаще в гостях, на обедах, за картами, в банках, у богачей, у чиновников покрупнее.

Мать Чен со мною приветлива, мне даже кажется, что она меня любит. Возможно. Почему бы меня не любить, если я никому не мешаю?

Их дом похож на лавку антиквара, так много в нем старинных вещей. От них пахнет пылью, подвалом и землею, в которых они лежали зарытыми. Я боюсь подолгу оставаться в зале. Вещи слишком драгоценны. Разобьешь — не откупишься, замучаешься. Заложив руки за спину, с особым уважением рассматриваю бокал для вина, подбоченившийся гнутыми рукоятками и весь покрытый кольчугой мелких иероглифов.

Я уважаю этот бокал. Ему пятьсот лет, а мне только десять. По стенам развешаны узкие шелковые тусклые от времени картины. Они либо парами — тогда зовут их «эр-фу-пин», либо четверками — «сы-фупин». На них изображены птицы, мудрецы и спускающиеся с гор крестьяне или изящной скорописью начертаны иероглифы мудрых изречений.

Комнаты моих приятельниц полны музыкой. Они играют на всех древних инструментах. Целая комната завалена ими. Тут «ху-цзин» — бамбуковая двухструнная скрипка, которую за сорок центов может каждый купить на базаре. На стене висит длинношеяя бандура — «сань-

шиен», на которой черепаховой пластинкой играют слепые певцы, нажимая дрожащей пяткой руки змеиную кожу, обтягивающую кузов, чтобы звук пел взволнованно. Тут грушевидная «пи-ба» — вроде четырехструнной гитары. Длинный деревянный желоб, с семью по выпуклой стороне его протянутыми струнами и тринадцатью ладами — это «у-цзян», самый дорогой в этой комнате инструмент — он стоит пятьдесят даянов. Тут же лежат флейты — «ди-цзы», в которые дуют сбоку, и дудки — «сяо-цзы», в которые дуют с конца.

Цзай-ин и ее старшая сестра хозяйствуют уверенно на этой музыкальной кухне. Здесь много ди-цзы и сяо-цзы, сделанных ими самими из бамбукового колена. Об их любви к музыке знает вся деревня. Мне известна сплетня, будто бы отец их, толстый старый Чен, не сын тай-тай, законной жены, а побочный, от введенной в дом и-тай-тай, добавочной жены, превосходной певицы и музыкантши. От нее через тупого, медлительного сына к внучкам передались, мол, музыкальные способности.

Приятельницы пытались учить меня играть на флейте. Это легко, это мне понравилось. Они заготовили мне дудку. Мать выдернула флейту у меня изо рта, заявив:

— Нельзя, ты слабогрудый, ты забыл запрет врача.

Младший дядя не любит семью моих приятельниц.

— От дурного семени не бывает здорового ростка. Нельзя же забывать, на чем разбогатели их отец и дед. Они были даоинями. От их взяток и спекуляций стонал уезд. Девочки воспитываются за счет денег, вымотанных вместе с кровью из крестьян и ремесленников.

— Но разве девочки виноваты?

Дядя не отвечает. При встречах с Чен он мил, улыбчив и ласков, как всегда.

Выручает старший дядя. Сестры Чен — его любимицы. Кто лучше их может декламировать классические стихи! Он протестует:

— Девочки не отвечают за грехи отца. Любовь к искусству искупает преступления предков. Отправляйся, Хуа, к своим приятельницам и играй с ними.

Холодок наступающей зимы.

Сиань-ши, Цзай-ин со своими флейтами, мамина могила — все это позади, за клокочущей кормой лодки, отвозящей меня в Теянь.

Я еду держать экзамен в гимназию.

Глава 21

ГИМНАЗИЯ

Экзамены.— Обед.— Война с поваром.— Мое преступление.— Езда по Янцзы.— Бурлаки.— Учитель пения

Во всей гимназии нет ученика крохотней и моложе меня. Дворы гудят голосами шумливых четырнадцатилеток и шуршат шагами степенных семнадцатилеток, у которых на губе первые всходы усов. Бьет колокол, пустеют дворы, и напряженная тишина экзаменов возникает в классах между широко расставленными столами.

Экзамены строги. В каждом классе по два инспектора. Они, как часовые, вскидываются на каждый шепот и недозволенный шелест бумаги. Достаточно, задумавшись, повернуть голову, и уже инспектор становится непробиваемым заграждением между ухом ученика и местом воображаемого подсказа.

Первый день экзамен тянется с восьми утра до пяти вечера. Обедаем, не выходя из класса. Полтора часа дано на то, чтобы проглотить два пирожка и чашку лапши, медленно прожевать и осовело переварить. Полтора часа над экзаменационными столами чавканье, хлюпанье и звонкий рыг. Больше ничего. Разговаривать во время обеда нельзя.

С самого утра инспектор становится передо мною. Три часа он стоит, грациозно выпятив живот, заложив руки за спину и покачиваясь на матерчатых носках. Я пишу сочинение и ненавижу инспекторский халат, на котором мною уже изучено каждое заскорузлое обеденное пятно. Восемьсот лет тому назад Су Дун-по, знаменитый поэт времен ученых императоров Сунской династии, написал свое первое ученическое сочинение на тему: «Вознаграждать надо щедро, наказывать осторожно».

Нам это сочинение прочтено, и мы должны о нем написать свое рассуждение. Я копаюсь в сундуке имен и событий, сложенных в моем мозгу. Я вспоминаю знаменитого предателя Хуан-ма, который свалил с престола Ханьскую династию. Я пишу, что он — благородный человек, ибо восстал против императора для того, чтобы поделить землю между всеми людьми, живущими в Китае. За это его надо почтить.

Но он захотел сам сесть на пустой ханьский престол. За это и сейчас мы должны его считать предателем[1].

Педагоги лениво рассматривают складываемые к ним на столы листки оконченных сочинений. Недоумевает педагог, поднося к своим очкам листки моих рассуждений. Но я знаю, что сочинение написано хорошо, в нем нет ни одной вызубренной фразы. Все обороты новые, я их составил сам.

После сочинения — экзамен по арифметике, потом по истории и географии Китая. Откуда текут какие реки, где стоят какие горы и какие руды можно добывать в этих горах?

На другой день экзамен по естествознанию. Учитель выспрашивает, где и когда растет рис. А бамбук? А сахарный тростник? А чай?

Экзамены выдержаны. Я гимназист.

Нас в гимназии триста человек. Мы все живем в общежитии и ежедневно, от пяти до шести, вылезаем за школьные стены на берег Янцзы; следим за танцующими на водоворотах лодками, беседуем и разглядываем на том берегу прилепившийся к гористому берегу очерк города Теянь.

Множество людей рябит в глазах. Шумом с утра до вечера полны уши.

Только в часы урока стихает этот бег, гул, гуд, гвалт. С особенной яростью шум вырастает в часы обеда, грозя расшибить стены.

---

[1] Можно думать, что Дэн Ши-хуа за давностью запамятовал и свел воедино два р а з н ы х сочинения, писанных им в школе, ибо тема нам кажется не совпадающей с изложением *(С. Т.)*.

В начальной школе обедали мы тихо. Кое-кому слуги приносили судочки с варевом из дому, остальные столовались у уличных кухонщиков. Каждый забивался либо в комнату, либо в уголок и там в пищеварительном спокойствии пережевывал свою порцию.

Здесь в столовую сразу вваливается триста человек. Триста глоток требуют, пересмеиваются и перекликаются. Шестьсот ног скрипят скамьями и табуретками под столами.

Квадратные столы обсаживаются каждый восемью учениками, по два за стороной. Неровной барабанной дробью стучат куай-цзы,— проголодавшиеся ребята выравнивают их концы постукиванием о стол, готовясь хватать пищу этими клешнями.

Дымясь в руках кухонных кули, на каждый стол въезжают четыре чаши вареных овощей и две миски супа. Правой рукой уцепивши вспыхивающую паром прядь горячей капусты, несу ее над столом, а левой рукой подставляю обеденную чашку, чтобы не накапать. Аппетиты велики, прожорливость ненасытима, ведь все мы хвастаем друг перед другом подымающимися от месяца к месяцу мазками на дверных косяках, отмечающими наш рост.

В четыре хватки обеденных палочек чашки опустошены. Куай-цзы встречают вместо варева лишь легкий фаянсовый звон. Фаянсовыми ложками быстро вычерпываем суповую жижу.

Сгибаясь под тяжестью, служители вносят второе и последнее блюдо — два дюжих ушата риса, каждый на полтораста порций. Деревянный ушат становится на скамью, и около него образуется неистовая давка. Табунами рванувшись от столов, все торопятся зачерпнуть себе в чашку пригоршню побольше. Я маленький, края лохани мне до переносья. Я долго шарю втемную закинутой в лохань рукой, пока не наскребу себе нужного количества. Рис плохой, он не разваренный, а твердый, не белый, а желтоватый, это — затхлый, лежалый рис. Его, вероятно, повар закупает по дешевке из третьегодняшних запасов. От этого риса мы то и дело болеем животами. И овощи плохи; кипяток не в силах отбить запах плесени и погреба. Капустные листья канареечно-желты; такими листьями у нас в деревне кормят свиней, и никогда бы не позволили мы положить их перед человеком.

Мы жуем противный, твердый рис и ненавидим повара. У всей столовой с поваром нескончаемая война. Мы знаем, что повар на обедах наживает себе хорошие деньги, но вышибить его из кухни нет никакой возможности — он родственник директора школы. Жестокие бои мы задаем повару над рисовыми лоханями. Без подговора, по одному только подмаргиванию и выразительному кашлю, мы вдруг начинаем есть рис деликатными щепотками, оставляя груды его в ушатах. За ночь остатки прокисают. Но повар подает их назавтра снова. Тогда поднимается ропот, переходящий в крик, и ураган голосов требует:

— Дайте свежего риса! Уберите тухлятину!

Повар ждет на кухне — может быть, угомонятся. Но, не дождавшись успокоения, отдает приказ вынести смердящую лохань и выдать нам свежего. Мы снова не едим, и снова рис киснет.

Экономя, повар начинает подавать лохани, наполненные только до половины. Тогда по столовой пролетает сигнал:

— Ешь больше!

Первые шеренги, облепившие лохань, разбирают себе все, а оставшиеся с пустыми чашками ревут в сто голосов:

— Рису! Давай рису! Не хватает рису!

Повар, злясь, добавляет и отмалчивается. Деньги за стол получены им с нас за полгода вперед. Его позиция крепче нашей.

Однако рисовая тяжба прорывается скандалом, и я герой этого скандала.

Вот как это происходит.

Оттертый столовниками, я никак не могу зачерпнуть себе рису. Я обхожу толпу, лезу на скамью, наклоняюсь над лоханью, но не удерживаю равновесия и вываливаю всю лохань с ее содержимым на пол.

На грохот из кухни вбегает повар. Он видит, что виновник — малыш, значит, можно сорвать досаду, не боясь последствий. Ругань его залепляет мне уши. Он кричит, переходя на визг:

— Пошел вон! Что ты тут еще за птица? Выгнать тебя мало!.. Сумасшедший!.. Это ты нарочно рис вышвырнул!..

Товарищи стихают и стенкой надвигаются на повара. Он продолжает ругань в общем молчании, как патетический актер. Один из товарищей, рослый и плечистый, подходит к нему вплотную, соболезнующе смотрит на его кривляющийся в ругани рот и с широкого размаха звонко шлепает раскаленную очагом и яростью жирную физиономию кухаря.

Словно пса палкой ударили, так сыплются из повара ругательства, переходящие в бессмысленный лай. Он уже поносит всех нас. Мы негодяи и бандиты. Мы позорим школу и разоряем его, бедного труженика.

Триста человек отбегают к столам. Триста чашек схвачено и поднято в воздух. Залп разбитой посуды вызывает инспектора, влетающего в столовую, почти разрывая фалды халата.

Начинается следствие. Разбитая посуда, вываленный рис и поврежденная физиономия повара свидетельствуют о преступлениях.

Повару невыгодно оговаривать меня. Я слишком мал. Меня, в крайнем случае, пожурят — и только. Повар водит злорадными глазами по стене учеников, выбирает двух — того, кто ударил, и еще одного — и, ткнув в них пальцем, возглашает:

— Эти били посуду.

Чистейшая ложь — били все.

Я выхожу на середину и становлюсь перед злым, но оторопелым инспектором:

— Я виновник всего. Я уронил лохань с рисом. А на них повар говорит неправду.

В тот же день на черной доске для объявлений, что висит в коридоре, выклеиваются три исписанных квадрата бумаги. Они относятся ко мне и двум товарищам, оговоренным поваром. Нам троим записана «да-го» — большая провинность.

Трех «да-го» достаточно, чтобы вылететь из школы.

Жарче и жарче летние дни. Близится праздник Дракона. Он так же торжественен, как Новый год, но короче. Нас распускают на три дня. Я тороплюсь в Сиань-ши. Я одурел от школы и соскучился по дяде, тетке и приятельницам Чен. Особенно по младшей, по Цзай-ин.

От Теяни до Сиань-ши ежедневно ходят три лодки. Одна большая, о десять весел, и две маленькие. Я еду на большой.

Прохладен рассвет. Еще солнце за горами. Скрипят тяжелые весла в руках загорелых гребцов. Их кожа скользкая от пота. Я приятельски киваю им головою, они все мне знакомы. Сколько раз уже носит меня эта большущая лодка из Теяни в Сиань-ши и обратно. Я знаю и хозяина лодки — он в синей легкой куртке сидит на корме, цепко схватив рулевое весло. Улыбается мне во все зубы, перескакивая со скамьи на скамью, помощник хозяина, дозорный. Его место на носу, откуда виднее опасные, перевитые водяными горбами буруны.

Там, где береговые скалы сдавливают тело реки, течение воды отбрасывает нас назад, лодка подходит к берегу. Матросы вылезают, шлепают босыми ногами по воде, хряпают подошвами по гравию и выдюживают лодку, влезши в веревочные лямки.

— Хый-хо, хай-хе! Хый-хо, хай-хе! — выдыхают матросы бессвязную песню в лад своим шагам и учащенному дыханию. Волоча кисти рук по земле, почти обратясь в четвероногих, они рвут густую траву и ветки береговых кустов, мастерят себе пухлый венок вроде сорочьего гнезда и надевают на головы, чтобы спастись от надвигающихся лучей белого летнего солнца.

Иногда гребцам становится совершенно не под силу тащить лодку. Они все чаще останавливаются и озираются. Тогда хозяин и дозорный выскакивают на берег и говорят нарочито громко:

— А ну-ка, попробуем общими усилиями!

Пассажиры соображают, в чем дело. Вылезают, хватаются за канаты, и пустая лодка, роя носом встречную волну и булькая, тяжелобоко карабкается вслед за своею идущей кладью.

Пройдена быстрина, опять скрипят и всплескивают весла. Матросы поют песню. Слов, которые они поют, не найти ни в одном словаре. Это простой, мужицкий язык, это непонятная мне, ученому, речь кули, которые не знают ни одного иероглифа. Я еле распознаю в десятке их слов одно знакомое — так различны наши языки. Я прислушиваюсь и хмурюсь. Я бы и сам с удовольствием подтянул их песне. Мне жалко, что в школе меня не учат языку, на котором говорят кули. Я зол на школу и на учителя пения, к которому я на первых порах потянулся со всем интересом, порожденным во мне еще моими подругами из Сиань-ши.

Учитель оказался дрянь человеком. Ему ничего не стоило в самой середке трогательной мелодии ругаться паскудными словами, презрительно поносить учеников, так что пение их переходило в сконфуженный писк и затихало. Его уроки опустели, ученики взяли его под бойкот. Я ушел от него последним. Товарищи укоризненно говорили мне:

— Довольно тебе, Ши-хуа, слушать ругань этого мачжана.

Мачжан — игра вроде домино. В ней три масти — бамбуки, иероглифы и кружки. Кружки по-китайски — тун.

Лицо учителя музыки рябое. Оспины лежат на нем рядами, как кружки на мачжановых косточках. Мы кличем его «Па-тун» — восемь кружочков. Рябее его только учитель гимнастики. Его зовут «Тю-тун» — девять кружочков.

Растет непонятная песня певцов. Рядом с ней растет моя досада на учителя.

День пылает. Хозяин и дозорный вытаскивают из-под сидений соломенные шляпы, большие, вроде умывальных тазов, и привязывают их ленточками под подбородком. Правильнее — это не шляпы, а зонты без рукоятки, прикрепляемые к темени.

В восемь часов утра остановка в промежуточной деревне, а в полдень мы приваливаем к скалистой пристани Сиань-ши. Матросы крепят канаты к береговым глыбам. Я перескакиваю через борт лодки и бегу наверх.

Глава 22

ПРАЗДНИК ДРАКОНА

Рисовый треугольник.— Визитеры.— Как одариваются.— Драконовые лодки.— Розовый гусь.— Гребец-победитель

Есть предание: знаменитый древний поэт Чу Ю-эн[1] был отправлен императором в ссылку на Янцзы. Он не выдержал опалы и с тоски покончил жизнь, утопившись в этой реке в праздник Дракона — повелителя воды.

С той поры в день Дракона, 15 китайского мая, Чу Ю-эна кормят рисом. В этот день во всех деревнях, на всех перекрестках стоят разносчики. Вареный рис спрессован треугольниками и завернут в бамбуковые листья. В каждом доме приготавливаются такие же треугольные пирожки. Их держат в холоде, и они в эти дни, особенно для ребят, вроде мороженого.

Такие же пирожки бросают в Янцзы, кормят Чу Ю-эна.

Раньше, рассказывают, в реку бросали просто вареный рис, но рыбы перехватывали его, и он не доходил по назначению; вот почему теперь этот рис отправляется на дно в зеленых конвертах.

Когда-то треугольники с рисом были чисто местным обычаем жителей Янцзы. Теперь пирожки стали всекитайскими, но только на Янцзы сохранился обряд бросания риса в воду.

---

[1] Чу Ю-эн — правильно: Цюй Юань (340—230 гг. до н. э.) — великий китайский поэт; первый поэт, имя которого известно в истории китайской поэзии (имена его предшественников до нас не дошли). Судьба Цюй Юаня (он был видным государственным сановником княжества Чу, стоявшим за мир и добрососедские отношения между царствами, противником войн, за что был отрешен от всех должностей и изгнан из страны Чу) послужила сюжетом исторической драмы выдающегося современного китайского писателя и ученого Го Мо-жо «Цюй Юань», с успехом шедшей на московской сцене.

В день праздника, с утра, обхожу родственников.

У меня на руке корзинка, в которой целая куча наготовленных теткой зеленых треугольников. Я говорю родственнику праздничное приветствие и передаю пирожок.

На улицах встречаюсь со сверстниками. Они заняты тем же. Ходить с праздничными визитами — обычная обязанность мальчиков. За моими приятелями идут прислуги с корзинами. У нас в доме служанки нет — дядина свадьба и мамины похороны истребили все сбережения, поэтому я одновременно и визитер и прислуга.

Есть совсем крохотные визитеры. Они, войдя в дом, только приветственно снимают шапочку и кланяются, а прислуга вынимает треугольник и передает его хозяину со словами:

— Это вам праздничный подарок от моих господ.

На каждый мой подарок родственник отвечает подарком же. Праздник Дракона — праздник мальчиков. Дракон — представитель мужского начала. Вода — оплодотворительница. То, чем отдаривают в этот день, имеет отношение к воде. Это игрушки, главным образом фигуры рыб, черепах и лягушек. Фигуры эти сделаны из мелких медных монет — цяней, плоско нанизанных на нитки.

Но эти подарки совсем для малышей.

Я гимназист. Мне дарят учебные вещи: тушь, кисти, бумагу, тетради.

На мне новый гимназический мундирчик. Я хожу с достоинством и презираю маленьких, у которых «изо рта молоком пахнет».

К этому дню старшие дочки семейства наготовили своим братьям-бутузам матерчатых обезьянок, набитых ватой. А братья дарят им ответно веера или шелковые платки. Целые дни идет раздаривание накопившихся однородных подарков; целыми днями играют веерами, лягушками, обезьянками и пишут стихи дареною тушью.

Особенно нежно одариваются те, кто любится. Девочки вышивают своим приятелям закладки для книг в виде шелковых цветов, бабочек и рыб с хвостами, подобными комете.

Из гостей в гости; от товарища к товарищу; некогда домой заглянуть. Матери качают головами, глядя на нас, взрослеющих и солидных, в гимназических парусиновых брюках и куртках вместо халатов, качают головами и говорят:

— Вы у нас мимолетные гости, вы у нас как замужние дочери.

После обеда на берегу Янцзы, у пристаней, необычно, торжественно, суетливо, нарядно.

Богатые семейства целыми выводками залезают в крытые лодки. В корзинах провизия. Ахают мамаши и тетки, балансируя руками и засовывая под скамьи короба и одеяла. Это уезжают на пикники.

Протискиваюсь сквозь толпу нарядных мальчуганов, облепивших кусок пристани, где копошатся босые, размашистоплечие матросы. Они ладят длинную узкую лодку, стремительную на ходу, специально для состязаний. На носу этой лодки огромная узорная голова дракона с языком вроде штопора. Обнявши драконью голову, стоит человек. Он будет во время состязания семафорить руками рулевому, так как тому

из-за украшений ничего не видать впереди. На корме лодки полощется голубой флаг.

Вдоль берега к пристани подтягиваются такие же гички. Флаги у них желтые, красные, малиновые, голубые. В одной я узнал матросов той большой лодки, которая доставила меня из Теяни.

— Вон гичка союза рыбаков.

— А с голубым флагом — общества перевозчиков.

Гребцы искоса оглядывают соперников и отпускают шутки.

На середину реки выезжает толстобокая шлюпка. Человек в очках и синем халате поднимается в ней и выбрасывает в воду что-то розовое. Это розовый гусь с подстриженными крыльями, чтобы не мог улететь. Его должны поймать состязатели.

Рывом вылетают лодки на шипящую воду. Гнутся весла, аккуратно взрезая волну.

Раз! — налетев на водоворот, переворачивается одна, макая драконью голову в глинисто-желтую воду. Бояться нечего. Гребцы плавают лучше рыб. Через минуту, сконфуженно ворча, они превращаются в зрителей на береговых скалах.

Два! — слишком сблизились гички. Весло по веслу... Деревянный треск. И вот уже гичка с подбитым боком начинает крутиться, как баран, укушенный червяком в мозг.

Волна уносит гуся. Махая обрубками крыльев, он перескакивает через весла и руки. Лодки гоняются за ним, как тюлени за мышью. Лодочная куча посредине реки, словно костер разложен на желтой дороге. Разноцветно пламя флагов. Берег трещит аплодисментами и криками:

— Хао! Хао! — Хорошо! Браво!

Жалобно крякающий гусь уже в руках победителей. Они его с аппетитом съедят сегодня вечером. Под крики людной пристани, метя голубым флагом воду, драконоголовая лодка победителей пристает к берегу.

Снова выезжает на середину бочкастая шлюпка с судьею гонок. На этот раз он бросает в воду ярко-пунцовый, туго надутый свиной пузырь. Пузырь прыгает по волнам, утанцовывая вниз по течению, и снова легкими толчками наперерез ему гонятся гички.

Здоровенных, сияющих, мокрых рулевых судьи одаривают деньгами или под звонкий говор толпы развертывают перед ними призовую штуку лоснящегося красного шелка.

Побежденные кучками отходят в сторону, о чем-то шепчутся, перетасовывают гребцов, кого-то поругивают, отмахиваются от чьих-то оправданий и снова выскальзывают на стремнины Янцзы в погоне за новым призом. В сизом, незаметном вечере истаивают лодки, фигуры, деревья и тот берег реки.

Шлепая веслами, возвращаются обыватели с пикников.

На тонких бамбучинках вздуваются светящиеся шары фонарей у лодочных бортов, и скоро вся река усыпается розовыми и оранжевыми самоцветами. Рядом со мной стоит деревенский фынь-шуэй. Он уже три часа глазеет на реку. Улыбка привязала крепко-накрепко углы его рта к

ушам. Он перебирает своими вершковыми ногтями в реденькой прямой бороде и удовлетворенно говорит, не обращаясь ни к кому:

— Сегодня гонки хорошо распугали прожорливых рыб. Весь рис дойдет до Чу Ю-эна.

Глава 23

ХОЖУ В ГОСТИ

Какой я взрослый.— У Чен.— Обида толстяка.— Чаепитие.— Хвостатая закладка.— Улицей.— Что с дядей? — Школьный банкет.— Наряд приятельниц.— Картежники

Я удивительно взрослый.

Я очень нравлюсь себе и пренебрегаю малышами, которые находят удовольствие визжать, скакать и болтать всякую ерунду. Я очень аккуратно слежу за чистотой своей парусиновой гимназической пары.

Мне нравится, когда меня почтительно зовут Лао-Дэн — старый Дэн. Мне неприятно, если простые люди называют меня Хуа-цзы, добрым, но не совсем уважительным именем — по-русски вроде «паренек Хуа».

Я прохожу улицами Сиань-ши, с достоинством киваю направо и налево. В темных прохладных пещерах лавок снуют приказчики, распаковывая бочки и корзины, а хозяин сидит на высоком стуле, выше прилавка — возвышаясь над всем магазином, как Будда, бог сытых и богатых. Нагоняя веером прохладу на свое раскормленное лицо, он кланяется мне, и я с достоинством отдаю ему поклон.

Я иду с визитом к Чен, которых не видел полгода.

Они все в гостиной — мать и трое детей.

Очень чинно я кланяюсь сидящей в кресле матери. Она подымается и говорит:

— Сю-Тун! (Сю-Тун — это комплимент, это — божественный мальчик древних легенд.) Какой ты талантливый! Видишь, ты уже учишься в гимназии, а мой сын, хотя он и ровесник тебе, все еще не может выбраться из начальной школы.

Мой ровесник тяжело сопит за материнским стулом. Он не любит, когда говорят о нем. Я не удостаиваю его ни взглядом, ни улыбкой и говорю хозяйке:

— Ци-ан, как ваше здоровье?

— Как здоровье ваших уважаемых родителей? — продолжает она наш парадный обмен приветствиями.

— Благодарю вас, совершенно удовлетворительно.

— Будьте любезны, расскажите, как у вас в гимназии? Строгие ли там учителя? Как вы полагаете, сможет ли мой сын туда поступить?

Я чувствую, что эти вопросы ее тревожат по-настоящему. На глазок я прикидываю своего ровесника, как купец, пробующий на ладони дыню, и отвечаю солидно, по-взрослому:

— Что же, после окончания начальной школы он сможет экзаменоваться в гимназию.

— А сколько в гимназии мальчиков таких лет, как вы?

— Всего-навсего я один, остальные старше.

— А старшие никогда не обижают младших?

Я вспоминаю, как за меня заступились товарищи в истории с поваром, и уверенным тоном опровергаю это странное предположение.

Я понимаю — она очень бы хотела видеть своего сына гимназистом, но в то же время ее пугает, что ее единственного толстяка и первенца могут в школе обидеть.

Хотя он сейчас сидит рядом с ней и даже не окончил начальной школы (да и вопрос еще — сумеет ли окончить), но она уже готова взволнованно плакать над возможными синяками, которые ей грезятся в страшной гимназии.

Напряжение разговора прерывает старшая Чен:

— Погоди, мама, может быть, он еще и не выдержит экзаменов в гимназию?

Цзай-ин стоит за материнским плечом. Смех весело пляшет в ее глазах. Глядя на сопящего братца, она начинает ноготком скрести себя по скуле, словно очищая соринку. Этот жест значит: «Позор, позор, позор».

Толстяк не выдерживает. Губы его надуваются, глаза становятся совсем узкими, и он пускается обиженной рысцой вон из гостиной.

Мать не ожидала такого скандала. Она думает, что братца обидело замечание старшей сестры, и кричит ему вслед:

— Что с тобой? Тебя никто не обидел. Как тебе не стыдно так позорно удирать при гостях!

Убежать, обидевшись во время приема гостя,— это значит потерять лицо, оскандалиться. Лица терять толстяк не желает. Он останавливается на пороге, спиной к матери, но ни за что не хочет повернуть к нам свою надутую физиономию.

Старшая сестра знаками показывает матери, что виновата Цзай-ин. Мать улыбается.

— Повернись, не надо сердиться на Цзай-ин. Все это пустяки. Ты большой и умный, а она моложе тебя.

Смех продолжает плясать в глазах Цзай-ин.

Мать подходит к надутому хозяину, берет его за руку и ведет нас всех за стол пить чай.

Я иду к столу с особенным удовольствием. Ведь детей пить чай обычно не приглашают. Сунут им в руку конфету — и все. Меня зовут потому, что я большой, я гимназист, со мной советуются и ведут серьезные разговоры.

Стол праздничный. В фарфоровых чашках и серебряных вазах лежат конфеты, пирожки с вареньем, желтые абрикосы и замшевые персики. По краю стола, перед стульями, заготовлены чашечки на медных блюдцах. Заранее в эти чашки кинута щепоть зеленого чая, заплеснута кипятком и прикрыта крышечкой. Сейчас с настоявшегося чая, осевшего на дно и похожего на водоросли, снимают крышечки и доливают его свежим кипятком из небольшого чайника.

Ах, как я доволен собой! Никаких шуточек, никаких смешков! Мои

ответы обдуманны и интонации солидны. Если закрыть глаза, можно подумать, что мне шестьдесят лет и что я мудрейший старец в Сиань-ши. Как хорошо быть взрослым!

После чая Цзай-ин ведет меня в свою комнату, лезет в какие-то коробки и, копаясь в них, говорит, не подымая на меня глаз:

— Прости, Ши-хуа, у меня нет дорогих подарков. Возьми это. Я сама сделала.

Она передает мне закладку в виде жука, с длинным хвостом из шелковых ниток, кладет его в картонную белую коробочку, чтобы не помять, и говорит:

— Я знаю сто разных узоров закладок. Меня научили в школе. Но мне кажется, что эта самая красивая.

Я торжественно отвечаю:

— Спасибо, Цзай-ин. По-моему, красивее этого жука закладок не бывает.

И зову приятельниц вместе с толстяком пройти навестить мой дом. Девочки ждут ответа своего толстого братца. Он отвечает не сразу. Смотрит на меня, на них, потом выглядывает в окно и, вздохнув, говорит:

— Не пойду. Очень жарко.

Что ему ходить пешком по этому солнцу? Много приятнее, забившись в тень, играть в карты на каменных плитах двора.

Два часа дня. Над черепичными крышами трясется накаленный воздух. Стены домов — как хлебная печь, из которой выгребли угли. Бананы выбросили из-за забора свои драные листья, похожие на уши зеленых слонов. Идущий впереди нас крестьянин срывает конец листа, в хорошую газету величиною.

Он скручивает его фунтиком, скалывает бамбуковой щепкой и надевает этот зеленый колпак на клейкую от пота голову. Банановая зелень свежо холодит кожу. К закату солнца колпак увянет и будет брошен в канаву.

Цикады кричат, цизикают, раззванивают с деревьев как нанятые. И так жарко, а от этого безостановочного звона, заполняющего весь горячий купол атмосферы, становится совершенно нестерпимо. Только поросята умеют визжать так истошно, как эти цикады.

На улице под деревьями со столов продавцы предлагают прохожим прохладную воду с медом. Фаянсовое ведро с краном окружено тяжелыми гранеными стаканами. К стаканам тянутся руки раззноенных людей. Коричневатая струйка бежит в стакан и одевает его холодной мутью.

Мы к этим столам не подходим. Нам нельзя. Мы можем заразиться.

Вокруг стаканов накиданы свежие листья, и продавец опрыскивает их с пятерни свежей водой. Это он освежает прикрытые листьями фрукты.

Нам трудно идти даже теневой стороной, а рядом с нами солнечной серединой улицы кули несут на своих горизонтально поставленных спинах мешки, набитые рисом, вязанки дров и желтые кипы бумаги. Эту бумагу они волокут из бамбуковых рощ, которыми за деревней поросли узкие боковые притоки Янцзы.

В этих рощах кустарные фабрички перерабатывают бамбуковое волокно в плотные бумажные листы.

Кули, придавленным грузом и духотой, гораздо труднее, чем нам. Они идут, оставляя за собой на уличных плитах темноватое многоточие. Это оброненный пот стремительно высыхает на белом зное.

Кули бредет под тюками и кипами, и лицо его, обращенное к земле, видит только круг мощеной улицы и грязные пальцы своих босых ног, попеременно вбрасываемых в этот круг. Грузчиков окликает веселая толпа свободных кули, празднующих Дракона.

Расправив по-человечески плечи, они идут лениво покачиваясь, и солнечные пятна ходят по их обожженной коже. Темя прикрыто травяной крышечкой, а в руках — прохладный веер из пальмового листа, у которого острижены зеленые пальцы.

По дороге старшая Чен говорит:

— Не находишь ли ты, что твой младший дядя за последние дни стал не таким ласковым и внимательным, каким он был всегда? Мне сдается, его что-то беспокоит.

— Нет, ничего не заметил. Но, может быть, некогда было и заметить. Ведь только вчера утром я приехал.

— Приглядись повнимательнее,— говорит она, и в голосе ее чую я неслыханную мною раньше тревогу.

Вхожу в дом. Вот он, дядя, большой, добрый, стоит, улыбаясь, в дверях и приветствует нас. Пялю на него глаза, прислушиваюсь к тону его речи — как будто все по-старому, в порядке.

Дядя смотрит, как приседают перед ним мои приятельницы.

— А вы знаете, что говорят древние правила? Древние правила говорят, что хорошие ученицы, встречаясь со своим учителем, должны его приветствовать, становясь на колени.

Не успевает он рта закрыть, как старшая хлопается на колени и, сложив руки, кротко смотрит туда, вверх, где в дворовом квадрате неба недоуменные дядины брови.

— Что вы делаете? Что вы делаете?

И взволновавшийся дядя спешит поднять ее.

Тетка льет кипяток в заваренные чашечки. Мы снова пьем чай. Наклоняясь над чашкой, я не отвожу глаз от дяди. Ничего не понимаю. Вероятно, старшая ошиблась.

Девочки встают из-за чайного стола. Им надо домой. Я не хочу с ними расставаться и снова иду их провожать. Я в состоянии целый день ходить по улицам Сиань-ши, лишь бы рядом были умные речи «старшей третьей» и коричневый хохоток в глазах Цзай-ин.

Назавтра я с утра выбираю в лавке тушь, веер и самую тонкую рисовую бумагу, на которой рисуют портреты актеров.

Сегодня я буду одаривать Цзай-ин. Но к ней удастся пойти только после торжественного банкета, от которого отвертеться нет никаких способов.

Есть обычай. На каникулах школьники, съехавшиеся домой, устраивают с учителями начальной школы, в которой они учились, обеды. В Теяни три гимназии. По этим гимназиям рассыпано десятка два моих

сотоварищей, с которыми я преодолевал премудрость учения в начальной школе.

Все учителя, которые когда-либо преподавали в этой школе, пригласили нас на обед.

Первым блюдом в праздничном меню поданы драконовые треугольники с рисом.

Обед рассчитан на долгие часы. Медлительно блюда сменяются блюдами. Бесшумные прислужники ресторана, в котором мы сидим, наливают нам бледное рисовое вино. Первые щепотки, схваченные с блюд нашими куай-цзы, жуются азартно, и разговор не ладится, потому что челюсти заняты. Но когда четырнадцатое, пятнадцатое и шестнадцатое блюда оседают в уже отягченном желудке, обедающие отодвигаются от чашек, над которыми они нависли ртами, и все чаще щелкают куай-цзы, складываемые рядом с прибором и бездействующие.

Сквозь жареную курятину, рыбные супы, мясо в сахарной корочке и овощи, варенные на десятки ладов, не видать конца обеду. Учителя, подняв чашечки с вином, выдавливают из себя длинные поучительные речи, скудные, как веревка, за которую бурлаки выволакивают лодки.

Стул подо мной накален. Мне обед в тягость уже давно. Мне хочется скорее пойти домой и еще раз взглянуть на дядю, а затем посетить Чен и выведать у тревожно замолчавшей вчера «старшей», в чем дядина тайна, на которую она намекает.

За сладкими пирожками — снова жирный мясной суп, опять рыба.

Но вот в руках прислужников задымились заключительные чашечки с комьями распаренного риса. Не докланявшись, не досказав благодарностей и прощальных вежливых слов, спешу домой.

Между двумя дворами в нашем доме есть прохладная комната. Ее даже трудно назвать комнатой. Это просто крытый проход — две боковые стены и навес. Самое «продувное» место в нашем доме, где в жару хорошо принимать гостей.

На бамбуковой кушетке под навесом лежит, крепко задумавшись, дядя. Я никогда еще не видел, чтобы дядя днем прилег. Дело явно неладное. Спрашиваю, не болен ли он.

Оторвавшись от раздумья и пересиливая себя, дядя отвечает рассеянно:

— Погода слишком знойная. Устал, прилег.

Чтобы работяга дядя устал? Чтобы великана дядю свалил зной? Не верится мне все это.

Иду к тетке. Она шьет около окна. Отвечает, не подымая головы над шитьем:

— Думаешь, болен? Пожалуй, ты прав. Но к врачу, как видишь, не идет.

Ничего не выяснив дома, несу подарки Цзай-ин.

Старшая Чен испытующе глядит на меня. Это она спрашивает меня о дяде. Говорю:

— Ваши подозрения справедливы. Дядя лежит и не выходит из дома. Тетка согласна, что он, возможно, болен.

Старшая Чен смотрит в сторону и молчит. Начинаю раздавать подар-

ки. Первый подарок — толстому братцу. Я очень тонкий дипломат. Если я вывалю все подарки одной только Цзай-ин, даже в его жирную голову забьется подозрение. Он побежит к мамаше и будет кляузничать и сплетничать.

Цзай-ин берет мой веер и новую кисточку, открывает крышку своей шкатулки на письменном столе, опускает туда подарки.

— Я очень люблю твои подарки, Ши-хуа. Они мне очень кстати. А то моя шкатулка была недостаточно полна.

Шкатулка захлопывается и водружается на другой ящик, побольше. В этом большом ящике Цзай-ин — будущая домоводка, хозяйка и мать. Он весь полон мотками ниток, катушками, иголками, костяными наперстками, и крохотными, словно на воробьев шитыми, платьицами, штанцами, шляпками, туфлями.

Мы выходим в теневой угол двора. Цзай-ин расправляет белую праздничную юбку до колен, не совсем привычную ей, по будням ходящей в голубых штанах до лодыжек. Я оглядываю ее:

— Какие вы с сестрой сегодня нарядные!

На плоской груди — тканые диски шелкового узора. На круглые матерчатые пуговички кофта застегнута по боку. Широкие рукава до локтей. В их глубине, под мышкой, комочек носового платка.

На длинные тонкие брови волосок к волоску спущены аккуратно подрезанные челки, а там, где волосы сливаются в косу, золотым разводом играет черепаховый гребень. Белые чулки блестят на солнце, а по синим шелковым туфлям движется вышитая процессия лодок, в которых стоят древние министры с подзатыльными лопастями придворных шляп.

Цзай-ин видит, что я ее оглядываю. Она улыбается и встряхивает головой, а я восхищенным взглядом пробегаю ее мелкие зубы и продырявленные серьгами мочки ушей. Школа вынула серьги из мочек.

Мы вчетвером играем в карты. Проигравшего бьют по ладоням.

Толстый братец за картами сразу приходит в себя. Он их ловко раскладывает, не пыхтит над ними и поражает нас умелостью своих ходов.

Мы переглядываемся с Цзай-ин. Картежной прыти этого хомяка надо положить конец. Она начинает прикладывать руку то к правой щеке, то к носу. Это она сигнализирует мне одну из трех мастей. Поднеся руку, она выставляет пальцы. В каждой масти девять карт, и я быстро расшифровываю ее пальцеграммы. Братец удивляется. Что ни игра, то проигрыш. Мы бьем его по ладоням ожесточенно. Он лезет отыгрываться. Мои ходы гениальны. Выбрасываемые мною карты расшибают все его уменье. Снова он выставляет вперед руку, мы наколачиваем эту руку до опухоли, до слез, до позорного бегства в комнату.

Нам только этого и надо. Важно убрать ябедника. Теперь, не бросая карт, мы с Цзай-ин можем сесть рядом, можем объяснять друг другу ходы, разбирать комбинации. Наши голоса деланно деловиты, а пальцы ласково сцеплены. Приход матери рассекает наше единение. Мы отшатываемся, краснеем и говорим слишком громко какие-то слова, не относящиеся к игре.

Мать проходит мимо, и снова нам необходимо сдвинуться лбами над веером карт.

Старшей сестры мы не боимся. Она глядит на нас спокойно. Она — наша союзница. Еще до того как убежал избитый братец, мы позвали ее четвертой в игру.

Взглянув на покрасневшие ладони брата, она требует нейтралитета.

— Условие: если я выиграю, то бить никого не буду, но за это и меня не смейте трогать.

Разве у меня подымется рука на «старшую»?

Глава 24

ГОДОВЫЕ ЭКЗАМЕНЫ

В обратный путь.— Зубрежка.— Шпаргалочник.— Ненавидим инспектора.— Жизнь в спальнях.— Наша ночь.— Я пьян

Три дня праздника Дракона как три минуты. Тетка снаряжает меня обратно в гимназию. Дядя прост и ласков, но я чую, что у него не все ладно. Хочу спросить, что с отцом, но не спрашиваю. Ясно, будь от отца какие-нибудь известия, дядя сказал бы мне первому.

Куча невыспавшихся гимназистов, зевая и ежась, сползает по скату на пристань. Всем жалко уезжать из веселой деревни в негостеприимную гимназию, в гвалт коридоров, к лисьим шагам надзирателей и тухлому запаху рисовых лоханей. Лодка легко несет нас по течению. Лощина Сяньши убегает за изгиб. Вот и деревня на полпути. Лодчонка торопится нам наперерез. С нее летит кольцо каната. Мы на ходу приматываем лодчонку к борту, протягиваем в нее медяки, а оттуда навстречу деньгам подымают фрукты, холодные блинчики с вареньем и стаканы медовой воды.

К первому июня кончается учебный год и начинаются экзамены. Классы больше не затихают уроками. Они гудят зубрежкой. Лентяи, вспыхнув запоздалым прилежанием, увязают носами в книгах и, заткнув уши пальцами, качаются из стороны в сторону, заучивают имена, слова, правила.

Прилежным легче, они уже отзубрились за год. Им приходится бегством спасаться из жужжащих классов, потому что на них обрушивается саранча лентяев:

— Объясни! Покажи! Реши! Помоги!

Некоторые из первых учеников хорошо зарабатывают на предэкзаменной лихорадке. Эти промышленники репетируют слабых, беспамятных, нерадивых за тетради, за бумагу, за деньги, за многоблюдный обед в ресторане.

Так как на экзаменах четыре класса будут рассажены вперемежку, чтобы не списывать, то работают вовсю изобретатели шпаргалок.

Настригши длинные, вроде телеграфных, ленты, они их сверху донизу исписывают мельчайшими иероглифами; работают днями и ночами без лупы, уподобляясь трудолюбивым резчикам по слоновой кости, затем складывают гармошкой, зажимают между пальцами и изучают сложную

технику считывания с этого трудного аппарата. Поражаешься, как они не изучат предмета, столько раз переписав и столько раз прочитав.

Некоторые пишут на столах, надеясь оказаться на экзамене за этими столами. Третьи татуируют формулами и правилами ладони рук, а затем ходят не моясь, растопыря пальцы и боясь стереть свою ученость с ладони.

Хуже всего, если такие начинают во время экзамена волноваться и потеть.

С таким трудом исписанная ладонь превращается в изображение грозовых туч.

Инспектор ходит на неслышных подошвах и наблюдает, запоминает и шевелит пальцами, которыми он завтра, в день экзамена, будет выводить за плечо из класса шпаргалочников или «ладошников».

Мы дружно ненавидим инспектора, пожалуй, еще больше, чем повара. Ненавидим за то, что перед новичками он вырастает хмурым тюремщиком. Кроме грубой ругани, и без того испуганные малыши не слышат от него ничего. Зато в любую группу разбушевавшихся старших учеников он втирается со сладкой улыбкой, мягкими, покорными жестами, медовым голосом.

Мы говорим:

— Инспектор — лиса. Перед старшими он как перед львами, на младших он как на зайцев или козлов.

Я в первых рядах этой ненависти, ибо по своему росту и физической силе я для инспектора несомненный козел, правильнее — козленок.

Он туп и необразован. Но он родня директора, и потому место надзирателя за ним.

Экзамены треплют нервы озабоченных гимназистов. Ничего не видя и не слыша кругом, они сутулятся над листами сочинений. Бесшумный директор извлекает гармонии шпаргалок и с легким шелестом рвет результаты многодневных работ.

Шпаргалочники бледнеют и под сдержанный окрик уходят из класса, пряча от сотоварищей слезу, закатывающуюся под ноздри. Их судьба решена. Их оставят в классе на второй год.

Они отсиживаются у окон. После экзамена их приходят жалеть выдержавшие. Они крепятся, отворачиваются и невозмутимым голосом отвечают:

— На второй год? Подумаешь, какая беда! Это пустяки!

Последний экзамен завтра. По всей гимназии прокатывается волна необычайного возбуждения. Оживленные лица, конспиративные группы, сдержанные разговоры и звяканье собираемыми деньгами.

На вечернюю прогулку, от пяти до шести, идут чинно, как обычно, но, выйдя за ворота гимназии, стремглав пускаются в разные стороны. Кто торопится перебраться в город и успеть обратно, кто бежит к деревьям ближней деревни. Возвращаемся группами, прикрывая бегунов. Они идут посредине, засунув руки в карманы, и фалды их халатов уродливо оттопыриваются.

В спальнях, под кроватями, звяк стеклянной посуды и еле уловимый запах рисового вина и гаоляновой крепкой водки.

Мы прячем все это до ночи, по привычке оборачиваясь на вкрадчивые

шаги инспектора. Но сегодня и завтра инспекторские глаза зажмурены. Таков закон школы. Эти ночи принадлежат нам, благополучно одолевшим экзаменационный перевал.

Наше общежитие — пристройка к главному квадрату школы. Комнатенки и комнаты — в каждой из них от трех до десяти кроватей — выходят дверьми и окнами на галерею. Сквозь столбы этой галереи видны воды Янцзы.

Обычно мы на ночь не смеем запирать дверей, чтобы инспектор, крадущийся по галерее, мог стремительно войти в любую из комнат.

Во время вечерних обходов он ловит гимназистов, которые мастурбируют (а этим в нашей гимназии заболевали целые комнаты). Он срывает одеяла с ребят, которые, закутавшись с головой, читают при потайном фонаре трепаные романы или порнографические книжонки, купленные на теяньском базаре у букинистов. Он настораживает слух, ловя, не шелест ли это карт, не хряск ли костей, не звон ли цяней.

Но мы умеем ловить его приближение заранее. Обычно он слышит только чинный, безмятежный сап ноздрей, выставленных над краем одеяла. Но достаточно его шагам прошелестеть далеко за поворотом галереи, как срываются одеяла и у подслеповатого ночника сбивается кружок игральщиков в деньги. Эта игра похожа на русскую орлянку. На мелком медном цяне, которых десять дают за медный тунзер — грош,— а носят эти цяни пудовыми ожерельями, словно русские баранки, нанизанные на мочалу,— на каждой стороне монеты есть по четыре иероглифа. На одной стороне цяня знаки китайские, на другой — маньчжурские.

У вас говорят — «орел» или «решка», а у нас — «цзы» или «мань». Ставящий обычно кладет перед собою цянь той стороной вверх, на которую ставит. Быстро набрякивают ставки, в которых редко-редко промелькнет целый тунзер среди дырявых цяней. Ведущий игру запускает цянь волчком и, пока еще деньга кружится по полу, накрывает ее чашкой. Цянь падает, и либо ставки переходят в карман деньгомета, либо он отсчитывает из своей мошны проигранное количество медяков.

Некоторым везет. Их выигрыши гимназисты встречают одобрительным гулом:

— Ого-го! В шестой раз подряд выигрываешь. Видно, тебе сейчас дома какая-то девушка подушку взбивает. Признавайся, есть такая?

Я тоже играю, но мои ставки малы. Я перед самыми экзаменами получил два даяна ежемесячной выдачи, завещанной матерью. Но я берегу деньги. А кроме того, мне в игре положительно не везет.

В последнюю ночь инспектор даже близко не подходит к нашим дверям. Все равно они наглухо заперты. Ученики веселы и галдят. Уровень вина и водки в бутылях понижается быстро. С разгоряченными глазами все хвастают друг перед другом школьными успехами и строят планы на будущее. Я тоже возбужден. Моя речь повышена. Я рассказываю приятелю, что непременно, окончив гимназию, поеду учиться в университет в Японию, ибо так в свое время поступил мой отец.

Воображение, разогретое водкой, работает и в постели.

Вот я в Японии. Вот я окончил университет. Вот я в Теяни. Вот меня выбирают начальником города. Вот меня окружают преданные солдаты.

Вот я караю негодяев и взяточников, а в первую очередь гимназического инспектора и повара, а заодно и директора, которому оба они приходятся родственниками.

Глава 25
ДЯДИНА ТАЙНА

Расставание.— Игры в лодке.— Три даяна.— Король шахмат.— Ночное уженье.— Страшная весть.— Галлюцинация.— Я другой.

Сдан последний экзамен. В общежитии идет укладка вещей. Канцелярия гимназии строчит свидетельства, вычисляет средние годовые и экзаменационные отметки.

С веселыми лицами ходят те, у которых выставлены высокие цифры: восемьдесят, девяносто, сто. Понурясь, размышляют те, у которых на свидетельствах страшная цифра ниже шестидесяти, как они будут врать родителям и как их родители будут сечь. Земляки уговариваются вместе ехать по домам и уславливаются, где нанимать лодку, заказывать мулов или цзяо (носилки). Тычут друг другу визитные карточки или бумажки с записанными адресами, передают поклоны, просят не забывать, обещают переписываться.

Моих однодеревенцев в школе человек тридцать. Мы решаем ехать не в обычной лодке, а нанимаем специальную за три даяна. Деньги по раскладке, по мао (гривеннику) с брата, вручаем здоровому детине, сыну сианьшийского купца, большому мастеру торговаться, раздобывать вино и врать начальству.

Кули гребут, откидываясь на весельных взмахах, или уныло выволакивают нас лямкою. Мы их не замечаем, и нас они очень мало интересуют. Ведь среди нас нет ни одного сына кули.

В гимназии только дети учителей, купцов, богатых крестьян, чиновников. Дети кули учатся в других школах, в бесплатных благотворительных низших, а средних школ для них совсем не существует.

Лодочная скамья широка, как стол. На ней разложены кулечки. Подходи и ущипывай. В большом почете всякие соления, ибо всех нас еще мутит от вчерашней водки.

Звенят и ноют ху-цзины в руках у наших музыкантов, и тонким-тонким голоском, совсем как театральные актеры, выпевают они любимую песню:

До-до, ре-ми, ре-ми,
Соль-ля-соль-ми-ре.
Ми-ля, соль-ми
Соль-соль-ми-ре-до-ре-ми
Ре-до-ля-до-соль.

Шелестят узенькие, в ноготь большого пальца шириною, игральные карты. Усевшись друг против друга, яростно выкрикивают двое игроков

в «Хао-чжун» — раскрой кулак. На севере, я слышал впоследствии, эту игру называют «Цай-чжун» — угадай кулак. Навстречу друг другу, одновременно, прямо в глаза, выкидывают из сжатого кулака несколько пальцев и кричат цифры. Если сумма выброшенных обоими игроками пальцев равна одной из названных цифр, то крикнувший ее считается выигравшим, и соперник его обязан выпить полную чашку водки.

Редко и деловито щелкают шахматы. В этой игре властвую я. Во всей гимназии нет шахматиста, который мог бы меня победить. Ши-хуа — король шахмат — называют меня товарищи.

Вдоль берега старухи стирают белье. Они шлепают им по валуну. Скользкие куски мыла юлят в их морщинистых руках. Жесткими щетками из бамбука и щетины они трут синеватые мокрые груды, отстирывая обеденные пятна.

В этом месте река не дает ходу лодке. Мы тридцатиротой бандой вываливаемся на берег, шумим, орем, подбираем разноцветные камешки в сустав пальца величиною и швыряем в воду, норовя попасть под самым носом у прачек. Вода плещет в лицо старухам. Они яростно оборачиваются к нам и честят нас обезьянами, а мы, когда на четвереньках идущие кули выволокут лодку из бурного стремени на тихий плес, снова влезаем в нее, и галька катится с грохотом из наших карманов под скамьи или булькает в воду через борт.

Уже Сиань-ши. Большая толпа ожидает лодку. Это — родственники.

По письмам они знают, что мы едем, и ждут с нетерпением. Отцы стараются у вылезающих наследников прочесть в блеске глаз полученные отметки. Матери протягивают руки навстречу, берут багаж и гладят по голове сынков.

Первым выскакивает на пристань ловкач, сын купца. Не поздоровавшись еще как следует с отцом, он прямо огорошивает его сообщением:

— Фу-цинь, мне пришлось заплатить за лодку три даяна. Я счел неудобным требовать у товарищей покрытия этих денег. Я думаю, что ты мне возместишь этот ущерб, ибо он результат моей деликатности.

Растроганный своим вралем, отец лезет в карман и отсчитывает в торопливую ладонь три серебряка с изображением дракона.

Я тороплюсь спрыгнуть на пристань. Дядя ждет меня. У него беспокойное лицо. Что же такое? Неужели его тревожит исход моих экзаменов? Но ведь я ему уже писал, что с экзаменами у меня всё в порядке. Возможно, что он не поверил письму и боится, что на меня по какому-либо предмету свалилась страшная отметка — шестьдесят? Достаточно ее получить по китайскому, английскому или математике, и отсидка на второй год обеспечена. Я с гордостью протягиваю дяде свидетельство, подписанное директором.

Весь первый день я, как рыба в гнилой воде, валяюсь дома. Еще бы. Одну ночь пропьянствовал, а вторую не спал, волнуясь, ожидая отъезда и укладывая вещи.

Но уже со второго дня начинается обычное хождение школьников в гости. То я у товарища, то товарищ у меня. Забросив чтение и тетради, я висну напряженным лбом над шахматными ходами или проделываю

стратегические маневры на мелкоклеточной доске игры «уи-ти», ловкими обходами запирая и забирая в плен шашки противника.

Мы устраиваем шахматные матчи, подражая взрослым, играющим в храмах и клубах. Мне льстит, что я неизменно выхожу победителем. Ши-хуа — шахматная гордость Сиань-ши.

Вечером с приятелем еду кататься на лодке вдоль бамбуковых зарослей по притоку Янцзы. Светло. Луна круглая и белая, как всегда в середине китайского месяца. Ее сияние чернит берега и бамбуковые чащи.

Мы загоняем лодку в черные пещеры прибрежного мрака.

Белые луны пляшут по реке, как жир на поверхности мясного супа. Разматываем удочки. Приятель подымает поплавок высоко над крючком и насаживает на крючок червяка. Он ловит донных рыб.

Я охочусь на рыб-плясунов, с легким треском пробивающих лунные обручи, как наездники в европейских цирках. У меня поплавок рядом с крючком, а на крючок я насаживаю чуть клейкую рисинку.

Тростниковые поплавки очерчены луною. Они качаются, потом вздрагивают, потом ныряют, и через секунду рыба шлепается на дно нашей лодки. Если рыбешка с палец, то, выдрав из нее крючок, выбрасываем. Но к здоровенным рыбам, в полруки длиною, мы относимся с уважением и прислушиваемся, как они чмокают под лавкой. Их мы снесем домой на кухню.

Луна медленно пробирается сквозь ножи бамбуковых листьев. Поплавки омертвели. Видимо, рыбы поплыли спать.

Перегоняем лодку дальше. На огромных бамбуковых стволинах, приподнятые над водою, висят и сохнут рыбацкие сачки такой величины, что в них можно поместить двух слонов. Мы выбираемся на берег, окунаем сачок в воду, выдерживаем его на дне и затем быстро поднимаем кверху.

Мокрое серебро рыбы пляшет под луною в центре сачка и роняет в воду звонкие капли.

Домой возвращаюсь поздно затихшими переулками Сиань-ши. На мои шаги дядя выходит из спальни в белых подштанниках, в расстегнутой у ворота рубахе и босой.

— Где ты был? Почему так поздно возвращаешься домой?

— Катался по речке, забрались далеко в бамбуки, ловили рыбу.

Я протягиваю дяде живое ожерелье жирных, жестяного блеска рыб.

Дядя их не замечает. Таким хмурым я его еще не видал.

— Не дело в такую поздноту домой ворочаться. Не слишком ли завеселился, парнишка?

Стою, тупясь, и соскабливаю чешую ногтем.

Чем я перед ним виноват?

— Ты знаешь, что с отцом?

Словно я кипятку проглотил. Рыбы шлепнулись о пол. Стал белей и холодней луны.

— Он сидит в тюрьме в Ченду. Приказ дуцзюня Ху вести его на казнь уже отдан. Пишет друг, хлопочущий о его освобождении.

Я испуган, смят, застыжен. Я виноват. Я — прохвост. Я — веселящаяся дрянь.

— Дядя, почему вы мне раньше не сказали?

— Не хотел волновать. Боялся, чтоб другие не узнали. Время настало опасное. Кругом слишком много ушей.

Отец... Тюрьма... Ху... Казнь... Белое лицо мамы... Дуцзюнь Ху... Кровь застреленной курицы...

Я прилип к земле и одеревенел. Дядя хлопает меня по спине. Ему жалко. Если он хлопнет еще раз, я заору так, словно в соседней комнате стоит отцовский гроб.

Но тогда узнает старый сивоусый брат деда, гостящий в нашем доме. Он слишком стар. Эта вещь его может убить. Я проглатываю крик.

— Иди спать,— говорит дядя.

Не сплю.

Друг отца обнадеживает освобождением. А вдруг он лжет? Может быть, пока он нас утешает, отец уже лежит мешком, уткнувшись лицом в каменный пол тюремного двора.

Я лежу, раскрыв глаза, как чашки. Я вспоминаю отца, от канта его прямо надетой форменной фуражки и до закраин черных форменных брюк. Вот он, заложив руки и держась по-военному прямо, глядя поверх людей, молча проходит по комнате. Вот он, загремев палашом по ступенькам, садится и думает о «старших братьях», о Сун Ятсене, о полицейской школе, об юаньшикаевских мандаринах, надвигающихся на революцию.

Вот он ходит из угла комнаты в угол и, волнуясь и повышая голос к концу фраз, словно на митинге, рассказывает приехавшему издалека гостю о том, почему нужно делать революцию и как ее нужно делать.

Вот он насмешливо отвечает старшему дяде, а дядя сначала медленно, со вкусом, скандирует фразы, а потом напивается и начинает частить, честя отца. Потом слова старшего дяди заскакивают одно за другое, как спицы в быстро вертящемся колесе. Речь переходит в бормотанье. Ничего нельзя разобрать, только стремительное урчанье, сердитые подвизгивания и пьяные слезы.

А у окна, примостясь к свету, шьет и молчит, шьет и молчит, ни разу не вскинув на отца глаза, мать.

Опять вспоминается письмо. Почему оледеневает желудок?

Как мы будем жить, если отца казнят? Я еще маленький парнишка. Дадут ли мне кончить школу? Не придется ли и мне, как двоюродному брату, идти приказчиком в лавку?

А сестренка совсем маленькая. А долги отца однодеревенцам за университетскую учебу? Кто выплатит эти долги? Ведь если задержать выплату, я стану презренным человеком, от меня будут отворачиваться взрослые, а мальчишки, скачущие по улицам, будут показывать на меня пальцами и бросать в меня апельсинными корками и кочерыжками бананов.

Я стараюсь себе представить казнь.

Меч... Выстрел... Кровь...

Но это только слова. Я никогда не видел казни. Я знаю, что она страшная, но какая страшная — я не знаю.

Слово «казнь», подобно живьем заглоченной мыши, ворочается во мне.

Что мне делать?

На помощь мне бегут стихи поэта Ханьской династии, знаменитого Ту-фу.

Деда поэта, императорского сановника, оговорил мандарин-ненавистник.

Обвиненный в измене, он был посажен в тюрьму и ждал казни... Так же сидит в тюрьме и ждет казни мой отец... Тринадцатилетний сын арестованного... а ведь это почти мой возраст... младший дядя поэта Ту-фу спрятал под свой парадный халат кинжал, явился к врагу на банкет и заколол мандарина. В тот момент, когда телохранители зарубали мальчика-мстителя, умирающий мандарин сказал: «Я не думал, что у старика есть такой сын. Я раскаиваюсь, что арестовал его. Он не виновен. Если мне суждено умереть, освободите его».

Умер мандарин, умер мальчик, но зато отец мальчика вышел из тюрьмы. Так говорят стихи.

Я грежу: вот я, тринадцатилетний сын мандарина, вот я завтра нанимаю цзяо, вот я еду в Ченду... Я покупаю в лавке кинжал, такой острый, что он режет дерево поперек, как вареную картофелину. Я вхожу в приемную Ху. Я замахиваюсь, стиснув зубы. Ху — на полу.

Надо мною свистят сабли охраны, и сквозь свист их я слышу голос потрясенного губернатора: «Освободить Дэн Я-пу».

Я легчаю и прозрачнею от потери крови. Умирать за отца мне отрадно. Радость сладко высасывает жизнь из-под ложечки.

Резкие шаги освобожденного отца переступают через мое распластанное на полу приемной комнаты тело. Я вижу только подбородок отца. Он уходит стремительно, глядя поверх меня.

. . . .

Синеет плетение окна на коричневой темноте стены. Налаженная мечта распадается. Шагающий отец, пятясь, отплывает в тюрьму. Меня, кровоточащего, с пола перекидывают на постель. Ху по воздуху через черные горы отлетает в Ченду. Он жив.

Задача не решена. Пленка иллюзий рвется, как неумелое и неподготовленное восстание. Вновь на своих постах прямые и неумолимые — тревога, страх, ожидание, злоба, бессонница, беспомощность.

Сколько раз я в эту ночь мысленно умер за отца!

Сколько раз в эту ночь казненный отец, белый и обмякший, падал передо мной ничком под палачовыми ударами!

В эту ночь я запомнил имя Ху так прочно, как не запоминают имен возлюбленных.

Я должен его убить. Я отомщу за отца. Я встречу Ху. Я найду Ху.

Мой нож, пробивающий без усилий шелковые халаты и межреберные сухожилия, нагреженный в эту ночь, стал для меня ножом более стальным, чем тот, которым на кухне тетка отрубила головы моим рыбам.

Утром я вышел из комнаты бледным и новым.

Эта ночь перепилила мою жизнь. Я думаю, этой ночью кончилось мое детство.

Я обрываю гулянки с товарищами. Пришедшие приглашают меня, уходят, посвистывая и переглядываясь.

Я кидаюсь с новостью к сестрам Чен. Старшая слушает внимательно, Цзай-ин — испуганно.

— Только никому об этом не говорить. Слышите? Это тайна.

Старшая утешает спокойно и деловито:

— Не горюй, не надламывай себя раньше времени. Письмо от отцовского сослуживца есть, и в нем сказано, что отец, вероятно, скоро будет освобожден. Займись уроками. Только не забрось школьного ученья. Школьное ученье — твое будущее.

Но меня трудно успокоить. Я негодую на негодяя-взяточника, самоуправца, юаньшикаевскую гадину, которую надо уничтожить.

Цзай-ин молчит, растерянно моргает и глядит испуганными глазами. Губы ее дергаются, она хочет что-то сказать, но не говорит.

Тогда я не понял, что брань моя падала и на ее отца.

Каникулы коротки. Снова остроносые лодки несут нас в Теянь. Собравши энергию в комок, удваивая рвение, заучиваю страницы за страницами, ни с кем не шучу, в шахматы не играю, не балуюсь, за ночной игрой в монеты не кричу «мань».

Проходя мимо моего высящегося над книгами затылка, товарищи тычут меня в загривок и вышучивают мою неподвижность:

— Пропал прежний Ши-хуа! Ему теперь место не в школе, а в девичьей комнате.

Я отмалчиваюсь. Им надоедает. Они уходят.

Глава 26

ОТЕЦ В ТЮРЬМЕ

Маленький Тай.— Сюн Ке-у наступает.— Смерть Чжу Сяна.— Отца взяли.— Распродажа.— Друг отца.— Антикварная лавка.— Две и-тай-тай.—«Подушечная протекция»

Учась в гимназии на берегу Янцзы, я проморгал происшествия, повисшие обвалом над гоминданом и гоминдановцами.

Гоминдан стоял за французский порядок — власть парламенту и кабинету министров.

Приверженцы Юань Ши-кая образовали партию цзинь-будан[1] и проповедовали повышенную власть президента по образцу Соединенных Штатов. Эта «американская доктрина» была в интересах Юань Ши-кая, шедшего к диктатуре.

Два гоминдановца — губернаторы провинций Цзянсу и Цзянси —

---

[1] Цзинь-будан (название означает: «прогрессивная партия») — буржуазная политическая группировка, организованная в первые годы существования китайской республики. Во главе ее стоял писатель и политический деятель Лян Ци-чао (1873—1929), доказывавший в своих произведениях неприемлемость социализма для национального характера китайского народа. В 1916 г. часть членов цзинь-будана совместно с некоторыми гоминдановцами создала реакционную группу «политических наук».

двинулись походом на Юань Ши-кая. Он их разбил. Головы солдат и полковников соскочили с шей и сели на копья. Губернаторы укрылись в иностранном сеттльменте Шанхая.

Дуцзюнь всего Сычуана, юаньшикаевец Ху Цзинь-и, получил директиву Юань Ши-кая почистить Сычуан от гоминдановцев.

Его помощник Сюн Ке-у, губернатор восточного Сычуана, получил директиву повстанцев: ликвидировать Ху.

Ху начал чистку с полицейского управления.

Дальше идет повесть, не раз с замиранием и ненавистью прослушанная мною. Рассказчицей этой повести была мачеха. На ней отец женился в Ченду.

Начальник отца, маленький Тай, понять не может, откуда эти шпионы, эти военные караулы из губернаторских телохранителей, эти перешептывания в городе.

Ясно, что дело неладно и надо бежать. Отец предлагает бежать вместе, но Тай говорит:

— Если мы уйдем оба, последние остатки нашего влияния окончатся. У революции и без того подламываются ноги. Кому-нибудь из нас надо остаться. Твой пост менее ответственный. У Ху с тобой нет счетов.

Отец остается.

Через день из квартиры Тай к поджидающему цзяо выходит маленькая, круглощекая, нарумяненная китаянка, перед ней расступаются дюжие телохранители Ху, оцепившие квартиру начальника полиции. Телохранители перемигиваются вслед шелковой фигурке. Они уверены, что обреченный аресту Тай веселится напоследок. Цзяо увозит ее, а через десять минут офицер с ордером об аресте во главе полдюжины полицейских входит в дом. В доме нет никого, кроме прислуги. В комнате начальника полиции валяются мужские штаны, халат и стоит раскрытая коробка с женским гримом.

Горными дорогами и реками добегает до Ченду топот карательного похода Сюн Ке-у.

Немного дней проходит со дня бегства Тай. Отец застает в своем служебном кабинете незнакомого ему улыбающегося человека. Человек этот показывает ему бумагу за подписью Ху — приказ об увольнении Дэн Я-пу от должности секретаря. Отец идет к Ху и заявляет ему, что уезжает. Губернатор любезен:

— Я очень огорчен тем, что обязан причинить вам неприятность. Предатель Сюн Ке-у занял своими бандитами все дороги, и я не могу рисковать вашей драгоценной жизнью ни на сычуанских тропах, ни здесь, в Ченду. Я должен вас оберечь.

Жандармы Ху появляются у ворот отцовской квартиры. Отец заперт.

Только мачеха проскальзывает мимо сторожевых пикетов. На нее жандармы смотрят как на вертящуюся под ногами собачонку. Женщина ведь существо безмозглое и безвредное. Ей бы сплетничать да с лавочниками торговаться. Разве может она пронести какую-нибудь революцию на своих слабеньких ногах? И жандармы обмеряют вертлявую мачеху ленивыми длинными взглядами и отворачиваются презрительно.

А она бегает к гоминдановцам, разузнает новости.

На Сюн Ке-у наваливается кольцо юаньшикайских генералов. На плечах его дивизии виснут подоспевшие на выручку Ху отряды юньаньцев, гуйчжоуцев, хубэйцев, шэньсийцев и западных сычуанцев.

У Сюн Ке-у только одна дивизия. Правда, солдаты ее подобрались один к одному. Они не бросят ружей, не продадут их неприятелю, не удерут из боя. На их ладонях еще нет грабежей. Про них рассказывают: проиграв бой, загнанные в леса и ущелья, они плачут от злобы, но не выпускают из рук винтовок.

Сюн Ке-у трудно разбить. Его можно было бросить на спину, но он снова поднимался. Он крепко держался за власть в Сычуане и за миллионную шелковую фабрику, которой владел совместно со своим врагом и начальником Ху Цзинь-и.

Пять карательных отрядов выдавливают Сюн Ке-у из долины Янцзы, и он со своей дивизией прорывается сквозь враждебные провинции на юг, к Кантону.

Аресты полыхнули по всему городу. Ху, уже не боясь возмездия, чистит Ченду от гоминдана. Полицейские уводят отца в тюрьму. Отец спрашивает конвоира:

— За что я арестован?

— За тайную связь с Сюн Ке-у.

Квартиру отца обыскивают несколько дней. Перемяты все платья, распороты все подошвы, заглянули и в подушки, трясли бамбуковые стойки кроватей и ножки стульев — не зашуршит ли спрятанная в бамбуковое колено бумага. Если б мачеха уронила волос в щель пола, то этот волос был бы найден. Уходят пустые и злые. Отец слишком осторожный революционер. Все бумажки сожжены вовремя, а обыскать его мозги немыслимо.

Редактор гоминдановской газеты Чжу Сян издевается над карательным бешенством Ху в едких статьях. Он вышучивает «американскую доктрину». Он требует, чтобы политические пройдохи убрали свои запачканные взятками лапы от еще не законченной революции.

Чжу Сяна полицейские тоже отвели в тюрьму за «пропаганду теорий, возмутительных и опасных для общественного блага». А потом Чжу Сяна выводят во двор тюрьмы и расстреливают из маузера. Отец слышит эти выстрелы. Он знает — теперь его очередь.

Сыщики шныряют по городу, ловят слухи, надеясь поймать в них имя отца. Им нужна хоть малюсенькая бумажка, хоть летучее признание, чтобы можно было гоминдановца Дэн Я-пу отправить вслед за его товарищем Чжу Сяном.

Камера отца — кирпичная щель. Окошко, величиной с отдушину, заплетено железом. Стул и стол да доски для спанья, брошенные на козлы. От глиняной параши вонь. Только клопы не боятся этой вони и деловито отсасывают свою порцию крови. Дважды в день конвойный, хлопая о косяк подвешенным к поясу деревянным кобуром маузера, шваркает на стол плошку старого риса. Рис поганый. Он из городских продовольственных магазинов, куда в годы урожая сваливается дешевый рис, который ждет голодных годов, чтобы пойти в продажу и раздачу.

Из самых дальних закромов, самый старый, пощаженный даже крысами, покупают его по дешевке кухарки школ и тюрем.

Книг получать нельзя. Даже стихов, даже самых древних.

Каждый день у дверей начальника тюрьмы топчется мачеха, заглядывают отцовские друзья:

— Разрешите повидаться.

Начальник молчит, чванится и, полузакрыв глаза, крутит головой.

— По крайней мере, скажите: жив ли?

Плечи начальника подымаются до самых ушей и падают на прежние места.

— Ничего не скажу. Ничего не смею. Ничего не знаю.

Мачеха принимает меры.

На квартиру отца забегают торопливые торговцы. Они щупают стулья, щелкают длинными каменными ногтями по разным столам, шуршат свитками настенных картин, с легким грохотом отряхивают тяжелые халаты, оглаживают атласные кофты, и кофты эти в ответ шипят.

Вещь за вещью уходит из дома. Мачеха продает добро. Стены голеют. Комнаты делаются четырехугольными и большими. Шкафы удаляются вперевалку, как толстяки; в них больше нечего держать. Остается только одна смена платья. Кули грузят на носилки столы и стулья. В доме остается только бамбуковая рухлядь, чтобы было где присесть и прилечь и куда поставить чашку бедного хлёбова в обеденный час. Вещи уходят, а в мачехин кошель звякают серебряные даяны и вминаются коричневые кредитные бумажки, на которых ловкая английская подпись директора банка.

Есть две тысячи даянов.

Но что такое две тысячи даянов, когда речь идет о выкупе Дэн Я-пу, которого во что бы то ни стало хочет защелкнуть своим волчьим зубом Ху?

В Ченду есть знакомец. Это спокойный, важный чиновник, довольный, приятный и богатый. Он не путается ни в какую политику, его все уважают, кланяются ему низко и улыбаются. Но он одноклассник отца по гимназии, а поэтому должен помочь своему сошкольнику.

Мачеха идет к нему, говорит взволнованно, но тихо, долго упрашивает, сообщает, доказывает. Друг молчит. Он только что пообедал. Он изредка рыгает, пуская в воздух запах то третьего, то десятого, то пятнадцатого блюда. Гладит свой жирный четвертый подбородок, потом встает и утвердительно кивает головой. Он согласен разузнать ходы.

Конечно, очень грустно, что Дэн Я-пу ввязался в эту революцию, что он портит себе отношения с достойными людьми, которые могут стать опасными. Но надо помочь другу. Он возьмет на себя начальника тюрьмы, он его знает — большой обжора, упрямец. Его нужно размягчить. Но такие люди легче всего тают на звонком огне денег. А жена попробует по женской линии.

Мачеха говорит:

— Есть две тысячи.

— Две тысячи слишком маленькая сумма для выкупа большой жизни. Но, впрочем, попытаемся сделать все, что можно.

День идет за днем. Друг отца обхаживает начальника тюрьмы и надзирателя. Он их водит в рестораны и заказывает для них самые дорогие в Сычуане блюда — акульи плавники. Ведь их сюда три тысячи километров везти от моря.

Начальник тюрьмы, зажмурившись, вхлюпывает в себя разваренные плавники и мягчеет. От светло-желтых вин начальник тюрьмы делается добрым, кротким, готовым обнять весь земной шар и гладить его, круглого и одинокого, по голове.

А когда пальцы его начинают осязать хорошие свежие банкноты, начальник тюрьмы превращается в бога нежности и милосердия, день и ночь думающего только о том, как бы сделать счастливыми и людей, и птиц, и деревья, и даже камни.

Его глаза заплывают такими щелками, что он перестает иногда видеть дверь камеры моего отца.

И надзиратель уже не так часто откидывает глазок у двери, и за посудой заходит какой-то покладистый конвоир, которому можно всучить записочку с самым драгоценным словом на ней: «Жив».

Но как выкупить отца из жадных лап подозрительного Ху? Правда, мачеха знает богатейший в Ченду антикварный магазин. В этом магазине стоят вазы, резные, из черного дерева, узловатые подносы, медные чайники, курильницы. Можно, конечно, войти в этот магазин, выбрать пятидаяновую вазу, заплатить за нее пять тысяч даянов, добиться аудиенции у секретаря могущественного начальника провинции, прийти к нему с приветствием и поставить перед ним дар.

Пусть люди говорят, что это взятка. Какая же это взятка? Просто выражение любезности. Ведь никто не докажет, что хозяином лавки является артель высших чиновников и что принесенная в подарок дрянь-ваза, за которую заплачены тысячи, есть не что иное, как расписка в получении денег.

Мачехе путь закрыт в ямынь дуцзюня через парадный ход. Ху ее не примет, разговаривать с ней не станет, а еще, пожалуй, засадит ее самое.

Ход через антикварную лавку тоже закрыт. В доме продано все, от мачехиных серег до парадного отцовского халата на лисьем меху, который он должен был надевать в торжественные зимние дни, отправляясь на прием к начальству.

Но есть дверь, которая ведет в дом Ху через женскую его половину. Этот ход минует комнату тай-тай, законной супруги Ху, старой чопорной китаянки, которая до разговора с мачехой не снизойдет. Ход ведет через нарядные и благоуханные комнаты и-тай-тай (конкубины — добавочной жены) правителя, молодой, умненькой, красивой певицы, за которую Ху заплатил двадцать пять тысяч даянов.

Молодую женщину легче развеселить, а когда она весела, легче разжалобить, а когда она разжалоблена, легче использовать.

Но надо бить наверняка. Ху может не поверить щебету своей легкомысленной и-тай-тай. Его надо окружить, как императора на шахматной

доске, сильными фигурами, чтобы выхода ему не было, чтобы не задохся в мате.

У Ху есть старик секретарь. Хмурый и ученый. Он знаком с моим старшим дядей, они когда-то сидели рядом в клетках, держа экзамен на ученую степень. Этого секретаря зовут Ю. Его и-тай-тай еще моложе, еще смешливее, чем и-тай-тай начальника.

За этих двух женщин берется жена отцовского приятеля.

Никогда она особенно не любила начальственных конкубин, а теперь такая пошла между ними любовь, что не оторвешь. Каждый день в квартире отцовского друга на женской половине накрывается чай. В цзяо приносят двух разодетых в шелка, нарумяненных, безостановочно щебечущих, с сильно накрашенными губами и-тай-тай.

Хозяйка хвалит их прически, цвет их кожи, изящество их рук. Удивляется, где они сумели достать такой замечательный шелк на платья и кто им рисовал эти единственные в мире узоры на их туфельках.

Конкубины довольны. Они рассказывают, в каких магазинах они были, и что привезено в Ченду, и как их причесывал парикмахер, и как изумительно поет новый актер, приехавший из Ханькоу.

Пустеют чашки. Остывает жаровня под чайником. Щелкают высыпаемые на стол косточки мачжана. Проворные пальцы раскладывают бамбуковые кирпичики, облицованные слоновой костью. Ряды костяшек вытягиваются на столе треугольником. И нежные голоса по-птичьи чирикают:

— У-тун — пять кругов. Эр-су — два бамбука. Паван — восемь иероглифов. Ма — игра выиграна.

Как не везет хозяйке! Можно подумать, что она слепа или никогда не играла в мачжан. Она проигрывает систематически.

Конкубины довольны, они переглядываются. На завтрашнюю поездку в магазины у них будет лишняя пара десятков даянов. Это годится.

Кончена игра, гостьи начинают прощаться — пора домой, но хозяйка не может их отпустить. Она так с ними свыклась, она так печальна все часы, которые проводит без них. Она готова все двадцать четыре часа в сутки быть в обществе столь очаровательных женщин. Только с ними она могла бы быть счастлива совершенно, если бы не маленькое «но».

— Какое «но»? — интересуются и-тай-тай.

— Да что об этом говорить, не стоит портить настроение.

— Какое «но»? — требуют красавицы.

Хозяйка пригорюнивается и ни за что не соглашается открыть эту маленькую тайну. Она извиняется, что у нее сорвались с языка совершенно ненужные слова.

Женщин уже нельзя остановить. Они теребят хозяйку, упрашивают, гладят ее по голове, ласкаются к ней и, наконец, узнают печальное сообщение о том, что друг хозяйкиного мужа Дэн Я-пу, очень скромный и тихий неудачник, совершенно напрасно сидит в тюрьме, а это причиняет огромные мученья ее мужу.

— У Дэн Я-пу есть маленькие дети. Дети эти остались совершенно

без средств. Каждый день они плачут, хотят есть. Как не пожалеть детей, если мы жалеем даже птичек с перебитыми лапками и золотых рыбок, предсмертно перевернувшихся в бассейне белым брюшком вверх!

И-тай-тай уже растроганы, уже из их замечательно подведенных глаз на изумительно натертые и присыпанные лица текут слезы, вовремя перехватываемые шелковым платочком у глазного уголка. Они теснее жмутся к хозяйке.

— Неужели нельзя помочь? Почему нельзя освободить?

Торжественно и покорно отвечает хозяйка:

— Все во власти нашего начальника, высокомудрого и милосердного Лао Ху.

— Поедемте в театр,— говорит одна из и-тай-тай.— Нужно обязательно послушать певца из Ханькоу.

Но опечаленная хозяйка не поднимает головы. И-тай-тай утешает ее:

— Не думайте о грустных вещах. Я обязательно переговорю с Ху. Мы обязательно спасем этого человека. Мы не можем вынести такую бесчеловечность. Поедемте в театр.

Вызывается цзяо. Скрипят оглобли длинные на плечах носильщиков. Лучшую ложу берет хозяйка, деликатно отводя от билетера пальцы своих гостий с зажатыми в них даянами.

— Что вы, что вы! Вы меня обидите насмерть, если лишите счастья угостить вас сегодняшним представлением.

В театре идет пьеса. Добрый царедворец сидит в темнице, а очаровательная его дочь, поющая колокольчатым голосом,— знаменитый актер из Ханькоу,— доходит до самого императора и, упав перед ним на колени, просит о помиловании отца.

Конкубины растроганы. Хозяйка плачет. Они наклоняются к хозяйке и шепчут:

— Мы обязательно поговорим. Слышите, обязательно!

А на другой день утром хозяйка сидит у себя с мачехой и деловито подсчитывает ей:

— Вчерашний день стоил мне шестьдесят семь даянов. Сорок шесть даянов мне пришлось проиграть им в мачжан, а двадцать один — стоит театр, билеты, угощение, цзяо. Но зато вчерашний день — замечательный день. И-тай-тай дуцзюня согласилась ходатайствовать за вашего мужа. Мой муж сегодня пишет об этом письмо в деревню Сиань-ши. Пусть они там будут спокойны. Теперь только вопрос дней, когда освободят Дэн Я-пу. Трудно рассчитывать на ближайшие дни, ибо еще не изгнан из Сычуана Сюн Ке-у. Но как только последние его солдаты переступят границу провинции, двери тюрьмы откроются. Сегодня я снова приглашаю их обедать. На мое несчастье, им так нравится у меня дома, что они разболтали об этом своим подругам и вчера заявили, что подруги эти тоже хотят приехать. Придется пригласить. Если бы вы знали, как мне надоели эти глупые крашеные физиономии!

Мачеха вынимает кошель, выкладывает деньги хозяйке на текущие расходы и выслушивает задание:

— Возьмите даянов сто и купите на них два подарка.

Мачеха предлагает:

— Я видела хорошую коробку для румян и черни.

— Нет,— говорит хозяйка,— коробочкой их не удивить. Надо подобрать поособеннее. Надо найти штуку индийского шелка и флакон французских духов. Только смотрите, не дороже ста за оба подарка. Чего этих уток баловать.

Вдыхает одна и-тай-тай духи, ощупывает другая таман шелка и шепчет хозяйке:

— Только улыбнитесь, обязательно улыбнитесь. Даю вам слово, я сегодня перетолкую с Лао-е о том, что надо выпустить бедного Дэн.

— Я боюсь, что он слишком суров,— грустно отвечает хозяйка,— и вряд ли на него можно подействовать уговорами.

И-тай-тай сердится, сдвигая брови:

— Вы думаете, мой Лао-е меня не послушает? Вы думаете, он посмеет меня не послушать? Посмотрим! Я неплохо знаю Ю Лао-е. Он очень не любит вечером оставаться один, а в этом случае ему придется побыть одному, хотя он и мой Лао-е (господин).

Но хозяйка горестно качает головой и говорит:

— Я верю в ваше очарование и не допускаю мысли, чтобы глубокоуважаемый Лао-е мог вам в чем-нибудь отказать. Но мужчины так любят не считаться с женским мнением. Они думают, что мы ничего не понимаем. Им обязательно нужен еще и мужской совет.

И-тай-тай старого Ю что-то вспоминает, а затем, просветлев, сообщает:

— Вы словно угадали. Ю Лао-е вчера получил письмо с Янцзы от старшего брата арестованного Дэн. Кажется, он вместе с ним где-то учился. Вы можете мне отрезать голову, если завтра мой муж не явится к губернатору и не скажет ему, что Дэн Я-пу совершенно не виноват и его надо выпустить из тюрьмы.

А потом подходит к хозяйке сытая и чуть полненькая и-тай-тай самого Ху и шепчет:

— Я уже сказала Ху Лао-е, что у него в тюрьме сидит невинный человек. Он заинтересовался — кто. Когда я ему назвала Дэн, он замолчал и улыбнулся. Но вы не смущайтесь, это ничего не значит. Я его знаю, он добрый, только очень медленный. Надо долго ждать, пока он ответит. А вы знаете,— перескакивает она,— у нас дома будет спектакль, в котором примет участие актер из Ханькоу. Не правда ли, он очень замечательно играет девушек? Как у него дрожит голос и какая у него нежная, беспомощная походка! А какого цвета стоячей воды его халат...

Опять наутро сидит хозяйка с мачехой. Мачеха благодарит ее:

— Я не забуду вам этого до конца моей жизни и завещаю детям моим запомнить. Но мне кажется, вы никогда в жизни так не уставали, как за эти дни. Слушать трескотню этих богатых женщин по нескольку часов в день мучительно. Я вижу, у вас болит голова.

Разрешите, я нарисую красный кружок на вашем лбу, и вам станет легче.

Но хозяйка уже в азарте хорошо построенной шахматной партии. Она уже заинтересована — удастся ли своенравной и-тай-тай угрюмого Ю помочь арестанту в порядке «подушечной протекции».

Старый ученый Ю докладывает на следующий день своему начальнику и другу, дуцзюню Ху. Доложив дел шесть, он говорит:

— Мною рассмотрено следствие, касающееся бывшего секретаря полицейского управления Дэн Я-пу.

Ху заинтересован:

— Ну что же, нашли наконец у него письма Сюн Ке-у?

— Писем не нашли,— продолжает Ю,— и не только писем, но никаких улик на этого человека нет. Я полагаю, что его революционная работа в Теяни была только случайным эпизодом. В свое время он расстался с Сюн Ке-у врагом. Сейчас он — обычный гражданин, чуждый всякой политике. Держать в тюрьме таких людей может нам создать дурную славу.

— Вы, значит, тоже считаете, что его надо освободить? — спрашивает Ху.

Ю, подумав, убежденно кивает.

Ху пишет «освободить», ставит подпись и прикладывает маленькую печатку.

Дэн Я-пу, высидевший восемь месяцев в каземате, проходит коридором мимо конвойных, придерживающих маузеры, пули которых совершенно случайно миновали его затылок.

В пустом доме на обломках мебели сидит мачеха. В ее истощавшем кошельке болтается несколько монет, которых еле-еле хватит на проезд до Сиань-ши.

Глава 27

МАЧЕХА

Лунные блины.— Отец возвращается.— Боюсь мачехи.— Страшная встреча.— Отец в кимоно.— Вестовой Ван

Праздник Луны — первый осенний праздник. В ночь на пятнадцатое китайского августа — самая круглая луна. Три дня длится празднование.

По всем кухням раскрасневшиеся у печей хозяйки пекут пшеничные лепешки в форме луны, размалывают орехи и завертывают ореховое тесто в блинчики.

Ходят в гости, дарят друг другу блины самых смешных, самых невероятных форм. С утра по деревне в праздничных шелковых халатиках шагают мальчики-визитеры в сопровождении прислуг, несущих тазы, полные блинов.

Зайдя к родичам или знакомым, мальчик говорит визитное привет-

ствие, с поклоном передает хозяевам поздравительные блинчики. Если в семье нет мальчика, прислуга носит таз одна и оставляет по домам блины с приложением к ним визитной карточки, красной, как это полагается для праздника.

Я нетерпелив:

— Дядя, какие вести из Ченду?

— Хорошие. Пришло письмо. Отца выпускают. Надо скорей искать новый дом. Отец ведь приедет с мачехой. Так нам здесь разместиться будет негде.

Отца выпускают. Отец возвращается. Отцу нужна квартира.

Впервые за последние месяцы мне по-настоящему весело.

Легким шагом, почти вприпрыжку бегу я к Чен и выпаливаю в лицо сестрам, как новогоднюю ракету:

— Отца выпускают. Отец возвращается. Отцу нужна квартира.

Старшая довольна:

— Когда твой отец вернется, мы увидим, какая у тебя мачеха. Не правда ли, интересно?

Я оседаю, мрачнею, сжимаю зубы.

— Обычно мачехи к пасынкам относятся очень сурово. Боюсь, что ее приезд для меня будет не так интересен, как это вам кажется.

Но разве есть на свете слова, которые могли бы сбить с толку ясное здравомыслие старшей Чен?

Нет таких слов! Она кроет мою темную мину утешительным козырем своего оптимизма:

— Твоя мачеха не такая. Я в этом убеждена. Да и не такой человек твой отец, чтобы позволить новой жене плохо обращаться с его единственным сыном.

Возразить ей нельзя, но успокоиться тоже трудно. Так и живу, словно мигающая лампа. Рад отцу — боюсь мачехи. Но радость перевешивает.

Найден новый дом. Наконец-то у нас при доме сад. Хорошие деревья. Бассейн. В бассейне рыбки. Сад за домовой оградой — моя давнишняя зависть. Сколько раз, втягивая носом цветочную одурь в великолепном саду Чен, я злился, почему этих цветов и веток нет в нашем тесном домишке.

Новый дом стоит дороже прежнего. За него надо платить даянов десять в месяц. Это, во-первых, потому, что он больше прежнего дома, а во-вторых, все становится дороже, и за дома уже трудно платить, как лет пять тому назад, три-четыре даяна... Дом в Дэн Цзя-чжене — это мое бессознательное младенчество. Первый дом в Сиань-ши — мое детство, а только что снятый — это мое исхудалое, тянущееся вверх, ломающее голос отрочество.

В разгар осенней школьной зубрежки передо мной на школьный стол ложится дядино письмо:

«Отец вернулся. Мы переехали в новый дом. Бери в гимназии отпуск и приезжай повидаться».

Инспектор удивлен:

— Твой отец? Дэн Я-пу? Конечно, разрешаю. Можешь ехать.

Он, вероятно, еще не знает, что отец в опале.

Чендуская тюрьма еще не успела пошатнуть боязливого уважения теяньцев к отцу.

Опять лодка, и Янцзы, и взмахи весел, и мурлыканье гребцов, и глянцевые от пота судороги их мускулов.

Едучи, мне хочется думать об отце, но назойливо думается о мачехе. Я не хочу ее видеть. А вдруг она возьмет меня из школы? А вдруг она скажет отцу: «Мы бедны, отправь Ши-хуа приказчиком в лавку»?

Солнечное сплетение горестно замирает у меня над желудком.

Я останавливаюсь у ворот нового дома, задыхаясь от предчувствия встречи, и не в силах войти. Я боюсь кашлянуть. Кашель мне кажется громким ударом, от которого треснут стены дома, выбегут люди и решится моя подошедшая к обрыву судьба...

Но нельзя же приехать в деревню только затем, чтобы рассматривать трещины воротных досок.

В проходной комнате навстречу мне ама, пожилая нянька, несет на руках сестренку Ши-куэн. Я ее давно не видал. Она худенькая. С темечка до туфелек сестренка во всем новом. У нее очень довольный вид. Завидя меня, она пищит на весь дом:

— Го-го лай-ла! Го-го лай-ла! Брат пришел. Брат пришел.

Спрашиваю быстро и строго:

— С кем ты сюда приехала? Кто тебе дал новое платье?

— Новая мама.

Я впервые в новом доме. Я не знаю еще расположения комнат. Озираюсь недоуменно. Ама с сестренкой возглавляют мой марш.

Отец сидит спиной ко мне у окна и читает книгу. Рядом незнакомая женщина вышивает детские туфли. Вот она — решаю я.

Отец поворачивается ко мне без улыбки. Его лицо похудело и потемнело, синие мешки висят под глазами. Он показывает на женщину (а она уже вскинула на меня лицо и опустила туфельку на колени) и говорит:

— Вот твоя мачеха.

Я кланяюсь и вежливо произношу:

— Цин-ан, как ваше здоровье?

Она маленькая — меньше мамы. Она очень щуплая, впалогрудая, болезненная — почти как мама. Она одета в черную ватную кофту и в черную юбку. Это очень скромно. Мама тоже была скромная. Ноги у нее маленькие, гораздо меньше маминых. Вероятно, в детстве ее бинтовали. Лицо у нее не заспанное, не одутловатое, не тупое. Одухотворенные глаза и лоб. Неужели она тоже образованная, как и мама? Но она очень много говорит. Мама на слова была гораздо скупее.

Ее интонация приветлива, улыбка внимательна и пристальна... А все-таки она мне не нравится.

Она спрашивает: обедал ли я и не хочется ли мне закусить, не трудно ли заниматься в школе, потом, подтянув за локоть, передает мне бумажку стоимостью в десять даянов. (Полагается, чтоб мачехи при первой встрече дарили что-нибудь пасынкам и падчерицам.)

Я беру у нее деньги и рассеянно вожу ими мимо кармана. Она поясняет:

— Я не знаю, сколько на тебя идет материи. Мне неизвестна твоя мерка и какие ткани ты любишь. Выбери себе по вкусу, купи, а я тебе сошью платье.

Я кланяюсь, говорю «се-се» — благодарю вас — и потихоньку успокаиваюсь.

Словно река в озеро, так в наш дом впадает восторженный старший дядя. Он плачет, радуясь приезду отца, оглядывает нас слишком блестящими глазами, но приветствует отца своеобразно:

— Я-пу, ты молод. Ты не понимаешь того, что знаю я, старик. Все, что с тобой случилось, достойная кара за измену императору. Если ты мне не поверишь сейчас и не будешь на мои слова обращать внимания впредь, тебе будет еще хуже.

Отец улыбается:

— Мы братья. Давно не видались. Давайте пить и говорить другие слова.

Отец ведет дядю в главную комнату за обеденный стол. Дядю отец сажает на почетной стороне, обращенной к той стене, у которой в почтенных семействах стоит молитвенный киот — шень-кан. У нас в этом доме его нет, но мы этим не огорчаемся. Мы вольнодумцы.

Дни идут странные. Каждый дом в деревне знает, куда он растет и куда живет. В каждом доме распределены грядущие месяцы: тогда-то высадим новые мандарины, тогда-то отправим в школу сына, выдадим дочь замуж, продадим дом, переедем в уездный город...

А наш дом не знает, куда он живет.

С отцом у меня разговоров нет. Я боюсь к нему подойти с вопросом. Он не находит нужным вызывать меня на беседы.

Отец молчит. Может быть, он боится шпионов? Он скинул куртку, напялил на себя смешное, словно крылатое, японское кимоно и целыми днями, с утра до вечера, играет с соседями в мачжан. Игра идет по маленькой. Проигрыши не опасны для кошелька нашей семьи. Мачжан — игра удобная, никаких разговоров вести не надо: либо молчи, либо произноси одинаковые, как водяные капли, игровые слова.

Меня интересует приехавший с отцом вестовой Ван, оставшийся ему верным.

В столовой при гостях Ван — слуга, не смеющий сесть, подбегающий к отцу по первому кивку пальца и почтительно склоняющий свое ухо к его губам. Захаживающие к нам гости не замечают Вана, он прислуга, вестовой, вещь, воздух.

А около отца еще не отвыкли видеть вестовых.

Но иногда, в отсутствие гостей, отец с Ваном подолгу сидят в комнате, толкуют, прикидывают, запоминают.

А наутро Ван с узелком и одеялом выходит из дома, садится в лодку и платит лодочнику до пароходной пристани. Это сопартийник отца, гоминдановец Ван, едет в центр для информации о сычуанских делах по поручению неугомонного Дэн Я-пу.

Глава 28

СПАСАЙСЯ!

Нежданный отпуск.— Рассказ Вана.— Неизвестный офицер.— Чайная.— Смертный ордер.— Я или не я.— Задняя калитка.— Рисовое поле.— Двор Ченов.— Кандидат в полковники.— Столяр Су

Декабрь. Лист облетел. Деревья на горах размахивают пустыми руками. Холод ежит плечи людей. Янцзы голуба, и худоба ее проступает отмелями. Лицо горных берегов пробила желтизна. По улицам бегают собиральщики мандариновых корок, и этот зимний фрукт горит оранжевыми шарами в руках у каждого прохожего.

Я над книгой. Товарищ мимоходом кличет:

— Дэн Ши-хуа, выйди, тебя спрашивают.

Это ко мне приехал Ван.

Он ведет меня за школьную ограду и со спокойным лицом говорит стремительные и беспокойные слова:

— Слушай, Хуа-цзы, с отцом дело скверно, а с тобой еще хуже. Полицейский отряд едет сюда из Сиань-ши взять тебя. Я успел пробраться вперед их. Скорей беги к инспектору, проси отпуск. Не говори, что отец бежал.

— А что сказать? Меня ведь не пустят. Сейчас не праздник.

— Скажи, что мачеха больна. Придумай все равно что. Только торопись.

Инспектор уперся:

— Подумаешь, какое событие, мачеха больна! Отец-то твой с нею, дома. Нечего тебе в учебное время домой ездить.

Я настаиваю спокойно и вежливо, хотя в каждом стуке за дверью я уже слышу шаги солдат, идущих взять меня.

— Господин инспектор, я сам крайне огорчен необходимостью обратиться к вам со столь неуместной просьбой. Мне весьма печально вносить разнобой в расписание школьных занятий. Но ваш отказ создает для меня крайнее неудобство, он вынуждает меня нарушить приказ отца. Если бы мачехина болезнь не была тяжела, вряд ли отцу пришло бы в голову столь грубо нарушить мои школьные занятия. Я знаю очень хорошо своего отца.

— Ну, а я знаю очень хорошо, что тебе надо заниматься. Нечего не вовремя каникулы устраивать. Не дам отпускного билета.

— Я слишком хорошо знаю отца. Я жалею, что его приказ не совпадает с вашим. Если вы не позволите мне уехать, все равно мне придется уйти без вашего разрешения.

Инспектор выпучивает на меня глаза, сердито хватает бланк, и кисть его гуляет по бумаге черными шагами туши так возбужденно и стремительно, как ходят на сцене театра актеры с черно-красными лицами в минуты решительных сражений.

Я не беру с собою ни одной вещи из школы. Даже одеяла. Мы с Ваном

сбегаем по откосу к реке и нанимаем лодку до деревни, что на полпути между Теянью и Сиань-ши.

В наваливающихся на Янцзы сумерках, подставляя под студеную встречную струю воздуха то одну, то другую щеку, слушаю я быстрый шепот Вана. Вот события сегодняшнего утра.

Еще рассвет из синего не стал розовым. К отцу является незнакомый офицер и приглашает пройти с ним по важному делу в чайную, где можно будет перетолковать. Отец, укладывающийся спать обычно часов в восемь — десять вечера, уже на ногах. Обычно на рассвете чайные закрыты, но в это утро одна работает. Отец идет за офицером. Кто его знает, может быть, у него есть революционное поручение. Даже если он враг, то лучше держаться с ним спокойно, не впадая сразу в тревогу и не навлекая на себя подозрения.

Войдя в чайную, отец замечает в ней много солдат. Дело плохо. Он просит офицера занять почетное место за столом, и, когда этот напыщенный человек с лычками на плечах загрохотал саблей, уставляя ее между ногами, отец также присаживается к столу и спрашивает, в чем дело.

Ответ офицера:

— Даоинь нашего уезда хочет видеть вас и говорить с вами о важных уездных делах. Он приказал мне и моим людям сопровождать вас в пути.

Солдаты слушают затаясь и мрачно.

Ван, выбежав вслед за отцом из дому, слоняется около дверей чайной, заглядывает внутрь и с видом восхищенного зеваки рассматривает говорящего офицера. На него не обращают внимания. Отец отвечает:

— Я человек частный, никакого служебного поста в настоящее время не занимаю. Если господин даоинь уезда обнаруживает ко мне лестное внимание и изъявляет желание меня повидать, несомненно, у вас есть его письмо ко мне. Будьте любезны и покажите мне его.

— Да, письмо есть, но я его вам не покажу, вполне достаточно того, что я вам сейчас сказал.

Отец продолжает:

— Я слабый, безоружный человек. Я не могу вам сделать ничего плохого. Я весь в вашем распоряжении. Проглядев письмо, я здесь же, не выходя из-за стола, верну его обратно.

Тогда офицер вынимает из кармана бумагу.

В руках отца секретный ордер генерала Ху на арест Дэн Я-пу из деревни Дэн Цзя-чжень. Мотив ареста изложен тут же — оказывается, в руки Ху попала шифрованная телеграмма Сун Ятсена на имя Дэн Я-пу, но расшифровать эту телеграмму не удалось. В том же ордере значится, что Дэн Я-пу желательно казнить в уездном городе, не теряя времени на отправку его в Ченду, ибо на тысячу ли пути может произойти тысяча непредвиденных случайностей, которых желательно избежать.

На ордере резолюция теяньского даоиня — «исполнить».

В этой бумаге все очень плохо для отца, кроме одной маленькой детали — в имени Дэн Я-пу слог «Я» написан неправильным иероглифом.

Отец очень спокойно, даже слегка рассмеявшись, протягивает офицеру свой смертный приговор:

— К величайшему моему сожалению, письмо касается не меня, а какого-то моего однофамильца. Здесь речь идет о дэнцзячженьском гражданине, а я живу в Сиань-ши. Во-вторых, имя этого гражданина «Я», написанное здесь, не совпадает с моим.

И он вручает офицеру свою визитную карточку.

Сбитый с толку офицер держит в одной руке ордер, в другой — визитную карточку и прыгает глазами с одной бумаги на другую. Солдаты повскакали с мест, столпились за его спиной, заглядывают через его плечо в бумагу. Даже им, неграмотным, ясно, что иероглифы разные. Их хмурое напряжение падает. Они начинают шепотом перешучиваться и подталкивать друг друга локтем в бок. Вот-вот офицер разозлится, грохнет шашкой и заявит солдатам:

— Забирай его! В Теяни разберемся!

Но, не давая офицеру опомниться, отец кланяется ему любезно и с ясным, улыбающимся лицом говорит:

— Разрешите мне пригласить вас к себе в дом. Вы устали с дороги. Надеюсь, вы позволите мне вас накормить, а затем я с вами сам поеду в Теянь, чтобы лично поговорить с даоинем, ибо, несомненно, вы поставлены в несколько неудобное положение. Думается мне, такой разговор разъяснит все. Если вам угодно, я буду рад видеть у себя также и всех ваших «братьев».

И отец обводит рукой окружающих офицера солдат.

Офицер глядит на отца, на солдат, на визитную карточку, на ордер, опять на визитную карточку, хмурится, яснеет. С одной стороны, ему хочется остаться служакой, верным приказу, с другой — нежелательно прослыть явным грубияном.

Он приказывает части солдат остаться в чайной, а другим велит идти за отцом и сам замыкает шествие по утренним улицам Сиань-ши.

Ван издали провожает эту группу, видит, как они входят в дом, но сам остается за воротами, бродит по улице, выжидая, что будет дальше.

В это время в доме у нас работало двое портных. Отец приехал из Ченду без одежды, надо было его обшить. Один из портных — наш очень старый знакомый, большой приятель младшего дяди, который с ним любит перешучиваться. Другой, помоложе, приведен стариком.

Мачеха еще не вставала. Отец входит к ней в комнату и говорит ей громко:

— Ну-ка, вставай поскорей!

А затем шепотом:

— Опасность! Сейчас бегу.

Во всем доме денег только три с половиной даяна. Отец загребает их в карман и выбегает через заднюю дверь, ведущую в огород. Выбегая, он произносит громко на весь дом:

— Да приготовь скорей завтрак для гостей. Мне надо спешить в Теянь, к даоиню.

Задняя дверь неслышно захлопывается за отцом в ту самую минуту, когда офицер, подойдя к портным, задает вопрос старику:

— Нет ли в этом доме второй калитки?

Старик быстро отвечает:

— Нет, второй нет.

И настороженно упирается предостерегающим взглядом в молодого портного.

Офицер поворачивается к молодому и задает ему тот же вопрос. Молодой некоторое время медлит и отвечает:

— Нету.

Тогда успокоенный офицер садится в кресло, опираясь ладонями об эфес сабли, поставленной между колен, и слушает хозяйственную кутерьму в доме, пока его солдаты окарауливают выход из дома на улицу.

Мачеха хлопочет на кухне, гоняет прислугу, отдает ей громкие приказания:

— Подай сковородку... Подбавь дров... Передай-ка воду... Где хороший чай?.. Да, хороший чай, я тебе говорю, а не этот плохой.

А затем, понижая голос, но все-таки настолько, чтобы ее речь была отчетливо слышна офицеру, она озабоченно говорит прислуге:

— Я не знаю, как Лао-е поедет в Теянь. Я боюсь, что придется позвать врача. Лао-е, видимо, серьезно разболелся животом. Он и так всю ночь промаялся, а теперь ему стало совсем плохо.

Офицер и солдаты слушают этот разговор и сочувственно представляют себе, как бедный Лао-е, страдающий животом, засиделся в уборной, что делает его не совсем вежливым хозяином.

Так выигрывается время. Посуда гремит все громче, прислуга мечется по комнатам и накрывает на стол все стремительней. Шепот мачехи о больных кишках Лао-е становится все тревожнее. Проходит полчаса. Отца нет. Солдаты подходят к офицеру и возбужденно шепчутся. Офицер грохочет саблей, вскакивает со стула и зовет мачеху.

Он бросается к уборной, открывает дверь. Уборная пуста. Подымается ругань. Волоча по каменному полу приклады винтовок, солдаты бросаются обыскивать чуланы и комнаты, и наконец залп ругани раздается позади кухни — солдаты обнаруживают заднюю дверь.

С визгом убегает прислуга, ушибаясь об углы двора и тяжелые кулаки солдат. Мачеха брошена на пол. Ее бьют прикладами. Портных арестовывают и загоняют в комнатенку. Солдаты обегают все соседние дома с обыском и переарестовывают всех мужчин.

Наконец становится ясно, что отец прячется не дома и не у соседей, что он ушел. Солдаты кричат в ярости, ломая двери и разрывая бумажную оклейку окон:

— Сбежал, мерзавец! Всех переарестовать! Пусть даоинь расправится с ними за его побег. У него в Теяни мальчишка есть — сын. Мальчишку арестовать!

Когда до Вана, бродящего под воротами, долетают слова «взять мальчишку», он кидается к пристани и успевает сесть в лодку, отправляющуюся на Теянь.

Солдаты продолжают бушевать. Арестованные мужчины угрюмы. Они еще не знают, что с ними будет. Женщины или рыдают неподалеку от арестованных, или бегут в деревню, ища протекции и заступничества

у именитых однодеревенцев. На женщин солдаты не покушаются. Пусть бегут. В те времена еще на женщин смотрели как на среднее между кошкой и коровой. Женщин не арестовывали и не убивали, если не считать единственной казненной за революционную работу женщины, знаменитой поэтессы-революционерки Чжоу Чин (Цю Цзинь), расстрелянной маньчжурами в 1908 году и похороненной на Северном озере.

Сообразив, что дальше сотрясать ругательствами атмосферу и тыкать прикладами в воющих женщин и сбитых в толпу мужчин бессмысленно, солдаты бросаются врассыпную к тропам, ведущим из деревни в горы.

Они бегут уличками Сиань-ши, мандариновыми садами, огородами, пшеничными полями и добегают вверх, идя краем рисовых полей. Уже недалек лесок, а за ним горная пуща.

Около этого леса они видят перед собой спину моего отца.

Заметив погоню, отец бросается в лес. Задыхаясь от бега, солдаты оцепляют лес, чтобы не дать отцу пройти сквозь него.

Но отец хитер. Пропустив мимо себя всех солдат, он немедленно выскакивает из леса обратно и ложится под самой закраиной дороги на обочину сжатого рисового поля. Тело его уходит в холодный полуаршинный ил. Голову он скрывает в щетине рисового жнитва. Прижавшись к обрыву, над которым пролегает дорога, он лежит, замерзая в грязи, вытянутый в струну.

Рисовые поля щетинистыми квадратами террасами окружают лесок. Четыре часа роются солдаты в леске, процеживая его сквозь свою цепь. Они выходят на дорогу в том месте, где аршином ниже лежит и слушает их шаги отец. Их речь недовольна:

— Сквозь землю провалился! Колдун он, что ли? Из леса ему дальше убежать некуда. Он не коза, а кроме того, если бы он даже успел проскочить сквозь лес раньше нас, мы бы его увидали на рисовых полях. Надо торопиться в Теянь, забрать его щенка, тогда небось из-под земли вылезет!

От их шагов на голову отца сыплются комочки затверделой глины. Ругань стихает. Шум шагов исчезает вдали.

Отец терпеливо лежит, не чуя ни тела, ни кожи, ни суставов. Когда несомненно, что солдаты от леса за много ли, отец выдирает себя из рисового болота, снова уходит в лес и добредает до берега речонки. Вдоль нее густятся бамбуки.

Пробираясь между тесными бамбуковыми стволами, отец выходит в лощину, кончающуюся обрывом. Под обрывом двор не то дроворуба, не то рыбака. Во дворе копошится женщина.

С отвеса отец прыгает во двор и, перебивая крик перепуганной женщины, кричит ей в уши:

— Я никого не трону. Меня ограбила банда туфеев...Они за мной гонятся... Спрячьте меня скорей... Не кричите ради неба...

Женщина замолкает, но подозрительно отступает от отца.

— Как фамилия вашего супруга? — продолжает отец.

Женщина отвечает:

— Чен.

Отец силится припомнить:

— Чен, Чен... Не член ли он союза го-лао?

Женщина кивает утвердительно головой.

Теперь уже в отцовском голосе не отчаяние, а приказ:

— Скорей зови твоего мужа сюда. Я — да-го.

Она убегает и скоро возвращается с двумя мужчинами. Постарше — муж, а развязный парень помоложе — племянник. Они члены го-лао-хуэй, они знают отца. Они уставляют удивленные глаза на сухую глиняную корку, в которую словно запечен отец.

— Что с вами, да-го? Почему вы в таком страшном виде?

От четырехчасового лежания в студеном иле отца бьет лихорадка. Его суставы визжат, как заржавленные. Ноги в ранах от страшных прыжков по скалистым дорогам и острым пенькам бамбука.

Чены внимательно слушают рассказ отца.

Хозяин быстро приготовляет лекарство, пластырь на раны и жир для ссадин. Он сменяет на отце драное кимоно и дает ему комнату — заднюю клеть. Клеть эта устроена так, что сразу о ней и не догадаешься.

Клеть нужна не старику Чен, а его племяннику. Этот племянник решил пройти в большие люди, он хочет стать полковником. Поэтому он недавно вступил в бандитскую шайку, работающую в окрестностях. Он расторопен, ловок и беспощаден. Он знает, что после нескольких удачных ограблений и выкупов, которые он возьмет с окрестных купцов, слух о его смелости дойдет до теяньских властей и они пришлют к нему для переговоров человека, который предложит ему вместе с бандой поступить на службу теяньского даоиня в качестве — ну если не полкового, то во всяком случае батальонного командира.

Эта потайная клеть нужна ему так же, как дантисту зубоврачебное кресло. Здесь он будет прятаться от преследований, тут он будет складывать добычу, сюда он будет запирать пойманных для выкупа купцов и чиновников. Здесь же будут у него высыпаться утомленные товарищи-бандиты.

Юный бандит приходит в восторг от одной мысли, что к нему в хижину явился Дэн Я-пу, видный полководец, опытный командир, известный начальник полиции, знаменитый в Сычуане председатель союза го-лао.

Восторженный парень немедленно делает предложение отцу поступить к нему в шайку на самую лучшую роль. Отец отказывается, он благодарит за честь, он надеется, что придет время, когда он позовет отряд юного Чена в помощь революции, но сейчас в его виды эта деятельность никак не входит. Больше того, даоинь его так настойчиво преследует по требованию губернатора, что это поступление в отряд может только обострить судьбу самого отряда.

Но юноша имеет все задатки хорошего бандита. Он не согласен, чтобы мимо него прошел человек без всякой выгоды. Он идет к своему дяде и выкладывает ему новую идею — выдать Дэн Я-пу даоиню и заработать на этом большие деньги. Старый Чен говорит отцу:

— Мой племянник задумал вас выдать. Он изрядная дрянь, но против его шайки бессилен даже я. Самое лучшее для вас будет продолжать путь возможно скорей.

За два дня житья у Чен отец достаточно оправился, раны затянулись струпьями, суставы перестали ныть.

В глубине бамбукового леса Чен нанимает двух крестьян с цзяо и тайком от практичного племянника проводит к ним отца. Отец задергивает занавески и дает носильщикам маршрут на определенную деревню.

Но, не доехав до нее, выходит из носилок, расплачивается с крестьянами:

— Сам дойду.

Шагает в ближайший лес. Из-за деревьев следит, пока крестьяне с пустым цзяо не скроются из глаз. Идет совершенно в другом направлении, торопясь выйти за пределы уезда.

В кармане только полтора даяна. Он избегает встреч с людьми, идет вперерез дорогам лесными тропами. Ночью его тюфяк — зимняя лесная земля, устланная сухарями щепок и лоскутами опавших листьев.

И на другой день он режет лес поперек. Он торопится выйти к Чаншоу, докуда еще сто двадцать ли. Такой кусок ему не по силам за один день.

В деревне около Чаншоу живет отец моей покойной матери. Лишь на третий день после ченовской заимки отец входит в дом тестя.

Старик переодевает отца в крестьянскую куртку из грубой синей крашенины, тяжелые выцветшие штаны, травяные сандалии на босу ногу. Отец приматывает штаны к щиколоткам широкой суровой тесьмой, а голову повязывает черным полотенцем. На некоторое время с земного шара исчезает и деловитый Дэн Я-пу в полицейском мундире и распущенный Дэн Я-пу, играющий в мачжан, запахнувшись в японское кимоно, и возникает новый человек, безыменный крестьянин в глухой деревушке.

Тесть посылает отца за своим племянником — плотником.

Плотник, возведя в доме ложную стену, устраивает узкий, в метр ширины, чулан, где стелются две доски, на которых можно лежать боком. Снаружи даже глаз сыщика не скажет, что стена пустотела.

В этот простенок по уходе плотника забирается отец и, лежа на боку, как сурок в норе, пережидает самое горячее время. Он отращивает себе бороду.

Месяца через полтора из простенка на волю вылезает незнакомый пожилой человек. Сивые усы свисают у него на основательную бороду, а концы волос достают бровей. Эта личность отправляется к деревенскому ди-бао, помощнику старосты, и регистрируется у него под именем Су, столярного подмастерья, забредшего сюда в деревню в поисках полевой работы, ибо пила и рубанок уже не кормят бродягу.

Отец мог и не регистрироваться. Китайцы живут без паспорта. Он это сделал нарочно, чтобы именем Су на время истребить в сычуанском воздухе даже намек на имя Дэн.

Тесть арендовал для отца клок земли, дал ему мотыгу, тачку и лопату, и взмахи отцовских рук заходили над неподатливой каменистой почвой.

Глава 29

ХОЖДЕНИЕ ПО РОДСТВЕННИКАМ

Постоялый двор.— Теткина радость и горе.— Меня сбывают с рук.— Вторая тетка.— Старший дядя жалуется.— Дядина идея.— Прощальный ужин.— Буду ли я императором?

Лодка довозит нас с Ваном до деревни на полпути. Здесь мы вылезаем. Отсюда надо бежать в глубь уезда, заметая следы. Первую ночь мы с Ваном ночуем на деревенском постоялом дворе. Ни разу еще не было случая в моей жизни, чтобы я провел ночь не под мягким своим одеялом.

Клетушки постоялого двора грязны и ветхи. От земляного пола холод и зловоние мочи. Вокруг каморки нары с жидкими снопами рисовой соломы вместо матрацев. На этих нарах больше двадцати человек, не раздеваясь, вповалку, уткнувшись носом в спину, в щиколотку, в бедро соседа, спят, постанывают, храпят и яростными движениями во сне отскребываются от насекомых — собственных вшей и постоялых клопов.

Я лежу в этом человеческом тесте под негнущимся одеялом каменной твердости, холодным и вонючим, как псина. Мне некуда приткнуть утомленный затылок, подушки нет. Доски настила слишком тверды, и на ноги лежащего рядом со мной носильщика паланкинов я брезгую положить свой висок. Кули-разносчики спят, подсунув длинное бамбуковое коромысло себе вместо подушки, кинув на жесткий бамбуковый брус немного тряпья. Скрипучие корзины наполнены кладью, и товары занимают все место между нарами. Когда ночью, в самый разгар сна, кому-нибудь надо выйти на двор, он, полусонный, злобно танцует напряженный танец между корзинами, хватаясь рукой за их края и подчас задевая пяткой гонги и гирьки безменов, отчего вскидываются и ругаются во тьму разносчики, сквозь сон чувствующие беду своему имуществу. Коромысла кули длиннее нар. Их концы тычутся всюду и мешают друг другу. Сонные поправляют под загривком «подушки», «подушки» грохочут и тычут соседей. С руганью вскидываются постояльцы, ушибленные концом коромысла в щеку или натолкнувшиеся на конец бамбуковой оглобли. Потом ругань на минуту затихает, и только храп бугрист, как вспаханное поле.

Ощущение нечистоты для меня невыносимо. Я не засыпаю ни на минуту. Я сажусь, боюсь толкнуть соседа и чутко спящего Вана. Меня колют иглы насекомых. В темноте я засовываю руку за шиворот и шарю кровопийц, накинувшихся на мою нежную шею. Всю ночь вши щелкают на моих ногтях, а клопов я разминаю между пальцами, от которых потом идет затхлый смрад.

Моя возня и бессонница заставляют Вана насторожиться:

— Ложись, терпи. Не волнуйся и не вертись. Не показывай никому, что ты здесь первый раз, или они завтра утром отведут тебя к ди-бао.

Ночь медленно вращается, двигаясь к рассвету. Я ложусь навзничь, сжимаю зубы и считаю крохотные колючие взрывы клопиных укусов.

В сером рассвете мы с Ваном торопимся пешком межами к двоюродной сестре отца, дом которой неподалеку от деревни.

Эта тетка очень богатая женщина, у нее огромное хозяйство. Я ее не раз видел веселую и ласковую за нашим праздничным столом. Я не сомневаюсь, она меня упрячет и от солдат даоиня и от вшей ночлежки.

Раньше я у этой тетки не бывал. Отец не хотел, чтоб я водился с ее сыновьями. Они славились хулиганством. Один из них старше меня на несколько классов.

Моя появление производит эффект. Тетка уставляется в меня полунедоуменно, полуприветливо. В чем дело? Каким это ветром занесло сюда племянника? В учебное время? С визитом, что ли? Вероятно, это вернулся из Ченду двоюродный брат, посылающий ныне своего сына обойти родственников и восстановить с ними связи. Я начинаю:

— Цин-вен...

Тетка восклицает, всплеснув руками:

— Божий ветер занес тебя сюда!

Меня сажают за стол, крепко кормят, расспрашивают об отце, о школе.

— Ну вот и хорошо. Ты у нас поживешь. Сыновья будут тебе очень рады.

Ван, считая, что я уже устроен, торопится в Сиань-ши, к центру происшествий. Прощаясь с теткой, он несколько раз очень настойчиво просит ее поберечь Сяо-хуа — маленького Хуа[1]. Может быть, эта просьба наводит тетку на подозрение. Она вызывает меня к себе в комнату и деловито, на ухо, по-родственному, словно уже посвященная в мою тайну, спрашивает:

— В чем дело? Расскажи-ка подробно, почему ты сюда пришел?

Я вижу, что тетка мною озабочена. Я знаю, что тетка двоюродная сестра отца. Как я могу от нее скрывать, если мне в ее доме придется пробыть, может быть, долгое время? Я рассказываю ей все.

В эту ночь мимо теткиного дома по реке проезжают в Теянь солдаты из Сиань-ши.

Сплю я крепко, отсыпаясь за бессонницу ночлежки. Наутро отец теткиного мужа, худой старик, которому на бороду словно известкой плеснули, спрашивает меня тоном трогательным и участливым:

— Не хочешь ли, Ши-хуа, пройтись к другой тетке? Она живет не так далеко от нас, всего каких-нибудь сорок ли ходьбы.

Ладно, к другой так к другой. Я отвечаю:

— Хочу.

Ободренный успехом, старик продолжает:

— Здесь есть несколько крестьян. Сегодня утром они отправляются туда. Пойди с ними, они знают дорогу. Один ты собьешься.

Мне становится понятно все. Меня сбывают с рук.

Мне тяжело. Ван далеко. Главное — денег на цзяо нет, а я знаю, что не могу пройти сорока ли пешком, ноги не выдержат. Значит, мне придется остаться одному посреди дороги. Это ужаснее, чем ночлежка. Хотя мне и

[1] По-русски это будет детское имя вроде «Хуанчик», «Хуашенька».

двенадцать лет, но я щупл, как цыпленок из голодающего селения. Губа начинает дергаться. На глаза набегает рябь. Я ухожу в угол.

Тетка размякает:

— Ладно, я тебе завтра найду цзяо.

Больше со мной не разговаривают ни в этот день, ни на следующее утро. Просто вызывают носильщиков.

С низким поклоном благодарю я тетку за гостеприимство. Она сует мне в руки два даяна. Я отвожу их. Даяны остаются в теткиной руке. А впрочем, может быть, отъезд к лучшему. Чем дальше от Теяни, тем безопаснее.

Пляшут мышцы на потной спине переднего носильщика цзяо. Меня уносят в сторону от Теяни. В эти минуты в школе инспектору полицейский вручает приказ даоиня о пересылке меня в полицию. Перепуганная «лиса» закланялся, трусливо продумывая оправдание себе, старому дураку, проведенному ловким мальчишкой.

У второй тетки мне рады еще больше, чем у первой. И она и муж выбегают из дома. Прислуга, кухарка, привратник, садовник молчат, уставясь на меня. Тетка с дядей восклицают:

— Дэн Ши-хуа, здравствуй! Ши-хуа, редкий гость, пришел.

У мужа тетки такое ласковое лицо, что можно подумать — нет на земле человека более желанного его сердцу, чем я. Мною занимается тетка. Дядя вступает в разговор с носильщиками. Разговор затягивается. Дядя несколько раз оглядывается в мою сторону.

Когда дядя, покинув кули, снова возвращается ко мне, я вижу по его окаменелым глазам, что нравлюсь ему значительно меньше, чем десять минут тому назад. Место, где я стою, он осматривает с такой гадливостью, словно это козел перед домом нагадил. Ясно, кули рассказали дяде подробности моего бегства.

Я предупреждаю тетку, что задержусь у нее очень ненадолго и завтра же утром уйду к старшему дяде в Дэн Цзя-чжень.

Опять утро, опять я сижу в цзяо. Чуть покачивается на кожаных наплечниках носильщиков седалище, задернутое сверху от солнца дерюгой. Дюжие парни, несущие меня, через каждые двадцать минут делают привал под большим деревом. Они снимают с головы грязные повязки и вытирают ими насухо лоб и грудь. Пьют воду горстью или прямо вхлюпывают ее в себя из ручейка. Едят рис и соленые овощи в придорожных харчевнях, а затем набивают трубку, присаживаются на корточки, смотрят прищуренно вдаль и долго-долго курят. Выпрямляются, хватаются за палки и снова готовы полуидти-полубежать мерными длинными шагами, которыми они у нас умеют проходить до ста ли в день.

Старшего дядю мой приезд не удивляет. Он уже знает, что произошло. Наконец я нашел человека, глаза которого не бегают испуганно при виде меня, который не шепчется за углом и не придумывает, как бы отправить меня поскорей.

Дядя принимает меня хорошо. Из старого темного чулана он выгребает книги, хлам и лом, устраивает мне там постель, велит забраться туда и не вылезать. Он наказывает жене готовить для меня самую отборную пищу, словно я сверстник его, обладатель ученых степеней.

Я брожу по дому — здесь я родился, заглядываю в высокий литан, листаю пыльную книгу чу-пу, читаю на таблицах иероглифы предков и сквозь доныне висящий на стене портрет деда вспоминаю свое младенчество.

Потом мы сытно и долго обедаем с дядей. Чашка за чашкой — дядя напивается. Голос его лезет вверх. Он опять ругает отца, костит Юань Ши-кая, проклинает революцию и плачет пьяненькими слезами, подхватывая падающий лоб ладонями.

— Что такое революция? Мальчик, что такое эта ваша революция? Что хорошего увидал твой отец в революции? Твой отец глупый петушонок. Я ему всегда говорил: не изменяй императору, хуже будет. Разве я не прав? Вот теперь и беги, спасай голову от даоиньских солдат. И ты хочешь, чтобы я уважал твоего отца! Ну что же, он своего добился. Теперь за ним гоняется полиция. Правильно. Его собираются казнить. Правильно — не устраивай заговоров... Но кто его собирается казнить? Юань Ши-кай? Нет, не согласен, не согласен. Юань Ши-кай — грязная собака. Не вправе он поднять руку на Дэн Я-пу. Юань Ши-кай дважды изменник — он изменил и императору и республике. Дэн Я-пу все-таки честнее его, он изменил только раз — императору... А не надо было вовсе изменять. Я же говорил, я же говорил...

Сквозь слезы выкрикивая проклятья, пьяный дядя уходит в комнату и валится на застонавшую кровать. Я бочком пробираюсь в свой чулан.

Через несколько дней дядя говорит мне:

— Скрыть тебя здесь трудно. Что ответят сельчане, если их спросят, что за мальчик живет у Дэн Сао-пу? Конечно, Ши-хуа — племянник его, сын беглого Дэн Я-пу. Надо придумывать что-нибудь поумней. Правильней всего, мне кажется, отправить тебя в монастырь, изменив фамилию.

Эти слова подламывают меня. Я часто горевал, что со мной будет дальше? Я соображал, как бы вернуться в школу. Но монастыря в моих думах еще не было. Дядя ездит куда-то, толкует с кем-то. Хлопоты и заботы учащают его шаг. Наконец он устраивает в мою честь вкуснейший прощальный обед.

— Слушай, племянник,— говорит он мне за обедом,— сегодня ты в последний раз Дэн Ши-хуа. Произнеси свое прекрасное, данное мною тебе имя и забудь его на долгий срок. С завтрашнего дня ты бедный сирота, мой воспитанник, и зовут тебя Су-ши. Когда я разузнаю, где живет отец, я сообщу ему это новое имя. А отца, ты уж не беспокойся, мы разыщем. Этим делом я займусь немедленно, как только устрою тебя.

Мне не нравится имя Су-ши. Мне вообще не нравится то, что со мной будет. Смакуя великолепие прощального обеда, дядя пьет из чайника теплое вино и приговаривает:

— Ешь мясо, ешь. В монастыре порядки строгие, в монастыре люди набожные. Там тебе долго не дадут ни мяса, ни масла, ни яиц. Кушай, Ши-хуа, то бишь Су-ши, наедайся как следует.

А мне и без его слов пища в глотку не лезет. Я ковыряю расслабленными куай-цзы во вкусных блюдах только для того, чтобы не обидеть

дядю. Я почти не слышу, что он мне говорит, и отвечаю невпопад. Но дядя доволен мною, и обедом, и выдумкой, и монастырем.

— Не горюй, Ши-хуа, все устроится. Монастырь — это не так плохо. Вспомни-ка, первый император Минской династии был бедным сиротой и монахом, совсем как ты сейчас. А ведь он выбил татар из Китая и объединил всю страну своей крепкой рукой. Не забывай — наш предок, ушедший из Пекина в Сычуан, был генералом Минской династии. Другие предки были писателями, поэтами, учеными, благородными людьми, от которых произошло много пользы. Кто знает, какая судьба ожидает тебя. Может быть, и ты окажешься достойным своих предков и подобным первому Минскому императору Чу Юн-чжану.

Я не отвечаю. Дядя несет утешительную чепуху. Чванные рассказы о генералах и императорах бегут мимо моего республиканского уха. Концом куай-цзы я пишу на дне чашечки, коричневом от сои: Су-ши, Су-ши...

Дядя приходит в исступление. Он обрывает свою торжественную речь и начинает ругаться. Пьет, ругается, поносит отца и революцию. Пьяные слезы бегут вдоль носа на верхнюю губу. Потом он кричит на тихую свою жену, браня ее за невкусный, бездарный обед и за испорченные продукты.

Она, привыкшая к дебошам, отвечает спокойно и уносит посуду из-под его возбужденных кулаков. Орущий дядя не слышит еле слышных ответов жены. Ему кажется, что она отмалчивается. Голос его повышается до верхней ноты. Уж мне кажется, что весь Дэн Цзя-чжень слушает дядю.

Он орет, как радиогромкоговоритель на московских площадях, и пьет до тех пор, пока затмение не свалится на его стеклянные зрачки. Косыми шагами он добирается до кровати, валится на нее, и свистящее дыхание его наполняет комнату запахом вина и желудка.

Глава 30

МОНАСТЫРЬ

Хо-шены.— Пострижение.— Что сказано в библии.— Богомольцы.— Звонок к богу.— Когда хо-шены радуются.— Я устаю.— Желудевый студень.— Ночные молитвы.— Отец рядом

Дорога трудными зигзагами взбирается на лесистую гору. Сосны перемешаны с бамбуком, кипарисы с дубами, ели с акациями и туями.

Имя монастыря Бань-Пен. Полулунная иссохшая цистерна перед его воротами набита опавшими листьями. От этого полулунного бассейна имя монастыря. Бань — по-китайски половина.

Три хо-шена — монаха, все население монастыря, выходят нам навстречу. Дядя знакомит меня с ними. Я гляжу снизу вверх на дюжие бритоголовые фигуры в наискосок запахнутых синих халатах с

широчайшими рукавами. Самому молодому из монахов — сорок. Он в три с половиной раза старше меня.

Указывая на настоятеля, дядя говорит мне:

— Это твой сы-фу.

Сы-фу значит наставник.

С ясного, солнечного двора меня ведут в темный сарай, где по бокам две деревянные раскрашенные статуи великанов, охранителей храма. У них зверские лица и занесенные над богомольцами кривые секиры.

Вдоль стены расположился целый президиум богов. Их старшина — спокойный, с большим животом Будда. Перед богом курильницы, наполненные пеплом, и медные чаши.

Я становлюсь на колени. Два монаха бьют булавами в звонкие чаши, зажигают свечи и затлевают палочки. Настоятель бормочет молитву. Я никогда еще не слыхал, чтобы так быстро произносили слова. Это не слова. Это по гребешку проводят ногтем. Дядя стоит рядом.

Настойчивый стон чаш, дым палочек, бредовое бормотание настоятеля и неистовая ярость раскрашенных демонов-хранителей переворачивают нутро моего черепа. Я не знаю, где я нахожусь, и не уверен вообще, нахожусь ли я где-нибудь. Больше всего мне хочется оплеснуть голову холодной водой.

Настоятель велит мне сделать девять земных поклонов. Пока я бью поклоны, один из монахов, кончив бить в чаши, приносит и держит на вытянутых руках какую-то долгополую синюю одежду. Настоятель кладет мне эту одежду на спину. Это буддийская монашеская хламида из синей крашенины с мягкими пуговицами-бульбочками. Монастырь беден, одежды его просты.

Я застегиваю на себе монашеский халат и кланяюсь четыре раза сы-фу и по одному разу остальным двум монахам. Затем в комнату входит парикмахер, оказывается, вызванный монахом заранее из деревни по уговору с дядей. Он смачивает мне волосы теплой водой. Кожа на темени плачет под скрипом бритвы, и клочья моего хохла падают на плечи, на рукава и на пол.

Нет больше гимназиста Ши-хуа. Есть синеголовый буддийский монашек.

Монахи, все люди неграмотные, подобострастно просят дядю:

— Не откажите подобрать ему новое имя.

Монах не может носить своего мирского имени.

Дядя делает вид, что задумался, а затем предлагает имя Су. Су-ши можно меня звать запросто и Лао-су — в почтительных случаях.

Фамилии нет. Монахам не полагается иметь фамилию. Монахи — люди, порвавшие со своим родом.

К имени Су я привыкал долго и с трудом. Теперь это мой литературный псевдоним.

Первый день дядя не покидает меня. Он ходит и поучает. Мне кажется, его даже забавляет мое монашество.

— Слушай, Ши-хуа...— и сейчас же поправляется: — Лао-су. Когда будешь читать буддийскую библию, не бормочи, как настоятель.

Вдумывайся в поучения и растолковывай их себе. В книгах буддийской библии есть глубокий внутренний смысл.

В первом дядя прав. В этом я убедился в ближайшие месяцы. Монахи ничего не понимают в библии, они умеют только бормотать ее.

В буддийской библии две части — поучения и обряды. Монахи знают только обрядовую часть.

Но как мне быть с дядиным советом — вдумываться в прочитанное? В обрядовой части написано, что женщина, рожая детей, проливает нечистую родильную кровь. За это пролитие крови женщина будет на том свете ввергнута в кровавую реку. Но если дети ее будут читать библию, то кара может быть снижена.

Я задумываюсь над библейскими поучениями, но чем больше задумываюсь, тем больше недоумеваю. Я спрашиваю настоятеля:

— Кто родил Будду?

Он отвечает:

— Женщина.

— И мать Будды тоже будет в кровавой реке?

Старик отвертывается:

— Будда — другое дело,— и прерывает разговор.

Библия меня не успокаивает, а, наоборот, озлобляет. Я читаю библейские рассказы про рай и про ад. Я бунчу о воздаянии за грехи и добродетели, но смерть матери давно уже поссорила меня с религией. Изо дня в день идет мой безмолвный спор с библией.

Хорошие люди получают счастье на этой земле, и души их будут блаженствовать в загробном мире. Но в таком случае, если мать в раю, почему она мне не сообщит об этом и не расскажет, каким блаженством ее одарил этот рай? А если рая нет, то почему за свою безмолвную, трудную жизнь моя мать, ласковая, хорошая и самоотверженная, получила в награду долгие муки и раннюю смерть?[1]

Почему отец, желающий людям добра, скитается, как ничей пес, убегая из-под занесенного ножа? Почему мерзавец и обирала губернатор Ху сидит в своем дворце, благоденствует, богатеет?

С монахами мои отношения исподлобья. Меня они гоняют по всяким поручениям.

Сами они давно превратились в лентяев, лежебок и привычных лицемеров.

Они чавкают за обедом, храпят во сне, колотят в чаши и бормочут молитвы. Даже когда они бьют земные поклоны, они это делают по привычке. Так же по привычке пальцы их перебирают зерна четок. Зачем это нужно делать, они себе отчета не отдают и объяснить не могут.

Лучшая в монастыре комната значится за волостным старостой. Его монахи встречают с особым почетом. Они юлят перед ним, как бесхвостые собаки. От этого худенького, с редкими волосиками на губе и с хитрыми глазками деревенского заправилы зависит самое существова-

[1] И опять, упомянув о матери, двадцатишестилетний Ши-хуа блеснул слезой (*С. Т.*).

ние монастыря. Захоти он, и три монаха пойдут бродяжить. Из особой любезности позволяет он им жить в монастыре.

— Кто это такой? Откуда? — обращает он вопрос к настоятелю.

— Дэн Сянь-шен привел.

— Грамотный?

— Целый год учился у Дэн Сянь-шен. (Сянь-шен — учитель, но поставленное после фамилии значит — господин.)

— Ну, значит, достаточно грамотный,— удовлетворяется староста. Ученики старшего дяди славятся грамотностью по всему уезду.

Ворота монастыря всегда заперты. Снизу по тропе к этим воротам подымаются богомольцы. Бедные кули или крестьяне идут к монастырю, если больны дети, если во сне привидится страшный кошмар. Идут по обету, данному перед продажей урожая или покупкой товара, или если нет детей, а хочется, чтоб были, или если нет дождя и грозит недород.

Обеты их просты: зажечь свечу, сдымить две-три палочки, спалить пачку бумажных денег перед статуей бога, отбить десяток земных поклонов.

Богомольцы стучат в ворота медным кольцом. Привратник, валяющийся на кровати или отсчитывающий костяные капли четок на длинных ступенях двора, быстро вскакивает и смотрит в глазок ворот.

Увидав, что пришедшие бедны и пеши, привратник отворяет ворота медленно и неприветливо пропускает в полуоткрытую створку вереницу людей.

Богомольцы несут бамбуковые корзины. Там лежат грошовые слепки золотых и серебряных слитков, свечи, курительные палочки, а также продукты: яйца, овощи, редко — жаркое. Привратник заглядывает в корзины и на глаз примеряет количество пожертвований. Ни яиц, ни мяса монахи не едят — это все отправляется на кухню и затем продается богомольцам побогаче.

Привратник не тратит слов на бедняков. Он просто тычет пальцем в направлении идолова стойла и даже не вызывает настоятеля. Богомольцы осторожно ступают по двору, плиты которого чисты. Я с привратником каждое утро мету двор широкими гаоляновыми вениками.

Богомольцы входят в стойбище раскрашенных чудовищ. Закинув головы, испуганно рассматривают они перекошенные морды и выкаченные глаза деревянных стражей храма, огромных, облупленных, в мягком плаще мутных красок и никогда не стираемой пыли.

Богомольцы бьют на кирпичах земные поклоны перед глиняными богами, созерцающими надутые пузыри своих животов, сжигают приношения и сконфуженным шепотом вымаливают у зевающего монаха:

— Позвони богу-то. Ну что тебе стоит, хо-шен.

Хо-шену скучно и досадно. Очень нужно беспокоить бога для этих оборванцев, все приношение которых состоит из трех яиц и нескольких листов соленой капусты! Он делает вид, что не слышит просьбы, но шепот звучит все настойчивее и настойчивее:

— Хо-шен, позвони богу, иначе он не услышит наши молитвы.

Тогда монах берет медные чаши и лениво звякает так, что кажется, они выпадут из его разваренных пальцев.

Затем он вытряхивает на кухне из корзин богомольцев снедь и широченной ладонью подталкивает молящихся к воротам, чтобы, захлопнув их, снова вытянуться на кровати, цокая усыпительными четками.

Но бывают другие стуки в ворота медным кольцом. Громкие, властные, самодовольные. В глазок привратник видит людей в красивых шелках, передающих слугам повода усталых коней, и тяжелые туловища богачей, вываливающиеся из-за занавесок цзяо.

Быстрее, чем произнести имя Будды, отпирает привратник ворота, широко распахивает их и встречает желанных гостей поклонами, ласковыми улыбками и вежливыми приговариваниями.

Без зова из своей кельи торопится навстречу знатным богомольцам настоятель. Спины монахов становятся необычно гибкими, и их ладони то и дело складываются лодочкой, и в эту лодочку сыплются монеты. Не те фальшивые бумажки, которые приносят в подарок богу бедняки, а настоящие, полноценные мао.

Задохшиеся кули блестят потом лба и плеч, идут курить и пить воду за стену кухни, где уже орудует монах, принимая из рук прислуги тяжелые корзины с кушаньями и готовясь их разогревать на монастырском очаге. Кули ломают ветки с деревьев, чтобы сделать воронье гнездо на голову, в защиту от ультрафиолетовых лучей горного солнца.

Весело и приказательно звонят в руках монахов молитвенные чаши. Будь бог даже глухим старикашкой, монахи заставили бы его обратить внимание на молитвы приятных богомольцев.

Раз-раз, и окончена молитва. Монахи, льстя и извиваясь, зовут гостей откушать, угощают чаем, овощами, фруктами и снова выпрашивают милостыню на монастырь.

В такие дни мне не до наблюдений и даже не до озлобления. Настоятель гоняет меня то за кипятком для чая, то за фруктами, то за рисом на кухню, то за спичками для именитого курильщика, за закусками, за сластями, за книгами в монастырскую библиотеку.

Дома этого не бывало. Дома все работали на меня — и мама, и дядя, и прислуга, и гребец в лодке, и носильщики цзяо. А здесь к вечеру, вытягивая в постели ноющие от бега ноги, я решаю, что обслуживание бедными богатых не особенно справедливо.

Впрочем, и без богомольцев работы у меня в монастыре по ноздри; еще немного, и начну захлебываться.

Монастырю нужно обрабатывать свои поля, выглаженные в толще леса, где растут для пропитания трех верзил и одного подростка бобы, кукуруза, пшеница. Поля эти вскапываются мотыгами. Они малы, они наклонны, а в монастыре нет ни рабочего скота, ни плугов. Всей земли примерно десять му, немного больше полгектара.

Я мал и непривычен к мотыге. Мои нежные пальцы умеют держать писчую кисть и рисовать петли иероглифов. Железный клюв мотыги тянет книзу, от него болят плечи и ноют мускулы ниже локтя. Рукоять мотыги толста и груба, от нее накипают на ладонях кровавые пуго-

вицы мозолей. В часы мотыжения рубаха липнет к потной спине компрессом. После работы несешь к себе в келью руки, как два длинных ведра, наполненных болью. Поясницу томит нерасстегивающийся пояс ломоты. Разве раньше я знал, что за каторга крестьянский труд? Наоборот, не было зрелища умилительнее, словно на диковинном спортпразднике выпрямляются и снова сгибаются тела. Полевые работы трогали своим изяществом мои глаза зрителя, и непонятен был мне окрик бабушки:

«Ши-хуа, не смей рвать цветы горчицы. За эти цветы крестьянин заплатил трудом».

Ноющие плечи командуют мозгу: землевладельцы-бездельники сдают в легкую аренду свои поля и кушают легко достающийся им обед. Но обед этот не из овощей, не из нежного птичьего мяса, но из воняющих потом мышц мотыжников, политых соусом густой боли.

Рядом с монастырем дубняк. Если осенью прислушаться к этому дубняку, в нем словно идет град. Это сыплются желуди.

Хозяин дубняка милостиво разрешает монахам пользоваться его желудями. Ему не жалко, они стоят дешево.

Мне закидывают на плечи ивовую корзину на двух ремнях и посылают за желудями. Я неопытен в этой работе. Не отцепляя корзину с плеч, я рву желуди с веток. Вздрогнувшая ветка отвечает мне барабанной дробью спелых желудей. Они летят в траву. Здесь в траве попадаются зеленые ядовитые змеи, но их я не боюсь. Идя лесом, надо бить перед собой длинным бамбуковым прутом. Так делают пастухи.

Ерзаю пальцами в густой, словно собачья шерсть, травяной поросли, выскребываю хорошие желуди вместе с гнилыми, упругие вместе с червивыми, черными, прошлогодними.

Нагибаться за желудями утомительно. Приношу в монастырь мало и плохие. Задыхаюсь, сажусь на ступень, пока настоятель, черпнув пригоршню принесенной дряни, которую не станут есть и свиньи, называет меня увесистыми словами.

Потом привыкаю, присматриваюсь, как делают другие монахи. Оказывается, надо поставить корзину под спелую ветвь и дернуть ее, как собаку за хвост. Тогда желуди загремят прямо в корзину.

Дома в Сиань-ши я очень любил холодный студень из желудевого сока. Мама на кухне растирала желуди, отжимала сок через ткань, подогревала, чтобы он загустился в кашу, затем нарезала брусками и бруски эти клала в воду, часто меняя ее. Вода отнимала у студня терпкость и горечь, и через несколько дней можно было есть его приправой к мясу или курице.

В монастыре мы едим такой же студень, но монах-кухарь недодерживает его в воде. Студень невкусен и сводит нёбо оскоминой, как древесная кора. Я стараюсь научиться глотать его. Надо, чтобы кусок возможно скорее проскакивал в глотку, не задерживаясь у тыла языка, где помещается вкусовое поле. Так потом меня учили пить пиво, чтобы не было горько.

Я глотаю студень и философствую.

Почему богатый ест вкусно и на обед не тратит усилий?

Почему бедняк мается, чтобы изготовить себе свою чашку еды, и все-таки эта еда противна, как помои?

Монастырь Бань-Пен в горном Сычуане — моя первая школа социализма. Спасибо тебе, дядя, за то, что ты послал меня в такой нищий монастырь. Попади я в богатую обитель, так и остался бы, пожалуй, бездельным барчонком.

Горный воздух и работа подлечивают меня. На месте болевых завязей нарастают у меня комки первых мускулов. Начинаю забывать школьные предметы. Школа, где раньше считал дни до очередных каникул, теперь кажется страной невыразимого счастья.

Монахов я не интересую. Работаю, и ладно. Дядя за меня не платит. Я их батрак и письмоводитель. Относятся они ко мне неплохо, но безразлично. Заболей я или умри, вряд ли кто из них ускорит свой шаг или повысит голос.

Меня они тоже не интересуют. Десять — двадцать деловых вопросов и ответов в день — и все.

О Цзай-ин не думаю совсем, но тревога об отце мучит сильнее и сильнее. Мускулы здоровеют, но нервы портятся. Никогда раньше я не верил в чертей, а теперь начинаю их побаиваться. Меня к этому приучают деревянные страшилища нашего алтаря, особенно в ночные часы. Ночью в храмовой темноте они похожи не на людей, а на гигантских жаб и насекомых.

Каждую полночь, в час напряженной тьмы, заспанный голос настоятеля окликает меня. По нижней застекленной части окна глухой улиткой ползет чернота. Я заправляю ноги в туфли и тороплюсь через комнату настоятеля в храм.

Храм полон шорохов и теней. Язычок неугасимого светильника заводит на потолке пляску чудовищ. Хитрый бог, сидящий на льве, и задумчивый бог, оседлавший слона, возносят свои глиняные туши над алтарным столом. Шорох... Это глина выкрошивается. По пыльным плечам богов бегут серые ящерицы и мохнатые тысяченожки, похожие на ползучий колос пшеницы.

Головы деревянных стражей воткнуты в густой мрак. Кто их знает, что они там делают наверху? Может быть, вращают глазами; может быть, открывают зубастые рты. Я стараюсь не подымать на них глаза, беру пучок курильных палочек, запаливаю их от светильника, втыкаю в пепел курильницы и бросаюсь обратно. Бег усиливает страх. Заколебавшийся воздух шатает светильник. Пляска идолов превращается в клокотание теней. Мне кажется, что кто-то меня хватает за пятки...

Сдерживая себя, я перешаркиваю комнату настоятеля. Он сидит на кровати, поджав под себя ноги. Ладони его, с надетыми на большие пальцы кольцами четок, сложены крышечкой. В тусклые щели глаз не проблескивает зрачок. Он бормочет полуночные молитвы.

А трижды в месяц — каждого первого, пятнадцатого и в последний день,— запалив полуночные палочки, я прохожу в соседний с капищем сарай. Там висят два плоских медных колокола. Я ударяю в большой колокол восемнадцать раз, с большой расстановкой, и под завывание меди, рвущееся отсюда сквозь лесные ветви к дальним деревням,

спешно наборматываю специальные молитвы, мешающиеся в моей голове с обрывками теплого сна.

Отбив восемнадцать медленных, бью в малый колокол восемнадцать частых, подсказывая под каждый удар одно из многочисленных имен Будды.

Приезжает старший дядя. Быстро, вполголоса сообщает при встрече — отец в безопасности. Внимательно присматривается ко мне. Я вижу, его глаза готовы потечь от жалости, и только присутствие монахов не дает слезам побежать по лицу. Спрашивает:

— Нравится ли тебе, Лао-су, здесь?

Монахи стоят рядом, не уходят. Я отвечаю:

— Да, Дэн Сянь-шен, очень нравится.

А наедине, когда мы с ним бродим по лесу вокруг монастыря, я жалуюсь, что мне здесь одиноко, неприветливо и трудно.

Дядя отвечает:

— Терпи!

День за днем восходит и падает одинаково, как зерна четок в руке монаха. Только лицо загорает и становится ровнее дыхание, да спине уже нипочем доносить до монастыря полную корзину желудей.

Где-то далеко, в школе, товарищи переходят из класса в класс, заучивают иероглифы, английские слова и теоремы геометрии, обгоняя меня. Далеко, на другом конце земного шара, грохочет и кровенеет великая европейская война. Но взрывы ее гранат не доходят до тихого монастыря Бань-Пен.

Толстый Юань Ши-кай чеканит даяны со своим портретом и готовит солдат, чтобы объявить себя императором. Спокойный, лобастый Сун Ятсен собирает деньги у заморских китайцев, ездит по Европе, из-под густых бровей присматривается к тому, как работают суды, парламенты, фабрики, банки, и обдумывает следующую революцию. Революционеры, затаясь по деревням, учат ребятишек, играют в мачжан и карты, читают газеты и ждут своего часа или, устав ждать, идут в чиновники.

Отец выращивает пшеницу и отдает владельцу земли половину урожая. Он поливает навозной жижей на грядах огорода редьку, огурцы и капусту, поливает с особой энергией, потому что с огородов владельцу земли никакой арендной доли платить не полагается.

Мы с отцом, оказывается, живем рядом, всего в пяти ли — как от Арбатской площади до Мясницких ворот в Москве — руку протяни, дотянешься, но ничего друг о друге не знаем. Осведомлены об этом только оба дяди, мачеха и младшая тетка.

День за днем вставание на рассвете. Упругие прутья гаолянового веника гонят по двору пыль, бумажные огарки, персиковые косточки и мандариновую кожуру.

На очаге второй монах готовит овощи в горчичном масле. Молчаливое чавканье, и после еды ленивые молитвы перед идолами. После молитвы кланяемся Будде, сложив руки домиком. Настоятель первым кланяется трижды. Потом корзина, мотыга, работа, обед, а в восемь часов вечера несколько минут чтения библии в лад однообразному звону цикад, и все разбредаются по кельям.

Я ложусь, а в полночь хриплый окрик: «Лао-су! Лао-су!» — перешибает мой сон, если только я по привычке сам не вскочу, не дожидаясь крика.

Глава 31

ОТЦУ НАДО УМЕРЕТЬ

Отцовский дом.— План смерти.— Новый год в монастыре.— Купцы-капустники.— Как умирал отец.— Панихиды.— Я на воле

Лето 1915 года. Чей-то стук в ворота. Я выбегаю во двор. Передо мной младший дядя. Вот так так. У него вид богомольца: на локте корзина с палочками и жертвенными деньгами. За ним в воротах, на радость кланяющимся монахам, цзяо. Пригрозив мне глазами, он обращается к настоятелю и говорит:

— Хочу прогуляться в горы. Дайте мне вашего мальчика в проводники.

И протягивает привратнику свою корзину.

Мы спешим по лесной тропинке, чтобы нас не было слышно из монастыря.

— Слушай, Ши-хуа, отец хочет тебя видеть. Мачеха сейчас переселилась к нему.

Он рассказывает мне, как живет отец, и прибавляет:

— Мы это устроим так. Я забуду в монастыре корзину, а завтра зайдет человек с просьбой прислать эту корзину с тобой. Ты с ней придешь прямо в поселок, где живет отец. Это недалеко.

Если бы отец не заговорил со мной, не знаю, как я узнал бы его в этом пожилом, огрубелом крестьянине, с заскорузлыми, черными кистями рук, мотыжными мозолями на ладонях и черной вислой бородой, тронутой золой проседи.

В первый раз в жизни, заметив меня, отец светлеет улыбкой. Ему смешно видеть сына обветренным, длиннoруким, загорелым. Мой вид столь необычен, что мачеха плачет, пряча глаза в платок. Отец кладет ей руку на плечо и говорит:

— Не надо плакать, сейчас все много лучше, чем полгода назад.

Отцовский дом маленький, три комнаты. Стоит он одиноко. Вокруг дома поля и бамбуковые заросли. В бамбуках древний колодец с превосходной водой. Широкий люк просечен в камне; ступени ведут к самой воде. Из этого колодца отец ведрами ежедневно таскает воду на огород, а в засушливые дни и на поля. Крохотная собачонка, визгливая и вертлявая, стережет одинокий двор. Пяток куриц да уток бьют клювами землю у крыльца.

Отец обращается к дяде:

— Как только опасность минует, надо послать Хуа опять в школу. Если так будет продолжаться, он все перезабудет.

Дядя хмурится:

— Рано. По-моему, даоинь сможет оставить Хуа в покое только в том случае, если убедится, что ты умер. Как ты думаешь, не пора ли тебе умереть?

Отец отвечает спокойно:

— Я уже думал об этом. Надо пустить слух о смерти. Но вопрос, откуда его пустить, а главное — через кого? Будь здесь надежный член го-лао, это дело можно было бы поручить ему.

Отец думает долго, вспоминает фамилии, советуется по этим фамилиям с дядей, отбрасывает их, снова думает, вспоминает, словно взвешивая людей на ладони, действительно ли они полноценны. Наконец он отбирает рядового солдата, товарища своего отряда, по фамилии Фан.

— Надо начать разговор о моей смерти не в нашем уезде, а издалека. Пусть Фан поедет в Шанхай и оттуда распространяет этот слух.

На прощанье отец говорит мне:

— Слушайся настоятеля, войди в его полное доверие. Тогда будешь свободнее, сможем встречаться чаще. Неплохо бы мне с тобой призаняться, а то станешь совершенным неучем.

Снова идут однотонно, как удары ночного гонга, дни. Неделя за неделей, месяц за месяцем. Вот я уже целый год монашествую. Монахи со мной свыклись.

Мне много свободнее живется, чем раньше, а главное, спокойней. Я необычайно трудолюбив. Я сам напрашиваюсь собирать хворост для кухни, бегу в лес, навиваю вязанку, затем, задрав полы монашеского халата, мчусь к отцу. Он раскладывает передо мной бумагу и кисти, раскрывает страницу книги и занимается школьными предметами, уже начинающими тускнеть в моей памяти.

Трудные дни подходят — Новый год.

Монахи часто ходят в деревню, возвращаются, тяжело дыша, выволакивая на горбу корзины. Из корзин в кладовую вываливают целые вязанки свечей, ароматных палочек и бумажных жертвенных денег. Эти деньги вроде ваших европейских колод карт. На листках бумаги в три ряда выдавлены красной печатью изображения монет. Лицевой листок этой кипки красный, чтобы казалось, будто вся кипа сплошь красные, радостные, ритуальные деньги. Накрест пакет перевязан ленточкой.

На Новый год в монастырь тянется много богомольцев. Надо наготовить для них жертвенных вещей.

С первого января, когда тончайший серп луны прорезывается, словно первый зуб у ребенка, и до пятнадцатого января, когда луна похожа на улыбающегося даоиня, ежедневно беспрерывно стукает в монастырские ворота кольцом черед паломников. Они вручают монахам корзины, покупают палочки и колоды денег, начищают коленями пол перед алтарем, слушают звон чаш, подзывающих бога, а потом во дворе жгут трескучие вязанки ракет, взрывающихся над монастырскими крышами и над горным дубняком, как выстрелы озлобленных пулеметов.

Ребята сидят на руках у матерей, глядят большими шлифованными глазами и сосут белые и желтые тянучки. Эти тянучки приготовлены во всех домах — белые из риса, желтые из кукурузы. Если их долго мять в теплой слюне, они тянутся шелковыми нитями.

По поверью, в канун Нового года дух — хранитель дома — отправляется с докладом к верховному богу, и, чтобы он не проговорился обо всем, что дома делается, ему надо склеить зубы липучим тестом. Вот для чего едят тянучки.

Перед воротами монастыря целый рынок. Торговцы подстерегают паломников. Они расставили свои корзины, на которых разложены сласти, фрукты, а главное, детские игрушки: деревянные повозочки, запряженные мулами, крошечные цзяо, дудки, маски, погремушки, шапочки в виде оскаленной тигровой головы, оклеенные серебряной бумагой секиры и алебарды и маленькие, вылепленные из теста фигурки актеров и богов.

Я чувствую себя лавочным приказчиком в предпраздничные дни. Алтарь — наш прилавок, мы торгуем милостями бога, как полотном или тесьмой. Человеку побогаче мы отматываем божьего благоволения подобротнее. Человеку победнее мы всучиваем торопливо и недовольно рваную и потертую благодать.

Настоятель и монахи работают напряженно, не сходя со своих мест. У них затекают уши и каменеют пальцы от звона чаш, а спина болит от поклонов. Я ныряю то в кладовую, то на кухню, то к воротам, то в библиотеку, то в уборную — проводить почетного посетителя, у которого от крутого горного подъема или религиозного умиления разболелся уважаемый живот.

Тем, что монахи заработают на Новый год, монастырь будет жить целых полгода до праздника Дракона.

Особенно трудны первый, десятый и пятнадцатый дни Нового года. Кроме растрепанного на паломников дня, всю ночь не сплю, всю ночь перед идолами жгутся свечи, а три грубых монашеских голоса и один ломающийся мой читают молитвы по толстым буддийским книгам.

Конечно, лучше всего смерть моего отца организовал бы Ван, тот самый, который спас меня от солдат даоиня. Но Вана уже нет в Сычуане. Он в каком-нибудь из революционных отрядов, дерущихся с Юань Шикаем.

Остается исполнительный товарищ Фан. Младший дядя уговаривает его поехать. Дисциплина го-лао-хуэй все еще строга. По долгой Янцзы Фан спускается в ревущий трубами пароходов, гудками фабрик, звонками трамваев, сиренами тысяч черных, как жуки, автомобилей Шанхай. Здесь много купцов-сычуанцев, торгующих соленой капустой.

Купцы-капустники рады приезду земляка, да еще такого интересного земляка. Как он много знает сычуанских историй и сплетен! Они готовы слушать его сплошь.

Особенно же интересуются купцы, когда Фан начинает рассказывать историю Дэн Я-пу, того самого, который свернул шею маньчжурам в Теяни и соседних уездах.

— Дэн Я-пу,— рассказывает Фан,— убегая от солдат, посланных Ху, был уже болен. Он отлеживался в рисовых полях, мерз в лесах. Бамбуковая чаща разодрала на нем одежду. Изнемогающий дошел он до реки. Кое-как, на последние остатки денег, спустился по Янцзы в Шанхай, а из Шанхая бежал в Гуанчжоу (главный город провинции Гуандунь,

называемый европейцами Кантоном). Но, добравшись до Кантона, Дэн не выдержал напряжения и умер.

Купцы, прищелкивая языком, крутят головами, ходят со знакомыми на крыши универсальных магазинов, играют в мачжан и за мачжаном возбужденно, но с соблюдением приличий скорби передают рассказ Фана дальше.

Рассказ обрастает новыми подробностями. Что может быть для китайского торговца интереснее беседы о покойниках? Купец вспоминает о смертях своих родичей, а с них перескакивает на смерть Дэн. Скоро он начинает рассказывать о Дэн от своего имени. Он-де видел Дэна в Шанхае, он-де ему помогал. Он-де ему дал денег на дорогу. А если он до сих пор молчал, то только для конспирации.

Сплетня идет от человека к человеку. Через несколько недель уже находятся очевидцы, на руках которых Дэн умер в Кантоне. Эти очевидцы помнят все — и выражение его лица, и предсмертные слова, и даже надписи, присланные к гробу, и место, где он временно похоронен в ожидании, когда потомки привезут гроб в Сычуан.

На языках приказчиков, отправляющихся за соленой капустой, возвращается слух в Сычуан и добирается, наконец, до Теяни.

Отец может быть доволен выдумкой. Не только товарищи его, но и явные враги — чиновники, домовладельцы, землевладельцы, скупщики — поражены. Умер Дэн Я-пу. Умер свергатель маньчжуров.

Умер знаменитый земляк.

Собрания картежников в храмах и клубах Теяни заменяются траурными собраниями. Имя и титул отца вписаны мастерски иероглифами в большой лим-пай, окруженный венками и поминальными надписями. Трогательны заупокойные речи. Бывшие гоминдановцы, изменившие революции, продавшие ее за деньги, чин и спокойную жизнь, подходят к лимпаю и, оборотя лицо к толпе, перечисляют возвышенным тоном заслуги покойного, мучительными словами выгоняют слезы на глаза слушателей, а голос их дергается в судорогах, словно умерший был единственным их другом и некому во всем мире заменить его.

Чиновники с глазами, эмалированными слезой, говорят, что личность моего отца небывала и изумительна. Правда, он был слишком решителен и порой опасен для общества, но никто никогда не отнимет от сияющего имени Дэн Я-пу того, что он сверг маньчжурских мандаринов в Теяни и держал город в своем властном кулаке, не взяв ни медяка и не пролив ни струйки крови в казнях.

Городские интеллигенты надевают траурный креп на левый рукав, устраивают поминальные обеды и приглашают младшего дядю на эти обеды рассказывать о доблестях его великого брата.

Дядя ходит. Ему что? Так и надо. Это к лучшему. Лишь бы не переврать и не соскочить с грустной интонации голоса и не выронить блестящую скорбь из глаз.

Даже сам даоинь, полтора года тому назад выславший отряд для поимки и немедленной казни Дэн, проливает слезу на траурном обеде.

Премудрая судьба — спасибо ей! — сама расправилась с вредным

человеком, избавив от этой грязной обязанности его превосходительство.

Со смертью отца интерес властей ко мне падает.

Бронзовое кольцо трижды стукает в ворота монастыря. Старший дядя, веселый и краснощекий от зимнего холодка, еще длящегося на горах, появляется в дверях и кличет:

— Ши-хуа! Дэн Ши-хуа! Хуа-цзы!

Монахи недоумевают, когда на этот ими никогда не слыханный зов выбегаю я.

— Одевайся, племянник, едем в Теянь. Надо тебе продолжать школу.

Монахи поражены. Как! Лао-су вовсе не Лао-су, а Дэн Ши-хуа? Он вовсе не сирота, а родной племянник уважаемого Дэн Сао-пу? Он вовсе не монастырский служка, а человек, который скоро должен кончить гимназию в Теяни?

Настоятель сконфужен и скромно говорит дяде:

— Нас уже давно мучило сомнение относительно Лао-су. Он был у нас удивительным мальчиком. Спросите его, доволен ли он нашим обращением с ним.

Я вижу в глазах монахов жалость. Из монастыря уходит дешевый и ловкий батрак, а главным образом писарь.

Сначала я иду с дядей к «мертвому отцу». Надо мне с ним попрощаться. Теперь встречи будут не так просты.

Отец утирает земляную руку подолом рубахи и улыбается.

— Ну, теперь ты настоящий «Су».

«Су» — по-китайски значит воскреснуть.

Я дивлюсь мягкости отца. Земля, которую он колотит киркой изо дня в день, сделала его много добрей.

В доме старшего дяди передо мной вновь возникает семидесятилетний, бледный как вата брат деда... Он встречает меня скорбно. Голова его трясется. Он ничего не знает и думает, что отец в самом деле умер и что меня нужно утешать. Что отец не разлагается в Кантоне, а мотыжит землю тут же, под боком, знают только шесть человек: двое дядей, я с Фаном, мачеха да младшая тетка.

В Дэн Цзя-чжень я скидываю с себя широкорукавый халат монаха. Дядя одевает меня по всем правилам: на голову черную бумажную ермолку с белым траурным шариком и на ноги белые туфли.

В этом грустном наряде я вернусь в Сиань-ши и Теянь и буду носить траур три года.

Инспектор, который в день бегства не хотел мне дать отпускного билета, уже начальник школы. Он встречает меня почти растроганно:

— Что это ты так быстро убежал тогда, два года тому назад? Рассказал бы ты мне подробно, в чем дело, я бы тебе и помог.

Я вежливо кланяюсь. Я знаю, что на другой день после бегства он получил ордер выдать меня полиции.

Мимолетом в Сиань-ши встреча с сестрами Чен. Как они выросли, особенно Цзай-ин. Ей уже тринадцатый год. Она ходит и разговаривает, как взрослая девушка. Мне совестно подумать, что я мог бы сесть около

нее, положить свой затылок на ее колени и слушать, как она будет произносить стихи над моим опрокинутым к небу лицом.

Сестры рады мне. Их вопросы в один голос:

— Ши-хуа, слушай, неужели отец твой в самом деле умер? А где ж ты пропадал эти два года?

— Да, мой отец умер,— отвечаю я, ни одним движением не выдавая правды.— А эти два года я пробыл в монастыре.

Сестры не верят. Тогда я начинаю им читать в монашеской манере страницу за страницей буддийского требника. Смех сестер обрывается. Они вытаращивают на меня глаза, потом взрываются неудержимым хохотом и кричат:

— Хо-шен! Хо-шен! Ши-хуа — хо-шен!

Так слово хо-шен (монах) становится отныне моей кличкой.

Несколько дней я сижу в школе вольнослушателем, повторяя забытое. Держу экзамен и с Нового года снова вступаю в ряды учеников.

Два пропущенных года надо мне нагнать. Прежние товарищи, обогнавшие меня и сидящие в других классах, обступают тесной толпой, расспрашивают, где я был, ругают даоиня и правительство, жалеют отца, выспрашивают подробности; рассказывают, как длится в Европе война и какие негодяи немцы. Я завален новостями; я цежу заученные, сдержанные фразы о смерти отца; я вместе с товарищами ругаю правительство и ненавижу германцев.

Глава 32
КАЗНЬ

Туфеи.— Сенсационное известие.— Бандит-однокашник.— Место казни.— Процессия.— Палач.— Красный ковер.— Пятьдесят выстрелов.— Разговор зрителей

Политическое затишье кончается. Юань Ши-кай объявил себя императором. Бывший юаньшикаевский кучер, ныне генерал Цао Кунь, ведет свои войска в Сычуан на подмогу сычуанскому губернатору, потому что уже с юга, из Юньнани, угрожает тому армия сунятсеновца Цай Сун-по.

По дорогам сычуанских окраин топот солдатского марша. Приезжие приказчики рассказывают про неизбежность новой войны, про бои и разоренные уезды, но у нас тише. Здесь война идет не между армиями, а между полицейскими и туфеями (бандитами). Их много расплодилось на сычуанских дорогах за время последних войн и восстаний.

Там и молодчики, вроде племянника Чена, живущего в бамбуковом лесу, и солдаты отрядов, оставшихся без дел, и братья союза го-лао, и бродячие батраки, не сумевшие наняться на работу, и крестьяне, согнанные за неплатеж аренды со своей земли.

Оружия хватает на всех. Это не одиннадцатый год, когда ружейные замки своими руками выделывали слесари-революционеры. Разбитые северные войска оставили в стране достаточно винтовок. Пока у туфеев

оружия мало, они делают ночные налеты на одинокие дома и забирают деньги, подпаливая пятки упорным скупцам.

Мелкие банды туфеев сливаются в крупные отряды. Они вылавливают богачей, чиновников и сборщиков податей, уводят в леса и требуют выкуп.

Богачи из деревень перебираются в город под защиту стен и полицейских.

В ответ на разбойничьи похищения отряды даоиня рыщут по лесам и деревням, вылавливают туфеев. На стенах деревень белеют лоскуты, предлагающие за выдачу разбойника или за принос в корзине его головы аппетитные суммы денег.

Казни туфеев в городе идут одна за другой. Повара, приезжающие с рынка, рассказывают замечательные истории о том, как ведут себя разбойники во время казни. Попадая в город, я с виноватым страхом обхожу плетеные клетки, за прутьями которых разлагаются страшные, плохо видимые мне головы разбойничьих вождей.

Курьер, ежедневно ездящий с канцелярскими конвертами в город, однажды привозит в школу весть: на днях казнят сразу пятьдесят.

— Пятьдесят туфеев! Целых пятьдесят туфеев! До чего интересно! Давно уже не было такого удовольствия честным горожанам.

Курьер захлебывается от восторга. Его глаза горят, перекидывая огонь в зрачки обступивших учеников.

Гул голосов идет по школе. Особенно интересует всех атаман пятидесяти, известный бандит, по слухам убийца отца одного из школьников.

Мы сбиваемся в кружки на кроватях и, забыв карты, кости и медные тунзеры, рассказываем правдивые и выдуманные повести о разбойниках. Вспоминаем позы и жесты героев-туфеев, виденных нами на сцене театра, напеваем их песни, декламируем их речи. Знающие товарищи рассказывают, что накануне казни заключенные получают хороший обед и могут пить столько водки, сколько в них влезет.

Одноклассники того, чей отец был убит атаманом, злорадствуют мстительно. Им возражают немногие:

— Разве даоинь и его солдаты лучше туфеев?

Завариваются споры, переходящие в бешенство.

Я отхожу в угол и думаю об одном туфее, который мне близок. Он — мой бывший одноклассник по начальной школе. Учиться в школе он не любил, был драчуном и хулиганом, но прекрасным картежником. Его отец, торговец, зная сыновний картеж, не давал ему денег и скоро взял его из школы. Парень стал приказчиком в лавке отца.

Отец скуп, прячет деньги. Сыну не на что играть на ярмарках, где бродячие картежники раскидывают заманчивые столы. Рядом с кассой в лавке шкаф. Там деньги хранятся под задвижным медным замком. Каждый вечер отец подсчитывает выручку, записывает в книгу и затем запирает ее в шкаф. Сын крадет перед подсчетом, но помногу нельзя, а малых денег не хватает.

Парень стал воровать товары — сахар, сласти, варенье; носил их в харчевню и продавал. Однажды он напихал себе в карманы столько банок, что пузыри вздулись у него на фалдах. Отец заметил, отобрал

ворованное и поколотил парня. Избитый и злой, он убежал за город, голодный и ободранный, наткнулся на шайку бандитов и остался у них.

Туфеям нужен был мальчуган на роль шпиона. Ребенку легче выведать в деревнях, кто продал товар, кто получил деньги, кто отправляется в дорогу. Ребенка не станут подозревать. Исправно помогая бандитам, мой одношкольник вырос в настоящего туфея.

Деревни стонали от его проделок. Свою деревню он не трогал, там все знали его в лицо. Поссорься он с жителями, его выдали бы в два счета или забрали заложниками родных. А кроме того, своя деревня нужна, чтобы прятаться в трудные часы.

Он был очень жесток. Нет в бандитах жесточе народа, чем женщины и полуребята. В Сиань-ши посейчас живет изувеченный им богач. Он был взят парнем и уведен в разбойничье становище. Семья запоздала прислать выкуп, а может быть, послала мало,— парень продержал богача на голодовке, пока родные бегали по деревням, ища, где бы занять. Туфеи связали богачу руки и ноги, подвесили его под потолком, били, а затем пытали, прикладывая к спине и раздувая дыханием тлеющие молитвенные палочки.

Дума обрывается испугом: «Может быть, он тоже среди пятидесяти?»

Казнят в субботу. Суббота — день сочинений. Сдай работу учителю — и свободен до понедельника.

Школу охватывает фантастическое прилежание.

У ленивых мозгов отросли крылья, пальцы перегоняют мысль.

За какие-нибудь полтора часа с сочинениями кончено, и толпа черных курточек сбегает к реке.

Пустырь за лодочной пристанью под зубастой городской стеной — место казни. Стена, зубцы ее и выступы вчернь усажены народом. Под стеной — дома. Их вторые этажи как театральные ложи. Они копошатся и чуть гудят вязким разлезающимся черноголовьем зрителей.

Вокруг пустыря тройным кольцом стоят люди и глядят на пустырь через плечи и штыки полицейского оцепления. Сначала на пустыре нет никого, кроме двух собак и одной деловитой свиньи. Потом приходит отряд солдат.

Тоскливый медный крик четырех горнистов кидается в уши[1]. Под такт медных печальных сигналов идет передовой отряд солдат с ружьями на плечах. За солдатами туфеи, и звяк их ручных и ножных кандалов похож на пересчет пятаков в меняльном ряду.

Туфеи идут медленным шагом. Их под руки ведут полицейские. Руки разбойников скованы за спиной, в браслет оков вставлены бамбуковые тычины, подымающие над затылком каждого разбойника небольшой плакат с именем его деревни и преступления.

Процессия длинна. Зрители молчат. Железными зубами клацают кандалы. Рубахи туфеев драны.

---

[1] — Почему,— спрашивал я Ши-хуа,— вы мелодию горнистов называете печальной, ведь китайская музыка не различает мажора и минора? — Событие печальное, потому и музыка, его сопровождающая, кажется печальной,— отвечал Дэн Ши-хуа (*С. Т.*).

Одни сутулятся, другие задрали в улыбке лицо поверх зрительских голов, третьи хмурятся волками на публику. Иные закрыли глаза, и кровь отхлынула от их белых щек. Есть такие, которых близкая смерть уже обратила в полутрупы. Можно думать — они разлагаются и их мускулы вязки, как вареное мясо. Они уже не могут идти, полицейские тащат их под мышки, и дорога чуть дымится от проволакиваемых по ней ног.

Мы считаем проходящих. Их всего сорок девять. Пятидесятый умер в тюрьме от страха.

За спиной последнего преступника — отряд войск. Полицейского инспектора четыре носильщика колыхают в синем цзяо. Вслед за инспектором палач — высокий человек, глядящий перед собой и торжественно, как ваши священники крест, несущий в вытянутой руке острием вниз огромный меч в кожаных ножнах, с красным бантом, повязанным вокруг рукояти[1]. Одет он в обычную полицейскую одежду.

Товарищ рассказывает мне:

При императорах палач был одет в особую одежду, с красными кругами на груди и на спине. Он прятался в толпе до момента казни и выскакивал к казнимому внезапно, в самый последний миг.

Мне страшно. Я комкаю в кулак рукав соседа. Я боюсь через головы человечьего кольца смотреть на разбойников. Меня самого качает, кружится голова, но совестно показать себя перед приятелями слабым.

Процессия подходит к площади. Солдаты прорывают кольцо людей и становятся двойным полукругом, создавая безвоздушную зону смерти, по направлению к реке.

В две шеренги лицом к реке становятся преступники. Полицейские опускают их на колени. Двое или трое кричат мучительно и жалобно:

— Убейте нас! Убейте нас! Через несколько лет мы возродимся снова такими же молодыми. Убейте нас!

Это они произносят буддийское заклинание.

Некоторые лежат, уткнувшись раскрытыми мокрыми губами в грязный песок, почти без чувств.

За спиной шеренг красный квадрат, и на квадрате этом на коленях один человек — это атаман. Даоинь разрешил родичам его подостлать толстый красный шерстяной ковер, чтобы не выпустить кровь на землю. Родные после казни тело захлестнут ковром и унесут, пока из кровепроводов льет перегретая струя.

За красным ковром ближе к стене стол. За столом сидит инспектор, рядом с инспектором офицер отряда и палач. Цзяо инспектора и лошадь офицера ждут за цепью солдат.

Какая-то груда свежеотесанного, грубо окрашенного дерева видна нам у самой реки за зрительским кольцом. Это длинные ящики — это гробы. Пустые. Их сорок девять. Они плохи. У них щелистые доски.

Подкова зрителей загущается в однородную твердую массу.

На пустыре над головами коленопреклоненных маячат полицейские.

Приготовления быстры. Полицейский выдергивает из наручников

---

[1] Этот красный бант на мечах и ножнах не для красоты, а для чистоты. Им отирают кровь с лезвия (*С. Т.*).

атамана его таблицу и кладет на стол инспектора. Инспектор поворачивает голову в сторону палача и поднимает палец.

Палач уверенно и быстро подходит к атаману сзади. Плоско светя, сверкает секира. Голова, как выроненный арбуз, падает, и шея выстреливает вперед двумя кровяными вожжами. Выстреливает только раз. Сердца хватает только на один удар, дальше кровь уже льет плоской жижей по шее.

Палач дает коленопреклоненному телу в спину пинок. В толпе кто-то ахнул, кто-то шарахнулся. В тишине заплакали дети. Туфеи не видят смерти своего атамана — они к нему спинами. Они могут только угадывать эту смерть по удлинившимся шеям зрителей.

По первой шеренге коленопреклоненных идет полицейский, выдирает плакаты из кандальных браслеток и считает. Веник бамбучин, с таблицами на концах, берет инспектор и пересчитывает, откладывая по одной на стол.

Плакаты сосчитаны. Палец инспектора делает знак офицеру. Короткий пронзительный офицерский свисток. Цепь солдат заходит в тыл первому ряду и останавливается — по солдату за разбойником. Двадцать четыре солдата над двадцатью четырьмя обреченными казни.

Второй офицерский свисток. Ружья вскинулись к плечу дулами к затылку. Короткий выстрел, точно большую доску сломали.

Будто кто ткнул людей в загривок. Дым и пыль от грязного пустыря взвиваются под ударом тел и пуль.

Перешагнув через трупы, солдаты становятся в затылок второй шеренге, и по новому свистку новая вскидка прикладов к плечу и новый залп.

Внезапно, торопливо, почти бегом, подкова солдат, обтягивающая обручем смертную пустоту, замыкается в тесное кольцо вокруг трупов.

Инспектор, офицер и полицейский обходят лежащие груды человеческого мяса и тряпок, удостоверяясь в смерти. Полицейские подымают каждую голову и ищут пулевые дыры. Весело звенят снимаемые кандалы.

Все — наповал. Снова птичий свисток офицера. Горнист играет сигнал. Кольцо солдат выстраивается в ряды и уходит. Вместо них плотным кольцом над казненными сдавливается публика.

Родные убитых явственно плачут в тишине, и подтаскиваемые к трупам гробы сухо скрипят по песку.

Родные атамана закатывают ковер, а затем увязывают в огромный узел голову и тело. Шуршащие шаги людей быстро затирают кровавые пятна.

Публика расползается муравьями. Сквозь только что черную гущу яснее и яснее просвечивает серая пыль пустыря, но зато сгущается лавина в горлах переулков.

Люди уходят понуро, жалеют убитых.

— А может быть, их неправильно обвинили? Может быть, судья постановил несправедливый приговор?

— А может быть, они в разбойники ушли от бедности, когда нечего есть и никто не подает? Поневоле полезешь рукой в чужой карман. Теперь ведь голод всюду.

— А не все ли равно, где умирать: от медленного голода в мазанке или от быстрой пули на площади?

Приказчики городских лавок идут медлительными толпами, как из театра, хвалят храбрых:

— Каким он молодцом умер: до последнего момента ругал полицейского начальника.

Издеваются над трусами, над плакавшими, над грызшими песок.

Под шлепанье весел не утихает встревоженный говор среди учеников. В школьной спальне идут беседы.

— Почему люди казнят людей? Кто им дал это право?

Эту ночь я не сплю. Я галлюцинирую шеренгами трупов и красными вожжами крови на красном ковре. Испуганно замирая, я не раз выставляю голову из-под одеяла, и неизменно навстречу моему шороху такие же головы подымаются со многих кроватей. Сегодня на городском пустыре солдатами даоиня расстрелян наш спокойный сон.

Глава 33

СОБАЧЬЯ ГОЛОВА

Последняя шуба.— Гоу-Тоу.— Есть нечего.— Пуд денег.— Сваха.— Собачья Голова улыбается

День за днем идет моя жизнь в школьном интернате. Бритая монашеская голова постепенно зарастает волосами.

Дома в Сиань-ши нище. Надо платить школьному повару за обед. Деньги, правда, пустяковые, но их нет. Директор школы, бывший гоминдановец, устраивает мне — сыну гоминдановца — кредит на кухне, но деньги все равно искать надо.

Дома есть старая шуба отца — овчина, крытая шелком. Цена ей даянов двадцать. Ища покупателя и шныряя по родственникам, младший дядя добирается с шубой до самого богатого, самого именитого купца и землевладельца в уезде. Это сын двоюродной сестры деда — значит, мой троюродный дядя. Фамилия его Чжан, но в округе он больше известен под кличкой Тай-Уан, что значит разбойничий атаман, или, проще, Гоу-Тоу — Собачья Голова.

Собачья Голова — ростовщик и крупный сырьевщик. Скупая у крестьян деревянное масло, хлопок, горчицу, шерсть, он гоняет кипы и бочки на сампанах (барках) вниз в Ханькоу. Толстый, как Будда, он не ходит, а передвигается; так шкафы колышутся, когда их переставляют.

Собачья Голова согласен. Он рад помочь семейству родственника. Он говорит, что есть некий приятель, которому как раз нужна шуба и который согласен ее взять, ну, скажем, не за двадцать, а... за четырнадцать даянов.

Что поделаешь, деньги нужны. Дядя отдает шубу за четырнадцать. Говорит же китайская пословица: «Чем лошадь худее, тем ее шерсть длиннее, чём человек беднее, тем его желания короче».

Собачья Голова вручает дяде три даяна сразу, а остальные завтра.

Завтра переходит в послезавтра, послезавтра в послепослезавтра, потом Собачья Голова говорит:

— Как только приятель передаст деньги, я вас оповещу.

И замолкает.

Срок директорского кредита истек. Мне в школе неловко. Повар пристает, приходит в спальную комнату, честит меня при всех учениках. Скоро он начнет меня обносить порциями в столовой. Тут уже дело не в стыде — питаться надо.

Лодочники-перевозчики возят от школы в город двумя путями. Первый путь прямой, дешевый, но он опаснее, потому что между городом и школой неистовствуют водовороты, порой ломающие лодки, а порой топящие седоков. Ехать в объезд длинным крюком безопаснее, но и дороже на несколько грошей. У меня грошей так мало, что езжу прямиком. Надо выцарапать деньги из Собачьей Головы.

Гоу-Тоу вкрадчиво и мягко говорит, встречая меня:

— Дорогой племянник, я очень огорчен, но у знакомого нет денег. Подожди, я еще завтра попрошу его поторопиться.

Я уже не верю в «завтра» троюродного дяди, ибо оно тянется долгие недели.

Наконец повар отказывает мне от стола. Я сижу за столом и под чавканье товарищей сосу себе пальцы.

Голод рождает решимость. Я прирастаю к Собачьей Голове — куда он, туда и я. Он косится на меня — уж не собираюсь ли я его ножом пырнуть? Но успокаивается, и начинается соревнование двух упорств.

Гоу-Тоу идет на чай к даоиню. Я за ним. Он садится за стол, ведет разговор. Я, вытянувшись в струнку, стою за его стулом, как слуга.

Чай кончается. Гоу-Тоу с даоинем отправляется в деревенский храм. Там клуб богатых игроков.

В пещерообразной трехстенной комнате, где плещут в бассейне вуалью хвоста рыбы-телескопы, располагается Собачья Голова играть в мачжан. Компания самая толстая, самая знатная: землевладельцы, крупные купцы, шен-ши. Перед каждым стопки даянов, мелкая медь, кредитные бумажки.

Наклоняясь через жирное плечо, похожее на шину автобуса, я говорю Собачьей Голове:

— Мне пора вернуться в школу.

Опасаясь скандала, толстяк вынимает из кожаной кисы две бумажки. Это кредитные даяны выпуска 1912 года.

Я ликую. Бумажки зажаты в кулак. Перевоз. Чтобы скорей добраться до повара, я снова еду прямиком, трясусь по бурунам. Лодка черпает бортом. Платье мокнет.

Школа, школьные коридоры. Шип и вкусная гарь кухни. Повар.

Я протягиваю ему кредитки. Он подходит к лампе, рассматривает их и возвращает мне презрительно:

— Это революционные кредитки; они теперь и тунзера не стоят. Ты меня обмошенничать хочешь.

Я выбегаю немедленно, пока еще Собачья Голова не ушел из храма.

Лодка. Переезд. Пристань.

Улочки. Храм.

Снова возникаю я тихо и вежливо за плечом Гоу-Тоу и сую ему бумажки. Разговор между нами шепотом:

— В чем дело?

— Эти деньги не годятся.

— Почему?

— Не знаю, так говорят.

Он долго глядит мне в глаза. Вот-вот он бросит мне упрек, что я подменил бумажки.

Я молчу, спокоен, выжидаю.

Собачья Голова стаскивает со стола вязанку цяней. Их на проволоке четыре тысячи, весят они шестнадцать кило, а стоят полтора даяна. Я взваливаю эти медные баранки на плечо. Ноги подгибаются. Я потею, отдыхаю, снова пру свою тяжкую казну. Доволакиваю до кухни, вручаю повару и жадно съедаю свою законную вечернюю чашку риса.

Зная медленный характер Собачьей Головы, я ставлю себе задачей вытянуть из него остальные деньги.

Через несколько дней мне счастливится отгрузить от него еще пять тысяч цяней. Всего вытянуть мне удается из троюродного дяди семь даянов. Семь остается за ним.

Уже занятия кончились. Уже ученики разъехались. Коридоры школы пусты, а я все сижу в школе, нечем заплатить повару долг, нельзя уехать.

Слова мои отскакивают от Собачьей Головы, как собаки от ежа. Что я ему? Нищий приставала-родственник. Собачья Голова считал, что отец при перевороте поживился из захваченных восьмисот тысяч лан, и за это отца уважал. Когда же после ареста он сообразил, что Дэн Я-пу нищ, все его уважение пропало.

Бедность в нашем доме, пока отец скрывается, крайняя. Другие кушают трижды в день, мы только дважды. Эта нищета создает вокруг нашего дома в Сиань-ши изгородь из пренебрежительных слов, снисходительных взглядов и человеческого равнодушия. Мачеха колотится о прутья этой загородки и не может их развести.

К мачехе приходит сваха, та самая, которая когда-то сосватала жену младшему дяде, и говорит:

— Ваш сын Ши-хуа уже большой. Еще года два-три — и пора ему заводить своих детей. Не думаете ли вы, что время подумать о невесте для него?

Это вступление сваха делает потому, что крепок установившийся порядок. Сперва должны быть опрошены родители мальчика, и только затем уже сваха отправится выведывать настроение родителей будущей невесты.

— О какой девушке вы думаете? — спрашивает сваху мачеха.

Сваха называет тринадцатилетнюю Сиань, ученицу младшего дяди, некрасивую умницу, приветливую, любимицу товарок. Сиань одна из самых богатых семей деревни Сиань-ши.

Речь идет о дядиной ученице. Мачеха вызывает дядю и советуется с ним. Дядя в восторге. Лучшей невесты нельзя придумать, а кроме того, за ней будет дано приданное, которое поможет развязаться и со старым

долгом, лежащим на отце за ученье, и со всей той бедностью, от которой чахнут щеки и выкрошиваются углы дома. Сваха идет к родителям Сиань.

Выслушав ее предложение сосватать Сиань с Дэн, богатые шен-ши пожимают плечами и говорят снисходительно и небрежно:

— Наша дочка привыкла кушать каждый день.

По-вашему, по-русски, эту фразу надо перевести: «Вот бог, а вот порог».

Это сватовство происходит за моей спиной. Я в школе даже и не подозреваю, какие страшные душевные раны наносит мачехе и дяде наша нищета там, далеко, в деревушке.

Я весь в мучительном спорте — как выкачать из Гоу-Тоу остатки денег. Наконец у меня остается ровно столько цяней, чтобы только доехать до Сиань-ши. Я собираю книги и лишнее платье, отдаю повару в залог за неоплаченный стол и уезжаю.

Проходит немного дней. В Сиань-ши передо мной возникает туша Собачьей Головы. Его лицо багрово, глаза бегают. Нежно и любовно протягивает он мне узел, оставленный мною повару.

— Вот, дорогой племянник, твой багаж. Думаю, что ты простишь своего дядю за опоздание. Поверь мне, я последних ночей не спал, чтобы добиться у покупщика халата скорейшей уплаты долга. Больше того, дорогой племянник, так как у него не оказалось денег, то вот я плачу свои.

Я хлопаю глазами, держу узел со штанами и книгами и не могу ничего понять. Тут неспроста. Гоу-Тоу, несомненно, знает больше меня, носящего унылую белизну траура в захолустье Сиань-ши.

Через несколько дней ударом пастушьего бича уши теяньцев хлещет страшный слух, невероятный слух:

— Дэн Я-пу жив! Дэн Я-пу жив! Он идет с партизанами к Теяни.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава 1
ЧУТЬ-ЧУТЬ НЕ ГУБЕРНАТОР

Секретарь дивизии.— Гоу-Тоу краснеет.— Высокое предложение.— Дареная лошадь.— Боксер Фан.— Банкет у Сы.— Десять даянов

Стремительно кончается трехмесячное императорство Юань Ши-кая. Отряды революционных партизан подымаются с юга на север. Они называют себя «ху-го-цзюнь» — армия охраны республики. До сего времени они отсиживались на юге или бродяжили с места на место, устраивая в уездах восстания, подымая крестьян и туфеев. При приближении юаньшикаевских войск они уходили в леса и горы или оседали в деревнях.

Партизаны множатся, обрастая толпами голодных крестьян, мстящих северянам за разор селений и за изнасилованных жен и детей.

Ху-го-цзюнь разбухает. Это уже не полки, даже не бригады, а дивизии. У командира каждой дивизии два помощника: один — начальник штаба, другой — секретарь. Секретарь дивизии, идущей к Теяни,— Дэн Я-пу, мой отец.

Его приезд раскрывает мне глаза на примерное поведение Собачьей Головы. Троюродная дядькина туша снова появляется в наших дверях. Его лицо блестит жиром, зубами и улыбкой. Он «торопится повидать» своего уважаемейшего родственника Я-пу и первым высказать свое ликование по поводу того, что слух о смерти его оказался ложным. Он надеется, что Дэн Я-пу не оставит его своим милосердием и даст ему хоть какое-нибудь скромное местечко в меру его убогих способностей.

Я вижу — отец ничего не понимает. Никогда у него с этой глыбой не было дела. Зачем первому богачу лезть к нему в какие-то письмоводители, да еще в ху-го-цзюнь, кочующий из одной деревни в другую? Отец выходит на минуту из гостиной. Приятели разъясняют ему историю с халатом.

Слова «шелковый халат», сказанные отцом, попадают Собачьей Голове в самое сердце. Он начинает потеть, заикаться, махать руками, очень часто повторять слова «ничего подобного» и «невыносимо трудно».

Отец внимательно выслушивает эту чепуху и говорит:

— Действительно ли существует человек, который купил шелковый халат?

Кровь начинает раздувать лицо троюродного дядьки в багровый, скользкий шар.

Отец продолжает:

— Может быть, человек, рискнувший купить халат, слишком беден? Не лучше ли подарить этот шелк незадачливому бедняку?

Я с восторгом наблюдаю перебагровевшее лицо Гоу-Тоу и представ-

ляю себе, какими белыми должны быть в эту минуту его пятки и икры, если вся кровь ушла в голову.

Не давая толстяку выпустить из толстых губ ни одного слова, отец добивает его:

— Нуждающимся согражданам я всегда готов подарить нужную вещь.

Гоу-Тоу уходит, пятясь и низко кланяясь, словно слова отца стукают его по затылку.

Все родственники — и чем богаче, тем поспешнее — везут нам приветственные подарки: шелковые отрезы на платье, деньги, фрукты, банки с вареньем.

Снова Собачья Голова тискается в дверь нашей квартиры. Кули несут за ним аккуратно увязанные тюки: подушки, одеяла, новый халат (тяжелой опухолью томит его отцовский шелковый халат). Сверх этого Собачья Голова вынимает двадцать даянов деньгами.

Отец к нему не выходит. Вместо него является большой и хмурый младший дядя. Он говорит в упор, без церемонных фраз:

— Возьмите своих людей и вещи и отправляйтесь домой. Два года тому назад мы нуждались, но вас тогда здесь не видать было. Сейчас все это нам не нужно. Проживем без вас.

Кули фыркают. Собачья Голова потерял лицо. Весь город будет говорить о том, как его выгнал из дома Дэн Я-пу.

Собачья Голова из красного делается желтым, потом начинает отливать лиловым, забивается под занавески цзяо и уезжает.

Все родственники, которые прилежно сплавляли меня в дни бегства от полиции с рук на руки, перебрасываясь чахлым мальчишкой, как школьницы мячом, в эти дни наваливаются на нас.

— Какое счастье — Дэн Я-пу жив!

— Какой у вас симпатичный дом!

— Как мы соскучились по тебе, Ши-хуа!

А в общем все эти фразы сплываются в одну: кормите нас и любите, симпатичные хозяева.

Ну что ж, покормим. Дни отцовских бегов кончились. Снова есть у отца жалованье, снова едим трижды в день.

После пяти лет юаньшикаевской реакции плывут теплые недели мягкого либерализма. Партия цзинь-будан забилась в щель, притаилась, молчит. Гоминдановцы в ходу.

Президент Китая, генерал Ли Юань-хун[1], проявляет свободолюбие. Генерал Ван Чжан-юэн — губернатор Хубея и Хунани. Маленький Тай, бывший начальник полиции в Ченду,— секретарь этого генерала.

Он рекомендует генералу сделать отца гражданским губернатором провинции Аньхуй.

Чтобы превратить эту рекомендацию в действительность, надо взять

---

[1] Ли Юань-хун (1854—1928) — президент Китая в 1916—1917 и 1922—1923 гг., преемник Юань Ши-кая. Во время революции 1911 г. и впоследствии вел контрреволюционную политику. В 1923 г. был изгнан из Пекина войсками Фын Юй-сяна.

с собой тысяч пять даянов, поехать в Пекин, ходить по министерствам, кормить сановников и членов парламента обедами в ресторанах, дарить им драгоценные дан-тяо и фарфоровые вазы и, наконец, уехать, вложив в бумажник вместо израсходованных денег президентский указ, назначающий Дэн Я-пу на высокий и хлебный пост с неограниченными возможностями.

У отца нет ни денег, ни охоты губернаторствовать. Но слух о кандидатуре разносится и порождает необычайные вихри уважения и любви в сердцах земляков и родичей.

Каждый хочет втереть отцу в память свою физиономию, но всякий старается это сделать поосторожней. Время такое: сегодня губернатор, а завтра побежит зверем по лесам.

Каждый торопится оказать отцу услугу, за которую в будущем можно просить отдачи, но каждый стремится, чтобы эта услуга стоила не слишком дорого.

Богатый Сы, владелец нескольких харчевен, товарищ отца и член го-лао, приводит в подарок превосходную лошадь.

Сы знает, что отец не умеет ездить верхом. Отец его благодарит и отказывается. Ловкач Сы возвращается домой вместе с лошадью, не потеряв ни одного тунзера и приобретя в то же время репутацию щедрого дарителя.

Сы, видимо, всерьез решает занять хлебное местечко в канцелярии будущего губернатора. Проходит немного дней. Отец в отъезде. Сы посылает слугу пригласить меня в гости.

Я никогда его не видал в глаза, я никогда с ним не сказал двух слов. Зачем я буду ходить к незнакомцу? Товарищ Фан поддерживает меня. Я вежливым отказом отвечаю посланцу. Но посланец возвращается во второй раз и просит меня явиться уже не одного, а вместе с Фаном.

— Ладно, Ши-хуа,— кричит мне Фан,— давай-ка пойдем проведаем нашу лошадь.

Фан — офицер, отцовский адъютант, однофамилец ездившего в Шанхай[1]. Весельчак, все время болтает, и когда он болтает — все кругом смеется. Особенно любит приставать к женщинам. И как его за это бьют осатанелые мужья и братья! Он выдерживает самые отчаянные удары коромыслом, кулаком, кочергой, приговаривая:

— Мышцы боксера мягче ваты и тверже стали.

Я это знаю: нажать кожу пальцем — она вдавливается, как желудевый студень. Но зато под ударом мышцы мгновенно отвердевают в дуб.

Иногда он на побои наносит ответный удар, и человек, визжа, катится по плитам. Ему кричат:

— Вы убили человека!

А он самодовольно отвечает:

— Если б хотел убить — убил бы. На то я и боксер, чтобы знать, в какие дни и часы и в каких местах у человека сидит смерть.

---

[1] В Китае всего около ста пятидесяти фамилий, различающихся иероглифами. А на слух и того меньше. Ван, Фан, Уан, Хуан почти не различимы на наш слух. *(С. Т.)*

— А какие это места? — любопытствую я.

— Это секрет боксеров и их учителей. Бокс — не забава. Окончив учение, я дал клятву учителю не убивать без повода.

Научиться боксу долго и трудно. Я, впалогрудый и тщедушный, и не мечтаю о боксе, но мне интересно смотреть, как боксеры тренируют свои легкие,— глубоко вдыхая, разводят напряженными руками, приседают, а потом бьют друг друга медными палками, раскаляя кожу докрасна и заставляя мышцы каменеть.

Осенями, после сбора урожая, крестьяне ходят толпами в лес и там бьются для забавы.

А есть еще боксеры-монахи. Они верят, что их молитвы делают кулаки смертельными, а заклинания — мускулы непробиваемыми для пуль.

Я говорю об этом Фану, он смеется:

— Молитва — плохая тренировка.

И, надув грудь барабаном, бьет кулаками своими по ней и под ложечкой. Он бьет, а у меня замирает.

— Ши-хуа,— торопит он меня,— одевайся скорее, а то Сы выпьет всю водку, прежде чем мои губы доберутся до чашки!

В комнате Сы толпится деревенская знать. Раздвигая гущу гостей, стремительной походкой навстречу мне проходит хозяин. Он приветствует меня очень шумным голосом, очень широкой улыбкой, очень низким поклоном.

Сы знакомит меня с гостями, и они глядят с восхищением, будто я не человек, а чашка с самыми лучшими акульими плавниками и меня надлежит есть и причмокивать. Сы восклицает:

— Я очень рад, что мой дом посетил сын моего лучшего друга, доблестного Дэн Я-пу. (При слове «Дэн Я-пу» по толпе проходит шепот, шорох и скрип раздвигаемых в улыбку челюстей.) Я прошу первенца столь достойного человека занять среди нас почетное место, которого он заслуживает вполне за подвиги отца.

Пушечным салютом мне звучат отодвигаемые стулья; мягкая ладонь Сы подталкивает меня, шуршащего атласом, к самому почетному месту, спиной к родовым таблицам предков, к месту, которое обычно полагается занимать седобородым, ученейшим, пузатейшим.

Эта церемония меня конфузит.

Цепляюсь глазами за Фана, но он доволен. Я чувствую, он внутренне хохочет оглушительно, но сдерживается.

Заметив мой взгляд, он складывает руки, словно поймав в них бабочку, и верноподданнически трясет ими перед подбородком, кланяясь мне, подобно остальным гостям.

Ни на каком экзамене не чувствовал я себя так скверно, как за этим обедом. Пустяки работать кисточкой под взглядом самого отвратительного инспектора, а вот попробуйте поработать куай-цзы и отправлять в рот пододвигаемые хозяином блюда, в то время как на каждой щепоти кушанья виснет десятка два взглядов самых сановных людей деревни. Взгляды эти лоснятся искательством. Они — тяжелые, словно кошельки, оттягивают концы моих куай-цзы. Вот почему на скатерть падают жирные, неловкие капли.

Сы впихивает в меня блюдо за блюдом. Язык его работает. Вот в голосе, вместо восторженных, поют грустные нотки:

— Хотя я только близкий друг твоего отца, Ши-хуа, но чувствую себя почти дядей. Во всяком случае, я имею больше права называться родственником, чем некоторые отвратительные родственники (это он намекает на Собачью Голову), которые позволяют себе неслыханное ростовщичество, наживаясь на родичах. Четыре дня,— поет его голос,— я заснуть не мог и проливал слезы гнева под пологом своей кровати, когда узнал, что ты вынужден был таскать груз медных грошей от игорного стола в школу. Слезы гнева сменялись у меня слезами сожаления. Почему я в те дни не знал, что старший сын моего лучшего друга Дэн Я-пу (щелканье складываемых куай-цзы и восторженное иканье гостей) нуждается в деньгах? Знай я это, не пришлось бы тебе заботиться о плате.

Одобрительный гул подымается к потолку вместе с горячим яростным паром новой порции кушаний.

Вложив в меня порох своих прочувствованных слов, Сы заколачивает его пыжом из голубиных яиц, плавающих в бульоне, и заливает соусом из редких древесных грибов.

Затем он продолжает:

— Мне хорошо известно: вашей почтенной семье и в настоящую минуту нелегко жить. Все вздорожало. Учительское жалованье младшего дяди мизерно, а родичей много, и много людей, которые торопятся погреться в лучах столь добродетельной семьи, как ваша. Траты в семье очень велики. Помни, Ши-хуа, если будет нужда в деньгах, иди прямо ко мне, я всегда тебе помогу. Последний кусок разделю, но выручу тебя из беды.

Жирные головы столовников кивают в такт самоотверженным речам Сы. Сквозь их одобрительный гул улавливаю слова Фана:

— Вот тебе и седло в дополнение к лошади.

Мой рот работает вовсю: в него — щепотки кушанья, из него — слова благодарности.

Уже за двадцатое блюдо переваливает обед. Я устал произносить вежливости. Хлопаю глазами. Смертельная тяжесть на сердце и в области желудка. Сы добивает меня:

— Вернешься домой и будет у тебя полчасика свободного времени, напиши отцу письмо, расскажи ему, как я тебя принял. Вот держи.

В оцепенении обеденного зала Сы протягивает мне с легким хрустом десятидаяновую кредитку. Сидящие вокруг стола следят за этим движением опытными, заплывшими глазами крупных игроков. Ловкий ход. Сы козырем кредитки хочет крыть выгодного мальчугана. Вид денег приводит меня в обычное состояние обороны. Забывая церемонии, я отрицательно мотаю головой и отталкиваю кредитку.

— Очень вам благодарен, вы чрезвычайно любезны, но мне сейчас не нужно денег. Поверьте, если будут нужны, я к вам приду. Вы сами разрешили.

Сы настаивает.

Обедающие делают вид, что не смотрят на наш поединок.

Фан что-то царапает обожженной спичкой.

Я продолжаю сопротивляться. Опустив глаза, вижу белый клочок у себя на подоле халата. Его мне подсунул Фан. На клочке корявая надпись:

«Возьми, потом объясню».

Я одинок; против меня вся орава, даже Фан против меня.

Сопротивление переходит в озлобление. Я быстро отодвигаю кредитку и решительно заявляю:

— Прошу нижайшего извинения, но я ни в коем случае не возьму у вас этих денег. Я не беру денег без позволения отца.

Конец моих слов покрывает голос Фана:

— Дэн Я-пу прав, запрещая детям брать деньги. Вместо детей деньги должны брать взрослые. Разрешите-ка мне эту кредитную бумажку.

Он ее вынимает из пальцев Сы, аккуратно и долго складывает и кладет в карман.

— Как редки в наше время подлинно благородные поступки,— продолжает он, и в голосе его — почти дрожь восторга.

Столовая притихла. Все лица повернуты в сторону человека в черной офицерской куртке, в чьем кармане исчезла кредитка Сы.

Голос Фана гуляет по комнате совершенно один:

— Генерал-инспектор Ляо-Ван и уважаемый Ляо-Тай предложили место губернатора отцу Ши-хуа. Но увы, наш да-го, любимый нами Ляо-Дэн, не имеет достаточно денег, чтобы превратить предложение в факт. Это меня огорчало. Но зато сейчас я вижу, как много свободных денег у любезнейшего брата Сы и какой он бессребреный кан-кай; кан-кай из кан-каев — щедрец из щедрецов. Я предлагаю собравшимся в этой комнате просить генерал-инспектора, чтобы место губернатора было предложено брату Сы.

Неопределенный гул, почти хохот раздается в столовой. Сы вздрагивает:

— Место губернатора? Об этом мой глупый мозг даже во сне не позволял себе мечтать. Зачем мне место губернатора? У меня только одна мечта жизни — помогать детям да-го учиться.

Фан отвечает слишком весело. Это уже переходит границы пристойности, это уже лежит где-то неподалеку от уличной драки и крепкой перебранки. Он говорит:

— Ладно, хотите помогать — продолжайте помогать детям Дэн Я-пу. Но только смотрите, помогайте им при всяких обстоятельствах.

И крепко налегает голосом на слово «всяких».

В гуле гостей кашля оказывается больше, чем надо. Сы приподымает над стулом свой тяжеловесный зад.

— Конечно, буду помогать, разумеется, при всяких обстоятельствах.

Его рассерженные пальцы попадают в судок с соусом и разливают его по скатерти. Он уже не владеет собой.

Тогда Фан выравнивает крен:

— Я много земель обошел военным походом и должен вам сказать: брат Сы — наш лучший друг. В целом мире такие люди, как Сы, встречаются единицами.

И так как лицо у Фана в эту минуту кротче, чем морда золотой рыбки, Сы теряется и не знает, продолжать ли ему накаляться гневом или отпустить вожжи.

Весь обратный путь Фан хохочет так, что может полопаться бумага на окнах соседних домов. Он хлопает себя по карману, где лежат даяны.

И хохочет.

— А все-таки он на этой лошади недалеко ускачет.

И опять хохочет.

Фан прав. Некуда Сы уехать на своей лошадке.

В золотокрыших дворцах Пекина еще со времени революции живет низложенный маньчжурский император Сюань Тун[1]. Генерал-монархист Чжан Сюань летом 1917 года объявляет четырнадцатилетнего парнишку Сюань Туна восстановленным на престоле.

Ли Юань-хун бежит на европейскую концессию в Тяньцзине, не успев как следует попрезидентствовать.

Губернаторское место в провинции Аньхуй превращается в анекдот, в сон, в слова, сболтнутые попугаем.

Сы немедленно является в наш дом. Во дворе он встречает Фана, отвешивающего ему насмешливый глубокий поклон.

Почти не кланяясь, он обходит Фана по кривой, явно его побаиваясь, и спрашивает меня:

— Товарищ Ван дома?

Ван — второй адъютант отца, тот самый, что спасал меня от солдат,— сидит у себя в комнате.

От Вана выходит Сы полувеселый и торопится покинуть дом. Фан бросается к Вану:

— Что вам сказала эта туша?

— Ничего особенного, просто он занял у меня семь даянов.

— Клянусь богиней милосердия,— хохочет Фан,— что он считает нас в долгу перед собой еще на три даяна.

Фан угадывает правду.

Через два дня вернувшаяся с базара прислуга передает гуляющий по базару рассказ о том, как честит нас Сы: десять даянов взяли в долг и не возвращают.

Убежден, что в нынешнем 1927 году Сы — если только он жив — числит за мной три даяна долга.

---

[1] Сюань Тун (Пу И, род. в 1906 г.) — последний император маньчжурской династии, свергнутый с престола в 1912 г. В июле 1917 г. был на две недели восстановлен на престоле генералом Чжан Сюанем. В 1931 г. под именем Пу И провозглашен японцами регентом созданного ими марионеточного государства Маньчжоу-Го. С 1934 по 1945 г. числился императором Маньчжоу-Го. Впоследствии был свидетелем на процессе японских военных преступников.

Глава 2
СВАТОВСТВО

Цзай-ин.— Публичные дома.— Сваха у отца.— Пусть будет так.

Бегут ровным гуськом дни книг и тетрадей в теяньской школе и дни встреч с Чен Цзай-ин в деревне.

Она вырастает живой, смешливой, музыкальной, ласковой. Мачеха ее любит и говорит:

— Ты у меня за родную дочку.

Когда мачеха вышивает, Цзай-ин ей помогает. Даже отец, тяжелый и хмурый, смотрит иногда ласковеющими глазами в сторону ее деловитой фигурки. В дни моих побывок она пропадает в нашем доме.

Кроме нее, я не вожусь почти ни с кем. Это уже не встречи — мы почти прирастаем друг к другу. Мне пятнадцать, ей тринадцать. Озорство прежних лет сменяется тишиной и внимательностью. Может быть, здесь вырастает любовь? Мне это слово тогда в голову не приходит. Во всяком случае спеет крепкая дружба.

Не касаясь друг друга концами пальцев, мы можем сидеть часами друг против друга, она — играя на флейте и напевая тихим голосом изящные песни, я — рисуя кистью по бумаге, набрасывая вежливые стихи и в стихах этих — ни слова о ней. О чем угодно: об облаках, о вечерних соснах, о героических девушках старинных легенд, о состязающихся в день Дракона лодках.

Стремительно листаю в памяти фолианты древних поэтов и, применительно к ним, падают на бумагу столбцы отменных настроений и нежных чувств.

Цзай-ин поет, а я, закусив верхний конец кисточки, обдумываю, с чем лучше сравнивать пение — с дроздом ли или со звоном тин-лин-цзы (золотых колокольчиков) — мелких и звонких жучков, которых сажают в коробочки и засовывают под подушки, чтобы приятней засыпать.

Кусать кисть приходится долго, ибо и «дрозд» хорош, и «тин-лин-цзы» — не менее высокопробное сравнение, изобретенное древним поэтом.

Когда школьники, похабно прищурясь лукавым глазом, произносят слово «любовь», я отбрасываю и взгляд и слово, бледный и резкий. Меня мало интересует физиология любви. Быть может, я еще не вызрел для нее — чахлый головастик, бешено пережигающий мозги путаницей отроческих мыслей. Физиология любви пока еще на верхнем чердаке моего мозга. Я ее знаю хорошо. Об этом постарались товарищи своими рассказами и книгами, страницы которых исписаны любовными стихами императорских и-тай-тай и нынешних шанхайских певиц из «чайных домиков».

Младший дядя вовремя мне рассказал об ужасах рукоблудия и гнусности венерических болезней. Меня не бывает в гимназических компаниях, отправляющихся в дни отпусков в те кварталы, где стоят рестораны, а рядом с ресторанами — дома, из которых женских смех, и пение, и декламация стихов, и игра на пи-ба.

У подъездов этих домов посетителей встречают рослые прислужники с поклонами. Набуянившие или незаплатившие посетители ночью могут вылететь на улицу под пинком их грузных колен.

В доме юнцов усаживают в комнате, в дверях которой появляются одна за другой тонко причесанные, поблескивающие запястьями женщины. Юнцы смотрят жадно, а затем говорят старым амам, кого пригласить. Слушают щебет с безразличием опытных ухажеров, небрежно гладят запястья выбранной женщины и прикидывают, во сколько обойдется им любовная игра, когда дело дойдет до постели.

Стройными рядами, подобно книгам в архиве, складываю я в своей памяти отчетливые знания о всем, что касается мужчины и женщины,— начиная от средних веков, когда публичные дома были государственными и губернаторы провинций заботились, чтобы разъезжающие путешественники и торговцы в каждом городе, куда бы они ни приезжали, имели казенный готовый кусок женского мяса, и кончая сегодняшним днем, с его лысыми старухами-амами, которые в голодных деревнях покупают красивых девочек, откармливают их, а затем сплавляют вниз по реке, в публичные дома Ханькоу, Шанхая, Нанкина.

Отец приезжает домой из шатаний со своей повстанческой дивизией поздней осенью 1917 года. Он устал и раздражен.

Революцию кренит. Она растет не туда, куда бы ему хотелось. Не может быть революции в одном Сычуане, когда молчат все остальные провинции.

Снова сваха, сладкая как мед, появляется в нашем доме. Она подолгу шепчется с мачехой и однажды проходит в комнату отца.

Меня радует фигура свахи.

Я не разбираюсь, чего ей надо, но у меня чувство, словно готовится за стеной самый неожиданный и самый радостный подарок.

Сваха недолго сидит у отца. Выходит. Мед улыбки слизан с ее губ. Мачеха, с раскрасневшимися веками, вызывает меня и говорит:

— Сваха просила у отца разрешения сватать тебя с Чен Цзай-ин. Ты знаешь, что ответил отец? Он сказал: «Хотя я не вмешиваюсь в семейные дела и толком не знаю, нужен ли этот брак и возможен ли он, но лично я эту свадьбу не одобряю. Я слишком хорошо знаю отца девушки. Этот чиновник обмазан всеми гнуснейшими пороками: взяточничеством, лестью, бездушным эгоизмом, жестокостью. Мое мнение — потомство повторяет облик отцов. Такой брак может запачкать волю сына революционера».

Лучше бы отец сто раз искромсал мне ладонь своей бешеной бамбуковой линейкой. Лучше бы он меня пристрелил, как вскочившую на стол курицу, но только не говорил бы этих жестоких слов о ласковой Цзай-ин, нежной, вежливой и аккуратной.

Словно разрубил меня отец на две половинки своим прямым палашом. Половинки эти болят и не могут срастись.

Мачеха видит мое нехорошее лицо, бегающие пальцы и зубы, цепляющиеся за губы. Она говорит:

— Ши-хуа, пойди к отцу, пойди сейчас, скажи ему, что ты не согласен.

Я делаю шаг и останавливаюсь. Пойти к отцу? Упереться в его беспо-

щадные глаза, сказать, что я с ним не согласен?.. Потребовать себе Цзай-ин? Воздвигнуть рядом с отцовской волей свою волю?..

Я этого не могу. Отец для меня больше, чем все невесты земного шара, взятые вместе, больше, чем школа, больше, чем память матери. Что угодно — только не встреча с отцом.

Я отхожу к окну и сквозь суматоху пляшущих нервов тороплюсь придумать оправдание поступку отца.

Он опытен, он лучше понимает, что нужно. Почем я знаю, люблю я Цзай-ин или нет? Может быть, это только воображение и мы с ней просто друзья? Действительно, ее отец отвратителен.

И кончаю понуро и запальчиво:

— Пусть будет так, как хочет отец.

Отказ отца надламывает меня тяжелее болезни. С этого дня я забываю путь к дому семейства Чен.

Цзай-ин бывает ежедневно. Она все та же ворковушка, хлопотушка, смешливая, певучая, с красивыми глазами и родной улыбкой.

Ей я ничего не говорю о случившемся. Ей я ничего не скажу. Лишь бы не рассказала сваха, лишь бы не пошла лазить сороконожка-сплетня по улицам Сиань-ши!

Но сваха молчит. Отказ отца — это ее профессиональная неприятность. С какой стати она станет рассказывать кому-либо о своих неудачах! Это портит репутацию ее фирмы.

К голосу Цзай-ин в комнатах нашего дома присоединяется еще один девичий голос. Это сестренка Куэн. Она уже большая. Она дружна с Цзай-ин, она бегает в школу и приносит мачехе после письменных работ «похвальные яйца». Ей уже девять лет. А может быть, восемь...

Трудно точно определить возраст в голубых далях десятилетий: китайских стилей два да русских один, всего три, путаешься поневоле.

Цзай-ин играет на бамбуковой флейте и смотрит мне в глаза. Будь здесь старшая Чен, она бы давно, нахмурясь, взяла меня за плечо и сказала:

— Ши-хуа, говори, что такое с тобой? Ты не в себе.

К Цзай-ин подозрение не приходит. Может быть, это монастырские годы научили меня запирать на ключ беспомощный блеск зрачков?

Глава 3

СУДИТЕ НАС

Контролеры.— Потерянный счет.— Очная ставка.— Парк.— Гунцзы.— Хо оскорблен.— Требую мести.— Драка.— На суде.— Воришка.— Допрос.— Штраф

После знаменитого скандала, когда мы пошвыряли тарелки на пол, самодержавие повара было сломлено, и в кухню вошли два контролера, выбранные от гимназистов.

Первый год они работали хорошо, мешая кухарям покупать гнилой рис, не давая убавлять порции. Повару это было невыгодно. Он открыл

контролерам свой кошелек и стал подсовывать им лучшие куски. Контролерские карманы и щеки набухли, обеды ухудшились.

Может быть, товарищи в школе не замечали постепенного ухудшения порций и падения контролерских нравов, но я, вернувшись из монастыря после двухлетнего перерыва, заметил сразу и запротестовал, ненавидя взятку как трусость, как вонь, как мерзость предательства.

Но контролеры имеют сторонников. Они делятся взятками.

Я подымаю голос и мятеж, и скоро вся гимназия распадается на две резко враждующие партии. Нас большинство, но победить контролеров нелегко, не за что зацепиться.

Но вот один из моей партии приносит бумажки, оброненные поваром, бросившимся второпях к перекипи котла. Листочки оказываются записями расходов на текущий день, и между этими расходами записано: столько-то тунзеров заимообразно контролерам.

В коридоре бунтуется возбужденное собрание нашей партии. Соглядатаи противников пробираются подслушать, но их гонят сторожевые.

Мы постановляем: идти к директору, пусть расследует. Если взятка подтвердится — гнать мерзавцев из школы.

Директор крутит в руках листки и слушает наш доклад. Ему очень не хочется скандала с поваром, но дело принимает такой оборот, что ему невыгодно становиться на сторону повара и контролеров.

Директор велит позвать контролеров к себе. Плотной подковой стоит наша делегация, следя, как бегают хитренькие глазки двоих.

Я протягиваю бумажки:

— Что это за заем?

Парнишки мнутся, засовывают руки в карманы, теребят халаты и не отвечают.

Мы идем смотреть продуктовые книги повара, оставив преступников под охраной. Рису в книгах записано вдвое больше, чем может съесть вся школа.

Мы спрашиваем повара, в какой лавке он купил этот рис?

Он отвечает:

— В угловой, на базаре.

Тогда мы бежим к контролерам и задаем им последний решающий вопрос:

— В какой лавке повар купил рис?

Они секунду глядят друг на друга, и затем один из них выпаливает:

— В лавке на набережной.

Директор приказывает письмоводителю немедленно выписать двоим увольнительные свидетельства. Минут пять скрипят скучные слова директора о пользе честности, общественном доверии и лице школы.

Эти наши группировки сохранились неизменными. Почти все контролерские подлизы в будущем вошли в партию цзинь-будан и разбрелись по канцеляриям дубаней в качестве письмоводителей или сборщиков опийного штрафа.

Наша же группа по окончании гимназии почти целиком ушла в Пекин-

ский университет и за границу, а во времена Великого северного похода (1927) дралась в рядах кантонцев.

Партией честных и партией взяточников — так я представлял себе гоминдан и цзинь-будан в гимназические времена.

Недалеко от школы — парк, где озерки, переходы, лесенки, гроты, каналы, клумбы, беседки и удивительные глыбы нарыл, наставил, настроил богатый мудрец-конфуцианец времен Сунской династии. За горбатым мостом — проходная беседка, а дальше упирается дорожка в грот, темный и прохладный, откуда как в глазок фотокамеры, видна желтая Янцзы, а за нею — придавленный к берегу плоский город.

Уже не Ху Цзинь-и — мучитель моего отца — губернатор Ченду, а Лю. У Лю есть дядя, старик, большой любитель этого парка. Он живет в Теяни как на даче, с двумя восемнадцатилетними сынками, щеголями и лоботрясами, и часто бродит здесь.

Парк хорош. Мы, школьники, не упускаем случая побегать по его дорожкам.

У меня есть приятель. Он правдив до наивности и беден до бахромочек на халате, сын деревенского учителя — Хо.

Однажды после урока мы с Хо, придерживая юбки халатов, бежим вперегонки в парк. Я быстрее. Я уже перемахнул мостик и отдыхаю в гроте. Он отстал. Я слышу из грота, как он перебегает по мосту через прудик, как по две ступеньки берет лестницу к сквозной беседке.

Оба юных гун-цзы — франта — гуляют тут же. Их синие халаты протканы шелковыми цветами и узорами. Эти узоры тоже синие, но только нитки идут по-другому. Лоснящиеся ермолки щеголяют квадратными рубинами над лбом. На черные шелковые туфли свешиваются из-под халата сине-серые шелковые штаны. Белые чулки ослепительны, как январский снег на горных вершинах. На пальцах дрожат и играют кольца. В руках трубки с длинными чубуками самого дорогого в Китае бамбука с озера Дунтан. Куртки у трубок серебряные, а мундштуки из слоновой кости. Волосы притерты бриолином, блестят и отчесаны назад. Носы у гун-цзы напудрены, щеки тронуты румянами, но сквозь пудру и румяна у одного пробиваются пятна веснушек, словно его мухи засидели, а у другого тычутся зелеными концами глянцевитые угри.

Заметив бегущего Хо и его развевающиеся лохмотья, лоботрясы тычут в его направлении чубуками и острят:

— Что это за лохматый пес мчится?

Хо простодушен. Он обрывает бег, подходит к франтам и спрашивает, озираясь:

— О ком вы говорите?

— О вас,— помолчав, отвечают надменные гун-цзы.

Хо конфузлив, он не умеет ответить.

Прикрыв ладонями заплаты, он бочком входит ко мне в грот и рассказывает. Прислушиваюсь. Франты громко гогочут и потешаются над дырявым халатом Хо.

С бедным парнем бросаюсь обратно в школу. В коридоре собираю летучий митинг. Кричу:

— Два разодетых негодяя гуляют в парке, поносят нашего товарища за бедность, называют его собакой. Идемте. Пусть они извинятся перед Хо.

Быстро движутся возмущенные. К ним примазывается один из врагов (сторонник поварских контролеров). Пока группа идет крупным шагом, враг дергает за рукава, испуганно свистит в уши:

— Бросьте ходить, влопаетесь! Дуцзюнь — их родной дядя. Дуцзюнь — дядя. Дядя — дуцзюнь.

Часть не выдерживает: кто возвращается, махнув рукой; кто наклоняется поправить туфли, кто сворачивает к реке.

Кольцо школьников обступает шелковую пару. Губы гун-цзы обвисают брезгливо.

— Какое право вы имеете оскорблять нашего товарища?

— Ну, ну! — и концом мундштука отстраняют нас, наседающих.

— Вы его назвали собакой...

— Можем назвать и черепахой, если собакой не нравится.

Черепаха — грубейшее ругательство.

Ответ за ответом — наглей и наглей. От блестящих затылков несет запахом парикмахерской. Их снисходительный тон перехватывает нам дыхание.

Один из них вытягивает перед собой трубку и, похлопывая гимназиста по руке, говорит:

— В сторону, мальчишка, не мешайте гулять.

Один из товарищей перехватывает высунутый чубук. Кольцо школьников смыкается плотнее. Локоть франта задевает кого-то. Взлетает ладонь. Сочный шлепок опускается на воспаленные угри в пудре. Закипает котел рук. Со свистом чубук сшибает блестящую рубином ермолку и выпускает струю крови на жир волос.

Обломки чубука летят вслед изодранным франтам. Мы улюлюкаем:

— Да-сы! (Бей их!)

— Бегите скорей!

— Придержи рукава — обронишь!

— Вот где настоящие лохматые псы!

На другой день директор собирает школьников на главном дворе школы. Ордер даоиня предприсывает выдать виновных.

Все перепуганы, никто не признается.

Хо и я выступаем на середину и говорим:

— Мы дрались и били, пусть нас судят.

Полицейский забирает нас в обмен на ордер и везет через реку в суд.

В первые годы революции республиканский суд был по образцу европейского. Судья, казалось, был всемогущ, он имел право судить даже даоиня, если тот шел против закона. Потом даоини прибрали к рукам это неприятное учреждение. Права судей даоини остригли ножницами новых законов, а самих судей сделали своими подручными.

Нас судит помощник теяньского даоиня.

Судебный зал в ямыне — трехстенная комната вроде европейской сцены.

Партер — двор, где на скамьях сидит стража, зрители и ожидающие очереди обвиняемые.

Судья сидит за очень высоким столом. Из-за стола нам видны только плечи его и голова. Тело судьи ушло в глубь кресла, вроде трона, на котором сидят императоры в военных пьесах.

На судье черная атласная ма-гуа и серый халат под ней, что в переводе на язык европейской одежды означает черную визитку при полосатых брюках.

По бокам судьи — служители с длинными бамбуковыми палками в руках. Перед судьей на столе — свинцовая шкатулка с густой краской для печати, величиной с тот чемоданчик, который носят танцорки в Москве. Рядом со шкатулкой — печать, огромная, со стакан величиной. Стол гудит, когда писарь, окунув этот брус в краску, прикладывает его к бумаге.

Все у судьи несуразно большое. Даже свинцовая подставка для кисти, даже самая кисть. Только именная печать — маленькая, с карандашный огрызок.

Судья кончает разбор дела бедно одетого человека. Человек говорит запинаясь и испуганно. Полицейские рядом с ним держат связку мертвых кур. Видимо, он пойман на воровстве.

Судья дослушивает последние, икающие, взволнованные, чуть не кипящие слезами непонятные слова обвиняемого. Полицейский что-то тихо шепчет ему, показывая на кур. Судья тянется к этажерке, стоящей по правую руку от него.

На этажерке — четырехугольный лакированный короб вроде европейских подстольных корзин для бумаг, оклеенный красной материей по той грани, которая обращена к публике. В коробе большой запас бамбуковых линеек с головками. Головки красные, линейки белые.

Судья вынимает линейку и протягивает ее одному из стражи, что стоит рядом, опершись на палку.

Увидав линейку, вор начинает кричать и кричит все время, пока его подталкивает в холку человек с бамбуковой палкой, проводя во двор ямыня. Белая щепка с красной головкой — ордер на палочную расправу. Наша очередь.

Судья чувствует себя явно неловко. Все-таки как-никак мы гимназисты; мы сами, быть может, лет через пять будем здесь судьями. У нас — уважаемые отцы.

Он хочет быть снисходительным. Он предупреждает нас, что не будет затягивать дела. Затем он переходит к вопросам:

— Как вас зовут? Сколько вам лет? Какой деревни? Когда вы поступили в школу?

Мы с товарищем молчим.

Судья поднимает на нас глаза.

Мы отвечаем:

— Зачем спрашивать? Вы это все великолепно сами знаете.

Соблюдая формальность, он делает вид, что ничего не слыхал, и снова бубнит:

— Как зовут? Возраст? Где родился? Год поступления в школу?

Молчим. Стоящая по обеим сторонам судьи стража с бамбуковыми палками улыбается.

Судья явно теряет лицо. Мальчишки издеваются над ним.

Хмурым тоном верховного существа, решающего судьбы земли, солнца и звезд, он грозит:

— Смотрите! Дело ваше не пустяковое. Моя обязанность спрашивать, а ваша — отвечать.

Мы возражаем:

— Господин судья, не делайте вид, что наше дело сложное. Мы великолепно знаем, кто в этом деле виноват, да и вы сами, вероятно, давно в нем разобрались.

Судья переходит прямо к делу:

— Это вы изувечили благородных молодых людей?

— Во-первых, не изувечили, во-вторых, не благородных,— отвечаем мы.

— Но они до сих пор больны и лежат в постелях,— продолжал судья.— Это дело ваших рук.

— Вряд ли мы двое могли избить таких двух дылд, как молодые Ли,— отвечаем мы.

— Да, но вы не будете отрицать, что драка была?

— В драке мы участвовали, не отрицаем, но драка была общая.

— Вы хотите сказать, что кулаки были пущены в ход не только вами, но и двумя мирно гулявшими людьми?

— Конечно.

— Так почему же вы целы, а у них череп рассечен?

Мы молчим.

Судья присуждает нас к двадцати даянам штрафа: к десяти — меня, к десяти — Хо. Я плачу сам. Долю Хо собирают товарищи в складчину.

Глава 4

ПОМОЛВКА

Мачеха ноет.— Красный стол.— Что значит «Гуан».— Ход «к реке».— Свадьба «третьей старшей».— Во Францию.— Студенты-нули.— Картошка и смерть

Отец в далеких разъездах и походах. Я совершенно отбился от родных. Где-то в доме, не соприкасаясь со мной, растет сестренка.

Мачеха тупит свои глаза, встречаясь со мной, словно она виновата. Это она чувствует на себе вину отца, запретившего мне жениться на Цзай-ин. А в то же время единственная мысль ее — женить меня скорей и повыгодней.

Вот кругом, одна за другой, празднуются помолвки моих сотоварищей-пятнадцатилеток. Некоторые из них, кто побогаче, машут рукой на надоевшую геометрию, географию, английский язык и древние стихи и уезжают с молодыми женами приучаться к управлению именьицем или выслуживаться около какой-нибудь дядюшкиной канцелярии.

Каждая такая помолвка щелкает мачеху обидным ногтем насмешки.

Она плачет ночами, а днем бегает к родичам, жалуется на бедность и на судьбу и готова ковриком разостлаться перед свахой, изредка заходящей в наш дом. Сваха захаживает узнать, нельзя ли начать присватывать меня к какой-нибудь из девушек Сиань-ши или ближних селений.

Мачехин ответ слезлив и жалок:

— Мы бедны. Мы заранее согласны выдать Ши-хуа за всякую девушку, лишь бы она согласилась пойти за него. Не нас вы должны спрашивать, а родителей девушки, захотят ли они породниться с нашей полунищей семьей, в которой, как вы сами можете видеть, нет даже денег, чтобы трижды в день поесть.

Я чувствую этот помолвочный шорох за моей спиной. Я замечаю быстрое перешептывание свахи со своим мужем, когда они меня встречают в дни праздников на улицах Сиань-ши. Я подозреваю неприятность в шуточках и замечаньицах приятелей, с которыми встречаюсь на мальчишниках, запивая вином и забалтывая тостами очередного обреченного женитьбе школьника.

Привычно летят один за другим дни Нового года, словно карты, сдаваемые умелым игроком.

Дома стараюсь бывать возможно меньше. Дома все толкутся родичи. Меня воротит от этих расплывающихся в улыбку физиономий. Их руки, которые в дни бегства трусливо совали мне даяны, сейчас пытаются снисходительно трепать меня по спине.

Я кланяюсь вежливо и отмалчиваюсь. Они шутят:

— Настоящий взрослый! Держится, как государственный канцлер.

— Нет, как родоначальник!

— Но какой же родоначальник ходит один, без тайтай?

Кто им дал право осмеивать меня? Пусть сплетничают с мачехой, пусть пьют бесконечные чаи и рассказывают о том, какими болезнями болели их дети и почем они продали в этом году мандарины.

Ухожу к приятелю, к шахматам, к декламации, к разговору о Франции и об университете.

Возвращаюсь к обеду. Необычные для нашего дома тонкие, соленые, наваристые острые запахи готовящихся блюд удивляют меня.

Почему бы сегодня праздничный обед? Может быть, за это время приехал отец? Нет, отца нет.

Почему в доме так много посторонних? Кроме утренних родственников еще соседи и гости из деревни.

Почему все они смотрят только на меня? При чем тут я? Я ведь не праздную ни дня рождения, ни окончания гимназии.

Меня удивляет, что гости здороваются со мной несколько торжественно, а родственники не шутят, но многозначительно улыбаются.

Быстро прохожу в залу. Родственники не садятся за обеденные столы. Они смотрят в угол.

В углу особый стол. На первый взгляд кажется, что на него вывалили груду пылающих углей — так на нем красно.

Родичи смотрят то в угол, то на меня.

Надо глянуть, в чем дело.

Решительно шагаю я к столику. Тетрадь в красной глянцевитой

обертке, книги, перекрещенные красной шелковой лентой, бруски туши, высовывающие черные концы из красного лакового чехла, кисти в красной эмали и красные яйца.

Все понятно. Эти подарки разложены для меня. Мною распорядились. Я помолвлен.

Эти красные вещицы присланы родителями какой-то неизвестной мне девушки в ответ на дары, которые, значит, заранее уже посылала в невестину семью моя мачеха.

Когда же она успела отправить полагающиеся по церемониалу шелковые платья, отрезы материи, липкие сласти в кульках и двух крашенных розовой краской гусей в бамбуковой корзине в знак нашей грядущей супружеской верности, ибо нет, по китайским понятиям, на земле, на воде и в воздухе более верных супругов, чем гуси?

Когда я в первый раз у вас в Москве услыхал, что мужчина называет женщину гусыней, я подумал: это он ее хвалит за верность.

Красный цвет подарков бросается мне в голову. Я чувствую, что гнев заполняет мои глаза. Секунда — и я разревусь. Я начну швырять этими вещами, к удовлетворению перешептывающихся гостей, в жалкую, сияющую удачей мачеху. Но недаром меня с детства учили приличию и восьми добродетелям все — и дядя, и бабушка, и учителя, и мать, завещавшая мне:

— Никогда не дерись, Ши-хуа.

Наружно я тих, как черная японская бомба, но, как бомба же, я готов взорваться.

Тетки хихикают. Одна из них сочувственно произносит за моей спиной:

— Ну вот видишь, Ши-хуа, ты уже взрослый, и тебе нужна невеста.

Я не выдерживаю. Повернувшись к родичам лицом к лицу, я оскаливаю зубы решеткой, и сквозь эту решетку зверями скачут обидные слова:

— Невеста, кажется, больше нужна мачехе, чем мне!

Мачеха — в гуще родичей. Я слышу, как ее хозяйственный шепот обрывается, захлебнувшись моим выкриком. Она закусывает губы и опускает глаза. Она смущена, но не теряет спокойствия.

Отступать ей не приходится. Она победительница. Мало ли в Китае пятнадцатилетных мальчишек кричит от злобы в день помолвки!

Гремят табуретки у столов. У фарфоровых мисок развеваются кудри пара. Автоматически я становлюсь за своей табуреткой и чувствую, что вся прелесть, расставленная на столе, для меня противнее гнилого школьного риса.

Сидеть с людьми, только что весело швырнувшими меня на раскаленную жаровню красных подарков, слушать, как они жуют, пропуская между двумя жевками очередную помолвочную шутку, подвигать к ним блюда, улыбаться, глядя в их издевательские глаза.

— Не же-ла-ю! Не со-гла-сен!

Мачеха вторично просит меня сесть, но я отшатываюсь и в потрясенной моей невежливостью тишине выбегаю из дому.

Я отсчитываю каменные плиты яростными шагами. О, если бы меня кто-нибудь оскорбил на улице, чтобы я в ответ мог его ударить и бить долго, до крови, до крика!

Как смели все эти тетки и мачеха, эта посторонняя женщина, вывезенная отцом из Ченду, распоряжаться моей судьбой? Я достаточно взросл, чтобы решать самому.

Если отец запрещает мне жениться — это куда ни шло. Но если мачеха где-то там, за моей спиной, захлестывает меня в петлю высмеивания...

Кто невеста? Какую девицу собираются посадить рядом со мной за обеденным столом, положить ко мне в постель в день моей свадьбы? Может быть, уродина? Неграмотная? Тупица? Неряха?

Я не знаю, кто она, как ее имя, из какой она деревни. Я ушел из-за обеда, не спросив об этом.

Я у товарища. Он очень спокойно глядит на мои взволнованные шаги по комнате и медленно расставляет шахматные бляшки на доске.

— Меня сегодня помолвили,— отстреливаю я ему три страшных слова.

Он спокоен:

— Я знаю. Твою невесту зовут Гуан.

— Гуан? Я не знаю такой фамилии. А впрочем, какое это для меня имеет значение — Гуан, Муан, Суан или еще кто-нибудь?

— Успокойся,— говорит мне товарищ.— Садись, сыграем партию.

Но я еще не могу сесть. Я должен ходить.

Две мысли раздирают мне мозг. Так лавочник разрывает шелковую полосу материи, сделав на ней ножницами насечку. Первая мысль — я не хочу жены. Вторая мысль — жалко мачеху. Она ведь думает, что делает очень важное и нужное дело. Она ведь помолвила меня только из любви. Своих детей у нее нет, вот она и распоряжается за меня.

Но сейчас же по этой жалобной мысли ударяет крепким собачьим рявком: «Не хочу жены!»

— Слушай,— говорю я товарищу,— я ведь не женюсь.

— Пустяки! — отвечает спокойно товарищ.— Женишься. От помолвки не отказываются. А если ты откажешься, то разоришь семью. Родители твоей Гуан начнут процесс против свахи, сваха перекинет обвинение на мачеху, а затем знай таскай деньги в суд. Хорошо, если еще кончится только денежным штрафом, а то, опасаясь мачехиного бегства,— небось местные судьи знают, как вы, Дэны, ловко бегать умеете,— могут ее запереть на время процесса в тюрьму... Перестань ходить, Ши-хуа, и сыграй партию в шахматы. Неприлично королю шахмат впадать в позорный гнев по поводу такой незначительной и такой неизбежной истории.

Я останавливаюсь перед доской, беру бляшку пешки и делаю первый ход «к реке».

Хорошо, что в эти дни в Сиань-ши нет Цзай-ин. Она гостит где-то у подруг.

Кончаются новогодние праздники. Я уезжаю в школу, и в мое отсутствие над тихими кварталами нашей деревни вспыхивает великолепнейшая свадьба. Старшая Чен выходит замуж за деревенского богача.

И семья Чен и семья жениха наперебой друг перед другом щеголяют, кичатся, хвастаются богатством подарков, пышностью приданого,

громом оркестров, обилием обедов и потрясающим количеством гостей.

Муж моей «третьей старшей сестры» — один из богатейших помещиков в уезде. У него в горах десять тысяч му[1] земли, по которой раскиданы деревеньки и избушки арендаторов, ковыряющих эту землю так, как ее ковырял мой отец в дни своей мнимой смерти.

Этой земле, деревенькам и крестьянам он император. У него усадьба на горных террасах. Вокруг усадьбы стена, и минь-туани с винтовками дежурят на этой стене, оберегая владельца от нападения туфеев.

После свадьбы вся семья Чен, а значит, и Цзай-ин, уезжает в этот замок гостить.

Так обрывается моя дружба с сестрами Чен. Я часто вспоминал Цзай-ин. Но никогда я не пытался узнавать о ее судьбе: вышла ли она замуж, как живет, что делает, где находится?

. . . .

Куда мне ехать после гимназии?

В Англию я не хочу — это очень гордые люди. Да они и не зовут меня к себе.

В Японию я не поеду. Люди этой страны слишком жестоки к Китаю.

Иероглифы позорных «21 требования» вписаны в пластинки дешевых вееров. Чтобы никогда не забыть.

Америка? Но в Америку берут учеников американских школ и чаще всего христиан.

Франция — страна революций. Республика. Родина Жан-Жака Руссо. А кроме того, Франция нас любит.

Да здравствует дешевый китайский труд! Во Франции рабочие на фронте. Вербовщики в Шанхае нанимают крепких людей для работы во французских портах и на фабриках. Они берут на себя проезд и неплохо оплачивают труд.

Товарищ, сообщивший мне это, ликует. Одна забота — как добраться до Шанхая.

Замечательно. Он сильный парень. У него хорошие мускулы. Он будет работать восемь часов в день, а шесть будет учиться. Он выдержит. Это даже полезно — сменять умственный труд физическим.

Мы сбиваем около себя группу единомышленников. Толкуем, где взять денег. А ночью, в снах, видим Францию. Светлую. Она учит нас, платит деньги, и наши налитые мускулами руки готовы поднять груз любых тюков, чтоб окупить шесть часов учения, нужного голове.

Прошло два года со времени этих мечтаний. Веселая, умная, любезная Франция оборачивается гнусной скрягой, с засаленным животом, жадными пальцами, гнилым ртом, издевательской усмешкой.

Товарищ мой уехал во Францию. Я не сумел. От письма к письму гас его задор. Тюки оказались слишком тяжелыми, голове не осталось времени на занятия, внимание ушло на пароходные трапы — как бы не оступиться, руки и ноги к концу рабочего дня тряслись и просили постели или хотя бы нар.

Хорошая плата (каким богатством нам казались в Сычуане эти

---

[1] Му — мера земли, равная 0,06 гектара.

десятки франков!) давала студенту меньше вареного теста и картошки в день, чем может в Сиань-ши купить цзяо-фу (носильщик цзяо) на дневной заработок.

Пока шла война, руки китайских студентов были нужны, но война кончилась, солдаты вернулись домой, французские грузчики пришли в порты.

Долой дешевый китайский труд!

Китайцы уходили от тюков в свои конуры сквозь шеренгу злых и тоже голодных глаз.

Один за другим слетали с работы студенты. Во Францию их привозили бесплатно, но обратный билет стоил сотни даянов. Вместо ученья студенты-кули прилипали к витринам с вкусной снедью.

Студенты-кули протягивали руку на перекрестках, но их обходили и не подавали. Студенты-кули падали на улицах Марселя и Лиона, безразличные ажаны подымали их, как палых собак, и сдавали в карету «скорой помощи». В госпиталях врачи не верили их болезни: температура была нормальна и нормален пульс. Голод—это же не тиф и не скарлатина, от голода не обязано лечить французское правительство на свой счет.

— Лентяи. Отлынивают.

На последнюю медь покупались бумага и марка, месяцы шло письмо в Сычуан, Хунань, Юньнань. А потом приходило письмо из Китая, и, случалось, его не принимали в указанной квартире.

— Такой здесь больше не живет.

— А где живет?

— Нигде. На кладбище. Две недели тому назад повесился. Отправьте письмо обратно.

Иной умирал безболезненно. Ходил человек, ходил, сперва ел через день, потом через два дня, потом чуть ли не целую неделю сидел на одной картошке и, наконец, кончался, тихо, без температуры, без судорог. Угасал так, как угасают крестьяне в наших изъеденных голодом уездах. Они ложатся на кровать и лежат, экономя живое тепло, бегущее по кровеносным сосудам. Так умирать дольше. Они и разлагаются с трудом, так мало в них остается сырого мяса, все ссыхается в бумагу.

Умер веселый товарищ во Франции. В желудке его анатом нашел ком непереваренного картофеля. Он ел только картофель без соли. И на картофель желудок его ответил отказом и смертью.

Но все это случилось позже, много позже.

Глава 5

УМНАЯ МАЧЕХА

Шен-ши радуются.— Подвиг Шан-Су.— Подлог.— «Та Хуанцзы».— Мандариновые корки

Месяцы под гору скатываются, торопя окончание гимназии. Тысяча девятьсот девятнадцатый год бежит, как зажатая ущельями Янцзы. Где-то далеко, на той стороне земного шара, обрывается война.

Повеселевшие шен-ши в игорных комнатах, за щелканьем костяшек мачжана, медленно и самодовольно обсуждают, сколько выгод получит Чжунго — «Срединное государство» — наш несокрушимый Китай, вместе с союзниками победивший немцев. Шен-ши потирают руки и мечтают о том, как в воздаяние за китайскую помощь и доблесть уйдут из Китая все чужеземные дьяволы, вернут обратно отобранные у Китая земли. Шен-ши кичатся — за время войны сколько по Янцзы выросло китайских фабрик! Сейчас мир — нарастет еще больше. Но приезжие из Шанхая приказчики торговцев соленой капустой, горчицей, деревянным маслом и волокном не улыбаются словам теяньских мудрецов. Трудно сейчас жить в Шанхае китайским купцам и китайским фабрикантам и еще труднее будет.

За войну почти все текстильные фабрики в Шанхае стали китайскими. А теперь они одна за другой отходят к японцам. С японцами нельзя бороться. Рабочие идут к японцам. У японцев заработная плата выше. Понятно, японцы не платят ли-цзин (внутреннюю пошлину) на товары, идущие из одной провинции в другую.

Много китайских фабрик совсем разорено. У китайцев неумелые руки. Многие вещи они еще не научились делать. Правительству надо бы помочь своим промышленникам. Кое-что запретить ввозить. Кое-что обложить пошлиной, да повыше.

Но что поделаешь с иностранными чертями? Таможня — английское учреждение. В других странах таможня — это пробка, закрывающая вход в страну, не дающая иноземным товарам врываться в край бешеной ордой. А в Китае таможня — это воронка, через которую льются и льются к нам и ткани, и рис, и резина, и спички, и сахар, и керосин, и железо.

— Платим за японское железо и за американский керосин, а свое железо и свой керосин так и лежат под землей. Что вы хвалитесь победой, теяньские захолустники? Разве вы сами не видите, как дорожает рис и ситец?

Но шен-ши не верят приказчикам, они думают:

«Нервничают. Хозяева не умеют торговать. Злятся. Устали от долгого пути до Янцзы».

. . . .

Я врываюсь в школу, вернувшись с новогодних каникул из Сиань-ши. В классе на знакомом месте уже сидит, по путаным волосинкам иероглифов водя носом, к которому стекла очков прикреплены, как стрекозьи крылья, близорукий Хуан, мой самый дорогой и самый близкий друг.

Это с ним мы мечтали поехать в Париж. С ним высчитывали, сколько стоит билет на пароход и сколько и у кого мы можем набрать денег. И с ним вместе понуро отказались от мысли о Франции, ибо неоткуда было наскрести нужных даянов. Я кричу ему:

— Хуан, к моей мачехе прибегал старик, отец троюродного моего брата Дэн Шан-су, помнишь, того, что учится в университете Иочжоу. Дядька выл, словно ему кишки на катушку вымотали. Дело в том, что Шан-су перед отъездом помолвили, а теперь он прислал дядьке письмо, что наотрез отказывается жениться на своей невесте. Пишет, что не вернется домой до тех пор, пока брачный договор не будет разорван.

Дядька боится, что семья невесты его разорит вконец. Если бы ты знал, как ахала и вздыхала мачеха и как подозрительно поглядывала на меня, когда дядька нашептывал на ухо ей свои скорби. Сегодняшняя молодежь, видишь ли, скоро посрывает в литане таблицы с именами предков и перестанет ставить перед ними в дни праздников чаши с рисом. Хуан, что же ты молчишь? А ведь действительно перестанут ставить чаши с рисом. Предкам будет нечего есть. Они похудеют и начнут умирать на том свете.

Я доволен поступком Шан-су. Мне кажется, что своим письмом он отомстил за меня. Но Хуан хмурится:

— Что тебя так радует?

— Как что радует? Чем я хуже его?

— Брось, Ши-хуа,— говорит Хуан успокоенным и мудрым голосом.— До свадьбы ты не найдешь в Сиань-ши ни одного даяна на пароходный билет, за это я тебе ручаюсь.

Я выпячиваю нижнюю губу самонадеянно:

— Хо-хо! Кто мне может запретить занять деньги?

— Будь спокоен, твоя мачеха после этого разговора, нужно думать, ходит по всем родичам и знакомым, прося их не допустить семейство Дэн до падения и судебного процесса с семейством Гуан.

Меня обижает такой скептицизм приятеля. Боевое возбуждение ищет себе выхода.

— Ладно,— рассуждаю я.— Ты думаешь, я потеряю лицо. Так нет же, ты потеряешь свое раньше моего.

Пошептаться с тремя товарищами в углу — дело пяти минут. Быстро скачет озорная кисточка по бумаге. Это я сочиняю ходатайство на имя директора о том, чтобы нам выдали на руки дорогой учительский атлас на два дня. Под ходатайством вырастают четыре подписи. Между подписями незанятое место.

Место это мы осторожно отмачиваем и протираем дыру. Затем под первую бумагу подводим вторую. Работа сделана чисто, издали глядя, не скажешь, что бумага дырявая.

Прошение мы подкладываем Хуану.

— Хуан, нам нужен атлас. Присоедини свою подпись.

И показываем ему пальцем прямо на протертое место.

Хуан внимательно прочитывает иероглифы, водит концом кисточки по туши и нацеливается писать. Сквозь свою подслеповатость он замечает отогнувшийся краешек затертой бумаги.

Ему этот краешек кажется соринкой. Он пытается его сдунуть, потом смахивает, но это только еще сильнее загибает бумагу.

Выдерживая спокойствие, я говорю ему:

— Не возись, Хуан. Бумага плохая, не исправишь.

И Хуан покорно вписывает свою фамилию на нижнем листочке, как раз в протертой дыре.

Тогда мы берем чистый нижний лист с подписью Хуана и вписываем в этот лист страшное обязательство:

«Я, Хуан Синь-лун, обязуюсь ежедневно кормить учеников старшего отделения Первой гимназии города Теянь мандаринами до полного их

насыщения в течение одного месяца. Буде я не исполню подписанных мной условий, вольны они взыскать с меня сто даянов неустойки или передать в руки правосудия для заключения в тюрьму».

А затем — точная дата. Четверо держат этот лист за углы перед моргающими глазами ошарашенного Хуана.

Судорожно прыгает он вперед, разбивая живот о парту. Крючки пальцев хотят поймать бумагу. Но поздно. Бумага белой летучей мышью пляшет вокруг Хуана.

Мы обступаем тесным кольцом человека, тянущегося за контрактом, и кричим:

— Та хуан цзы! Та хуан цзы! Гляди внимательней, что подписываешь.

«Та хуан цзы» — это красный лоскут, висящий вывеской перед дверями харчевен, беспощадно болтающийся на ветру. Здесь игра со словом «Хуан». Сказать: «Та хуан цзы» — все равно что по-русски обозвать вороной.

Лицо Хуана становится жалким. Он отшучивается, что во всем уезде не хватит мандаринов, чтобы насытить до отказу наши резиновые чрева.

Он пытается острить, что благородные товарищи, надо думать, дадут ему время развести образцовый мандаринник.

Но мы не поддаемся на шутки, свертываем бумагу, кладем в карман, многозначительно произносим:

— Сто даянов или тюрьма.

И удаляемся.

Два дня длится мучение. Во всяком случае на каждого из нас он поднимает глаза с таким видом, точно за нашими спинами стоит взвод полицейских.

Через два дня происходит обмен обязательства на десяток мандаринов. Благо они стоят дешево: даян — триста штук.

Мы с Хуаном сидим на крыльце школы, выплевывая скользкие мандариновые косточки, и швыряем горсти оранжевых корок на дорогу.

Хуан подбрасывает корки на ладони и говорит:

— Сейчас я учусь в гимназии, а лет семь тому назад я бегал по Теяни и собирал вот эти самые корки вместе с братом.

— Зачем?

— Их покупают аптекари, сушат, толкут и кладут в лекарства.

— Почему ты собирал корки? Ведь у вас же лавка?

— Ладно,— говорит Хуан.— Это длинная история, как-нибудь расскажу.

. . . .

Я уезжаю на праздники в Сиань-ши и возвращаюсь. Хуан лукаво говорит:

— Ну как?

Теперь его очередь издеваться. К кому я ни обращался с вопросом — даст ли он мне денег взаймы на поездку в университет, всякий отвечал: поговорим после свадьбы.

— Ну что же,— самодовольничает Хуан,— недаром твою мачеху называют умной женщиной. Как-никак она спасла твоего отца из каземата дубаня Ху.

Глава 6

ЧЕТВЕРТОЕ МАЯ

Важное письмо.— Студенты требуют.— Я — секретарь.— Митинг.— Вдребезги.— Костры.— Купцы негодуют.— Клейма.— Сын торговца.— Взятки.— Рыба и кровь

Дни жарче и жарче. Голубая Янцзы мутится весенним илом пустынь, откуда она берет свое начало.

Если продырявить земной шар насквозь, то через эту дырку можно подслушать, что говорят в Версале дипломаты государств-победителей и чего от них беспомощно требуют посланцы Китая.

Темнеют горы листвой лесов. Светлеют одежды горожан. Увеличиваются поля шляп. Уже трепещут веера в руках продавцов, и на веерах все те же, живые, несмываемые, оскорбительные двадцать одно японское требование.

Только месяц остается до конца гимназии. Уже нас распускают на экзамены.

В это время черной японской бомбой, взлетающей в зенит над нашими ребячьими головами, взрывается Четвертое мая[1] 1919 года.

Мы, занятые звонкой зубрежкой, и не заметили, как сбежались торопливо в кабинет директора учителя. Только слуги, несущие на заседание чайники кипятка, успевают шепнуть в наши невнимательные уши:

— Письмо... важное... из Пекина. Не знают, сообщать ли ученикам или не сообщать.

Не сообщать? Ого! А не пойти ли нам к директорским дверям и не поорать ли, как это смеют не доверять ученикам? Но уже директор с инспектором и письмоводителем проходят двориком школы, и письмо-

---

[1] Движение Четвертого мая — широкое национально-освободительное антиимпериалистическое и антифеодальное движение в Китае в 1919 г. Непосредственным поводом к антиимпериалистическим выступлениям было решение Парижской мирной конференции о передаче бывших германских концессий в Шаньдуне Японии. 4 мая 1919 г. в Пекине состоялась крупная антиимпериалистическая демонстрация студентов. С июня в крупнейших центрах Китая начались забастовки и выступления рабочих. В движение вступили широкие слои китайского народа. Повсеместно был организован красочно описанный Дэн Ши-хуа бойкот японских товаров. Пекинское правительство было вынуждено отстранить с постов наиболее скомпрометировавших себя прояпонских деятелей и ушло в отставку. Участвовавшая в движении китайская буржуазия удовлетворилась этим, и по ее настояниям забастовки были прекращены. Движение Четвертого мая открыло новый этап в революционной борьбе китайского народа; руководство революцией перешло от буржуазии к пролетариату. В Китайской Народной Республике день Четвертого мая ежегодно отмечается как день китайской молодежи.

водитель приклеивает на черную доску школьных объявлений длинное письмо.

Через несколько минут вокруг доски — задыхающийся и плотный полукруг школьников.

Лучший декламатор — у него внятное произношение и звонкий голос — читает письмо, а буркающие голоса пояснителей разжевывают каждую фразу этого замечательного документа, начавшего эпоху так называемого китайского возрождения.

Письмо — от пекинской студенческой организации всем школам Китая. Я уже не помню в точности фраз этого письма, хотя не раз, и не два, и не десять прочитывалось оно. Но смысл письма и порядок помню хорошо. Вот о чем говорит письмо.

Революция 1911 года свергла проклятую Маньчжурскую династию и учредила в Китае республику, но спокойствия стране она не дала. Злонамеренные, жадные, своекорыстные и честолюбивые люди, забиравшие в свои руки власть по провинциям и в столице, вели между собою войну за богатство городов и деревень, а также оптом и в розницу продавали китайские блага давнишним мучителям «Срединной страны» — иностранцам.

Юань Ши-кай, захватчик власти, объявивший себя императором, чуть не согласился на японские позорные требования, превращавшие Китай в Корею.

Корыстолюбивые и лживые правители Китая, сменяя один другого, брали деньги взаймы у иностранцев, расплачиваясь по этим займам китайскими землями, таможнями, фабриками, китайской торговлей, китайскими рудами, китайским железом, чаем и кожами.

Правители Китая вступили в войну, ведущуюся против Германии, на стороне союзников и изгнали немцев из захваченных участков китайской земли. При заключении мирных договоров китайский народ мог бы предполагать, что за услуги, оказанные им союзникам, он получит воздаяние и облегчение своего тяжкого существования.

Однако оказалось, что союзники Китая пользуются его слабостью и, вместо того чтобы наградить его за верность и помощь, собираются передать освобожденные от Германии куски китайской земли другому врагу Китая — Японии.

В дополнение к захваченным уже у Китая острову Тайвань, Корее и Ляодунскому полуострову Япония собирается закрепить за собой Циндао и Шаньдунский полуостров.

Вместо того чтобы дать достойный отпор врагам, премьер-министр Дуань Ци-жуй согласен отдать Японии эти земли за хорший заем. Известный своей бесчестностью министр иностранных дел Цао Жу-лин повел переговоры с японцами через китайского посла в Японии Чжан Цзунсяна.

Четвертого мая студенты национального университета в Пекине узнали, что во дворце Цао Жу-лина идут решительные совещания с Чжан Цзун-сяном, за сколько можно продать японцам китайский Шаньдун.

Опустели аудитории, лаборатории и общежития, собрался небывалый митинг. Вспыхнули возмущенные речи — и вот уже студенческая демон-

страция, вбирая в себя учащуюся молодежь других учебных заведений Пекина, стремительно двинулась к дому первого проходимца и взяточника Китая — Цао Жу-лина. Никакая стража не была в состоянии препятствовать вторжению представителей народа на совещание предателей.

Цао Жу-лин, лучше своего гостя знавший расположение комнат и дворов, успел выбежать задним ходом. Чжан Цзун-сян был схвачен студентами и достойно наказан.

(Впоследствии мы узнали, в чем состояло наказание. Чжан Цзун-сяна избили. Его били кулаками, ножками разломанных кресел, ногами. Били настойчиво, злобно, вдрызг. Потом бросили, и он, захлебывающийся своей собственной кровью предателя, уполз, оставляя на камнях богатых двориков кровяные следы, и был слугами Цао Жу-лина унесен в госпиталь.)

Вместо того чтобы поддержать студентов и интеллигенцию и предать казни изменников, избежавших народной кары, вместе с их соучастниками, правительство приняло сторону негодяев.

«Мы,— сообщало письмо,— студенты всех университетов и всех средних школ Пекина, собравшиеся на решительных митингах:

1. Объявляем забастовку в знак протеста против действий правительства и призываем к этой забастовке присоединиться все остальные университеты и школы Китая.

2. Создаем союз студентов и учащихся Пекина и приглашаем университеты и школы всех остальных городов Китая последовать нашему примеру.

3. Призываем весь китайский народ, интеллигенцию, землевладельцев, ремесленников, промышленников и торговцев бойкотировать Японию.

Должны быть уничтожены в магазинах все товары, носящие на себе японские фабричные клейма. Должны быть вынуты китайские вклады из японских банков. Торговцы, фабриканты и остальные граждане не должны принимать к уплате японские деньги.

Китайские служащие, работающие у японцев, должны покинуть свои места.

Деньги, нужные для существования общестуденческой организации, должны быть собраны с членов организации, а также в виде пожертвований с остальных граждан.

Объединяйтесь все! Вставайте, собирайтесь в союз! Назначайте уполномоченных по наблюдению за проведением бойкота!»

Под воззванием подписи студентов-теяньцев, учащихся в Пекине.

Письмо перевертывает мозги в наших черепах.

Бойкот... Союз... Устав... Организация... Сборы!..

Все это незнакомые слова и никогда еще не испытанные дела. Груз громадного политического дела ложится на наши еще узкие ребячьи плечи.

Около доски с письмом не умолкает гул, словно поленом ковыряют в улье.

В нашем чинном огромном школьном литане кричат, перeплескиваются кучи собирающихся гимназистов. Где книги? Нету их. Книги лежат

развернутые на партах, и жаркая летняя пыль уже садится на их страницы.

Мы чувствуем себя повстанцами. Озабоченный Хуан — мой любимый друг — щурится и морщится:

— Ши-хуа! Мы-то получили письмо. А остальные две гимназии? А женская школа? А вдруг они не получили? Как мы их убедим присоединиться?

Я вспоминаю почерневшего, небритого, занятого отца своего в дни перед свержением маньчжуров, и мне становится весело.

Ночью мы не спим. При свете масляных ламп гудит наше собрание. В ломающиеся, хриплые голоса шестнадцатилеток впутывается воробьиное чириканье малышей.

Собрание проходит смутно, как дождевая туча. В письме сказано об уставе, а у нас устава нет, и мы не знаем, какие такие бывают уставы.

Долго мы говорим бессвязные, малопонятные слова и наконец постановляем выбрать комитет — председателя, секретаря, казначея и двух депутатов для представительства (представительство — это значит, что завтра надо сходить в две другие гимназии). Я — секретарь.

Надо собирать деньги. Резолюция — каждому ученику внести по одному даяну.

Чей-то голос кричит из-за спины:

— Учителя прочитали письмо, сказали, что они дадут из своего жалованья.

Собрание аплодирует учителям.

— Завтра же пойти к купцам, просить их о взносах денег.

— Дадут ли? — сомневается кто-то.

В ответ ему гул:

— Дадут!

— Мой отец даст.

— И мой.

— И мой.

С этой ночи я уже не думаю о ненавистной, назначенной на осень свадьбе.

Депутаты рыщут по школам и возвращаются довольные. Все уже знают о письме и присоединяются к нам. Везде выбраны комитеты.

Общее собрание школьников всего города — в нашей гимназии. Здесь самый большой литан.

В день собрания литан гудит народом, как никогда. Восемьсот голов гимназистов спрессовано в зале. Гул идет, взволнованные речи.

Школьник за школьником поднимаются на трибуну.

Когда они научились так говорить? Откуда такие горячие жесты у этих мальчиков, вчера еще дававших друг другу подзатыльники? Где они набрались этих возвышенных, убедительных речей, которым внимают и педагоги, и директора, и представители купцов, качающие тяжелыми головами в такт яростным выкрикам своих сынов?

Три мужские гимназии отдают себя, до последнего человека, на противояпонский бойкот.

К школьникам присоединяются и школьницы. Две женские гимназии

согласны идти вместе с нами. Но девочкам начальство не позволяет принимать участие в митингах мальчишек. Девочки сидят по домам. Они не прислали даже делегаток. Только письмо их, написанное аккуратными иероглифами, прочитывается председателем собрания.

Каждое слово ораторов слетает в трескучий костер аплодисментов полутора тысяч рук.

Казначей докладывает, как стремительно растет касса союза. Я, секретарь, сообщаю, потрясая чертежом города, как нами будет проводиться бойкот.

— Все японские товары должны быть истреблены! — кричу я.

— Истреблены! — неистово поддерживает зал.

— Ни одного японского предмета не должно быть утаено.

— Не должно! — кричит собрание.

— Выбирайте для этого дела людей с чистыми руками.

— С чистыми руками, с чистыми! — грохочет собрание.

— Пекинские товарищи призывают нас к забастовке.

— К забастовке!

Один за другим вскакивают ораторы, превозносящие и восхваляющие забастовку. После них — Хуан:

— Забастовка — это очень хорошо. Очень правильно. Забастовка — это бросить учиться и работать для усиления протеста. Но ведь мы и так не учимся. У нас же экзамены на исходе, и послезавтра начинаются летние каникулы. Как же мы будем бастовать?

Собрание охватывает грусть. Действительно, как бастовать, если уже не учишься?

Выручает директор. Он говорит:

— Пусть все остается по-старому, но мы сообщим в Пекин, что к забастовке примкнули.

Это — выход. Будем считать, что у нас не каникулы, а забастовка.

Город поделен на три района по числу гимназий. Каждая гимназия должна очистить лавки и склады от японщины.

По двенадцати депутатов-надсмотрщиков от каждой гимназии целыми днями ходят и проверяют товары. Их сопровождают кули с носилками и корзинами.

Гимназисты-депутаты идут торжественные, важные, неулыбающиеся. Их приветствуют приказчики табачных лавок и агенты шанхайских фабрикантов, ибо фабриканты — это те люди, которые согласны поддерживать студенческое движение бойкота всеми своими деньгами. Процессии улыбаются мелкие лавочники, торгующие местными товарами, фруктовщики, зеленщики, торговцы углем и дровами, торговцы шкурами — словом, местными продуктами.

Но хмурятся, завидев делегатов, владельцы текстильных лавок, галантерейных, посудных. Они думали, что все обойдется легко. Гимназисты покричат, взыщут с них десять — двадцать даянов пожертвований — и кончено.

Но дело оборачивается серьезно.

Депутат входит в лавку. На витрине — фляжка-термос рядом с пепельницей. Японские иероглифы явственны на исподе.

Депутат подымает хрупкие вещи и с размаху швыряет их о камни мостовой. Кули травяными сандалиями отпихивают осколки в сторону, чтобы носильщики не порезались.

Руки депутатов перерывают все в магазине. Лавочника трясет. Он не представлял себе, что убыток будет так велик.

Уже посмеиваются кули, стоящие за спиной делегата, подмигивая на лавочника. Лавочник пытается загородить полку с блюдцами. Это слишком дорого для него. Слишком много. Он согласен запереть их в кладовую. Пусть ему дадут разрешение вернуть их обратно японцам и взыскать с них деньги. Это же его кровное...

Делегат отводит лавочника рукой от полки и одним движением руки смахивает с дребезгом синеватый фаянс на пол.

Лавочник уже перестает вытирать рукавом выступивший на лбу холодный пот разорения. Он отзывает делегата в соседнюю комнату.

Делегат, думая, что там кладовая, идет за ним и натыкается на пронзительный шепот лавочника:

— Возьмите. Вот это вам, лично. Только оставьте магазин в покое. Возьмите.

И сует в делегатову ладонь десятидаяновую бумажку.

Делегат бледнеет, шарахается и орет на всю лавку:

— Если вы не хотите, чтобы я вас вывел на площадь, где будут сжигать японские товары, немедленно засуньте ваши грязные деньги в карман!

Вещи, что погрузнее, которые нельзя бить на месте, взваливают с веселым кряхтеньем на свои носилки кули. Эти вещи сносятся в занятый гимназистами храм. Там их берут под крепкую стражу, а когда поднакопится, несут на дальнюю площадь мимо горестного покаянья лавочников, мимо лысых старух, испуганно твердящих:

— Сумасшедшие! Хорошие вещи, дорогие вещи — и сжигать задаром!..

Толпы людей обступают костер, на котором белым шипом пылает целлулоид гребенок, гнусно смердя горит резина, и туалетное мыло, и куски японского ситца, и плавятся фляги и игрушки, и взрываются бутылки одеколона.

Люди смотрят жадными глазами: как бы спасти. Но грозными сторожами стоят около костра гимназисты, зорко следя, чтобы месть была доведена до конца.

Это изумительные дни. В Ханькоу, Чанша, Фучжоу, Шанхае — во всех городах, где есть гимназисты или студенты, пылают в эти дни мстительные костры и рушатся в огонь взрывчатые пачки спичек, зубной порошок, стенные часы, матерчатые зонты[1], лопаясь, оплывают амальгамой зеркала, тлеют кипы оберточной бумаги и коробки патентованных лекарств, а рядом с кострами стоят и плачут от злобы[2] члены школьных советов.

---

[1] Простые, клееной бумаги зонты делаются китайцами.

[2] Об этих слезах злобного возбуждения бойкотистов мне рассказывали несколько молодых китайцев *(С. Т.)*.

Цин-куай-ван — название популярных японских красных пилюль от кишечных расстройств. Это название значит — «свежее отрадное зерно», а если чуть переделать в нем один иероглиф, можно его прочесть и так — «скоро конец Цинов».

Студенты сожгли эти пилюли и вместо них изобрели свои, назвав их «жу-куай-ван», что значит: «скоро конец Японии».

Работа захлестывает верхушку организации. Часами стоят у нас крики купцов, потрясающих связками счетов и фактур. Они негодуют на делегата, который побил и пожег у них китайские товары вместо японских, перепутав торговые знаки.

Успокаиваем торговцев:

— Мы примем меры. Мы укажем депутатам. Что же поделаешь, мы слишком неопытны. Возможны ошибки.

Но и купцы ведут себя непозволительно. Вместо того чтобы выставить перед магазином все японские товары, они их прячут. Они подчищают клейма, они заклеивают японские знаки знаками американскими и китайскими. Поневоле истребление товаров частично обращается в войну с купцами.

— Пойдемте вместе,— уже не кричит, а хрипит купец.— Пойдемте вместе, они сейчас у меня роются, и я вам докажу, что они неправильно отбирают товар. Я дал уже в вашу кассу пятьдесят даянов. Вы требуете слишком много. Так вы разорите не Японию, а китайскую торговлю. Вы слишком молоды.

Я иду с купцом в лавку. В лавке действительно словно генерал войной прошел.

Потный от натуги делегат с помощью кули ворошит куски ситца. На кусках английские ярлыки, но кули объясняет делегату, что ярлык свежий, видимо недавно наклеен, и если посмотреть на отсвет, то виден лоснящийся квадрат, на котором был какой-то другой ярлык.

— Глядите,— тычет мне в нос английским ярлыком осатаневший купец.— Английский товар, а они его хотят пожечь, как японский.

Кули щупает на пальцах материю и, недоверчиво мотая головой, говорит:

— Товар не английский. Такой плохой товар только японский.

У купца изо рта тянутся нити слюны. Он налетает на кули:

— Вон из лавки, негодяй! Грязава! Кто тебе позволил здесь путаться!

Депутат объясняет мне свои сомнения о ярлыке. Вижу за прилавком сына купца — моего одноклассника.

Мальчик молчит, но он бледен, он, видимо, волнуется.

Я говорю повернувшемуся ко мне купцу:

— Вы утверждаете, что это английский ярлык, а мы думаем, что здесь был японский ярлык.

Я гляжу на сына. Он утвердительно кивает мне головой.

— Где японские ярлыки?

Сын купца полувытягивает кассовый ящик и опускает на него глаза. Я командую:

— Поищите, нет ли здесь где-нибудь кругом японского ярлыка,— и сам отправляюсь к кассе.

В кассе лежат японские сорванные ярлыки. Я их проверяю — на сухой квадрат клея как раз.

Купец усмехается:

— Это не доказательство.

Но тон его бездоказателен.

Я спрашиваю:

— Здесь весь товар, что вы имеете?

Купец отрывисто лает:

— Весь.

— А больше вы товара нигде не храните?

И так как купец молчит, спрашиваю его сына в упор:

— Еще товар есть?

Глаза мальчика с отца переходят на соседнюю дверцу.

Я говорю делегату:

— Пойдите за эту дверь и поищите товар там.

— А-а-а-!..— раздается совершенно звериный крик. Это купец заметил ответ сына.— Ты, негодяй, против отца?!

Сын бледнеет, мнется, смотрит на отца, потом на меня и вдруг выпаливает:

— Не против отца, а против японцев и предателей.

Купец дивится ответу сына. Купец красен. Купец злобствует:

— Поговорим дома.

Этому купцу все-таки легче, чем другим, ему есть на ком сегодня сорвать свою злобу.

Мы растем, мы умнеем, мы наметываем глаз. Наш первоначальный бестолковый энтузиазм превращается в работоспособное упорство.

Но уже ленивее пополняется касса комитета, уже труднее раздобывать деньги у огрызающихся купцов. Даже агенты фабрикантов говорят только ласковые слова и не вытаскивают кошельков.

Уже в моей секретарской папке подклеены четыре доноса на то, что депутаты приняли взятки от купцов. Доносы написаны тяжелыми иероглифами, словно их кто древесным суком на песке чертил. Вероятно, это пишут кули-носильщики из полуграмотных.

. . . .

Вот уже восемь лет прошло со дня Четвертого мая. Мы, тогдашние гимназисты, давно окончили университеты, младенцы-сосунки стали гимназистами, а все-таки ежегодно во всех городах переизбираются депутаты-бойкотисты, и антияпонский бойкот продолжает жить, то уходя под землю и затихая, как торфяной пожар, то снова вспыхивая яростно, как было это, например, в двадцать четвертом году в провинции Фуцзянь, где целую улицу вымостили студенты японской рыбой, а потом подкрасили рыбу студенческой кровью, выпущенной пулями генеральских полицейских.

Юг, Фуцзянь и Пекинский район — вот неугасающие очаги бойкота, где до сих пор купцы и менялы по привычке скалят зубы гримасой отвращения, когда им покупатель протягивает бледно-желтую японскую иену.

. . . .

В то лето ученики теяньских гимназий домой в деревню не возвращались. Каникулы девятнадцатого года действительно оказались не каникулами, а забастовкой.

Глава 7

ПЕРЕД СВАДЬБОЙ

Пытка отцом.— Литератор или инженер? — Фурункул победил.— Дом молодеет.— Брачная комната.— Шень-кан.— Мальчишник

Свадьба назначена на осень.

За два месяца до свадьбы, когда я еще мечусь по раскаленному городу, поливаемому внезапными сплошняками многоводных душных дождей, мачеха вызывает из дивизии отца.

Я приезжаю в деревню. Из свежего ветра политической работы окунаюсь в гнилое корыто деревенских разговоров.

Начинается длительная пытка отцом. Я выкладываю ему резко и злобно всю мою боль.

— Как смели меня сосватать без сговора со мной? Как смели меня сосватать с женщиной, которую я не знаю? Достаточно, что мне отказали в праве жениться на той, на ком я хотел. Но кто дал право распоряжаться мной, как теленком, кошкой, шкафом?

Отец недоволен. Он и не заметил, как у него подрос и дотянулся до плеча наследник. Он до сих пор глядел через мою голову, строя свое энергичное и важное дело, а теперь через голову не глянешь — приходится упереться глазами в глаза: у обоих глаза упрямые.

Отцу эта возня неприятна. Его пульс бьется не здесь, а там, в повстанческой дивизии. Он говорит со мной неубедительно, вяло. Иногда пытается быть ласковым. Это ему удается слабо. Иногда пытается хмуриться, но сам же чувствует, что неправ.

Из вечера в вечер он бубнит надо мной, пытаясь связать оторвавшиеся концы — мачехину волю и мой отказ.

— Разве ты не видишь, что мачеха тебя любит? Разве ты не знаешь, что она готова для тебя с сестренкой всю кровь свою по капле выточить? Ну ладно, я согласен с тобой — нужно было перетолковать заранее. Но раз это упущено, давай рассуждать трезво. Предположим, ты откажешься. Начнется новая мука мачехе и всему нашему дому. Несомненно, мы процесс проиграем, новые долги лягут на наш дом. Вряд ли ты сможешь тогда найти деньги для поездки в университет. Скорее тогда придется тебе остаться здесь, найти какую-нибудь канцелярскую должностишку и, быть может, лет с десяток, подобно слепому мулу на водяном колесе, качать серебро в карман кредиторов.

Мне скучно. Отцовские слова, как это ни странно, бьют мимо. Отцовский голос, вместо того чтоб потрясать, усыпляет и злит.

Отец долго молчит, подтягивает брови к волосам, отчего лоб у него

идет морщинами, пареллельными, как телеграфные проволоки. Кусает губы и переводит разговор на тему об университете.

Здесь мы тоже не сходимся. Я люблю литературу. Я увлечен новшествами, которые в далеком Пекине проповедуют профессора Ху Ши[1] и Чэн Ду-сю[2], а именно, что новая китайская литература и китайские газеты должны писаться на народном языке вместо древнего литературного, не понятного никому, кроме долго учившихся мандаринов.

Я мечтаю, как сам буду работать в газете, изучать романы, рассказы, стихи — наши и иностранные.

А отец готов считать меня с моей литературой почти бездельником. Он хочет, чтобы я стал инженером.

— Знай я техническую специальность, мне бы легче было делать революцию,— говорит он мне.— Я юрист, умею писать приказы, разбираться в законах, командовать, но стоит реакции выкинуть меня в лес, в бега, я еле-еле могу себя прокормить. У меня есть только две руки, могущие держать мотыгу, да и то еще не совсем уверенно. Это — общее несчастье революционеров эпохи свержения императоров. Уметь горячо говорить и уметь швырнуть бомбу — вот весь наш багаж, а этого мало.

Может быть, отец прав, но я хочу ехать в Пекин.

Опять отец не согласен.

— Пекин — отсталый город. В нем заплывший жиром тупой народ. Северяне. Слишком много канцелярской политики и слишком много соблазнов для провинциального юнца. Штаб негодяев, взяточников и продажных подхалимов.

В отцовской ненависти чую голос опального предка, триста лет тому назад покинувшего Пекин для Сычуана.

Я доказываю отцу уныло, без азарта — ибо по глазам его вижу, что он меня не понимает,— всю прелесть литературных наук.

Но опять мы замолкаем и расходимся по комнатам. А на другой день снова сходимся, насупленные, крутолобые, упрямые.

Проходит больше месяца. Наш разговор не сдвигается с мертвой точки. Только я делаюсь еще раздражительней. Растрепанные летней политической работой нервы дают себя знать. У меня пропадает сон, я плохо ем, я часто пугаюсь; я порой прихожу в такую ярость, что боюсь свалиться замертво.

Отец заболевает громадным фурункулом на ноге. У него поднимается температура. Он ходит с помощью мачехи и моей. Чаще он сидит в кресле, вытянув ногу бревном, а затем ложится на кушетку. К нему ходит врач, хмуро качает головой и грозится, что надо будет резать.

Стиснутые зубы мучающегося отца заменяют отсутствующую в его речах убедительность. Мне становится жалко этого сильного человека,

---

[1] Ху Ши (1891 — 1962) — реакционный писатель и философ. Вначале принимал участие в борьбе за новую культуру, в 1917 г. был одним из лидеров движения за литературную революцию, за создание литературы на разговорном языке «байхуа». Впоследствии перешел на сторону реакции.

[2] Чэн Ду-сю (1879 — 1942) — приобрел известность в период «движения 4 мая», принимал участие в основании Коммунистической партии Китая.

ногу которого точит гнойник. Я начинаю чувствовать себя почти неправым. Как смею я со своими пустяками, со своим упрямством оттягивать его от дивизии и заставлять его ежедневно без толку, вот уже сорок дней, разговаривать со мной?

Жалость, та самая жалость, которая уже неоднократно клала меня на обе лопатки перед чужой слабостью и беспомощностью, решает наш спор.

Я не выдерживаю страдальческих глаз отца, хотя для меня ясно, что он мучается не поступком мачехи, а своим фурункулом,— машу рукой и говорю покорно:

— Пускай будет свадьба, фу-цинь. Передай мачехе, что я согласен.

Мачеха прибегает ко мне, растроганная моим благородством, но я не даю ей открыть рта для слов благодарности, поворачиваюсь спиной и выхожу из дома.

Чего она лезет? Ей я все равно не прощу и не ее жалею. Боясь обострить болезнь отца, я поставил свою шею под брачный топор.

Сразу дом заполняется гудом, шепотом, окриком, приказом, торгом. Около мачехи толкутся тетки и какие-то женщины, нанятые для стирки, чистки и кухни.

Младший дядя — кассир моей свадьбы. Он бегает по родичам, он сочиняет займы, он раздобывает деньги. А денег надо немало, на самый худой конец тысячи две даянов.

Я ни во что не вхожу. Я в стороне от этого водоворота людей и вещей в нашем доме. Я сторонюсь молодых родичей, которые составляют списки гостей и пишут на красных пригласительных карточках любезный текст. Как тяжелы пачки этих красных карточек! Пожалуй, одной рукой не поднимешь.

Нанятый писарь сидит целыми днями, надписывая адреса и выводя иероглифы.

Дом приводится в нарядный вид. Внутри стены дома побелены, они белее бобового молока. Угловые столбы и низ наружных стен подчернены, а верхняя часть стены и оконные рамы обведены свежей красной краской.

Черно-красный стоит наш дом, как бравое лицо театрального героя.

Новая бумага, звенящая под нажимом ветра, обтягивает плотно, без морщин и дыр, оконные переплеты, сменив обтрепанные, пыльные, пожелтевшие лохмотья.

Целую неделю бьют во дворе нашего дома густые барабаны. Это женщины бамбуковыми прутьями выколачивают пыль из шуб, одеял, матрацев и халатов, распяленных и развешанных на чжу-гань — тонких бамбуковых жердях, заменяющих здесь бельевые веревки.

Тихие мелкие озера в двориках. Блестит и сохнет вымытая мебель. От вытащенной мебели беспорядок. Но еще больше его от наезжих гостей. Что ни день, то новый пяток или десяток.

Хожу, прижимаясь к стене, стараясь проскользнуть мимо этих людей, толкающихся, как рыбы в тесном аквариуме.

Уже одного нашего дома не хватает для приезжающих. Под избыток гостей нанят постоялый двор. Дядя идет к соседям и священникам деревенских храмов нанять их помещения на свадебные дни под столовые.

По столам и этажеркам расставляются вазы со свежими цветами. Цветов кругом много — только выйти за деревню и протянуть руку за ними.

Под потолком навешаны красные и зеленые фонарики, шары, кубы, октаэдры, разрисованные картинками и иероглифами. Они позванивают тугой бумагой, когда насекомые с разлета ударяются о них. В каждом из фонарей — фитилек. Он ждет торжественного вечера, чтобы зажечься.

Долго возятся с новой комнатой, назначенной для меня и моей будущей жены. Сооружают в ней одну огромную кровать, застилают ее новыми простынями и кроют пухлым одеялом на вате, с розовым квадратом скользкого шелка посредине. А в изголовьях — свежие валики подушек с нежной вышивкой по бокам — младенцами, сидящими на разрезанном гранате.

Там же расставляются в порядке шкафы, столы, все невестино приданое. Морщусь, глядя на эти пузатые темные древесные изделия. Я знаю — через месяц вся эта рухлядь, изготовленная по дешевке, потрескается и рассыплется.

Расставив все в брачной комнате, прибрав ее, водят родственников любоваться кроватью, хитро перемигиваются и подталкивают друг друга локтями. Потом двери этой комнаты запирают на ключ до дня свадьбы.

Съезжающиеся родичи обнаруживают в нашем доме страшный дефект: отсутствие шень-кан — молитвенного киота с таблицами предков.

Родственники переглядываются, потом перешептываются, наконец начинается гусиное гоготание:

— Нельзя венчать без киота и без таблиц с именами предков! Свадьба будет несчастная, ничего хорошего не получится. Души предков рассердятся за неуважение, начнут пакостить, и не только вам, но и нам. Во что бы то ни стало нужен киот.

Мачеха упирается. Она знает, что отец не станет делать шень-кан.

Родственники, видя ее смущение, распоряжаются сами. Они вызывают столяра, резчика и маляра, и вот вдоль стены литана вытягивается киот, черный, огромный, с золотом. По бокам киота — резные узоры, и в узорах этих — птица фын, райская птица, прилет которой вернет золотой век, и дракон, блюститель воды, единственное животное, присутствие которого чванные души предков согласны терпеть рядом со своими именами, врисованными золотом в тяжелые лакированные таблицы.

Расплатившись за киот, родственники, улыбаясь, сообщают мачехе, что они дарят эту вещь нашему семейству.

В Китае сказать: «Дарю», это значит: «Готовь ответный подарок».

Мы должны были возместить родственникам стоимость киота, но думаю, что и поныне мы их должники.

. . . .

Красный шелковый занавес рассекает литан на две половинки, скрывая киот от входа. Огромный ковер ложится на пол. За день до свадьбы к нам сходятся ближайшие родичи и сваты. Они будут ночевать в доме.

Они разбирают из корзины шуршащие красные розетки и прикалывают к парадным ма-гуа. По этим розеткам завтрашние гости будут узнавать распорядителей.

Является приглашенный повар и берет в свои руки управление не только главной кухней в нашем доме, с удесятеренным штатом судомоек, поварят и поварих, но и подчиненными кухнями, организованными в соседних домах.

Вечером — канун свадьбы. Семья справляет мой мальчишник. Мои неженатые товарищи по гимназии ужинают и пьют со мной. Есть пятнадцатилетки, мои ровесники, но много и малышей, лет по тринадцати, четырнадцати.

Я сижу на почетном месте и молчу, словно горло у меня заросло мясом. Я болен. Нервы мои дрожат, острая боль бегает по всему телу, вспыхивая то в глазах, то в плече, то в пальцах.

Кругом шутят и произносят тосты. Особенно важничают маленькие, которым хочется походить на стариков. Но шутки не клеятся, все видят, что мне место в больнице, а не на свадьбе, и все знают, что на свадьбу я иду силком.

Привстают и, протягивая по направлению ко мне чашечки гретого вина, декламируют отрывки стихов и пожелания счастья. Говорят:

— Сейчас, Ши-хуа, мы кушаем и пьем с тобой, а через год мы будем есть красные яйца.

Это значит — справлять рождение ребенка.

Если бы я благоволил невесте, мальчишник трещал бы шуточками по ее адресу. Будь она красавицей, товарищи хлопали бы меня по спине и говорили:

— Смотри, брат, не прозевай такой красавицы — похитят!

Но этот мальчишник проходит как похороны. На все упоминания о невесте я только хмурюсь. Поэтому товарищи стараются не упоминать в тостах даже самое слово «невеста».

Наскоро комкается мальчишник. Озабоченному дому не до моих приятелей. Больному отцу нужен покой.

Младший дядя сбивается с ног и с языка, помогая лежащему отцу принимать гостей и вести с ними визитные разговоры. А тут еще галдеж мальчишника.

Последний товарищ скрывается за ворота, кланяясь. Дядя говорит мне:

— Ши-хуа, сбегай на постоялый двор, погляди, всех ли там гостей напоили чаем, а заодно посмотри, хватает ли подушек. Мне кажется, что придется призанять и дослать.

Послушным автоматом бегу в гостиницу.

Осень, но еще тепло; только тонкая, свежая, вечерняя струйка пробегает по потной спине. Целый день я в испарине, усталый, без аппетита и пью только воду.

Эту ночь я сплю кое-как. Кроватей не хватает, даже некоторых гостей приходится уложить по двое. Ложусь на пол, на тонкий тюфячок, рядом с двоюродным братом.

Узко и жестко. Поминутно просыпаюсь. Внутренним слухом ловлю бестолково колотящееся сердце и облизываю пересыхающие губы.

Глава 8

ДЕНЬ СВАДЬБЫ

Цветочное цзяо.— За невестой.— Завтрак.— Трубачи.— Дом до краев.— Подарки.— 1600 гостей.— Красная женщина.— Сотни поклонов.— Ее засмеивают.— Обеденное путешествие.— Пьяный вечер.— Кровать

Рассвет, осенний, поздний и медленный.

Дом начинает шевелиться, как потягивающаяся собака. В полусумраке говорят люди заспанным голосом.

Мои позвонки ноют от жесткого тюфяка.

Слышу у ворот фыркающие, рявкающие, тупые звуки. Выхожу на улицу. Восемь носильщиков от Хуай-чжао-хан — «Светлая носилочная компания»[1] — осторожно составляют на землю свадебное цзяо — носилки, все затканные шуршащими накрахмаленными шелковыми цветами, между которыми торчат неистово пахнущие, еще по утренней росе не обвалившиеся комки настоящих цветов.

Сквозь запах пота харкающих и топчущихся носильщиков цветы прокладывают благоухающий коридор.

В стороне возится с бочками барабанов и воронками труб оркестр из двадцати человек. Всю ночь они ехали к нам из Теяни в лодке и сейчас ждут провожатых, чтобы следовать дальше, в деревню, где живет невеста.

Старший дядя тут же, у ворот. Он любовно оглядывает цзяо:

— Шестьдесят даянов уплачено.

И оглаживает мягкой рукой вислые кисти цветов, приподымает передний узорчатый фартук и следующий за ним простой и рассматривает мягкое душное глухое нутро этой переносной кабинки, обтянутое красным шелком.

Цзяо настраивает дядю на восторженный лад.

— Ах, Ши-хуа, во всем Китае нет свадебных цзяо роскошнее сычуанских. Другие провинции обходятся мертвыми шелковыми цветами, и только у нас, где миллионы цветов беспризорно растут, так что их стыдно

[1] Так называется бюро по организации свадебных процессий.

продавать, мы можем нагружать ткань цзинами[1] сырых пахучих растений. Разве ты забыл сказание о теяньских цзяо?

Триста лет тому назад некий Чжоу из нашего уезда был воспитателем принца Маньчжурской династии и, по своему высокому званию, имел право ездить в цветочном цзяо. Когда он кончил преподавание, император спросил его:

— Что тебе подарить?

Бескорыстный Чжоу ответил:

— Разрешите всем моим землякам теяньцам ездить в таких цветочных цзяо.

И император разрешил.

Приходит сваха с мужем. Это первые гости, которых трубачи встречают приветственными сигналами.

Она одета празднично. Шелк ее куртки блестит, шуршит и ломается. Пышный, шелковый цветок по моде воткнут в ее прическу на затылке. Золотые браслеты бьются со звоном на ее пухловатом запястье, и камни в перстнях играют так же радостно, как ее глаза.

Она хорошо заработала на моей свадьбе. Мачеха уже поднесла ей подарок, купленный у ювелира за сорок даянов.

Сваха пришла, можно отправляться.

Оркестранты вскидывают себе на спины барабаны. Кули подставляют плечи под коромысла цзяо, сваха, откинув полог, садится во второе цзяо, попроще.

Узкими, наклонными переулочками цзяо, колышась на плечах носильщиков, спускаются с пристани. До невесты сорок ли — двадцать километров. Туда они поедут в лодке, а обратный путь пройдут пешком. Часов через шесть, через восемь их надо ждать.

В восемь часов утра мы завтракаем. Я сижу за столом, сложив руки и понурясь.

Мы едим наспех, почти не разговаривая. Только слышен стук куайцзы о фаянсовые края чашек.

Дядя говорит:

— Кушай, Ши-хуа, кушай. Подкрепись, день будет трудный.

У меня кружится голова, я еле сдерживаю гримасу омерзения.

Мне противно все — и еда, и пар, идущий от чашек чая, и перешептывание распорядителей, и беготня мачехи.

Мои плечи еле выдерживают прикосновение парадного серого халата и ма-гуа, словно это не шелк, а листовое железо.

После завтрака начинается сход гостей.

Гости подходят к воротам. Трубач играет встречу, давая сигнал распорядителю.

Важные, чинно одетые родичи перешагивают порог. Человек с красной розеткой придерживает створку двери.

Все короче и короче перерывы между группами гостей. Трубач кричит за трубачом почти без перерыва. Выдохшийся горнист уступает очередь другому, набравшему полную грудь воздуха.

---

[1] Цзин — китайский фунт.

Гости идут, как на демонстрацию, как на выборы, как на интересную казнь.

Отец полулежит в зале на кушетке за шелковой занавесью. Гости подходят к нему и говорят, наклоняя головы:

— Дао-си.

Дао-си — пожелание счастья. Его говорят только в дни свадеб и рождений.

Отец, опираясь на локоть и боясь шевельнуть бревном забинтованной больной ноги, отвечает:

— Извините меня, что я не могу вас встретить стоя.

Потом гости подходят к старшему дяде, говорят ему то же и так же наклоняя голову, потом к младшему дяде, к мачехе, к женам дядей.

Откланявшись, гости разбредаются по дому.

Весь дом превращен в клуб. В комнатах по столам разложены книги, расставлен чай, щелкают костяшки мачжана, ляскают карты.

По многу лет не встречавшиеся родичи и знакомые видятся здесь и осыпают друг друга тухлым зерном сплетен и новостей.

В каждой комнате один, а то и два распорядителя. К ним подходят гости и на ухо осведомляются:

— Кто вон этот незнакомый человек, стоящий около двери?

— Нельзя ли взглянуть на комнату новобрачных?

— Где выставлено приданое?

— Как пройти в уборную?

Наш дом, все комнаты и дворики до краев залеплены вязкой человеческой массой из шелковых ломающихся халатов и лоснящихся женских причесок.

Дом уже не вмещает гостей. Новые гости заходят к нам только для того, чтобы откланяться отцу, а затем переходят в соседние дома.

Постепенно весь квартал вокруг нашего дома становится сплошным сборищем гостей, собравшихся на мою свадьбу.

Прийти поздравить нас, сесть за наш обеденный стол может всякий, кто явится сказать «дао-си» и принесет подарок. Эти подарки горой накапливаются в комнатах, что ближе к воротам. Их принимают распорядители из рук гостей и складывают грудами.

Дарят деньги, дарят корзины фруктов, но больше всего куски красного шелка и красные дан-тяо — вертикальные шелковые полосы с приветственными на них надписями. На многих дан-тяо эти надписи нашиты или наклеены. Их можно спороть и шелк использовать в пошивку. Стоимость подарка дороже стоимости обеда, который у нас съест гость. Эти подарки вроде платы за обед.

Кули, у которых нет денег, дарят свой труд. В предыдущие дни они перетаскивали тяжести, расставляли столы, утверждали шкафы, а сегодня оделись заново и вмешивают свой гуд в общее черное гостевое тесто.

Уже ясно, что дома соседей не вместят гостей. Две непрерывные ленты около наших ворот — одна входящих, другая выходящих. И тех, что выходят, распорядители уже направляют в столовые, устроенные нами в обширных дворах сианьшийских храмов.

Я слоняюсь по дому, стараясь забиться в какой-нибудь угол подальше,

чтобы не отвечать на поздравительные вопросы и не вести разговоров с родичами.

В одной из далеких комнат я мельком вижу сестренку Ши-куэн. Она играет с подругами, маленькими и пискливыми, в шахматы. Она обдумывает серьезный ход, поэтому ей не до меня и не до гостей.

Двоюродный дядя, тетки, братья и сестры, троюродные племянники и свояки, десятки четвероюродных и пятиюродных — всего не меньше ста человек одних родичей. А кроме того, все однодеревенцы, к которым когда-либо отец заходил с визитом и подарком, все члены местного гоминдана и ближайших деревень, братья из тайного союза «го-лао», пришедшие поздравить своего «да-го» с бракосочетанием первенца. Владельцы поместий, учителя, лавочники Сиань-ши и вкрадчивые, осторожные чиновники.

Два часа дня.

У нас 1600 человек гостей[1].

Во дворик врываются болтавшиеся на улице мальчуганы с криком:

— Лай-ла, лай-ла! — Едет, едет!

Мальчуганы возбужденно хватают прислугу за халаты и тянут к воротам, словно сейчас произойдет взрыв.

Гремят четыре трубача.

К воротам бросаются распорядители. Они становятся в воротах и у дверей комнат и шпалерами выгораживают в тесноте любопытствующих гостей узкий проход к дверям главной залы.

Меня торопливо переправляют в залу — негоже жениху вертеться во дворе в торжественный момент церемонии.

В рев трубачей вмешивается приближающийся гул барабанов и веселая мелодия музыкантов, окружающих цветочное закупоренное цзяо.

Шествие замыкают зыблющиеся простые цзяо свахи и родных невесты.

Специальные распорядители у ворот вынимают из всех цзяо, кроме свадебного, почтенных жирных женщин, потных от паланкиновой духоты, сверкающих шелком штанов и грузно качающихся на копытцах ног.

Оркестр становится шпалерами вдоль прохода, от ворот до порога зала. Скользкие от усталости и довольные, что путь окончился, восемь кули мелким, сбивчивым шагом несут по этому проходу невестино цзяо. От них душный запах пота и вялых цветов.

Ничего перед собой не видя, удушаемый спертым воздухом и ломаемый болезнью, я делаю два шага к носилкам. Оркестр неистовствует, барабанщики хотят изуродовать барабаны. Пулеметным треском покрывают оркестр гирлянды вспыхнувших ракет.

Две распорядительницы с розетками откидывают первый нарядный фартук цзяо, подымают второй и под руки выводят из матерчатой каморки человека.

---

[1] Один из читателей, прочтя эту цифру, сказал: «Здорово выдумано». Цифру назвал Дэн Ши-хуа, и правдоподобность ее проверена. Отмечаю это место, как эстетически опасное, наводящее на мысль о выдумке *(С. Т.)*.

Передо мной на головокружительном фоне падающего куда-то вкось оркестра возникает фигура в красном шелковом платье до пят, прикрытая густейшей красной фатой, в красных чулках и красных туфлях.

Это красное — моя жена.

Она становится со мной рядом на ковер лицом к киоту. Мы трижды кланяемся в пояс лаковым таблицам с золотыми именами предков, потом трижды родителям и, наконец, трижды друг другу.

Распорядительницы берут красную женщину и уводят в заранее заготовленную комнату. Там ее переодевают в обычное платье из пунцового шелка, дают ей перевести дух после сорока ли пути в душном цветочном ящике, вытирают запотевшее лицо, пробеляют лоб, нос, подбородок, румянят щеки, виски и веки, чернят брови и ресницы.

Пока ее прихорашивают, в зал приглашают самого старшего в нашем роде, белоусого, трясущегося на ногах дедова брата.

Я продолжаю стоять на своем месте. Самое страшное еще впереди.

Жена входит, становится рядом. Ее лицо одутловато. Начинается церемония фамильных поклонов.

Мы кланяемся старику, за ним старухе, наехавшим из дальних деревень насупленным сивобородым старшинам, строго соблюдая порядок старшинства.

Они отвечают нам на поклоны и дарят: кто — кольцо, кто — серьги, кто — браслеты, кто — печати.

Я креплюсь, чтобы не закричать,— так мучительно отвешивать восемьдесят первый, восемьдесят второй, восемьдесят третий, сто двадцатый, сто сороковой поклоны. Железный прут давно бы переломился, если его перегнуть столько раз.

Старший дядя — за моей спиной. Он подбадривает:

— Осталось немного, потерпи! Это что... в наше время не кивали, а становились на колени и били земные поклоны.

Я это знаю, это знает каждый китайский юноша. Вот почему даже влюбленные так боятся свадьбы. Надо быть слишком хорошим спортсменом, чтобы выдержать такой изнурительный матч, каким является китайская свадьба.

Галерея старших родичей подходит к концу. При каждом поклоне кровь горячей волною ударяет мне в голову. Жена выносливее. Она качается, как резиновая, и лицо ее так же спокойно и так же одутловато.

За старшими родичами очередь младших. Теперь уже мы с женой стоим, как старшины, а вся мелюзга — двоюродные братья и сестры, троюродные, четвероюродные племянники — подходят и кланяется нам.

Кланяются безмолвно. В такие дни ребятишкам родители запрещают говорить. Ребятишки — народ недисциплинированный — вдруг еще произнесут какое-нибудь несчастливое слово вроде «гроб» или «смерть». А ведь на свадьбах, в Новый год, в день рождения нельзя произносить нехороших слов, иначе может случиться несчастье.

Я не слыхал на своей свадьбе плохих слов, но, судя по «счастливости» моего брака, кто-то в этот день только и делал, что произносил эти слова.

Мы с женой одариваем молодежь. Правда, мы им подарков не выдаем,

только говорим о подарках. Подарки они получают потом, после церемонии.

Поклоны окончены. Жена уходит в свою комнату. Она сидит, ни с кем не разговаривая. Гости толпятся у дверей, рассматривают ее, как птицу в зверинце, отпускают шуточки и замечания:

— Толстонога.

— Не слишком ли будет румяниться?

— По глазам вижу — сварливая женщина.

Особенно стараются младшие.

Она сидит, не оскорбляясь и не показывая вида. Так издеваются над новобрачными во всем Китае.

Потом обед. Столы в комнатах, столы во двориках, столы в храмах. На столы ставятся чаша за чашей — блюда. Пар, идущий от сотой чаши, истаивает в ясном осеннем воздухе Сиань-ши.

Жена сидит за обеденным столом так же, как сидела в комнате, сложа руки на коленях, не прикасаясь к еде. Так велит обычай.

Около нее — две служанки, взятые ею из дома; они подсовывают ей полные тарелки и уносят нетронутыми, оправляют складки ее кофты и волосяную сетку, охватывающую собранные в лепешку волосы.

Весь квартал чавкает, щелкает палочками о фаянс, хлюпает супом с ложки, рыгает.

Свадебный обед для меня — долгое путешествие. Я хожу от стола к столу, за мной прислуга несет поднос с восемью чашками вина. Восемь человек, сидящие за квадратным столом, разбирают чашки, пьют, желают мне радости и, улыбаясь, показывают сухое дно чашек, а я кланяюсь. Хожу и кланяюсь.

Обед тянется долго. Солнце уже на закате. Я еле выволакиваю ноги — больной, зеленый и переутомленный — и вспоминаю тех туфеев, которых полицейские волокли на казнь под мышки.

Солнце садится за горы, когда обед кончается, и, громыхая стульями, гости начинают подыматься, благодарственно кланяются, рыгая и вычавкивая волокна пищи из дупел испорченных зубов.

Гости и дальние родственники расходятся. Многие из них разъедутся в этот же вечер по ближним деревням. Остаются только близкие — двоюродные, троюродные, учителя и дети учителей.

С ужином мне легче. Только десять столов, то есть восемьдесят человек. Теперь за обеденным прибором сижу я, а жена с чашками и поклонами обходит столы.

Сидящие за столом, развеселев от вина, вышучивают каждый ее шаг. Младшие тычут пальцами в старших и спрашивают:

— Кто это такой? Ну-ка, назови.

Она не знает имен, путает их, и зычный смех гостей колыханием чрев потрясает столы.

Звон ламповых стекол и абажуров и желтый керосиновый свет над столами отмечают наступление ночи.

Уже старший дядя, слышу, кончив цитировать поэтов, начинает поносить революционеров, предавших императора. Кое-кто выходит из залы поспешно, опрокидывая стул и хватаясь за стенку.

Кто-то запевает в углу тоненьким и нечистым голосом женскую театральную арию.

Когда я подымаюсь со своего места, лоснящиеся жирные головы поворачивают ко мне свои блестящие пьяные глазки, и изо ртов вываливаются обычные для свадеб слова:

— Эге-ге, торопится в спальню... Надо будет у спальни поставить караул, чтобы не сбежал от гостей.

Уже ушел к себе больной отец. Уже младший дядя, сваленный усталостью, заснул, сидя на стуле.

У меня нет аппетита. Я гляжу на пятна соуса на фаянсовом дне тарелки, и эти пятна движутся, превращаясь и в животных, и в человеческие лица, и в деревья, и в стада овец.

Меня бьет лихорадка. Пот горячим наплывом выступает на коже. Вероятно, мое лицо становится зеленым. Я слышу чью-то последнюю шутку:

— В лице изменился, не терпится.

Поддерживая друг друга, выходят веселые и осоловевшие дяди и тетки из-за столов. Пьяные храпят, раскинувшись по столам в столовой.

Я отправляюсь в брачную спальню.

Незнакомая женщина, объявленная сегодня моей женой, копошится над своим туалетом, неистово зевая.

Я сажусь на край кровати спиной к ней. Быстро скидываю одежду и забиваюсь под одеяло, ибо надо согреться от лихорадки, выбивающей барабанную дробь на моих зубах.

Сквозь усталость, болезнь и безразличие я чувствую, как за моей спиной, по другому краю кровати, вытягивается, не говоря ни слова, и оцепеневает утомленным сном моя жена.

Глава 9

МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ

У жены с визитом.— Тихий дом.— Пальцы Хуана.— Мусорщик.— Пирожки.— Партия бедных.— Тайпины

Наутро еле подымаюсь с постели. Двери и окна качаются перед моими глазами. Озноб передергивает кожу. Когда умываюсь и споласкиваю водой уши, задерживаю ладони около ушных раковин.

Какая удивительная вещь — тишина, и как устали мои барабанные перепонки от шарканья туфель гостей, от шипенья шелковых халатов, от поздравительного бормотанья, от ревущих кухонных очагов и от яростно пузырящихся на плитах сковородок.

Дядя торопит меня.

Две пары — я с женой и сваха с мужем — едем в деревню жены на поклон к тестю.

И там литан, но только не такой разубранный. И там гости, но только поменьше числом.

Опять начинается мучительное упражнение в тройных поклонах стар-

шим, и подарки, и напряженный отдых, пока мелюзга моложе нас отвешивает нам, как добрый лавочник, свои обязательные длинные кивки.

Затем обед, медленный, долгий, пьяный, сытный. Речи, поздравления, тосты.

Дэн Гуан-ин, повеселевшая, сидит рядом со мной.

Так зовут мою жену. Дэн — моя фамилия, Гуан — ее фамилия, а Ин — ее имя, означающее махровый цветок наших лугов, вроде хризантемы.

Вчера наш дом пялил на нее глаза, как на залетную диковинку; сегодня ее родня и однодеревенцы так же опасливо и насмешливо таращатся на меня. Они говорят комплименты, протягивая над столом чашечки с пьянством, но про себя и на отдаленных двориках они, вероятно, титулуют меня зеленым заморышем, сухим прутом, комариной лапой за мою болезненную вялость, отсутствие аппетита и еле поворачивающийся язык.

На обратном пути в лодке я теряю последние силы. Я стараюсь примоститься подремать, но каждую кость мою ломит и каждый квадратный сантиметр шеи болит, как ошпаренный кипятком.

Видя, что я хочу привалиться, может быть думая, что я пьян, жена пытается подставить под мою сбалтывающуюся голову свои колени, обтянутые шелком красных штанин. Но даже сквозь бред и полуобморок я с отвращением отдергиваю лицо от ее ляжки и забиваюсь носом к борту лодки. Эту женщину, пристегнутую ко мне, я ненавижу, как ненавидит каторжник бревно, прикованное ему к щиколотке, чтобы он не мог убежать.

Так растерт в порошок еще один день; ночь проходит в страшных снах, криках, соскакивании с постели и тяжелом засыпании сквозь дробь дрожи и зной болезненного пота.

Наутро я отказываюсь встать, и отец усылает меня в Теянь. Я лежу в доме товарища Хуана. Хороший дом на тихом месте и сам такой тихий, что если не перебежит по полу от одной щели к другой мышонок, чуть покалывая пол иголками ноготков, то ничего, кроме шума крови в собственных ушах, не услышишь.

Около меня всегда несколько товарищей. Я вижу по их лицам, что они обо мне беспокоятся. Они часами сидят около меня и, когда мне легче, вполголоса рассказывают гимназические новости о бойкоте и университетах. Они поят меня чаем. Их халаты колыхаются вокруг кровати, когда они бережно оправляют мне одеяло.

Они смотрят в глаза усатому хмурому доктору, когда тот, неслышно подойдя на мягких подошвах, тихо рокочет, держа мой пульс:

— Ни о чем не думайте, ничего не делайте.

Я с натугой глотаю горькое лекарство чернильного цвета. Тело укутано темным одеялом, затылок угрет теплой подушкой. Уши обложены доброй тишиной. Перед глазами покойные параллели потолочных досок. Над ними чуть царапаются жуки.

Иногда поворачиваюсь на бок, долго гляжу на половицы, такие же аккуратные, как доски потолка.

Одиночество и тишина успокаивают нервы. Я уже могу вспоминать

мачеху, не передергиваясь и не скрипя зубами. Я уже спокойно представляю себе мою Гаун-ин.

Хуан меня замещает. Ведь я — секретарь ученической организации, поэтому у Хуана больше работы и он позже является домой.

Он входит, подслеповато щурясь, наклоняется над моим лицом, разминает подушку добрыми пальцами и сует мне новую развлекательную книжку, которую я читаю с огромным аппетитом.

В этих книжках — сказки о чертях и лисицах-оборотнях. Мне смешно, я не верю в чертей и в чудесные похождения душ, но повести написаны занятно, и каждая страница нагоняет аппетит на следующую.

Врач не позволяет думать, но иногда, перемигнувшись с Хуаном и мысленно пославши врачебное запрещение в окно, мы играем с ним в шахматы.

Долго раздумывает Хуан над своим ходом. Протягивает пальцы к фигуре и, точно обжигаясь, отдергивает. Трет ладонь о ладонь, зажимая их коленями, и опять тянется пальцами к фигуре и щелкает ими над доской от робости и нетерпения.

Пальцы у него грубые, толстоватые, не то что мои. Мои пальцы длинные, как карандаши; у меня такая ломкая ладонь, что я, скрутив ее трубочкой, могу всунуть в молодое колено бамбука.

Пальцы Хуана напоминают мне о повести его собственной жизни, которая интереснее сказок о чертях.

До такого тихого и опрятного дома, в котором я сейчас лежу, Хуан дошел не сразу. Когда-то дом его семьи был очень беден. Может, это был даже не дом, а комбинация из хворостяного плетня, выкрошенных старых кирпичей и сухих бамбуковых и банановых листьев, прислоненная к чьей-нибудь глухой стене.

Мой приятель Хуан — младший из трех братьев. Их отец умер, не оставив ни медного цяня, ни даже веревки, на которой носят тяжелые вязанки медяков. Он был кули-грузчик в теяньском порту и всю жизнь свою, кряхтя и отхаркиваясь, таскал на спине ящики с мандаринами и бочки с древесным маслом и кислой капустой.

В день его смерти старшему сыну было семнадцать лет. Он работал батраком у крестьянина и получал в год десять даянов.

Мать, приютясь между щелистыми бортами сваленных на берегу барж, чинила и латала лохмотья матросов, бурлаков и кули. Сняв штаны, они сидели на корточках, курили трубку и смотрели, как ловко стальной блохой скачет игла в руках старой, усталой, грязной женщины.

Двое младших, в числе их и мой друг, были мусорщиками. Они ходили с бамбуковыми плетушками за плечами и кланялись пыльным проплеванным улицам, подбирая рыжую мандариновую кожу и косточки абрикосов, которые аптекари толкут, а затем вываривают пахнущий миндалем яд.

Они собирали скорлупу земляных бобов — их в Москве называют китайскими орехами — и продавали эту скорлупу мясникам, ибо нет лучше и благоуханнее дыма для копчения ветчины, чем дым шелухи этих орехов.

В их плетушки ложились бумажные обрывки, и тряпочки, и кости,

и отскочившие от одежды пуговицы, и ржавые гнутые гвозди, и жестянки из-под консервов.

А по вечерам у лачуги сортировали они дневную добычу и откладывали что аптекарям, что мясникам, что огороднику, что старьевщикам. А лучшие из лоскутов отбирала для своей работы мать.

Бумажные обрывки они относили на фабрики, стоявшие в бамбуковых лесах, где рабочие в горячих чанах месили веслом густую пухлую бумажную массу, которая потом, разлитая на тонкие сетки, высыхала и обращалась в рыхлую толстую бумагу для увертки пакетов в лавках или тонкую для нужников богатых людей.

За три года братья собрали несколько даянов и перестали кланяться теяньским улицам. На людном углу они завели свою торговлишку — поставили лоток с тыквенными и арбузными семечками, мандаринами и фруктами.

Торговлишка пошла. Один, два, три серебряных мао — гривенников — очищалось пользы в конце каждого дня.

Прошел еще год. Маленькие мао сплылись в большие серебряные даяны. Братья наняли комнатенку, дверью на улицу, вывесили над дверью вертикальную вывеску с приветливыми иероглифами и стали торговать мясными пирожками.

Братья не просчитались. На улице работало много мелких лавочников, весь дом которых ограничивался прилавком да каморкой сзади для спанья. Не имея кухни, где бы можно было поставить очаг, эти лавочники стали захаживать и кушать пирожки.

Пирожки понравились. Клиентура стала шире. Пирожки исчезали с прилавка, оставляя после себя в конце недели даяны.

Старшие два брата знали несколько иероглифов и с большим трудом, как мы левой рукой, могли вывести иероглиф своей фамилии. Их никто не учил. Они подглядели эти иероглифы на теяньских вывесках и учились их рисовать в минуты отдыха веткой на пыльной мостовой.

Младшего брата двое старших отправили учиться в гимназию: вырастет, бухгалтером при лавке будет.

Так возник в школе рядом с моим столом близорукий прилежный Хуан, копающийся в иероглифах с тем же тихим старанием, с которым он в свои ранние годы вечерами отбирал в грязной куче мандариновые обрывки от ореховой шелухи.

В доме братьев нет прислуги. Дом прибирают сами. Живут бедно.

Только старая мать, пристанская штопальница, уволена разжившимися сынами в отдыхальный отпуск.

Медленно идет выздоровление. Мне еще трудно заниматься делами ученической организации, но уже надоели повести про чертей. Теперь меня тянет на газеты.

— «Партия бедных» победила в России,— пишут газеты.— Эта партия выгнала знатных и богатых, она разорила города и селения, она казнит тысячи людей. Все земли грабительски отобраны у владельцев и поделены между крестьянами.

Над телеграммами отметочки телеграфных агентств Рейтера, Го-Вень, Чжун-Мей, Тохо.

Я знаю эти агентства. Несколько лет тому назад они изо дня в день трубили, что надо раздавить германских злодеев и что Китай должен встать в ряды благородных союзников.

Хотя я боюсь казней и ненавижу грабителей, но у меня нет плохого чувства против «партии бедных». Земля владельцев поделена между крестьянами. Что же, пожалуй, это не так плохо! Видел же я, как отец мой в изгнании, из года в год ковыряя мотыгой землю, стал из чиновника мужиком. Сам я проработал на монастырском поле и узнал тяжесть крестьянской работы.

Уже в монастыре меня удивило, зачем крестьянину-арендатору отдавать половину своего труда бездельникам.

Меня почти радует отнятие земли в этой далекой северной стране. Но что это за «партия бедных»?

Скажи мне кто-нибудь, что «партия бедных» — это партия рабочих, я бы не понял, что это значит. В нашей провинции нет фабрик, а батраки, ходящие с косами и вилами наниматься из деревни в деревню, кули, таскающие баржи и грузы в порту, гнущие весла на лодках и бегающие под коромыслами цзяо,— все они такие же полукрестьяне. Мысль у них — сколотить денежку и снова сесть на землю или, уже в крайнем случае, открыть лавчонку в городе.

«Партия бедных» называется по-китайски «го-ти-пай», что значит — «самое крайнее направление». И в слове «крайний» есть опасливый оттенок авантюризма, почти разбойничества.

Но мне известно, откуда ведет свое происхождение это название. Оно — из Японии. А из газет я знаю, что Япония привела свои войска в Сибирь и желает сделать с русским Дальним Востоком то же, что она сделала с нашей Маньчжурией. Конечно, японцы дадут «партии бедных» название пренебрежительное и оскорбительное.

«Партия бедных», вероятно, партия крестьян? Может быть, это учение Кропоткина? О русском анархисте Кропоткине от наезжавших в Теянь студентов мы, школьники, уже слышали. Настоящий водитель «партии бедных» — Ленин — еще не входил в наше сознание.

Я сижу в постели, шуршу газетами и сквозь скупые и враждебные строки газетных телеграмм силюсь угадать, что это за революция в северной стране.

Делят землю!

Мне вспоминаются тайпины, которые семьдесят лет тому назад подняли с юга мужицкое восстание, отрезали косы, изгнали опиум и вино, заменили Будду Христом, создали свое полуторастамиллионное государство со столицей в Нанкине, но оборвали свой поход на север к маньчжурскому Пекину, осели, затихли и были разбиты, разогнаны, истреблены маньчжурскими войсками под командой трех тысяч англичан.

Когда тайпины наступали, победоносцы и освободители, они были милостивы к имуществу и жизни граждан. Но когда вражеские войска стали их давить с севера, а предательство подтачивать изнутри, тайпины стали конфисковывать еду, отбирать вещи у богатых и искать изменников и тайных врагов.

Три миллиона людей истребили маньчжуры с англичанами, замиряя

тайпинов. Темные деревни южного Китая тяжелую ненависть к виновникам этой крови обрушили на тайпинов и на революционеров из тайных союзов. Нужны были десятилетия, чтобы через плечи неудачных повстанцев хмурые крестьяне разглядели очертания подлинных врагов Китая — маньчжурских сановников и подтянутых жестоких европейцев.

В неизвестном мне таинственном О-го (так китайцы называют Россию) «партия бедных» делит между крестьянами помещичьи земли.

А у нас, в Сычуане, рыщут деревнями, маневрируя против партизан ху-го-цзюня, поднятого гоминданом и Сун Ятсеном против Пекина, правительственные батальоны, и стареющий отец тянет свою лямку революционера и мятежника с таким же задыхающимся упорством, с каким кули вытягивают против течения тяжелый нос баржи, набитой лобастыми торговцами и подозрительными хмурыми мужиками.

. . . .

Помалу я крепну, ноги держат, голова работает спокойней. Руки не дергаются, губы не перекашиваются, злоба к жене и мачехе илом ложится на дно души.

Глава 10

МИНЬ-ТУАНЬ

Ху-го-цзюнь кончен.— Грабежи.— Совет квартальных.— Помещичьи стражники.— Вербовка.— «Очередные»

Переламывается зима с девятнадцатого на двадцатый год. Я выхожу из квартиры Хуана и селюсь в гимназии, поближе к библиотеке, чтобы покрепче подучиться древней китайской литературе. Мое решение ехать в Пекин на литературный факультет вызревает окончательно.

Домой в деревню наезжаю по праздникам да в Новый год. Отец все время дома. Дела ху-го-цзюня плохи. В спор ху-го-цзюня с северными войсками ввязывается давнишний начальник отца — Сюн Ке-у, теперь отступник от Сун Ятсена и обычный генерал-делец, владелец миллионной шелкопрядильной фабрики, желающий тишины и спокойствия.

Вместе со своим помощником — генералом Ли У-сяном — идет он карательным походом на ху-го-цзюнь. Повстанцев слишком мало и они слабы, чтобы защититься против генеральских батальонов. Дивизия постановляет распуститься. Повстанцы разбредаются по лесам и деревням, по шайкам туфеев, а командиры оседают по родным домам. Остается и отец в деревне Сиань-ши.

Глинобитными оградами, подобно городам, обнесены наши деревни. Но ограды не уберегают. Разбежавшиеся отряды разбойничают за оградами и норовят внутрь.

Крестьянам становится боязно выходить в поле. Налетят, заберут коров, захватят в плен, разорят на выкуп. Даже в цзяо, чтобы ехать из деревни в деревню, садятся с опаской. Менялы подымают процент за денежные переводы.

Кольцо разбойничьих шаек охватывает Сиань-ши вплотную. Уже грабеж выламывает двери в самом Сиань-ши. Кровь однодеревенцев кропит пороги, а бледный, перепуганный ди-бао, ответственный за безопасность села, торопится к ограбленному дому сквозь хмурые взгляды и обидную ругань своих подданных.

Идет по деревне гул: «Мало стражи. Ночные сторожа не в счет. Если не вооружимся, туфеи нас перережут». В квартальных храмах быстро собираются совещания домохозяев. Совещания гудят, и чаще всех слов на нах упоминается слово «минь-туань» — самооборона.

Совещания избирают квартальных старейшин. Те сходятся в центральном храме. Тут и староста, и ди-бао, и все важно ступающие чиновники, и деревенская знать: скупщики риса, ростовщики, учителя, владельцы рисовых, горчичных, льняных полей и лавочники.

Совещание заседает долго, рассуждает о деньгах. Купцы подсчитывают в уме и на пальцах, и в конце концов председатель оглашает постановление: создать минь-туань селения Сиань-ши, поручив заведование гражданину Дэн Я-пу.

У нас в Китае есть минь-туани, которых трудно назвать иначе как помещичьими стражниками. В южных провинциях Хунань и Гуандунь крупные землевладельцы нанимают себе людей, которые берегут их дома от налета туфеев и гнева арендаторов.

Эти стражники вышвыривают из домов неисправных плательщиков аренды и рыщут по селам, зарубая тех крестьян, которые на деревенских собраниях произносят страшные слова: «крестьянская самооборона» и «снижение арендной платы».

Часто помещик, сколотивший себе такой отряд, создает из военного дела побочный промысел. При генеральских войнах он одалживает свой отряд за хорошие деньги то одному, то другому генералу. Иногда он участвует с отрядом в походах, получая после победы на разграбление деревню, а то и целый городишко.

Если отряд его хорошо дисциплинирован и вооружен, ему легко договориться с уездными властями и стать начальником военных сил уезда, гоняться за бандитами, ходить в карательные экспедиции, помогать сборщикам взимать налоги.

В таких отрядах вызревают будущие маршалы. Выдвинувшись из сметливых рядовых, зарекомендовав себя дерзкой разведкой, сложным убийством или смелым поджогом села, взяв кассу у купца и огнем у пятки выдавив из него запрятанные деньги, такой молодчик приобретает опыт и богатство и часто, вернувшись на родину, становится организатором местного минь-туаня, а затем и фактическим царьком своего селения. Минь-туань — скользкая штука, вот почему община долго думает, кого сделать организатором.

Снова отец в работе. Он ходит на совещания, встречается с ди-бао. К нему являются какие-то мрачные, ободранные, рослые, браво держащиеся кули. Это бродяги, у которых не поймешь, откуда они пришли — с полевой работы или с очередного грабежа. Они толкутся у нас, нанимаясь в постоянные кадровые части минь-туаня.

Отец беседует с ними, выспрашивая: не члены ли они тайного союза

го-лао. Кто знает, как завтра обернутся дела, не пригодятся ли верные люди в отряде?

Одни выходят от отца с деланно беззаботных видом. Не годятся. Другие торопливым шагом проносят записочки о принятии в отряд. Эти записочки обещают им жалованье в пять с половиной даянов в месяц — чуть меньше солдатского,— квартиру на казарменных нарах, винтовку или револьвер и одежду.

Десятки их сбиваются в казарме, выбирают старшего, который нанимает для всей артели повара и кашевара.

Трудное дело быть поваром, когда кругом столько хозяев с прищелкнутыми к поясу маузерами и у всех аппетит огромный, а тунзеров, на которые надо каждого прокормить, всего восемь.

Кроме наемного отряда в минь-туань входят «очередные», по списку деревенских домов. По мужчине не моложе восемнадцати лет с дома, если только этот мужчина в семье не одиночка. Повинность нетрудная — четыре дня в месяц ученье строю и стрельбе и караулы.

В каждом доме заводится винтовка. Выйдя на задворки деревни, ежедневно слышишь военную команду и видишь людей, приникающих к земле, ползущих, вскакивающих, прыжком берущих канавы, припадающих на колени и, лязгнув затвором, выпускающих мнимую пулю в мнимого неприятеля.

Ежемесячно сборщик из канцелярии старосты обходит дома, и дома платят на минь-туань деньги пропорционально доходу, не упираясь и не оттягивая, ибо это страховка сундуков от взлома и артерий от вскрытия.

Богачи довольны, их смех звучит беззаботно в комнатах храмов над щелканьем мачжановых костяшек и звоном выигрываемых монет. Что им ничтожные даяны взносов, что им караульная повинность? Вместо них ходят на занятия и носят винтовку дюжие парни, нанятые за деньги.

Глава 11

ЖЕНА

В семье девочки дешевы, мальчики дороги. Жизнь делать должен мальчик. Память предков блюсти должен мальчик. Девочка — в кухне и в детской. Ее заметят только тогда, когда она станет матерью сына.

А если она не родит ребенка, ее гроб даже не позволят поставить в литане того дома, где она прожила всю свою брачную жизнь. Мальчика отправляют в школу. О девочках говорят отцы: невежество — украшение женщины.

Но моя сестренка учится в школе. Как это случилось? Ведь отец так безразличен к моей и ее судьбе. До сих пор не пойму, чьей милостью она попала в школу — то ли младшего дяди, то ли мачехи.

А вот жена моя неграмотна по-честному. Она годом моложе меня. Это чужая мне девушка, от которой я отворачиваюсь, как от падали.

Год-два обычно в Китае после свадьбы муж не говорит с женой ни

слова и отворачивается от нее при встрече. Так же точно поступаю и я.

В праздник, вернувшись в Сиань-ши, я вхожу в дом и по установленному порядку сперва иду и кланяюсь отцу и мачехе, дядям и теткам, говорю им вежливые слова, спрашиваю о здоровье, отвечаю на их вопросы о Теяни, и, только обойдя их всех, я могу уйти к жене.

Но я к ней не иду. Я затягиваю разговор со старшими или забираюсь в комнату к отцу, беру кисть, помогая ему проверять списки отряда, просматривать счета, подсчитывать цифры. Не отрываясь от работы, он говорит обычно:

— Ну, что же, месяца через три — в Шанхай учиться на инженера?

Я долго молчу. Он повторяет вопрос. Тогда я отвечаю:

— Меня интересует литература.

Отец сутулится над работой, ему мой ответ не нравится. Но это ничего, назавтра он будет повторять свои слова об инженере и будет рассказывать о том, как нужно китайцам строить фабрики, водить пароходы, конструировать паровозы и добывать из-под земли уголь.

А у меня в это время будут вперебивку толочься в памяти мерным, певучим, изящным звоном иероглифы танских стихов.

С женой я встречаюсь только в столовой за обедом и ужином. Тут уже разойтись некуда. Не говоря ни одного слова, я отвешиваю в ее сторону сдержанный кивок, с тем чтобы больше на нее не взглянуть. И вечером ложусь с краю широкой кровати, брезгливо ежась спиной, чтобы не дотронуться до ожидающей меня жены.

Она молчит. Китаянке не полагается приставать к мужу хныками и всхлипами, чтобы он ее любил, льнуть к нему и приглашать к себе на постель. Излишнюю чувственность жены китайский обычай карает разводом.

Если даже китаянка полюбит своего мужа, которого впервые она видит только выйдя вся в красном из свадебного цзяо, она не должна ему признаваться в этом, а если она из неграмотной деревенщины, она просто не сумеет рассказать ему о своих любовных чувствах, ибо это надо делать словами отобранными, изящными, заготовленными для влюбленных лучшими мастерами слова всех династий.

Что понимает в строке танского стиха деревенская девчонка, весь словарь которой составлен из слов: корова, лавка и вареные бобы?

Лицо жены спокойно. Не китаянке плакать о том, что муж ее не любит. Зато глаза и нос мачехи постоянно злят меня сырой краснотой.

Мачеха глядит на меня скорбно, часто отворачивается и подносит к ноздрям крохотный комочек платка. Несомненно, жена жалуется ей.

Дом мне чужд и противен. Сквозь бумажные стенки и окна меня донимает женское всхлипывание и быстрый шепотливый разговор: «Нужен внук, нет внука, как же с внуком?»

Это шепчутся мачеха с отцом и женой, видя, что я не прирастаю к жене и что, быть может, вся свадьба ни к чему, так как спать с женой я не хочу и нет надежды на появление ребенка, который превратил бы совместную жизнь двух противоположных друг другу людей в брак.

. . . .

Три линии поведения я вижу у женатой молодежи Китая. До эпохи возрождения, то есть до 1919 года, брак — это семейная повинность. На нее идут понурясь, с ней мирятся как с неизбежным, как с болезнью, как с налогом, как со смертью старика.

После эпохи возрождения иначе. Есть которые мирятся, но мирятся они злобно, с натугой, ощущая жену как проклятье, как позорную язву. Она болит, ее стыдишься, но вырезать нельзя. Эти уходят в учебу, заучиванием лекций пытаются заглушить недовольство и омерзение.

Другие впадают в декаданс, в упадочничество, они уходят в пьянство, в театральные спектакли, в пение стихов. Они ищут в публичных домах женщин образованных, изящных, умеющих декламировать и поддерживать философский разговор. Они на вопрос о жене либо отшучиваются, либо огрызаются мрачно:

— Что о ней говорить? Неграмотное животное, где-то там, в деревне.

Третьи не мирятся никак. Они изыскивают любой способ, чтобы развязаться, развестись, если можно, договориться с женой. Оформляют в суде допущенный китайским обычаем развод по обоюдному согласию.

Если жена не согласится на развод, такие тайком, набравши денег в долг, утекают, а вдогонку им рычит проклятие семьи, которую ждет бракоразводный процесс и мучительный, выплачиваемый иногда несколькими поколениями, долг.

А если нельзя ни развестись, ни удрать, они вешаются на тонких шнурках в клозетах или их взбухшие коричневые трупы выносят воды речонок в июльские ливни.

Я принадлежу ко второй группе. Присутствие жены мучит меня, как нарыв, как капель холодной воды. Меня не особенно тянет к женщинам.

Это безмолвное, безусловно чужое, некрасивое тело, подсунутое ко мне в кровать для того, чтобы в доме запищал продолжатель рода Дэн, меня раздражает. Вычитанная мною в десятках книг любовь кажется глупой фантазией стихотворцев-утешителей. Мне начинает казаться, что никакой любви на свете нет. Это такие же враки, как рай и ад буддийской библии, читанной мною в монастыре Бань-Пен.

Нет любви. Есть только бумажный мешочек, в который сажают шелкопрядов — самца и самочку, мешочек закрывают, а затем автоматически получают нужное количество яичек. Есть только брачная постель, в которую засовывают тупых, запуганных девушек и яростно отбрыкивающихся мальчишек, а потом начинают нянчить карапузов, зачатых нехотя, с отвращением.

Лишь в университете, наблюдая свободные романы студентов и студенток, замечая, как тянутся люди друг к другу и просветлевают при появлении другого, словно у них внутри электрический фонарь зажигают, я убедился, что так называемая любовь может быть реальностью.

Но все-таки и в университете она шла мимо меня. Были курсистки. Я знал, что им нравлюсь. Они мне улыбались и, когда я проходил, оборачивались и глядели вслед.

Были сестры товарищей, которые прогуливались со мной вместе по улицам, ухватившись беспомощными пальцами за мою ладонь и прося декламировать. Я знал, что нравлюсь им, но они мне были не нужны.

Сейчас уже университет за моей спиной: но даже сейчас мне кажется, что никогда не любил я ни одной женщины, ни женщины меня. Я не знаю, любила ли меня Чен Цзай-ин. Мне иногда кажется, что отец был неправ, не допустив моего брака с Цзай-ин. Я наблюдал много женитьб, и во всех без исключения заметил одно — жена принимает веру мужа, а не наоборот.

Не Цзай-ин превратила бы меня в реакционера, а я сделал бы из нее гоминдановку, радикалку, сочувственницу советской Москве.

Я знаю девушку-шанхайку. Она училась на политическом отделении Пекинского университета. В частной жизни она была тихая, как птенец, конфузливая, широколицая и поражала светлыми, редкими в Китае, волосами, за которые ее прозвали студенты «желтая шерсть». Но на митинговых трибунах и под флагами демонстраций не было девушки яростнее ее.

Она любила по очереди: коммуниста, правого гоминдановца и шовиниста из партии цзинь-будан — и, полюбив, принимала политическую веру каждого. Наконец она вышла замуж за коммуниста, недавно казненного Чан Кай-ши, и снова стала коммунисткой. Сейчас она в шанхайской тюрьме, если только ее не казнили.

. . . .

Так ползут черные мои месяцы после свадьбы. Кажется, на вашем русском языке эти месяцы называются «медовыми».

В доме атмосфера совершённого преступления и тоска, как о покойнике. Я уже привыкаю без всякого возмущения не замечать жену, слушать мачехины всхлипы, пропускать мимо ушей отцовские разговоры о Шанхае и высшем инженерном училище.

Мачеха приходит ко мне, ее трясет. Водя платком по мокрому лицу, она кается, что женила меня, она согласна, что это ошибка, она просит простить ее:

— Я не знала, что так будет. Прости, Ши-хуа.

Еще немного — и она сядет на пол. Какая она впалогрудая, худая, жалкая. Слова бегут из ее гортани быстрей и бессвязней, чем капли из глаз.

Я потрясен. Я касаюсь ее локтя. Мне становится жалко и ее, и себя, и даже ту малоподвижную девушку, которую против воли впихнули в наш дом и сделали моей женой.

Я силюсь успокоить мачеху. Я говорю ей:

— Не надо плакать. Что вы? Зачем себя мучаете? Все будет хорошо.

И она, кланяясь, взволнованная и униженная, всхлипывая и подвизгивая, уходит в свою комнату.

В этот вечер, садясь за стол рядом с пустым отцовским креслом, я впервые спрашиваю чужую девушку:

— Куда ушел отец?

Она изумлена и отвечает:

— Наверное не знаю, но, кажется, к старосте.

Мачехино лицо светлеет. Такое блаженство бывает на лице матери, родившей долгожданного ребенка.

Три, четыре таких фразы за день я адресую жене:

— Заходил ли товарищ?.. Чем заболел дядя?.. Почему сестра не ходит в школу?..

Вот и все. Я приноравливаю эти скудные вопросы к тем минутам, когда рядом мачеха.

Гуан-ин явно тянется ко мне. Ей мало быть женой. Ей надо стать матерью. Какой же без этого брак?

Физиология сильнее ненависти и цепче злобы. Общая кровать делает свое дело. Но нежности у меня нет. И когда на следующее утро жена начинает с ласковых слов и хочет помочь мне одеться, я по-прежнему брезгливо отвожу ее протянутую с туфлями руку, натягиваю на себя одежду и выхожу из комнаты, обратив на нее внимание ровно столько, сколько нужно, чтобы человека обидеть, загнать в себя, снизить на полголовы, спрятать улыбку и погасить глаза.

Я выполняю любовные повинности тупо, сжав зубы, не запоминая. Я вижу, моя озлобленность перекидывается и на жену. Мне это безразлично.

Она просится съездить к своим родным. Оттуда приезжает повеселевшая, а потом снова быстро затихает, пока не придет пора предупредительно ответить на мой вопрос, бросаемый ей как кость собаке.

Отъезды к родным становятся все чаще. Я не протестую, я даже доволен. Пусть пореже появляется передо мной эта ненужная женщина с неприятным лицом и корявой деревенской речью, которой я обречен на всю жизнь.

. . . .

Плывет смягчаемое горным ветром желтое сычуанское лето 1920 года.

Генерал Сюн Ке-у вылавливает по деревням остатки ху-го-цзюня. Тревожные люди прибегают и шепчут отцу:

— Беги!

Коротки сборы привыкшего убегать из-под топора и умирать заживо. Он торопится уехать в дальний замок мужа старшей Чен. Замок в глуши, и комната обойдется отцу задешево. Управляющий замком в лицо отца не знает, и поселиться там можно под чужой фамилией.

Перед отъездом — уже носильщики перекашливаются у ворот, а мачеха защелкивает скобы чемодана — отец подзывает меня и говорит, словно командует:

— Засиживаться здесь нечего. Поедешь в Шанхай учиться на инженера.

Я молчу.

— Возьмешь у мачехи сто даянов. Сто даянов — это немного, но, к сожалению, все остальное ушло на твою свадьбу.

Я молчу.

— Сотни хватит доехать и пробыть в Шанхае месяц. За это время дядя и мачеха наскребут в деревне денег и вышлют тебе. Четыреста в год, я думаю, хватит. Телеграфируй немедленно, как только приедешь.

Молчать дальше неудобно.

— Хорошо, я протелеграфирую. Будь спокоен, фуцинь. Счастливого тебе пути. Береги себя.

Через два месяца после отцовского отъезда я укладываю свои чемоданы.

Кули взваливают их на свою спину, чтобы отнести в лодку, которая отвезет меня в Чунцзин к пароходной пристани.

Мачеха, жена, сестры и тетки провожают меня до пристани. Мачеха гладит меня по рукаву и спрашивает на прощанье:

— Куда же ты едешь, Ши-хуа?

Я оглядываю женщин, улыбаюсь, кланяюсь им, желаю счастливо оставаться. Волна булькает, берег отодвигается. Женщины, уменьшаясь в размерах, подымаются по косогору, не получив ответа на свой вопрос.

В Чунцзине ждут меня спутники по поездке и билет на пароход, идущий из Чунцзина в Ичан.

Куда ехать, я давным-давно решил с приятелями. Семнадцать лет тому назад, в год моего рождения, отец, не сказавши никому, уехал в Японию. Сейчас я, не сказав никому, еду в Пекин.

Глава 12

РЕКА И РЕЛЬСЫ

Нас четверо.— Роберт Доллар.— Классы и трюм.— Контролеры.— Ночные лодки.— На палубе.— Я оглушен.— Пробую рельсы.— В поезде.— Ресторан

Мы едем вчетвером: я, Хуан, товарищ Мын и двоюродный брат Дэн Шан-су, тот самый студент Иочжоуского университета, который огорчил своего папашу отказом жениться на сосватанной невесте. Он — молодец. Он выдержал характер. Недавно его суженая умерла, и он женился на студентке, которую сам себе выбрал.

Несколько приятелей провожают нас. Они вешают мне на палец пакет с мандаринами, просят поскорей выслать им университетские программы и написать про Пекин, про студентов, про антияпонский бойкот.

Пароход стоит посреди реки. Перевозчик везет нас к трапу, уже облепленному десятками лодок.

На берегу плещутся платки приятелей, а с мачты машет полосатый с собранными к древку звездами американский флаг. Пароход принадлежит американской компании Роберт Доллар. Сейчас в Сычуане война, и все китайские пароходики либо позахвачены генералами и возят бригады и пушки, либо курсируют в провинциях нижнего Янцзы.

Роберт Доллар — не дурак. Став монополистом, он сразу подымает цены на билеты. Раньше билет третьего класса от Чунцзина до Ичана — полтора дня езды — стоил десять даянов. Вверх по течению — двадцать. Сейчас вместо десяти стало сорок, но выбора нет, и я эти сорок плачу из своих ста. Тяжелые стопки монет оттягивают мои карманы. Кредитки брать неудобно: в разных провинциях они стоят по-разному. Только серебряные даяны с профилем Юань Ши-кая по всем городам Китая в одной цене.

В первом классе ездят мандарины, фабриканты. Собачья Голова и его партнеры ездят в первом классе.

Но есть класс еще выше первого — это третий этаж парохода, со специальными каютами для иностранцев. Туда не пустят даже Собачью Голову, даже даоиня, сколько бы он ни заплатил денег.

Правда, такой иностранный класс есть только на пароходах, ходящих от Ичана вниз. Наш пароход маленький и плоскодонный, он ходит по верховьям Янцзы.

Третий класс — в трюме. Люди вповалку лежат на вещах, между вещами и под вещами. Проходя, наступаешь на чью-нибудь ногу. Ждешь, что на тебя заорет вон та голова, а орет вовсе другая, на первый взгляд к отдавленной ноге не относящаяся.

Человеческий скелет не приспособлен изгибаться так, как надо изгибаться пассажиру в трюме парохода Роберта Доллара. Храпящие человечьи головы, с задранным в потолок раскрытым ртом, свешиваются с чемоданов.

Запах заспанных одеял и нестираной одежды стоит в трюме, не протискиваясь в вентилятор.

От трюма мне делается тревожно. Я вспоминаю — в такой же точно человечьей лапше я спал в ту ночь, когда бежал от полицейских.

Люди мучительно терпят до последней минуты, прежде чем двинуться в уборную. Харкнув, долго ищут не заставленную вещами щель в полу, куда можно опустить длинный плевок.

Иностранный контролер в форменной фуражке, пришедший в трюм проверять билеты, идет по одеялам, человечьему мясу, теплому, как одеяла, и дергающимся ногам, отпихивает эти ноги и ругается, хотя пассажиры не виноваты перед ним ни одним обидным словом.

За контролером — служащие в белых кителях. Они командуют спящим:

— Открывай чемодан! Развязывай тюк!

Быстрыми руками перегребают они нутро заботливо уложенных узлов и ящиков. Руки досмотрщика заезжают под столбик книг в моем чемодане. Я не знаю, что они ищут,— может быть,опий, может быть, оружие? Во всяком случае не контрабанду: это не таможенники.

К вечерним сумеркам пароход останавливается против города Ваньсяня. Под черной горой вдоль реки тянется длинный город, и гребенка барочных мачт у его берега заслоняет пакгаузы. Над городом большое серое пятно, зажатое в черноту громадного сада,— это педагогическое училище.

Нефтяные цистерны Азиатской компании и Стандарт-Ойл стоят, точно богатое родовое кладбище круглых цементных могил. А еще эти цистерны похожи на стойбище монгольских юрт, только светло-серых.

Против Стандарт-Ойля наш якорь ныряет в воду. Лодки, словно железные опилки на магнит, лезут к пароходу. Скоро наш пароход оказывается, как палец, в кольце лодочных фонарей и яростных криков торговых зазывал.

С лодок продают стаканами пиво, ждут, когда пассажир его проглотит, и ловко ловят кинутый обратно стакан.

— Вино, теплое вино! — кричат торговцы.

Душный пар идет от жаровен, на которых ворчат сальные пирожки с мясом и булькает лапша.

Проголодавшиеся пассажиры покупают яйца, колбасу и холодный студень. Целые плавучие столовые, крытые полукруглым навесом, освещенные внутри керосиновыми лампами, бьются о борт парохода, зазывая к себе усталых за день пути торговцев, привыкших как следует поужинать.

Игорные лодки гудят выкриками игроков. Там щелкают кости мачжана, и медные деньги перебрасываются от одного игрока к другому.

В трюме воздух горячий и неподвижный. Вместо кислорода он наполнен отбросами человеческих легких и кишок. А полукруглые лодочные короба продувает свежесть речного ветра.

За игорными лодками подплывают, покачиваясь, публичные дома. Через их борта глядят женщины с набеленными лицами и золотом в ушах и на запястьях. Из-под коробов чуть поскрипывают ху-цзины и тонкий фальцет напевает вполголоса.

Неистовые зазывалы орут, выхваливая имена и достоинства женщин. Пассажиры долго глядят на женщин, звенят монетами в карманах, видимо, подсчитывая, а затем перегибаются через борт, наставляют ладони рупором, и плавучий публичный дом под воинственным ударом кормового весла начинает проталкиваться между другими баржами к пароходному трапу, и зазывалы принимают на бережные ладони тучный зад слезающего с парохода клиента.

Оставшиеся, что победнее, завидуют. Счастливцы будут ночевать на открытом воздухе с женщиной, которая в вечерних огнях отсюда, с пароходного борта, кажется первосортной красавицей.

Всю ночь стоит темный комод парохода в Ваньсяне, окруженный мелким золотом движущихся лодочных фонарей. Ночью ехать нельзя: опасны громовые пороги и тихие мели громадной Янцзы.

Рассвет. Пароходный гудок выпугивает сонливых, румяных и отхаркивающихся пассажиров из-под лодочных коробов.

Спешно доторговывают последними пирожками и стаканами пива. Ваньсянь уходит назад. К обеду мы в Ичане. Там пересадка на глубокодонный пароход, идущий в Ханькоу.

В Ичане пароходов сколько угодно. Садимся на китайский. После ночи в трюме решаем пожить вовсю. Берем билеты во втором классе, по восемь даянов за полтора дня оставшегося пути.

Едем как почти миллионеры. У второго класса есть палуба. На ней можно сидеть в плетеных шанхайских креслах. По ней можно гулять, взволнованно говорить о Пекине и подшучивать над конфузливыми дочками многолюдного купеческого семейства, переезжающего из одного города в другой.

По палубе ходят продавцы книг. Они предлагают скучающим пассажирам рассказы шанхайских изданий и толстые романы. А если пассажир особенно скучает и отнекивается, они высовывают из-под пачки книг другие, с изображенными на обложках актрисами и куртизанками — это порнографические книги.

В Ханькоу кончается водный путь и начинается путь железный. Пятнадцать минут нахождения на пристани Ханькоу превращают меня в рубленое мясо. Грохот телег и пароходных подъемных кранов, пыль от падающих тюков, заунывное подвывание идущих в шаг носильщиков, страшные телеги на вздутых колесах, телеги без дышл и лошадей, те самые автомобили, которые я до сих пор видел только на рисунке. Бегающие с пронзительным звоном люди, запряженные в коляски, а главное — пыль, которая забивается в ноздри, в глотку, в глаза, в уши и противно оседает между пальцами, суша кожу.

Я ничего не понимаю. Агенты гостиниц размахивают фонарями с иероглифами своих заведений и нагло хватают нас за рукава, крича в самое ухо свои приглашения.

В сравнении с этим ярость, шум и движение пристани Теянь — спящий ребенок. А Сиань-ши?.. Ее, вероятно, совсем не существует. Приснилась мне просто эта Сиань-ши.

Я глохну от грохота грузовиков. Мои глаза не выдерживают подъемных и перевозочных снарядов. Мои уши висят лохмотьями по бокам головы. Я готов броситься назад, вверх по Янцзы, сквозь любые трюмы и ругань чиновников, лишь бы забиться в тихую комнату нашего сианьшийского дома и среди ночи услышать настороженным слухом дальний бой гонга в руках ночного сторожа.

Двоюродный брат смеется:

— Держись, Ши-хуа, это тебе не деревня.

Он в Ханькоу не первый раз. Он отталкивает агентов гостиниц, ловко переходит улицу и, не боясь автомобилей, ведет нас в знакомый дом.

Молодец Шан-су, он мне нравится. Его уверенный голос восстанавливает мое равновесие. Мне стыдно, что я собрался отступить, не доехав до Пекина. Если уж я сумел пойти поперек отцовской воли, то разве ханькоускому грохоту и портовой пыли сломить меня?

Вокзал пахнет каменным углем. Паровоз меня пугает. Он тяжелый, жирный, и я боюсь, что гремящий пар взорвет его. Особенно меня смущают рельсы. По книжным рисункам мне казалось, что шпалы железные, а рельсы гораздо толще. В действительности же рельсы — просто железная полоска, обклепанная в обе стороны. По-моему, она не выдержит тяжести многоколесного котла. Я соскакиваю на шпалы и опасливо пробую пальцами закраину рельса. Не надламывается. Становится спокойнее, но все-таки...

В третьем классе только сидячие места — по два на скамеечку. Полно солдат. Их вещами завалены сетки вдоль стен, а винтовки стоят у них под руками.

Солдаты уже спят, развалив колени на оба места. Приходится их просить подвинуться. Они грубо отругиваются, подвигаются неохотно и поглядывают внимательно на наши чемоданы, словно взвешивая их.

До Пекина тридцать шесть часов пути. О сне думать нечего. Солдаты шляются из вагона в вагон и гурьбой вылезают на остановках. Они волокут узлы, вынутые из сеток. Как бы не прихватили наших чемоданов. Пока двое дремлют в душном вонючем зное под треск колес, храп, харк и ругань солдат, один караулит, клюя носом и пытаясь разобрать поля,

дома и деревья в бегущей мимо черноте. Дэн Шан-су остался в Ханькоу. Ему на юг.

Пробую прислушаться к разговору вокруг. Трудно. Не понимаю. Северный язык чужд моему сычуанскому уху. Там, где я говорю «сы», они говорят «ши». Они говорят — Тяньцзинь, а я произношу Чендин. С большой натугой разбираюсь в вопросах, которые задают мне соседи.

Утром вижу новую страну... Поля разграфили горизонт. Мало, совсем мало деревьев — только вдоль каналов да над вздутиями деревенских могил. Воображаю, как дороги в этих краях дрова. Самое частое здесь дерево — телеграфный столб. Он цветет фаянсовыми цветами.

Начинаем голодать. Глотка запекается. Хочется есть, а особенно пить. На каждой станции кидаемся к окну, ищем среди разносчиков водоносов. Их нет. Кипятка на станциях тоже нет. Безобразие — дорога во французских руках. Вон они, франты с блестящими пуговицами, ходят по перронам, брезгливо командуя.

Дотерпевшись чуть не до крика, я решаю идти в вагон-ресторан. Отправляемся вдвоем. С опаской перебегаем из вагона в вагон над лязгающими буферами. Вот второй класс. Здесь тоже плотно и тоже двухместные сиденья, но воздух чист, люди сановиты, их шапочки лоснятся, и сок поедаемых фруктов лакирует их губы.

В первом классе мы идем коридорчиком, заглядывая в купе, где мягкие клеенчатые диваны, а на них пледы, а на пледах важные очкастые чиновники или громко хохочущие компании зубастых японцев.

Иностранцы в светлых костюмах.

— Янь-гуй-цзы,— говорю я товарищу.

— Янь-гуй-цзы,— повторяет он.

Янь — значит иностранный, а еще янь значит баран, и фраза янь-гуй-цзы напоминает нам о выпученных серых бараньих глазах иностранцев. Мне смешно. У китайцев глаза черные.

В дверях вагона-ресторана нас останавливает лакей в белом с зелеными оторочками халате. Он осматривает нас, особенно подолы наших халатов, и говорит:

— Что вам надо?

— Мы хотим пообедать.

Он продолжает глядеть и отрезает:

— Нельзя.

— Почему нельзя? Ресторан для всех.

— Сказано — нельзя.

И в ту же минуту отскакивает, пропуская с поклоном мимо себя иностранца в полосатом сером костюме, пыхающего сигарным дымом.

— А кроме того, обед стоит два даяна.

— С обоих? — говорю я.

Лакей усмехается, ничего не отвечает и прикрывает дверь.

Мы возвращаемся к себе в третий класс сконфуженные и злые.

Ремесленник, ездивший из Пекина на родину хоронить свою бабушку, участливо объясняет нам:

— Туда без ма-гуа нельзя, не пустят. А главное — дорого, бросьте. За два даяна у станционных разносчиков можно целую неделю питаться.

Мы покоряемся и на следующей же остановке покупаем утку, красную, зажаренную в перце пекинскую утку, и твердокаменные груши. Едим утку, разрывая пальцами, выбрасывая кости в окно.

Поля, тычки пагод, баржи на каналах, трубы паровозных депо, холмы кладбищ и фанерные крашеные генералы на зубцах городских стен. Поперек генералов рекламная надпись: «Лучшие сигареты».

Глава 13

ПЕКИН

Досмотр.— Янь-чэ.— Ло-чэ.— Пыль.— Гостиницы.— Куда поступить? — Живу в долг.— Две радости.— Хуан на почте

Приехавшие люди весом тел и тюков наваливаются на длинные столы, около которых ходят чиновники в форменных фуражках. Здесь досматриваются вещи.

Я думаю, что в Китае нет места, где бы таможенные чиновники не осматривали вещи и не брали пошлину. Это понятно — заведуют нашими таможнями иностранцы, и деньги эти собирают в погашение займов, данных ими нашим президентам, премьерам и военным партиям.

Иностранцы, за которыми кули на плечах несут кожаные чемоданы, проходят мимо столов нераспотрошенными. У них пропускные свидетельства — ху-чжао.

Чего долго смотреть наш чахлый студенческий скарб, завернутый в толстые стеганые одеяла?

Увязав вещи, мы, трое провинциалов,— я, Хуан и Мын — сквозь арку, просеченную в толще пекинской стены, проходим на площадь.

В Ханькоу мне пришлось слышать телефон. Правда, не говорить по нему, а только слышать его пронзительный птичий звонок. Здесь, на площади, словно тысяча телефонов зазвонили, вызывая нас.

Это разъезжают рикши, взвалив на свои субтильные колясочки туши седоков, а за ними следующие рикши везут чемоданы.

Слово «рикша» я узнал много позже от моих русских профессоров. По-китайски такая колясочка называется «янь-чэ» — иностранная повозка. И завели ее в Китае иностранцы не так давно, лет тридцать тому назад. Колясочка привилась и кормит сейчас сотни тысяч кули, главным образом в приморских городах и в городах, расположенных на ровном месте.

У нас в Теяни и Сиань-ши янь-чэ нет и не может быть, ибо по каменным ступеням горных троп или по уклонам дорог человеку коляску не вытянуть.

Пятнадцать янь-чэ бросаются на нас с криком:

— Ко мне! Ко мне!

Они задирают оглобли колясок над нашими головами и рвут нас так, словно мы говяжьи оглодки, а они — стая изголодавшихся собак.

Но мы не уверены, полагается ли нам ездить на янь-чэ. Мы недоверчиво осматриваем вздутые резиновые шины колес на тонких спицах и

отодвигаемся к тому концу площади, где стоят ло-чэ. Это на огромных, железом кованных колесах безрессорные повозки, крытые полукруглым матерчатым коробом.

Ло-чэ — самое древнее в Китае орудие передвижения. Его рисуют на всех картинах. Ло — значит мул, чэ — повозка. Еще зовут ее цзяо-чэ.

Мы забираемся в душный короб, откуда два крестообразных окна позволяют нам оглядывать Пекин. В такт мелкой лошадиной рыси нас трясет до одурения, до икоты.

Улицы полны бегающими людьми, запряженными в колясочки. Солидные седоки сидят неподвижно, словно забинтованные, и только большим пальцем ноги настукивают кнопку сигнального звонка, вделанного в подножку колясочки.

В стеклянных каретах, на медленных лошадях проезжают домовладельцы, хозяева антикварных лавок и богатые менялы со своими женами и дочерьми.

Ветер гремит туго натянутой материей короба. Небо бронзоватого цвета. Это «да-фын» гонит с запада желтоватую пыль.

Европейцы называют его тайфун.

Пыль скрипит на зубах, высушивает ноздри, черным горошком садится в углах глаз, пудрит мокрые от жары лица. Наши носовые платки, которые мы прижимаем к ноздрям, задыхаясь от воздушных нечистот, давно стали похожи на кухонные тряпки.

Пыль — это первое, что обращает мое внимание в Пекине. А еще — маньчжурки, высокие женщины в длинных халатах, с нарумяненными висками и веками. Высокие прически над их теменем в виде русской буквы «т».

Такие прически я видел только в театре, а здесь они прямо на улице.

Разносчики проходят улицей или сидят на перекрестках. Они наигрывают на инструментах, колотят в гонги и барабаны и поют на непонятном мне наречии свои зазывы.

Ло-чэ сворачивает с больших улиц, где в окнах магазинов и по фасадам уже в синеве сумерек вспыхивают, без помощи спички, цепочки электрических ламп, и везет нас между глухими стенами хутунов — переулков. А куда везет, мы уже давно от тряски перестали понимать.

Конец езде. Ло-чэ останавливается перед воротами небольшой гостиницы.

Видимо, наш возница в деловой связи с этой гостиницей, и за каждого из нас ему будет уплачено.

Комнаты — скудно меблированные и без кроватей. Тут я впервые вижу «кан» — постоянный настил, занимающий треть комнаты.

Я исследую этот настил. Оказывается, что под ним пусто. Сейчас лето, и вход в эту пустоту заложен досками. А зимой туда ставится жаровня, и, выходя из-под настила, тепло укрывает спящего вторым одеялом.

Самое страшное происходит через несколько минут, когда улыбающийся хозяин гостиницы сообщает нам, что за жилье и еду он будет брать с каждого всего только восемьдесят центов в день.

Восемьдесят центов в день — это двадцать четыре даяна в месяц на одно жилище и еду. А платье, учебники, а передвижение?

Наше совещание коротко. Скорей писать письма землякам, живущим в Пекине, чтобы они вызволили нас из этого проклятого места, где обдирают новоприезжих провинциалов. Почта аккуратна. Через день мы у земляков. Они нас журят и учат:

— Самое лучшее — это устроиться в казенном общежитии. Там койка в двухместной комнате обходится на учебный год шестнадцать даянов. Но сейчас мест в казенном общежитии не найти. Надо пока поселиться в меблированных комнатах специально для студентов, где еда и место на кане обойдутся в месяц десять — двенадцать даянов.

Десять даянов — это неплохо, хотя комната далековато — десять ли от университета.

Квартирная операция разъединяет меня со спутниками.

Сейчас надо решать самое трудное — какой выбрать факультет.

Обложившись университетскими уставами и планами занятий, я размышляю, как быть.

Отец прав, предпочитая специальные факультеты. Но химикам или агрономам надо специально платить за пользование лабораторией, и очень дороги книги. Литературный факультет много дешевле.

А вдруг провалюсь на экзаменах в университете? Надо бы обеспечиться еще где-нибудь.

Подаю второе ходатайство в медицинский институт. Заполняю длиннейшую анкету.

Но, поводив носом над моим гимназическим свидетельством, письмоводитель протягивает его мне через барьер обратно:

— Возраст не подходит. Через год можете.

Из западной части Пекина, где я живу, бегаю в северную к огромным университетским дворам.

Уже разменяна последняя пятидаяновая бумажка. Уже полтора даяна истрачено на телеграмму домой с просьбой о подкреплении.

А в газетах нехорошие вести. У Пей-фу и Цао Кунь нажимают на войска пекинского правительства.

Письма и деньги в Пекин из Сычуана идут с трудом и долго.

Хуан, с которым я встречаюсь в университетском коридоре, хватает меня за руку и говорит:

— Как мы с тобой удачливы! Вовремя успели проскочить! Сейчас война перерезала все сообщения с югом и западом.

Меня такая «удачливость» утешает мало. Деньги дотаивают. Уже разменян последний даян. Еще несколько дней — и отдано последнее мао. Начинаются дни неприятных разговоров с земляками, у которых у самих в кошельке еле-еле.

Лето в разгаре. Ливни промывают пекинские хутуны. Янь-чэ везут седоков, разбивая волну животом. А потом ливень стекает и испаряется, а солнце прокаливает пыльный Пекин так, что, кажется, клади его на наковальню и куй.

Я экономлю на чем могу. Утром, не евши, бегу за десять ли в библиотеку. К полудню теневой стороной бреду домой.

Знаю, первый, кого встречу, будет слуга со все удлиняющимся столбцом моего счета. Он войдет в комнату и начнет говорить о том, что

пора рассчитаться, что пришло время налога, что дорожают продукты.

Я буду долго объяснять, что надо потерпеть, что я несомненно заплачу и что мне из дома уже выслали деньги, но что они не могут дойти из-за войны. Голос будет звучать нерешительно — чем я поручусь, что семья мне действительно выслала деньги! Может быть, разъяренный моим ослушанием отец запретил родичам водиться со мной?

Я прошу слугу дать мне обед. Слуга молчит и уходит.

Проходит полчаса. Час. Обеда нет. Я слабею, не евши со вчерашнего вечера. Мозгу не хватает крови, мне нечем соображать. Иду к хозяину. Улыбаясь, кланяюсь и прошу его накормить меня обедом, высказывая ему надежду, что завтра будут деньги.

Хозяин отмалчивается. Лицо его безразлично. Долго надо стоять около него, кланяться и говорить, улыбаясь, любезности, пока не надоест ему самому эта канитель и он не прикажет слуге подать мне еды.

Мне приносят какие-то кухонные остатки. Аппетит мой давно уже перешибло. Желудок отурчал, слюна сбежала.

Противно есть. Еда заваливается камнем под ложечкой. А противнее всего вспоминать, как я упрашивал хозяина, улыбаясь и приседая, и как я буду улыбаться и приседать на ту же тему завтра. Наступают дни экзаменов. Все экзамены письменные. Так было в старину в мандаринских клетках. Так оно и сейчас в наших новейших университетах.

Первые три дня самые ответственные: математика, китайский язык и один иностранный, обычно английский,— он в наибольшем ходу в китайских средних школах.

На четвертый и пятый день я сдаю историю, геологию, зоологию, ботанику, минералогию, химию и физику, то есть все естествоведение. Затем месяц отдыха, если только тревогу плюс голодовку можно назвать отдыхом.

Целый месяц надо ждать результатов экзаменов. Целый месяц дергаются нервы при мысли: а ну, если провалился? А провалиться нетрудно. На триста университетских вакансий держат две тысячи человек. А есть специальные высшие школы, в которых число вакансий еще меньше.

Все радости разом.

Деньги из Сычуана. А из университетской канцелярии справка — я выдержал, я принят, я студент. Скорей развязаться с меблированными комнатами и перебраться в университетское общежитие. А главная радость — самовольный отъезд в Пекин не осложнил моих отношений с отцом.

Зато грустен Хуан. Он провалился в педагогический казенный институт. Из тысячи державших там приняли пятьдесят. Хорошая отметка у него значится только по английскому языку.

Ни в какой другой, кроме казенного института, он держать не мог, потому что платить ему за ученье нечем.

Понурясь, говорит он мне, что не хочет обратно в Теянь к братьям и лавкам. Я ему сочувствую старательным сочувствием счастливца. Земляки изобретают выход.

Ханькоуская почтовая контора требует студентов, знающих хорошо английский язык, в почтовые чиновники.

Хуан английский язык знает хорошо. Переписывая в гимназии от руки целые учебники (не было денег на покупку), он запомнил огромное количество терминов.

Мы прощаемся с ним на том же вокзале, с которого вступили в Пекин три месяца тому назад.

Письма его подробны. Экзамен в Ханькоу для поступления на почту он выдержал, но почтовая работа его недолга.

В каждой большой почтовой конторе есть специальный инспектор, обязанность которого незаметно следить за чиновниками, исправно ли работают, не грубы ли. Отзывы этих инспекторов определяют судьбу подчиненных.

Инспекторы эти должны работать конспиративно, но в действительности они стараются дать понять чиновникам, кто они такие, и горе тому, кто не обратит внимания на желания и вкусы инспектора.

Это горе и случилось с Хуаном. Он не дал взятки инспектору, не сводил его ни в театр, ни в ресторан, ни в чайный дом. Инспектор написал о Хуане, что он груб и так слаб глазами, что даже адреса прочесть не способен. Хуана выгнали со службы в трое суток.

Он вернулся-таки в родной город, но бухгалтером в лавку братьев не сел, а занял должность начального учителя.

Но и в школе недолго пришлось пробыть моему любимому, конфузливому, подслеповатому другу. На одном из городских собраний он выступил с яростной речью против властного теяньского чиновника, заведующего народным образованием, упрекая его в том, что он раздает должности в школах только своим родным и знакомым, и притом за процент из жалованья.

Оскорбленный чиновник не простил Хуану протеста и снял его с работы. Дальше письма оборвались.

Знаю, он работал по партийной гоминдановской линии, выступал на собраниях, вел беседы с молодежью. Его ловили даоини. Он прятался в лесных сторожках и деревнях, а где сейчас — не знаю.

Глава 14

Я ЖИВУ

Мои карманы.— Фотография.— Центральный парк.— О театралах.— Заготовка тепла.— Утро в общежитии.— Студенческие рестораны.— У меня дочь

Студенческое свидетельство в кармане, даяны в кошельке и ежедневный обед в желудке — чего больше может желать провинциал?

На радостях я покупаю нарядный шелковый халат и круглые очки. Они мне не нужны для чтения, глаза у меня здоровые. Но ведь очки придают ученый вид. Очки говорят о тысячах прочитанных иероглифов.

С очками возня — их то и дело надо протирать. На них садится пыль. Они отдавливают переносицу, тянут за ушами.

Но осанка важнее всего.

В моем кармане бренчит связка ключей — плоских тыкалок от чемодана и комнаты; серебряные мао впихнуты в нитяный кошелек; под носовым платком — перочинный ножичек. Им я не столько чиню карандаши, сколько обескожуриваю пыльные пекинские яблоки. При блокноте — новое автоматическое перо, оно неважное, и я побаиваюсь, как бы оно не испустило чернила мне в карман. Стопочка визитных карточек заложена за отгиб внутри моей соломенной шляпы. Там они не мнутся, но есть риск для них пропотеть. Знакомясь с новым человеком, снимаешь шляпу и тут же вынимаешь из нее для вежливого вручения свои иероглифы.

Нет в моем кармане только красного целлулоидного мундштука для сигарет. Я слабогруд и не курю. Брожу с земляками по Пекину тихих переулков и по Пекину ошалелых торговых улиц, звенящих, кричащих, сверкающих золотом вывесок, где из пропахших мочой ворот театров — пронзительные бубны спектаклей, а из магазинов, раскрашенных и отлакированных, как невеста в день свадьбы, выходят медлительные пекинцы, отводя рукой навешанные на дверях толстые стеганые одеяла. Иероглифы более темной материи нашиты на эти завесы. Мы называем пекинцев бей-куай-цзы — северные глыбы. Они нам кажутся наивными и бестемпераментными.

Над дверью надпись: «Фотография», а по обе стороны этой двери в стеклянных ящиках — портреты в человеческий рост. Налево — окаменевшая под своей челкой красавица из знаменитого публичного дома, а по другую сторону — овеянный султаном каски, задыхающийся в высоком золоченом воротнике мундира генерал, правящий Пекином.

Я вхожу в фотографию и подставляю себя объективу. Халат падает к ногам продольной упругой складкой. Сверкают очки. Рукой я грациозно, но без излишней женственности опираюсь о декоративный камень, из ноздрей которого торчат пучки травы.

Я часто в будущем прохожу мимо этих двух витрин и замечаю с удовлетворением, как непрочно держатся генералы в прочном стеклянном ящике. Сю Ши-чана сменяет Ли Юан-хун, Ли Юан-хуна — Цао Кунь, Цао Куня — Дуань Ци-жуй, Дуань Ци-жуя — Фын Юй-сян, Фын Юй-сяна — Чжан Цзо-лин. Меняются президенты, но благоденствует магазин, и бессменно держит платочек в холеных руках все та же знаменитая красавица.

Слоняюсь с друзьями по Центральному парку, который когда-то был Императорским.

Черная хвоя туй окаменела над скамьями. Мы солидно смеемся, деловито острим. Окидываем смелым взглядом проходящих по той же аллее конфузливых купеческих дочек, раздобрелых и румяных, в синих штанах и золотых браслетах, подстриженных до шеи некрасивых студенток в коротких юбках на иностранный манер и куртизанок с каменными изящными лицами и точнейшими челками. Куртизанки проходят мимо нас, не глядя.

Эти женщины слишком опытны. Ни халаты наши, ни очки не спрячут от них худобы наших кошельков.

Я люблю Центральный парк и профессоров, торопящихся по его аллеям на митинги, и свежий его воздух, стенами и туями защищенный от пыльной мерзости улиц, и позванивающие чашками ресторанчики вдоль аллей, за столами которых можно сидеть бесконечные часы, играя в одну из моих любимых игр — «уй-ти», где на триста шестьдесят одной клетке раскладываются и белые и черные бляшки, причем выигрывает тот, чьи бляшки возьмут противника в окружение.

— Э! Сычуан Лао-тоу — сычуанский старик,— окликáют меня из-за этих столов студенты-земляки.

Мы пьем чай, и старожилы рассказывают мне о том, какие в прежние годы бывали споры между группами студентов-театралов.

Были сторонники актера Мэй Лан-фана[1], играющего на сцене юных девушек с мастерством, не доступным ни одной красавице; Мэй Лан-фана, чей гардероб стоит четыре тысячи даянов, а выход две тысячи. И были приверженцы знаменитой актрисы Лю Си-гуэй.

Мэйланфановцы кипятились, что женщина на сцене — это позор, что Лю Си-гуэй просто куртизанка, что никогда женщине не дойти до высоты мужского мастерства.

А люсигуэйцы честили своих врагов консерваторами и толпами валили на спектакли своей любимицы.

Земляки рассказывают мне и про артистку Би Юн-сян, настолько обаятельную, что однажды во время исполнения ею любовной арии молодой купец перепрыгнул через решетку сцены, схватил ее и поцеловал бы тут же, на стыд и срам перед зрителями, если бы вовремя подоспевший полицейский не отодрал его от завизжавшей от страха певицы и не увел остывать в полицейский участок.

Земляки рассказывают, как девятнадцатый буйный год надломил и театр, и стихи, и вечеринки с песнями и вином. Студенты кинулись в политические кружки, в залы митингов, в отряды агитаторов, в пикеты бойкотистов, вламывались в квартиры ненавистных сановников и заставили само правительство с его отрядами, тюрьмами и полицейскими прислушиваться к крику студенческих толп.

Эти настроения живы и сейчас. Сидя в Центральном парке, я с волнением ощущаю, что все студенты — революционеры. И я тоже. Я горжусь и поблескиваю очками.

Очки живут недолго. Кто-то крадет их у меня в общежитии. Я их не возобновляю.

Ясная осень подымается над Пекином. Улицы его перестают куриться пылью, теряют листья сливовые деревья, растущие в палисадниках перед фасадами иностранных гостиниц. Утренний холодок напоминает о стеганых халатах.

Во дворах ремесленники из каменноугольной пыли накатывают черные катышки, похожие на обугленный картофель,— это они готовят тепло пекинцам на зиму.

---

[1] Мэй Лан-фан (1894—1961) — крупнейший актер китайского классического театра. В 1935, 1952 и 1957 годах с огромным успехом гастролировал в Москве и Ленинграде.

Люди вытаскивают из кладовых фаянсовые жаровни, напоминающие унитазы заграничных клозетов. Над этими жаровнями будет всю малоснежную пекинскую зиму трепаться голубое прозрачное пламя, кипятящее чайники и обогревающее мерзлые человеческие пальцы.

У Национального университета пять общежитий, по сто каморочек каждое. В четырех — студенты, в пятом — студентки.

В одной из продуваемых ветрами каморочек живу я с химиком Ли. Двери каморочек, каждая на двоих, выходят на мощенный плитняком двор, осененный теперь уже поредевшими гигантскими сучьями.

Утром в шесть часов нас будит звонок привратника. Долгий, колючий. Еще полутемно, и теплая от сна кожа бежит рябью. Железные антрацитки за ночь погасли. Истопник уже грохочет, неся ведро с углем и подпираясь кочергой.

Поверх рубахи и кальсон, в которых спал, натягиваю быстро брюки, фуфайку, носки и ботинки. Около уборной — топчущаяся очередь. Из большого курящегося паром чана черпаем железным ковшом кипяток. Тазы на высоких столиках под окном каждой каморки. Белые капли с зубной щетки кропят плиты. Уже играет аппетит, разогретый движениями. Минута — надеть халат, пальто и бежать завтракать.

Много маленьких харчевок понатыкано в университетском квартале вокруг общежитий.

Выпиваю чашку теплого бобового молока за четыре тунзера[1]. К молоку две сальные поджарки из теста за десять тунзеров или мягкие «мáнто» — булочки, бледные, ошпаренные паром, по пять тунзеров.

Из харчевки — в университет. В будке у привратника продается университетская газетка за тунзер.

Бегу в читальню прочесть ее и «Чен-бао», большую газету, стоящую четыре тунзера, которую с шести часов утра уже носят по хутунам газетчики.

В двенадцать часов обед. Студенты в ресторанах группируются по провинциям. Я столуюсь в харчевне, содержатель которой сычуанец. Там собираются «маньцзы» — «южные дикари». Так вышучивают южан пекинцы.

Этот ресторан знаменит мясом, завернутым в блинчики, красной вареной капустой, бобовым желе. Я съедаю супа на десять — двенадцать тунзеров, на второе ем мясо с овощами. Кто накануне выиграл в карты или получил деньги с родины, ест повкуснее — суп с курятиной, где плавает несколько кусочков коричневого трепанга — морского огурца, привозимого из владивостокских бухт. Такой суп стоит сорок тунзеров тарелка. А у кого с деньгами туго — ест пустой суп или гаотан — мясной отвар с солью да чашку риса. На рис цены нет. Он подается к нашему обеду, как у вас, европейцев, хлеб.

Трижды в год, в крупнейшие праздники, даю слуге даян или два — ча-цянь, чаевые деньги. Слуга благодарит, полуприпадая на одно колено.

После обеда — в общежитие. Надо прополоскать рот, а потом, разбросавшись на кроватях, можно болтать об университетских новостях.

---

[1] В даяне (рубле) в то время считалось 150 тунзеров *(С. Т.)*.

Университетский колокол объявляет конец перерыва. Снова занятия, после которых в шесть часов ужин тунзеров за двадцать пять. За ужином то же, что за обедом, кроме супа.

После ужина можно наведаться к приятелям, шутить, играть в шахматы или на ху-цзинах и петь, подражая театру.

Десять часов. Пекин ложится спать. Один за другим щелкают выключатели в каморках и гаснут квадраты дверей, заплетенные мелкой решеткой.

Ровно в полночь привратник повернет главный выключатель, окунув в темноту зачитавшихся.

. . . .

В ноябрьское солнечное утро из черного окошка университетской караулки лезет ко мне белый квадрат письма. На адресе — иероглифы будто бы дядиной рукой.

У меня дочь. Об этом, а также о разных домашних делах, о деньгах и об отце, прячущемся в старом замке, пишет мачеха. Жена не может написать письма — она неграмотная. Письмо вызывает в памяти жену и старую злобу к ней. Но злоба быстро сменяется спокойствием.

Дочка? Ну что же, хорошо. Рад я? Может быть, рад, не знаю. Вероятно, рад. Во всяком случае я рад тому, что рада мачеха, которая ждала ребенка. Дочка — документ, им я квитаюсь с мачехой. Теперь ей нечего от меня требовать.

Глава 15

РУССКАЯ СЕКЦИЯ

Толстой и Кропоткин.— Мудрость Лао Цзы.— Анархисты.— Русские генералы.— Заманчивое объявление.— Перый учитель.— Профессора гневаются.— Посольский квартал.— Все на митинг

Самые популярные среди китайской молодежи книги — это «Биография Кропоткина» и «Нравоучительные рассказы» Толстого. Я глотаю абзацы Кропоткина о трудовом равенстве людей. Въедаюсь глазами в свежеотпечатанные популярные брошюры, одну о «русском городе» и другую под заглавием: «Теперь в России победил социализм, который давно подготовлен тов. Кропоткиным».

Только что переведены «Нравоучительные рассказы» Л. Н. Толстого, и мне кажется ясным: нет выше политического учения, чем анархизм; анархизм — это и есть большевизм, а Толстой — самый революционный писатель России.

Из-за плеч Толстого и Кропоткина подымается фигура их союзника — древнего мудреца Лао Цзы[1], учение которого под именем лаосизма было религией интеллигенции старого Китая.

---

[1] Лао Цзы — древнекитайский философ, живший приблизительно в VI—V веках до н. э. Книга «Лао Цзы» или («Дао дэ цзин»), автор которой, по-види-

По мне, Лао Цзы — такой же анархист, как Кропоткин и Толстой. Кропоткин зовет к равенству людей, а разве не писал Лао Цзы:

«Почему существует деление в мире, даже деление на хороших и плохих, даже деление на мудрецов и глупых? То, что в мире есть мудрецы, уже создает несправедливость. Мудрецы должны быть уничтожены, ибо они насилуют волю остальных. Если бы мудрецы не умирали, жизнь на земле окаменела бы».

Толстой говорит:

«Не противься злу. Злом нельзя победить зло. Никого не суди. Ни с кем не воюй. Ни на кого не подымай руки и голоса. Уходи от соблазнов. Совершенствуй себя».

А разве не написано у Лао Цзы:

«Сердце спокойно, если нет кругом предметов вожделения. Каждая красавица, возбуждающая похоть, повинна в беспокойстве человеческого сердца. Спокойствие сердца — венец создания».

Этот анархизм сложенных рук разлит в китайском крестьянстве. Поскорей расплатиться со сборщиком податей. Не попадаться на глаза начальству, не вступать в пререкания с полицейскими, вовремя отдать долги, никуда не рваться из родного села. Нерешительность, безволие, боязнь потрясений.

Вот та огромная мягкая привязь, на которую история посадила китайского земледельца. Вот почему он боится и презирает каждого беспокойного человека, ушедшего за пределы обыденной жизни в разбойники, в солдаты, даже в путешественники.

Как трудно разъярить этого крестьянина на того гладкого богача, у которого из десятилетия в десятилетие он арендует с трудом оплачиваемый кусок земли.

Вслед за Толстым и Кропоткиным в мои руки попадает «Теория анархизма». Впечатление сильнейшее. В годы «возрождения» анархизм — религия китайской новой интеллигенции. Ректор Цай Юань-пей[1] — тоже анархист.

На митингах анархистам принадлежат трибуны. Конкурентов нет. Пригоршни слов и свежих листовок полны до краев задиристым протестом, зовом, звоном.

Но когда из залы навстречу бежит крепкий крик:

— Давайте программу! Огласите устав! Где организация? По каким адресам собираться? — анархиста на трибуне это смущает только на миг.

— Нет у нас устава — мы против. Устав — оковы. Мы — свободная ассоциация свободных протестантов.

мому, не имеет никакого отношения к Лао Цзы, написана приблизительно в VI—V или IV—III веках до н. э. В ней противоречиво сочетаются атеизм, зачатки диалектики, позволяющие сопоставить Лао Цзы с Гераклитом, обличение социального зла с призывом к бездействию, с учением о бесполезности активной борьбы со злом, с утверждением, что самое разумное — стремление к удовлетворению в спокойствии.

[1] Цай Юань-пей (1867—1940) — буржуазный деятель китайской культуры, ректор Пекинского университета в 1917 — 1923 гг., основатель пекинской консерватории.

Слово «Россия» все чаще и чаще слетает со студенческих губ. Газеты пишут об интервенции, о том, как японцы, чехи, американцы, англичане, французы, итальянцы ломятся в крепко запертые двери нового государства и как это государство, несмотря на голод и нищету, выбивает коленом иностранные отряды из своей земли.

Газеты пишут о том, как замерзали на сибирском пути поезда с защитниками старой России. А иногда рядом с огромнейшим домом Пекина, гостиницей «Пекин Фан-дянь», бывалые студенты показывают мне на пухлобородых людей в серых длинных одеждах, отвороченные края которых на груди красны как кровь, и говорят:

— Русские генералы, выгнанные большевиками.

. . . .

На филологическом факультете есть секции: китайская, английская, французская, немецкая, японская. Я могу поступить на японскую секцию. Там я буду изучать классиков и старинных поэтов, писавших на народном языке бай-хуа, и новые, только-только нарождающиеся рассказы, печатаемые радикальными газетами в чахлых листовках воскресных вкладышей.

Я могу поступить на английскую секцию. Мне этот язык знаком, я прилежно им занимался в Теяни. С этим языком в будущем я смогу поступить чиновником в таможню, на железную дорогу, на почту, в банк, поехать в Америку, стать переводчиком при посольстве. Но я не хочу этой секции.

Среди объявлений, вывешенных на университетской доске, десятков объявлений о лекциях, курсах, создании новых обществ, о правилах пользования лабораториями и пособиями, есть одно:

«Секция русской литературы при филологическом факультете. Продолжается прием заявлений о поступлении. Студенты, записавшиеся на эту секцию, но не знающие русского языка и грамматики, обязаны пройти предварительный двухгодичный курс усвоения языка».

Становясь на цыпочки, эту вертикальную бумажку прочитывают юнцы разных провинций: из Хунани и Шаньдуна, Цзянси и Сычуана. Около бумажки — запальчивый разговор:

— Трудный язык.

— Русская секция интересная.

— Русская литература революционная.

— Зная русский язык, можно стать консулом.

— У них такие революционные писатели, как Толстой.

— На Китайско-Восточной железной дороге нужны переводчики.

— Узнаем русскую литературу, поймем русский социализм.

— Переводчикам хорошо платят.

— Кропоткин — русский.

— Переводы Толстого хорошо раскупаются.

Впрочем, будущие консулы говорят вполголоса. Их замечания могут не понравиться «революционерам», еще книгой по щеке шлепнут. Записывается человек пятьдесят. Когда эта масса собирается на первое секционное собрание, юноши удивленно таращат друг на друга глаза.

Кто их собрал?

Кто? Те же Кропоткин и Толстой.

С трепетом и уважением беремся мы за русскую азбуку. Какой трудный язык! Ну как в точности провести границу между *б* и *п*, *ш* и *с*, *в* и *ф*, *к* и *г*? Как произносить это артиллерийское *р*, которого наш язык совсем не знает?

А потом склонения, и у каждого слова свое.

Мы тянемся скорее к революционной литературе революционной страны, а учебник бубнит из страницы в страницу.

«У осы усы... Не красна изба углами, а красна пирогами... Без бога ни до порога...»

Учебник да и словарик, в котором мы роемся, сочинены русскими монахами пекинской миссии.

Невесело. Но мы терпим, веруя, что за углами и пирогами нам откроется когда-нибудь изумительная литература России.

Учит нас китаец — Чен Хан. Он врач, долго жил в Москве и, как говорят знающие люди, хорошо говорит по-русски. Но грамматики он не знает.

Он учит нас, как надо писать письма. Обращаться надо «Милостивый государь», а перед подписью ставить: «Ваш покорный слуга» или «Примите уверение в совершенном к Вам уважении и преданности», а «Вы» надо обязательно написать с большой буквы.

Чен Хана мы расспрашиваем о Москве, о замечательном городе, орущем на весь мир новые слова.

Чен Хан качает головой и говорит:

— Раньше в Москве жить было можно. Хороший город. Но теперь... Вот видите — я уехал. Воюют с пулеметами и пушками прямо на улицах. Хлеба нет, вместо него едят солому и подсолнух. Если человек в хорошем костюме выйдет на улицу — с него снимут. В России несколько правительств, между ними — война. Надо обождать, пока установится единое правительство. Тогда (тут тревога сменяется улыбкой) вы сумеете стать новыми консулами в России. Но и сейчас (тон учителя дышит верой), окончив курс, вы можете занять посты начальников станций на Китайско-Восточной железной дороге. Там мы и встретимся,— заканчивает он,— ибо я уезжаю скоро в Харбин, к месту нового моего назначения.

И, возвращаясь к прерванному уроку, поспешно произносит:

— Щи да каша — пища наша...

Это скучно. Наши глаза скисают, мы чувствуем себя одураченными. Но делать нечего. По университетским правилам до окончания двухгодичного курса менять специальность нельзя.

. . . .

За пределами аудитории интереснее.

Университет работает с перебоями. Старшие студенты привычным ухом чуют надвигающиеся события.

Правительство должно выдавать университету миллион даянов в год. Но даяны эти проплывают мимо университета, в карманы министерских чиновников. Цай Юань-пей ездит к министру и выдавливает из него тысячу-другую.

Профессорам жалованье не плачено уже полгода. Перед каждым пер-

вым числом гул усиливается в профессорских комнатах. Им трудно. Они давно уже обедают и живут в своих квартирах по милости домохозяев и окрестных лавочников, которые кредитуют их месяц за месяцем. Близок Новый год, когда каждый обязан расплатиться с долгами.

Деньги улетают в жерла чиновничьих карманов и трубы генеральских пушек.

Студенты мрачнеют — по милости воюющей солдатни они не получают ни писем, ни денег.

Студенты нищают. Хозяева харчевок начинают разговаривать резко, и голодные глаза юношей посверкивают недобрым блеском в сторону полицейских пикетов с примкнутыми штыками.

Особенно много пикетов у ворот посольского квартала, куда бежали свергнутые министры.

Победитель У Пей-фу поставил этих отборных солдат в белых гетрах и околышах ловить сбежавших министров.

Они напрасно стоят. Больше для приличия. Давным-давно все министры вывезены в Тяньцзинь — от посольства до вокзала две минуты ходьбы.

Патрули ходят, заглядывая в ворота и не смея перешагнуть порога.

Вход в дипломатический квартал вооруженному китайцу воспрещен.

Чужой квадрат серыми стенами врезан в китайское мясо Пекина и отделен от города гласисами — пустырями, гарантирующими квартал от внезапного нападения.

В ворота квартала и из ворот шмыгают тихие, блестящие, как мамин гроб, автомобили. В квартале улицы зазеркалены асфальтом.

Машина шипит колесами, словно идет по бумаге, смазанной медом.

Я не люблю проходить кварталом. Пустынная длинная улица. Откинутые створки стальных ворот. Часовые в разных мундирах. Пустынные стены ограждают парки посольств. От одного посольского подъезда до другого далеко.

У подъезда — часовые и цепочки ожидающих янь-чэ вдоль тротуара. Немецкое, бельгийское, французское, японское, голландское и в самом конце квартала, у выхода на древний императорский подъезд ко дворцу, американское, с плетенной из железа радиобашней, такой высокой, что голову можно оторвать, задирая. А против американского — огромное, но затихшее русское — «О-го-фу».

В деревьях русского парка редко-редко завидишь белый китель человека. Это ходят люди, которых вытолкала крестьянская революция в той стране, язык которой сейчас я изучаю.

Тороплюсь пройти сквозь квартал. Здесь пахнет штыком, шпионом и чеком. Над кварталом — крест церкви. Он мне напоминает о канадских миссионерах, обмошенничавших моих земляков. Здесь корни моей гадливости к кварталу.

. . . .

Все на митинг!
Все на митинг!
Все на митинг!

Мимо канала, гнилого, с плавающими в нем склизкими кадушками и трупами кошек, мимо деревьев, столь древних, что древесины на них уже нет и стоят они на пыльных остатках коры, через пространные дворы бывших императорских принцев — в митинговый зал Национального университета. Шуршит лестница под подошвами сотен.

Головы и газеты.

Узнаю причину митинга. Из Москвы пришла телеграмма китайскому народу.

Русское новое правительство предлагает Китаю заключить договор, как равному с равным. Русское правительство признает, что царская политика была нечестной и насильственной. Два народа, как два товарища, должны подать друг другу руки.

Подпись — Карахан[1]. Имя — вроде монгольского.

Оратор за оратором вскакивают на эстраду. Ликуя и размахивая руками, бросают они на студенческие головы дерзкие, веселые слова.

Зал им аплодирует. Аплодирую и я. Мне тоже становится дерзко и весело. Телеграмма послана народу. Народ — это мы, студенты. Мы велим министрам уйти, мы будем разговаривать с соседней республикой. Мы поможем Китаю вытолкать в мясистую холку пикеты тех, чьи флаги лениво шлепают над посольскими подъездами.

Митинг гудит. Полицейские ходят по улице, засматривая в ворота, прислушиваясь к отдаленному студенческому гулу и ловя возбужденные реплики выходящих студентов.

Полицейские не смеют войти во двор. Правительство еще слишком слабо, чтобы разговаривать с нами строгим голосом. Враги новичка У Пейфу еще недостаточно замирены.

Глава 16

Я — ПОЛИТИК

Клуб Гунду.— Бей-пан.— Профессор Ли Да-чжао.— Лекция эсперанто.— Марксизм или „максизм"? — Кружок пропаганды.— Наша аудитория.— Университет забастовал

Гунду — клуб «Ученье и работа».

Гунду одновременно и общество взаимопомощи и производственная артель. Организаторов тридцать человек с паем от тридцати до пятидесяти даянов. Конечно, вносили не сразу, а по зажиточности — от двух до пяти даянов в месяц.

Гунду на эти деньги открыл столовку и галантерейно-писчебумажный магазин. Никакой наживы. Членам скидка. И столовую и магазин обслуживали члены артели по очереди. Одна половина на лекциях, другая — за стойкой и за прилавком.

---

[1] Карахан Лев Михайлович (1888—1937) — советский дипломат, в 1923—1926 гг. полпред в Пекине.

В Гунду были и студенты и студентки. Не те благовоспитанные барышни, что, натянув туфли на высоких каблуках да закрутив косы бараньими рогами на висках, учились петь псалмы в христианских колледжах да играть в теннис со спортсменами из «Общества христианских молодых людей»,— нет, радикалки Гунду ходили стриженые, горбились над книгами, кричали с митинговых трибун и жили со студентами открыто, без брака, легко переходя от одного сожителя к другому.

Пекинские мещане хрипели, задыхались от негодования; дочек своих переводили на другую сторону парковой аллеи, когда навстречу показывалась косматая голова студентки.

Дочь члена парламента И, видного, степенного, именитого, ушла в Гунду. Отец выгнал ее из дому, назвав шлюхой, сволочью, «бей-пан»[1].

От одного студента к другому она переходила с легкостью и безразличием. Сожители ее ревновали:

— Почему ушла к тому? Почему с ним спала?

— Не волнуйся по пустякам. Ничего такого не было. У меня как раз сейчас очередное нездоровье.

Ориентируясь на Гунду, студенты рвали старые браки и женились на студентках.

Кто побогаче, устраивал свадьбу по-новому. Снимал большой зал ресторана, заказывал обед. Приходили приятели, одаривали, застольными тостами и речами скрепляли брак.

Кто победнее, просто рассылал знакомым уведомление на праздничных красных открытках о состоявшемся браке. Эти открытки освобождали одних от обеда, других от подарков.

Были в Гунду студенты, которые свой разрыв с семьей, свой бунт против отцовского приказа носили на виду, как мрачное знамя. Когда к таким приходили письма со штемпелем родного города, они рвали их не читая, злобно и демонстративно.

Гунду существовал недолго — всего полгода. Лавка прогорела — купцы отказали в кредите, а членские взносы поступали туго. Столовую съели. Приходили студенты, наедались (не будешь же брату студенту отказывать!), денег не платили (не судом же требовать!), исчезали (не через полицию же разыскивать!).

Я уже не застаю Гунду. Но резкий дух клуба еще витает над студенческими объединениями.

Тихая сходка.

Вытянув шеи, слушаем мы стоящего за учительским столом человека. Спутанный хохол его чуть вьющихся (не по-китайски) волос падает на нежный лоб.

Добрые, чуть-чуть опухлые глаза. Большие усы занавешивают рот. Это профессор Ли Да-чжао[2].

---

[1] В игре мачжан есть запасная белая косточка, на которой пишут рисунок масти в случае утери игровой кости. Название ее — «бей-пан». Так зовут вдов легкого поведения *(С. Т.)*.

[2] Ли Да-чжао (1888—1927) — выдающийся деятель Коммунистической партии Китая, один из ее основателей, пламенный пропагандист марксизма в Китае, профессор Пекинского университета, оказывавший большое революцион-

Слова его речи протяжны. Он жестикулирует, словно разводит руками кустарники на своем пути. Он предлагает нам создать общество по изучению марксизма.

— Маркс,— называет он нам человека, чьи волосы как грива льва перед дворцом, а борода в три раза гуще, чем у Льва Толстого.

Листовка с портретом Маркса идет по нашим рукам. Мы смотрим на косматое лицо и легкими движениями губ затверживаем трудное китайскому уху и впервые слыханное слово «Маркс».

Ли Да-чжао читает нам «Коммунистический манифест», и восхищенно слушаем мы повесть о том, что революция неизбежна. Но несколько удивляет нас, что главными в этой революции будут пролетарии — кули, рикши, бурлаки.

Ли Да-чжао рассказывает про фабрики и фабричных рабочих. Но фабрика в мою голову не лезет, ибо Пекин в фабричном отношении так же пуст, как Теянь и Сиань-ши. Нет над Пекином фабричных труб.

«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

Хорошо. Но как быть, пока еще не соединились?

Нам кажется, достаточно придумать такое замечательное искреннее слово и крикнуть его в уши миру — и все народы, задыхаясь и торопясь, покаются в своих грехах и, взявшись за руки, легким шагом дружелюбно пойдут по земному шару. Но где взять его, это слово?

Мы бросаемся на лекции эсперанто, всемирного языка, делающего людей братьями.

Но пекинская полиция держится других мнений. Офицер весь в черном, с никелированным палашом, в сопровождении двух полицейских приходит на лекцию эсперанто.

Он закладывает руки за спину, вежливо прислушивается, а затем, когда недоуменный преподаватель замолкает, подходит к студентам и спрашивает:

— Вы что тут пропагандируете?

Студенты переглядываются и улыбаются.

— Мы не пропагандируем — мы изучаем язык, понятный всем народам. Прислушайтесь, господин офицер, и примите участие в наших занятиях.

— Язык, понятный всем народам? — бурчит офицер и прислушивается, убежденный, что понятное всем народам тем более должно быть понятно полицейскому чиновнику.

Сидит он до тех пор, пока через силу сдерживаемые зевки рискуют порвать ему сухожилия. Скука и непонимание заволакивают исполненное тихого достоинства полицейское лицо. Собирает своих постовых и уходит вспять, заложив руки в белых перчатках за спину, уверенным шагом дубаня.

Запахи наших политических занятий беспокоят полицейские носы.

ное влияние на молодежь. В ряде статей выступал за поддержку Октябрьской революции, знакомил с революционными событиями в России, разоблачал клевету буржуазной печати о Советской России. В 1927 г. зверски замучен китайскими реакционерами.

Все чаще в университетских дворах между легкими студенческими халатами, спадающими до пят, появляются фигуры в черных брюках и фуражке с белым околышем. Это полицейские. Это значит — власть У Пейфу крепнет.

Сначала они толкутся в наружных дворах, потом смелеют и пробираются к доскам, где расклеены объявления.

Видимо, кто-то их осведомляет заранее. Быстрыми глазами полицейский перебирает иероглифы, столбцами чернеющие на повестках, и наконец втыкается пальцем в объявление об очередном занятии общества по изучению марксизма.

— Где у вас тут организация, занимающаяся пропагандой марксизма? Отведите нас в эту аудиторию.

Часть студентов шарахается, не отвечая, но остается какой-то уверенный шутник. Он понимает — дело надо загасить сейчас же, иначе пойдет ерунда и занятия будут сорваны.

Он делает удивленное лицо.

— Марксизма, изучение марксизма? А что такое «марксизма»?

Полицейский начинает сердиться:

— Ну, это вы лучше нашего знаете. Не прикидывайтесь глупым.

Но студент не унимается:

— Марксизма, говорите вы? Но где вы нашли это странное слово?

— Как где мы нашли? Вот где мы нашли.

И палец полицейского снова тычется в бумажку.

Студент разглядывает палец, наивно продолжает:

— Вглядитесь, господин полицейский, в то, что здесь написано. Обратите внимание. Написано: «Общество по изучению максизма». Максизмом мы занимаемся. Но вам нужен марксизм, а такого у нас не имеется.

Выручает отсутствие в китайском языке звука «р» — действительно, университетский письмоводитель написал «максизм».

Нас в обществе двадцать человек. Мы дважды в неделю слушаем Ли Да-чжао, не пропуская ни одной беседы. Свертывается лохмотиками в наших головах анархизм под нажимом увесистых абзацев Маркса.

Китайских книг по марксизму еще нет. Читаем английские и японские. Общество растет. Кроме Маркса читаем «Общественный договор» Руссо, а из современников — Бертрана Русселя[1] и Дьюи[2] (оба эти американца читали лекции в Пекине, и имена их не сходили с газетных страниц), а также книги под заглавием «Новое общество» и «Современный социализм».

Нам тесно в одной только теории. Мы хотим практики. Раз революцию

---

[1] Рассел Бертран (не Руссель, как пишет Дэн Ши-хуа) (род. в 1872 г.) — английский (а не американский) философ и математик, специалист по математической логике. В послевоенные годы приобрели известность его выступления по вопросам международной политики.

[2] Дьюи Джон (1859—1952) — американский философ и социолог, глава американского прагматизма. Выступления Дьюи в Китае, где он в 1918 г. читал лекции, имели реакционное значение. Активным пропагандистом идей Дьюи был враг марксизма и коммунизма Ху Ши.

суждено совершать кули, как же им ее делать, если вот они сидят около своих янь-чэ, играя в кости; если бродят, сгибаясь под коромыслами разносчичьих корзин, и изо дня в день воют одни и те же затверженные, самим себе непонятные запевки; если подметают университетские дворы, но не умеют даже свою фамилию подписать?

Мы организуем кружок пропаганды под названием «Народное образование». Для проформы кружок состоит при университете. Это чтобы полиция им не особенно интересовалась. А в действительности правит работой кружка общество по изучению марксизма.

Революция тонким ветром ходит в воздухе, и от этого ветра люди становятся слегка пьяными, как от чайника теплого вина.

Цай Юань-пей отводит нам отдельный домик. Мы ставим скамьи, приносим с университетского склада большие круглобокие зеленые плевательницы, утверждаем колеблющиеся столы, и наш пропагандистский клуб готов.

После шести часов вечера, когда аудитории пустеют, университетский колокол собирает в аудиторию университетских истопников, швейцаров, подметальщиков, библиотечных сторожей и несколько янь-чэ из соседней чайной, где они просиживают вечера, развезя по домам профессоров и студентов побогаче.

Комната набивается дополна. Сидят не перешучиваясь, сдержанно и серьезно. Толстые губы отчмокивают стеклянные мундштуки длинных трубок, из которых кудрявится, обволакивая комнату, едкий дешевый дым.

Очередной студент начинает доклад. Мы говорим о простых вещах: что такое государство, что такое Япония, место Китая на земном шаре, откуда болезни.

Люди слушают. Им трудно понимать, но они хотят понять. Время от времени они харкают, но, не плюя на пол, вскакивают и доносят плевок до плевательницы. Это тоже наша выучка. Мы им рассказали о чахоточной заразе — вот они и берегут пол клубной комнаты и свои легкие.

После доклада долго сидят молча, перешептываются. Мы ждем вопросов.

Проходят дни и недели, прежде чем они свыкаются с нами, прежде чем начинают задавать вопросы и даже спорить с лекторами.

От кули к кули идет молва о студенческом клубе. Каждую следующую лекцию — новые люди. Толпятся в дверях, сначала просто глазея, потом беседа их заинтересовывает, и на неуклюжих цыпочках они пробираются в глубь комнаты, чтобы подсесть на скамью.

Подходит мой очередной день. Я становлюсь за столом читать доклад. Я хороший секретарь, но плохой председатель. Хороший оппонент, но слабый докладчик. Привычка говорить с аудиторией у меня есть, но здесь говорить трудно. Словно на лицо мне навалили подушку. Я стараюсь выбирать самые простые слова, самые понятные фразы и все-таки вижу, что глаза у людей не блестят. Слишком крепко они затягиваются дымом, скучают, но из огромной своей вежливости не выдают скуку ни зевком, ни репликой.

Посреди доклада я соображаю, в чем дело. Я говорю по-сычуански, они все — пекинцы. Между мною и ими полезно бы поставить переводчика.

Я мну конец доклада, торопясь его кончить, а вечером, когда мы обсуждаем расписание очередей, я выбираю себе самую дальнюю, надеясь за это время выправить свой язык и приблизить его к пекинскому.

Вслед за янь-чэ приходят слуги и поварята ресторанов. Забредают наборщики из типографии, два хорошо одетых рабочих с электрической станции и, наконец, даже несколько железнодорожников.

Пусть не слишком долго существовал этот кружок, задавленный полицейской реакцией и спадом студенческого движения,— я знаю: сквозь прокуренную, напряженную тишину нашего домика, сквозь доклады кружка «Народного образования» прошли первые кули-революционеры и первые организаторы железнодорожных профсоюзов.

В разгар пропагандистской работы перерастает себя и марксистский кружок.

По инициативе Ли Да-чжао создается «Союз юных социалистов».

Надо не только изучать революцию, но и делать ее. «Эс-уай» — так по-английски звучат инициалы юных социалистов.

Это время высокого взлета китайского студенчества — весна 1921 года. Тут готовятся люди для следующих лет — будущие комсомольцы и коммунисты.

Февраль 1921 года. Точка плавления. Терпение профессоров срывается с зарубки. Профессура объявляет забастовку.

Хладеют в лабораториях газовые рожки, обмахивают прислужники куриными метелками пыль с желтых лакированных столов, пустых профессорских, зеленеет во дворе над дверью безработный колокол, отмечающий начала и концы лекций.

У нас в общежитии холодно. У университета нет денег не только на платеж профессорам, но и на покупку угля.

Учебники, приготовляемые университетской типографией, расценены вместо прежних тунзеров на центы. Это понятно — цена тунзера день ото дня падает, но тем не менее новый порядок ложится налогом на студенческие карманы, и не раз уже ядовитыми словами студенческая беседа поминает ректора Цай Юань-пея.

Сквозь протяжные доклады Ли Да-чжао, сквозь прокуренные часы пропагандистского кружка, сквозь брызнувшую зелень весенних деревьев мы доползаем до первой летней жары.

Студенческий союз вывешивает в коридорах всех пекинских университетов и институтов приказ:

«Длящаяся забастовка преподавателей делает бессмысленным пребывание студентов в Пекине. Всем студентам вернуться на родину».

Я повинуюсь. Я укладываю в чемодан книги, листовки, виды Пекина, новый шелковый халат и номера газет, описывающих избиение профессоров перед зданием министерства.

Группой земляков вваливаемся мы в вагоны. В горах Сычуана гудят пушечные залпы. Ян Сен, удачливый солдат гуансийских армий, пожало-

ванный маршалом У Пей-фу в дубани (дубань — то же, что ранее дуцзюнь) Сычуана, идет отбивать эту провинцию от заживших в ней генералов — Сюн Ке-у и Ли У-сяна.

Глава 17

ДВА ОТЦА

Студенты и гимназисты.— Грязная дочь.— Дальний замок.— Разговор отцов.— Что наверху? — Стоим на якоре.— Обезьяны.— Двадцать минут

Как много их сбежалось к нам на митинг в Теяни!

Мы — это взрослые, опытные политики-марксисты, «Эс-уай» — колоченные полицейскими, ведшие пропаганду среди кули.

Они — это теяньские гимназисты, не видавшие ни паровоза, ни Маркса.

Мы — это президиум митинга теяньских студентов, приехавших из Пекина.

Они — это аудитория.

Наши слова внушительны, как пятидесятилановые слитки.

Мы пересматриваем устав гимназической организации. Ну и устав! Разве по таким параграфам можно работать? Снисходительно усмехаясь, мы опытными пальцами пишем новый устав, настоящий, проверенный, логичный.

Гимназистов нечего особенно убеждать. Они принимают и резолюцию протеста против правительства и голосуют за автономию школы.

Но каникулы не дают развернуться. Гимназисты разъезжаются. Пора и нам в родные деревни.

Только мачеха встречает меня в полупустынном доме. Отец в бегах. По-прежнему под чужой фамилией в горном замке. Сестренка где-то в гостях у родичей. Дядья в разъезде. Жена с ребенком пропадает у своих.

Мачеха снижает голос и, виноватясь, рассказывает мне о девочке.

Оказывается, жена ребенка не любит: не мальчик. Даже не хочет кормить своим молоком. Мачеха пробовала найти в Сиань-ши коровьего молока, но его нет — коровы в работе или же молоко нужно своим ребятам. Пришлось взять кормилицу. Но, как на грех, кормилица грязава. Дочка уже в лишаях и расчесах, и мачехе ежедневно приходится самой пересматривать маленькую Дун — не ползают ли по ней вши.

С новой силой старая злоба к нелюбимой жене перекашивает мне лицо. Я нетерпеливо слушаю мачеху, ожидая, когда же наконец добежит посланный кули до жениной родни и когда она сама явится к ответу.

Слышу двором шаги. Ага, наконец!

Неопрятная чужая женщина, с отвратительной большой, выдавливающей пятна на халате грудью вносит ребенка в чистенькой рубашонке. Видно, что рубашонку надели только что.

Женщина — это и есть хваленая кормилица — протягивает мне де-

вочку. Но я не беру ее на руки. Боюсь. Дети — вещь маленькая и верткая. Еще возьмешь, а она вывалится из рук да стукнется о каменный пол двора.

Я осматриваю вылупившее на меня глаза существо, которому прихожусь отцом. Под ухом на тонкой белой шее застарелые липкие потеки.

А вот и жена стоит в дверях и кланяется, улыбаясь.

Не сдерживая гнева и даже не поклонившись жене, я показываю мачехе на грязные пятна. Мачеха, выдержав паузу упрека, спрашивает жену:

— Опять ребенок грязный?

Жена ничего не отвечает. Лицо ее становится тусклым — она похудела за этот год. Не глядя ни на ребенка, ни на мачеху, ни на меня, она проходит в свою комнату.

Еду к отцу. Колыхает меня цзяо по дорогам. Проезжаю леса с дроворубами и заросли масляных деревьев и бамбуковые рощи вдоль рек.

Далеко запрятался отец. Это даже не замок, а целое село, оберегаемое стеной и кручами. С двух сторон пропасти, а с двух — стены. К воротам — тропка по каменному гребню.

Замок можно защищать в одиночку против роты. По гребню идти иначе как гуськом нельзя — пуля будет укладывать столько человек, сколько она за один удар пробить способна. Комнатенка отца мала. Сам он в белой крестьянской рубахе, с пуговицами сбоку.

Я говорю:

— Здравствуй, отец.

Отвечает:

— Здравствуй, отец. Ты ведь теперь тоже отец, Ши-хуа.

Гляжу на отца почти с недоумением. Улыбается, пробует подшучивать. Из писем уже я давно знаю, что он мне простил Пекин, а все-таки ждал выговора.

Нет. Ничего. Расспрашивает, трудно ли было держать экзамен, хорошо ли в университете, тепло ли в общежитии, достаточная ли библиотека, ученые ли профессора.

— Насчет профессоров не знаю. Ведь,— говорю,— забастовка.

Он подает реплики не спеша, и слушаю я его слова, как слова учителя.

— Хотя сейчас у вас забастовка, но смотри, Ши-хуа, не надо из-за этого прерывать ученье. Ученье — это первое дело. Знание — как лодка, идущая против течения. Если не выгребать вперед, обязательно снесет назад. Накапливай знания, Ши-хуа. Накапливай знания. Вот я сижу здесь под чужой фамилией, в замковой комнатенке, и размышляю который уже месяц, в чем беда нашего, отцовского, революционного движения. Знания маловато, специального знания.

Мы не думали, что маньчжуры слетят так легко. Мы готовились к более долгому бою, а потому мы ценили не столько науку, сколько умение делать бомбы и владеть винтовками. Мы работали как солдаты, как разрушители, а когда дело дошло до созидания, то нас раздавили. Много у меня было товарищей, изучавших и политику, и экономику, и юриспруденцию, но, видимо, плохо они ее изучали — до сих пор не знают, какая же нам нужна власть. Пришла революция, а умелые чиновники удерживают в

своих руках командные высоты в канцелярской машине, разгоняя неумелых революционеров. Если ты, сын, хочешь в будущем управлять и быть сильным, ты должен изучить не только теорию, но и практику каждой науки.

— Фу-цинь,— прерываю я разговор,— профессор Ли Да-чжао организовал у нас общество по изучению марксизма. Маркс говорит, что власть должна принадлежать тем, кто производит вещи, тем, кто работает. Маркс говорит — власть выражает господство класса. Маркс говорит — нельзя изменить политическую форму без изменения экономических отношений. Поэтому мы в Пекине начали работать над просвещением кули.

Отец продолжает:

— Я твоего Маркса не знаю. Но то, что ты говоришь, пожалуй, правильно. Я никогда не думал, чтобы избирательное право, данное крестьянам и кули, могло им помочь улучшить свою жизнь, пока они будут зависеть от своих хозяев. Все равно они голос подадут за хозяев. Как может арендатор голосовать против землевладельца? Ведь тот откажет ему в кредите. Пока наши крестьяне зависят от ломбардов, скупщиков и землевладельцев, сколько ни давай им избирательных прав, выигрывают от этих прав только хозяева.

— Но, фу-цинь,— возмущаюсь я,— на то и существуем мы, революционеры, чтобы объяснить бедным, как пользоваться своими правами.

— Не знаю, Ши-хуа. Не знаю. Может быть, сейчас дело обстоит иначе. В наше время революционеров можно было пересчитать по пальцам. Их было очень мало, а главное — ими были только студенты, учившиеся за границей. Вы хотите, чтобы революционерами стали крестьяне и кули. Это очень хорошо, что вы ведете кружок пропаганды, но и крестьянам-революционерам все равно нужны руководители, и этими руководителями можете быть только вы, студенты. Кто же иначе поможет крестьянам и кули наладить власть, кто разъяснит им три принципа Сун Ятсена — национализм, демократизм и социализм?

Я не спорю, с отцом мне трудно спорить. Он над этими вопросами думал дольше меня.

Я доволен отцом. Я немного горжусь этим разговором двух революционеров, разговором двух отцов.

Подхожу к самому острому пункту беседы: хочу выяснить, как отец относится к моей специальности.

— Фу-цинь, я выбрал на филологическом факультете русскую секцию.

— Русскую секцию — это хорошо, Ши-хуа. Русский народ — революционный народ. Когда я учился в Японии, японцы вели с Россией войну и победили ее. Глупая война. Русские князья и генералы были так же алчны, как наши дубани. На это поражение народ ответил революцией. Это была хорошая революция. Крепкие забастовки. Крестьяне поджигали имения помещиков, рабочие строили в городах окопы. Мы, китайские революционеры, радовались каждому успеху русских. Учись хорошенько на русской секции, изучи язык. Может быть, удастся поехать в эту страну кончать образование.

— Правильно, фу-цинь. Только приехав в нее, я смогу как следует изучить ее литературу.

Кривится отцовское лицо при слове «литература».

— Неужели, кроме литературы, нет более существенных профессий? Ну, ладно, изучай стихи и пиши рассказы, если это так тебе нравится. Но одновременно разве нельзя быть инженером, химиком, техником, юристом?

Разговор соскакивает на старую зарубку. Не вдаваясь в спор, я утешаю отца:

— Совместить трудно, отец. Но если вы настаиваете, то какое-нибудь практическое дело я параллельно литературе изучу. Может быть, это будут юридические науки, может быть, военное дело, сейчас сказать трудно, потому что я не знаю учебных планов будущего года.

Перевожу разговор с неприятной колеи:

— Миновала ли для вас, фу-цинь, опасность? Не пора ли переменить место?

Отец бодрится:

— Ну, сейчас много лучше. Начальником минь-туаня в Сиань-ши назначен человек, вполне преданный дубаню. А кроме того, мой старый друг Сюн Ке-у сейчас, вероятно, так занят дракой с Ян Сеном, что ему не до меня.

— Что собираетесь делать дальше, фу-цинь?

— То же, что и всегда,— смеется отец.— Сейчас гоминдан в Сычуане ушел в подполье. Ко мне наведываются люди. Держу связь, кое-кого ободряю, кое-кому напоминаю, что подполье не вечно. Очень хочется поехать в Кантон к Сун Ятсену. Давно уже я не видел старика. Но трудно, нет денег, а кругом война. Либо застрянешь у боевой полосы, либо попадешь в солдатские лапы.

Он глядит на меня своими подобревшими глазами, посверкивая явственной проседью усов и бороды.

Быстро бегут дни в комнатке далекого замка. Где-то на верхних террасах в деревьях нарядный дом. Там живет моя «третья старшая» — молодая хозяйка замка. Может быть даже, кто знает, у нее гостит Цзай-ин?

Иногда, глядя наверх, я напрягаю слух, не заиграет ли там флейта, не сверкнет ли тринадцатилетний смех. Ведь Цзай-ин в памяти моей так и остается тринадцатилеткой, какой была в день, когда отец запретил мне думать о женитьбе на ней.

Но я и не пытаюсь взойти наверх и спросить, дома ли уважаемая хозяйка. Хотя муж ее мой одношкольник, такой визит был бы верхом непристойности, кроме того, я знаю, как ненавидят студентов, этих бунтующих бродяг, старики — родители мужа.

Я ухожу из замка, не поворачивая головы.

Надо собираться в обратный путь. Делать в Сиань-ши нечего. Лето уже на исходе — август, а по Янцзы война. Неизвестно, сколько еще раз задержится пароход, прежде чем попадет в Ханькоу.

Словно угадано. Сычуанцы отбиваются от Ян Сена, движущегося вверх по Янцзы из провинции Хубей.

Перед хубейской границей наш пароход сворачивает из главного

русла Янцзы к протоке длиною в триста ли. Стремительное движение протоки стиснуто горами, столь высокими, что гребней их не видать из окна каюты второго класса. Может быть, протокою удастся проскочить зону войны.

Пройдено уже двести ли, двести пятьдесят...

— Тихий ход! Стоп! Отдать причал.

Дальше нельзя, дальше фронт.

Капитан узнает — в береговых ущельях стоят батареи. Артиллеристы Сюн Ке-у с удовольствием продырявят нас и посадят на камни, чтобы только не выпустить уходящий из сычуанских рук пароход. А наводчики Ян Сена будут рвать нас гранатами, опасаясь, что мы везем сычуанские войска.

Хотя наш пароход имеет кроме китайского капитана еще и французского, специально нанятого для того, чтобы вывешивать на мачте французский флаг и отругиваться от китайских солдат, взбирающихся на пароход для обыска; несмотря на то, что пароходная компания, желая подработать на высоком пассажирском тарифе, ежедневно подщелкивает капитана длинными и грозными телеграммами,— капитан боится идти на прорыв, и вместе с ним боятся пассажиры.

День идет за днем. У хубейской границы стоим мы, ездим на берег, гуляем, знакомимся с окрестными крестьянами, едим с ними фрукты и слушаем их долгие легенды о Янцзы, о пагодах и о здешних городах.

По всей протоке сады. Сейчас уже конец лета, поэтому зелень садовых деревьев напоминает артиллерийский склад, заваленный оранжевыми ядрами апельсинов, абрикосов, гранат, хурмы, груш и картечью миндаля, орехов и каштанов.

Плоды и обезьяны. Обезьян здесь тысячи, больше, чем людей, почти столько же, сколько плодов, и они такие же разноцветные. Есть желтые, есть серо-зеленые, цвета далеких деревьев, есть темно-коричневые, с беловатыми задами. А над всеми задами хвосты, как дуги трамваев. Обезьяны скачут по крышам и заборам домов, как кошки в Москве, и воруют, что под одну из четырех рук попадется.

Обезьяноловы ставят на них силки и, поймав, обрубают хвосты обезьянам, как фокстерьерам, ибо покупатели любят куцых. Есть обезьяны величиной со сторожевого пса и обезьяны размера белки. Есть с человечьими лицами, с собачьими головами и со свиными рылами.

Стаями сидят они на деревьях и стаями скачут на четвереньках через ограды садов, подкидывая зады и наставив хвосты рогуликами.

Как они кричат! Птичьи пронзительные вопли с берега на берег. Недаром обезьяний крик еще в древности потрясал поэтов. На берегу Янцзы их уже мало, там они распуганы свистками английских и китайских пароходов, играющих здесь роль садовых сторожей.

Но вдоль протоки обезьян — как галок на московском бульваре осенью, особенно сейчас, в месяц вызревания плодов. Они жрут фрукты. Они, собравшись крикливой компанией, могут обесплодить целый сад.

Обезьяна жадна. Нажравшись досыта и набивши плодовой мякотью свои защечные мешки до флюса, она рвет фрукты на унос. Срывает первый, кладет под мышку. Потом срывает второй плод и сует под мышку другой руки. Первый выпадает.

Она срывает третий фрукт и снова тискает первой руке под мышку. Так поочередно из-под мышек к подножию дерева капает плод за плодом, пока обезьяна не устанет рвать и не ускачет, зажавши под мышкой единственный, последний из нескольких десятков сорванных апельсинов или абрикосов.

Обегая сады, крестьяне ходят с гонгом. Всю ночь бубнят караульные, отпугивая батальоны хвостатых обжор от своего урожая.

Я покупаю у караульного за тунзер три граната в два кулака величиной и спрашиваю:

— Почему вы не истребляете обезьян?

— Нельзя,— отвечает крестьянин.— К трупу убитой обезьяны сбегаются сотнями и тысячами. Вырастет страшный обезьяний митинг, который не расстрелять никакими пулеметами. И после этого митинга на сотни ли вокруг трупа не останется ни одного орешка, ни одного абрикоса.

Наконец, переслушавши все легенды, изучив все виды обезьян, растолстев на дешевых фруктах и безделье, мы подымаем бунт среди пассажиров и ставим капитану ультиматум: или пробиваться, или возвращаться. Довольно! Мы уже месяц стоим на одном месте.

Капитан решает проскочить сквозь фронтовую перемычку.

Мы стоим перед самым узким местом этой протоки. Только один пароход в состоянии пройти здесь. Разминуться нельзя: ни бухточки, ни загиба.

Двадцать минут летит наш пароход коридором, неистово дудя, как грузовик на крутом спуске, сорвавшийся с тормозов:

— Прочь с дороги! Прочь с дороги!

И издалека, услышав свист, сбиваются к берегам лодчонки рыбаков и садоводов.

Над гейзером свистка мелко полощется в ветре бега выкинутый капитаном французский флаг.

Словно лопнули горы по обе стороны протоки.

Бешеным треском горящего бамбукового леса льют пулеметы. Тяжелыми редкими взрывами вмешиваются пушки.

Пароход мчится, гудя водой. Воет свисток, умножаемый горным эхом. Мы, пассажиры, лежим в трюме на тюках товаров. Мы сбежали сюда, когда на палубе рухнул подбитый пулей бой из пароходного ресторана.

Чмокают пули, ударяясь в железные листы пароходной обшивки, хлопают, попадая в воду, и взвизгивают, прокалывая воздух.

Отпихивая ноги соседей, пассажиры стараются забиться пониже, поглубже, нырнуть в тюки. Трюм — сумасшедший дом.

Через двадцать минут подымается первая голова, за ней другая. Тихо. Только ревет вода под бортами. Фронт пройден. Мы в пределах Хубея. Матросы швабрами затирают на палубе кровь убитого боя.

Глава 18

ПЕРВЫЙ РУССКИЙ

Угольный холм. — Университетское здание. — Трудный язык.— Недовольство профессором.— Ли Шу-лин.— Выслеживаем.— Пять билетов.— Зимнее утро.— Поезда ушли.— Вон из „Эс-уай“

Русская секция помещается в трехэтажном европейского типа здании, которое стоит на пустыре в районе храма Ма Ши-мяо. В окно аудитории виден золоченый бамбук крыш императорского дворца и Угольный холм — большая зеленая горушка с павильоном на вершине.

Легенды попоэтичнее говорят, что эту гору в несколько дней приказал накидать император для возлюбленной горянки, затосковавшей на пекинской плоскости.

Прозаическая повесть — ждали осады, навезли во дворец топлива, накопили гору, а жечь не пришлось. За холмом в небо уперлась Дагоба — храмовая вышка, серая, формой в виде бутылки бенедиктина.

Под золоченым бамбуком живет Пу И, потомок маньчжурских императоров. У него пять миллионов даянов в год жалованья, большой гарем и англичанин-гувернер. В торжественные дни знать надевает мандаринские нагрудники и ездит к нему на поклон.

Коридоры у нас узки и темны, аудитории малы. Здание не предназначалось для лекций. Когда-то его строили под общежитие. Потом стены между дортуарами выломали, устроили вдоль стен полки, протянули длинные столы, и шелестом наполнился воздух читален: китайской, английской, французской, японской и немецкой.

Нашей секции тоже отведена комнатка под библиотеку. Там шкафы, на пустых полках которых немногочисленные и трепаные буквари, хрестоматии, пузатые словарики и несколько книг: Толстой, Тургенев, Лермонтов.

На стену вешаем портреты двух бородачей — Толстого и Кропоткина, выдранные из китайских брошюр. Попозже — Чехова и Пушкина.

В пятьдесят пар глаз глядим на невысокого человека с выпуклой грудью и резким носом хищной птицы.

Это наш новый русский профессор.

Он хорошо говорит по-китайски. Мы рады, нам будет легче.

Он объясняет самое страшное для нас — совершенный и несовершенный вид. Какая разница между «я к тебе должен приходить» и «я к тебе должен прийти»?

Какие трудные, длинные слова! Разве можно китайцу произнести, например, «распростертый»? Окончания меняются вместе со смыслом. Но почему окончания разные? Почему бы им не упростить язык, как мы упрощаем свой? Почему бы падежу не иметь одного окончания, скажем: столы — столов, озеро — озеров, житель — жителев, рука — руков?

Трудность языка продолжает нас волновать. Ведь только зима оста-

лась у нас на изучение. Первый год уже прошел почти зря, а с будущего года будет считаться, что язык мы знаем и должны заниматься литературой.

Мы нажимаем на профессора. На каждом слове мы его перебиваем и требуем объяснений. Но он не любит объяснять грамматику, а мы не любим тех, кто нам не любит объяснять. Часто на наши вопросы он отвечает:

— Посмотрите в грамматике.

Или:

— Не задавайте вопросов вторично, я уже вам объяснял.

Кое-кому кажется, что профессор дает неправильное толкование. Начинается спор. Лицо профессора багровеет, как утка, жаренная с перцем, а в голосе появляются звонкие ноты человека, который не любит, чтобы ему перечили.

Мы затихаем, но между нами и профессором образуется барьер.

Недовольными голосами начинаем мы поговаривать:

— Даром, на ветер брошенные деньги. Один год потерян в забастовках; вот и другой уходит сквозь пальцы. А языка все-таки не знаем.

— Мы не лентяи, сидим в библиотеке целые дни. Мы не безмозглые люди,— значит, причина не в нас.

Но в ту минуту, когда колеблющиеся готовы вместе с нами сесть писать протест проректору, выступает товарищ Ли Шу-лин, высокий шаньдунец со смеющимися глазами и золотым передним зубом.

— Зачем мутить головы товарищам? Нам трудно потому, что труден предмет. Глуп тот, кто думает, что в год можно изучить язык. Вина не профессора. Все равно ни через год, ни через два и даже через четыре мы не будем хорошо знать этот трудный язык. Что же касается экзамена весной, то нет никаких оснований опасаться за его исход. Профессор достаточно мудр, чтобы не провалить на экзамене никого и перевести всех в следующий класс.

Студенты одобрительно поддакивают ему.

Меня начинает интересовать, почему Ли Шу-лин защищает профессора? Нет у меня доверия к этому эффектному, образованному, ироничному шаньдунцу. Недаром мы его кличем «Бей-ху», что значит «северная лиса».

Где живет Ли Шу-лин, мы не знаем, но, вероятно, он часто бывает у профессора, ибо слышим мы между ними в перерыве какие-то короткие переговоры, напоминания и передачу книг и пакетов.

Хорошо бы проследить.

Собрав несколько мао, отправляемся к дому, где живет профессор. Янь-чэ сидит около дома в ожидании седока.

Он вызывает боя. Бой видит серебро — серебро это ему нравится. В быстрых словах рассказывает он нам:

— Ли Шу-лин живет в квартире профессора. Профессор разговаривает с Ли Шу-лином по-китайски, а иногда ему помогает переводить какие-то русские книги. За все за это Ли Шу-лин от профессора получает сорок даянов в месяц.

На другой день мы останавливаем профессора в коридоре, и Лю Дэ-жун, ходивший со мной, задает профессору вопрос, улыбаясь.

Лю Дэ-жун всегда говорит улыбаясь. Я думаю, он, улыбаясь, способен допросить убийцу своего отца. Его товарищи зовут «Нань-ху» — «южная лиса».

— Почему вы держите у себя в доме нашего товарища и платите ему сорок даянов?

Профессор говорит растерянно:

— Я приютил у себя Ли Шу-лина и плачу ему деньги за то, что он мне помогает в работе. Он болен чахоткой. Он очень бедствует.

Лю Дэ-жун продолжает улыбаться:

— Ли Шу-лин состоятельнее каждого из нас. У его отца хороший кусок земли в Шаньдуне. Он имеет возможность одеваться в европейское платье и ездить на собственном велосипеде.

Профессор делает удивленные глаза:

— Так ли это? А я слышал, что Ли Шу-лина за поступление в университет отец выгнал из дома и до меня юноша жил нищенски, служа газетным корректором.

Лю Дэ-жун улыбается:

— Очень извиняемся за вопрос, господин профессор. Очень извиняемся.

Проходит зима. Надвигается время экзаменов. Уже человек пятнадцать перестают ходить на занятия — они решили бросить русскую секцию. Уныние охватывает нас.

Тогда Ли Шу-лин вдруг резко меняет фронт и от своего имени пишет проректору письмо. Он порицает профессора за плохое преподавание и советует его уволить.

До письма он перебирается с профессорской квартиры.

Ни один из нас не приветствует Ли за его письмо.

Как бы ни был плох профессор, со стороны Ли это поступок предателя. А впрочем, мало ли у нас предателей?

Пока я в русской хрестоматии хожу от слова к слову, в неспокойном Сычуане ходят от деревни к деревне полки Ян Сена. Уже трое генералов спорят за Сычуан. Деловиты генеральские споры, сражения, подкупы.

А в Пекине гудят университетские коридоры. Тишина библиотек сменяется лекционным напряжением. Но как будто чуть реже и жиже собирается «Эс-уай».

31 декабря 1921 года, под самый Новый год, когда муниципальные служители в синих куртках расставляют вдоль пекинских проспектов рогульки в рост человека, подвешивая к ним замызганные красные фонарики для завтрашней иллюминации, секретарь «Эс-уай», распечатав полученный только что на имя союза конверт, сообщает активу «Эс-уай»:

— Чаньсинтьенские железнодорожники шлют нам пять билетов и приглашают сделать у них доклад.

Я оказываюсь в числе намеченных пяти лекторов.

Я горд и волнуюсь. Железнодорожники — это уже не кули или истопники, сзываемые колоколом в клуб. Железнодорожники — сила. Если мы

их сумеем убедить в правоте наших принципов, то в случае нужды мы сможем остановить бег поездов и повернуть на крушение стрелку перед неприятельскими эшелонами.

Я ухожу в библиотеку, листаю газеты, делаю выписки.

Выступать завтра. До Чаньсинтьена четыре часа езды. Сбор в шесть часов утра на Южном вокзале. Билеты и письмо у секретаря «Эс-уай». Он президент делегации.

В три часа ночи я уже на ногах. Невыспавшиеся веки тяжелы. Зевота рвет рот. На улице темно. В ставнях лавок свистит ветер, швыряясь сухим холодным снегом. Ни одного янь-чэ, сколько ни вглядывайся, сколько ни кричи.

По темным твердым улицам, пряча ладони в концы двухметрового шарфа, свешивающиеся на плоховатое пальто, добредаю я до пустынных перронов вокзала и сажусь ждать.

Подбираются люди. Ловлю каждый новый шаг. Вот наши... Нет... А, вот они... Нет...

Заспанные люди проносят одеяла и лавочные свертки, к которым мочальной веревкой прикручены аккуратные красные листки с адресом магазина.

Остался пустяк до отхода поезда. Перехожу к выходу на перрон, где стоит контролер, чтобы, не теряя ни секунды, успеть с товарищами добежать до вагона.

Будь у меня билет, взял бы и уехал, не дожидаясь. Но билет у секретаря.

Поезд уходит. Раздумываю — как быть дальше? Узнаю, что на Чаньсинтьен есть другой поезд, идущий обходным путем через два часа с Тяньцзиньского вокзала.

Опять подставляя вьюге то одно, то другое ухо и пряча глаза, шагаю к вокзалу. Два часа ожидания. Поезд подают, он наполняется людьми, отходит. Товарищей — ни одного.

Возвращаюсь домой. Отогреваюсь чаем и, согнав морозную синеву с носа и губ, отправляюсь к товарищам.

Трое из них еще в постели. Они потягиваются, жмурятся на мои мрачные вопросы, улыбаются и ласково говорят:

— Виноваты, дорогой Лао Дэн. Проспали. Вероятно, виной этому плохая погода.

Я — к секретарю. Он только что встал и собирается на прогулку. Он удивлен моему появлению.

— Почему вы здесь? А разве остальные не уехали?

Я отвечаю:

— И я здесь, и они не уехали, потому что билеты у вас. Если бы даже билет был у меня, моя поездка не принесла бы пользы: я не знаком с рабочими и даже не знаю адреса, где будет собрание.

Он пожимает плечами, разводит руками. Стоит около стола, перебирая (ни к чему совершенно) какие-то книги. Потом говорит мне:

— Ну что же, извиняюсь...

Выходит на улицу, кличет янь-чэ и уезжает по своим делам. Мне становится так противно, как не было давно. Я ненавижу людей, умеющих

только болтать и берегущих сон под теплым одеялом больше, чем нужное дело.

В ближайшее заседание я выступаю с яростным протестом против секретаря и требую, чтобы этого барича убрали. Но за него большинство. Он очень спокойно объясняет, что не такое уж это страшное дело и что гнев мой понятен, потому что я промерз, бегая с вокзала на вокзал. Аудитория улыбается, представляя себе, как я мерз, как я бегал и с каким грозным лицом ходил по квартирам товарищей.

Я перестаю ходить в «Эс-уай». Протянутый мне лист анкеты для перерегистрации я молча возвращаю.

Превращение «Эс-уай» в «Си-уай», то есть союза юных коммунистов — в китайский комсомол, происходит уже вне поля моего зрения.

Глава 19

МАНЬЧЖУРЫ

Западные холмы.— Студенческая дача.— Народ-завоеватель.— Война с маньчжурами.— Ху

Не каждое лето можно китайскому студенту ездить домой. Особенно сычуанцу — ни денег не хватит, ни времени.

Но в летние месяцы пыль пекинских улиц становится совершенно нестерпимой. Поставщики этой пыли — серые черепичные крыши, выветривающиеся сизые кирпичи домов, не подобранный ассенизаторами верблюжий и конский помет, шоссе проспектов и притоптанные хутуны, оплескиваемые ленивыми ковшами муниципальных служителей и помойными ведрами лавочников.

Местной пыли помогает пришлая, приносимая на плечах ветра из пустынь Центральной Азии. Летом коренной Пекин тянет в Западные холмы. Голубоватая цепь этих гор проходит в тридцати ли от Пекина.

Многоярусные торчки пагод, замки древних царедворцев и в туях тонущие храмы раскиданы на голых взлобьях этих гор и в их лесистых впадинах, так же как княжеские дворцы и купола монастырей в Подмосковье.

Здесь — «Летний дворец» с искусственным озером, где на якоре тяжести стоит «мраморный корабль»; здесь охотничий парк императора; гостиницы для иностранцев, около которых толкутся погонщики ослов и носильщики цзяо, доставляющие туристов на вершины гор, откуда на горизонте мутной полосой виден Пекин.

Но кроме дворцов и богатых монастырей в Западных холмах есть бедные храмики и дырявые домики.

Можно задешево снять на лето комнатку и наладить, чтобы хозяева готовили лапшу и овощи.

Один стол в Пекине обходится в двенадцать даянов, а на даче всего шесть с половиной даянов в месяц. Снимаем несколько домишек в маньчжурском районе. На первый месяц вносим паи по десяти даянов и намечаем пробыть здесь месяца два. Нас двадцать человек студентов.

Тут минералоги, химики, экономисты, филологи, музыканты.

Чтобы каникулы не пропали даром для общества, постановляем:

Организовать школу для толкущихся вокруг ребятишек.

Учить бесплатно.

Учебники, бумагу, кисти, тушь купить из экономии по дачным расходам.

Заниматься в очередь по два часа ежевечерне.

Маньчжуры — народ-завоеватель, принесший к нам косу, нынешний наш халат и ма-гуа, но сам за триста лет потерявший в китайской гуще свой первоначальный тунгузский облик и свой родной язык.

Сведенные в знаменитые полки императорской жандармерии маньчжурские семьи были поселены под Пекином. Огромные государственные фруктовые сады покрывали Западные холмы, и прибыль с них шла на маньчжуров.

Каждый маньчжуренок со дня рождения получал из императорской казны от трех до четырех ланов серебра в месяц. Они жили, бездельничая, жирея, обленившись, теряя цену и счет деньгам. Не было в Китае больших транжиров, чем маньчжуры. Легко деньги притекали в их пригоршни, легко уходили сквозь растопыренные пальцы.

Триста лет выварился целый народ в безделье и достатке, а когда пришла революция и высохли потоки дарственных ланов, их поселения быстро пришли в упадок, но по-старому безмятежной и ленивой осталась их жизнь.

Зимой ходит в Западных холмах холодный ветер.

Маньчжуры порубили и пожгли свои фруктовые сады. Последний заработок сгорел в очагах.

В двадцать голосов изо дня в день твердим мы соседям:

— Надо работать. Смотрите, вон у вас комната поломана, в окно задувает ветер. Не сегодня завтра вот этот кирпич упадет в люльку ребенка и сломает ему голову. Отремонтируйте, переберитесь пока в другую комнату.

Маньчжуры смеются, машут руками.

— Пустяки,— говорят,— зачем этому кирпичу падать? Стоял этот кирпич сотню лет и еще сто лет простоит.

Пожимая плечами, уходят в сторону от нас, чудаков.

Мы раздобываем инструменты, лезем на карниз. Сами, без плотника и каменщика, прилаживаем, чиним.

Маньчжуры смеются, удивляются, но не благодарят. Очевидно, считают — барчата тешатся.

С детьми еще труднее. Они ходят немытые, как дикари, не дают привести себя в порядок, не сидят на месте. Через несколько минут занятия им надоедают, они удирают, и нет сил втолковать их родителям, что без грамоты им будет трудно.

Мы подманиваем детей конфетами, обещаем награду за выученные иероглифы, за написанную фразу.

Дети фраз не пишут, а конфеты крадут, забираясь без нас в комнаты. Шарят по столам и по ящикам, таскают бумагу и тушь, не брезгают даже фотоснимками, плавающими в кювете.

Дивимся.

Мы — дачники, нам положено отдыхать,— и то не утерпишь, схватишься за газету, ткнешься в учебник. А маньчжуры — можно подумать, что они живут в каком-то загробном мире. Всей общиной вылезают они с утра, рассаживаются на длинных ступенях ведущих на горы лестниц, кладут ладони на колени и, медлительно бормоча, рассказывают час, два, четыре, шесть. О ком-то вспоминают, кого-то пересуживают, делятся новостями — кто проехал по дороге, у кого умер ребенок.

Они не могут привыкнуть, что государство отказывается их кормить. Тон привилегированного сословия в их жестах и походке. Женщины, даже из самых бесхлебных семей, не съевшие и двух рисовых зерен за утро, выходят на улицу обязательно набеленные, нарумяненные по вискам и увенчанные двойным лоснящимся семафором прически.

Маньчжурские селения тают, все больше в них опустелых домов. Кто не умер с голоду или от зимней простуды — уходит в Пекин. Нужда и развращенность ленью загоняют маньчжуров-мужчин в оглобли пекинских янь-чэ, а женщин-маньчжурок — на тухлые каны второсортных публичных домов.

Мы, студенты, упорны, но маньчжурята упорнее нас. Неделя за неделей проходят зря. Наши голоса хрипнут. Нервы портятся. Наши принципы должны просветлить весь мир, но вот мы не знаем, как прибрать к рукам маленьких неслухов и лентяев. Маньчжурята побеждают. Еле протянув месяц, мы бросаем возню с ними.

— Лао Дэн! Лао Дэн! Слушай! Новость!

Товарищ, зовущий меня, явно взволнован:

— Лао Дэн, ты помнишь Ху?

— Какого Ху?

— Ху Цзинь-и, бывшего губернатора Сычуана.

Как мне забыть того, кто чуть не казнил моего отца?

Мстительная ненависть качает меня. Товарищ рассказывает. У Ху имение здесь, в Западных холмах. Усадьба и десять му земли. На земле разводит хлопок. Сын у него в Германии, большой лоботряс. Ему старик ежегодно переводит десять тысяч даянов[1].

Мне не терпится. Наконец я увижу того, в чье тело всаживал нож моего ночного бреда восемь лет тому назад.

Земляк ведет меня. Я с ним долго сижу у дороги, обтекающей каменную ограду поместья.

Задохшиеся, выпученные рикши, сбившиеся с бега и перешедшие на кланяющийся шаг, везут дремлющих седоков за десятки ли от Пекина. Садовники несут мотыги на плече. Автомобили сверкают, как злобные очки кинематографических сыщиков, мча в гостиницу Па-тачу большезубых, хохочущих иностранцев.

---

[1] 10 му хлопка — это меньше десятины. Студенты, знавшие сына Ху, говорят, что в это время ни о каких десяти тысячах не могло быть и речи. Ненависть Ши-хуа сохраняет неприкосновенной невероятность цифр. Ху для него — символ всех богачей *(С. Т.)*.

Вдоль стены поместья проходит толстый, румяный старик. Серый халат вертикальной складкой падает с его живота к туфлям на толстых войлочных подошвах. Глаза старика благочестиво полузакрыты. Мягкими пальцами он перебирает четки, отщелкивает шарик за шариком и бормочет: «О, мэй-то-фу! О, мэй-то-фу!», как монах.

Это Ху.

Он подходит под дулами моих глаз, небрежно скользнув по нас зрачками, и, не меняя шага, шаркает за угол.

В моих руках нет ничего, кроме стебелька придорожной травы. Я ничем не могу повредить этому человеку, который восемь месяцев продержал моего отца в камере смертника. Но я его крепко запоминаю, от каждой складочки халата, от манеры ставить пятку, от мешков под глазами, от медленных, мягких рук, которые пересчитывают четки, словно кредитные билеты, и до благочестивого подшептывания: «О, мэй-то-фу! О, мэй-то-фу!»

Время моему удару еще придет.

Настанет день, когда новый Китай поведет на унизительную казнь всех этих благочестивых, раскормленных, беспощадных Ху.

Глава 20

ОТЕЦ ПРЕДАН

Гоминдан шевелится.— Мой шурин.— Отец на хуторе.— Визит ди-бао.— Опись имущества

Снова осень. Гудят университетские дворы. Черные летом доски обрастают осенними листами объявлений.

Из дома идут тревожные письма. Гоминдан шевелится. Доктор Сун приказал сычуанским гоминдановцам разлагать войска дерущихся генералов и, вмешавшись в драку, бить и тех и других.

Значит, отец вышел из замка.

Значит, снова у нашего дома возникают в ночную темь подозрительные и молчаливые люди.

Отец собирает в свой отряд все тех же старых знакомых — бывших полицейских теяньской школы, бойцов из рядов «старших братьев» — го-лао, бродящих по сычуанским дорогам, солдат минь-туаня.

Но вербовать трудно. Люди разуверились в революции. Люди склонны отряд отца считать очередной бандой в дополнение к уже дерущимся на сычуанской земле. Люди не хотят рисковать деньгами и жизнью во имя фантазии какого-то сидящего в далеком Кантоне доктора Суна. Они предпочитают лозунг ловких: «У кого есть молоко, тот — моя мама».

Этот лозунг исповедует и мой шурин — брат жены, бывший гоминдановец и офицер отцовского отряда. Он заявляется к лиусяновцам и предлагает принять его на службу. Те, к кому он пришел, зная его за гоминдановца, не верят искренности легкого перехода и требуют гарантии.

Гарантия под рукой. Шурин отвечает офицеру:

— Вот подтверждение моей готовности служить вам. Дэн Я-пу, свекор моей сестры, сейчас вербует отряд по директиве гоминдана. До самого последнего момента я помогал ему, хотите, я помогу вам взять его?

При разговоре присутствует офицер, когда-то, в одиннадцатом году, служивший в полицейском отряде под командой отца. Верность начальнику, хотя бы и бывшему,— одна из главных добродетелей китайского морального кодекса.

Офицер успевает послать отцу короткую записку: «Гонятся, убегайте».

В канун Нового, 1923 года, когда дом готов погрузиться в праздничный отдых, в кормление и гостевое хождение, отец бежит на уединенный крестьянский хутор, принадлежащий его товарищу. Вероятно, этот товарищ из маминых родственников, потому что его фамилия Ляо.

В день Нового года в Сиань-ши является отряд солдат.

К нам они не заходят. Бесполезно. Уже знают — убежал.

Второго января моя жена отправляется к своим, а третьего января солдатский отряд, не ища и не сбиваясь с пути, почти бегом врывается в дом Ляо.

Есть обычай в дни Нового года ходить на могилы родных. К счастью для себя, отец в этот день наутро ушел на могилу бабушки. Крестьяне, встретив его, сообщили о налете.

Солдаты, разворотив обыском избы, потыкав винтовками в кормушки, грозят Ляо и уходят готовить пустой рапорт даоиню.

С этого времени шурин идет в гору, и через несколько месяцев теяньский даоинь назначает его начальником муниципального минь-туаня — дополнительной городской стражи.

Тишина виснет над отцовским домом. Не заезжая в Сиань-ши, окольными тропами, от деревни к деревне, от пристани к пристани, отец начинает свой долгожданный путь в Гуандунь.

Не успевает еще сесть пыль на обеденное кресло отца, как в дом наш заявляется ди-бао. Младший дядя вежливо принимает хозяина деревни и подносит ему чашечку чая, недоумевая, зачем забрел к нам, да еще через несколько дней после бегства отца, этот тучный и набожный человек.

Дядя говорит:

— Разрешите у вас узнать, чем можем вам служить?

Ди-бао скорбно вздыхает:

— Ужасно дорога стала жизнь. Если бы вы знали, уважаемый Дэн Ти-пу-сянь-шен, до чего я за эти последние дни истратился. Буквально ни одного медного тунзера не осталось в квартире.

— Да, да,— сочувственно говорит дядя, не понимающий, куда гнет администратор, но чувствующий, что не к добру этот разговор о деньгах.

— А в то же время,— продолжает ди-бао,— нужно платить долги. Не уплачу — потеряю лицо. Я знаю вас, Дэн Ти-пу-сянь-шен, за очень отзывчивого человека. Я всегда привык уважать вашу фамилию. Я надеюсь, вы не откажете мне в некотором кредите.

Дядя в уме подсчитывает приходно-расходную таблицу нашей семьи.

— Очень скорблю о вашей нужде, но у нас денег нет, мы сами бедны.

Ди-бао начинает усиленно вздыхать.

— Неужели так и не найдется? А ведь я приехал к вам перетолковать по-дружески. Зачем ссориться? Может быть, у вас будут какие-нибудь неприятности, тогда я и смогу вам помочь.

Рассердившийся было дядя настораживается:

— У нас неприятности? Какие неприятности?

— Какие неприятности? Мало ли какие.

Ди-бао лезет за пазуху, долго шуршит там, словно насекомых выскребывает. Лицо его делается из озабоченного скорбным. Он медленно вытягивает бумажку, утоптанную красными квадратами печатей, и с глухим вздохом смотрит на дядю.

Бумажка — приказ старосте описать имущество бунтовщика и конспиратора Дэн Я-пу, скрывающегося от суда, и означенное имущество конфисковать.

Денег в доме нет, но если не заплатить ди-бао, будет еще хуже.

Дядя пишет долговую расписку на пятьдесят лан серебра, то есть семьдесят пять даянов, а мачеха и дядина жена спешно отбирают из сундуков, шкафов и кладовых шелковые платья, что поновее, короба с фруктами и горшки варенья.

Задобренный ди-бао пьет чай и объясняет дяде, как нужно поступить, и уходит, предупредив, что описывать имущество явится дня через два.

За эти два дня дядя мечется от стряпчего к стряпчему и составляет договоры, из которых явствует, что на земле, принадлежащей нашему дому, лежит залог и — мало того — земля эта беглецу вовсе не принадлежит.

В назначенный день ди-бао сажает у нас в комнате своего писца, ходит по дому, осматривает вещи и диктует. Он хорошо диктует.

Лучшие вещи в доме оказываются не отцовскими, а дядиными и в опись не вносятся. Но даже те, что похуже, ди-бао вносит в список неправильно. Вполне целый стол он записывает так — «стол сломанный, трехногий». Пару бамбуковых стульев — «стулья продавленные, негодные».

В протокол вписываются те акты, которые только что смастерил дядя, а из пятисот деревьев нашего мандаринника в акт ди-бао вносит только сто. Он бы не внес ни одного дерева, но это опасно.

Слишком малый список может возбудить подозрение даоиня, и даоинь пришлет контролера.

Окончив писать протокол, ди-бао снова пьет чай и ест варенье, а затем пишет в Теянь сопроводительную к протоколу бумагу:

«Дэн Я-пу оказался хитрым человеком. До бегства почти все свои вещи успел распродать, а если что и оставил, то одну рухлядь и лом. Осталось у Дэн Я-пу около ста непроданных мандариновых деревьев; самый же дом принадлежит его младшему брату, учителю правительственной школы деревни Сиань-ши Дэн Ти-пу».

Сельские служители подымают на плечи отобранные столы, шкафы,

лавки, кадушки, полуистлевшие халаты и пару плохих одеял и сносят в дом деревенского правления. Там их частью раскупят старьевщики, частью же они доломаются до конца и пропадут.

А сотню мандариновых деревьев нашего мандаринника продают с торгов богатому фруктовщику.

Всего эта конфискация приносит нашей семье очередного денежного ущерба даянов на тысячу, прибавляющуюся тяжелым грузом к уже лежащим на плечах семьи долгам.

Глава 21

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

И Фа-эр.— Читаем Чехова.— Спор о Толстом.— Мои приятели.— Что переводим

От пятидесяти новичков, поступивших на русскую секцию в 1920 году, ко второму курсу (1923) остается человек пятнадцать. Считается, что после трех лет подготовки мы знаем язык.

На французской секции есть профессор И Фа-эр[1], родом русский. Он сменяет наших незадачливых учителей.

Профессор И Фа-эр живет давно в Пекине. Его квартира на Янь-яо-хутун, в комнатах старого храма. Пекин он знает лучше нас, приезжих, а китайские газеты читает аккуратнее и внимательнее нас. Он мне нравится. Он живой и настороженный. У него светлые волосы, столь непривычные нашему глазу, как шерсть, а голубые необычайные глаза посажены так глубоко, что — по китайской поговорке — землей глазниц не закидать. Он ходит по аудитории, крепко потирая руки, и в голосе его радость, будто он только что выиграл решительную партию. Во что? Неважно. Он показывает на вещь и спрашивает нас, проверяя:

— Кэс-ке се?

А подзывая к доске, говорит:

— Силь ву плэ.

Мои приятели шумно лезут в словарь, ища смысла этих слов, но я успокаиваю их недоумение, поясняя, что слова эти не русские, а французские и значит они: «Что это такое?» и «Пожалуйста».

И Фа-эр хорошо говорит по-китайски, только немного длинновато. Там, где китаец сказал бы одну фразу, он произносит три. Он вышучивает нас и наши прежние учебники.

После скучной хрестоматии он дает нам читать рассказы Чехова. Они коротки, но очень смешны и понятны. От рассказов мы переходим на большие вещи и читаем «Чайку».

---

[1] И Фа-эр — под этим именем Дэн Ши-хуа описывает советского китаеведа Алексея Алексеевича Ивина (1885—1942).

Как это настроение похоже на настроение наших девушек и юношей, которые впадают в декаданс, в печаль и в мечту о самоубийстве, не зная, что радость надо искать на дорогах, ведущих к революции.

«Чайку» читать нам нелегко. Есть перевод, правда плоховатый, некоего Чжен Чжень-до[1]. Сейчас он редактор солидного компрадорского литературного журнала «Коммершел пресс» в Шанхае.

Чехов заинтересовывает секцию. Пересиживая один другого в библиотеке, мы рвемся переводить, хотя наш багаж состоит из нескольких десятков слов, которые мы не умеем склонять, и глаголов, у которых мы помним только неопределенное наклонение.

Вчитавшись в Чехова, мы уже готовы зачислить его в ряды революционных русских писателей вместе с Толстым и Кропоткиным. Но тут И Фа-эр делает неожиданный поворот. Он объясняет, что Чехов — выразитель мелкой буржуазии, что у него мало общего с революцией, в особенности же с той революцией, которая происходит в России сейчас.

Пока он громит Чехова, мы только недоумеваем. Но когда И Фа-эр дерзает поднять руку на Толстого, мы не выдерживаем.

Мною читаны уже не только рассказы в переводе Цюй Цю-бо[2], к сожалению, кажется, не особенно хорошем, но даже роман «Воскресение», переведенный уже давно, не с русского, правда, а с японского, ибо «Воскресение» — самая популярная книга в Японии, где про Катюшу сложена народная песня.

И Фа-эр отрицает революционность толстовской философии. Перерывы между лекциями превращаются в диспуты.

И Фа-эр смотрит на нас весело, иронически потирает руки, словно повар, бросивший в кипящую кастрюлю овощи и ожидающий, когда они уварятся.

Я беру «Воскресение», прочитываю его снова до корки. А пожалуй, профессор прав. Нехлюдов, благородно отдающий землю крестьянам, выдуман. Толстой — утопист. Так не бывает. Крестьяне должны сами взять себе помещичью землю, не дожидаясь, пока все помещики станут Нехлюдовыми.

---

[1] Чжен Чжень-до (1898—1958). Сведения, которые сообщает о нем Дэн Ши-хуа, неверны. Это выдающийся историк китайской литературы, искусствовед, археолог и переводчик русских классиков, автор «Истории китайской простонародной литературы» (1954). Ему принадлежит «Краткая история русской литературы» (1923) — первая попытка познакомить китайского читателя с историей русской литературы.

[2] Цюй Цю-бо (псевдоним, настоящее имя — Цюй Шуан, 1899—1935) — выдающийся деятель Коммунистической партии Китая, писатель, автор многих работ по вопросам революционного и рабочего движения в Китае, редактор переводов Ленина на китайский язык, один из основоположников марксистской литературной критики в Китае, пропагандист русской и советской литературы в Китае, переводчик русских классиков. Мнение Дэн Ши-хуа о качестве переводов Цюй Цю-бо ошибочно. В 1921—1922 гг. был в Москве в качестве корреспондента пекинской газеты «Ченьбао». Его очерки о Советской России сыграли большую роль в ознакомлении китайского народа с жизнью молодой советской республики. Расстрелян по приказу Чан Кайши 18 июня 1935 г.

В споре о Толстом я нащупываю двух согласных со мной друзей. Их зовут Чжао Цзу-чен и Тин Юин-пин. Стороной от нас держится Цао Дин-хуа[1]. Он продолжает не верить профессору. Он сам был когда-то в Москве, но нам про нее ничего не рассказывает. Он сидит, уткнувшись в книги, и переводит «Три сестры» с помощью книги Иванова-Разумника, над которым И Фа-эр смеется.

Чжао Цзу-чен переводит рассказы Пушкина. Тин Юин-пин ничего не переводит. Он робок и тих. Он плохо говорит по-русски, и его интересует не столько литература, сколько учение о том, как делать революцию. Он постоянно на заседаниях и в политических спорах. Я думаю, он член «Сиуай». Впрочем, он замолкает, когда я его начинаю расспрашивать. Возможно, он мне не доверяет. Это понятно. Со времени выхода из «Эсуай» я беспартиен. Семья Тин Юин-пина живет в Хунани. Нет беднее хунаньских деревень и свирепее хунаньских помещиков. Отец его, сельский учитель, ковыряет свои два му земли. Много ли с двух му пришлешь сыну, если весь урожай в год — это шестьдесят та зерна (та — это коромысло о двух пятидесятицзиновых корзинах). Две с половиной тонны в год.

У Тин Юин-пина в Пекине невеста, маленькая девочка с глубоким трубным голосом, готовящаяся перейти из гимназии в университет. Они цепко держатся друг за друга и ждут дня, когда объявят товарищам красными карточками о свадьбе. Невеста богата. Когда Тин Юин-пину приходится очень плохо, она ему помогает.

И Фа-эр приносит газеты, печатаемые в Москве, огромные, на толстой рыхлой бумаге.

Мы лазаем карандашом по серым строчкам тесного шрифта и радуемся, узнавая уже знакомые нам слова. Мы читаем статьи, написанные месяц назад в «государстве бедных». Мы читаем и переводим на китайский язык книги «Искусство и жизнь» Воронского, декларацию «Лефа» и декларацию «На посту». Мы пробуем декламировать «Двенадцать». Мы хором читаем:

Это об нас
взывала земля
голосом пушечного рева.
Это нами взбухали поля,
кровями опоены...—

читаем с трудом, ломая язык и губы, тяжелые глыбы слов вступления к «Мистерии-буфф» Маяковского.

Набранные в университетской типографии брошюрки наших переводов ложатся на прилавок университетского книжного ларька. Держим контакт со старшим курсом русской секции, где Фу Сяо переводит «Двенадцать»

---

[1] Цао Цзин-хуа (а не Цао Дин-хуа, как пишет Дэн Ши-хуа) (род. в 1897 г.) — китайский литературовед, профессор русской литературы в Пекинском университете, переводчик, популяризатор советской литературы в Китае. Перевел на китайский язык произведения Горького, Чехова, Серафимовича, А. Толстого, Федина и других писателей.

Блока, а толстый Ли тужится над историей русской литературы Львова Рогачевского.

Читая интересные и дерзкие слова журналов «На посту» и «Леф», я слышу — новая Россия говорит не тем голосом, которым разговаривали Чехов и Толстой.

Мы раздобываем для читальни портрет Горького и просим И Фа-эр достать фотографию того, кто в новой России все равно как Сун Ятсен в Китае,— фотографию Ленина.

В эти недели азартной учебы отец успевает мимо туфейских застав и таможенных столов, глотая пыль вагонов, колыхаясь в цзяо, волнуя лодками воду мутно-желтых каналов, добраться до Кантона. Успевает добраться для того, чтобы выслушать новый приказ учителя, друга, вождя — Сун Ятсена, такой похожий на прежние приказы,— вернуться в Сычуан! Создать военный отряд и стать во главе!

Пора быть новому походу! Пора в интеллигентские жилы гоминдана влить свежую кровь городских кули и безземельных мужиков, гнущихся над рисовыми болотами.

Отец уходит к себе, на север, в те дни, когда Кантон готовится к съезду гоминдана.

Глава 22

СИНЯКИ

Я с винтовкой.— Наш инструктор.— Дни позора.— 21 требование.— «Ученый хулиган».— У ворот парламента.— Нас бьют

Я исполняю данное отцу обещание — кроме литературных отвлеченностей изучить какое-нибудь практическое дело.

При университете ректором Цай Юань-пеем создан военный отряд. Рядом со спортивными кружками — теннисным, с его нежными брючками, футбольным, с грохотом бутс, легкоатлетическим, с шипами беговых туфель,— возникают пыльно-желтые куртки и брюки, тропические шлемы и гетры, единый шаг трехсот ног и винтовки... настоящие винтовки с короткими ножами штыков, но без патронов.

На полчаса раньше «штатских» вскакиваем мы, отрядники, с постели, натягиваем штаны и куртки, отвыкая от халатов, уходящих в чемоданы, и бежим в университетские дворы равняться шеренгами, делать четкие повороты, резко вскидывать винтовки, падать на колено, стрелять, колоть, рассыпаться цепями и снова срастаться колоннами.

Мы — солдаты этого отряда. Но мы же и командиры. По очереди командуем мы взводами, звеньями и всем отрядом.

Когда кончаются строевые занятия, самая большая аудитория глохнет от навалившейся нашей массы. Мы слушаем лекции по стратегии и

тактике, об организации современных армий и об основах обороны страны.

Наш инструктор Цзян Бей-ли.

Он — писатель. Известна его книга «История эпохи Возрождения в Европе». Но еще знаменитее его военные знания. Он обучает нас, молодых радикалов и анархистов, как надо воевать.

Пройдет немного лет. Он уйдет советником к нашему врагу У Пей-фу[1]. А от него переметнется к Сунь Чуань-фану[2]. Мы будем вспоминать лекции, мечтая, как он попадет в плен к нам, бывшим его студентам, и мы его спросим:

«Сы-фу! Наставник! Какой же вы специалист, если попали в плен к своим собственным ученикам?»

И отпустим его с уважением. Трижды в неделю шестьсот ног бьют гравий университетского двора. Под высоким университетским знаменем кичатся выправкой шеренги.

Здесь — будущие офицеры, которых охотно за их знания любой генерал примет в свою армию, тем самым открывая ворота гоминдановщине в военщину.

Здесь — будущие начальники минь-туаня, которые будут защищать деревенские отряды от туфеев, а кто знает, быть может, и от атаки доведенных до голода арендаторов.

Здесь — начальники будущих революционных дивизий, которым история прикажет бить врагов во имя освобожденного Китая, нового Китая, сильного Китая.

А пока бьют нас в разные дни и на разных улицах, когда мы проходим, выбросив в небо флаги и плакаты, и митингуем на площадях. Нас бьют в дни революционных праздников, когда у ворот казарм и канцелярий выставляются пятиполосые флаги китайской республики. Нас бьют в «дни позора», когда канцелярии лицемерно молчат, но кричат рассыпаемые нами летучки.

Седьмое сентября — первый день позора. Мы проходим мимо стен посольского квартала. Седьмое сентября родило эти стены. В этот день в 1901 году штыками семи держав, превративших Пекин в кашу развалин, густо замешенных человеческой кровью, подписан «боксерский протокол», обложивший Китай платежами земель, денег и унижения.

Девятое мая — второй день позора. Это день, когда Япония, под шумок

---

[1] У Пей-фу (1878—1939) — китайский милитарист, возглавлявший вместе с Цао Кунем «чжилийскую клику» (англо-американской ориентации). В феврале 1923 г. учинил кровавую расправу над бастовавшими рабочими пекин-ханькоуской железной дороги. В 1924 году потерпел поражение в междоусобной войне с Чжан Цзо-лином и лишился власти в Пекине. В 1926 г., под давлением японского и английского империализма, вступил в союз с Чжан Цзо-лином. Его войска были разгромлены во время Северного похода национально-революционной армии в 1926—1927 гг.

[2] Сунь Чуань-фан (1885—1935) — китайский милитарист, властвовавший в пяти провинциях юго-восточного Китая. Жестоко подавил восстание шанхайских рабочих в 1926 г. Его основные силы были разбиты в ноябре 1926 г. национально-революционной армией во время Северного похода.

мировой войны, предъявила покладистому Юань Ши-каю «двадцать одно требование»[1]:

— Не подымать оружия на Японию.

— Иметь только японских советников.

— Японцам селиться и торговать в Маньчжурии и Монголии, как у себя дома.

— Займы Китаю брать только у Японии.

— Полиции в тех местах, где живут японцы, быть японской.

— Срок «аренды» Порт-Артура и Южно-Маньчжурской железной дороги поднять с двадцати пяти лет до девяноста девяти.

— Бывшие германские владения в Шаньдуне передать Японии.

— Никакого другого «арендатора» Китаю в Шаньдун не пускать.

— Японии разрешить в Шаньдуне железную дорогу.

— Японский капитал пустить в Хан-Япинский металлургический комбинат[2].

И еще... и еще... и еще...

Эти требования были так невероятны, что иностранным державам японцы отправили «копию» сильно измененную.

Юань Ши-кай умер, не успев продать Китая.

Но следующие правительства кой-какие из этих требований удовлетворили.

Вот почему девятого мая гремят по китайским городам крики молодежи:

— Долой японскую лапу!

— Долой «двадцать одно требование»!

Четвертое мая — день нашего рождения, день, когда мы позор превратили в боевой крик и начали антияпонский бойкот.

Но кроме этих дней мы возникаем то у ворот министерства, то около дворца президента, то перед парламентом — и криками, и стрекотом, и надписями флажков требуем внимания к нашим требованиям, грозя смертью невнимательным.

— Та-сы! Та-сы! — Бей до конца!

После демонстрации, о которой я сейчас расскажу, ректор нашего университета Цай Юань-пей, не в силах больше тягаться с сановниками, бежал в Японию.

Во главе Китая — парламент, сборище людей, выбранных еще в 1916 году и продающих свои голоса тому, кто больше заплатит.

Президент Ли Юань-хун силится усидеть на президентском кресле, маневрируя между наседающими на него дубанями — провинциальными царьками — и кабинетом министров, подобранным из виднейших ученых.

---

[1] «Двадцать одно требование» Японии было предъявлено 18 января 1915 года Китаю. Сущность их сводилась к установлению фактического протектората Японии над Китаем. 9 мая 1915 года президент Китая Юань Ши-кай принял большую часть требований (в сообщении об этом Дэн Ши-хуа допустил неточность). Этот «день национального позора» вызвал всеобщее возмущение в стране. Начался повсеместный бойкот японских товаров.

[2] Теперь там 75 процентов японского капитала (справка 1930 г.— *С. Т.*).

В это-то сборище седоусых педантов и докторов философии Ли Юань-хун назначает министром народного просвещения любимца, хунаньского дубаня, некоего подхалима, пролазу и ловкача по имени Пен Юн-и.

Министры отказываются принять в свою среду «ученого хулигана» — кличка Пена.

Президенту остается одно — свалить совет министров.

Председатель парламента обвиняет одного из министров во взятке. Президент подписывает ордер на арест. Министра сажают в тюрьму, а председателя кабинета министров смещают.

Январский свежий день. С утра нам весело. Вместе с профессорами мы идем к парламенту с требованием увольнения «ученого хулигана». Накапливаемся у ворот. Держимся плотной громадой. Но кроме нас перед воротами парламента есть и другие люди. То ли это гайдуки с запяток карет, то ли приказчики, а может быть, даже переодетые солдаты: на таких прямых ногах вышагивают они в своих халатах. Впрочем, мы на них мало обращаем внимания.

Мы смеемся над цепочкой полицейских перед входом. Мы убеждены: подобно прежним демонстрациям, они рассыпаются, когда мы с криками кинемся к воротам и побежим через двор и вестибюль к главной зале.

Полиция расчищает в толпе коридор для подъезжающих автомобилей и карет. Вот автомобиль вязнет в стеблях человеческих рук. В тон нарастающему тревожному гудку наваливается крик толпы. Это мы грозим кулаками в зеркальные стекла машины едущему председателю парламента. Это мы, подымая в воздухе зонты и кулаки, требуем:

— Прочь «ученого хулигана»!.. Долой прохвостов!

Наша масса приближается к воротам. Еще минута — и мы будем диктовать свои условия сановникам.

Но в это время раздается командный свисток. Из ворот парламента выбегает много полицейских. Их черные куртки теснятся ободом вокруг нашей толпы. А незнакомые нам люди, непристойно задирая халаты, отцепляют спрятанные под ними палки и закатывают рукава.

Палки бьют больно и наверняка. Кулаки тренированы.

Полицейские шпионы, нанятые и переодетые наемные боксеры с дальних базаров, челядинцы членов парламента.

Когда мы кидаемся на громил, они прячутся быстро и ловко за спинами полицейских. Когда же мы пытаемся пробить полицейскую стену, она не поддается, и на каждый толчок в мундирную грудь рослые люди в черных куртках хватаются за палаши, чтобы прибавить железа к дереву хулиганов.

Сбившись в комок, мы последним усилием прорываем обруч и уходим врассыпную.

В общежитии мы скидываем халаты, ежимся, отдирая рубахи от кровяных корок, прикладываем спирт к синякам и царапинам, считаем, сколько их, и гордимся нашими боевыми знаками не меньше, чем в деревенской школе мы гордились «яйцами» за хорошо написанные иероглифы[1].

---

[1] Дэн Ши-хуа, рассказывая об этом побоище, относил его к лету. Видимо, он запамятовал, так как справочники говорят о январе *(С. Т.)*.

Глава 23

РАЗВОД

Письмо отца.— Пусть развод! — Семейный съезд.— Торг.— Двадцатая подпись.— Да здравствует холостой!

Длинное и обстоятельное отцовское письмо:

«...Явился записываться в мою дивизию тот самый офицер, от которого я под Новый год получил записку: «Гонятся. Убегайте».

Он сообщил мне вещи, которые иногда создавали во мне подозрения, но я их отгонял, ибо мне они казались отвратительными и невероятными.

Он передал мне разговор твоего шурина с офицерами...

Однако самое неприятное не в этом. Шурин знал, что я в Сиань-ши, не больше. Но кто дал солдатам адрес избы Ляо?

Я позвал твою жену и задал ей вопрос прямо: откуда мог брат ее узнать, куда я спрятался? Она потупилась и не произнесла ни одного слова.

Стало ясно — здесь нечисто. Я ее отпустил. Она немедленно же ушла к себе. Заперла комнату на ключ, наняла цзяо и уехала к своим, не отпросившись ни у меня, ни у мачехи.

Я усомнился: быть может, мы ее обидели омерзительным подозрением? Я снова стал проверять. По моему поручению люди ходили, разведывали, выспрашивали и принесли мне то же самое — погоня за мной была послана по указанию ее брата.

Вот тебе факты. Думаю, ты сам в них разберешься. Посылаю тебе письмо спешной почтой, чтобы возможно скорей получить от тебя ответ, как ты думаешь поступить...»

Как я думаю поступить? Разве я знаю, как надо поступать в таких случаях? Злая неурядица в родной семье трясет меня, как лихорадка.

Зачем все это случилось? Неужели трудно было этой тупой женщине держать язык за зубами? Сидела бы дома, производя поменьше шума, чтобы не отяжелять наш брак, и без того с трудом срастающийся, как старческие сломанные кости.

Но уже набегает ликование: может быть, предательство жены к лучшему? Воспользоваться им, разорвать сожительство, отправить ее прочь, куда она захочет. Освободиться, не чувствовать ее дыхания над плечом в дни приездов.

Долгий консилиум земляков. Одни думают, другие озабоченно щелкают языком и сокрушаются, третьи радостно возбуждены.

— Развяжись скорей с женой. Ты же ее не любишь. О чем ты думаешь?

Побеждают они.

— Хорошо, что отцу твоему повезло. А могло быть и хуже. Разводись, ты не гарантирован от повторения предательства. Опасно.

Предлагаю отцу хлопотать о разводе.

Мачеха не хочет. Развод — пощечина ей. Ведь это она мне выбрала Гуан-ин и настояла на свадьбе.

Ее предложение — пусть разъедутся и живут розно, а формально не разводятся.

Но отец не согласен. В первый раз за много лет он резко отбрасывает в сторону мачехин совет и задает в письме прямой вопрос родителям жены: каког.. они хотят развода — судебным порядком или по добровольному соглашению?

Момент серьезный. Если ответят: судебным порядком,— мы можем остаться в дураках. А вдруг суд не согласится с доводами нашей семьи? Ведь в суде сидят люди, которые не склонны потакать семье нелегальщика Дэн Я-пу.

То ли Гуан-ин настояла, наскучивши гнусным и тоскливым своим браком, то ли родители ее, не совсем уверенные в благополучном решении суда, побоялись трат, но отец получает ответ — о разводе решить на конференции родичей.

Дэны и Гуаны съезжаются в нашем доме. Ди-бао — не тот, кто конфисковал вещи, а уж новый,— одетый в парадную одежду, переступает порог в качестве официального свидетеля. За обеденные столы в натянутом молчании садятся наши: отец, мачеха, младший дядя, два двоюродных дяди и три жены этих дядьев. Вперемежку с ними шуршат одеждой степенные купцы фамилии Гуан.

Здесь — сама виновница спора — жена, ее родители, брат ее деда, дядя, старший брат и второй брат, студент-юрист Пекинского института с женой, а также жена предателя. Сам предатель, студент хубейской военной школы, отсутствует. И еще одна пара, смущенная подобно мачехе,— сваха с мужем.

Медленно и тяжело идет обед. Когда прислуга подает новое блюдо, Дэны произносят вежливые слова:

— Откушайте, пожалуйста. Будьте любезны отведать этого супа... Я огорчен, что вы мало едите...

И в ответ на угостительные слова Гуаны поворачивают головы и оскаливаются. Сразу не поймешь — то ли к улыбке, то ли на укус.

А потом молчание до следующего блюда.

После обеда чай и варенье сменяют на столах питательную плотность блюд и начинается заседание. Жену с заседания усылают. Начинает отец, он излагает по пунктам:

1. Разговор предателя с офицером.
2. Предупредительная записка.
3. Первая облава в Сиань-ши.
4. Отъезд Гуан-ин.
5. Вторая облава у Ляо.
6. Наведение справок.

И спрашивает, на каких условиях семейство Гуан согласно учинить развод между супругами Дэн Ши-хуа и Дэн Гуан-ин. Купцы молчат некоторое время. Несомненно, у них уже было фракционное заседание. Предложение приготовлено заранее. Переговариваться сейчас нет надобности, но выдержать паузу требует солидность.

Их условия:

1. Супруги разводятся.

2. Семья Дэн возвращает семье Гуан данное за Гуан-ин приданое.

3. Семья Дэн выплачивает Гуан-ин ежегодно по триста даянов, каковой платеж прекращается, если Гуан-ин выйдет вторично замуж. Вместо ежегодных платежей могут быть выплачены три тысячи даянов сразу.

4. Девочка Дэн Дун остается у матери. На содержание ее семейство Дэн выплачивает Гуан-ин сумму, устанавливаемую специальным соглашением, ибо потребности ребенка растут год от года.

Отец выслушивает эти условия спокойно и отказывается.

Его контрпредложения: ребенок остается у отца, а семейство уплачивает разведенной жене по двести даянов в год в течение не свыше десяти лет, причем платежи прекращаются с замужеством Гуан-ин.

Долгое молчание. Отец в уме гадает: удастся уломать или не удастся? Если не удастся, одно средство — суд. Но если даже суд постановит в нашу пользу, новая опасность. Предатель — мстительный негодяй. Он может подкупить бандитов, они выкрадут ребенка, уведут в горы мачеху, подстрелят из-за угла меня.

Гуаны противятся требованиям отца. Они оскорблены. Речи быть не может, что в их семье предатели. Все это сплошная выдумка. И вообще-то они согласны на развод только для того, чтобы вызволить свою родственницу из вздорной семьи, где она, бедная, затравлена.

Единый фронт Гуанов надламывает дядя жены. Он признает, что Гуан-ин несомненно виновна, что требования Дэнов правильны и нечего это мучительное заседание превращать в торговый спор. Этот дядя — образованный человек. В нем говорит интеллигентская приязнь к интеллигентам Дэн, тяжущимся с купцами.

Даян за даяном, словно воз спускается с крутой горы, сбавляют Гуаны в своей заявке. И каждый даян, словно раненая рука, завернут в длиннейшие бинты жалоб и причитаний.

Постановляют: вернуть приданое, платить двести пятьдесят, ребенка оставить отцу. Под актом девятнадцать подписей: восемь наших, восемь их и три свидетельских. Вызывают жену. Она вместо двадцатой подписи ставит неграмотный крест и перестает быть моей женой.

Быстро разъезжаются. У подъезда оскаливаются в последний раз. Дальше поклоны прекратятся, и острая перегородка вражды, попреков и злобной сплетни встанет между двумя фамилиями.

Отец возвращается в комнату. Подписанный акт продолжает лежать на столе. Он засовывает бумагу в шкаф. Мачеха, истерически взволнованная, растоптанная двадцатью подписями, плачет около ребенка. По ее мнению, с сегодняшнего дня Дун стала несчастной девочкой — полусиротой.

Даже отец, разволновавшись, наклоняется над перепуганной трехлеткой и трясущейся от плача пожилой женщиной, гладит девочку и говорит:

— Бедная внучка. Бедная маленькая внучка.

Письмо отца развязывает меня. И все-таки...

Хотя я знаю, что жена о девочке заботилась очень мало, мне начинает

казаться, что с уходом матери девочка становится бездомной собачонкой. Она меня заботит. Я вспоминаю ее лицо, глаза, грязную шейку и впадаю в жалость.

От письма меня отдирают приветственные крики товарищей. Узнав о разводе, они являются с визитом поздравить меня с восстановлением в холостом состоянии. Больше всех радуется сожитель-химик Ли.

Возможно, что ему мешала постоянно исходившая от меня атмосфера тоски, раздраженности и связанности.

Разрезвившиеся земляки-сычунцы вытаскивают меня из общежития. Мы бродим, болтаем и, наконец, оседаем в недорогом ресторанчике.

— Да здравствует холостой Дэн Ши-хуа!

— Да здравствует совершившееся ниспровержение императрицы Гу-ан-ин!..

Глава 24

ЗЕМЛЯКИ

Пишу рассказы.— Книгопродавцы.— Смерть Пу Чжао-веня.— Панихида.— Эпитафия

Посылки денег из дому неуверенны и недостаточны. Отец в бегах, а дяде, видно, нелегко сколачивать нужные мне даяны.

Заработки в Пекине малы и неопределенны. Я пишу рассказы в воскресные приложения к газетам, рассказы, напоминающие Чехова, или Горького, или Толстого. Мне платят газеты за тысячу иероглифов один даян. В переводе на русский язык это примерно рубль за семьдесят газетных строк.

Рассказы имеют успех. Газеты требуют еще.

Рассказы пишу не я один, но и несколько других товарищей сычуанцев, мечтающих стать китайскими беллетристами, такими же знаменитыми, как Горький и Толстой.

Мы организуем литературный кружок и решаем создать журнал. Издатель — землячество теяньцев. Уговариваем типографию дать нам кредит. Старательно правим корректуру и выпускаем книжки по пять листов, стоимостью в двадцать пять центов.

Увязываем свеженькие книги в платки и бегаем по магазинам, по книжным рядам ярмарок, вываливая на прилавок невозмутимых букинистов комиссионных, но платят туго.

Мы больше снашиваем подметок по пекинским шоссе, чем выручаем денег.

Мы увертываем книги в бандероли и шлем в провинцию.

Но если в Пекине еще удается получить деньги за проданные книжки, то об отосланных в провинцию мы только шутим: а вдруг появится в общежитии синий почтальон с уведомлением, и на уведомлении этом будет написано, что провинциальные магазины, распродав весь наш журнал, шлют полновесные даяны в адрес нашего землячества!

Земляк — это больше, чем родич.

Земляк — это все: приют, заем, совет, рекомендация на службу, сиделка у постели...

Пу Чжао-вень — земляк, уехавший во Францию,— подает нам через океаны голос.

Ему не по силам стало наблюдать, как высыхают в голодовке китайцы-студенты, приехавшие учиться во Францию.

Пу Чжао-вень кончает с собой, чтобы хрипом своей агонии обратить внимание забывчивых на китайчат, выбивающихся из последних сил в каморках Марселя и Парижа.

Но времена слишком шумны, и крови льется так много — еще не высохли пятна на перронах от расстрелянных маршалом У Пей-фу железнодорожников,— что смерть Пу проходит почти беззвучно.

Несколько строк в газетах — и все. Да еще панихида в сычуанском землячестве.

Взволнованный добела, я пишу поминальную поэму в честь Пу.

Кисть моя скачет по бумаге, словно заикаясь от горя и возмущения.

Обширная зала землячества. Тихие стулья рядами, лицом к алтарю — столу, где маленькая фотография самоубийцы обставлена башнями ярких фальшивых цветов.

Я стою за алтарем. Голос срывается.

Стих построен в лучших традициях, но иногда гнев удлиняет строки, и кабацкое ругательство прорывает ряды чинных эпитетов.

Этот же стих вписан в одно из поминальных дан-тяо.

Вот он[1]:

Не боясь работать и учиться за границей,
Храбрясь при прощанье с семьей и старым домом,
Он уезжает, покидая стариков, которые спрашивают:
— Кто на чужбине подумает о жилье для тебя и пище? —
* Жена, крепясь, в тоске, подымает глаза на него[2],
* Желая что-то сказать, не решаясь, запинаясь, смущаясь.
Только насытить бы голод науки.
* Он превращает свое сердце в железо на наковальне.
* Снеговые облака часто проходят десятки тысяч ли;
* Спроси о родине, не скажут, откуда они.
Счастлив он в кругу товарищей —
Может смеяться, шутить, толковать с друзьями.
Но увы, работа тяжела. Жизнь скудна. Учеба обильна.
К вечеру тело и мозг изнемогают.
Версальская конференция кончена. Кули! Прочь с работы!
Безработному тяжко — иностранцу тем более.

---

[1] Перевод с китайского на английский и примечания сделаны Джеффри Ченом. Основной перевод с английского на русский сделан В. Н. Кюлевейн *(С. Т.)*.

[2] Звездочкой помечены строки, перенесенные в стихотворение из древних поэм *(С. Т.)*.

В чужой стране, у чужих людей
Закрыты глаза на муки студентов.
Как бороться за жизнь?
Как докричаться: — Помоги! — до родной страны?
Но и там народ безразличней прохожего.
Никто руки не протянет навстречу.
Политики! Воры! Протухлые хамы![1]
Издеваться умеете вы и обманывать.
Вам ли думать о боли студентов,
Тысяч студентов за океаном?
Нет ответа. Безрадостно.
Жизнь истончала, как шелковинка.
Пу видит. Пу в гневе. Лучше смерть.
Умереть. Отдать себя, чтоб всколыхнуть всех.
* Нож остер, кровь течет, подобно цветам,
* Одна секунда — герой погибает.
Увы, Чжао-веня больше на свете нет.
По-прежнему дом за тысячи ли.
По-прежнему старые мечтают о сыне,
Толкуют, чтоб был здоров.
* Как прежде, жена склонена над крошкой,
* Суля малютке богатство и счастье.
* Если бы небо могло понять —
У него потекли бы слезы.
Почему не могу я стать сатаною,
Чтобы сгрызть черствых людей?
* Почему не могу я стать Цинь Ши-хуан?
* Расплавить оружие всего мира в Шин Ян[2].
Увы, и в былом много героев
* Нашло себе такую судьбу.
Перестанем успокаивать душу Пу.
Мы можем сегодня плакать о них.
* Когда мы перестанем существовать,
* Об нас, может быть, будет некому плакать.
* Время проходит, но сочувствие не проходит.
* Эту насыщенную грустью луну никто не восстановит[3].

Зал тих. Печаль не должна знать аплодисментов. Голос мой срывается, и слова заскакивают за слова. Я вижу блестящую печаль в глазах товарищей.

Мы трижды кланяемся портрету Пу Чжао-веня.

Потом выносим во двор дан-тяо со стихом и сжигаем. Мы делаем это по привычке. Не думаем же мы в самом деле, что в этот миг душа Пу Чжао-веня в бумажном дыму читает мои строки и успокаивается.

---

[1] «Ван па-дан» — значит «протухшее яйцо», «забывший восьмое». Существует восемь принципов морали: учтивость, доброжелательство, честность, чистосердечие, любовь к родителям, братская любовь, верность, стыдливость. «Ван па-дан» — по-китайски совершенно непристойное ругательство, по эффекту близкое к русскому матерному.

Вводя это вульгарное выражение, адресованное заправилам Китая, в строку, Дэн Ши-хуа сломал ее, растянув с нормальных семи слогов до девяти *(С. Т.)*.

[2] Цинь Ши Хуан-ди — первый император династии Цинь (246 лет до н. э.), который сжег конфуцианские книги и реквизировал все орудия войны феодальных лордов, «чтобы продемонстрировать свое миролюбие». Шин Ян (ныне Сиань-фу, столица Шэньси) был столицей *(С. Т.)*.

[3] Две последние строки представляют цитаты из древней поэзии, употребленные неуместно *(С. Т.)*.

Глава 25

СОВЕТСКИЕ ЛЮДИ

Генералы.— Ленин умер.— Неподписанный договор.— В полицейском кольце.— Речь Карахана.— Новое море.— Пекинские нищие.— Красные повязки.— В гостях.— Серп и молот

Генеральские войны возникают около пекинских стен и уходят вдаль.

Купив голоса членов парламента, сел на президентское кресло Цао Кунь[1] — «папаша Цао Кунь», как его называют.

В Мукдене ждет дня, чтобы потянуться к Пекину, Чжан Цзо-лин[2]. В городе Лояне муштрует солдат и пишет изящные стихи маршал У Пей-фу, прикидывающийся покорным учеником, а в действительности — хозяин «папаши».

Новый ректор университета Цзян Мын-лин — змеевидный в движениях и лукавый. Словно мягкими подушками он гасит назревающие вспышки в университете.

Не слышно Ли Да-чжо. Он то ли прячется от У Пей-фу в городе, то ли уехал в Шанхай, где безопаснее.

Тяжелым грохотом издалека прокатывается по страницам газет: «Ленин умер».

Газеты с китайскими названиями, но с иностранными редакторами радуются и предсказывают, что «государство бедных» развалится. Мы тревожно настораживаемся, расспрашиваем про Ленина, просим, нельзя ли раздобыть его книги, его речи, его статьи.

Трехдневным трауром, оборвав заседания гоминдановского съезда, повелел Сун почтить в Кантоне смерть величайшего мудреца сегодняшнего дня и лучшего друга Китая.

Ли не выдерживает споров, которые гудят в нашей комнате.

— Опять про политику,— машет он рукой и уходит в лабораторию.

Мы спорим, кто окажется сильней: Гу Вей-цзюнь[3] или Ван Чжен-

---

[1] Цао Кунь (1862—1934) — китайский политический деятель «чжилийской» клики (группировка китайских милитаристов, тесно связанная с англо-американским империализмом, игравшая видную роль в политической жизни Китая в 1920—1926 гг.; получила свое название от провинции Чжили, бывшей одной из ее территориальных баз). Находился у власти в Пекине в 1920—1921 и в 1922—1924 гг. 5 октября 1923 года избран президентом Китая. В октябре 1924 г. изгнан из Пекина войсками Фын Юй-сяна.

[2] Чжан Цзо-лин (1876—1928) — китайский милитарист, глава прояпонской «фынтянской» (мукденской) клики империалистов. После победы над У Пей-фу стал самым сильным из империалистов северного Китая. Убит опасавшимися перехода Чжан Цзо-лина на сторону американского империализма японцами, организовавшими взрыв его поезда.

[3] Гу Вей-цзюнь (Веллингтон Ку, род. в 1888 г.) — китайский политический деятель и дипломат, в 1919 г. глава китайской делегации на Парижской мирной конференции, в 1922—1924 гг. министр иностранных дел. 31 (а не 30, как пишет Дэн Ши-хуа) мая 1924 г., после длительной задержки, вызванной различными интригами и давлением империалистических держав, подписал китайско-советский договор — первый в новой истории Китая равноправный договор. Занимал ряд круп-

тин[1]. Ван Чжен-тин ведет переговоры с Караханом о договоре между новой Россией и Китаем.

Нет такой вещи, которую бы не знали пекинские газеты. Самые секретные совещания во дворце президента они завтра расскажут своими словами.

Гу Вей-цзюнь — враг Ван Чжен-тина. Он министр иностранных дел и связан с американцами. Он боится китайского союза с Россией. А еще более боится он популярности Ван Чжен-тина.

Согласованы все пункты. Уже большинство кабинета — за. Вот и У Пей-фу высказывает по телеграфу удовлетворение договором. Вот уже черновой договор после напряженной ночи последнего совещания парафирован — подписан инициалами Ван Чжен-тина и Карахана. Остается только приложить печать президента.

Слух — будто печать будет приложена после полудня. Потом — вечером, потом переносится на завтра, потом на после заседания совета министров. Потом...

Ясно, Гу Вей-цзюнь сорвал соглашение...

Студенческий союз зовет на митинг, на демонстрацию к воротам президента. Мы собираемся в университете. Нашими голосами закипают коридоры и залы университета, но выйти нам на улицу не удается.

Полицейские двойным обручем охватывают университет и не дают выходить толпам. За углом ржут кони жандармерии. Раньше полиция ловила нас там, куда мы приходили со своими требованиями. Сейчас она хватает нас за ноги в нашем собственном доме.

Мы дерзим полицейским. Дерзим мрачно, потому что на дулах их маузеров копоть выстрелов,— это они расстреливали железнодорожников.

Слышу на скрещении коридора и лестницы разговор студентов с офицером. Офицер старается быть солидным:

— Стыдно, господа студенты, устраивать волнение. Знаете, что про вас говорят? Карахан дал вам денег, чтобы вы требовали подписания договора.

Студентам это обвинение в продажности как удар кнутом по глазам. Но, улыбнувшись во весь рот и вежливо изогнувшись, обращается один из них к надменно любующемуся эффектом своей речи полицейскому:

— Неужели это говорят, господин полицейский? А вот мы слыхали: говорят, будто министр Гу Вей-цзюнь ваш шурин.

Назвать человека шурином — значит жестоко оскорбить род в лице сестры.

Полицейский багровеет:

— Это ложь! Кто смел это сказать?

нейших дипломатических постов, после победы революции в Китае — сподвижник Чан Кайши, с 1951 г. занимает должность главного советника Чан Кайши.

[1] Ван Чжен-тин (род. в 1882 г.) — китайский политический деятель и дипломат. Занимал посты премьер-министра, министра финансов, министра иностранных дел, был послом в разных государствах.

— А кто смел сказать, господин полицейский, что Карахан дал нам деньги?

Сенсационисты рассказывают:

— Ван Ке-мина[1] (министра финансов) натравили иностранные банки, а Ван в большой чести у «папаши». Недавно, говорят, он подарил «папаше» одну из своих красивейших и-тай-тай.

Некоторые скептики утешают:

— Все равно от договора министры не уйдут. Просто Гу Вей-цзюнь не хочет, чтобы такой выгодный договор подписывал Ван Чжен-тин. Он сам его подпишет.

Скептики оказываются правы. Тридцать первого мая неожиданно для всех, даже для пронырливых репортеров полуиностранных газет, вылетают слова:

«Советско-китайский договор подписан».

Группами, толпами, шеренгами заполняем мы дворы и залы университетского здания. Слушаем речь веселоглазого человека в черной бороде — Карахана. Над ним скрещены флаги — наш пятицветный и его красный, как заклинание «Чжан Тай-гун — здесь».

По глазам товарищей мы видим — они ждут переводчика. Мы счастливее их: в неопределенной гуще звуков мы распознаем знакомые слова:

— Отказ... контрибуция... советы... договор... железная дорога... равные... разорвать... народ.... империалисты...

И вместе со всем залом мы кричим:

— Су-го ван-суй!

— Чжун-го ван-суй!

— Гэ-мынь ван-суй!

Что значит:

— Десять тысяч лет Советам!

— Десять тысяч лет Китаю!

— Да здравствует народная революция!

. . . .

...Давно уже не было такого наводнения в провинции Чжили. Можно подумать, будто река Хуанхэ оставила свое русло, потекла по полям, подступила к деревням, размывая подошву глинобитных домишек. И из деревни в деревню плавают крестьяне на вывернутых воротах, как на плотах, отталкиваясь жердинами забора.

Но не Хуанхэ это сошла со своих рельс. Обычные августовские ливни пролились в необычном количестве.

Между Пекином и Тяньцзинем рождается море, не помеченное ни на каких картах. Река Пей-хо (Байхэ), протекающая через Тяньцзинь, вспухает водой. Европейские купцы в Тяньцзине строят в дверях своих магазинов каменные пороги вышиной в полметра.

---

[1] Ван Ке-мин (Ван Кэ-мин, род. в 1879 г.) — китайский политический деятель и банковский воротила, крупный спекулянт. Впоследствии открыто перешел на сторону японских оккупантов.

Пей-хо собирается ворваться в город. Депутация европейских купцов требует, чтобы дубань открыл шлюзы, выпускающие речную воду на равнину с не поврежденными еще деревнями. Дубань отказывается затопить деревни.

Пекинские лавочники и рестораторы, читающие газеты, хвалят за это дубаня и называют настоящим витязем, дающим отпор иноземным дьяволам. Вернее, дубань не хочет разорять деревни, ибо это невыгодно ему самому. С разоренных деревень нет налогов; хуже того, разоренным деревням приходится помогать.

Давно пекинские перекрестки не видали такого количества нищих. Коренные пекинские нищие, объединенные в правильные союзы и поделившие между собой в строгом порядке кварталы, злобствуют, когда десятки и сотни отупевших от голода, изодранных людей, пренебрегая порядками и правилами, тянут грязные ладони к прохожим, бегут за мчащимися янь-чэ, держась за крылья колясочки, и стонут ослабевшим голосом:

— Лао-е! Да лао-е!!.. Чи-фань!.. Мянь-бао!..— Господин! Великий господин!.. Кушать!.. Хлеба!..

Только солдат в Пекине больше, чем нищих. У них на руках красные повязки. Под их конвоем проходят влекомые закопченными угольщиками тачки с антрацитом, словно битым стеклом, позвякивая насаженными на спицы бубенцами. Обычно бубенцы вызывали хозяек из кухонь. Глядят на конвоируемых угольщиков безразлично сейчас хозяйки.

Солдаты, держа в руках винтовки, сидят на борту грузовика, везущего ящики со снарядами. Оцепленные солдатами кули идут тяжелым, развалистым шагом. Смотрят грустно, как ведомые на казнь туфеи.

Они реквизированы для окопов. Солдаты ловят всех, у кого сильные мускулы и слабые покровители. Янь-чэ осеняют коляски флажками: английскими, французскими, японскими. Когда солдаты с красной повязкой хотят забрать их вместе с колясками, чтобы возить солдатский багаж, янь-чэ отвечают солдатам:

— Не смейте, я неприкосновенен! Я нанят иностранцем. Если вы тронете меня, у моего хозяина будет громкий разговор с вашим хозяином.

И солдаты снимают руки с колясок.

Солдаты с красными повязками — это армия У Пей-фу.

К востоку за Тяньцзинем такие же солдаты так же хватают кули и охраняют снаряды. Только те солдаты в белых повязках, они чжанцзолиновцы.

Идет война. Старая щука Дуань Ци-жуй[1] собирается выплыть

---

[1] Дуань Ци-жуй (1864—1936) — китайский политический деятель прояпонской ориентации, приспешник Юань Ши-кая. После его смерти (1916) неоднократно захватывал власть в пекинском правительстве, был премьер-министром в 1916—1918 гг., президентом в 1924—1926 гг. Был вынужден искать соглашения с Сун Ятсеном как с самым популярным среди китайского народа политическим деятелем и в 1924 году послал ему приглашение прибыть на конференцию для обсуждения вопроса о реорганизации власти.

из своей тяньцзиньской норы. У Чжан Чзо-лина союзник Сун Ятсен.

Мне не особенно нравится, что Сун Ятсен в союзе с японофилами, против которых мы, студенты, ведем уже пять лет борьбу. Но я думаю, что после победы гоминдан неизбежно схватится с Чжан Цзо-лином.

Трудно сказать, кто победит. Пекинские чиновники и купцы на стороне У Пей-фу. У Пей-фу — человек с хорошей фамилией, не то что туфей Чжан Цзо-лин. У Пей-фу ценит изящную ученость. Он непобедим и благороден. Так думают пекинские мандарины, антиквары, игроки на бегах.

С земляками иду в гости. Иду в необычное место — дипломатический квартал. До сегодняшнего дня никогда студенты не бывали с визитом в дипломатическом квартале.

В воротах посольства топчется европеец с аппаратом. Его в ворота не пускают, требуют билет, а билета у него нет. Он сердится и хлопает бумажником, извлекая из него корреспондентский билет и разные визитные карточки.

Человек, контролирующий вход в ворота, отодвигает иностранца в сторону и дает мне пройти.

Обернувшись, я вижу, как иностранец взбирается на ступени банковского подъезда против ворот и, пожимая плечами, что-то рассказывает дюжине таких же иностранцев.

В конце аллеи дом. Колонны завиты красными штопорами ткани. Над фасадом голая мачта. Деревянная трибуна зажата в многие сотни людей. Почти все — китайцы. Есть журналисты, много профессоров, еще больше студентов.

Это русское посольство. Оно передано Карахану. Люди в белых кителях ушли.

На газонах неестественная зелень музыкантских мундиров. Конские хвосты на киверах бьют фонтанами. Это наемный китайский военный оркестр. Он играет на встречах генералов, перед катафалками знатных покойников и для богатых невест.

Под странную мелодию оркестра, похожую на медленный марш, лезет на мачту флаг, красный, как новогодняя открытка.

Товарищ теребит меня:

— Ты слышал музыку? Знаешь, что это за музыка? Это «Интернационал».

На стенах террасы, над столом с угощением висят приветственные дан-тяо и плакаты, расписанные от руки членами студенческих обществ.

В первый раз на этом заделанном в асфальт и сады участке пекинской земли я не чувствую себя чужеземцем и, уходя к стальным воротам, приветствую рвущееся через улицу углового бастиона огромное знамя с нашитыми на нем изображениями двух инструментов — молотка и серпа. Не такого, как в Китае, серпа — у нашего совсем маленький крючок и рукоять гораздо длиннее,— а похожего на молодой месяц.

Глава 26

ТЭ ТИ-КО

Громкие шаги.— Медленная речь.— Тэ Чжу-гань.— Рассказы Тэ.— Спор о «бумажных тиграх»

Я третьекурсник. Нас мало. Всего двенадцать человек. Кое-кто в поисках заработка ушел в письмоводители военных канцелярий и околачивается где-то по тылам, прикладывая красную печать к приказам, вместо того чтобы шелестеть листами в тишине светлых и чистых библиотек.

Мы ждем профессора Тэ Ти-ко. Он в этом году приехал из Москвы. Мы его еще не видали и прихода его боимся.

Он не знает ни слова по-китайски. А вдруг мы друг друга не поймем и все его лекции окажутся декламацией на непонятном языке?

Половина восьмого утра. Дробно бьет колокол за окнами.

Последние шаги разбегающихся по аудиториям студентов. Медленное ступание идущих в классы профессоров. Затем тишина.

А может быть, профессор не придет?..

Но в это время в конце коридора раздаются быстрые шаги, такие громкие, словно ими гвозди заколачивают. И необычайной длины лысый человек появляется за учительским столом.

Он говорит:

— Здравствуйте, товарищи!

Мы нараспев отвечаем:

— Здравствуйте. Как поживаете?

Усвоенная нами еще с Чен Хана формула русской вежливости.

Вслед за тем он произносит фразу, к ужасу нашему, быстро до непонятности.

Он задает вопрос. Студент подымается и начинает, будто распаковывая чемодан, доставать из себя нужный ответ.

Профессор прислушивается к ответу, а затем произносит, словно товар на витрине раскладывает, звук за звуком, слог за слогом.

— Я бу-ду объя-снять о-чень мед-лен-но. Е-сли же зато-ро-плюсь (здесь, видимо, по выражению лиц он замечает, что слово это непонятно, и варьирует) ...за-то-ро-плюсь, то-ро-пить-ся, то-рó-пишь-ся... (Наши кивки удостоверяют, что слово дошло.) ...вы ме-ня о-ста-но-вите... о-ста-но-вить-ся, о-ста-но-вка.

И продолжает:

— Сво-и лек-ции за-ра-нее... ра-но, ран-ний... пе-ре-дам... в уни-вер-си-тет-скую ти-по-гра-фию, что-бы вам бы-ло лег-че, лег-кий, лег-ко...

Мы спокойны. Наши знания оказываются достаточными, чтобы понимать курс литературы без переводчика.

Положив тетради на расплющенные ручки кресел, заменяющие нам письменные столы, мы терпеливо записываем карандашом новые слова.

В перерыве гул стоит в классе.

— Тэ Чжу-гань, Тэ Чжу-гань! — кричим мы и смеемся.

Тэ Чжу-гань значит: «Тэ — бамбуковая жердь». Это прозвище получает Тэ Ти-ко за свой длинный рост.

Я видел в Пекине у ворот зоологического сада очень длинного человека. Кажется, в нем два метра. Еще случалось мне на пекинских улицах видеть колоссального роста офицера. Но ведь то — зоологический сад и войска. А чтобы такая жердь существовала в университетском обиходе,— и мне и товарищам непривычно.

Мы долго обсуждаем первую лекцию, манеры и характер Тэ Ти-ко и решаем, что он строг и обидчив. Высокий человек в Китае всегда ассоциируется с офицерами. Рослые шаньдунцы — лучшие в Китае солдаты и бандиты. А раз офицер — значит, с гонором; раз с гонором — значит, командует, значит, легко оскорбляется и лезет в расправу.

Мы даже удивлены, почти разочарованы, когда Тэ Ти-ко начинает (так же с расстановкой — буква за буквой) шутить с нами, улыбаться, приносит московские журналы и рассказывает про Москву, про писателей, про разницу между разверсткой и продналогом, про то, как хоронили Ленина.

— Ну, что нового? — начинает Тэ Ти-ко лекцию и, если у нас нового нет, рассказывает свое новое. Он напоминает нам про солдата Ли И-юаня, который весною в отместку за полицейские палки (его не пустили гулять по пекинской стене над дипломатическим кварталом) бил иностранцев.

Мы не понимали, что тут Тэ Ти-ко нашел особенного. Просто солдат — хулиган.

Профессор рассказывает, как летом в Вань-сяне за смерть американца капитан канонерки «Кокчефер» навел пушки на город и потребовал казни двух невиновных лодочников. И они были казнены.

Опять не понимаю, чего Тэ Чжу-гань впадает в волнение; такие вещи случаются в Китае сколько уже десятилетий.

Рассказывая, Тэ часто начинает торопиться, но тут же, заметив морщины напряжения между нашими бровями, одергивает себя.

— Ни о-дно про-из-ве-де-ние ис-кус-ства не бы-ва-ет бес-пар-тийным. Каж-дая ме-ло-дия... непонятно? Песня... музыка... каждый актер, каждая стро-ка, всякая кар-ти-на про-де-лы-ва-ет ра-бо-ту... непонятно? Действует... служит. В интересах... на пользу... ка-кого ни-будь клас-са.

Тэ Ти-ко интересуется жизнью студентов, и я уже вижу с досадой, как, пользуясь этим интересом, сводит с ним знакомство умный и образованный Ли Шу-лин.

Мне кажется, Ли Шу-лин делается любимчиком профессора. О его сочинениях говорится больше, чем о других. На его вопросы ответы особенно подробны.

Ли Шу-лин перебегает мне дорогу. Я бы и пошел к профессору, да боюсь встретить там золотозубого врага.

В один из октябрьских дней Лао Тэ (так зовем мы профессора, не вышучивая), не получив ответа на обычный вопрос: «Ну, что нового?», рассказывает нам о том, как Сун Ятсен в Кантоне усмирил восстание

купеческих минь-туаней — «бумажных тигров»[1] — и артиллерийскими снарядами сжег торговый квартал Сай-гуань.

Лао Тэ спрашивает:

— Правильно ли поступил Сун Ятсен?

Тин Юин-пин набирает слова и тужится кивками головы удостоверить, что Сун прав, но его перебивает Ли Шу-лин:

— Неправильно! Как смеет Сун уничтожать имущество кантонских граждан? Как смеют его солдаты трогать лавки мирных купцов?

Я вижу, Тэ Ти-ко недоумевает. Мстительная радость моя кошкой пробегает между Ли Шу-лином и профессором.

Глава 27

УДИВИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО

Тунзеры.— Рыночный стон.— Переворот Фын Юй-сяна.— Театр.— Танцующая учительница.— Сожженный Толстой.— Письмо из Свердловска.— Отвечаем

Биржевой столбец газеты меняется день ото дня.

Даян — сто восемьдесят тунзеров.

Даян — двести десять тунзеров.

Солдатам платят медью. Но, чтобы сберечь деньги, они немедленно выменивают ее у меня на серебро. Серебро растет, тунзеры падают. Весь Пекин живет на тунзеры. Весь Пекин нищает и злобится.

Реже разносчики возят желтоватые поленья капусты. Зелень с огородов скупается полковыми кухарями.

Один даян добирается до двухсот шестидесяти тунзеров.

На крытых рынках около лотков, заваленных прессованной зеленью, около крючьев, где висят ленты яркого мяса, ходят, щупают, ворошат и полулысые хозяйки, и повара, и иностранки, обжившиеся в Пекине, может быть, содержательницы бордингхаузов — меблированных домов с европейским столом.

Разговоры со стоном, с воспоминаниями:

— Вдвое дороже! Курица полдаяна? Утка — даян восемьдесят?

— Но зато какая утка, проросла жиром вся вплоть до сердца.

— Но даян восемьдесят!

— Возьмите дикую. Вдвое дешевле.

— Сорок восемь центов кетти мяса. Кетти! Меньше полкилограмма.

— До восьмидесяти дойдет,— успокаивает торговец.

---

[1] «Бумажные тигры» — добровольческая военная организация кантонского купечества. Получив оружие от англичан из Гонконга (Сянгана) и воспользовавшись временным отсутствием в Кантоне Сун Ятсена, выезжавшего на фронт, «бумажные тигры» 10 октября 1924 г. обстреляли демонстрацию рабочих и студентов, организованную в честь годовщины китайской революции 1911 г., затем подняли мятеж и захватили часть города. 12 октября Сун Ятсен вернулся в Кантон, и к 17 октября мятеж «бумажных тигров» был подавлен.

Сыплется в кульки мука, дошедшая с пяти до пятнадцати тунзеров цзин.

Дымят на лотках разрезанные сладкие горячие картофелины. Кули тянется к картофелине с тунзером.

Перекатывая ее с ладони на ладонь, он бормочет:

— Год назад две картофелины покупал за тунзер, а если маленькие — то три.

— Ешь, ешь! Потом совсем не будет. Пройдут солдаты по огородам за стеной...

И замолкает, увидев идущего базарным проходом солдата в красной повязке.

В одно из утр половина профессоров не является на лекции. Это те, что живут за центральной городской стеной. На перекрестках под крашеными столбами деревянных ворот устраиваются баррикады из угольных тачек.

На столбах белые четырехугольники. Манифест генерала Фын Юй-сяна[1]. Отрезав от Пекина своего начальника У Пей-фу, он объявляет войну оконченной.

— Фын Юй-сян — предатель! Фын Юй-сян — изменник начальнику и благодетелю!

Так кричат не только в толпах прислуги у ворот богатых пекинских домов, но и в земляческих залах, но и в коридорах университета. Особенно стараются хынаньцы, земляки самого У Пей-фу.

Фын Юй-сяна не любят. Он слишком усердно проповедует христианство, он заставляет солдат петь библейские стихи. Он рисует на стенах плакаты, угрожающие грешникам загробными муками.

Несколько дней протолкавшись в своем салон-вагоне по железнодорожным тупикам Тяньцзиня, У Пей-фу бежит в Шанхай на американском пароходе.

Война кончается победой Чжан Цзо-лина (а значит, и Сун Ятсена, союзника его).

А в Сычуане, разбитый Ян Сеном, отец снова ныряет в одну из деревень.

Говорят, Сун Ятсен едет в Пекин.

---

[1] Фын Юй-сян (1882—1948) — китайский политический и военный деятель. Осенью 1924 г., во время войны между «чжилийской» (англо-американской ориентации) и «мукденской» (прояпонской) миллитаристскими группами, порвал с «чжилийской» кликой и преобразовал свои войска в «национальную армию» (гоминьцзюнь). В войсках Фын Юй-сяна, прошедшего путь от простого солдата до генерала, царил демократизм, совершенно необычный для китайских условий того времени. В марте 1926 г. вступил в гоминдан, являвшийся тогда национально-революционной организацией. В 1926 г. посетил Советский Союз. В сентябре 1926 г. выступил в поддержку северного похода национально-революционной армии. Летом 1927 г. вслед за Чан Кайши выступил против революции, однако впоследствии порвал с чанкайшистами. После оккупации Японией в 1931 г. северо-восточного Китая выступил за сопротивление японским агрессорам. В мае 1933 г. совместно с коммунистами организовал соединенную народную армию сопротивления Японии. Во время национально-освободительной войны против японского империализма (1937—1945) выступал за решительную борьбу с захватчиками и за сотрудничество с коммунистами. Погиб в пути из США в Китай.

Лавки, зажмурившие было свои ставни в страхе погрома, открывают витрину за витриной. На базарные лотки с грохотом вываливается красный град редиски. Открываются, визжат и пахнут едой и клозетом театры и рестораны.

У Ши-мин водит Тэ Ти-ко по театрам. Профессор театром интересуется и не жалуется на головную боль, когда оркестр на эстраде подымается до самых пронзительных колотушечных нот, аккомпанируя поединку шестифлажных витязей.

У У Ши-мина белое лицо, словно пшеничное манто, изготовленное на пару. Он — театрал. Уже три года старик актер учит его играть молодых женщин. На карточке У Ши-мин изображен в длинной юбке и в пышной тиаре с помпонами. «Хи-цзы» — актер — школьная кличка У Ши-мина.

Сам я не особенно люблю старый театр. Там грязно и душно. Пьесы знакомы наизусть, движения одни и те же. Мне немного жалко У Ши-мина. Он в роли девушки никогда ведь не появится на сцене. Скорей всего русский язык по окончании университета приведет его на консульское место в один из русских городов, где нет китайского театра и где, быть может, даже у себя дома неловко будет надеть длинный театральный костюм, ступать колышками ноги, медленными, овальными жестами вздымая и опуская блеклые руки, петь пронзительным, тонким голосом покорные песенки театральной любви.

У Ши-мин недоумевает. Профессор говорит, что китайский театр очень выразителен и сильно действует на зрителя. Его надо использовать для агитации.

— Зачем,— говорит он,— произносить с театральной сцены непонятные слова на мертвом языке? Надо написать новые слова, привести на сцену сегодняшних китайцев и столкнуть их с сегодняшними европейцами. Тогда театр будет служить революции.

У Ши-мин не знает, правильно ли это, но он студент, а каждый студент сегодня должен быть за революцию. Он согласен переделать театр. Но только чтобы не уничтожали старых мелодий. Что он будет делать без старых песенок, которые к нему приросли, как кожа?

Тэ Ти-ко удивляется:

— Сейчас война. Генеральские вестовые реквизируют товары в лавках и облагают купцов налогами. Если отдать сегодняшнего генерала купцу, купец его загрызет живьем. Но тот же купец идет в театр, созерцает театрального генерала, аплодирует его ударам и кричит, наставляя одобрительно большой палец: «Хао! Хао!» — «Хорошо!». Через театр мертвецы командуют живым Китаем.

Мы не спорим. Но театр — это не серьезно. Вопрос о таможнях гораздо больнее. В конце концов театр — развлечение малоинтеллигентных и наивных людей.

Другое дело театр европейский. Я с компанией был на спектакле приезжих актеров. Это были люди особого племени — «малороссы». Они представляли в национальных костюмах какую-то драму с пением и очень много танцевали.

Особенно интересно, когда их мужчины бросаются на корточки, а

затем попеременно кидают ноги в стороны. Похоже на движение боксеров. Тэ объяснил: малороссы — кличка, надо говорить — «украинцы».

Тэ Ти-ко любит искусство. И Фа-эр говорит: Тэ Ти-ко писал пьесы. Пусть он нам поможет, а то сестры и невесты приятелей донимают: хотим танцевать. Года два тому назад их учила русская женщина, но теперь ее нет. А американским танцам учиться не хотят. Пусть и танцы будут из революционной страны. Пишу письмо:

Дорогой профессор!

Я со своими земляками, всего около десяти студентов и десяти студенток, хотят учить русский танец.

Однако никто из нас ищет танцующую учительницу очень трудно.

Я прошу вас, что вы пригласите русскую танцорку для нас; можете ли вы согласить.

Большая часть из нас — студенты национального художественного института, поэтому мы вероятно учимся в их активем зале. В неделю учить два раза, а мы всего можем учительнице представить 40 китайских рублей жалованье.

Посредством того, что я можно повторить русский разговор.

Ваш студент Дэн Ши-хуа[1].

На другой день профессор говорит мне, что «танцующую учительницу» писать нельзя, это ошибка, надо писать — «учительницу танцев». Но что у него в Пекине подходящих людей нет.

— Вы — любитель танцев? — спрашивает меня Лао Тэ.

— Нет, это все девушки, студентки, они любят танцевать[2].

. . . .

Я в третий раз перечитываю газетный столбец. Неужели это может быть?

В газете написано:

«В Москве состоялся суд над произведениями Льва Толстого. Членами суда были — жена Ленина и Сергей Маяковский. Суд признал все сочинения Толстого вредными. Сочинения сожжены».

Как так сожжены? Почему «Война и мир» вредная книга? А разве Толстой не велит любить бедных? Ну, хорошо, пускай Толстой не революционер, но разве нужно сжигать его книги?

Мне страшно. Прочтут эту заметку другие студенты, зачитывающиеся Толстым и через него тянущиеся к России, и отвернутся от нее.

Но почему Маяковский Сергей? А может быть, у него несколько имен, как у американцев?

Дух замирает, когда я обращаюсь с вопросом к Тэ Ти-ко. А вдруг все правда? Как жестоко! Что же тогда делать? Профессор смеется. Какая

---

[1] Во всех приводимых документах орфография оставлена без изменений *(С. Т.)*.

[2] Здесь Дэн Ши-хуа погрешил против истины, как это читатель увидит дальше *(С. Т.)*.

идиотская ерунда. Он видел уже эту заметку в газетах русских эмигрантов. Эта заметка нарочно написана людьми белыми... белый — цвет смерти...— чтобы вредить красным людям... красный — цвет радости.

— Напишите в ваших газетах, что это неправда. Мы переведем.

— Хорошо.

И опять смеется:

— Крупская и Маяковский?.. А Маяковский Сергей? — Крутит головой и снова смеется.

В одно из утр курьер нашего этажа приносит письмо, которое он вертит с любопытством:

— Я обошел все секции, там говорят — «не нам». Остаетесь только вы.

На конверте написано русскими словами:

«Китай, город Пекин, университет Та Хюэ-тан. Группе студентов, изучающих русский язык».

И дошло. Что-что, а почта в Китае отличная.

От кого бы? Насчет чего бы? Хором вскрываем, хором читаем и хором же переводим.

Шелестят страницы двенадцати словарей. Двенадцать карандашей тычутся в неразборчивый почерк и подчеркивают непонятные слова. Через полчаса работы соображаем — пишет с Урала студент Коммунистического университета Г. Шергин, предлагает обмениваться письмами и материалами.

Заваливаем Лао Тэ вопросами: что такое Урал? Что такое Коммунистический университет? Можно ли поступить в Коммунистический университет? Что значит «Г» перед фамилией Шергин? Есть ли женщины в Коммунистическом университете?

Обсуждаем. Постановляем: послать на Урал письмо с приложениями. Ответ поручаем написать Ли Шу-лину. Ему же перевести письмо.

Выдираем из тетрадей листы с лучшими нашими сочинениями о китайском студенчестве и быте. Переведенное письмо печатаем в университетской газете.

Мы горды. Ни английская, ни французская секции со студентами Франции и Англии не переписываются.

Зачитываем на лекции черновик ответа Ли Шу-лина.

Товарищ Гшергин.

Когда я читал ваше письмо, радовался почти безума. И моментально я переводил вашего письма, через дня уже было напечатано в нашей газете университета. Потому что моя душа давно влетела вокруг в России, и обыденно я чувствовал, что Китая есть моя родиная мать, а Россия — душиная мать.

Наши товарищи очень хотят отвечать вашего вопроса, но жалко мы знаем русские языки слышком мало, не так как вы хочите. Теперь мы только отвечаем следующие: участие студенчества в общественном движении Китая; типы китайского студенчества; общие жизни... (в другом бумаге).

Я уже давно решился, чтобы учиться в России, кжалось теперь у меня еще нет денга. Поэтому прошу вас еще подробно мне пишите про студенчество в России разного образа и разные течения общест-

венного или политического... Чтобы несколько можно вылечивать моего беспокоительного больна...

(Это значит: «чтобы несколько удовлетворить мой повышенный интерес к Советской республике».)

Товарищ. Я верю себя, что конце концов мы можно будем иметь такой день, в котором мы собираться в одной комнате разговаривать друг с другу. Но, если Вы согласны этого слово, подождите.

Жму вашу руку.

К этом наш адрес...

Подписывали письмо все, весело.

Глава 28

РАССКАЗАННАЯ НЕ СТУДЕНТОМ ДЭН ШИ-ХУА

Как делается Тэ Ти-ко.— Мои студенты.— Самый смешной случай.— Комната Дэн Ши-хуа.— Встреча Сун Ятсена.— Смерть вождя.— Кровавые халаты.— Обсиживают президента.— Французский госпиталь

Последние дни доживает Дэн в Москве. Не завтра, так послезавтра ему уезжать в Китай. А жизнь еще не рассказана. Интервью, которое я у него беру, вместо кропотливого разглядывания вещей и дней готово скакать огромными прыжками исторических дат и годов.

Дэн Ши-Хуа предлагает:

— Вы сами наблюдали меня в тысяча девятьсот двадцать пятом году, когда умер Сун и произошли шанхайские события. Давайте я вам про эти дни рассказывать не буду. В конце концов эти дни поворотными пунктами у меня не были.

Ладно. Пусть помолчит сам Дэн, и пусть про Дэна расскажет профессор Тэ Ти-ко.

Как из фамилии Третьяков делается Тэ Ти-ко?

Китаец называется тремя иероглифами, реже двумя. Чтобы точно переписать на китайский фамилию Т-р-е-т-ь-я-к-о-в, надо восемь иероглифов — громоздко, претенциозно, непонятно, вроде названия акционерной компании.

Надо подобрать три иероглифа, чтобы, прочтенные, они давали звучание, близкое фамилии. Мне опытный китайский книжник подобрал Тэ Ти-ко. В переводе это значит — «железо, острый, победить», благозвучно, поэтично, подходяще.

Ти-ко — мои имена, Тэ — моя фамилия. Обращаясь ко мне, зовут — Тэ сянь-шен (мистер Тэ) или Лао Тэ (господин Тэ).

Сначала русская секция мне вся в одно лицо. Нужно три месяца, чтобы лица разошлись и закрепились каждое на своей определенной точке.

Золотозубый Ли Шу-лин сразу наиболее интересует. У него хороший

запас знаний. Он интересно мыслит, у него есть апломб, уверенность в себе, но он, видимо, политически беспринципен.

Не могу забыть его реплики по поводу разгрома Сун Ятсеном кантонских торговцев.

У Ли Шу-лина пятидесятирублевый велосипед, купленный в рассрочку, и европейский костюм защитного цвета. Это значит, что у Ли Шу-лина есть деньги, ибо европейский костюм обходится раза в четыре дороже, чем китайский.

Кроме того, Ли Шу-лин любит нехорошо посмеиваться над запинающимися товарищами. Во всяком случае на секции он явно первый ученик.

Тин Юин-пин — его противоположность. Он тихий, изможденный, неуклюжий и застенчивый. Невнятного его произношения не понимают, кажется, даже сами его товарищи.

Он меня боится совершенно панически. Ему кажется, что я его обязательно срежу в конце года. Позже он набирается доверия ко мне, нагоняет меня в коридоре. Стесняясь, подпрыгивая и глядя мимо, говорит невнятно и восторженно:

— Я теперь член партии Си-Пи. («CP» по-английски — первые буквы названия компартии.)

И конспиративно оглядывается. Это он мне сообщает свою большую радость: из китайского комсомольца он стал китайским коммунистом.

Лю Дэ-жун одет в светлый халат, светлую шляпу и светлую улыбку. Улыбка у него как прицепная борода у актера. Ему пойдет консульская работа. Элемент дипломатической приятности от него неотделим. Ему всегда хочется угадать ветер наибольшего благоприятствования. Это очень трудно в Китае, где изменчивы все ветры — и физические и политические.

Чжао Цзу-чен и Цао Дин-хуа производят на меня впечатление книжных грызунов. Оба все время что-то переводят и никогда не ведут разговоры на общественные темы.

Мне с моего наблюдательного поста из-за учительского столика не видно, как постепенно один вырастает в скупого, подозрительного книжника, а другой — в неразговорчивого коммуниста.

Кореец Дю Ге Хун — эмигрант-повстанец, когда-то работавший в русском Приморье,— говорит о России, как о первой любви. Он явно прокисает здесь, в атмосфере эмигрантских кружков, газетной полемики, никчемных споров и собственных шатаний между коммунистическим русофильством и демократическим американолюбием сегодняшней Кореи.

Нездоровое большое лицо У Ши-мина низко опущено над задней партой. Он спокоен, почти безразличен к лекциям. Он все время напевает в уме мелодии и отстукивает такт незаметным движением ногтя. На нем халат? Это только кажется. На нем шлейф и тяжелые подвески героической принцессы.

Су Вень-дэ и У Жуй-дянь мне чужие. У Жуй-дянь — сын богатого хлопкоторговца в Ханькоу. Когда я спрашиваю его, он долго тужится, краснеет, этот тридцатилетний отец семейства, и издает наконец такой напряженный скрип, что вся аудитория переглядывается и смеется своему «куай-цзы» — пню, такова среди студентов кличка У Жуй-дяня.

Зачем он на русской секции? Вряд ли его понесет даже на консульский пост от своей ханькоуской конторы. Скорее всего здесь гонор купца, пробирающегося в именитые люди — чиновники.

Снулый на лекциях, он словно ползком тянется к диплому, чтобы воссесть где-нибудь в министерстве на кресло переводчика. За стенами университета он завсегдатай «Гуан-хутунов» — гуляющих переулков, как китайцы называют район публичных домов.

Су Вень-дэ — библиотекарь и явный упейфуист. Он националист, и мое звание выходца из Советской России не очищает меня от клички «янь-гуй-цзы» — иноземного дьявола. Я для него «красный империалист», похититель Монголии.

Круглый, как яйцо, Чжан Цюань-лу смотрит блестящими глазами шестнадцатилетнего весельчака. В действительности же ему больше двадцати, и у него дети. Он мечтает стать учителем. Он конфузлив и прост.

Я прочитываю вслух его сочинение на заданную тему: «Самый смешной случай в моей жизни».

«Весна — пора красивая, всеобщего оживления и радости. Когда я на досуге, я пришел в деревню, посмотрел цветочек в траве, на кустах или на дереве. На небе были красивые облака, в кустах умные птички. Теплый ветер, красивая песня, человек был очень весел.

Старый дед сидел на дороге — около деревни. Ноги у него не ходили, глаза неясно видели, уши не слышали, зубов несколько было. Он иногда смеялся и курить сигару, иногда вздохнул, а и ничего не говорил.

Побежал внучек, он шел по дороге, все время распевал песни и свистел. Он взял один хлеб, черный цвет, к деду и давал ему для кормить.

Старый дед получил и кушал. Внучек был четырьмя летним маленьчеком. Он сел рядом и смотрел на лицо в своему деде.

Старый дед вдруг стал тошнить и говорил: «Что это такой? Как камень в роте, совсем не могу кушать». Когда старый дед бросал хлеб на землю из рта, внучек взял его в руку и посмотрел и кричать: «Ах! Зуб собака, делáть на хлебе. Видите ли вы дед?»

Старый дед думал подумал и знал, что свое зуб падало в роте, и медленно сказал: «Если этот зуб было собачье зуб, а ты, внучека, будешь в собачьей внучке».

Смеюсь я, смеется класс, но больше всех смеется Чжан Цюань-лу, поворачивая из стороны в сторону яйцо головы с упругим хохолком волос над лбом.

Из двенадцати третьекурсников Дэн не сразу мне бросается в глаза. Он держится в стороне, суховат, совершенно лишен назойливости, разве что чаще других ходит со страшным харканьем мимо профессорского столика к плевательнице.

Пыль пекинского воздуха — напильник для избалованных полевым воздухом горл студентов, девяносто процентов которых дети деревенских шен-ши.

Иногда в конце лекции Дэн подходит с книжкой, где непонятные слова подчеркнуты. Он быстро выспрашивает разъяснения и уходит так же сдержанно и полубезразлично.

Мне довелось с компанией русских быть в его комнатке. Две койки, разъединенные столиком и загороженные двумя книжными полками. Много берлинских изданий классиков. Стол завален тетрадками и трепаными книжонками.

Над столиком плакат — девушка с сигаретой в губах у озера. Эту рекламу табачной фабрики, видимо, за красоту девушки приобрел сожитель Дэна на одной из ярмарок.

Под плакатом — фотография, изображающая группу молодых людей в нарядных блестящих ма-гуа. Видимо, это школьники, приятели Дэна.

Он показывает на одного из них и сдержанным, почти торжественным тоном говорит:

— Этот мой товарищ казнен.

Дэн встречает нас приветливо. Женщины, пришедшие с нами, осматривают и ощупывают вещи в комнате так же бесцеремонно, как хозяйки щупают кочны капусты на базаре или врачи больного в клинике.

В улыбке, с которой Дэн глядит на любопытствующих, мне чудится сдержанное сожаление, может быть полупрезрительное, к породе людей, недостаточно воспитанных. Это ощущение усиливается, когда женщины забрасывают его вопросами — женат ли он, есть ли у него ребенок, маленькие ли у его жены ноги, красива ли она и многими другими, привычными в нашем обывательстве, но, видимо, не принятыми в Китае.

Первую половину двадцать пятого года встречаюсь с Дэном мельком.

Я вижу его лицо в ту яростную минуту, когда навстречу выходящему из вагона, позеленевшему от рака и закутанному в меха Сун Ятсену ринулся взрыв студенческих криков, зааплодировали ладони, шесты замахали приветственными флагами и бумажными стрекозами зациркали над головами, отрываясь от тростинок, многозубые звезды гоминдана.

Затем зазвенели голоса и штыки студентов-отрядников, пробивавших старому революционеру путь в гуще напущенных на перрон полицейских. Взлетели палаши полисменов, немедленно перехваченные студенческими руками, и изогнулись в кочергу о студенческие колени.

Назавтра в вечерней темноте меня схватил за рукав Дэн перед подъездом величайшей гостиницы Пекина, к которой пришла, светясь фонарями-иероглифами и фонарями-эмблемами — фонарями-серпами, фонарями-волами, студенческая демонстрация.

Дэн, хватая меня за рукав, кричал:

— Смотрите, как они нас боятся!

О н и — это конная полиция, рассекшая и оцепившая студенческие фонари темной рамой мундиров, цокотом копыт и железа.

Глаза студентов глядели мимо белогрудых чарльстонщиков, сбежавшихся к окнам гостиницы.

Студенты искали в одном из окон старого Суна и, увидав его, трясли огнями в гигантских фонарях, ревели и колебали красные бумажные шары, с голову величиной, горевшие в каждой руке.

Вместе с Дэном и другими студентами явился я на квартиру умершего Сун Ятсена.

Венки превращают комнату в оранжерею и выбегают на солнечный двор.

Черные, тихие гоминдановцы, с белой ленточкой на ма-гуа, стоят шеренгой от входа до портрета Сун Ятсена, окруженного изречениями. Нестерпимо пышный, фиолетовый с золотом, зеленью и бусами, венок Чжан Цзо-лина пылает рядом с красной пятиконечной звездой Карахана.

Мы подходим к алтарю и кланяемся.

На обратном пути Дэн мне рассказывает вполголоса о том, как студенты горюют о смерти вождя, о том, что Тин Юин-пин упал перед алтарем Суна в судорогах и его пришлось увести и положить в постель; о том, как Дю Ге Хун с корейцами плакали, забившись в гостиничную комнатенку, а повара, истопники, швейцары и соседские лакеи, отводя пальцами рваную бумагу окон, глядя на плачущих, прыскали смехом.

Рассказывает Дэн о студентах-карьеристах, радостно поддакивающих словам сановных дядюшек: Суна-де смертью покарало небо за свержение императорской династии.

По малосвязной, возбужденной, а потому трудно понимаемой повести я чувствую, что был скандал между вспылившим Дэном и самоуверенными черносотенцами, ибо Дэн кончает свой рассказ злобно:

— Нужно, чтобы скорей в Китае началась революция. Тогда этим людям будет эшафот.

Маленький желтый гроб Суна, идущий подводной лодкой над самыми плитками улиц в толще многотысячной толпы, ведет за собой всех студентов, весь Пекин.

На несколько дней я теряю способность различать, кто гоминдановец, а кто не гоминдановец. Традиция почтения к мертвецу заставляет всех людей, вплоть до церемонно-фальшивых сановников, прикрепить к груди белую траурную хризантему и произносить слова скорби.

Солдаты и полицейские идут рядом со студентами, а студенты несут на шестах лозунги Сун Ятсена и кричат охрипшими, яростными голосами:

— Та-та Май го цзы! — Долой предателей государства!

— Та-та Мей вай! — Долой лакеев иностранщины!

Но прошли недели траура. Гроб уехал из Пекина, вознесся в высокую келью храма Яшмового облака. И растаяло искусственное единство.

Мне начинает казаться — студенчество закисает. Нет у него прямого выхода в революцию, а тишина многотысячных рабочих стачек на фабриках Циндао, Шанхая, Кантона, тишина, нередко венчающаяся треском полицейской стрельбы, не задевает студенческого внимания.

Правительство не боится студентов. Оно запрещает праздновать и демонстрировать в день Четвертого мая.

Но запретить Четвертое мая — это запретить день именин.

Студенческие колонны бегут к дому министра просвещения, издавшего этот приказ. Они врываются в дом. Министр спасается задним ходом.

Студенты громят столы и фонари, шкафы и фарфоровые вазы. Студентки с заплаканными глазами цепляются за подоконники, подскакивают, желая увидеть разгром, и кричат:

— Сы, сы! Та-сы! — Бей, бей! Бей насмерть!

А потом прибежала полиция, сверкнули шашки, щелкнули затворы маузеров.

Студенты хватались голыми руками за лезвия палашей. Кровь побежала по одеждам. На своих плечах растащили студенты раненых по госпиталям.

На другой день, узкие, в два человека шириной, колонны демонстрантов, вздев на шесты окровавленные халаты раненых, пронесли эти заскорузлые знамена по пекинским улицам с криками о мести и каре.

Вспыхнули... и осели.

Опять тихо и скучно.

Когда через несколько дней студенты (но в каком поредевшем количестве!) двинулись ко дворцу Дуань Ци-жуя требовать удаления начальника полиции и министра просвещения, демонстрация эта напоминала собой скорее сидение в приемной, чем штурм.

Перед воротами президентского дома бегают взад и вперед две шеренги солдат, не давая студентам подойти к подъезду. Заняв перекресток, студенты сидят на панели, забиваются в тень деревьев, покупают твердые груши и газированную воду и пьют прямо из горлышка, упорно выжидая каких-то ответов.

Порох явно сыреет. Даже на мой неопытный глаз революционная инициатива переходит из рук студентов к сотням рабочих тысяч. Она там, где идут стачки и кули штурмуют двери фабрик, требуя обратного принятия их на работу или выплаты выходных.

В эти дни я увидел Дэна у себя на квартире. Он не любил приходить в посольский квартал. Но дело серьезно. Озабоченным полушепотом рассказывает он, что товарищу Тин Юин-пину очень плохо:

— Он лежит без сознания и бредит, что не сумеет сдать русский экзамен.

Дэн просит меня пойти в госпиталь — французский, тут же в квартале — и объяснить Тин Юин-пину, что экзамена ему бояться нечего.

Объяснять не приходится. Тин Юин-пин сидит на кровати, лицо его мутно и дрябло, с губ течет слюна. Он непрерывно гладит правой рукой свою щеку и смотрит сквозь меня, не узнавая.

Иногда он падает на подушку, выгибаясь, точно в столбняке, хрипит и хрюкает. Сестра милосердия — старая француженка-монашка — хрустит крыльями крахмального чепца, говорит грубо, как извозчик, не отвечает на вопросы студентов, окружающих больного, и весьма недовольно бормочет что-то непонятное мне в ответ.

Груба и сиделка — монашенка-китаянка, с крестом и четками и такими же крахмальными лопастями чепца.

Дэн жалуется мне:

— Им неприятно, что китаец лежит в их госпитале. Китайские врачи не умеют лечить эту болезнь. Одни называют ее — «болезнь бараньих рогов», потому что его крючит. Другие говорят — «судороги свиного хлева», ибо в беспамятстве он стонет и хрюкает.

В дни болезни он нечувствителен. Врач-китаец, разбив фарфоровую чашку, загонял ему иглы осколков в корень ногтей и разминал пальцами нерв у локтя, но Тин не отзывался на эту нечеловеческую боль.

Предлагаю — переведем его из французского в германский госпиталь. Там люди бережнее и уход лучше.

Янь-чэ переносит хрюкающего, бесчувственного Тин Юин-пина в другой конец посольского квартала.

Когда я наведался назавтра, его уже не было. Болезнь отступилась от него так же вдруг, как и началась.

Глава 29

ШАНХАЙСКИЕ ДНИ

Шакалы.— Студенты у квартала.— Винтовки и шланги.— Иностранцы в Пекине.— Демонстрации.— Драматург. — Палка коммуниста.— Что скажут торговцы.— Я в толпе.— Прощальный обед.— Письмо Ши-хуа

Иностранцы не любят нашего полпредства. Газета «Пекин энд Тяньцзинь Таймс» пишет: «Мистер Карахан энд хис чакалс» — «Господин Карахан и его шакалы».

В клубе у «шакалов» — красные звезды и белые надписи: «В каждом углу земного шара строй мировой Октябрь», стенгаз «Смычка» и свежие газеты из Москвы.

Днем белые брюки «шакалов» мелькают тенистыми дорожками от домика к домику, откуда кузнечиками трещат машинки посольских канцелярий.

Жара поднимает серебряную жилу термометра. Превращается в удушье. Янь-чэ бегают, роняя крупный пот в пыль и вытираясь снятой курткой.

Европейцы заматывают животы шерстяными набрюшниками, берут горячие ванны по нескольку раз в день и рушат в кондитерских быстро тающее мороженое.

Шанхайские дни обрушиваются вдруг.

31 мая, явившись на лекцию, не застаю никого. Только в коридоре торопящийся куда-то студент, почти не глядя на меня, поясняет:

— Англичане в Шанхае расстреляли демонстрацию. Занятия прерваны. Готовимся к выступлению. Извините, что нет времени дольше разговаривать.

Соломой вспыхивает студенчество. Все к Национальному университету! Все на демонстрацию! Все к воротам британского посольства! Кары! Кары за китайскую кровь!

Занимаю с фотоаппаратом репортерскую позицию на переполненной студентами улице. Я здесь — единственный иностранец.

Деликатно отжимаюсь к краю улицы, дабы не мешать движению. Во главе демонстрации все знамена университетов, километры шествия хрустят маленькими агитационными флажками.

Два незнакомых студента — у одного в руке палка, у другого зонтик — берут меня под наблюдение. Каждый раз, когда я навожу аппарат, один замахивается палкой, открыв белые зубы; но другой немед-

ленно сжимает его плечо и, придвигаясь ко мне, заслоняет зонтиком объектив.

Я говорю им:

— О-го жень — русский.

Не помогает.

Не доходя до дипломатического квартала, демонстранты останавливаются. Вежливость борется с яростью. Какие-то заправилы бегут взять у старшины квартала разрешение пройти к английскому посольству, чтобы заявить ему свой протест.

Ожидание длинно. Ответ короток:

— Нет.

Уже заправилы готовы повернуть демонстрацию в обход квартала и разрядить ее негодование воплями митингов. Выручают студентки.

Выхватив знамена из неверных рук, девушки бросаются к стальным воротам, уводя за собой километры людей. Ворота еще открыты. Головной отряд студентов, не задерживаясь, проходит сквозь бездеятельную шеренгу китайских полицейских. Студенты бегут, наклоняя знамена вперед. В открытые ворота видна серая кожа улицы и деревья посольских парков. Юноши задыхаются от злобы и бега.

Какой-то посольский шпингалет во фраке и в белых гетрах, на голове которого от июньского пота размокает цилиндр, командует:

— Закрыть ворота!

Стальные створки, утыканные остриями, смыкаются. Студенческие кулаки бьют железо.

— Та-та — вайго жень! — Бей иностранцев!

Взвод французской морской пехоты из амбразур примеряет ревущую толпу на мушку винтовок. Шланги пожарной машины ползут асфальтом. Полотнища студенческих знамен, взнесенных на бамбуковых шестах за острия ворот, щелкают бичами над безлюдьем по сю сторону ворот. Квартал шипит засовами, закрывая немногочисленные свои витрины.

И неожиданно в бой бамбуком по стали одинокий девичий голос: «Долой христиан!»

С утра, куда ни забейся в посольские здания, слышен дальний крик толп, обтекающих стены. И что ни день, крик этот яростней и издевательней.

— На бомбу их! На бомбу их! — кричит старик разносчик стенам британского посольства.

Нет правительства в Пекине. Правительство отмалчивается. На каждом перекрестке — студенческие митинги. Во всех воротах сборщицы денег загораживают серыми глыбастыми копилками дорогу прохожим и проезжим.

Иностранцу страшно высунуться за стены квартала. Итальянец-старожил ехал на янь-чэ; ему кричали:

— Эй ты, убийца!

Он остановил возницу и спросил:

— Почему вы называете меня убийцей? Я — итальянец.

Не входя в объяснения, толпа закричала:

— Убирайся, улепетывай поскорей!

В Центральном парке на митинге случайному немцу угодили камнем в спину.

Европейцы сидят на чемоданах. В зданиях христианских миссий кладут на подоконники мешки с песком. Если ночью на американской радиомачте подымется красный фонарь, европейцы кинутся в посольства и здания миссий. Ждут резни. Площадь Тянь-ань-мын кипит ежедневными митингами. Самодельные агитпьесы грозят, плачут и жалуются с дощатых настилов, поднятых над толпой. Задники этих эстрад — белые листы бумаги с гневными иероглифами о шанхайской крови.

Янь-чэ втыкают в повозки флаги: «Мы не возим иностранцев». Бои и истопники уходят из английского посольства. Каменщики, работая днем и ночью, закладывают кирпичами последние бреши в квартал.

На улицах, ведущих к кварталу,— колючие ограды.

Фотографии страшных, изувеченных мертвецов выклеиваются на столбах. Китаец-педагог на митинге отрубает ножом собственный палец и кровавым кусочком выводит на коленкоре плаката иероглифы ненависти.

Иконами плывут над головами самодельные картины, и сюжет этих картин один и тот же — улица, бегущая толпа, исходящие кровью люди, головы в индусских тюрбанах, припавшие к ложам винтовок, и человек в британской фуражке, указательным перстом дающий приказ,— командор Эверсон, крикнувший сипаям: «Файр!» — «Огонь!»

Вечером Дэн у меня. Несмотря на все свое омерзение, он проходит в приоткрытую щель посольских ворот мимо черногубых французских суданцев.

Он — делегат русской секции в делегатском собрании университета. Чуть было не прошел Ли Шу-лин. Дэн выбран голосами комсомольцев и левых гоминдановцев.

Он не брит. Глаза завалились в черные ямы, а губы фиолетовые. Губы сжаты гневом, болью, местью.

Он в огне двадцать часов в сутки. Днем не слезает с уличных тумб, агитируя. Ночью пишет большую драму с доскональными монологами на тему о британских пулях и китайской крови.

Я сомневаюсь: стоит ли писать такие громоздкие драмы? Лучше короткие агитки — патетические, разъясняющие или же сатирические.

Но он недоверчив — в агитках слишком мало слов. Не на чем актеру будет разогнаться и довести себя до того состояния, когда сдавленное горло выпускает из себя уже не голос, а звук напильника.

Тин Юин-пин воскрес. В эти сдвинутые с осей дни он кажется повихнувшимся. Маленький, чахлый и невнятный, ходил он с огромной палкой. Его боятся чинные митинги, сборища вежливых профессоров и сомневающихся политиков.

Когда глубокоуважаемый седобородый Ма Сю-лин на собрании Пекинского общества помощи шанхайским жертвам предостерегал: «Нельзя идти против всех империалистов. Надо ограничиться англичанами. Нельзя самовольничать, нельзя доверяться безответственным организациям»,— Тин Юин-пин, сжимая палку, прорывался на заседание сквозь кордон в дверях. Он член общества. Но его резкость всем знакома, а по-

тому пригласительный билет до него не дошел вовремя, посланный нарочно с опозданием.

Он подошел к столу Ма Сю-лина и, не дав тому кончить, с силой ударил палкой по столу так, что подпрыгнули карандаши, графин и сам глубокоуважаемый Ма Сю-лин. Стукнул и закричал:

— Кто против антиимпериалистического движения, тот собака Японии и Британии!

Толпа зашумела.

Те, кто были подальше от палки коммуниста, завыли в негодовании:

— Бо тоу, бо тоу! — Насильник!

— Тао лэ! — Безобразник!

А те, кто были поближе, пожимали плечами, высматривали у дверей полицию и шептали друг другу на ухо:

— Зачем его пустили? Он же больной человек. У него же судороги.

А Тин Юин-пин, окруженный товарищами, уже пробивался сквозь толпу, чтобы, опираясь на палку, идти на другое заседание, где нужно стукнуть и прикрикнуть на слишком вежливых и корректно обеспокоенных.

Бунтующий Пекин нажимает на дипломатический квартал. Квартал нажимает на президента Дуань Ци-жуя, а Дуань Ци-жуй хнычет, что ему жмут ботинки, и не выходит к требовательным толпам. Он сидит и выжидает, удастся ли студенческому союзу и обществу под названием «Смыть позор» заставить купцов объявить бойкот английским товарам.

Тропические ливни водяным сплошняком валятся с неба. Тогда митинги вскипают желтыми пузырями зонтов. Люди, кто посчастливее, взбираются на тумбочки, а неудачники мочат матерчатые туфли в воде.

Проходит ливень, и зонтики сменяет стрекот вееров на жарко натопленной площади.

В Пекинской торговой палате идут споры о бойкоте английских товаров. Бойкот невыгоден купцам. Они еще не забыли убытков от антияпонского бойкота. Они хотят отделаться подешевле.

Демонстрация десятого июня — решительная. Торговая палата обещает в этот день закрыть лавки и послать купцов на площадь.

Купцы на площадь приходят, но лавки не закрываются.

Хребет протеста надломлен.

У президента перестают болеть мозоли. Пекинская полиция приобретает способность появляться в толпе. Министр иностранных дел пишет извинительное письмо в посольский квартал.

Я чувствую на себе эту перемену. Раньше я ходил в кипящей пучине толпы, защищаемый одним только именем страны, гражданином которой я являюсь. Передо мной расступались профсоюзные цепи и гущи студентов.

А десятого, лишь только я появляюсь в толпе, меня окружает кольцо полицейских. На них не действуют мои заверения, что я спокоен за себя, что меня не тронут. Они повторяют заученную фразу:

— Уйдите, мы не можем ручаться за вашу безопасность.

А когда на назревающий скандал бросается толпа, облепляя желтые

рубахи городовых: «Что такое? В чем дело?» — полицейские бросают только одно слово:

— Иностранец!

И у толпы вспыхивают глаза.

Спокойное дыхание начинает дергаться, превращаясь в зародыши ругательства. Полицейская провокация делает свое дело.

Руки толпы тянутся ко мне. Кольцо желтых людей в погонах оберегает меня от народной ярости, и кто знает, не напишет ли завтра «Пекин энд Тяньцзынь Таймс» о том, как толпа демонстрантов чуть не растерзала одного из ненавистных подстрекателей.

День за днем падает напряжение митингов. Нельзя демонстрировать ежедневно в течение месяца. Либо надо расшибить серые стены квартала, либо отхлынуть в торговые закоулки хутунов, во дворики домов.

На Пекин надвигаются июльская жара и войска Чжан Цзо-лина. Студенты тянутся к вокзалам. Судорогу пекинской встряски они развозят по провинции.

Собираюсь в Москву. Прощаюсь со студентами.

Над пекинскими прудами, источающими малярию, стоят циновчатые балаганы. Из одних балаганов — музыка, это — театрики; из других — рявкающие крики игроков, это — рестораны.

Мы сидим в скромной конурке. На стене ее — Сыфу-пин. Груда кушаний на столе. Студенты смеются над тем, как я держу куай-цзы.

Есть палочками с непривычки так же трудно, как писать сразу двумя перьями, взятыми в одну руку.

Студенты пододвигают блюда. Меню разных провинций — на столе. Бобовый творог радует сычуанца, а житель Хэнани предпочитает свинину.

Разговор не соскальзывает с Москвы и шанхайских событий. И Фа-эр рассказывает о советском культшефстве, об избах-читальнях и о пионерах. Студенты мечтают:

— Вот бы у нас в деревне такое завести.

Другие произносят цветистые тосты, а третьи вежливо хмыкают, выполняя банкетную повинность.

Дэн говорит патетически:

— Мой отец — сычуанский повстанец. Я еду на родину с боевым заданием. Я должен сформировать в Сычуане два полка.

Дэн уезжает из Пекина раньше меня. Вот его письмо с дороги:

18 июня 1925 г.

Дорогой проф. Третьяков!

В 13 июня я получил назначение от нашей группы, для того, чтобы послать меня в юго-западную части Китая за пропаганда шанхайских и ханкоских событиях; поэтому я тотчас в 14 июня на поезд в Ханко, где английское войско с ружьями стоят на все улице, когда вечером китаец совсем не может идти туда и сюда.

Я со своими товарищами вместе уже разговаривал председателя Учаньского студенческого общества, им было очень весело соеди-

няться с пекинскими студентами. Теперь я уже направился на пароход; вероятно, через 5 дней будут до Ши-Чиына[1].

Я наверное из всех сил пропагандирую это событие в Ши-Чиын.

Потом я все таки появляю Вам письмом.

Моя пьеса уже кончилась; вероятно будет мочь играть на сцене нашими товарищами.

Ваш студент Дэн Ши-хуа.

Впрочем, я заскочил вперед. Мое время истекло. Передаю слово студенту Дэн.

Глава 30

ЦЕНТР ПРИКАЗЫВАЕТ

«Фар Истерн Таймс».— Три колонны.— На пароходе.— Матросы.— Сбор денег.— Праздник фонарей

Центр приказывает.

Я иду на пекинские перекрестки и с утра до вечера кричу прохожим:

— Помните шанхайскую кровь!.. Долой английских убийц!.. Объединяйтесь спасать Китай!..

Я уже не стесняюсь. Я не боюсь, что обступившие меня люди не поймут сычуанскую речь. Наши глаза серьезны по-одинаковому.

Центр приказывает.

Я иду с агитаторами в редакцию англо-китайской газеты «Фар Истерн Таймс». Сторожевой китаец не смеет меня задержать в воротах. Мы останавливаем полуголых кули, крутящих прессы и резальные машины. Мы прекращаем танец наборщиков среди реалов, разграфленных на десятки тысяч клеточек, полных свинцовыми иероглифами.

Мы трясем листами набираемой газеты. У газеты этой — полосатая душа: на китайских страницах она поддакивает нам и поносит англичан, а на английских полосах она презирает китайцев и требует от правительства расправы с демонстрантами.

Наша речь пронзительна и недолга. Рабочие скидывают с себя блузы, надевают халаты и вываливаются из типографии, по пути рассыпая реалы и отпихивая ногами свежеотпечатанные листы.

Выходят, чтобы больше в типографию не вернуться.

Газета перестает выходить. Зато на тяньаньмынских митингах взлетает еще один стяг — отказывающихся от работы с англичанами типографщиков.

Центр приказывает.

Я с семью человеками товарищей с утра до вечера и еще кусок ночи лазаем на коленях по полу классной комнаты, где парты сдвинуты к стенке и взгромождены одна на другую.

---

[1] Так Дэн Ши-хуа пишет по-русски слово Сычуан *(С. Т.)*.

Мы листаем жесткую бумагу, пишем на ней иероглифы негодования и омерзения, шуршим охапками нарезанного тростника и клеим флажки к тростникам.

Центр приказывает, и я, вслед за другими товарищами, отдаю из своего кармана шесть даянов на флажки, на тушь, на корм агитаторам, на железнодорожные билеты, на харчи боям, покинувшим передние английского посольства.

Три колонны демонстрантов лучами стягиваются к мраморным, обвитым императорскими драконами, столбам у ворот Тянь-ань-мын.

Торговцы обещают истребить в своих лавках английские товары.

Торговцы обещают закрыть магазины, пока не наступит возмездие за шанхайскую кровь.

Торговцы обещают дать в кассу движения сотни тысяч даянов...

Торговцы обещают...

А в действительности с каждым следующим разом все жиже и жиже становится их строй. Уходят владельцы лавок, затем приказчики. Остаются только уполномоченные торговых кварталов, бредущие в демонстрации по обязанности.

Но зато больше и больше набивается в демонстрации полицейских.

Центр дает мне последний ордер.

Прочь из гнилого, застойного Пекина! Домой!

Еду. Легкая бессонная дрожь борьбы.

Центры в городах напоминают полковые штабы во время боя. Учанцы рассказывают:

— Британские пароходы бегают по Янцзы пустые, как корыта после стирки. Грузчики не грузят товары, лодочники не подвозят, кочегары бросают топку, машинисты отрывают руку от рычагов. Пустые пароходы везут к морю испуганных миссионеров, торговых агентов и семьи консулов.

Чтобы сорвать бойкот, британские пароходы берут вчетверо дешевле китайских за билет.

Чунцзин — Ичан сейчас на английском судне два даяна.

Ага! Мы квиты. Когда-то иностранцы за этот конец взяли с меня вместо восьми даянов сорок. Теперь вместо сорока — два.

И все-таки английские пароходы пусты. Капитаны китайских пароходов рады студенческой агитации не только из патриотизма. Бойкот англичан заваливает их пароходы пассажирами. Нас возят бесплатно, и проезд нам обходится только в стоимость еды.

Матросы — первые настоящие рабочие, живущие с машиной, которых я вижу в своей жизни. Они обступают нас, стоят, сложив на белизне безрукавок багровые руки, и руки эти пучатся мускулами.

В разворот ткани по грудям их и бицепсам ныряют рыбы, бабочки синей татуировки садятся на цветы, а бедра порохом натертых венер дышат в лад движениям кожи и мышц.

Ругань сама валится с губ матросни, если сосед нечаянно толкнет локтем или наступит на ногу:

— Эй ты, осторожней, тухлое черепахино яйцо!

— Помалкивай, тестюшка!

— Я твой шурин; подбери руки!

— Ну ты, зеленая шляпа, не лезь!

«Зеленая шляпа» — обидное слово. По-русски — кот. Шурин — еще обиднее: значит — «сплю с твоей сестрой». Но они не обижаются. Их ругательства вылетают тем же привычным кряканьем, какое я слышал на московских улицах, когда в бесснежную зиму завернутые в овчину ломовики перепихивают дровяной воз через липкие трамвайные рельсы.

Мы рассказываем матросам о том, как шли в Шанхае рабочие за получением денег, а получили пули. И как понесли шанхайские студенты их трупы по иностранным улицам и требовали ответственности за кровь. Как китайцам в китайском городе британцы ответили пулями. Говорим, что надо гнать англичан из нашей страны. Выгнал же их северный народ, основавший «государство бедных». Заключил же северный народ назло инго-женям — британцам — братский договор.

Матросы, выслушав, говорят:

— А теперь скажите нам, господа студенты: с Англией мы воевать можем?

— А в войска нас примут?

— О северянах знаем. В Шанхае и Ханькоу только им и грузит союз грузчиков, больше никому, и через Янцзы у Нанкина только их с поезда на поезд возят перевозчики. А северные нам помогут драться с инго — Британией?

Особенно дружен я с боцманом Ю. Он — тридцатилетний кривоногий крепыш. На нем парусиновые штаны и белые туфли. Когда он скидывает безрукавку, кажется, будто он составной — к белому, как древесина, телу приставлена голова цвета крепкого чая. Лицо темнее губ. Губы точно пробелены, как у театральных комиков.

У него веселый голос. Он — первый наш помощник, и птицей заливается в его рту боцманская дудка, созывая матросов и истопников на митинг. Без его разрешения нам с матросами не поговорить.

Ю слушает нас и мечтает:

— Вы знаете, рулевой нашего парохода — старшина союза рулевых. Вот если бы его сагитировать — пускай снимет всех рулевых с иностранных пароходов. То-то бы застряли они в шанхайском порту, как кадушки в пруде.

Но тут же меняет тон:

— Не снимет. Он аполитичный, он любит только деньги, видите — осторожничает и к нам на митинг не пришел. Он против хозяев не пойдет. Даже если эти хозяева инго-жень.

После митинга мы собираем деньги, обходя матросов, потных коков у камбузов, стюардов, гремящих посудой в столовой, боев-лакеев, кочегаров. Дает капитан, дают пассажиры, дает даже пресловутый рулевой.

До Чунцзина (Чунцина) мы плывем последовательно на двух пароходах. На каждом сбор дает от двухсот до трехсот даянов. Эти день-

ги тут же, при пассажирах, запечатываются в конверт, заполняется переводной бланк, и на ближайшей остановке, в сопровождении выбранного от матросов, я отношу деньги на почту. Есть жесткое правило центра — не держать сборов на руках. Деньги — болезнь прилипчивая.

Пятнадцатое июля застает нас на воде. Пятнадцатое июля — праздник фонарей. Есть беспризорные духи, правильнее — «беспотомковые» души людей, не оставивших потомства. Изголодавшись и исхолодавшись на том свете — ибо некому о них молиться,— духи эти бродят по городам, по деревням, каналам и дорогам, ищут пищи и делают гадости людям.

Чтобы уберечь себя от этого загробного хулиганства, пятнадцатого июля жгут бумажные платья и туфли и фольговые ланы (денежные слитки). Надо задобрить загробников, одеть их, обуть, снабдить деньгами и отвязаться от них.

А вечером покупают фонарики и, приставив в них фитили, празднуют на воде. Все реки, озера и пруды Китая в эту ночь расцветают огненными, тихо гаснущими пузырями.

К тому дню много работы клеильщикам фонарей и ритуальной бумажной одежды.

От капитана и до матроса — жертвуют все.

Ю трясет мешком собранных денег. Скоро мы приплываем к пристани, и он пойдет закупать фонари и жертвенные вещи. Ю бренчит мошной и говорит:

— Слушайте, студенты, зачем мы будем кормить духов, когда у нас за спиной голодают живые шанхайские забастовщики? Зачем нам глупые фонарики, когда мы можем эти деньги послать в Шанхай?

Несколько матросов подзуживают его:

— Пойди да пошли в Шанхай, а потом скажи, что потерял.

Но остальные матросы сурово:

— Не делай, будет скандал. Сядем на мель, капитан обвинит нас: не сумели задобрить духов. Тебя выгонят со службы. Иди покупать фонарики.

У меня у самого чешутся руки послать эти деньги в Шанхай. Старый истопник говорит мне:

— Жаль, среди вас, студентов, нет ни одного седобородого старика. Пошел бы такой старик в рубку, побеседовал бы он с суеверным капитаном, объяснил бы, что незачем пускать фонари, жечь бумагу и вызолачивать храмовые статуи, вместо того чтобы кормить живых людей. Смотришь — капитан позволил бы эти деньги послать в Шанхай, да еще и своих бы прибавил. А если пойдете вы, молодые, ни к чему это не приведет. Капитан только рассердится и потом на нас же, матросах, свою злобу выместит.

Огорченно следим мы, как по трапу сбегает, натягивая на ходу безрукавку, коренастый Ю, на миг повернув к нам зубы на копченом мясе лица.

Я, видевший до сих пор только тяжелого, землей пропахшего крестьянина, дивлюсь, насколько живей, смелей, веселей и умней рабочий.

Глава 31

ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ДОМА

Лицо села.— Девушки.— Мак.— Дэн-дун.— Ши-куэн разговаривает.— Оратор в погонах

Гляжу в лицо родной деревне, припоминаю, какой она была двадцать лет тому назад, когда впервые младший дядя повел меня в школу,— и не узнаю ее.

Каменные плиты улиц перемощены, и плиты чисты, не то что раньше — шелуха да косточки. У ворот выставлены мусорные ящики, чтобы люди, собрав нагрызенную шелуху в горсть, ссыпали ее туда, на радость мусорщичьей пояснице.

В детстве бабушка покупала за тунзер три больших мандарина, а теперь такой мандарин стоит два тунзера. Раз в пять повысилась цена продуктов за двадцать лет, пробежавших с моего детства.

Новые дома встали на улицах. Но не тянет меня в ворота домов. Когда-то что ни двор, то друзья. А сейчас их нет. Раскиданы, учатся и бунтуют — кто в Ченду, кто в Нанкине, кто в Шанхае, а кто и дальше — во Франции, в Японии и в Йельском университете Америки.

Малыши, которые в последний мой приезд, четыре года тому назад, гудели, распевая иероглифы тысячебуквия, теперь уже школьники в белых фуражках и серых курточках, ждущие своей очереди сесть на пароход и двинуться к университету.

В школах сызмальства изучают иностранные языки, и тонкоголосые девочки друг друга называют «мисс». Гимназистки старших классов пообрезали косы, подражая шанхайским и пекинским курсисткам, и лысые старухи из подворотен уже разучаются провожать метлы их голов злобой, сплетней, шипом.

Раньше девушки без провожатых на улицу не выходили, а теперь сами бегают по лавкам и базарам, а то и в паре с парнишками, сцепясь пальцами и размахивая руками.

Разве я мог так пройтись с Цзай-ин?

Старые свахи вымирают. Новых не рождается. Не шесть лет, а шесть десятилетий прошло с 1919 года. Родители спрашивают у детей, начиная переговоры о браке.

В мои ранние годы на всю Сиань-ши приходилось человек десять студентов да человек сорок гимназистов в Теяни. А сейчас одних гимназистов за год уезжает в Теянь сотня, а студентов из Сиань-ши в одном только Пекине тридцать человек.

Раньше газеты водились в трех-четырех семействах, чьи сыновья учились за границей. А теперь с 1925 года при школе шуршит газетами киоск ученической организации.

Старые чиновники из ямыня, ведущие дело народного образования, боятся нос сунуть в школу — так бушуют в них сегодняшние их хозяева — ученики.

Я торжествую, слушая рассказы однодеревенцев о том, как стремительно и молча бежали из Теяни канадские миссионеры.

Я отомщен.

Я прохожу полями, и что-то не нравится мне в этих полях.

Там, где я привык видеть пшеницу, и даже там, где обычно лоснилась влажная зелень риса, в десятках, в сотнях, в миллионах экземпляров качается цветок, чьи лепестки окрашены болезненной лиловизной склеротических век. Проклятый цветок ма-хуэй — мак.

Когда он осыплется и начнет набухать зеленая корзиночка, крестьянин выходит и чиркает по этой завязи многолезвийным ножом, устраивая цветку кровопускание. Белая кровь натекает в прорези и загущается. Ее обирают и скатывают в липкие комки.

Это — сырой опиум. Он стоит даян за четыреста граммов.

Скупщики обирают его у крестьян и, обработав на огне, превращают в пятидаяновый.

Достаточно одного дождя, чтобы смыть сок и погубить урожай.

Не своей волей сеют крестьяне мак. Тонкие пружины нажимов идут от дубаньского ямыня через канцелярии даоиней и через сельских старост: сейте мак! сейте мак!

Ведь скупщики опиума связаны с чиновниками. Ведь налоги с опийных притонов берет дубань. Ведь пошлину за провоз опиума берет дубань, и, наконец, дубань же взыскивает штраф в размере тунзера за каждые два маковых стебля. Берет штраф, потому что в Китае запрещено макосеяние. В этом штрафе выражается борьба властей с опиекурением. Берет штраф и тысячью чиновничьих губ пришептывает: сей мак! сей мак!

А мак — это гибель рису. Мак любит сушь. Мак рушит валы рисовых полей, загнаивает водораспределительные пруды, ломает водоподъемные колеса.

Первым макосеятелям казалось, что мак — занятие выгодное. А теперь сеют многие, цена на опиум падает, но рисового поля уже восстановить нельзя. Запутавшийся в штрафах мужик, недобравший снотворного сока и проданный за долги, уходит в крючники, в бурлаки, ссыхается в портовой пыли и торопится уйти от дней голода и изнурения в короткие часы пьяных снов, которыми опийный дым разъедает мозговые клетки человека. Мак добивает того, кто взялся его разводить.

Я дома — редкий гость. Раз за четыре года — ведь это мало. И то, уезжая, не знаешь, когда приедешь в следующий раз, и приедешь ли.

Семья живет безбедно. Мачеха кормит меня курами и утками и жалостливо качает головой, глядя на мою впалую грудь или трогая мои безмускульные руки. Но неважно, что безмускульные,— зато ружейные приемы делают отчетливо.

Мачеха увивается вокруг меня, как древесная стружка вокруг хрупких стаканов, упакованных в ящик. Может быть, нежностью и вниманием она хочет затянуть то горе, которое было в прошлом.

Ни одного слова о жене я мачехе не говорю. Еще заплачет и будет думать, что ей мщу.

Когда я утром сплю, все в доме ходят на цыпочках и говорят сдавленным голосом:

— Ш-ш-ш! Ши-хуа спит.

Я с веселым злорадством выдерживаю паузу. Потом кричу:

— Нет, я не сплю!

И голоса в доме оживают, словно протертые свежим лаком.

Постепенно ко мне привыкает Дэн-дун. Ей уже пять лет. Я как-то взял ее на руки, но тотчас же опустил. Больно тяжела. Но она и не настаивает, чтобы я ее держал на руках.

Она меня называет: «дядя» — бо-фу. А папой называет вовсе не меня, а моего двоюродного брата, который с нею вечно нянчится.

Дэн-дун меня ничуть не боится. Разве я когда-нибудь себе позволил бы в детстве попросить у отца не только конфет, не только игрушек, а просто внимательного взгляда?

А она — не успел я в доме оглядеться — предъявляет мне требования:

— Дядя, купи мне игрушку и иностранный костюм.

— Зачем тебе иностранный? Он неудобный.

— Нет, удобный. А потом, все в нем ходят, и тетя Ши-куэн тоже.

Я гляжу на Дэн-дун с некоторым уважением. Заграничный костюм, и, кроме того, она уже знает несколько иероглифов: один, два, три, небо, человек, солнце.

Ведь это те же самые, что двадцать лет тому назад я в первый школьный день читал учителю Ван Чжень-тину.

Скоро нестареющий, веселый, темноволосый младший дядя поведет Дэн-дун в школу для девочек.

Двадцать лет тому назад — да что двадцать, пять лет то же самое — не было из нашей деревни ни одной девушки в университете. Сестра жмется и хитрит вокруг меня, смотрит мои книги, расспрашивает про Пекин и однажды огорошивает заявлением:

— Хочу ехать с тобой в Пекин.

— Зачем?

— А вот зачем. Год-то ты в Пекине пробудешь, прежде чем уехать в Москву. Я при тебе привыкну к городу и к ученью, а потом буду жить одна.

— А чем ты будешь заниматься?

— Тем же, что и ты,— литературой. Хочу быть писательницей.

Смеюсь:

— Недаром тебе старший дядя напророчил «ню-цай-цзы».

И музыку любит. В школе научилась играть на рояле.

Мачеха задумывается ненадолго. Моя биография отучила ее от запретов. Она складывает руки на коленях, думает и говорит:

— Пусть едет. Только как денег найти?

А через день уже улыбающийся младший дядя идет по деревне составлять для Ши-Куэн групповой заем.

Здоров он как бык. Смех его слышен издалека, и дети в школе его любят.

А старший дядя — далеко, в Дэн Цзя-чжень, в разваливающемся родовом доме. Пьет, вероятно, по-прежнему теплое вино, декламирует и удивляется, чего сегодняшний Китай хочет.

Вот уж куда я наверное не загляну, и не потянет меня пойти в залу перелистать столь уважаемую в детстве родовую нашу книгу — чу-пу.

Снова навещаю отца. Приглядываюсь и думаю: сколько еще формирований отрядов и бегств он выдержит? Недешево ему обходятся восстания.

Не в пример младшему дяде, он, сорокапятилетний, уже глядит сутулым, сивоусым, старым. Слезает прежняя суровость, сменяясь добротой и участливой шуткой.

— Всего хорошего, фу-цинь! Возвращаюсь в Пекин. Впереди — революция, а может быть, даже война с англичанами.

— Счастливый путь, сынок,— говорит отец,— рад за тебя. Пусть революция хоть немного оторвет тебя от литературы и стихов. Если всерьез решишь ехать в Москву, напиши. Мы тебе тут соберем денег.

— Спасибо, фу-цинь!

Тяжелая вещь — деньги. Уже три тысячи долга лежат на моих плечах за четыре года учения и за развод. Когда еще я начну их выплачивать, не видно впереди — такой тревожной мутью забит воздух наших годов.

В Пекин едем большой компанией земляков и родственников. Со мной сестра и двоюродный брат Пэн с женой — семья, с которой я в Пекине особенно близок.

До Чунцзиня я агитирую матросов, действую в одиночку. С Чунцзиня неожиданно для меня вставляет свой голос сестра.

Откуда она научилась так говорить? И голос не срывается, и девическая конфузливость отсутствует, и слова выбирает веские, энергичные; и возбуждена так, точно она насквозь продумала и шанхайскую кровь, и иностранцев, и генералов, и нашу китайскую боль.

Матросы ее слушают внимательно, и мне приятно, когда я слышу за спиной реплики:

— Только студенты наши — передовые руководители.

Во мне играет гордость интеллигента, учителя, путевода.

В Чунцзине подсаживаются новые. В этом городе работает объединенный комитет из делегатов студенчества, торговцев и армии.

Делегаты-студенты опытнее других. Мы заранее согласуем, что кому говорить, дабы не получилось разнобоя. Смех нас разбирает, когда мы слушаем речи делегатов-офицеров.

Выпячивая грудь и опираясь на огромный палаш, эти малообразованные люди несут чепуху с гонором:

— Да будут прокляты англичане (Так! Так! — одобряем мы), занявшие наши земли (Правильно! — помогаем мы) — Корею и Вейхайвей. (Вот так на! Выпалил! Никогда Корея не была у англичан. Запутался бедняга делегат.) Мы раздавим этих псов, ведущих непрерывную войну друг с другом,— Японию и Англию! (Какую войну? Мы переглядываемся, но не корректируем. Чего ронять их в глазах аудитории?) Карта Китая им не особенно ясна.

Они подымают плечи с поперечными лычками погон:

— Мы должны воевать с Англией. Мы не боимся. Против британских пушек у нас миллионы населения.

Я отвожу глаза от офицера. У меня нет его решимости.

Глава 32

ФЫНЬ-ДУБАНЬ

Служу толмачом.— Солдаты и офицеры.— Приказ Фыньдубаня.— Как ловить шпионов.— У Ши-мин болен.— Надо возвращаться

В Пекине Пэн, жена его и моя сестренка уходят в предэкзаменную подготовку.

Пекин тревожен. Два сорта солдат стоят пикетами на его улицах — солдаты Чжан Цзо-лина и солдаты Фын Юй-сяна.

Фынюйсяновские солдаты прекратили малевать у входов библейские плакаты. Они уже пишут на пустых стенах хибарок: «Тот, кто не работает, не должен кушать».

Говорят, Фын Юй-сян подчинился гоминдану. Говорят, он готовит поход против Чжан-Цзо-лина.

В Калгане у Фына открыты три военных школы по образцу Кантона — одна для рядовых, одна для офицеров, одна для студентов.

Фын пригласил к себе русских преподавателей военного дела; требуются переводчики.

Еду в Калган толмачом. Со мной Чжао Цзу-чен и У Ши-мин. Ли Шу-лин с Тин Юин-пином (вот уж труднее подобрать более друг другу враждебную пару — блестящий, высокомерный шаньдунец-националист и коммунист-хунанец, невзрачный, застенчивый, яростный) работают в провинции Хэнань, которая кипит не столько войсками, сколько крестьянскими дружинами.

Оставшиеся в Пекине слоняются коридорами пустого университета.

Половины студентов нет — разъехались по армиям. Токи высокого напряжения идут с юга — от Кантона, от крестьян Хэнаня, от фынюйсяновской солдатской молодежи.

Близок день больших сражений.

Тяжела и скучна работа в Калгане. Русские лекторы читают, а мы их лекции записываем, затем переводим на китайский язык. Переписчики наносят иероглифы на восковку, ротатор облизывает ее черным языком, выбрасывая аудиториям сотни экземпляров лекций.

Мы пишем целый день. У нас затекают пальцы, и судорогой сводит мускулы от локтя.

Мы неважно знаем русский язык, но наши знания гениальны в сравнении с остальными переводчиками. А где их взять? Приходилось набирать из торговцев, ездивших в Кяхту и знающих несколько русских слов, при помощи которых можно разговаривать на постоялых дворах с извозчиками и с чайными скупщиками.

Чтобы поскорее набить себе руку, между делом перевожу «Бронепоезд»[1] . Трудно. Масса незнакомых слов, которых нет в монашеском словаре.

Пристаю с вопросами к русским товарищам. Утомленные люди удив-

---

[1] «Бронепоезд» — повесть Всев. Иванова «Бронепоезд № 14-69» (1922).

ляются, чего это к ним тычется назойливый человек с какими-то литературными красотами — синекдохами, метафорами и справками о том, что такое «чалдон».

За день, замучив пальцы и глаза, сваливаемся замертво в тяжелом сне. Времени не хватает вымыться в бане. Мы обрастаем коркой грязи; на нас заводятся насекомые.

Фын Юй-сян — умный и хитрый человек. У него лучшие солдаты и образцовое младшее офицерство. Сам он одевается очень просто, живет скромно, и эта простота и скромность становятся требованием в армии.

Солдаты должны мыть ноги, знать ремесло, читать газету. Офицер не смеет ездить на янь-чэ.

Но старшие офицеры и генералы, кроме начальника штаба Лу Чун-лина, сплошь тупые, надутые, бездарные подставки для мундиров. Может быть, Фын сознательно подбирает таких? Талантливые помощники опасны.

Русские инструкторы воспринимаются генералами как личное оскорбление. Если послать генерала спросить совета у русского, он ответит:

— Что они понимают в китайских боевых условиях? Любой солдат, одетый в генеральские эполеты, толковее этих генералов.

Еще два года тому назад Фын Юй-сян учил своих солдат дисциплине при помощи библии и палки, висящей в казармах и школах.

Сейчас библия устранена, палка осталась. Этой палкой Фын колотит офицеров при солдатах. Начальника военной школы он бьет рукой по физиономии в присутствии учеников. Поэтому у солдат старший офицер не имеет авторитета. Но зато слова самого Фына — закон.

Фынь-дубань — называют его солдаты, и то, что прикажет Фынь-дубань, для них беспрекословно. Сегодня Фынь-дубань велит петь псалмы. Поют. Завтра Фынь-дубань прикажет расстрелять священника. Расстреляют. Сегодня Фынь-дубань скажет вывесить красные флаги. Вывесят. Завтра Фынь-дубань отдаст приказ открыть стрельбу по коммунистам. Откроют.

Северный Китай в затишье. Вот-вот столкнутся настороженные, стремительно тренирующиеся армии.

А в Калгане фыновские штабные раззванивают о войне с Чжан Цзо-лином, о планах и чуть ли не о месте, откуда атаковать. Говоришь им:

— Если уж готовиться к войне, так надо держать себя конспиративнее.

Ответ самодоволен:

— Не беспокойтесь! Все на месте — и полиция, и разведка и... (надменный взгляд в нашу сторону) телефоны студентов.

— Этого мало. Сведения из Калгана могут дойти до Чжан Цзо-лина.

— Что вы! Что вы! — отвечает штабной.— Я отдал распоряжение просматривать все письма, адресованные на Мукден.

Он уверен, что шпион так и будет писать: «Мукден. Чжан Цзо-лину. Секретно, в собственные руки».

Солдаты на нас смотрят иронически, называют нас обер-прислугой.

Но, впрочем, приходят, вступают в разговоры, просят объяснений разных непонятностей — в газете ли, в приказе.

От младших офицеров таких вопросов не дождешься. Образование с солдатами одно и то же, но зато гонор невероятный. Солдаты — все молодежь, не старше тридцати лет, а больше по восемнадцати. У них много работы. Строят дороги, учатся ремеслам в дивизионных школах и заучивают приказы Фынь-дубаня. Заучивают наизусть, не понимая.

Главное, за что солдаты любят Фына,— он платит аккуратнее и больше всех других генералов.

Чжао Цзу-чен упрям, как грызун. Резцы его поблескивают задорно, а длинный ежик волос топорщится.

Но У Ши-мина мне жалко. На его мучнисто-белом лице двадцатипятилетнего юноши (а ему уже тридцать шесть) западают серые тени. Он медленно изводится над переводной работой.

Он перестает рассказывать о театре, и горло его разучивается выводить манерной фистулой театральные женские песни.

В редкие свободные минуты он садится, понурясь, и глухим голосом рассказывает мне свою болезнь. Он не хочет женщин, но почти каждую ночь он их видит во сне и изматывается неукротимым семяистечением.

Ему кажется, что он тяжело заболеет.

Советую:

— Ши-мин, подай прошение об отпуске; поезжай в Пекин, пока не свалился.

Соглашается безрадостно.

У Ши-мин сидит над тетрадками, обвязав голову полотенцем. Ему мучительно смотреть на свет — так у него болит голова. Он часто и много пьет.

День ото дня говорит нервнее и отрывистее. На известковой щеке выпадает темный румянец. Еще два дня — и шея его зацветает мелкой красной сыпью.

Кисть его начинает путать иероглифы. Он ложится в кровать, и тут впервые за много месяцев я слышу: У Ши-мин тонко и вдохновенно поет, мастерски затягивая концы и расчеканивая такт.

Он бредит.

Университет шлет нам грозные письма. Если студенты русской секции не съедутся из армии, придется закрыть самую секцию. Мы спешно собираемся обратно. У Ши-мин остается на руках прислуги. Он дышит часто и нехорошо. Пролежни начинают темнеть на его спине.

Проходят дни после нашего отъезда. У Ши-мин получает разрешение на отпуск. Но он уже не может читать и даже не в состоянии петь.

Прислуга закладывает документ под стакан, стоящий в изголовье узкой кровати, по которой у сыпнотифозного нет уже сил метаться.

Передовые части Фына, зайдя было за Тяньцзинь, останавливаются.

Глава 33

БЕЗ ВОЗДУХА

Кантон наседает.— Богачи.— Горе Тин Юин-пина.— Туфеи Гао Ляо-у.— Сы-Пяо.— Тин в отпуску.— Международный поезд.— Ультиматум.— Расстрел 18 марта.— Хочу в Москву.— Чжан Цзун-чан.— Товарищ — предатель

Страшный и тихий Пекин в дни ранней весны 1926 года. Каждый день с девяти до двенадцати ветер несет проспектами кислую, ядовитую, холодную пыль...

Калган не выдерживает. Помощи с юга — от кантонцев — ждать рано. Медленным движением чжанцзолиновские генералы давят дивизии Фынь-дубаня, перерезая рельсовые пути.

У Чжан Цзун-чана[1] дивизия русских белых; у них на фуражках — пятилапая в пять цветов армейская китайская звезда. Фамилии их переделаны на китайские, подданство — тоже. Они жестоки, упорны в бою и ненавидят Фынь-дубаня за советских инструкторов.

Фын оттягивается к Тяньцзиню.

Чьи-то руки в университетских коридорах расклеивают анонимные плакаты и листовки, где пишется, что русским не надо верить, что, взяв себе Монголию, они хотят завоевать Китай; что коммунисты работают на деньги Карахана, что истинные патриоты должны быть против «красной болезни».

Русская секция вся в сборе, кроме Тин Юин-пина.

Вечера у нас идут в рассказах об армиях, в которых мы работали.

Неездившие завистливо расспрашивают, сколько мы получали.

— Ого! Сто десять даянов в месяц: это — целое состояние! Небось богачами стали.

Мы не отпирамся. Немного денег осталось — даянов по пятьдесят.

— Ну да, по пятьдесят!

— Не врем.

Живя бок о бок с лекторами, столовались по-русски — обходилось даянов по сорок в месяц.

Обтрепались. Надо приодеться. Сбережения кстати.

В одно из утр в комнатку ко мне входит неожиданно Тин Юин-пин. Что с ним? Таким бледным я его никогда не видел. Почему он вернулся из армии до срока? Ведь он писал нам, что приехать никак не может. Нельзя. Он — коммунист. И губы дергаются. Он озирается. Неужели полиция гонится за ним? Но здесь еще не Мукден, еще дивизии Фынь-дубаня в Тяньцзине; еще коммунистов не начали хватать на пекинских улицах.

А губы дергаются; понимаю из несвязицы одно — что-то случилось с его отцом.

---

[1] Чжан Цзун-чан (1881—1932) — китайский милитарист, один из руководителей прояпонской «мукденской» клики милитаристов. Заместитель командующего контрреволюционной «армией умиротворения государства».

Слезы наскакивают на его глаза; сквозь слюну, заиканье и слезы начинаю я разбирать очертания его горя.

Тин Сю-жень — отец его — еще до революции 1911 года был начальником минь-туаня в хунанской деревушке, все мужское население которой, способное носить оружие и бить, не превышало двадцати человек.

Однажды деревня поймала туфея Гао Ляо-у. Сельчане расправились бы с ним самосудом, не вмешайся Тин Сю-жень, который приказал дать бандиту публично двести ударов бамбука и отпустить его.

Гао Ляо-у ушел, но бамбуков не забыл.

Наступили годы революции. Бандит пошел в войска, научился стрелять и командовать. Сам набрал себе батальон и нанимался с этим батальоном к генералам регулярных войск.

В 1924 году, наскучив ждать жалованья, батальоны покинули казармы и разбрелись по деревням, завоевывая их и облагая данью.

Гао Ляо-у со своей туфейской артелью укрепился в горах, в двадцати ли от деревушки, где жил Тин Сю-жень.

Случилось это в августе прошлого года.

Сю-жень однажды пошел в село купить табаку, писчей бумаги, патоки и «сян» — курительных палочек (по просьбе матери).

Возвращался вечером. Следом за ним шел человек, не подходя, однако, близко.

Ночью вся семья заснула: отец, мать, два брата — пяти и восемнадцати лет, две сестры — десяти и пятнадцати лет, и прислуга-скотница. Двадцатилетний брат был в отлучке, в городе.

За полночь застучали в ворота и вежливо сказали:

— Кай мын! — Откройте ворота!

Заспанная скотница, приняв за соседей, открыла. В дом вошло пятнадцать человек с японскими винтовками, мотками веревки и большими кривыми ножами, у которых из-под рукоятки болтались красные лоскуты материи (обтирать кровь).

— Где Тин Сю-жень?

— Он спит.

Они пошли к покою, где спали отец, мать и сестренка-десятилетка.

Заслышав шаги, отец вскочил и хотел убежать через заднюю дверь, огородами, чтобы разбудить деревушку, но не успел и забился под огромную кровать. Мать в одном белье двинулась навстречу разбойникам.

— Чего надо?

— Тин Сю-женя надо.

— Его нет, он уехал.

Тогда туфей ударил старуху прикладом по голове:

— Врешь! Сегодня мы его видели в лавке; он оттуда вернулся домой. Подавай его немедленно!

Мать настаивала:

— Действительно уехал.

Туфеи завернули матери руки за спину и прикрутили в локтях.

В комнате затрещало дерево ломаемой мебели и становимых дыбом кроватей. Отца выволокли, испинали, связали ему руки сзади. Видно было — надо увести поскорей, пока не всполошилась деревня.

Однако охота поесть перевесила. Пока отец сидел в рисовом закроме, а связанная мать не смела заплакать громко — туфеи рассердятся, те вытащили из кладовки ветчину, выпили бутыль вина, поели остатки ужина, переломали посуду на полках и табуреты в столовой.

Это продолжалось два часа. Потом забрали отца и, понукая, погнали его в горы.

Еще не замолкли ночные шаги и туфейские окрики за огородами, как девочки сбежали тропками к соседям. Деревня поднялась. Двадцать человек похватали палки и несколько ружей.

Бросились вслед за разбойниками. Но где двум десяткам атаковать роту хорошо вооруженных туфеев, засевших в щелях горы!

Атаман начал с того, что устроил старику ровно такую же порку, какой тот подверг его пятнадцать лет тому назад.

Выпоров, он велел вести его на расстрел. Но среди туфеев оказался земляк и родственник жены выпоротого, носивший одинаковую с ней фамилию — Су. Он решил спасти земляка и дипломатично посоветовал атаману:

— У нас — ни денег, ни продовольствия. Пусть семья даст за старика выкуп в две тысячи даянов, а если в недельный срок не уплатит, тогда можно и ликвидировать.

Паника началась в доме Тин Сю-женя, когда заявился веселый деревенский побродяжка и трактирный забулдыга, которого разбойники использовали в качестве посредника. Он сказал:

— Достаньте деньги скорей, иначе будет сы-пяо.

Сы-пяо — значит разорвать договор, а в переносном смысле — ликвидировать человека: сбросить ли со скалы, всадить ли пулю в затылок, удавить ли веревкой; по-русски есть близкое выражение — вывести в расход.

Напоив парламентера чаем, накормив его вареньем, старуха мать отправила обратно, умоляя ходатайствовать перед Гао: во-первых, продлить срок (за неделю до родственников письма дойти не успеют); во-вторых, снизить выкуп. Две тысячи даянов семье никак не под силу.

Атаман закуражился, ответа не дал, и грозное сы-пяо повисло над семьей.

Братья забегали по дядьям, обратились к старшинам родовых обществ ближайших деревень, дали телеграмму в Пекин.

Телеграмма эта попала к невесте Юин-пина и его кузену.

В деревне наскребли даянов пятьсот. Никто не уклонялся от взноса. Такое несчастье может случиться со всяким, и закон круговой помощи не должен быть сломан.

В уездном городишке жил брат матери, мелкий торговец, скупавший в деревне у кустарей бамбуковую бумагу и перепродававший оптовикам. Он тоже дал триста даянов.

Юин-пина известие свалило. У него пересохло во рту.

Смерть отца померещилась ему.

Невеста послала семье сто даянов. Сам он отдал все сбережения, забрав жалованье вперед,— двести даянов.

Работа падала из его рук. Он просился у советника отпустить его

в Пекин, чтобы собрать деньги между товарищами. Советник дал от себя двести даянов. И удивился:

— Революционная работа в разгаре. Вы коммунист. Время ли уделять много внимания семейным делам?

Но Юин-пин перестал переводить, иероглифы сплывались в фигуру отцовского трупа, кисть дрожала и падала из рук; он вскакивал во сне; сердце его болело, как зуб; переводы были нелепы. Мысли его были в Пекине.

Начальство дало отпуск, велело вернуться, как только все наладится.

В Пекине он получил телеграмму из Хунани: «Отец на свободе».

И все-таки он плачет, вспоминая о том, как били и чуть не убили его отца.

Семье Тина не везет. Старший брат потерял зрение. Жена его рожала. Он переносил очажными щипцами белье ее, смоченное родильной кровью. Видимо, взял неосторожно, испачкал руку, схватился за глаз и вот — полуслеп и ослепнет совсем. Девочкины глаза в порядке. Ей акушерка впустила в глаза капли. Тин говорит: брат сам виноват — живя в городе, шлялся по публичным домам и заболел триппером, потом заразил жену, и вот теперь болезнь завершила свой круг и сделала его зрачки голубыми — бленоррея.

Тина мучат денежные вопросы.

Как быть? Ему стыдно, что семья задолжала однодеревенцам и торговцу. Надо скорей расплачиваться.

Я знаю, что значит долг однодеревенцам,— он заваливает семью, как обрушенная крыша. Надо откапывать товарища.

— Ну что же, Лао Тин? Вот двадцать пять даянов, скопленных в Калгане, и прости, что не могу дать больше. Деньги из деревни еще не пришли.

. . . .

Медленно колеблются политические весы. На одной чашке Мукден, на другой — Калган. Подставка приходится на Пекине.

К западу от Пекина, в провинции Шаньси, славящейся самыми древними меняльными фирмами и самыми крохотными ногами мещанок, дубань Ен Си-шан[1] «сидит на заборе» и не знает, на какую сторону с «забора» спрыгнуть, проще говоря — к кому присоединиться: к Чжань Цзолину или Фын Юй-сяну.

График железнодорожного движения Пекин — Тяньцзинь разорен. Только заставляя сторониться воинские эшелоны и поезда со снарядами,

---

[1] Ен Си-шан (правильно — Янь Си-шань, род. в 1883 г.) — китайский милитарист, губернатор и полновластный хозяин провинции Шаньси с 1912 по 1949 г., крупный помещик, владелец огромного состояния. Во время китайской революции 1925—1927 гг. выступал на стороне контрреволюционных сил, во время антияпонской войны 1937—1945 гг. был связан с японскими империалистами. В 1949 г. был изгнан из провинции Шаньси войсками народно-освободительной армии, в 1949—1950 гг. был премьером и министром национальной обороны в марионеточном правительстве чанкайшистов. С 1950 г.— главный советник Чан Кайши, член центрального совещательного комитета чанкайшистов.

проходит по рельсам поезд-иностранец, чей паровоз увит флагами семи командующих Китаем держав. На этом поезде два-три хозяина гостиниц, пара дипкурьеров, миссионер, штук пять журналистов (они же и шпионы) под охраной семи взводов солдат, собранных со всех материков.

Фынь-дубаню только отбиваться от мукденцев; тем помогают британские суда. Иностранцы не дают перехватить горло реки Пей-хо, она же — канал, соединяющий Тяньцзинь с морем.

Дипломатический корпус предъявляет ультиматум пекинским властям: никаких военных действий в Тяньцзине и его открестностях.

Этот ультиматум для Чжан Цзо-лина значит: пожалуйте, вход свободен.

Для Фын Юй-сяна: убирайся.

Президент Дуань Ци-жуй отмалчивается в своем дворце, привычно выслушивая постыдные ноты и наглые меморандумы.

Восемнадцатое марта. Я лежу у себя. Студенты и профессора с утра ушли демонстрацией к воротам Цзу-чжан-фу, дворца Дуань Ци-жуя. Они пошли, ведя колонны гимназистов и малышей начальных школ, требовать от старика, чтобы он выступил с протестом против посольского ультиматума.

Мне нездоровится уже двое суток. Я жду: скоро ввалятся ко мне веселые приятели рассказывать, какая перебранка была у них с полицейскими офицерами и как, улыбаясь, жаловался церемониймейстер на то, что новые сапоги натерли старому Дуаню очередные мозоли, мешающие ему лично выйти к демонстрации.

Разрывая бумажную оклейку решетки и чуть не сшибив дверь с петель, врывается, правильнее — падает в комнату, задыхаясь, Чжао Цзу-чен.

Вскакиваю, кладу на кровать товарища с закаченными белками глаз. Трясущимися руками он хватается за лицо, размазывая по нему полосы крови.

Я глажу его по груди, успокаивая, и вдруг вижу, что мои ладони становятся красными, как знамя.

Он бьется на постели, грызет подушку. Я даю ему воду. Он ее пьет и дышит стонами, как испорченный насос.

В комнату набираются соседи. Долгие тянутся минуты, пока Чжао начинает владеть языком.

Делегацию встретили чиновники и заявили, что Дуаня нет дома и вообще не стоит о столь пустячном деле говорить такому огромному количеству людей. Студенты отбросили чиновников в сторону, и над улицей взошел крик:

— Та-та! Дуань Ци-жуй! — Смерть Дуаню!

— Та-та! Мей-вай! — Смерть иностранному прихвостню!

Крик не успел перелететь через забор. Взвизгнул офицерский свисток, и шеренги солдат ударили залпом в грудь демонстрации.

Один залп, другой, третий.

Улица узкая. Толпа смешалась. Люди падали, наступали друг на друга, на глотки. Вымачивали лежащих внизу своей кровью. Выкарабкивались из-под шести-семи трупов, легших поверх, обрызганные мозгами.

— Там есть убитые женщины и дети со снесенными черепами. Я вылез из-под мертвецов и полз пылью, пока мне вдогонку били пули. Толпа расползалась на четвереньках.

Чжао говорит и трясется. Я сырой тряпкой обтираю его лицо. На нем нет и царапины. Кровь, которой он покрыт,— чужая.

Словно для того, чтобы довершить горе, синий почтальон забрасывает мне письмо. Письмо из Калгана.

У Ши-мин умер.

Слишком много смертей за один день! Мы сидим на кровати, ломаем руки, мучаемся своим бессильем. Глаза наши блестят, а Чжао Цзу-чен, продолжая выбивать зубами, как колотушками, вспоминает полушепотом:

— Много пуль... Свистки... Бежали... Из человеческих куч торчат ноги... шесты плакатов...

Злобой сменяется тоска.

Нельзя жить, сбиваясь кучкой в комнатке, трясясь и выдавливая слезы. Если полицейские стреляют, надо ответить выстрелами. Если генералы издеваются, надо узнать те слова, которые, будя брожение в огромной стране, подымут эту страну на генералов.

Новый профессор, плотный, курчавый, «красная девица», как мы его называем, приехал к нам из Москвы. Мы отодвигаем литературу в сторону и требуем, чтобы он объяснил нам марксизм, ленинизм, диалектический материализм.

Я узнаю от него, что в Москве русский студент на четыреста даянов живет свободно год. Прошу отца собрать денег. Он опять начальник мин-туаня в Сиань-ши.

У русских товарищей беру письма в Москву и рекомендации.

Сестра наблюдает мои сборы:

— Возьми меня тоже в Москву.

— Да ты же языка не знаешь.

— А ты меня научишь.

— Я уезжаю скоро, многому тебя научить не успею.

— Ну, сколько сумеешь.

— Да у нас на двоих денег не хватит.

Сестра огорченно примиряется и уговаривается, что я разузнаю в Москве, как там жить китайской девочке, и сейчас же напишу ей.

Она является ко мне с тетрадью и букварем, запоминает несколько русских букв, и на этом пока обрывается единственный ее урок русского языка.

Уезжают в Россию знакомые. И я бы с ними, да деньги еще не пришли. С завистью смотрю, как уносит поезд из-под гофрированного железа вокзальных навесов счастливого человека, уезжающего в страну, где можно громко говорить о революции и не прятать испуганно строки Ленина под книги при каждом шорохе.

Теплеют дни в затихшем, обрызганном кровью Пекине. Фын оттиснут в Калган. Вражье кольцо смыкается вокруг стен города, и Чхан Цзун-чан вступает в Пекин вместе с гвардией из наемных белых русских.

Пекин сжимается, как собака, над которой свистнула палка. Купцы

запирают лавки, ожидая погрома. Газеты не смеют писать ничего о новом властителе, и только от уха к уху бежит устная информация о том, как пьют по пекинским кабакам русские офицеры, как они бьют стаканы, грозят револьвером и катают в своих автомобилях пьяных и визжащих женщин.

О Чжан Цзун-чане говорят тихо-тихо. Чжан Цзун-чан — туфей огромного роста и огромной похоти. При нем — колоссальный гарем, правильно разнумерованный по стойлам, потому что Чжан Цзун-чан в лицо своих жен и любовниц не помнит.

Телохранители Чжан Цзун-чана начинают с пополнения этого гарема. Они врываются в дома именитых сановников лучших фамилий и уволакивают из этих домов юных женщин, отборных красавиц — невесток и конкубин их превосходительств.

Налетом увезена из дома бывшего министра земледелия и торговли дочь. У секретаря Хуан Фу увели невестку. Даже в дом Лин Су, знаменитого поэта-консерватора, врага Ху Ши и Чен Ду-сю, врываются чжанцзунчановцы и уводят жену писателева сына.

Мужья увезенных негодуют при встречах с родными, обещают жаловаться, но вместо этого упаковывают чемоданы и стараются уехать из Пекина, от греха подальше.

Но больше всех фактов бьет меня последняя новость перед отъездом из Пекина.

Ли Шу-лин, только что вернувшийся в Пекин из Кантона, поработавший и в Народной армии, и у сунятсеновцев, поступил на службу в штаб Чжан Цзун-чана.

Ну что ж! Ему там заплатят вдвойне. Он знает не только русский язык, но и многое другое...

Некоторые пытаются его оправдать: Ли Шу-лин — шаньдунец. Чжан Цзун-чан — шаньдунец. Шаньдунец пошел работать к шаньдунцу. Мне такие оправдания противны. Я его прощу. Пусть я этого ожидал. Все же мне стыдно за бывшего товарища. Мне стыдно в эти дни, когда рука Чжан Цзун-чана бьет революцию по лицу.

ПОСЛЕДНЕЕ

Гремящий вагон качает меня между гаоляновыми полями Маньчжурии. Трубы мукденских заводов сменяют горбушки пригородных кладбищ.

Под черными перекрытиями мукденского перрона маневровые паровозы бегают, качая колокол на чугунной спине. Японские шпионы в черных курточках кланяются, сердито всхлипывая от вежливости.

Маньчжурские мызы стоят обнесенные стенами от налетов хунхузов — северных туфеев.

Японские кондуктора и надсмотрщики улыбаются и блюдут порядок на перегоне от Мукдена до Чанчуня.

Еду, сжавшись, ожидая при каждом просмотре документов — вот мне предложат встать, отправиться в участок и дальше, туда, откуда нет выхода.

Но все идет благополучно. Со мной едет кучка студентов, транзитом отправляющихся через Советскую Россию во Францию. Я растворяюсь в этой кучке, и меня контролеры не выделяют.

В Чанчуне японские полицейские, просмотрев документы, велят вскрыть вещи. Я с полной готовностью разворачиваю перед ними свое одеяло и чемоданишко, где немного одежды, белья, чай да полдюжины крохотных шелковых платочков для подарков. Ни книг, ни тетрадей со мной в чемодане нет.

От Харбина вагоны третьего класса просторны и даже роскошны. Они не напоминают пароходный трюм. В них нельзя задохнуться и не обязательно ходить по вещам и ногам.

Против меня на скамье сидит русский. Долго гляжу. Радуюсь. Вот он — гражданин той страны, куда я еду!

Пытаюсь угадать, кто он: может быть, служащий, может быть, механик, торговец, учитель?

Он внимательно вглядывается в меня.

— Позвольте спросить, товарищ...

— Товарищ? Кто вас этому слову научил? Что это вы выражаетесь, словно красная сволочь?

Я отворачиваюсь к окну, подальше от расспросов. Я по наивности заговорил с харбинцем и трушу. Вот он встанет, приведет поездного жандарма, ткнет в меня пальцем и скажет:

— Революционер, советский «товарищ».

Молчу, считаю телеграфные столбы. Поезд съедает зону опасности между мной и советской границей.

Мое первое знакомство с границей не из приятных. Таможенный чиновник груб. Он недоверчиво роется в моих вещах, отводит в сторону мои рекомендации. Не слушает заявлений, что я еду в Москву учиться и что у меня ничего предосудительного нет. Наконец, решив быть особенно тщательным, рвет мое новое, крытое шелком одеяло и шарит в его ватной начинке.

Бедное мое одеяло!

Начинается долгая дорога по новой стране. Не дорога даже, а целая маленькая десятидневная жизнь.

Мы оставляем позади голые бугристые пустыри Забайкалья.

Вертимся в сопках, поросших горелым темным лесом.

Какой-то бородач, долго сидящий против меня на скамье, берет реванш за таможенника. Он бьет меня по колену и говорит:

— Ну, паря, что у вас в Китае хорошего делается? Трудно небось с Чжан Цзо-лином?

И пока я, запинаясь, ищу наиболее понятные слова и фразы из моего арсенала, он режет твердую колбасу и наливает мне из чайника питый мною только у Тэ Ти-ко коричневый чай с размешанным в нем сахаром:

— Подкрепляйся!

На байкальских вершинах еще лежит снег, и озеро тянется вдоль стеклянной синей водой, набегая почти на самые шпалы.

Я не отхожу от окна, глядя в лицо проезжаемой стране, о которой столько читалось, чувствовалось и мечталось.

Но почему в поезде вагоны разных классов? Мне почему-то казалось, что в поезде должен быть один класс для всех.

А вот на перрон станции выходят крестьянки, девочки и мальчики с корзинками. Они протягивают к вагонным окнам бутылки молока, и яйца, и желтых жирных кур, и белый творог из настоящего коровьего молока, а не из бобовых отжимок, как у нас в Сычуане.

И крестьяне, и продукты, и то, как они продают,— точь-в-точь такие же, как у нас на китайских полустанках. И если на секунду, сощурив глаза, отвлечься от разницы в платье и в говоре, можно подумать, что едешь где-то между Кайфыном и Баодинфу.

Почему-то я всегда думал, что Сибирь — это степь и пустыня. А здесь вон какие уходящие за край земли леса густятся по обе стороны железнодорожного полотна.

Я не могу оторваться от лесов. Это самое изумительное, чего я не ожидал встретить. У нас в Китае деревья стоят редкими рощицами, а здесь они таковы, что целый город может в них затеряться.

Потом начинаются зеленые степи и города, где на перронах продают масло. За маслом — снова горы и станция, где продают самоцветные камни и драгоценные красные звездочки с серпом и молотом. Это Свердловск. Отсюда нам писал товарищ Шергин.

Я ведь еду в Москву, и мне мои даяны надо крепко беречь, тем более что из четырехсот за вычетом дороги у меня останется меньше трехсот.

В своих купе мы живем по-землячески. Мы, студенты, перезнакомились с русскими пассажирами, в том числе и с веселым юношей. Он все время что-то насвистывает и смеется над худобой своего чемодана.

Поезд опаздывает.

Светлее овечьего глаза ночь выпускает на небо раннее летнее солнце.

Москва — город высоких домов, каких-то шпилей и башен — наваливается на нас, втягивает поезд между заборами и рядами вагонов. Я схожу на перрон Ярославского вокзала в четыре часа утра.

Быстро исчезают французские транзитники. Они отправляются за справками и кровом в китайское посольство. Мне туда не дорога.

Носильщики в белых фартуках смотрят на мой маленький багаж и проходят мимо. Я один в огромном городе. Я не знаю, куда идти. Я даже не представляю, где мне пробыть до утра. Рука хлопает меня по плечу. Веселый вагонный юноша, встряхивая чемодан, говорит мне:

— Братишка, что это вы с места не двигаетесь?

И, поняв, что мне некуда двигаться, продолжает:

— Айда вместе, как-нибудь устроимся.

Пустыми московскими улицами, которые клубятся свежей пылью из-под дворничьих метел, иду я, дивясь на головастые церкви, на улицы. Никогда не мог бы я подумать, что можно мостовые делать из этих полукруглых камней, о которые спотыкаются пешеходы.

Советский студент приводит меня, случайного встречного китайца, к себе. Маленькие комнаты, утренний храп, черный хлеб, окурки, несколько скрипок и бюст Ленина. Это общежитие учеников Консерватории.

Я стелю на холодную, пыльную, давно не прибиравшуюся койку свое изувеченное одеяло. Мы жуем черный хлеб, рискуя чавком разбудить соседей, и засыпаем...

. . . .

Я восемь лет тянулся к Москве. О ней мне хотелось бы рассказать особенно подробно, но время мое истекает, и мне приходится вместо рассказа давать беспорядочный конспект, перескакивая от улицы к улице, от случая к случаю.

С осени 1926 года я в университете Сун Ятсена. Живу в общежитии на Ильинке, улице громкой, как свадьба, где толщина гостинодворских стен напоминает ограду сычуанских поместий.

В университете много о политике и мало о литературе. А мне хочется и литературы и искусства. Я хожу на диспуты поэтов, я сижу на докладе Тэ Ти-ко в аудитории университета и мечтаю, как по окончании Сунятсеновки, научившись совсем хорошо говорить по-русски, я поступлю сюда на филологическое отделение.

Я схожусь с товарищем, приехавшим в Москву из Германии. Он тоже, как и я, мечтает стать писателем, у него самоуверенный тон и свободные манеры. Я еще не умею произносить суждения о писателях с таким апломбом, как это делает он. Проходя по бульварам, где няньки катают детей в колясках и проходят с корзинами женщины, укутанные в пуховые платки, я не умею провожать глазами, как это делает он, девушек в кепках и красных платочках, называя их «румяными яблочками».

Я начинаю купленную газету читать с отделов «Театр и искусство» и «Библиография». Те сунятсеновцы, которые в газете первым делом утыкаются в иностранную информацию и передовицу, зовут нас презрительно «литераторами». Они — политики. Для них наши интересы — блажь барчат.

Я медленно привыкаю к Москве.

Почему так много церквей? Разве их нельзя закрыть? Зима. От людей идет пар, как от фабрик. Повозки на скользких железных прутах — сани. Обувь из рыхлой шерсти — валенки.

Если ехать на трамвае десять (можно и на шестом, только это выходит дороже), приедешь на окраину, в Черкизово. Там, перейдя травяной и дощатый дворик, вступаешь в столовую, запахи которой напоминают Пекин. В ней отдыхаем от чужой страны и едим родные блюда; даже бамбуковые початки есть здесь.

Есть две Москвы. Одна меня не любит. Правильнее, смотрит на меня как на зверюшку. Я прохожу Страстною площадью, шофер кричит мне: «Эй, Чжан Цзо-лин, садись, покатаем!» Я бы ему сказал, что назвать меня Чжан Цзо-лином — то же самое, что его обругать Деникиным. Но у меня слаб язык! А кроме того, я знаю, как способны эти люди разъяриться на ответ и броситься с кулаками: «Эй ты, чужой! Смотри! Разговаривать! Морду набьем!»

Уличные мальчишки кричат вслед: «Ходя, ходя, соли надо?» Ходя — хорошее слово, оно значит «приятель». Но оно оскорбительно. Это кличка, которую русские колонизаторы дали в Маньчжурии китайцам. Я прохожу не оборачиваясь. Но китайские торговцы, стоящие с поясами и

сумками под памятником Первопечатнику, выходят из себя, ругаются страшными китайскими ругательствами, чем немало радуют мальчишек.

От этой Москвы я забиваюсь в нашу общую спальню, в шелест библиотек, в тихое многолюдство театральных зал.

Но есть другая Москва, которой я родной младший брат.

В осенний день из Дворца Труда приятель повел меня в Ленинский мавзолей. Я вспомнил башню храма Би Юн-сы в Западных холмах и завещание старика Сун Ятсена положить его в Нанкине так же, как Ленин лежит в Москве.

Кантон поднялся в свой северный поход. Дни нарастающей радости трясут нас. Из ультиматумов, таможен, штыков, сеттльментов чудится: встает молодая, красивая страна, и согласным маршем идут, как в шанхайские дни,— колонна студентов, колонна рабочих, колонна торговцев. И, покрывая их шаг невероятным гулом, идет четверть земного шара — колонна наших крестьян, пошедших добывать себе землю.

Выходила Москва на улицы в октябрьскую демонстрацию. Были люди, лежавшие на подоконниках. Стояла гуща по тротуарам. Шли плакаты и песни. Мы, китайские студенты, под своим знаменем кричали свои лозунги на китайском языке. Встречные русские улыбались нам, приветливо махали кепками, ладонями, стягами и кричали:

— Да здравствует китайская революция!

На что наш ответ был:

— Да здра-вствуй-ет эС-эС-эС-эР!

Мы несли на плечах дракона, как в дни молений о дожде в Китае.

Проходя перед мавзолеем, мы вились петлями, и дракона крючило — он клацал пастью и вился, раненный. Черными воронками радиофонарные столбы кричали нам:

— Да здравствует китайская революция!

И мы отвечали:

— Да здравствует советская власть во всем мире!

В дни зимней стужи пришли два письма: одно из Пекина, другое из Чунцзина. Чунцзинское шло два месяца.

Сестра пишет:

> Я давно не писала письма тебе. Я еще живу в доме Пэн, потому что денег, переведенных отцом, еще не получила, поэтому мне нечем заплатить за общежитие, а надо сразу за год. ..
>
> Семья Пэн относится ко мне очень хорошо, как будто я живу в родном доме. Ежедневно утром вместе с Чуй Бэ (вторая сестра Пэн) хожу в университет. Вернувшись, мы вместе повторяем лекции.
>
> За последнее время лекции стали для меня труднее, во-первых, прибавились «Основы естествознания», которыми я не интересуюсь, во-вторых, кроме китайской литературы, все остальные предметы читаются по-английски. Я люблю музыку, но у меня свободного времени мало, и я не могу играть постоянно, как это было раньше, когда я училась в гимназии.
>
> Двоюродный брат Дэн Шан-су, который учится в художествен-

ном институте и в последние дни не раз с товарищами ходил рисовать в поля за город, подарил мне картину «Первый снег», которую он написал в Западных холмах.

Здесь снег уже прошел, я думаю, что в России гораздо холоднее. Прошу тебя беречься погоды. Родителей это очень беспокоит.

Твоя родная сестра Ши-куэн.

28.XI—26 г.

Второе письмо от отца:

Сынок Хуа! Получив письмо от твоей сестры и одновременно от тебя, я узнал, что ты уже поступил в университет имени Сун Ятсена.

И я и твоя мачеха очень рады тому, что ты научишься понимать политико-экономические теории, так как ты мало знаешь и их, и особенно практическую жизнь. Может быть, с тех пор как ты изучишь политэкономию, постепенно повысится твоя активность в политработе.

Члены партии (гоминдан) в нашем уезде еще раз заполнили анкеты (переучетные), и я тебя переучел. Много молодых членов партии не знают теории и трех принципов Суна, поэтому раз в неделю я занимаюсь с ними в нашей деревне.

На прошлой неделе я перевел твоей сестре сто даянов, занятых у младшего дядюшки. Он по-прежнему преподает в начальной школе в Чунцзине, откуда он деньги прямо перевел в Пекин, так как оттуда переводная плата ниже, чем из нашего уезда.

Урожай этого года средний, новые рисы уже появились на рынке, поэтому цена хлеба снижается.

Я надеюсь, что ты еще пошлешь мне конверты с адресом по-русски для того, чтобы я мог написать тебе письма.

Твой отец.

10.XI—26 г.

Я мечтаю вместе с несколькими «литераторами» по приезде в Китай основать литературное общество под названием «Комета». «Комета» — это символ нарушения законов.

Реформы, произведенной Ху Ши, недостаточно. Мало демократизировать язык. Надо действовать резче, надо писать пьесы на сегодняшние темы, понятные рабочим. Надо издавать газету для крестьян. Надо печатать журналы для молодежи и ставить революционные кинофильмы.

До нас доходят слухи о революционном Ухане. Тянет туда, и мне кажется, достаточно приехать, и все посыплется как из мешка — и газеты, и журналы, и драмы, и фильмы.

Но приходит страшная весна 27-го года, и я боюсь уже проводить рукой по строкам газетных телеграмм, боюсь, что руки мои окровавятся, как после куртки Чжао Цзу-чена.

Чан Кайши разговаривает с англичанами. Чан Кайши казнит шанхайских рабочих. Чан Кайши — против русских и коммунистов.

Разваливается на отдельные самолюбия, на отдельные выгоды столь стремительно всходившее дело освобождения Китая.

Я не могу примириться с тем, что сейчас творится в Шанхае.

Во мне нет ни одного спокойного нерва, ни одного нераздраженного слова. Я не могу судить отсюда. Я должен посоветоваться с человеком, который уже проделал шесть восстаний и потерпел шесть поражений,— моим отцом.

Надо скорей в Китай. Когда фронт ломается, на подходы к нему должны быть брошены все резервы. Эту истину я твердо запомнил еще со времени военных лекций в университетском отряде.

Ни дня, ни часа отъезда я назвать не могу.

ПОСТСКРИПТУМ

Однажды Ши-хуа не пришел. Ни завтра, ни послезавтра, ни через неделю. Мне стало понятно — он уехал.

Досказывая мне свою жизнь, он часто говорил:

— Чан Кайши предал, но есть один человек, который никогда не предаст ни революцию, ни Москву. Этот человек — Ван Цзин-вей[1]. Я в него верю. Только в него. Как в отца. Если бы мне сказали, что отец предал, я не нашел бы в себе железа отречься от него, я бы поехал к нему убедиться своими глазами.

Ван Цзин-вей изменил через шестьдесят дней после отъезда Дэн Ши-хуа.

. . . .

Опять зима. Слушаю нетвердую речь, в которой каждый согласный звук обязательно прокладывается гласной.

— Садасити? Как пазивати?

Это Тин Юин-пин. Его рассказ — сложная повесть о походах, лагерях, бегствах, конспирациях. Человека хорошо раскатало в вальцах войн и восстаний. Он спокоен, плечи его развернулись, голос уверен.

Он вспоминает Ли Да-чжао, которого чжанцзолиновские полицейские, вломившиеся в наше посольство, вели посольским кварталом сквозь шеренги банковских клерков и белогвардейских проституток из баров. Ли Да-чжао шел, чуя смерть, ребра его трещали от выкрученных рук, и творог пены падал с губ.

Его и еще девятнадцать молодых коммунистов-китайцев давили медленно, прикручивая петлей кадык к столбу. Десять минут каждого. Значит, последний, дожидаясь своей очереди, три часа слушал, как хрипели товарищи.

Тин нежно вспоминает последнее свое свидание с Ли Да-чжао, от-

---

[1] Ван Цзин-вэй (1884—1944) — лидер прояпонской группы в гоминдане. В декабре 1939 г. открыто перешел на сторону японских захватчиков и сформировал марионеточное правительство в Нанкине.

растившим себе большую конспиративную бороду. Шел спор о Тине, идти ли ему на партийную работу или оставаться переводчиком:

— Слушай не мао-цзы (кудлатого, дословно — сына шерсти,— так зовут иностранцев). Подчиняйся ху-цзы (бородатому) — мне.— И, делая ударение на слове «ху-цзы», он упирал конец бороды в ладонь, принимая притворно сердитый вид средневекового сановника.

Тин вспоминает своего приятеля Ши-хуа:

— Его не интересовала политика. Он любил искусство. Он создал танцевальный кружок и хорошо танцевал сам.

— Сам танцевал? А что именно?

Тин по-балетному разводит руками, скачет, хлопая каблуком о каблук. Так обнаруживается, что Дэн танцевал краковяк.

— Но почему он мне ни слова не сказал об этом?

— Ему стыдно было признаваться в таких пустяках: революционер и вдруг — танцы.

Тин говорит о Ши-хуа чуть покровительственно, тоном партийного о беспартийном, но дружественно:

— Дэн — анархический интеллигент. Скромен. Щедр. Резок. Прям. Вспыхивает. Бессребреник. Для него человек выше дела. Один чумазый, попавший в партию, может всю эту партию опорочить в его глазах.

— Но, может быть, недоверчивость сложилась на личной почве. Дэн одинок. Он никого не любит.

— Неверно. У него есть невеста, его троюродная сестра... художница... богатая... в Пекине... Она бывала у него в комнате, и в эти разы на стук он двери отпирал не сразу.

Тин не думает, чтобы Дэн изменил и поднял руку на коммунистов. Скорее он отойдет в сторону. Он не Ли Шу-лин.

Тут лицо Тина деревенеет.

— Шу-лин — настоящая дрянь, эгоист со сберегательной книжкой. Помню — мы еще работали с ним в гоминдановских армиях. Он жил в Шанхае. Я приехал из похода в феврале мокрый, в грязевой корке... Ли Шу-лин спал. У него была широкая кровать, шинель и одеяло.

Ему сказали: «Положите товарища Тина с собою или постелите ему свою шинель».

Не повернувшись, Ли Шу-лин ответил в стену: «Пусть идет к черту и не мешает спать».

— Мы еще встретимся,— говорит Тин.— Придет время. А сейчас его власть.

И, перескочив на родную Хунань, где возле отцовского дома, в горных ущельях, проходят отряды крестьянских союзов, а генеральские миньтуани тщетно пытаются затоптать каблуками головни восстаний, Тин рассказывает о своей разоренной семье, о преследуемом за красное партизанство брате и о том, как трудно сейчас живется Хунани под властью генерала-гоминдановца Ло Тин-пина.

— Он хуже Чжан Цзо-лина. Он велит живому народу расти назад. Он отменил преподавание в школах народного языка, бай-хуа, и возвратил школьников к наречию древних поэтов.

Для борьбы с коммунистами Ло Тин-пин завел круговую поруку —

каждые десять семейств должны дать подписку-поручительство друг за друга, что среди них нет ни одного коммуниста, и, если таковой обнаружится, отвечать имуществом и свободой. В школах такие же десятки учеников под страхом наказания должны следить друг за другом.

— Я боюсь за отца,— заканчивает Тин.— В деревне не нашлось ни одного человека, который бы поручился за него.

. . . .

R. S. Вот уже два года минуло с отъезда Дэн Ши-хуа. Канул в Китай и исчез. На письма ответа нет.

Не знаю, где он и с кем он. Может быть, издает литературные листовки. Может быть, письмоводительствует у Фын Юй-сяна или учительствует в Сычуане.

Но, может быть, взглянув вплотную в раскрытое лицо гоминдана, он стал коммунистом и, подобно отцу, когда-то скитавшемуся с повстанческими отрядами по деревням, партизанствует сейчас около многолюдных сел Хунани или Цзянси.

А быть может, редковолосая голова его смотрит немигающим взглядом сквозь прутья бамбуковой клетки над одной из торговых площадей Китая.

17 января 1929 г.


Люди
одного
костра
Литературные портреты

С. М. ТРЕТЬЯКОВ

ЛЮДИ ОДНОГО КОСТРА

ГЛАВА РАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ

Истоки этой книги — путешествие по предгитлеровской Германии, а также по Австрии и Дании с чтением докладов на тему о советском писателе и колхозном движении.

Новизна всего видимого потрясала.

Страна резко выраженной индивидуальности обрушивалась на внимание путешественника подобно рассыпанному шрифту. Его надо было собрать и уложить в слова.

Каждый город был особенный, он проходил сквозь воображение, влача на шлейфе окаменелую историю.

Я торопился увидеть возможно больше, и это было почти болезненно.

Сначала шли вещи, пейзажи, происшествия, встречи, анекдоты, эпизоды.

Вещи запоминались подряд. Бумажные стаканы для молока и саженые леса, такие обильные, что, казалось, вся Германия живет в лесу. Спектакли светореклам на берлинских фасадах и насыщенность страны железом. Табачный воздух подземки и цикорная атмосфера комнат. Кельнский собор, затерявшийся шпилем в облаках и стоящий так близко к вокзалу, что среди молящихся неиссякаема шеренга людей с чемоданами в руках, забежавших на время стоянки поезда взглянуть на чудовищные стволы колонн, послушать гудящее мрачными каменными просторами эхо церковного хора.

Удивляли светофоры, нержавеющая сталь и плодовые деревья вдоль проселков.

Сейчас это у нас все есть, но то был 1930 год.

Самыми вежливыми людьми были лавочники. Покупателю уготована была нежность не ниже материнской.

Пустыри в Берлине были разгорожены железными сетками на вольеры, как в зверосовхозах. Внутри вольер были грядки и крохотные беседки. Это заменяло дачу. В воскресенье тут сажали цветы и играли на гитаре, воображая, что они одни на лоне природы, хотя в полуметре другая семья так же рылась в гряде и играла на гитаре.

В ресторанах целовались на полном виду так же непринужденно, как если бы то было в глухом лесу.

Счастье каждого было его частным делом. Но и несчастье каждого было тоже его частным делом. Это пытались изменить безработные пролетарки в предрождественские дни. Они стали стеной перед универмагом и не пропускали состоятельных матерей:

— У нас не на что купить детям подарки! Пусть и те остаются без подарков!

Их расшвыряла полиция.

Так вещи стали оборачиваться парадоксами.

В парадоксах рождались первые силуэты литературных тем.

Каменным дредноутом стоит в Вене средневековый собор святого Стефана. В его трюмах проводник с факелом (ни в коем случае не с электрическим фонариком) водил вдоль решеток, за которыми черепа похороненных здесь жертв чумы. От рассказов об этой чуме у спутниц темнели глаза, и они жались к соседям, желая скорей наверх, на улицы.

Там, наверху, бесшумно бесновалась другая чума, бестемпературная, но не менее губительная,— кризис. От нее таяли люди, сгнивало умение, тускнели глаза.

От этой чумы умирали заводы, а люди вылетали на улицу.

В соборе были две чтимые иконы. У одной теснилась очередь. Здесь просили о ниспослании благодеяний. К другой иконе приходили благодарить за исполнение мольбы. Там стояли единицы.

Небо было трудно расшевелить. Не легче, чем покупателей.

Над магазинами затейливые рекламы визжали электрическим визгом — неоновым, аргоновым, ртутным:

— Купите, ну купите же!

Человек стоял на панели перед витринами. Он был молодой и аккуратный. На груди его висел плакат: «Беру любую работу».

Вдоль пустых причалов Гамбурга подъемные краны подняли в небо железные руки.

На углах дежурили злые, в синяках, проститутки, голодные, готовые драться за клиента.

А через улицу в писчебумажной лавочке сидел этот клиент. Молодому, стесняющемуся матросу ласковая старушка, хозяйка магазина, медленно листала альбомы оголтелых порнографических фотографий.

Некоторые парадоксы родились из предрассудков, с которыми я приехал.

Я думал, что республика — это значит вытравление всего, что связано с предыдущим режимом, с императорщиной.

Но в названиях берлинских площадей, улиц, парков, дамб, мостов жирно жила императорщина.

В республиканском Берлине было десять Кайзерштрассе, девять кайзер Фридрих и четырнадцать кайзер Вильгельм,— всего пятьдесят семь объектов начиналось словом «кайзер».

Тридцать два места несли в себе слова «кениг», тридцать два — Вильгельм, семнадцать — Гогенцоллерн.

Социал-демократы были решающей партией в Германии. Полицей-президент Берлина был социал-демократ. Социал-демократы называли себя «марксистами». Улицы Маркса в Берлине не было.

В кулуарах рейхстага мне показали благообразного старичка с лебяжьим пухом усов и бородки — Шейдемана. Меня даже качнуло. Я думал, он давно умер. Я думал, это имя осталось в мире только в качестве стыдного ругательства.

Вплотную социал-демократов я видел в эссенской пивнушке в дни карнавала. Ожиревшие люди сидели за пивом, в знак веселья надев на

головы бумажные ермолки со смешными надписями. Над стойкой буфетчика был лозунг: «Мне это все равно, бедняк ты иль богач».

Легально нищенствовали на улицах слепцы, отмеченные желтой повязкой на рукаве. Их водили овчарки. Остальным нищенство было запрещено. В обществе торговцев просить нельзя, торговать можно.

Люди, зачастую молодые и широкоплечие, «торговали» коробками спичек. Им изредка протягивали монету, спичек не брали.

Панели были чисты, как мозаичные иконы. Единственная грязь — собачье дерьмо.

Культ собак напоминал о Монголии. Только там собака — соратник пастуха, а здесь собака — замена ребенка в экономически ущемленной семье.

Каждая такса — вглядитесь внимательно — это только искривленный, поставленный на четвереньки лопоухий, лающий, неосуществленный человеческий детеныш. Он меньше ест, чем настоящий, не требует нянек и школы, не расходует на одежду, не создает трудностей для вселения в приличную квартиру. Он не взрослеет, не дерзит. Правда, живет недолго, но зато способен поглотить весь запас нерастраченного родительского инстинкта.

Я видел витрины собачьих магазинов: там были собачьи кровати и попонки, искусственные кости из мастики и объявление об уходе за когтями. На собачьем кладбище могилы псов покрывали мраморные доски барельефами. «Мой Бубби»,— говорила надпись под эмалевой фотографией мопса. Цветы не увядали здесь. На некоторых могилах были даже кресты.

Владелица кладбища рассказывала мне о красоте человеческого горя и осведомлялась самолюбиво, чем отличается знаменитое копенгагенское кладбище от ее.

Таков был парадокс о собачьей жизни.

А на другом конце города, в лесу, за колючей проволокой, под осыпью перепрелых листьев бугрилось кладбище самоубийц. Здесь не было ни цветов, ни крестов, ни хозяев. Здесь были только дощечки с номерами. Наблюдателю предоставлялось догадываться, какие трагедии в могилах широкого образца, на дощечках которых стояло две, а то и три цифры.

Настоящей «собачьей жизнью» здесь была человеческая.

Сторож на гамбургской колокольне подсчитывал мне бросившихся через парапет в сизый воздух уличного ущелья.

Комсомольцы в Веддинге объясняли, как семьи, травившие себя газом, вывешивали клетку с канарейкой за окно, чтоб не отравить заодно птицу.

Комсомольцы были бледные от недокорма, но гордые и боевые.

Это они писали по асфальту улиц дерзкие большевистские лозунги.

Комсомольцы брали мою руку и клали на свои гладко причесанные головы: это они хотели, чтобы я прощупал шрамы от фашистских ножей.

Комсомольцы ходили воскресными утрами с гитарами по дворам, собирая на стачечников. Тогда рабочие были дома. Заметив полицейского, разбегались.

В воскресное утро играть по дворам законом запрещалось, ибо в эти часы в кирхах шла служба.

В сторожко запертых квартирах активистов крутились ротаторы, печатая квартальные газеты. На газетах были серп, молот и пятиконечная звезда.

Оторвавшись от печатания, рассказывали повесть о красном флаге, который за ночь был повешен смельчаком на фабричной трубе, а наутро снят блюстителями порядка с величайшим трудом.

Думаю, что повесть об этих флагах войдет в эпос пролетарской революции.

Пролетарки, шелушившие картофель на подоконниках комнат по Кеслинерштрассе, рассказывали гордо, что улица их в революционные праздники становится красной от обилия плакатов и флагов, вывешенных в окнах, и что на их языке Кеслинерштрассе называется Баррикаденштрассе — здесь были самые стойкие баррикады в мае 1929 года.

Я видел эти баррикады, но в разобранном виде: они стояли на углах улиц афишными трибунами и ящиками у овощных лавок, они пока что громыхали по рельсам желтыми трамвайными вагонами.

На первомайскую демонстрацию пролетарии окраин шли грозно, обильно, мужественно, сквозь ущелья полицейских броневиков, ждавших лишь минимального повода, чтоб ринуться бить, мять, гнать.

Нельзя было агитировать, поэтому на плакатах писали фактические справки, например:

«Прошлый год дал Германии 790 тысяч новых безработных и 29 новых миллионеров».

Нельзя было выкрикивать что-либо по адресу правительства, поэтому молча несли на шестах портреты товарищей, убитых за год, и поворачивали их лицом к полицейским кордонам.

С грузовика говорил Тельман. Энергичный кулак его взлетал над трибуной, видный далеко.

Десятки тысяч, стянувшиеся в сквер Люстгартен, пели суровым хором:

Весь мир насилья мы разроем
До основанья, а затем...

Но демонстранты аккуратно теснились на дорожках, не осмеливаясь переступить на просторные газоны. Газонами пробегали лишь санитары с носилками, когда в мучительной тесноте дорожек кто-нибудь падал без чувств.

Страницы коммунистических журналов были полны фотографиями убитых фашистами. В этом было слишком много жалобы на обиду. Это сгущало скорбь, но вряд ли заостряло боевое напряжение.

Это напоминало Китай, где после расстрела делегаций студенты проносили городом окровавленные одежды товарищей и взывали об отмщении к хмуро стоявшей панелями разнокалиберной толпе.

Полуарендаторы-полубатраки в восточнопрусском поместье показывали мне свои комнаты, мощенные булыжником, и огороды, залитые непросыхающей водой. Они бастовали терпеливо и безнадежно. Из всего мира о них вспоминали только коммунисты ближнего города. Они раскрывали передо мной язвы жизни своей и жаловались громко и уверенно, точно я был комиссар, присланный на расправу с их обидчиками.

В Вене на докладе о колхозах аудитория кричала:

— Спасите нас и весь земной шар!

В этом крике было отчаяние.

Но в этом крике был и изумленный восторг перед пятилеткой, которая восходила, как чудо, на небе Европы.

Пусть ее оплевывали, лягали, поносили, но она была убедительно неотвратима.

Немецкие мелкие крестьяне задыхались в долгах и чересполосице.

Были селения, состоявшие из восьмисот полей по полгектара. По вычислениям профессоров, крестьянин в год работал 3500, а крестьянка 3720 часов, то есть больше десяти каждый (каждый!) день. И все равно нельзя было подняться.

Тогда буржуазный профессор Мюнцингер решил устроить опытно-показательный колхоз, не устраивая революции.

Село нашли с громадным трудом. В нем было десять хозяйств. Им обещали построить ресторан, машинную станцию, баню. Они согласились сложить землю. Но под межами они зарыли камни, чтоб не спутать, когда придется межеваться вновь.

Рабочие, толкуя о Советском Союзе, говорили «Дрюбен». Это значит: «По ту сторону».

Советский союз стоял во весь рост, неотвратимый, ненавистный одним, изжажданный другими.

В вагоне поезда, идущего на Нюрнберг, молодая девушка пыталась угадать, какой я национальности. Перебрав все страны — Чехию, Польшу, Румынию, Скандинавию, она дошла до финнов. И, получив отрицательный ответ, сказала горестно:

— Тогда я не знаю. Там дальше ничего нет...

Тут кончался ее мир. География капитализма была куцая, как география Страбона.

Фашисты стреляли из-за угла в коммунистов. В баронских замках и на городских квартирах появлялись склады их оружия. Сыновья провинциальных лавочников, а то и просто неустойчивые юнцы, ошалевшие от безработицы и бесперспективности, нацепляли значок со свастикой, впивая наркоз субординации, буйный наркоз, не менее отшибающий мозг, чем кокаин.

Штатские люди офицерской выправки руководили ими.

На фашистских собраниях устно линчевали евреев.

Старый российский охотнорядский громила, в бороде и поддевке, воскресал здесь в людях, кичащихся крахмалом воротничков, национальным духом и лучшей в мире техникой.

Атака фашистов на ненавистников войны была яростна. В кино на Ноллендорфплатц истерично визжала аудитория, когда выпущенные фашистами ужи и белые мыши стали забиваться присутствующим под платья. Там шел фильм по Ремарку «На Западе без перемен».

Такова была (очень, конечно, летуче) эпизодика тогдашней Германии.

И люди этой книги, прежде чем во весь рост войти в сознание, были лишь деталями эпизодов.

Эйслер возник в связи с мелодией, которую на улицах комсомольский

оркестр высвистывал на флейтах. Хороший инструмент флейта, незаменим в уличном стычке. Драться гитарами куда хуже.

В истеричном протесте зрительницы фешенебельного театра против непривычной пьесы впервые я почувствовал, что такое Брехт.

Вольф явился в овациях двадцатитысячной аудитории Спортпаласа, протестовавшей против параграфа 218.

Расхохотавшиеся около вывешенного газетчиком нового журнала «A.I.Z.», веддингские рабочие дали мне понять, что такое Хартфильд.

Во взволнованных сообщениях молодых датчан о неприятности, причиненной германскому посольству, я почуял первый абрис Людвига Ренна.

Мельковая встреча перешла в знакомство, в товарищество, дружбу и, наконец, совместную работу, когда помогаешь, учишься, оспариваешь, наводишь на мысль, подражаешь, советуешь.

Эпизодика поездки дала мне как бы поперечный разрез предгитлеровской Германии. Связь с зарубежными работниками коммунистического искусства, в основном с немцами, дала мне гораздо больше, потому что жизнь этих людей вплетена продольными волокнами в историю Германии последних двадцати — двадцати пяти лет.

А жизнь у этих людей — почти без исключения мужественная, трудная, творчественная, боевая.

Этой жизнью как бы зондируешь историю.

Приглядываясь к их жизням, понимаешь, в какой обстановке складывались эти люди и, в свою очередь, как работа этих людей изменяла и изменяет жизнь.

Литературные портреты, собранные в этой книге, начались давно. Люди приезжали к нам, мы читали их книги, до нас доносились вести об их делах. Хотелось познакомиться с ними ближе,— значит, надо было, хоть в нескольких словах, «представить» их нашей аудитории.

Так возник газетный портрет-молния, по необходимости краткий, сделанный из наиболее выразительных эпизодов-анекдотов, опирающийся на наиболее контрастные выдержки из работ.

Но раз вызванный аппетит на человека был уже неудержим. Хотелось вглядеться пристально в его жизнь и горения, вчитаться внимательней в книги, вглядеться в рисунки и спектакли.

Хотелось рассказывать о них медленнее. Так возник литературный портрет журнального типа. Где-то на творческом горизонте забрезжил уже облик портрета-повести.

Так до сих пор я не оставил мысли написать большую биографическую повесть «Джонни», о Д. Хартфильде. Назвать литературно-критическими этюдами эти вещи нельзя.

Критика обычно говорит о вещи отдельно от того, кто эту вещь создал. А я характеризовал основное каждого человека — его биографию, в которую все им написанное, нарисованное, сработанное входит лишь как частность, как выражение его характера, как его манера биться за свои принципы, как общественное оправдание его личного существования.

Право же, любое приключение в жизни человека есть отрывок какой-то ненаписанной повести, а гневный абзац его романа не менее пламенен, чем взволнованный румянец на его щеках.

Произведение искусства получает особенную силу там, где оно приобретает звучание человеческого документа, то есть становится ответственным куском человеческой биографии.

Зачастую связь между произведением и биографией очень тонка. На первый взгляд кажется, вещь отстоит от биографии чрезвычайно далеко, но вслушайтесь внимательно, и вы учуете звучание биографических обертонов за строчками.

И разве не высшее счастье и не совершеннейшее достижение у человека, когда его личная жизнь не только заплетается натуго с жизнью общественной, бияcь одним пульсом с нею, но и становится пружиной этой общественной жизни, обнаружив в себе ведущие качества, оказывается типичной.

Люди, чьи портреты даны в этой книге,— это бойцы одного коммунистического фронта. Они разными путями пришли и стали в ряды. Большинство из них интеллигенты, промежуточники, люди, которым надо было покинуть класс, их породивший и воспитавший, и прийти к классу-творцу через страшное плавание по хлябям индивидуализма, анархизма, беспринципности, через плавание, быть может, более страшное, чем проделанное Колумбом, когда он оторвался от старого материка, чтобы найти Новый Свет.

И несомненно, многие из описанных мною биографий перекликаются с собственной моей биографией, устанавливая однотипность положений и похожесть путей для людей на разных точках нашей планеты, но несомых одинаковыми социальными потоками.

Фашистский костер, на который свалены были произведения этих людей, создал особо напряженное чувство кровного братства.

Мне думается, нет большего почета сейчас, чем чувствовать себя в числе людей одного костра.

Я писал только о людях, которых знал лично. В книге отсутствуют многие, которые в ней должны были быть: это Э. Э. Киш, это Э. Толлер, это Э. Вайнерт, Л. Ренн и другие.

Когда я свел написанные портреты в книгу, меня самого поразило, до какой степени тесно переплетены эти разные люди друг с другом. И не столько даже эпизодами личной биографии: трудно ли встречаться на литературных перекрестках? Нет, мне показалось, что у них есть общее, быть может, даже самими ими не осознанное качество, характеризующее искусство первого десятилетия после мировой войны.

Для них всех характерен поиск эпоса. Поиск большго искусства, экстрагировавшего действительность и претендующего на всенародное воспитательное влияние.

Действительно, эти работники искусства вырастали в эпоху экспрессионизма. То было идеалистическое искусство, считавшееся лишь с воспаленным миром субъективных переживаний творца. Война ткнула этих людей носом в самую отвратительную мерзость капиталистической действительности. Они возненавидели искусство-наркотик, искусство-флёр. Они потребовали большой и подлинно человеческой идеи, способной переделывать жизнь. Это привело их к коммунистической партии. Они стали строить искусство глубоко объективное и материалистическое. Искусство о дей-

ствительности. И не только о действительности, но и такое, которое способно было эту действительность переделывать.

Эпос библии, рабовладельческий и феодальный эпос был эпосом консервативным. Он управлял сознаниями, оберегая действительность в ее религиозной незыблемости.

Народные эпосы выдвигали фигуры героев недосягаемых, а потому подлежащих обожествлению.

Пролетарская революция требовала эпоса, который помогал бы не окаменять, но, наоборот, изменять действительность.

И героика этого эпоса должна была быть достижимой каждому из творцов новой жизни.

Элементы эпоса сегодня есть в газетной информации, в приказах начальников революционных боев, в предсмертных восклицаниях расстреливаемых революционеров, в резолюциях о постройке величественнейших сооружений руками рабочих, которые в то же самое время являются хозяевами жизни.

Эпическое в том, что мы для каждой случайности ищем объяснений в устойчивом и закономерном и социальный толчок в одной точке земного шара расшифровываем как итог гигантских и медленных сдвигов, происходящих во всем мире.

Наш эпос активен, публицистичен. Он не просто «повестование о», не просто информация, он — информация сознательно направленная.

Пискатор ищет эпических формул, строя политический театр, всегда агитативный.

Брехт создает эпическую драматургию в борьбе с эмоциональными наркотиками субъективистского искусства предыдущей эпохи.

Публицистическая драматургия Вольфа, всегда конкретного и демонстративного, перекликается с фотомонтажами Хартфильда, который ищет объективного уже в том, что отказывается от субъективного произвола, заложенного в художническом мазке или линии; он берет исходным элементом своих работ фотографию — наиболее объективного из всех доступных нам форм запечатления действительности.

Документ — вот исходный строительный материал для одних из этого поколения.

Монтаж — способ такого сцепления (сопоставления, противопоставления) фактов, чтоб они начали излучать социальную энергию и скрытую в них правду.

Упор на объективное характеризует этих.

Таковы Пискатор, Эйслер, Хартфильд, Вольф, Брехт. Их творческое внимание всегда вне их собственной внутренней жизни — о ней можно судить лишь по косвенным признакам в их творчестве.

И есть иные. События, из которых они строят эпос, уже даны, единственны, детерминированы,— это события их собственной биографии. Таковы Граф, Ренн.

Их повесть — это не просто цепь фактов. Это факты, ставшие плотью и кровью, радостью и страданием, эмоцией и мыслью, факты, которые человек проверял на себе и на которых проверял себя. Мы не найдем, быть может, в этих повестях монтажа документов, но сами повести их — это че-

ловеческие документы. И монтаж этих документов с прочими кусками действительности есть уже не литературное произведение, а сама жизнь.

Может быть, уместен термин «лирический эпос». Это означает, что приказ, отдаваемый действительности, может быть совершенно убедительным лишь в том случае, если он будет окрашен глубочайшей личной заинтересованностью автора, его большой субъективной напряженностью, если вопрос правоты или неправоты будет проверяться на таких весах, как человеческая биография, единственная и неповторимая.

Когда вспоминаешь биографические книги, как «На Западе без перемен» Ремарка, как «Война» Ренна, как «Мы в ловушке» Графа, то кажется, присутствуешь при титаническом бое, где люди бьются не тезисами и аргументами, не клинками мечей, но самими жизнями своими.

11 июля 1935 г.

ДЖОННИ

«Джонни» — зовут его близкие.

«Джонни» — зовут его совершенно незнакомые берлинские рабочие.

«Кроха голубоглазая»,— сказала, увидав его, широкосердая москвичка.

«Джон Хартфильд» — подписывается он на своих работах.

«Хельмут Герцфельде» — зовет его метрика. Он сын писателя Франца Хельмута, писавшего в девяностых годах под псевдонимом «Хельда», чья пьеса «Штурм Бастилии» через три дня после первого представления была запрещена императорской германской полицией.

Он брат Виланда Герцфельде, директора-распорядителя радикального издательства «Малик Ферлаг», занявшего своими изданиями почетное место на гитлеровском костре. «Малик» издавал Горького, Шолохова, Эренбурга, Бабеля, Сейфуллину, Федина, Вс. Иванова, Третьякова и других советских; Эптона Синклера, Дос-Пассоса, Вейскопфа, Витфогеля и других зарубежных.

Два брата, но до чего же различные! Издатель, блестящий делец, все время настороженно комбинирует, делает сложные шахматные ходы на книгоиздательском рынке, обхаживает авторов, хватает мертвой хваткой покупателя, растворяет суровость деньгодавцев.

Выброшенный фашистами за пределы Германии, подобно кошке, становящейся на все четыре лапы, в Праге он начинает дело снова.

Книжное дело за капиталистическим рубежом совсем не похоже на наше. Наша книжная витрина — это сотни, если не тысячи, названий, на разные вкусы и темы. Там книжная витрина — одно-два, ну, много — пять названий. Книгоиздатель норовит выпустить такую книгу, чтобы она стала «шлягером» — боевиком. Надо, чтоб в треске реклам она вломилась в сознание покупателя. Надо сделать ее навязчиво модной, подобно липнущей к ушам модной мелодии, «сделать на книге дело», заработать.

Разжечь на книгу покупателя нелегко. Там цена на книгу высока.

В прошлом Виланд Герцфельде — не просто издатель. Он издатель-организатор, собиратель радикально направленных литературных сил. Во время империалистической войны (еще в то время поэт-модернист) он создал журнал «Neue Jugend» («Новая молодежь»). В 1918 году вступил в партию и в 1922 году основал издательство «Малик».

«Малик» — по-албански значит «разбойник». Так называется роман Эльзы Ласкер-Шюлер, который хотел напечатать Герцфельде. В этот момент военные власти Берлина запретили «Новую молодежь». Тогда Герцфельде создал издательство якобы исключительно для издания романа и назвал его «Малик Ферлаг».

И вот в кабинете этого солидного директора, где диктофон переливает

в уши машинистки консервированную на восковом валике спокойную речь, где телефон с десятью кнопками для дачи приказаний во все отделы, где муштрованные секретари и механизированная наклейка марок на конверты, появляется Бэстер Кэйтон. Вы помните этого трагического комика американских экранов, никогда не улыбающегося, щуплого, одержимого. Очень маленький, очень бледный, очень серьезный человек, как будто привыкший все время разговаривать с великанами и поэтому носящий свое лицо несколько задранным кверху, зубами и глазами наружу, к собеседнику. Доверчив и конфиденциален.

Тихий, очень тихий голос. Чуть заикается. Но это не мешает его речи быть слышной с больших трибун. В самое недовольное рычание аудитории он бросает убежденнейшие свои слова, и к словам этим прислушиваются друзья с уверенностью, враги с уважением.

Он постоянно торопится, полушепотом извиняется, что опоздал, и под мышкой у него гигантские рулоны плакатов и монтажей.

За этим маленьким человеком установились прочные клички «честнейшего», «кристальнейшего», «бессребреника», «дисциплинированнейшего». Это самый чистый из всех коммунистов-интеллектуалов Германии,— говорят о нем и партийцы и просто знающие его люди.

Но у таких маленьких, шепотных и убежденных людей бывают вспышки ярости, которой ничто не может противостоять. Такая до времени спружиненная ярость и неистовая сила отпора скрыты и в Джонни. Вот перед ним возникает жулик, прикидывающийся святошей, трепло под маской академика, приспособленец, вызубривший интонации непримиримости, и уже Джонни срывается с зарубки, веснушки выступают на его поголубевшем от ярости лице, губ уже не хватает закрыть выставившиеся зубы, и птичьим криком летит ругань, прерываемая заиканиями.

— Однажды,— вспоминал Пискатор,— он так ринулся с трибуны на каких-то врагов, сидевших в зале, что сдвинул кафедру, и она повисла над краем сцены. Джонни ее вовремя перехватил и потащил на себя. Голова его чуть возвышалась над краем кафедры. Но врагов надо было видеть и, рявкая, надо было бросаться вперед. Он кидался вперед, но кафедра кренилась снова, и снова он тихо оттаскивал ее назад, спадая с тона.

Так выступление превратилось для него в единоборство с кафедрой.

Помню беседу на собрании пролетарских писателей в Берлине.

— Слово имеет Джон Хартфильд,— объявил председатель, и аудитория примолкла, потому что человек заговорил так, словно сообщал на ухо:

— Геноссе Третьяков, ты сказал правильно. Нам необходимо умное искусство. То искусство, которое запруживает рынки, стены музеев, подмостки театров и экраны кино,— глупое искусство.

Я отвечаю:

— Нам нужно умное искусство. Но, Джон Хартфильд, то искусство, которое господствует кругом, не так глупо, как тебе кажется. Оно тоже умное искусство, оно тонко и хитро выполняет задачу делания людей глупыми.

— Геноссе Третьяков, ты говоришь правильно. Но мне кажется, что искусство, делающее людей глупыми, не может само не быть глупым.

— Геноссе Хартфильд, не забудь — но оно умно обманывает.

Всегда куда-то торопясь и что-то комбинируя, он один из тех, кто убивает легенду о точности, аккуратности и исполнительности немцев. Джонни вас позовет к себе, а когда вы придете, его не окажется. Новое событие перебежало ему дорогу и увело с собой. Джонни вам скажет: «Приду завтра», ,но не придет ни завтра, ни послезавтра, ни даже через год.

Но он не опоздает ни на секунду со сдачей заказанной работы, если задание дано агитпропом партии или редакцией «Роте Фане». Он быстро и чисто сделает работу, если быть с ним рядом, окарауливать его от случайностей, которые его так любят.

Пискатор рассказывает:

— Был вечер премьеры агит-ревю «День России» в тысяча девятьсот двадцатом году. Декорации к нему делал Джонни. Он обещал их принести и развесить перед началом спектакля. Но наступила уже минута поднятия занавеса, а Джонни все не было. По телефону отвечали, что он уже давно вышел из дому. Значит, с ним что-то произошло в пути. Театр выждал десять минут, четверть часа. Всякому известно, к какой точности приучена немецкая театральная публика и каким скандалом грозит оттяжка начала даже на несколько минут. Прошло еще четверть часа. Публика неистовствовала; вот-вот она кинется составлять протоколы и требовать деньги обратно. Занавес поднялся, чтобы начать спектакль хотя бы при голых кулисах.

И в тот момент, когда встала немая секунда перед началом первой фразы, из глубины театрального зала раздался неистовый высокий крик: «Хальт, хальт!» — и, путаясь ногами в фалдах пальто, задевая сидящих громадными рулонами бумаги, к сцене пробежал Джонни развешивать декорации.

Оказалось, рулоны были велики, его не впускали в трамваи, а там, где ему удавалось в трамвай залезть, немедленно начиналась ругань. Джонни, огрызаясь, вертелся, а вертясь, хлопал соседей концами рулонов. Его высаживали из вагона, он бежал пешком, выглядывая трамвай попокладистей. Бежал, а часы с витрин часовщиков и церковных башен стегали его спешку.

У Джонни было трудное детство. Рано умер отец, мать кончила в психиатрической больнице. Он жил по чужим семьям. Из семьи бургомистра родного городка попал к католическому епископу, который отдал его в монастырь, где в обедню Джонни в кружевной рубашонке бегал со свечой и звонил в колокольчик, становясь на колени. Он работал в лавке книготорговца и учился антикатолицизму и живописи в семье художника-гугенота. К шестнадцати годам в Мюнхене он поступил в школу живописи, готовясь стать художником.

Впрочем, слово «художник» Джонни не любит. «Я фотомонтер»,— говорит он, мастер публицистического фотомонтажа.

Это его искусство, так же как и его псевдоним «Джон Хартфильд», родилось во время войны.

Трудно придумать больший парадокс, чем военная служба Джонни.

Он, тщедушный и крошечный, служил в императорской гвардии. Полк

был имени Франца-Иосифа. «Францеры» — звали верзилы его шеренг. Как попал сюда «кроха голубоглазая»?

— Гинденбург не любил старомодных рослых гвардейцев. Он вливал в гвардейские полки маленьких, они выносливее на марше,— пояснял Джонни.

Джонни тяготился гвардией, стараясь из нее вырваться. Ему удалось уйти из своего полка, но лишь с тем, что его перевели в другой гвардейский же полк «Майкефер» («Майский жук»), называвшийся так за коричнево-черную форму. О «майкеферах» Джонни говорит с величайшей ненавистью. В дни революции «майкеферы» убили около своих казарм одиннадцатилетнего мальчугана только за то, что тот крикнул: «Да здравствуют спартаковцы!»

Империалистическая война шла. Шовинизм, граничивший с сумасшествием, рвался из глоток германских помещиков, бюргеров, офицеров. Только что вступила в войну Англия. Немецкие патриоты, встречаясь, вместо «здравствуйте» говорили: «Боже, покарай Англию!» Любимыми стихами шовинистов были сочиненные поэтом Эрнстом Лиссауэром:

Едина любовь, едина месть,
Единый враг у всех нас есть —
Англия!

Именно в это время в знак протеста Хельмут Герцфельде перевел свое имя и фамилию на английский язык и принял псевдоним «Джон Хартфильд». Нужна была смелость, чтоб совершить этот поступок, ибо параграфы законов об измене и шпионаже были грозны. А Хельмут был солдатом германской армии.

Об изобретении фотомонтажа художник Георг Гросс написал следующие строки в связи с постановкой «Швейка» в театре Пискатора:

«Когда мы с Джоном Хартфильдом в 1916 году в пять часов утра погожего майского дня в моем берлинском ателье открыли фотомонтаж, мы даже не представляли себе ни колоссальных возможностей, которые сулило это открытие, ни тернистых, но в то же самое время полных удачи путей его.

Как это часто бывает в жизни, мы, сами того не предполагая, наткнулись на золотую жилу.

В эти дни повсеместно стремились молодые искатели приключений в неизвестную страну «Дада». А открытия ведь носились почти готовыми в воздухе».

Не знаю, как было дело с пятью часами утра, но совершенно справедливо замечание о том, что идея фотомонтажа носилась в воздухе, вызрев в окопах войны.

На письма военная цензура была очень строга. Чтоб ее обмануть, солдаты в свои письма вклеивали вырезанные из газет и журналов рисунки, фотографии, тексты, комбинируя их так, что получался смысл издевательский и разоблачительный.

Когда германским авиаторам прибавили сто марок жалованья «на

опасность ремесла», широкое распространение получил сделанный летчиками фотомонтаж: череп, одетый в авиационный шлем, держал в зубах пачку стомарковых кредиток.

Здесь истоки эпического фотомонтажного искусства Джона Хартфильда. Он отказался от художнического мазка как исходного элемента картины и взял запечатленные на фотобумаге куски действительности. Сталкивая их друг с другом, объясняя их, совлекая романтические маски и вуали, он строил свои фотомонтажи, показывая подлинное лицо действительности.

Его учителем и товарищем был Гросс. Они работали вместе, комбинируя фото, рисунок и надпись. Двойные подписи стояли под их композициями «Гросс (pinx) Хартфильд (mont)»[1].

Гросс был зрелее Хартфильда, увереннее, и ненависть к буржуазии у него перерастала границы простого эпатажа, уже становясь политическим действием.

Вряд ли найдется много в мировой истории художников, которые бы с таким беспощадным цинизмом, с таким озлоблением взрывали ту утробу, из которой сами вышли. Гросс, выходец из мелкой буржуазии, знает свой класс изнутри и ненавидит его нечеловеческой ненавистью. Порой кажется, что все его произведения — это борьба не с существами, стоящими вне, а схватка с самим собой, загрызание в себе самом неистребленных остатков своего класса. Отсюда трагическая двойственность Гросса, придающая всему его творчеству особую остроту. С одной стороны, детский стиль рисунка, а с другой — более чем взрослая тематика. Как будто детскими устами говорится о предельной мерзости современья. Поражаемая карандашом художника, буржуазная романтика оказывается падалью. «Тайное тайных» — не более чем пакостничество и деловитая порнография. Темы Гросса — вонь капиталистических клоак, лицо хозяев капиталистического современья, страшная коллекция жестоких паразитов в мундирах и погонах, сладких кровососов в рясах и сюртуках, бесчеловечных гуманистов, кровавых пацифистов, нагаечных демократов, сластолюбивых филантропов,— словом, того зверинца, где каждый или продает, или продается, насилует или охраняет безопасность насильников.

«Се человек» — называется сборник, основа которого — собственник-любодей.

«Лицо господствующего класса» — это сборник, вернее, цикл сборников, где сатирические рисунки имеют политико-агитационный характер. Здесь собраны главным образом работы, которые Гросс делал по заданию «Роте Фане» и коммунистических журналов сатиры. Здесь коллекции дельцов, «жаб собственности», военщина, расправляющаяся с рабочими, и знать, для которой народ «плохо пахнет»; берлинские улицы с человеческими обрубками, просящими подаяния. Здесь грозные предостережения: «вскочивший с постели буржуа видит в щель гардин рабочую демонстрацию», пролетарий на фоне крестов дает клятву с поднятым вверх кулаком. (Кстати, не от этого ли гроссовского кулака родит-

---

[1] «Pinx» (сокращенное латинское «pinxit») — значит «нарисовал»; «mont» — сокращенное от «montage» *(С. Т.)*.

ся через год хартфильдовский кулак на значке красных фронтовиков, ставший впоследствии интернациональным коммунистическим жестом «Рот фронт»?)

Пожалуй, самое замечательное произведение этого цикла — «Каким быть должен верховный суд». Художник заглянул в будущую советскую Германию и увидал, как судит пролетарский трибунал взятых на цепь генералов, биржевиков, фабрикантов, которых конвоируют двое пролетариев в пальтишках и с винтовками.

Таков Гросс.

С одной стороны, это отчетливо мыслящий партиец, конденсатор чувства классовой мести, дисциплинированный художник-публицист; но вдруг какой-то поворот внутреннего рычага, и Гросс может с величайшей раздражительностью цинично наброситься на товарища по партии из одного только чувства противоречия и нести сумасбродную ахинею. В такие минуты в нем атавистически просыпается анархиствующий циник-дадаист. В такие минуты в революционере, умеющем на весь мир говорить своим неповторимым голосом, поднимается сын того лавочника, которого он убивает своим карандашом. И художник, ругаясь, корчится, как тот калека, у которого болят пальцы давно ампутированной ноги.

Вместе с Гроссом и братом Джон Хартфильд делает сатирический журнал «Пляйте», что значит «Крах» (1919—1921). На поддержку этого журнала Джонни отдает последние свои гроши и всю энергию. Сами сотрудники продают журнал на улицах. Журнал запрещен — Герцфельда сажают в тюрьму.

После капповского путча в 1923 году немецкая компартия издает свой сатирический журнал «Кнюппель» («Дубинка»), и Хартфильд с Гроссом вновь оказываются главной опорой этого журнала.

По работам Хартфильда можно читать историю классовых боев пролетариата Германии. Ни одна выборная кампания не обходилась без плакатов Хартфильда. Особенно популярен был плакат, где раскрытая рабочая пятерня призывала голосовать за коммунистический список номер пять. Текст гласил:

Пять пальцев имеет рука,
Пятерней ты за глотку ухватишь врага.
Голосуй за коммунистическую пятерку.

Эта рука — одна из многих рук, столь типичных для хартфильдовских работ. Вот сжатый кулак ротфронтовского значка, вот поднятые протестом против Скоттсборо руки белого и негра, вот три руки, держащие древко знамени антифашистской борьбы. По нарукавным перевязям видно, что это руки коммуниста, рабочего социал-демократа и беспартийного.

Вот на плакате зачеркнутый пфенниг. Это компартия борется против ассигнования на броненосец. Вот голова обывателя, подобно капустному кочну замотанная в листы буржуазных газет.

Гиена капитализма, в цилиндре и с орденским крестом на шее, идет через трупы полей сражения.

Морда тигра неожиданно выступает на месте человеческого лица над корректным воротничком,— это лицо реформиста.

Социал-демократов Хартфильд когтит с особенной настойчивостью. Они злейшие враги. В этих на вид добродушно-мешковатых книгоедах фотомонтер-большевик разоблачает породу трусливых растлителей рабочего класса, постепеновцев и лгунов.

Вот социал-демократ, держащий материнским жестом нужный германскому империализму броненосец. Вот старый Каутский, обезьяной карабкаясь на мачту броненосца, смотрит в подзорную трубу и восклицает:

«Социализм виден!»

Вот вся руководящая головка социал-демократии, одетая в адмиральские мундиры, прикрытая адмиральскими треуголками. Подпись: «Наши синие ребята» (так в Германии ласкательно называют матросов).

Вот шуцманы под руководством социал-демократа арестуют на берлинской улице Карла Маркса, несущего под мышкой «Роте Фане».

Силуэт броненосца, склеенный из одних только газетных вырезок, и на вырезках этих — предвыборные посулы социал-демократов, взятые назад, как только выборы дали им большинство.

Карл Либкнехт с пулевыми ранами на лице лежит в гробу, и, подобно белым погребальным цветам, окружают его тело клочки контрреволюционных газет, сочащиеся ядом травли и науськивания. По этим клочкам ведет тропа к подлинным убийцам Розы и Карла.

Одно из самых замечательных произведений Хартфильда — это фотокнига «Германия превыше всего», сделанная им совместно с радикальным литератором Куртом Тухольским. Эта книга в германской литературе параллельна альбому Георга Гросса «Лицо господствующего класса». Только в свои тексты Тухольский внес мягкость и лирическую рыхлость, которой совершенно лишена беспощадная книга Гросса. В этой книге Джон Хартфильд с присущим ему мастерством высекает искры подлинного революционного смысла, ударяя фото о фото, фото о рисунок и фото о текст.

Он склеивает фотографию изможденной беременной женщины с фотографией трупа после сражения, и получается портрет страшной судьбы работницы, обращенной капитализмом в машину, изготовляющую пушечное мясо. Он монтирует остановившихся на улице бюргеров с ногами шагающих солдатских шеренг, и создается картина-символ, говорящая о бюргерском почтении к императорской прусской муштре, о мечтаемом военном реванше.

Он берет фото подоконника рабочей квартиры и бледно-зеленой краской трогает лист чахлого растеньица в горшке, и это зеленое пятнышко сразу обращает в серый цвет тон остальной фотографии. Невыносимо серыми оказываются стены, камни, вещи, и даже самый воздух становится затхл и сер.

Велико разнообразие ударов, которые наносит Хартфильд. Буржуазным футболистам он насаживает вместо голов футбольные мячи, великосветскому хлыщу-фрачнику заменяет голову нулем, а прокурору в судейской мантии приращивает вместо головы параграф.

Он собирает коллекцию генеральских физиономий на одной странице

и подписью к этому монтажу берет заглавие популярной книги по зоологии — «Звери смотрят на тебя».

Он берет фотографию среднего, самодовольного, упитанного бюргера, в меру тупого и в меру изворотливого, срезает его по пояс, пришивает к карманам пару человечьих ушей, и «задница с ушками» оказывается одним из «лиц» сегодняшнего мещанина.

Особенной выразительности Хартфильд достигает в своих книжных обложках. Агитационно-политическая фотообложка — это его создание. Почти все обложки «Малик Ферлаг» сделаны им.

В квадрате тюремной двери страшный силуэт электрического стула. А рядом — улыбающемуся «молчальнику» Куллиджу пришпиливают орден. Это роман Синклера про Сакко и Ванцетти.

Вот книга «Крестный путь любви». На ее обложке скрещены фото двух вещей — розы и гинекологических щипцов.

Книга об искусстве на службе буржуазии: на обложке, рисованной Гроссом,— пресыщенный собственник в окружении лучших шедевров мирового искусства. А на обороте обложки художник, еще недавно гордый своей независимостью, ныне малюет портреты богачей и генералов.

Книга «Деньги пишут». Мягкая, жирная рука в перстнях держит нити, ведущие к марионеткам за письменным столом — журналистам капиталистической прессы. А на обороте известный писатель Эмиль Людвиг на террасе своей виллы с женой, ребенком и псом. Над озером, куда выходит терраса, облачком плавает изречение Шиллера: «Дайте мне обнять вас, миллионы». И слово «миллионы» получает новый, циничный смысл.

Кстати, по поводу этой обложки Джонни пришлось выдержать один из нередких боев с правительственной цензурой. Писатель, изображенный на обложке, подал в суд, и суд предписал Хартфильду: не сметь переходить на личности. Хартфильд предписание выполнил буквально. Он вырезал овалами лица всех изображенных на террасе, а заодно вырезал и морду пса, создав этим довольно обидную для персонажей уравниловку.

Другая схватка у него была по поводу обложки в книге «Шпионаж и эротика», говорившей о нравах в высших военных сферах Германии. На обложке солиднейший, непреклонной внешности полковник императорской армии с Железным крестом на груди был изображен раскисшим и оглаживающим ногу проститутки, развалившейся у него на коленях.

Цензура предложила убрать руку полковника с ноги. Хартфильд вырезал преступное место квадратом и в образовавшуюся белую клетку впечатал: «Вырезано по требованию военной цензуры». Это было также запрещено. Тогда Хартфильд вмонтировал в обложку фигуру прокурора, который огромными ножницами выстригает криминальное место.

Фотомонтаж с а т и р и ч е с к и й и фотомонтаж п а т е т и ч е с к и й — вот полюсы, между которыми строится работа Хартфильда.

Кто не помнит его монтажа для журнала «СССР на стройке»: силуэт Ленина перед тенью аэропланного крыла над новостройками рабочих поселков?

Дело Джонниных рук гораздо популярнее в мире, чем самое имя его. Сколько раз, бывало, я спрашивал у рабочих, знают ли они Джона

Хартфильда. Они напрягали память, качали головами и отвечали обычно: «Нет, не слыхали».

Тогда я им говорил:

— Ротфронтовский кулак на значке видели? Ленина перед аэропланом помните? Голову тигра в воротничке видали? Два поднятых кулака, белый и негритянский, вспоминаете?

И собеседник, расплывшись в дружеской улыбке, торопился ответить:

— Ну конечно, знаю. Так это и есть Джон Хартфильд? Так мы же сколько его вещей в свои стенгазеты вклеивали! Так сколько же раз по его вещам мы свои фотомонтажи строили!

С этой стороны популярность лучших вещей Хартфильда у пролетариев не только его родной страны равна популярности таких песен Эйслера, как «Коминтерн» и «Красный Веддинг» (их, кстати сказать, также поют, не зная имени автора).

Учиться у Хартфильда стоит. Язык его фотомонтажей предельно общедоступен и прост. Иногда это даже не монтаж, а мазок краски, внесенный в фотографию.

Над серыми камнями баррикады треплется пятно красного флага на обложке «Гамбурга» Ларисы Рейснер. Кровоточит цифра «9» в заглавии «9-е января», впечатанном в фотографию, где скачут николаевские казаки, оставляя трупы убитых на снегу петербургских мостовых,— кровоточит и застывает несмываемым пятном.

Идет живой пламенный Либкнехт рядом с колоннами комсомольцев.

Жадным дымком исходят только что отлитые пушки оружейных заводов Европы и Америки.

Три штыка легли на карту Европы, остриями к границам Советского Союза.

Тщедушный ребенок в противогазе подходит к страшной рождественской елке, увешанной предметами военного снаряжения и пустышками мирных конференций.

Голубь мира, насаженный на штык, на фоне «разоружительной конференции».

Готический собор, построенный из артиллерийских снарядов.

«За мной — миллионы»,— говорит Гитлер и фашистским жестом подымает ладонь, и в эту ладонь некто солиднейший, видимый только до карманов, опускает миллионную пачку кредиток.

Фашизм — это враг, по которому Джонни бьет беспощадно. И привычной платформой его выстрелов являются обложки журнала «A. I. Z.»

Карлик Геббельс, встав на стул, гримирует Гитлера бородою Маркса.

Геринг с топором палача на фоне пылающего рейхстага.

Германия, колесуемая на фашистской свастике.

Свастика из четырех палаческих топоров.

Эти работы жгутся. Когда в Праге была устроена выставка фотомонтажей Джонни, германское правительство потребовало убрать наиболее позорящие фашистов экспонаты.

Понятно поэтому, почему так яростно искали «коричневые рубахи» ненавистного им маленького тихого человека после захвата власти.

Фашистский переворот застал Джонни в Берлине. Друзья писали

ему, встречаясь, говорили — беги. Но он вместо этого гонял по городу, так конспиративно закрываясь половиной воротника, что даже прохожие подозрительно оборачивались. Он хотел сначала спасти свои работы. Запаковав семнадцать ящиков, он заночевал дома.

Ночью постучались штурмовики. Он, как был в пижаме, выскочил окном во двор. Двор был крышей первого этажа. Две доски со световыми рекламами стояли на краю этого двора. Между рекламами забился человечек в пижаме и сидел четыре часа, пока наверху громили его квартиру и ломали ящики. Под утро во дворик кто-то вошел. Тогда Джонни спрыгнул на улицу и добежал до такси. Шофер, на счастье, оказался не фашистом.

Через несколько дней на тропе в Исполиновых горах, на границе с Чехией, шел маленький сосредоточенный человек. Он шел безлюдьем до самой ночи, пока не набрел на дом. Какой дом? Чешский или германский? Человек не рискнул войти. Началась пурга. Он пошел назад, брел долго. К утру встретил людей, они ему сказали:

— Здесь еще Германия.

И помогли выйти к границе.

Много германских коммунистов сейчас в эмиграции. Но меньше всего применимо слово «эмиграция» к Джонни, этому бессменному пограничнику антифашизма, стреляющему фотомонтажами с подписью «Джон Хартфильд».

Он на своем месте, дюжий и зычный гвардеец коммунистического искусства в мире идеологии, тихоголосый голубоглазый человек в мире вещей.

БЕРТ БРЕХТ

Воздух синь от сигарного дыма. Синее бывает только духота вагонов для курящих в берлинском метро. Сдвинув кольцом низкие стулья, сидят люди, а в центре кольца большая пепельница. Туда каплет сигарный пепел. Телефонный аппарат на длинной привязи передается, как сахарница, из угла комнаты в угол, по принадлежности, и каждый раз при передаче люди гремят стульями, шуршат подошвами и говорят вежливости, пока путаница проводов перемещается по комнате, подобно такелажу гибнущего парусника.

Беседа идет вкруговую. (Так пьют грузины.) Ровным голосом, не допуская чрезмерных движений и интонаций, выцеживаются из черепных реторт немецких интеллектуалов — экономистов, критиков, политиков, фельетонистов, философов — отстоянные суждения на тревожные сегодняшние темы; никто не позволит себе прервать другого, пока не дожурчит последняя капля его речи.

...Где-то у партийных кнайпе[1] ножами дерутся фашисты с комсомольцами... (Ведь это Берлин 1931 года.)

...Пустым коричневым солнцем лавочников, сходящих с ума от голодного отчаяния и оскаленных хищно, всходит одержимый фашист над германским горизонтом.

...Кричат рабочие «Рот фронт», выставляя кулаки из арестных автомобилей.

...Новый десяток заводских труб перестает дышать в небе.

...Новая сотня проституток становится на берлинские перекрестки.

...Новая тысяча рабочих не выходит утром на зов гудка.

А в дымом задушенной комнате из голов-реторт методическими каплями сухой перегонки падают сентенции и афоризмы. Их отделка блестяща. Реторты кажутся никелированными по лучшим германским способам. Тренированнейшие в мире немецкие мозги обсуждают положение, ищут формулы, способные охватить сегодняшний день,— формулы познания.

Я удивлен. Формулы познания — это хорошо, но где же формулы действия?

— Товарищ Берт Брехт, подымитесь с вашего низкого кресла на точных шарнирах коленных суставов. Перестаньте на секунду пить сгущенный ликер умозаключений. Почему эти люди здесь, а не в ячейках, не в гуле митингов безработных? Почему в здешнем дымословии и словодымии мне почудилось слово «штамтиш политик»?

В каждой пивнушке есть свои завсегдатаи. У этих завсегдатаев есть свой стол — «штамтиш». За этим столом они пьют пиво и разговаривают

---

[1] Кнайпе — пивная (Kneipe).

о политике. От пива наживают себе слоновью печень. От разговоров — полную отвычку от политического действия.

— Вы человек Советского Союза и прямого действия,— отвечает Брехт.— Вы не понимаете, до чего германскому интеллектуалу нужна познавательная формула. Над немцами любят смеяться за их преувеличенное уважение к приказу и говорят, что каждый параграф устава они готовы считать категорическим императивом Канта. Отсюда — анекдот о том, что никогда немцы не сделают революции, ибо для этого надо занять вокзалы, а как их занять, если нет перронных билетов? На немецкую голову неотразимое гипнотическое влияние имеет логическая формула. Важно правильно построить логическую цепь, и немец не шелохнется, подобно курице, которую приложили клювом к проведенной по столу меловой черте.

Старый лозунг о том, что Германия — страна мыслителей и поэтов — «денкер унд дихтер»,— давно заменен саркастической сентенцией о мыслителях и палачах — «денкер унд хенкер».

Но, пыхнув ядовитейшей черной сигарой, того фасона, который курил Карл Маркс, Брехт прыскает пальцами правой руки вверх и говорит:

— В формуле слово «денкер» я предлагаю переделать на «денкес». Германия — это страна «денкесов».

И поясняет:

— Денке — фамилия преступника, который убивал людей в целях утилизации трупов. Из жира убитых он делал мыло, из мяса — консервы, из костей — пуговицы, из кожи — кошельки.

Он поставил это дело на совершенно научную ногу и был крайне удивлен, когда его, поймав, присудили к смертной казни. Во-первых, ему было непонятно, почему это на фронте можно безнаказанно расходовать, и притом бессмысленно, без всякой дальнейшей утилизации, тысячи людей, а ему нельзя практично распорядиться каким-то десятком? А с другой стороны, почему так негодуют господа судьи, прокуроры и адвокаты? Ведь он пускал в переработку только людей второго сорта, так сказать, утиль, двуногий балласт. Он никогда не делал портфелей из генеральской кожи, мыла из сала фабрикантов или пуговиц из черепов журналистов.

— Я полагаю,— продолжает Брехт,— что лучшие люди Германии, судившие Денке, недостаточно учли в его поведении черты подлинно германского гения. А именно — методичность, добросовестность, хладнокровие и умение подвести под всякий свой акт прочную философскую базу. Не казнить его должны они были, а дать ему звание доктора философии «honoris causa».

И Брехт, возвращаясь к прерванному разговору, начинает плести тончайшую сеть контраргументов.

Но ведь он сам живой контраргумент. Коренной немец из Швабии, он в то же время сплошное поношение всего, что мы привыкли считать немецким. Какой же это сын краснощекой ширококостной Германии, когда слово «щупляк» кажется здоровяком в сравнении с комплекцией Брехта! Он кажется нотой, выдутой из очень узкого кларнета. Вместо пиджака на

нем жилетка, правда с рукавами. Его горбоносое лицо можно сравнить и с Вольтером и с Рамзесом.

Какой это берлинец, человек патентованных машин и никелем облитых автоматов, когда лифт, ведущий на шестой этаж к нему под крышу, обшарпан и так хлябает на своем стальном тросе, что страшно в него ступить. Он подымается, дергаясь, и в его замке надо долго ковыряться ключом, чтобы отпереть. Это лифт черного хода. Для грумов, для прислуги и вот — для писателя, снимающего комнату под чердаком.

Немец — ведь это человек, у которого в беде сначала кончается хлеб, потом продается посуда и лишь затем исчезает крахмальный воротничок. Я видел на улице безработных немцев, отдававших уличным гладильщикам выгладить свои галстуки. Какой же Брехт немец, если шею его обнимает мятая рубаха без галстука, если на премьеру, сияющую фраками и пластронами, он вваливается небритый и в черной рубахе?

На голове Брехта кепка. Но какая! Козырек ее погнут, край вздут дыбом, словно из брехтовского черепа дует сквозняк. На носу у него допотопные, каких никто не носит, перекошенные очки в тонкой железной оправе.

Но не подумайте, что он рассеянный неряха типа Канта, который, задумавшись, ступал одной ногой по тротуару, а другой — по канавке и решил, что захромал. Брехт — хороший шофер, он может собрать и разобрать машину. Шрам на его скуле — свидетельство об автомобильной катастрофе. Прочтите роман Фейхтвангера «Успех». Там есть инженер Прекль. Он написан с Брехта.

В родном своем городе Аугсбурге Брехт водит меня мимо громадного собора, обросшего квартирами попов и каноников. Из окон духовной семинарии монотонное жужжание теологической лекции. Брехт ищет на карнизах следы пуль и рассказывает:

— Я медик по образованию. Мальчишкой я был мобилизован на войну и оставлен при госпитале. Я бинтовал раны, мазал йодом, ставил клизмы, делал переливания крови. Если бы врач приказал мне: «Брехт, ампутируй ногу», я бы ответил: «Слушаюсь, ваше благородие»,— и отрезал ногу. Если бы мне сказали: «Брехт, трепанируй», я бы взломал череп и залез в мозги. Я видел, как наспех чинят человека, чтобы скорей отправить его снова в бой.

Вечером дома под аккомпанемент банджо (помесь бубна и балалайки) Брехт пронзительным клекотом поет на собственный мотив балладу о мертвом солдате, где рассказывается, как откопали солдата, как починили его, двинули в бой...— знаменитейшую из своих баллад:

Когда на пятый месяц боев
война продолжала бал,
солдат решение принял свое
и смертью героя пал.
Но гулы войны не утихли еще,
и кайзер решил, строг,
что это не входит в его расчет:
умер солдат не в срок.
Уже над могилой туман дымил,
солдата точил червь,

и ночью к нему явилась
комиссия военных врачей.
Комиссия та на кладбище пришла
в блеске острых лопат,
был вырыт и вынут на белый свет
убитый в бою солдат.
Обследовал врач с госпитальной сестрой
солдата со всех сторон
и в общем нашел, что солдат годен в строй,
что дезертировал он.
И взяли солдата с собой они.
Ночь была голубой.
И если б не шлемы, то были б видны
звезды над головой.
В истлевшую глотку влит спирт,
порохом плоть сожжена,
и сбоку подвешены две сестры
и полунагая жена.
А так как солдат изрядно вонял,
шел впереди поп,
который кадилом вокруг махал,
солдат не вонял чтоб.
Военный оркестр с чиндра-рара
запузыривал флотский марш.
И ноги солдат, как учили его,
от зада швырял наотмашь.
А впереди походкой прямой
в крестах санитары шли.
Чтоб рассыпалось это дерьмо,
они допустить не могли.
Они черно-бело-красный флаг
несли, чтоб на десять миль
никто из людей не мог разглядеть
за флагом эту гниль.
Господин во фраке шел впереди,
оркестр за ним не молк.
Как истый немецкий господин,
он помнил гражданский долг.
Тащилась процессия с чиндра-рара
среди потемневших путей,
и с нею тащился мертвый солдат,
как снежный пушок в метель.
Коты и собаки визжат вослед,
суслик в полях свистит.
И они французами быть не хотят,
это ж народный стыд.
Когда деревнями солдат проходил,
женщины шли со двора,
клонились деревья, месяц плыл,
и все орало: урра!
До скорой встречи! С чиндра-рара
и кот, и поп, и флаг.
И посредине мертвый солдат,
как пьяный орангутанг.
Когда деревнями солдат проходил,
никто разглядеть не смог,
так много было вокруг него
с чиндра-рара и «Hoch!».
За тучей штандартов, орлов и кокард
черты его не видны.

И только сверху был виден солдат,
а сверху — звезды одни.
Но звезды не вечно над головой,
рассвет подымается ал,
и снова солдат, как учили его,
смертью героя пал.

(Перевод С. Кирсанова)

Брехт не написал эту балладу, он устно сложил ее. Она с его голоса пошла по стране. Яростной ненавистью ответили на балладу «чисто немецкие господа».

— Я был членом аугсбургского ревкома,— продолжал Брехт.— Рядом в Мюнхене Левинэ поднял знамя советской власти. Аугсбург работал отраженным багрецом Мюнхена. Госпиталь был единственной воинской частью Аугсбурга. Он и послал меня в ревком. Помню еще там Георга Брема и поляка-большевика Ольшевского. У нас не было ни одного красногвардейца. Мы не успели издать ни одного декрета, национализировать ни одного банка, закрыть ни одной церкви. Через два дня войска генерала Эппа-усмирителя, идя на Мюнхен, задели нас своим крылом. Один из членов ревкома прятался у меня на квартире, пока не удалось ему бежать.

В дни гитлеровского путча Брехт значился на пятом месте в фашистском черном списке намеченных к уничтожению. Это за балладу о мертвом солдате. Уцелел только потому, что гитлеровский путч потерпел крах.

Потом Бавария отплыла в прошлое. Начался Берлин — баллады, пьесы, дискуссии, схватки. Один против всех ярился одинокий интеллектуал-циник, видящий мерзость, брезгливо колющий ее пером, своим единственным оружием.

Был период увлечения культом волосатой мужественности, грубой силы, Брехт писал про мужчин, обросших мускулами, громадных, громких, бесцеремонных, пропахших потом, берущих не спрашиваясь, насилующих...

— Но в то же время,— вспоминает знакомец, живший рядом с ним,— нельзя было Брехта вытащить на утреннюю зарядку. Он придумывал себе любые недомогания, лишь бы не делать физкультурных упражнений.

Слово было в раздельном жительстве с поведением.

В Мюнхене началась драматургия — основа творчества Брехта.

Он написал «Барабан в ночи». В этой вещи были отзвуки революции. Барабаны восстания настойчиво требовали, вызывали человека, ушедшего домой.

Но человеку милее были дом, покой, баба. Человек уже набрался наглости, чтоб отмахнуться от зова барабанов и поудобнее привалиться к бабе.

Эта вещь была язвительной балладой об отходящих от революции. Она была горькой усмешкой над теми, кого домашний уют держит в теплых лапах.

Не забудем — Капп выступил в сочельник[1], рассчитав, что в этот вечер к семейным рождественским елкам разбредутся из отрядов очень многие красногвардейцы.

Брехт-драматург был одновременно Брехтом-режиссером. Все свои вещи он ставил сам. Настойчивый, стремительный, упрямый, он тренировал целое поколение актеров. Карола Нейэр, игравшая в «Опере нищих»; Хелене Вайгель, исполнявшая женские роли в «Манн ист манн», в «Матери» и «Высшей мере»; Эрнст Буш — это только некоторые из воспитанных Брехтом работников театра.

Репетируя, Брехт добивался не только четкости речи, но и полного соответствия речи и жеста, чтоб слово лишь заключало и просветляло жест.

«Жест был раньше слова»,— говорит Брехт и строит актерскую игру на системе больших, отчетливых (не замельченных, не двусмысленных), выразительных движений. И если слово работает вразрез с жестом, он его отбрасывает, находя новое.

Язык Лютера, по мнению Брехта, очень выразителен своей сильной сращенностью с жестом. А еще можно поучиться у Бюхнера и на ранних драмах Гёте.

Под пьесами Брехта обычно несколько подписей. Это — след особой манеры его работы над пьесами. Он их не пишет, а складывает, разыгрывая перед небольшой группой сотрудников.

Аудитория делает замечания, опротестовывает одни выражения, предлагает иные. Иногда кто-нибудь из сотрудников предлагает свой вариант. Он встает и разыгрывает его. Идут споры и по форме и по смыслу сочиняемого. Иногда, начиная сцену, Брехт делает только жест, а вместо слов произносит интонационную мелодию, которая лишь постепенно прорастает словами. Зато уж слова эти словно кованые и сидят они в тексте, вклепанные крепко.

А уже когда пьеса показана, начинается новая стадия. Надо отгрызаться от буржуазной аудитории и критики и внимательно слушать замечания аудитории пролетарской.

Несколько сот писем и записок было получено Брехтом от рабочих после постановки «Высшей меры», и до двадцати исправлений было по ним внесено в пьесу.

А раз был даже казус. Наборщики в Вене отказались набирать эпизод, казавшийся им неправильным, и пришлось посылать человека, чтоб дотолковаться.

Так от противопоставленности аудитории как враждебному целому шел драматург к союзничеству с той частью зрителей, для которых он был другом, соратником, учителем и учеником.

Я сам наблюдал в 1931 году, как, продержавшись только шесть спектаклей, была поспешно снята его пьеса «Манн ист манн» со сцены Шаушпильхауза — театра, по весу и традициям примерно аналогичного

---

[1] Неточность: капповский путч — неудавшийся контрреволюционный переворот, организованный в Берлине монархистом Вольфгангом Каппом,— происходил не в сочельник, а в марте 1920 года.

нашему Малому. В его солидном репертуаре пьеса Брехта была затесавшимся подозрительным субъектом с неясными намерениями. Спектакль произвел на меня величайшее после мейерхольдовского «Рогоносца» впечатление.

По сцене ходили, придерживаясь за проволочку, чтобы не свалиться с запрятанных в брюки ходуль, великаны-солдаты, обвешанные оружием, в кителях, измазанных известкой, кровью и экскрементами. По пьесе, это солдаты английского отряда в Индии, машины для убийства и мародеры, готовящиеся к походу. И между этими громадинами, закованными не только в корку мундира, но и логику буржуазных законов, уставов и параграфов, плутает мягкий ласковый обыватель Гейли Гай (человек, который не умеет говорить «нет»). Фабула такова.

Во время грабежа исчез один из компании солдат. Надо найти когонибудь на его место — иначе кара. Солдаты уговаривают пойти с ними на перекличку Гейли Гая, купив его за пиво и сигары. Но солдатам он нужен не на раз, а навсегда. Значит, надо втянуть его в такое преступление, чтобы он отказался от самого себя и остался с ними. Они уговаривают его продать полкового слона. Происходит фантастическая сделка: двое солдат, накрывшись столовой клеенкой и подвесив спереди хобот противогаза, изображают слона. Как только сделка состоялась, Гейли Гая берут под стражу и заявляют ему:

— Человек по имени Гейли Гай совершил тройное преступление. Во-первых, он продал слона, не принадлежащего ему. Во-вторых, он продал ненастоящего слона. В-третьих, этот слон полковой. Налицо мошенничество и государственная измена. Ты говоришь, что ты не Гейли Гай, но кто же ты, скрывающий свое имя человек, обнаруженный в лагере? Значит, ты шпион? Это карается расстрелом.

Выход обратно к имени Гейли Гая отрезан. Остался безымянный человек. Но в таком случае альтернатива: или он шпион, и тогда его надо расстрелять, или это солдат, тогда ему надо в вагон, потому что рожок уже трубит сбор. Гейли Гай дает ответ, солдаты обступают его кольцом. Последняя секунда спектакля — и из расступившейся толпы на авансцену выбегает с ножом в зубах, обвешанный гранатами, в мундире, воняющем окопной грязью, вчерашний робкий и благонамеренный обыватель, сегодняшняя машина для убийства. Человек перемонтирован. Робкий и безвольный, он был положен на транспортер законов капиталистической логики, втянут в машину, перемолот и превращен в жестокое прямолинейное, немногословное и послушное звенышко той истребительной машины, которая называется капиталистической армией. Вчерашний интеллигент, не умеющий сказать «нет», превращен в фашиста, за которого другие говорят и «нет» и «да», требуя от него только беззаветного вопля «хайль».

Но берлинский интеллигентный буржуа ходит на спектакли не для того, чтобы беспокоить себя. Я наблюдал одного: он смотрел на сцену и приговаривал в лад происходящему так:

— Вот-вот, правильно... Ну, это ты зря... Тут ты голову сломаешь.

Зритель хочет быть над сценическим действием или, по крайней мере, наравне с ним. Он не допускает, чтобы на сцене происходили явления

подозрительные, нерасшифрованные, быть может, оскорбительные для его солидности. Вот почему на спектакле Брехта женщины топотали каблуками. Негодующие адвокаты выбегали из зрительного зала, швыряя на ходу скомканной афишей в актеров. Рыдающая женщина вырвала у мужа в раздевалке пальто и ушла одеваться одна в дальний угол. Он был виноват в том, что смотрел спектакль без негодования.

Осип Брик тонко подметил, что произведения Брехта чаще всего суть судебные процессы. Это верно. Брехт-драматург — это старый сутяга, умелый и изворотливый казуист.

Он незаменим там, где вступает в тяжбу с буржуазной логикой, при условии, что тяжба будет происходить на точных основах буржуазного судопроизводства. Там он непобедим. Так называемую «красоту», так называемую «правду», «справедливость», «честность», «прогресс» и прочие хорошие слова прекраснодушных либералов он загонит в угол, в тупик, ткнет носом в мерзость строя, их вырастившего, снимет штаны с самых почтенных понятий, и им не останется ничего, как выть, отбрыкиваться, брызгать слюной на Брехта, заставившего их увидеть себя во всей их хищной и глупой мерзости.

Мы ходили с Брехтом по кладбищу в баварской деревушке.

Вдоль главной кладбищенской аллеи лежали мертвецы первого сорта. Кресты из толстого мрамора, коротколапые, над фамильными могилами были солиднее банковских подъездов. Списки имен были вышлифованы на граните, эмалевые медальоны портретов вделаны в камень. Слова «аптекарь», «учитель», «мельник», «эконом» стояли перед фамилиями. Экономами здесь называют себя зажиточные крестьяне, по-нашему — кулаки. Это все абсолютно порядочные покойники.

Второй ряд — кресты чуть пожиже. «Экономы» — поэкономнее. Местоположение второсортное. Здесь лежать стоит уже не сто марок, как в первом классе, а только шестьдесят,— на десять лет.

Третий класс загнан в угол кладбища. Кресты исхудалые и сквозные, из полосового железа. В профиль такой крест вообще не виден. Надписи на крестах лаконичные, почти телеграфные. Люди просто вписаны здесь в исходящий журнал. Под этим крестовым худосочием лежат обитатели местного «шпиталя». Шпиталь — род богадельни, где из «социальной вежливости» дают догорать «отработанному пару» населения. Между прочим, тут доживает большинство военноувечных, выброшенных из мастерских и вытолкнутых с улиц агрессией более молодых и сильных рук, набираемых предпринимателями.

Из могилы вылез человек и вытащил лопату. Он предложил зайти в часовню взглянуть на труп шпитальной старушонки, такой худой, какой, по его словам, на этом кладбище еще не бывало. Он говорил об этом трупе с неподдельным энтузиазмом, обиделся, когда мы отказались пойти, но успокоился, показав нам четвертый сорт своих жильцов, ту полосу вдоль кладбищенской стены, где лежат покойники непорядочные, а именно — самоубийцы. Особенно он досадовал на одну из этих могил. Под ней лежали кинооператор из Мюнхена и девушка, дочь благопристойного

эконома деревни. Пара застрелилась на верхушке ближней горы. Гору эту видно через гребень стены.

Из этих могил каждая, несомненно, в свое время потрясала воображение тихого захолустья, где поколение за поколением привыкло вращаться по устойчивому циферблату раз и навсегда заведенных порядков. Историю и смену бытовых напластований деревенька ощущала не столько в ежедневном дрожании кривой мировых экономических, политических и прочих индексов, сколько в резких ударах местных деревенских катастроф.

Могильщик остановил нас перед свежей могилой, затянутой лентами венков. Над могилой стоял крест. Сюда два дня назад лег крестьянский парнишка, поступивший в городе на металлозавод учеником. Компания, в которую он попал, хотела жить так, как живут господа. Так же одеваться, так же кушать, так же веселиться. У парня не хватило денег, он запутался, и пять дней тому назад его нашли с пробитым черепом. Официальная метрика говорила: «Убит отскочившей во время работы гайкой». Могильщик пояснил: «Пуля». И добавил:

— Родители очень не хотели, чтоб их сын лежал в компании самоубийц. Они упросили священника пойти на эту маленькую ложь.

Брехт уже сияет. Жестикулируя веерообразными движениями трех пальцев, уже он сочиняет план пьесы о том, как юноша, по ложному документу якобы честно умершего, а в действительности самоубийцы, проникает в царствие небесное и ставит в затруднение судию небесного, которому надо или дискредитировать своего сфальшививщего агента, то есть священника, или же промолчать.

— Я не хочу в пьесах патетических интонаций,— говорит Брехт,— они должны быть убедительны и напряженны. Как в прениях сторон. Самое важное — научить зрителя принимать решение. Это развивает ум. Расстраиваться и сопереживать и дурак умеет. Да добро бы только дурак. Вы посмотрите, слезами какой чистоты и солености умеют плакать растрогавшиеся мошенники.

И он учит принимать решение, делая место зрителя судейским креслом.

Пьеса «Высшая мера» («Die Massaname»), первая на коммунистическую тему в драматургии Брехта, построена как суд, где действующие лица отчитываются и оправдываются в совершенном ими вынужденном убийстве товарища, а контрольная инстанция (хор), представляющая одновременно и зрительскую массу, резюмирует происходящее и формулирует решение.

Приехав в Москву в 1932 году, Брехт излагал мне свой замысел устроить в Берлине театр-паноптикум, где инсценировались бы только интереснейшие судебные процессы из истории человечества.

— Театр устроить надо как зал заседаний. Два процесса за вечер, по часу с четвертью каждый. Например, процесс Сократа. Суд над колдуньей. Суд над «Новой рейнской газетой» Карла Маркса. Суд над Георгом Гроссом по обвинению в кощунстве за его карикатуру «Христос в противогазе».

Брехт уже разошелся. Он уже фантазирует вплотную:

— Кончился, скажем, суд над Сократом. Мы устраиваем коротенький

суд над ведьмой, где заседателями сидят закованные в железо рыцари, приговаривающие ведьму к сожжению. Потом начнется суд над Гроссом, но рыцарей мы забудем убрать со сцены. Когда возмущенный прокурор обрушится на художника, который оскорбил нашего кроткого, милосердного бога, раздастся страшный лязг, словно бы зааплодировали два десятка пятиведерных самоваров. Это растроганные рыцари, хлопая железными рукавицами, приветствуют защитника беззащитного бога.

Мы покажем,— продолжает Брехт,— процесс о выселении безработного в Германии, и рядом с ним инсценируем ваш советский процесс, по которому работница закрепляет за собой жилплощадь в квартире наперекор претензиям владельцев, хищных и оборотистых.

Мировая слава Брехта пришла к нему с пьесой «Опера нищих». Музыка этой оперы, острая и сентиментальная, принадлежит композитору Вайлю. Фабула этой пьесы взята из какой-то английской мелодрамы. Брехту принадлежит яд иронии, рассыпанной по пьесе. Бешеный успех «Оперы нищих», конечно, не в том, что ее писал Брехт, а в том, что Брехт оказался ловко замаскирован чадрою музыки Вайля.

В пьесе два плана — мнимый и действительный. Мнимый — это освещенный солнцем справедливости представитель власти ловит прячущегося крысьими норами жулика и убийцу. План действительный — диктаторская власть принадлежит этому самому жулику и убийце. Начальник полиции — его содержанец и помощник. Чем не пародия на чикагского Ал-Капоне?

Не знаю, что Брехту страшнее, чем «кич»? «Кич» по-немецки — это слащавая пошлятина в искусстве, сентиментальная ли, псевдо ли героическая, но специально приспособленная для того, чтобы под нее обыватель и трус гордо выпячивали грудь, а кристальную слезу ронял хищный жулик.

Впрочем, аплодисменты, полученные «Оперой нищих», вполне компенсируются свистом, визгом и негодованием, выпавшими на долю других пьес Брехта. Везде обыватель слишком быстро узнавал себя, стремительно обижался, и пьеса слетала со сцены.

Но драматургия Брехта, драматургия цинического парадокса, начинает развиваться в сторону педагогического театра, эпической драматургии, по мере его приближения к коммунистическому движению.

Брехт задумал писать пьесу на сюжет протекционистских трюков, которые устраивают аграрии, чтобы удержать на высоком уровне цены на хлеб. Но для этого надо было изучать экономику вопроса. Эта экономика привела Брехта к Марксу и Ленину, который отныне стал неотъемлемой принадлежностью его книжной полки.

Ленина Брехт изучает, цитирует, читает, скандирует как тончайшего мастера мысли и стиля.

Свою новую драматургию Брехт развивает из двух положений.

Положение первое: театр должен быть эпичен. Эпический театр должен повествовать о событиях, заставляя в них разбираться, в противовес традиционному, как его называет Брехт, аристотелевскому театру,

который погружает зрителя в цепь переживаний, который действует преимущественно на его эмоцию методом художественного внушения. Театр, по Брехту, должен действовать на разум зрителя. Столкновение суждений, борьбу силлогизмов, раскрытие в человеческом сознании того, что в мире ложно и глупо, Брехт предпочитает раскрытию в человеческом чувстве того, что в мире отвратительно и плохо.

1. Аристотелевский театр	2. Эпический театр
Действие	Повествование
Погружает зрителя в сценическое действие и расходует его активность.	Делает зрителя наблюдателем, но будит его активность.
Растрагивает.	Требует решений.
Переживание.	Мировоззрение.
Внушение.	Аргумент.
Зритель сопереживает.	Зритель изучает.
Человек задан как известное.	Человек — предмет исследования.
Заинтересованность исходом действия.	Заинтересованность ходом действия.
Предыдущая сцена обусловливает последующую.	Каждая сцена независима.
Органическое вырастание.	Монтаж.
Чувство.	Разум.

Традиционный театр не любит рассуждений на сцене. Мы привыкли к тому, что со сцены убеждает не столько правота логических аргументов героя, сколько симпатичность его облика и эмоциональная насыщенность его поведения.

Борьба страстей, а не борьба суждений определяет лицо традиционного театра, предоставляющего борьбе суждений развертываться на академически-научных диспутах, в доказательствах теорем, в прениях сторон.

Нащупывая линии разграничения этих двух театров, Брехт в свое время опубликовал схему, показывающую, где находится центр тяжести каждого из этих театров.

Там, где традиционная драматургия охотно показывает борьбу классовых инстинктов, где обычным актом перехода состояний является, скажем, переход голодной озлобленности в рев восстания, разбивающего витрину булыжником,— там Брехт требует показа борьбы социального сознания, социальных убеждений. Он говорит: положение должно быть не только почувствовано, но и разъяснено, выкристаллизовано в идею, которая переворачивает мир.

Впрочем, сказав: «которая переворачивает мир», я уже вторгаюсь в область второго тезиса, делающего его драматургию не только эпической, но и дидактической.

Дело в том, что создание рационалистического театра в том плане эпической драматургии, как мы сейчас изложили, превращая сцену в

трибуну логических дискуссий, легко приводит к созданию софистического театра. Игра логических аргументов может в той же мере стать предметом самодовлеющего созерцания, как и игра эмоциональных вспышек.

Дискуссия для дискуссии так же социально отупляюща и реакционна, как и переживание для переживания.

Однако этого не случается с драматургией Брехта, ибо в нее вторгаются начала, парализующие логистическую сушь и игру абстракций.

Полнокровный лиризм, темперамент художника-материалиста пробиваются теплым румянцем сквозь выверенные чертежи и схемы.

Даже начинает казаться — не является ли вся дидактика своеобразной маской?

Эпоха приучила поэта стыдиться сантимента, и он скрывает свою эмоцию.

А ведь диапазон Брехта-художника чрезвычайно разнообразен и велик.

У него есть много баллад, песен, хоров на тему о революционной беспощадности.

Но какими разными интонациями окрашивается эта тема!

Прислушайтесь к ритму и строке такой отточенной прокурорской речи, какой является стихотворение «Отличный человек».

Тебя нельзя купить, но ведь и молнию,
Ударившую в дом, тоже
Нельзя купить.
Что ты сказал, то нерушимо.
Но что сказал ты?
Ты честен, ты мнение выложишь прямо.
Но какое мнение?
Ты храбр.
Против кого?
Ты мудр.
Для кого?
Пользу свою ты не блюдешь.
Так чью же?
И ты настоящий друг...
Настоящих людей? Да?
. . . .
Так слушай: мы знаем —
Ты враг нам. Поэтому мы тебя
Поставим к стене, но в воздаянье заслуг твоих
И качеств отличных
Поставим к отличной стене и тебя расстреляем отличной
Пулей из ружей отличных и тебя погребем
Отличной лопатой в самой отличной земле.

И сравните эти прозрачные, но холодные строки с громадной нежностью, которая окрашивает «Колыбельную песнь пролетарки»:

У меня ты рос в утробе,
Я дралась за каждый лишний грош.
Знала я, когда родишься,
В неприютный свет войдешь.
Я мечтала: постараюсь,

Чтоб ему никто не спутал след,
Он родится, он ужо устроит,
Чтобы стал хорошим свет.
Вот я вижу горы угля
За густой оградой. Ничего.
Он родится, он ужо устроит,
Чтоб тот уголь грел его.
Вижу хлеб я на витрине,
Не для нас витрина.
Не беда.
Он родится, он ужо устроит,
Чтоб его тот хлеб питал.
Я рвача в авто узнала
И шепчу, в грядущее трубя:
— Он родится и рукой хозяйской
Из машины высадит тебя.
Ты в утробе разминаешь ноги.
Будет шаг твой строг через года.
Но не дай спихнуть себя с дороги
Никому и никогда.

Если в пьесе «Высшая мера» еще много от судоговорения, от парадокса, то, быть может, первой по-настоящему эпической пьесой Брехта является «Мать» (по роману Горького).

Постановка эта имела, во-первых, то политическое значение, что отмечала в предгитлеровской Германии юбилей Горького. Больше того: она не просто приспособляла горьковский роман для сцены — нет, судьба горьковской «Матери» давала лишь первоначальный толчок новому произведению, перешагивавшему исторические рамки романа и адресованному ко всем матерям-пролетаркам сегодняшней Германии.

«Мать» Брехта — это, на первый взгляд, пьеса о революционном росте тверской работницы Пелагеи Власовой.

Но это не так. Несправедливей всего было бы рассматривать ее как историческую пьесу о русской пролетарке. При таком толковании перед нами нагромоздится несуразица на несуразицу.

Что это за русский учитель в эпоху 1905 года, который проводит вечера за кружкой пива, исходя в политических спорах с приятелями на тему о том, что наука и техника бессильны улучшить человеческую жизнь и что суть лишь в нравственной переделке каждого? Что это за учитель, принимающий вечерами ножные ванны и шпенглерианским голосом говорящий о закате цивилизации?

Что это за тверские пролетарки, толкующие в лавчонке о том, что есть меньшее зло? Откуда в русской действительности сельскохозяйственные рабочие, бастующие и побивающие камнями штрейкбрехеров, привезенных из города?

Откуда домовладелицы, выселяющие квартирантов из своего дома и снабжающие их библиями для утешения?

Откуда, наконец, очереди женщин во время войны перед конторами для патриотической сдачи медной посуды?

Все это, конечно, не Россия. Но зато это чистокровная Германия. Переделайте русские названия в пьесе на немецкие, и вы получите повесть

о сегодняшней немецкой революционерке-профессионалке, проделывающей свою кротовью работу по просветлению сознания миллионов германских Власовых, еще не осознавших своей действительности.

Эта пьеса — целый семинар пропагандистской методики и тактики революционной борьбы. Как расставлять людей в борьбе? Как просветлять темных, лобовыми ли атаками или сложными заходами с тыла? Как обманывать врагов? Как использовать опыт чужой культуры? Как быть дисциплинированным...

Понравится ли образоборцу Брехту или нет, но я должен отметить большую выразительность сценических образов в этой пьесе — учитель, домовладелица, лавочница, полицейские. Здесь плохо друг от друга отличимы рабочие, но это общая беда всех вещей Брехта, который, видимо, вплотную пролетарской среды не знает (это ему сигнал, что он ее должен узнать).

Исключением является Власова. Эта профессиональная революционерка из работниц, каких сейчас много в германских коммунистических ячейках, имеет свой облик, почерк, голос, походку. Ее не спутаешь.

Так брехтовскую алгебру в этой пьесе уже затягивает живою тканью конкретной обстановки. И это сразу делает вещь действенной и ощутимой.

Пьеса Брехта «Иоанна чикагских скотобоен» — это пародия на шиллеровскую «Орлеанскую деву», применительно к сегодняшним взаимоотношениям биржевых кондоров и тихих горлиц из филантропических учреждений типа Армии спасения. В этой вещи есть фраза: «Пачкун в родном гнезде». Так биржевики называют своего же биржевика, хитрой спекуляцией раздевшего их догола.

Таким «пачкуном в родном гнезде» был Брехт по отношению к буржуазии до тех пор, пока решительный поворот в сторону коммунистического движения не поставил его драматургию лицом к лицу с совершенно новой аудиторией — аудиторией пролетариата.

Дворяне «Мертвых душ» могли негодовать на Ноздрева и даже бить его, но все-таки он был дворянин и свой.

За прежние пьесы Брехта тоже бивали, но негодование аудитории было переложенным на визг грустным утверждением — «В семье не без урода».

Начиная с «Высшей меры» газеты насторожились. Когда на театральной сцене появилась «Мать», вой прессы примолк, и вместо голоса рецензента зазвучал голос полицейского чиновника. Через тридцать спектаклей «Мать» была запрещена. Разрешили только читку ее со сцены. Актеры встали в ряд, начали читать.

— Хальт! — раздался полицейский окрик.— Это не читка, это спектакль. Ведь ваш актер повернулся лицом к другому актеру, произнося свою реплику.

Чтецы сели на стулья и продолжали.

— Хальт! — раздался тот же голос.— Вы сделали жест рукой. Значит, это не читка, а спектакль. Объявляю читку прекращенной.

«Иоанна чикагских скотобоен» была поставлена в Дармштадте. Через полчаса после начала спектакля свистки и крики фашистов перешли

в палочные удары, и погром в зрительном зале поставил спектаклю точку.

Комната Брехта — живая диаграмма его литературной биографии. Висит на стене запыленное банджо, под которое уже так редко исполняет друзьям Брехт свои баллады. Рядом с патефоном — пластинки из «Оперы нищих», напетые самим Брехтом. На огромном листе фанеры рассосавшейся по дереву краской набросок, нарочито черновой, нарочито неразборчивый, того художника, который оформлял постановку «Манн ист манн».

Там вместо декораций стояли гигантские портреты действующих лиц.

Гипсовая голова Брехта словно отломана от мумии Рамзеса. И такая же голова торчит из китайского халата, из столбиков китайских иероглифов, шуточного шаржа, сделанного в виде вертикальной длинной китайской картинки дантяо.

Брехт в виде Конфуция. Конфуцианство его интересует как наука о поведении. Но на полке лежат томики науки о действии — Ленин.

Логист и абстракт находит пути к действительности, пути к Брехту — диалектику и оперативнику. Мало цинически издеваться над действительностью, ее надо изменять. Искусство кажется Брехту слишком статично и пассивно в своем прежнем облике. Но он ищет оживления искусства не в том, чтобы сделать конкретным и специфическим материал, из которого произведение искусства лепится, он хочет сделать конкретным действие произведения искусства на людей.

Брехт утверждает: искусство — крыло педагогики, оно должно поучать. Если люди приучены капиталистическим строем шарахаться от поучения и считать себя оскорбленными дидактическим тоном, это лишь потому, что их школа — это место издевательства над людскими мозгами. Настоящее же учение — это вещь желанная, и человек поучаемый, делаемый умнее и сильнее, может только радоваться. Пример? Отношение к учению в Советском Союзе.

Воюя с аристотелевской драматургией, Брехт хочет «умного театра». Он хочет, чтобы борющиеся мнения были не менее интересны, чем борющиеся страсти.

Суть не в том, чтобы по-аристотелевски отпустить зрителя очищенным в бане катарсиса, а в том, чтобы отпустить его измененным, вернее, чтобы посеять в нем зерно тех изменений, которые должны быть реализованы за пределами спектакля.

Нужен не спектакль-кольцо, замкнутый на себя и сбалансировавший всех героев и злодеев, со всеми расплатившийся, но, наоборот, спектакль-спираль: кольцо, которое перекосилось, восходя в иные горизонты, нужен зритель, выводимый из равновесия.

В «Иоанне» умирающая героиня говорит:

Заботьтесь не о том,
Чтобы в час смерти
Вы сами были лучше.
Заботьтесь о том,
Чтобы в час смерти
Вы покидали улучшенный мир.

Что сильно в Брехте? Его неугасимое отвращение к ханже, жулику, святоше, солидному трусу, себялюбцу, как бы это себялюбие ни выражалось — в жадном ли приобретательстве или в гуманистической «жертвенности».

Вот как он говорит о трусе, боящемся ответственности, боящемся своей биографии, для которого высший ужас — «оставить следы».

Отстань от товарищей на вокзале,
Застегнув пиджак, беги ранехонько в город.
Сними квартиру и, когда постучит товарищ,
Не открывай, о, не открывай дверей.
Наоборот.
Не оставляй следов.
Встретив родителей в городе Гамбурге или еще где,
Мимо пройди, как чужой, за угол заверни, не узнав.
На глаза натяни шляпу, подаренную ими.
Не показывай, о, не показывай лица.
Наоборот.
Не оставляй следов.
Есть мясо? — ешь его, впрок не запасайся.
В любой дом заходи, если дождь, на любой стул, который найдется, садись.
Но не засиживайся и не забудь шляпу.
Я тебе говорю —
Не оставляй следов.
Дважды не повторяй того, что сказал.
Если найдешь свою мысль у другого, отрекись от нее.
Подписи кто не давал, кто не оставил портрета,
Кто очевидцем не был, кто не сказал ни слова,
Как того поймать?
Не оставляй следов.
Если решишь умирать, позаботься,
Памятника чтоб не было,— он выдаст, где ты лежишь.
Надписи тоже не надо (она на тебя укажет).
И года смерти не нужно — он тебя подведет.
Напоминаю —
Не оставляй следов.

Тончайший мастер лапидарного афоризма, он грубо обращается с вышколенным и выхоленным стихом символистов. Он строит фразу в библейской торжественности и пересекает ее грубейшим шлепком. Он заставляет биржевиков говорить шекспировскими пятистопными ямбами, но самые ямбы эти ходят у него как пьяные.

Фрунтовая вымеренность традиционной строфы и изыск рифмы сменяются у него прозой, подымаемой на высоту стиха, и рифмой, такой простой, что она кажется голой.

С высот интеллектуальной эквилибристики, тропою ленинских статей хромым шагом пришел Брехт к коммунизму. Туда, где живые люди бьются за свое живое дело. Свои тренированные в спорах и силлогизмах мозги логиста отдал он на конкретную работу. Он пишет с композитором Эйслером песни для пролетарской эстрады, для демонстраций, для массовых хоров. Он пишет балладу о § 218, он пишет «Колыбельные матерей-пролетарок», «Песню о солидарности»...

Человек, капающий пеплом в прокуренной комнате, где из головных

реторт цедились отстоянные суждения, давно уже подошел к окну, открыл его и услыхал, как свистят полицейские палки, как лавочники напяливают коричневые рубахи, как шелестят ротаторы подпольных коммунистических газет.

Он вышел на улицу, чтоб говорить не только язвительные парадоксы, которые под силу лишь утонченной аудитории интеллектуалов. Он говорит простые слова и простую громадную правду, которая тяжелой поступью ходит по земле в рядах веддингских, нейкельнских, эссенских, гамбургских пролетариев, и они отвечают грозным смехом своим и аплодисментами ладоней, знающих трудную работу, словам пьес Брехта.

Брехт пишет про штурмовика, попавшего в фашистский отряд из очереди безработных.

Подкованная мелодией Эйслера, песня Брехта идет за плечом пролетария, не знающего, что коричневый цвет его рубахи — это заскорузлая кровь его же братьев по классу.

Вот эта песня:

Урчит пустое брюхо,
Сплю с голодухи я,
Вдруг слышу крик над ухом:
«Проснись, Германия!»
Гляжу. Идут. Их много.
«В третье царство!» — зовет орда.
Увязался я с ними вместе.
Иду — все равно куда.
Шагаю, а рядом шагает
Толстенный такой живот.
Я ору: «Работы и хлеба!»
То же самое он орет.
Я был от голода тощим,
Был благоупитан он.
Я хотел, чтобы стало по-новому.
Он хотел добрых старых времен,
Мне охота шагнуть налево,
Направо клонит его.
И воли моей сильнее
Пузатого колдовство.
Он — в сапогах высоких,
А я ковыляю бос.
Но мы шагаем рядом
Сквозь дождь и сквозь мороз.
Я голоден и бледен,
Но не думаю ни о чем
И шпарю в «третье царство»
Совместно с брюхачом.
Далось ему «третье царство»!
Ну прямо вынь да подай!
Он шлет меня в атаку,
Он говорит: «Стреляй!»
Он револьвер дает мне:
«Сади врагу заряд...»
И целюсь я и вижу:
Там
    Мой
        Брат.

Да это же мой братишка,
И голод у нас один,
И враг у нас у обоих —
Упитанный господин.
«Прости! — кричу я брату.—
Я дурень, мне это урок...»
И я повернул оружье
И взвел на господ курок.
Мы с братом пойдем плечо к плечу,
Взведя на врага курок.

Старый мюнхенский ненавистник Брехта Адольф Гитлер берет власть. Брехт в эмиграции. Он отвечает пьесой «Длинноголовые и круглоголовые», где рассказано, как некий диктатор обезвреживал надвигающуюся социальную революцию тем, что поделил население на два расовых типа и натравливал одних на других.

Действие этой пьесы происходит будто бы в Перу, но для всякого ясно, что это Перу омывается не Тихим океаном, а Северным морем, и граничит не с Чили, а с Францией и Польшей. Брехт в эмиграции еще тесней срабатывается с Эйслером. Песни: «О Димитрове», «О Сааре», «О концентрационном лагере», «О маляре Гитлере»; марши: «Против войны», «Все или ничего», «Единый фронт» — это публицистические работы Брехта послегитлеровских лет.

Стих становится проще, яснее, ударнее. Перо поэта атакует врага с неугасающей страстью.

А рядом нарастает тема утверждения.

Она звучала уже в хорах и «хвалах» «Высшей меры». Но там утверждались абстрактные формулы — некие кристаллы мысли. Но чем дальше, тем сильнее прорывается в алгебру Брехта та арифметика действительности живой, теплой, противоречивой, датированной, именованной, которой не хватало прежнему Брехту, строившему свои концепции в пределах условных Перу, Китаев, Англий, Россий и вне конкретных исторических эпох.

Дважды приезжал Брехт в Советский Союз и здесь жадно искал в эпизодах нашей стройки таких, которые содержали бы в себе откристаллизованную мысль, оставаясь в то же время материальными, конкретными кусками нашей изумительной социалистической действительности.

Математик Леверье, вычислив на бумаге местонахождение Нептуна, даже не поинтересовался взглянуть в телескоп на открытую им планету.

Брехт тоже вычисляет формулами эпического театра законы роста нового человека. Но ему этого мало. Не в пример Леверье, он хочет осязать этого растущего человека и нити, идущие к нему сквозь эпоху от гениев, предсказавших и организовавших Октябрь.

Не будь этой тяги у Брехта от схемы к пульсирующей жизни, немыслимы были бы ни пролетарки-матери с их колыбельными песнями, ни ковровщики Куян-Булака, почтившие бессмертное имя Ленина.

I

Многократно и многообразно чтят
Память товарища Ленина. Бюсты ставят и статуи,
Города называют его именем и детей,
На всех языках произносят речи.
Собранья бывают и демонстрации
От Шанхая до Чикаго в честь Ленина.
Но вот как почтили его
Ткачи ковров в Куян-Булаке,
Бедном местечке на юге Туркестана.

II

Двадцать ткачей встают вечерами
Из-за станов убогих, дрожа в лихорадке.
Их ест малярия: ближайший полустанок
Полон зуденьем комаров. Их тучи
Летят от болота за старым верблюжьим кладбищем.

III

Но поезд, который раз в две недели
Воду привозит и дым, привозит
Однажды известие, что
День памяти товарища Ленина близок.
И постановляют куянбулакцы,
Ткачи ковров, люди простые,
Товарищу Ленину и в своей деревушке
Водрузить гипсовый бюст.

IV

Приходит день сбора денег на бюст,
И вот стоят они,
Сотрясаемые малярией, и пляшут их руки,
Внося добытый упорной работой грош.
А красноармеец Ахмед Гамалеев
Считает старательно, смотрит пристально.
Он видит готовность почтить Ленина и радуется,
Но также не может он глаз оторвать от дрожащих рук.

V

Неожиданно он вносит предложенье
На деньги для бюста купить нефти
И вылить на болото за верблюжьим кладбищем,
Откуда летят комары,
Порождающие лихорадку,
Чтобы тем самым убить малярию в Куян-Булаке
В память умершего,
Но никогда не забываемого
Товарища Ленина.

VI

Постановлено. В день торжества пронесли они
Свои помятые ведра, полные черною нефтью,
Идя гуськом один за другим,
И полили болото нефтью.

VII

Так себе помогли они, Ленина почтив,
И его почтили, помогши себе, а значит,
Поняли его заветы.

VIII

И так мы узнали, как люди из Куян-Булака
Почтили Ленина. Вечером же,
Когда купленная нефть вылита была на болото,
Встал человек на собранье и предложил
Прибить на полустанке доску,
Чтоб точная запись об этом событии
Излагала измененный план и замену
Ленинского бюста тонной нефти, убивающей малярию.
И что все это — в честь Ленина.
Они это сделали также
И водрузили доску.

— Вы создаете такие единственные в истории человечества вещи,— говорит Брехт,— что о них надо записывать на камнях, подобно тому как в древности высекали строки о победах или постройках городов.

Ваше метро выложено мраморными досками, но в них не врезаны слова, говорящие о том, каким воистину чудом в истории человечества была и эта стройка и принятие ее во владение пролетариями.

И он написал о потрясшем его дне, когда строители метро, явившись в него в качестве хозяев, принимали это произведение социалистического труда в собственность:

Когда метро было выстроено
И пришли хозяева взглянуть на него
И проехаться в нем, то оказалось, это —
Те, кто его построили.
Тысячи их стояли перронами,
Озирая станций гигантские залы. А поезда
Проезжали полные до отказа, и лица
Встречаясь со станциями, загорались, как будто в театре.
Поднимали детей на руках. На стоянках
Высыпали из поезда, строго и нежно
Проверяя работу свою. Облицовку
Трогали, пробуя лоск. По перрону
Шаркали, чтоб убедиться,
Хорошо ли укатан асфальт. Вливаясь в вагоны,
Щупали там обивку и трогали стекла.
Вспоминали, колеблясь, места, где работать пришлось; ведь камень
Нес след их руки. Их лица
Я видел отлично — было много света,
Много больше, чем в других подземках, виденных мною.
Свет заливал и тоннели. Ни пяди работы
Без освещенья. И все это
Было построено в срок руками стольких рабочих,
Как ни одно метро в мире. И ни одно
В мире метро не имело стольких хозяев.

Так чудесная стройка впервые узнала
То, что ее предшественники
Никогда ни в одном государстве
Увидеть не могли:
Хозяином стал рабочий.
Где возможно еще, чтобы плоды работы
Принадлежали тем, кто сделал работу? Где и когда
Не прогоняли со стройки тех, кто
Ее воздвиг?
Когда на моих глазах они мчались в вагонах,
Сделанных их руками, мне стало понятно:
Вот она, явь, которую сквозь времена
В пророческом трепете видели
Основоположники Коммунизма.

ШЕСТЬ КРАХОВ

Он стоит на земле крепко, как гвоздь, вогнанный в доску. И рост его средний, в полгвоздя.

— Товарищ Пискатор, у вас опять неприятность? Вы огорчены?

— Нет,— отрывает он.

Голова его закидывается, он разворачивает плечи еще шире, руками норовя в карманы, чтобы стать фертом, в позу коренастого задиры. Бывают такие среди мальчиков (не мальчишек, а именно мальчиков, барчуков, аккуратных, вышколенных) пассивные забияки. Они сами не нападают, нет. Они, сведя к переносице все мальчишеские морщины, мастерят какие-то сложные штуки — машины ли из щепок или крепости из песка. Но когда кто-то злой или безразличный хрустнет почти готовым сооружением, мальчик вскакивает, не забывая на прыжке аккуратно обхлопать прилипший к коленям песок, он сводит зубы, набычивает лоб и бросается молча на оскорбителя. Его сбивают с ног и раз, и два, и три. Уже разорван нежный воротничок, уже клюква поползла из ноздри, уже обидчик растерялся и не знает, как ему отделаться от обиженного, а пассивный забияка все наскакивает. Если враг уже бежал, но злоба еще не прошла, забияка идет к железине и со всего маху ударяет по ней кулаком, чтобы набить себе кровоподтек и гнев переключить в боль.

Такому забияке обычно лет семь, ну восемь.

Тому, который стоит передо мной, впятеро больше лет. Он бежал сквозь годы, и взмылились виски его назад отхлынувших волос.

— Н-на,— говорит он,— я проделал шесть банкротств. Какое право я имею говорить о неприятностях?

Он смеется дробно, отчетливо, во все зубы.

Смех его сродни глазам, а они не веселеют. Смех дробен и отчетлив. Это пневматический молоток, это работа рассчитанной чеканки. А глаза — это два холодных выстрела.

Слушаешь пневматический смех под холодными глазами и вспоминаешь, что ему сказал однажды, рассердясь, актер Гранах, самородок и умница:

— Пискатор, ты понимаешь в дереве, в металле, в стекле, может быть даже в крысах, но не в человеке.

Я не знаю, что ответил Гранаху Пискатор, ему, вероятно, было неприятно. Людям всегда неприятно, когда им говорят, что они не понимают в людях. Я думаю, что Пискатор отсыпал Гранаху семьдесят три штуки дробин своего смеха, взглянул неулыбающимися глазами и переспросил:

— Не понимаю в людях? А если эти люди — крысы? Тоже не понимаю? А если эти люди — металл?..

Не знаю только, каким из двух своих голосов сказал Пискатор

это. Звонким ли, спертым на диафрагму клекотом полемиста, добивающего с трибуны сбитых оппонентов, или тусклым комнатным голосом мальчика, дравшегося за поломанную машину. Такой голос бывает после того, как он изругался и, может быть, даже тайком (оглянувшись раза четыре, чтобы никто не видал) всплакнул, выжимая свои сердитые глаза, как нянька выжимает вымоченные штаны питомца.

А вот руки у Пискатора ласковые. Кто его знает, может быть, Гранах и прав. Руки — это как раз то, чем Пискатор обрабатывает металл, и дерево, и ткани. Людей он обрабатывает голосом и приказом глаз.

Зрители в постановках Пискатора припоминают то подъемный кран, то застекленную галерею, то невиданные экраны, то движущиеся тротуары. Вспоминают увешанные плакатами ярусы театра и гигантские фотографии газетных вырезок, но редко вспоминают актеров.

Пожалуй, только Палленберг — Швейк может соревноваться в памяти очевидцев с подъемными кранами, стеклом и никелем пискаторовских постановок.

Мы знаем постановки пискаторовского стиля, но мы не знаем актера, про которого можно было бы сказать: играет в манере Пискатора.

Это не значит, что Пискатор не понимает в актерах. Вернее другое. Он понимает актеров, умеет их выбирать и работать с ними, но в подчиненной диктатуре режиссера системе машин, движений, объемов, кадров и речений актер есть самый неверный элемент.

На актера нельзя так положиться, как на луч прожектора или никелевую штангу. Его нельзя доработать до того класса точности, как металл. В актере всегда таится возможность отсебятины.

Может быть, я неправ. Но так выходит, когда подочтешь сообщения очевидцев и соработников и из полученного извлечешь квадратный корень.

Пискатор работал с Юнгом, Витфогелем, Толлером, Лео Ланиа, Брехтом, Хартфильдом. Но ни одного из них не назовем мы пискаторовцем. И хотя, начиная новую работу, Пискатор обращается в первую очередь к ним, ему с ними надо всякий раз договариваться сначала.

Это странно. Ведь работать и заражать работой Пискатор умеет, как никто, и люди вспоминают с восхищением о днях совместной с ним работы.

Тут вина не в характере Пискатора.

В самой атмосфере капиталистического общества лежит это разобщение. Творческим людям не дает срастись необходимость действовать рейдами. Они сходятся от случая к случаю, а весь строй силится переломить их тягу к срастанию и сделать их друг другу волками.

Звонкий голос так же неожидан в маленьком Пискаторе, как неожидан на километры хватающий крик маленького корнет-а-пистона. Отец этого голоса — театральный учитель Грауман. Первый юношеский выход Пискатора на сцену был в пьесе Клейста, в старой исторической вещи о победе германцев над римлянами в Тевтобургском лесу.

Вся роль его была строк на двадцать. Играл он древнего германца, охраняющего лагерь. Его плечи были еще более развернуты навешенной

сзади шкурой, на голове рогатый шлем, борода до пояса, копье в голой руке отставлено героически вбок. Впереди него стоял другой статист, древний старец в длинном плаще. Сценариус подал знак. Пискатор набрал нужную порцию воздуха, чтобы начать во весь театр свою реплику: «Да-а-а, гас-падин...», сделал шаг... Следующего сделать не удалось: старик, на плащ которого он наступил, дернул его, и древний германец вылетел рогами вперед на сцену. Над ним возник двухметровый вождь Герман и прорычал:

— Ты лагерь будешь охранять.

На что Пискатор, потеряв и воздух и диафрагму, еле удерживая копье и равновесие, пробормотал самым комнатным, больше того, конфиденциальным голосом:

— Да-да,— затем поперхнулся, и этими двумя словами ограничилась вся реплика.

Потом пришла война. Улицами маршировали ошалевшие солдаты с цветами, воткнутыми в дула винтовок, а тех, кто не снимал шляп, избивали как шпионов. Пискатор встретил войну строками юношеских, невнятных, но уже ненавидящих стихов:

Война. Кто сказал — война?
Спугнутая с гнезда наседка внимания
Считает разорванные глаза
И страхом перехваченные глотки...
Война?
Молите, требуйте: война — войне!

А затем Эрвин зашагал вместе с другими новобранцами.

«Воротник мундира,— вспоминает он в своей книге «Политический театр»,— отставал от шеи на 10 сантиметров, зад штанов свисал до колен, один сапог был 42-го, другой —39-го номера».

Такова была оболочка, не приспособленная к человеку. Но и человек был не более приспособлен к жизни. Актер. Какая беспомощная, ненужная профессия — тут, где нужны ноги для всамделишного бега, горло для крика, пальцы для хватки, глаз для стрельбы. На сцене актер только имитировал, не зная ничего всерьез.

— Дело было под огнем первых гранат,— вспоминает Пискатор.— Цепи велено окопаться. Но в то время как другим это удается, у меня ничего не выходит. Унтер подползает, ругаясь:

«Скорее, черт возьми!»

«Не могу зарыться».

Выругался крепко.

«А вы кем были в штатском виде?»

«Актером».

И Пискатор, произнося под огнем это слово, испытал презрение к своей лицедейской профессии и жгучий стыд за нее.

Впрочем, дни шли. Шея врастала в воротник, ноги — в сапоги, грудная клетка — в мундир, сам — в ипрские траншеи, а в сознание врастала смутная еще тогда идея о том, что настоящее искусство способно делать настоящее дело и не стыдиться себя ни при каких обстоятельствах.

Фотопортреты Пискатора-солдата пригодились лет через десять, когда фашисты стали травить режиссера, утверждая, что он еврей, ибо не может же истый немец быть коммунистом. «Пискатор,— писали они,— это еврей Самуил Фишер, который взял себе средневеково звучащий псевдоним («Пискатор» — по-латыни значит рыбак). А раз еврей — значит трус и тыловик». Тогда в ответ были опубликованы документы, из которых явствовало, что предок Пискатора, страсбургский профессор теологии Иоганнес Пискатор, издал в 1600 году свой перевод библии, противопоставляя его лютеровскому, а кроме того, написал двести различных трудов против папизма. А Эрвин Пискатор — это его праправнук и (на огорчение родовитым протестантским семьям) коммунист со дня основания партии. Комплект же фотографий из фландрских траншей разрушил легенду о трусливом тыловике.

Сквозь вой войны было трудно протиснуть голос. Только журнал Пфемпферта «Акцион» собирал отдельные голоса поэтов, имеющих особое мнение по поводу войны. Здесь оказались и стихи Пискатора. «Акцион» был школой, научившей Пискатора презирать «обязательное военное воодушевление».

17-й год. Пискатор из окопов переходит в руководители фронтового театра и сходится с активистами журнала «Neue Jugend», основанного тогда еще поэтом Виландом Герцфельде. Тут были Джон Хартфильд, Георг Гросс, поэт-экспрессионист и будущий руководитель пролетарской литературы Германии Иоханнес Бехер и другие. Впрочем, Пискатор был с ними недолго.

Война смутно ощущалась как идиотизм уже давно. Но осознавалась она как идиотизм, как мировая подлость и провокация — медленно. Политически этот процесс кристаллизовался под пером эмигранта Ленина в спорах Циммервальда и Кинталя, в камерах, где сидели Карл и Роза, в рабочей демонстрации 1916 года в Берлине.

По линии искусства эта кристаллизация была стихийна и окольна. Правда, отдельные, более других протестующие, остро чувствующие единицы сбивались даже в группы. Но линии искусства и политики еще не скрестились. Пока еще политика в искусстве выражалась нечленораздельным мычанием, анархическими выкриками. Так среди недовольных отстаивалось крайнее радикально-нигилистическое крыло дадаистов.

Экспрессионисты верили в извечно человеческое начало, нарушенное войной. Они войну опротестовали. Они были демократами, гуманистами, пацифистами. Они говорили вслед Леонгарду Франку: «Дер менш ист гут» (человек добр). А дадаисты, идя ночными улицами Берлина, издевались над этой формулой в лад шагу:

Ха-ха-ха!
Дер менш ист гут.

Самое страшное для дадаиста было оказаться сентиментальным и доверчивым. Будь циником, скептиком, нигилистом,— говорил дадаизм. Но в глубине души дадаисты верили в разум и эмоциональную формулу «человек добр» заменяли (не говоря этого вслух) интеллектуальной формулой «человек разумен».

Политический итог войны еще не был подведен. Еще не дрогнув стояли войска, но уже стало ясно: войны не выиграть. Так под смутно просачивающийся аккомпанемент российской революции начали подводить психологические итоги войне.

Еще в траншеях стреляет Ремарк, который впоследствии сформулирует от имени самых молодых: «Нас изуродовали, да будет проклята судьба!»

Еще на фронте и ефрейтор из художников Адольф Гитлер. От имени младшего офицерства он бормочет: «Да будет проклят враг! Сбивайся в племенную кучу. Остри германские клыки, а то уничтожат!»

А в «Neue Jugend» сыновья актеров, художников, пасторов, лавочников, прокуроров, учителей, чертой войны отрезавшие себя от предвоенного дня, обращают взрыв злобы против хозяев, против собственных своих отцов: «Награбили, накомандовали, будьте вы прокляты!»

И это «вы» начинает обрастать очертаниями: то оно полковник «цукало», то тыловой шибер, наживающийся на крови, то фабрикант, способный продавать снаряды и своим и врагам, то парламентский пройдоха, то мещанин, мекекающий по-бараньи: «Германия, Германия превыше всего!» То академик, священнодействующий своей черепной коробкой, в которой сушеная шелуха позавчерашних идей.

Но приходит день, и перекрещиваются пути искусства и политики.

Ноябрь 1918 года.

Закипают котлы солдатских митингов. Начинают самовольную эвакуацию на родину, не выпуская из рук оружия. Командование пытается спустить на тормозах лавину назревшей ярости масс. Офицерство хочет вести революцию так, как оно вело войну. Офицеры, согласно инструкции штаба, становятся под красные флаги солдатских демонстраций, лишь бы не дать разгореться такому пожару, какой уже пылает на Востоке. Пискатор вспоминает митинг на фронте в эти дни:

...Солдаты молчали, офицер за офицером всходили на трибуну.

— Вместе с солдатом германский офицер спасает родину. Нет среди нас подчиненных и командиров,— говорили офицеры,— есть только германцы. Порядок прежде всего. Только в этом спасение.

Пискатора крючило от ярости, но он был в штатском и не умел говорить. Всю внутреннюю фальшь этих подтянутых, ловких на язык людей, этих вчерашних управляющих имениями, шефов магазинов, командиров пивных стоек, погонщиков рабочей силы в цехах он видел изнутри с тою же отчетливостью, с какою видит изнутри Гросс буржуазию в своих карикатурах.

За офицерами на трибуну взошел фронтовой пастор. Жестокий приказчик «бога-небовладельца», тренированный гимнаст в мундире и аксельбантах. Его ненавидели солдаты за чрезвычайную субординацию, он гонял их на гауптвахту за недостаточно четко отданную честь.

— Любите друг друга,— говорил пастор,— братья во Христе.

Это для Пискатора было слишком. Штатский человек взорвался и полез на перила трибуны.

— Довольно! Эта свинья, сажавшая вас за неотданную честь в

карцер, смеет здесь говорить о любви и братстве? Эй, пастор, вы что, краснеть разучились?

Железное молчание солдат лопнуло. Они заорали:

— Долой офицеров! Давай Советы!

И двинулись отбирать оружие у дивизионного генерала. Пискатор стал членом совета. Они заседали всю ночь. Власть была в их руках. Эта власть издала только один закон: всем расходиться по домам, и перестала существовать, разойдясь.

Пискатор оказался в Берлине.

Берлин был расплавлен. На углах толпились солдаты, матросы проходили при оружии. Все разговаривало. Иногда толпежка переходила в шествие, тогда люди заливали улицы до краев. Иногда разговор переходил в крик. На одном конце толпы кричали:

— Да здравствует Эберт, Шейдеман, Носке!

А с другого отвечали:

— Долой Шейдемана, Эберта, Носке! Да здравствует Либкнехт, Люксембург!

Партией Розы и Карла был союз «Спартак». Пискатор стал спартаковцем.

Вышла «Роте Фане», но партийная связь была очень слаба. Либкнехт выныривал вдруг, случайно, неожиданно. Он метался по всему Берлину. Раз — Пискатор был свидетелем — толпа остановила дрожки, на которых он ехал, и с дрожек он сказал речь громадной силы и страсти. А потом и Либкнехт и Люксембург пропали. Вынесло их уже тихими, запакованными в гробы. Гроб Либкнехта открыть не позволили. Его лицо было расстреляно.

Это был беспощадный обвинительный акт против социал-демократов.

Напряжение ноябрьских дней пошло на убыль. Снова внимание участников «Neue Jugend» переключилось на искусство.

Продолжали бесноваться дадаисты, эпатируя мещан своими выходками и изданием журнала «Каждый сам себе футбол».

Маленький тщедушный Хартфильд белел от злобы и выдвигал нижнюю челюсть, хватая раскормленных буржуа или астенических лейтенантов за горло с высоты трибун.

Некий академик, знаменитый только выслугой лет, собирался праздновать свой юбилей. Дадаисты предложили академику воздержаться от празднования. Предостережение осталось безрезультатным. И вот в момент, когда академик в сюртуке возвысился на кафедре, дабы изречь юбилейные слова, раскрылась дверь залы, и в медленном марше трое дадаистов, одетых во все черное, прошли через зал и положили к подножию кафедры громадные погребальные венки, на лентах которых были иронические сентенции по адресу юбиляра. Юбилей был сорван.

Политические вспышки шатали землю под ногами буржуа. Деньги обращались в пыль. Деньги уходили из-под днища обывательского хозяйства, как вода в отлив.

Забредший в Берлин американец со ста долларами в кармане мог покупать пачками дома, сады, поля, людей. По улицам ползали обгрызен-

ные войною калеки, корректно выпрашивая милостыню у жиреющих шиберов, спекулянтов, наживающихся на инфляции.

Георг Гросс рисовал свои страшные, трупных расцветок акварели и силуэты. «Лицо господствующего класса».

Его искусство вырастало в грозный обвинительный акт против капиталистического общества. Его ненависть была органической. Волею своего мастерства он заставлял эту стихийную злобу течь черными ручьями карандашных линий, но иногда плотины взрывались, и тогда пьяный мясистый Гросс швырял в танцующую толпу берлинских кабаков стаканами и бутылками, а когда танцоры бросались его атаковать, обрушивал им на головы столы, умея, впрочем, даже в этот момент подглядеть, каким бывает лицо собственника, у которого украли его похотливый танец.

Но в журнале «Пляйте» («Банкротство»), который издавали и заполняли Гросс вместе с Хартфильдом, безмотивный анархизм дадаистского искусства уже сменялся политической дисциплинированностью. Партизанщине дадаизма приходил конец.

Худшие отпадали, становясь чем угодно, вплоть до биржевых спекулянтов, как Юнг. Лучшие и по-настоящему добивающиеся победы становились коммунистами-партийцами, людьми директивы и долгой систематической выдержки.

Были и третьи. Это не совсем партизаны: у них достаточно дисциплины регулярных партийных бойцов. И в то же время это люди, которым время от времени позволялось проделывать глубокие рейды в тыл противника, рейды, которые порой затягивались так и принимали столь рискованные формы, что кой-кто в родном стане начинал напевать панихиду или укоризненно качать головой, произносить слова о зарвавшихся.

Не из этой ли категории Эрвин Пискатор? Всю свою жизнь он пытался строить пролетарский театр среди буржуазной действительности, не в силах опереть эту громоздкую машину на рабочие пфенниги и вынужденный за свой собственный страх вступать в рискованные контакты с буржуазными предпринимателями. Для них его театральная продукция была лишь сенсацией, которую можно продать подороже, а для него их деньги и театры — способом с совершенно чуждой трибуны через головы посетителей бархатных партеров крикнуть своему классу нужное слово.

Игрок в азартнейшую игру «кто кого» с предпринимателями, он вышел из этих соревнований материально проигравшимся, но морально победителем.

Вглядитесь «глазом особого назначения». Почему Пискатор так напряженно развернуто держит плечи? На них груз полумиллиона марок разновременных долгов, которыми кончились театральные крушения, долгов, приводивших его и в долговую тюрьму.

Это пассив.

Но за полтора десятилетия работы (отбросим в сторону сенсации успехов и провалов, липучку анекдотов и склок), изо дня в день строя политический театр, театр прямого действия, состоящий на службе у социальной революции, Пискатор стал синонимом театрального движе-

ния в Германии. Пискатор там в той же мере воплощение революции на театре, как у нас Мейерхольд. Прямо или косвенно, но на нем скрещивалось все, что было значительного в революции германского театра за последние пятнадцать лет.

Это актив.

Я не видел Пискатора в великолепии его восхождения. Я только слыхал о нем.

В 1923 году в Москве у Мейерхольда, и в Пролеткульте с Эйзенштейном, и в Театре Революции в разгар театрального Октября мы конструировали с увлечением театральные спектакли, которые бы газета и телеграфная новость пронизывали, расцвечивая каждый день окраской новой злободневности. Мы мечтали о политической буффонаде, прощупывали мечтаемый театр-выставку бытовых форм и производственно-технических приемов, делали наметки первых мелодрам.

В эти дни Маяковский привез из Берлина вместе с потрясающими альбомами Гросса рассказы о пискаторовских постановках, где вместо декораций — газетные столбцы, где кино вмешивается в поведение зрителей, а зрительские выкрики и жесты переплетаются воедино со сценой. И нам чуялось, что этот театр перекликается и с эксцентрикой «Мистерии-буфф», и с реальными вещами, вторгшимися на сцену «Земли дыбом», и с вмешательством зрителей в действие на сцене, когда на первом представлении «Слышишь, Москва?!» в сцене разгрома фашистов статисты, не выдержав предписанных мизансцен, бросились штурмовать дощатые практикабли, а люди из зрительного зала бегали вдоль рампы и взволнованно кричали актерам, игравшим коммунистов: «Дяденька, дяденька! Не упусти графа! Вон он, сукин сын, за столб полез!» А в эту же минуту в одной из лож шла борьба между краскомом, уже было прицелившимся в фашиста из нагана, и его соседями, вовремя перехватившими направленную руку.

Проходят годы. Имя Пискатора то затухает, то вновь всплывает. Кривая его деятельности бьется неравномерным пульсом. Вот донеслось из-за рубежа о какой-то «Буре над Готландом», где в действие введен Ленин. Вот слух: архитектор Гроппиус строит Пискатору невиданный театр яйцеобразной формы. «Солдат Швейк» в оформлении Гросса крикнул со страниц журналов. Потом потянуло смутными слухами о банкротствах Пискатора.

Непонятны были разговоры о театре, содержимом крупным биржевиком. Но если биржевик, то почему революционный репертуар? Непонятно отрывочное сообщение о том, как пролетарии запели «Интернационал» в театре Пискатора. Но если рабочие, то при чем тут драка шиберов за места на премьерах?

Так накапливалось от случая к случаю. Пискатор шел многоступенной лестницей своей театральной работы, по-кукушечьи подбрасывая в чужие гнезда яростных кукушат своих постановок.

Первый театр Пискатора был в Кенигсберге в 1919 году. Он назывался «Трибунал». Грозный отзвук Октябрьской революции реял над этим именем. Там шла «Соната призраков» Стриндберга. Последний спектакль (шла пьеса «Центавр») Пискатор играл перед одним-единствен-

ным зрителем. Театр работал в безвоздушном пространстве и задохся.

Следующий его театр был в Берлине в 1919—1920 годах. Он назывался «Пролетарский театр». В репертуаре были «Принц Гаген» Синклера, «Враги» Горького, «Человек-масса» Толлера, «Зори» Верхарна, а также новинки из советской Венгрии.

То был период своеобразной пролеткультовщины и особенно острой ненависти к слову «искусство», к термину «профессиональный актер». Старые пьесы не удовлетворяли. Они были слишком далеки от злободневья и от газеты.

Так родилось кустарно сделанное самим театральным коллективом обозрение «День России».

Пролетарский театр был бродячим театром. Вооруженный простейшими декорациями, он переходил из одного наемного зала в другой, он зарывался в самую гущу рабочих кварталов, снимая в ресторанах и пивнушках пропахшие пивной мочой помещения, где на стенах трепетали флажки и вымпелы вчерашней вечеринки какого-нибудь ферейна. В таких зальцах благоупитанные социал-демократы разрешают себе веселиться, вздев на головы бумажные колпаки с изображениями ягод или грибков и надписями вроде: «Прыг, прыг, моя душка!» Они пьют пиво и поют песни по песеннику, озаглавленному: «Боевые и рейнские песни».

В этих сборниках сначала идут «Интернационал», «Марсельеза» и «Смело, товарищи, в ногу», а затем начинается Рейн и десятки песен на тему о том, почему на Рейне девицы такие красивые, а парни такие крепкие, как вино? Словом, немецкое «По рюмочке, по рюмочке, тирлим-бом-бом, тирлим-бом-бом...»

Они пьют и методически обсуждают газетные новости, внутренне гордясь тем, как ловко жулят и трюкуют их политические стряпчие, все эти Шейдеманы, Бретшейды и Вельсы, на бирже, именуемой парламентом.

Они пьют, а в это время те, кто помоложе, схвативши дам за поясницы, энергично толкают их животами, руководимые в этом движении джазом.

В эти-то помещения приходил «Пролетарский театр», вешал вместо декораций географическую карту, и сами очертания государств, этих притиснутых друг к другу хищных амеб, переключали зрителя с пивных кружек на драму, развертывающуюся над миром.

Эти спектакли не только возбуждали, они и учили. Здесь были проблески педагогического, сознательно пропагандистского театра, без чего немыслимо пролетарское зрелище.

Обходясь без буржуазных зданий, без сложной машины буржуазных сцен, чураясь буржуазного зрителя, в пролетарском театре подумывали о том, нельзя ли обойтись без буржуазных актеров, одной только пролетарской самодеятельностью. Однако против этой мысли Пискатор восстал с особой энергией. Здесь начиналась вульгаризация, отказ от мастерства. Как ни была упрощена материальная часть пролетарского театра, ему, чтобы жить, надо было опираться на постоянную организацию зрителей-пролетариев, подобно тому как на десятки тысяч организованных зрителей опирается театральное предприятие социал-демократов «Ди фольксбюне» («Народная сцена»).

Такую организацию развернуть могла только партия.

Но в партии не было еще ясной точки зрения на пролетарский театр.

В «Роте Фане» появились две статьи о театре. В первой писалось: «Они наслаждаются искусством? Тогда лучше употребить более подходящий термин — «пропаганда». Слово «театр» обязывает вас к художественному творчеству... Искусство слишком большая святыня, чтобы давать свое имя орудию пропаганды. Что сегодня (1920) нужно рабочему? Мощное искусство, пусть даже буржуазного происхождения».

Но вот другая заметка в той же «Роте Фане» через несколько дней: «Не в пролетарском театре возникает новое искусство, а в фабкомах, в профсоюзах, в уличных боях».

Позже оба критика оказались вне партии, как уклонисты.

Пролетарский театр просуществовал недолго, но он показал, что театр может быть пропагандистом, что «в театре могут так переплестись действительность и игра, что сотрется грань между театром и митингом, принимающим всерьез решения, обязательные для его участников».

Так писала «Роте Фане» в апреле 1921 года.

Устойчивой зрительской организации театр под собой не имел. Полиция шла за ним по пятам, подкарауливая из-за каждого политического и финансового угла. Наконец загрызла. Театру было запрещено играть. Пискатор сделал попытку играть нелегально, но это только прибавило долгов к уже существующим.

Два года затишья. В 1923 году, в самый разгар инфляции, Пискатор подбил некоего Рефиша, прекраснодушного драматурга, совместно приобрести «Центральный театр». Надо было заплатить три миллиона. По нынешним ценам это около десяти тысяч рублей золотом. При заключении договора заплатили миллион, остальное обязались отдать через три месяца. Когда подошел срок платежа, собрали в подвалах театра старые трубы от центрального отопления и снесли за угол в лавку. За трубы получили два миллиона, которыми и расплатились.

«Центральный театр» был у Пискатора шагом назад, к Толстому, Роллану, Гоголю («Ревизор»), словом, возврат к «о менш-драматургии». «О менш!» («О человек!») — излюбленное восклицание гуманистов. Идеалистическая гуманитарная драматургия утверждала, что человек есть мера всех вещей. Драматургия скандинавов, Толстого, экспрессионистов была именно той драматургией «внутреннего человека», которой сторонники пролетарского театра противопоставляли драматургию коллектива, вернее — человека в коллективе.

Если высшей проблемой средневековья было отношение человека к богу, проблемой романтиков — человек и стихия, то основная проблема социалистической драматургии — человек и общество.

Впрочем, даже столь солидный репертуар не удовлетворил денежных хозяев предприятия, в числе которых оказались знаменитые театральные спекулянты братья Ротесы, история похищения которых в 1932 году национал-социалистами с нейтральной территории княжества Лихтенштейн была в свое время темой газетных сенсаций.

Заведующим литературной частью у Ротесов был Канель, знакомый с Пискатором еще по пфемпфертовской группе, «левый коммунист»,

интеллигентоед, представлявший собою разительнейший пример приспособленческого техницизма. В его сознании литературная работа была отделена от общественной непроницаемой перегородкой. Он инсценировал для Ротесов бульварную погань, а затем, придя домой, сочинял патетические стихи, где слова «революция» и «пролетариат» писались с большой буквы. Он орал на Пискатора, называя его оппортунистом за постановки толлеровских вещей и «Швейка», но когда ему задавали вопрос о собственной его работе, он отвечал: «Я делаю литературные кирпичи. Театр — это фабрика. Можно ли обвинять рабочего, работающего на буржуазном пушечном заводе? Приказчик, даже коммунист, может продавать пушки, так и я продаю театральную стряпню, даже зная, что она фашистская».

Канель кончил прыжком из окна пятого этажа.

Ротесы предложили Пискатору стать хозяйским послушным режиссером. Он отказался. Его «отставили». Так кончился третий театр Пискатора.

«Р. Р. Р.» — значит «Ревю ротер руммель» («Обозрение — красная толкучка»). Так называлась первая агитпроптруппа, созданная по инициативе партии для обслуживания выборной кампании 1924 года. В обозрении участвовали: кино, акробатика, художники-моменталисты, речевики, статистические таблицы. Аудитория пела вместе, голосовала, свистела, становясь своеобразным действующим лицом. Три «Р» были зерном, из которого выросло (впоследствии переняв кое-что у нашей «Синей блузы») движение агитпроптрупп, влияние которых на рост германского коммунистического искусства огромно, но еще почти совсем не учтено.

Писатель Гасбарра был одним из первых текстовиков этого театра; Максим Валентин, актер пискаторовского театра, глава «Красных рупоров», стал действительным вдохновителем и организатором этого движения вместе с Артуром Пиком. Вангейнгейм, режиссер, особо крепко связавшийся с политическим самодеятельным театром, сумел даже после запрета агитпроптрупп на их осколках создать любительскую театральную артель («Группа 1931 года»), продержавшуюся с коммунистическим репертуаром («Мышеловка») вплоть до гитлеровского переворота.

В том же 1923 году была намечена по заданию партии документальная пьеса-монтаж, в которой хотели дать историю революции от мятежа Спартака в древнем Риме до Октября. Предполагалась историческая инсценировка, где актеры произносили бы подлинные тексты, а действие было бы переплетено подлинными кинохрониками. «Несмотря ни на что» — вот заглавие этого спектакля, который был задуман как массовое действо под открытым небом, с двумя тысячами участников на арене.

Реализована эта вещь была в значительно суженном виде в закрытом берлинском зале. Вот ее афиша:

1. Берлин в ожидании войны.

2. Заседание социал-демократической фракции рейхстага 25 июля 1914 года.

3. Во дворце Вильгельма 1 августа 1914 года.

4. Заседание с.-д. фракции рейхстага 2 августа.

(Все эти отрывки исполнялись актерами-добровольцами, загримиро-

ванными под Вильгельма, Бетман-Гольвега, Фалькенгейна, Эберта, Шейдемана, Давида, Ледебура, Либкнехта и т. д.

После третьего звена перебивкой шла кинохроника о мобилизации и первых шагах войны.)

5. Заседание рейхстага 2 декабря 1914 года. Вторичное голосование кредитов.

Снова Бетман, Эберт, Шейдеман, Носке, Либкнехт.

6. На одной из берлинских снарядных фабрик.

7. 1 мая 1916 года. Демонстрация протеста на Потсдаммерплатц, возглавленная Либкнехтом.

8. Речь Ландсберга в рейхстаге о лишении Либкнехта депутатской неприкосновенности.

9. 23 августа 1916 года. Либкнехт перед военным судом.

Тут же — военные кинохроники.

10. В воронке от снаряда. Немецкие солдаты, офицер и французский солдат.

11. 30 января 1918 года. Стачка рабочих снарядного завода.

12. Берлин накануне революции.

13. Девятое ноября. Головка социал-демократов во дворце рейхсканцлера.

Тут же фильм, демонстрирующий пролетариат и Либкнехта на берлинских улицах.

14. Временное правительство, комната Ландсберга.

15. Спартаковские демонстрации 6 декабря.

16. Либкнехт, Люксембург в редакции «Роте Фане».

17. Девятое января 1919 года, кабинет Эберта.

18. Вооруженные рабочие на Александерплатц.

19. Заседание в ревкоме 11 января. Либкнехт, Люксембург, Ледебур и независимцы.

20. Штурм полицейпрезидиума.

21. Последний вечер 15 января. Либкнехт, Люксембург и члены домовой охраны.

22. В тот же вечер в вестибюле отеля «Эден» белогвардейцы.

Егерь Фрунге и фон Флуг-Гартунг захватывают Карла и Розу.

23. Тиргартен, у пруда. Расправа с Либкнехтом. Заключение: пролетариат подымается. Либкнехт живой марширует в пролетарских колоннах.

Джон Хартфильд был художником этого спектакля, и газетная вырезка, увеличенная до исполинских размеров, обратилась в декорацию-плакат захватывающей силы.

Продолжение этой же линии документально-агитационного театра было в пьесе Пакэ «Знамена» о чикагской забастовке 1886 года.

И здесь газетная вырезка бросалась проекционным аппаратом на кулисы и экраны, диалектически подвигая чикагскую драму к нашим дням. Ленинские анализы осмысливали германское современье на опыте вчерашнего дня.

Формально этот спектакль был победой сухого материального бескрасочного интеллектуального стиля над цветными эмоциональными пе-

ренапряжениями экспрессионизма. Эта постановка отчетливо перекликалась с радикально-эстетическими тенденциями «новой вещности» («Neue Sachlichkeit») — с той самой утилитарной, влюбленной в материал и фактуру, ненавидящей украшательство тенденцией, которая порождала и гладкие стены плоскокрыших домов Корбюзье, и представление о доме как о машине для жилья, и мебель из гнутых стальных трубок, и квартиры, обставленные минимумом стеклянной и никелевой утвари,— квартиры, подобные операционным залам.

Этот стиль был естественным загибом буржуазных радикалов на новом этапе, выметавших из быта мусор мещанского интимизма, обывательское кустарное украшательство. Здесь шла борьба за вытеснение кустаря инженером. Ремесленничество побивалось точной продукцией индустрии.

Но сила «Знамен» не в этом. «Вещный» стиль постановки — лишь костюм эпохи, которая ее породила. Существо постановки — в характерном для Пискатора постоянном усилии показать действительность в ее диалектике, в ее исторической текучести, поисках эпоса наших дней.

Эпизод, порождающий драму, Пискатором дается включенным в историческую ткань. Наоборот, Пискатор показывает все нити, скрепляющие эпизод с действительностью. Вот почему в будущем, берясь за постановку «Заговора императрицы», Пискатор включает в эту пьесу еще девятнадцать сцен — исторических, документальных, расширяющих эпизод до объема эпопеи, которая развертывается не только во дворце и его окрестностях, но на каждой квартире, в каждой хате, в каждом окопе и на каждой фабрике.

Ставя «На дне» Горького, Пискатор снова берет пьесу не как случай, имевший место в провинциальном городке больше четверти века тому назад. Он переносит действие на дно громадного капиталистического города наших дней и стычку босяков во дворе с полицией превращает в сражение всего квартала с целым карательным отрядом.

Годы после 1924. Это — время глубоких рейдов Пискатора в тыл противника. Буржуазия расценивает его как острого и крайне занимательного режиссера. Ему удается проникнуть в такие крепости буржуазного театра, как «Штаатс Театр». Он ставит там «Разбойников» Шиллера, подтягивая их к сегодняшнему дню: в музыке спектакля нет-нет да прорвется джаз, а Шпигельберг своими роговыми очками столь смахивает на сегодняшнего радикального интеллигента. Пресловутый Карл Моор, благородный разбойник, пламенный поборник свободы, оказывается сегодня, в обстановке сурового наступления дисциплинированных классовых масс, треплом, партизаном, разложенцем.

Шиллеровские «Разбойники», взятые в режиссерскую обработку Пискатором, вдруг стали напоминать зрителю о неожиданных вещах — о партийности, о дисциплине.

«Штаатс Театр» оказался оскверненным, возмущенные ревнители его чистоты внесли в рейхстаг запрос о новой «Потемкиниане».

В «Разбойниках» же был впервые поставлен еще один капитальный для Пискатора вопрос — о типе революционера. Стихийный ли революционер анархического (бакунинского) типа, человек порыва и непосред-

ственного слепого чувства, или же революционер-марксист, человек разума, расчета, научного анализа, революционер ленинского типа (как его называет Пискатор).

В «Разбойниках» так противопоставлены «рассудочник» Шпигельберг «стихийному» Карлу Моору. Особенно заостряется эта проблема в постановке «Бури над Готландом».

Сюжет «Бури над Готландом» исторический. В начале XV века остров Готланд принадлежал общине полукупцов, полупиратов «ликедэйлеров». Это была своеобразная Запорожская Сечь, сидевшая на ганзейских путях и обеспечивавшая себе независимость, стравливая сильных врагов между собою.

Последним вождем ликедэйлеров был Штортебекер. Это про него говорит легенда, что, быв схвачен после проигранной битвы и приведен на эшафот под секиру, он попросил, чтоб не обезглавливали тех его товарищей, мимо которых он успеет пробежать обезглавленный. Согласие было дано. Палач снес ему голову, и брызжущий кровью человек, без головы, пробежал вдоль шеренги товарищей и упал за одиннадцатым, спасши таким образом этих одиннадцать человек от топора.

В «Буре над Готландом» развернул Пискатор соревнование двух типов революционеров, причем одного из них, Асмуса, он не только в поступках дал человеком ленинского типа, но и загримировал его похоже на Ленина.

В пьесе была ведущая пятерка людей с Асмусом — Лениным во главе. Кончается спектакль, начинается фильм — те же самые пятеро ликедэйлеров идут на зрителя бесконечно длинной дорогой (дорога эта — время). Они идут в моряцких армяках XV века.

Вдруг фильм делает скачок: они уже не в той одежде, а в новой, над их плечами косы, на теле куртки эпохи крестьянских восстаний XVII века. Новый скачок — и уже камзолы на них, и жабо, и лицо Асмуса — Ленина в парике эпохи Робеспьера. Они шагают на зрителей. Десятилетие за десятилетием уходят за их спины. Вот они — блузники баррикад 1848 года, а вот уже в группе их мелькает кепи национального гвардейца эпохи Парижской коммуны, и длинный Марксов сюртук на плечах Асмуса — Ленина, плоский, во все горло, галстук тех времен. Новый, последний сброс, и вот уже кронштадтские бушлаты на них и сегодняшние рабочие блузы, и между ними — прищуренный человек в бородке, скуластый, в знакомом зимнем пальто с воротником и шапке-ушанке.

Как в массовом действии «Несмотря ни на что» после сцены убийства Либкнехта — Либкнехт живой шагал на экране с рабочими массами, так и здесь, в «Буре над Готландом», после смерти Асмуса, дорогою времени, сквозь цепь революций, подымая массы от ступеньки к ступеньке, вплоть до окончательной Октябрьской победы, идет революционер-организатор ленинского типа, знаменуя собою неугасимость революционного процесса.

Для социал-демократов, руководителей «Фольксбюне», это было слишком. Они вычеркнули фильм — шествие сквозь время. Они предложили режиссеру оставаться в рамках исторического эпизода, благо достаточно отодвинутого от наших дней. Они подбивали автора пьесы к протесту за

якобы изуродованный текст. «Буря над Готландом» стала бурей над «Фольксбюне».

Молодежь «Фольксбюне» приняла сторону Пискатора. Она стала ядром коммунистической оппозиции внутри социал-демократического театра и впоследствии оформилась в самостоятельную организацию под названием «Юнге Фольксбюне» («Молодая народная сцена»).

Газета «Таг» писала о спектакле:

«Искусства тут нет и в помине. Политика сожрала все. Ничего не подозревающий зритель был попросту втянут в агитационный митинг, попадая в гущу ленинских торжеств. Советская звезда к концу спектакля ослепительным сверканием взошла над сценой».

Снова политический спектакль взорвал стены развлекательного театра, и снова режиссер (коммунист) очутился на улице.

Но ненадолго. Блеск постановок этого периода заинтересовал крупного предпринимателя, который предоставил Пискатору театр на Ноллендорфплатц, рассчитывая как следует заработать. Конечно, не на пролетарской публике. Она платила мало, да и далековато было для нее до столь центрального в Берлине места, как Ноллендорфплатц. Нет, делец собирался заработать на чисто буржуазной публике, для которой Пискатор и его манера, больше того, самые темы его произведений были не чем иным, как очередной модной сенсацией.

Так создался театр, где рядом с членом «Юнге Фольксбюне», парнем в поношенных ботинках с развернутым воротом рубахи, пришедшим на свое абонементное место за полторы марки, сидела разодетая в меха и бриллианты жена спекулянта, в драке вырвавшая у перекупщика билет на сенсационный спектакль по удесятеренной стоимости (платили временами до ста марок за кресло). Это был театр, где к концу спектакля приличная публика торопилась в гардеробы, ибо уже начинал греметь по залу «Интернационал», исполняемый зрителями-рабочими.

Словом, это был театр, внутренние противоречия которого с самого начала были даны столь обостренно, что рассчитывать на долгое его существование было немыслимо.

Пискатор это знал, но он шел в этот очередной рейд. Начал он толлеровской пьесой «Гоп-ля, мы живем!». Это была пьеса о современье, о наглом расцвете спекуляции, еще не чувствующей приближения кризиса, о загоняемом в подполье и в тюрьму рабочем движении. Это была пьеса жалостливая, хнычущая, интеллигентская. Над рыхлым языком ее пришлось побиться. Ошибкой было то, что героя пьесы, интеллигента Томаса, кончающего самоубийством, не вынеся эпохи малых дел и медленного движения революции, Пискатор превратил в пролетария. Но в конце спектакля Пискатор сумел заставить одиночный эпизод заговорить языком всей эпохи.

Томас вешается в тюрьме, и в этот момент начинается перестук заключенных сквозь стены камер. Этот перестук становится громче и настойчивей, это уже не одна тюрьма, это все тюрьмы капиталистического мира подают свой голос.

А на экранах дрожащими очертаниями вспыхивают буквы, соответ-

ствующие стуку, и складываются в слова вопросов, утверждений, ободрений, протестов.

Когда шел «Заговор императрицы» А. Толстого и Щеголева, сенсацией была документальность спектакля, он оскорблял слишком многих. Банкир Митька Рубинштейн, советчик, заимодавец и сводник николаевского двора, специально приехал из Парижа и стал ходить на спектакли, разглядывая себя, выведенного на сцене в непрезентабельном виде. Театр с интересом наблюдал постоянство этого неведомого посетителя первых рядов. Наконец он заявился в кабинет Пискатора.

— Послушайте, это черт знает что! Я — деловой человек, работаю на парижской бирже, а у вас здесь говорится, что я шпион?! Со мной порядочные дельцы работать откажутся, если узнают, что в вашем театре меня третируют как шпиона. Ну добро бы еще как спекулянта, а то шпион. Да знаете ли вы, что, когда еще при Николае французский посол Палеолог меня назвал шпионом, я ему сказал: «Палеолог, я тебе дам две пощечины, если ты осмелишься настаивать на этом».

— Значит, вас удовлетворит,— спросил Пискатор,— если вычеркнуть слово «шпион»?

Но это Митьку не удовлетворило. Через некоторое время пришло судебное предписание убрать Рубинштейна из спектакля. За неисполнение — высокий штраф. Тогда по сцене вместо Дмитрия Рубинштейна заходил Дмитрий Оренштейн. Но Пауль Вегенер, игравший Митьку, забывал, сбивался и вместо Оренштейн говорил Рубинштейн. Тогда Митька, не пропускавший ни одного спектакля, снова прибегал к Пискатору и жаловался. Потом он стал добиваться реабилитации по существу, грозя устроить скандальный процесс, позвав в свидетели против Пискатора Трепова, Гинденбурга, Анну Вырубову, начальника департамента полиции Белецкого, великого герцога Людвига Гессенского.

Пискатор не возражал. Театру от процесса была одна реклама.

Впрочем, этот процесс не состоялся. Но состоялся другой, где обиженным оказался Вильгельм II.

В пьесе была «сцена трех царей»; Николай II, Франц-Иосиф и Вильгельм возникали одновременно в разных точках сцены, молились о победе, отдавали приказы войскам и слагали с себя ответственность за возникновение войны. Все это было смонтировано из подлинных фраз. У Вильгельма была фраза: «Нет моей вины в этой войне, все это глупость и неповоротливость Австрии, которая нас связала по ногам и по рукам».

Вильгельм Гогенцоллерн начал процесс против театра.

Сенсация была исключительной. Газеты пестрели карикатурами по поводу поединка между богатейшим человеком Германии и режиссером-коммунистом из театра на Ноллендорфплатц. Результат не заставил себя ждать. Постановление суда гласило: «Ответчику под угрозой штрафа воспрещается в публичных представлениях выводить истца при постановке пьесы «Распутин» А. Толстого и Щеголева». Кроме того, Пискатору было предложено уплатить бывшему императору за бесчестие пять тысяч марок.

Вечером этого дня театр буквально ломился от публики. Все ждали, как отреагирует режиссер на судебный приговор.

Вот гигантское металлическое полушарие, занимающее собою сцену, раздвинулось, образуя три сектора вроде склепов. Приковылял Франц-Иосиф, возник Николай II. Нетерпение публики напряглось: «Дальше что?» Шаги... На сцену вышел, но не Вильгельм, а драматург театра Лео Лания. Он зачитал приговор. Публика хохотала. Он сказал: «Удивляюсь, почему Вильгельм Гогенцоллерн протестует против своих реплик, ведь это же не сочиненные драматургом реплики, а его подлинные, произнесенные в 1914 году». Затем Лания прочел речь Вильгельма.

Сенсация окончена. Шелковая публика, возможно, ждала более пикантного от матча Пискатора – Вильгельма. В конце концов ей не столь интересна была пьеса, сколь сенсация. Пьеса что? Не пора ли уходить? Уже близится последнее действие, где появляется Ленин, и тогда вскочат, оттаптывая дамам туфли и отодвигая фрачников локтями, люди с голыми шеями, чтобы приветствовать Ленина криками и плесками ладоней.

Действительной ценностью спектакля была его большая документальность. Мало того, что в пьесу было введено много новых эпизодов, передающих эпоху, эти эпизоды были скреплены фильмом. Во всю высоту сцены был пристроен экран, так называемый календарь, на котором возникали по ходу действия бегущие строки, подобные тем, которые загораются над площадями Свердлова или Советской в Москве. Пискатору надо было показать, что Николай II — это дегенерат в результате длительного исторического вырождения царской семьи. И на киноэкране возникала серия портретов его предков. Одновременно на «календаре» появлялись комментарии: «Убит... Скоропостижно умер... Покончил самоубийством...» Кино давало нарастание предпосылок революции — бедность, голод, угнетение, темнота, кровью заливаемые восстания. Так, вводя зрителя в историю революции, фильм подводил его к началу спектакля.

Фильм создавал нужные перерывы в действии, чтоб дать протечь времени.

Фильм комментировал, осмысливал происходящее на сцене, в какой-то мере замещая античный хор. Массы гибнут на Сомме, а кинореплика сообщает: «Потери — полмиллиона убитых, приобретено —300 квадратных километров». Или показаны трупы русских солдат и параллельно им кинорепликой — выдержка из письма Николая II жене: «Жизнь, которую я веду во главе армии, здорова и действует на меня укрепляюще».

Царица Александра Федоровна настойчиво вызывает дух Распутина, и вот на прозрачном газовом экране, протянутом между сценой и публикой, возникает в кинематографическом движении поход революционных полков на Царское Село.

Не только объяснение прошлого, но и проекцию будущего давал фильм, подобно маршу сквозь времена в «Буре над Готландом». Так в пьесу, разыгравшуюся в начале 1917 года, была введена киноинсценировка казни царя и его семьи в Екатеринбурге.

Третьей постановкой — вершиной достижений театра Пискатора — были «Похождения бравого солдата Швейка».

Это представление сделано тремя: режиссерским талантом Пискатора, карандашом Георга Гросса и актерским гением Палленберга.

Гросс сделал до трехсот рисунков к этой вещи. В этом цикле работ снова обостренно вспыхнула его ненависть к буржуазии, выразившись огромной галереей запоминающихся навсегда, друг на друга не похожих и из самой гущи сегодняшнего капиталистического мира выросших фигур. Коллекция чванных командиров, притупленных солдат, ловкачей-попов, где особенно запомнился поп, жонглирующий крестом на носу, и поп, изрыгающий изо рта град снарядов во время проповеди. Христос в противогазе, рычащий: «Заткни глотку и служи». (За этот рисунок впоследствии Гросс был привлечен к суду за богохульство.)

Фильм в «Швейке» был карикатурно-мультипликационный. Гигантские карикатуры и куклы-шаржи на сцене, заменяющие действующих лиц,— вот формальные особенности спектакля. Сначала был даже замысел, чтобы во всем спектакле оставить одного только живого человека, Швейка, в противовес миру застывшего уродства.

Так возник «спектакль-карикатура», резко отличный от прежних «спектаклей-документов», но лежащий в том же основном для режиссера-коммуниста публицистическом плане. Поиск театрального эпоса продолжался несколько в ином плане.

Движущиеся тротуары, заставлявшие все действие развертываться на непрерывном ходу, движении, беге, были технической новинкой на германской сцене. Впрочем, эти конвейеры так грохотали, что причиняли постановщику больше огорчений, грозя совершенно заглушить текст. Успеха «Швейк» не имел. Начался спад, ускоряемый тем, что Пискатор в это время завел еще второй театр. Фрачники с бриллиантовыми дамами отхлынули от театра. Опереть эту дорогостоящую машину на полторы марки посетителя-пролетария было немыслимо, тем более что росла безработица и кризисное предгрозье наползало на политический горизонт.

Приходилось торопиться с постановками, гнать их одну за другой. Но ведь лагерь, куда забрался режиссер, вражеский. Надо особенно зорко следить за каждым шагом, не дать компаньонам спихнуть себя на тропу политических ошибок, а эти ошибки так легко рождаются, особенно там, где режиссер готов увлечься сценическим образом и интересами, скажем, своей премьерши, являющейся одной из хозяек театра, а образ этот находится на пороге политических двусмысленностей. Так было с пьесой «Конъюнктура».

В день генеральной репетиции этой пьесы стало ясно, что фигура «агитаторши из Москвы» в некоем заграничном нефтеносном районе отдает желтизной, авантюрной бульварщиной и непозволительной трактовкой роли коммунистов на крупных капиталистических предприятиях. Пискатор откладывает постановку. Не спя ночей, заросшие бородами, чуть не плача, измученные руководы театра бьются над переделкой. Здесь им помог Б. Брехт. По его предложению, авантюрная агитаторша была

превращена в капиталистическую авантюристку, только прикидывающуюся, для придания себе веса, «рукой Москвы».

Так театр выворачивался из положения. Именно выворачивался, а не выходил. То были судороги режиссера, придавливаемого к ковру. Над театром висели подгоняющая нагайка кассы и ненависть отхлынувшей публики.

Еще несколько судорожных движений, и Пискатор очутился на улице, в театр же ворвались детективные и полупорнографические пьески, которыми хозяева спешили напоследок подправить дела. Лопнули сразу оба театра. Этот крах был самым оглушительным.

Долго не затихали пересуды на газетных страницах. Одни жалели предпринимателя, разоренного безумием режиссера-фантаста; другие рассказывали анекдоты о роскоши режиссера-расточителя и о его мебели из стальных труб, составлявшей обстановку его квартиры. «Как может участник такой аферы строить коммунистическое искусство?» — горестно восклицали третьи. Четвертые просто требовали долговой тюрьмы «проходимцу».

А он, избиваемый кулаками строк и шепотами сплетен, еще лежа на земле с выпачканными коленями, уже подсчитывал уроки вчерашнего и перспективы завтрашнего дня и, между двумя контрударами по обидчику, продумывал, как вновь поставить на ноги политический театр — в шестой раз.

Этот шестой театр Пискатора я видел сам. То было в 1931 году. Кризис грыз Германию. Безработный норовил не ходить не то что в театр, а просто по панели, чтоб не стирать подошв, которых не на что починить.

И в то же время, как никогда, вырастало влияние коммунистической партии. Цифра в пять миллионов, голосующих за коммунистические списки, не снижалась. Коммунистическая партия была первой по силе в Берлине. Уже были задавлены полицейским запретом агитпроптруппы, уже квартальные и заводские газеты коммунистов выходили нелегально, надо было, как никогда, напрягать все возможности агитации и пропаганды.

Так вновь ожил Пискатор. На этот раз театр представлял собой товарищеское объединение актеров: он переместился ближе к рабочим кварталам и играл, упрощая постановки до минимума для снижения расходов.

Он играл «§ 218» драматурга Креде, главным образом в провинциальных городах. Затем Пискатор поставил «Кули кайзера», роман Пливье о ютландском бое и восстании в императорском флоте.

В Берлине я видел постановку пьесы Фридриха Вольфа «Та-ян просыпается». По фабуле это была пьеса о китаянке, в действительности же речь шла о сегодняшней Германии и о праве рабочих на улицу.

Поразило обилие надписей. Ими был заполнен весь театр. Плакаты, цитаты, комментарии длинными бумажными языками свешивались со всех балконов и окаймляли сцену.

Оформителем спектакля был Джон Хартфильд. В этой пьесе декорацией был не рисунок, не фотография и даже не чертеж. В ней действие

шло на фоне лозунговых сентенций, цитат и статистических справок.

Высокие узкие хоругви ярких цветов с написанными на них цифрами вносили статисты на сцену и окаймляли ими действие. На сцене была шелкомотальная фабрика, а на хоругвях шли надписи, вроде:

«У нас 80 тысяч малолетних шелкомотальщиц...»

«Шелкомотальщица получает в день...»

На сцене действие переносилось в купеческую контору и так далее, сообразно с этим возникали новые хоругви, на которых было напечатано, чему равен доход капиталиста и куда он расходуется, и чему равен заработок рабочего и куда он уходит.

Но пьеса была неинтересной. Вольф-драматург, сумевший в свое время дать на материале Вольфа-врача замечательный спектакль-репортаж «Цианкали», в этой пьесе занимался явно не своим делом. Много словесности, к которой режиссеру приходилось выдумывать действие. Запомнился мандарин, философствующий на тему о «третьем фронте». Сквозь облик мандарина явно проступали черты социал-демократических «бонз».

Интересным по-пискаторовски было начало. На сцену вышли парикмахеры, и актеры начали переодеваться и гримироваться при публике, толкуя о пьесе и ее проблемах. На глазах у всех превращаясь в китайских кули, работниц, солдат и политиканов, они поспешно вводили зрителя в круг узловых политических вопросов пьесы.

Эта сцена заменяла обычный для Пискатора, но в тот момент слишком дорогой способ включения пьесы в современье при помощи кино.

Мандарину не удавалось создать третий фронт, деление на рабочих и капиталистов продолжало оставаться незыблемым. Сцена протекала между двумя рубежами хоругвей: с одной стороны — красных, пролетарских, с другой — белых, фашистских. На сцену вступала погребальная процессия, хоронили мандарина. Но в возникающей схватке гроб падал на землю, разбивался и оказывался пустым. Это должно было символизировать пустоту идеологических позиций социал-демократии. Так разъяснял это театру вышедший к рампе актер, который в предыдущих сценах играл мандарина.

Аудитория волновалась. Впрочем, возбуждение коммунистических митингов в Спорт-Паласе было больше. Приглядевшись, я понял: в зале было слишком много интеллектуалов — журналистов, художников, врачей, служащих. И очень мало рабочих.

По окончании пьесы я прошел наверх, в кабинет администрации. Из прокуренной дóсиня, по-берлински, комнаты вышел невысокий человек с криво посаженным ртом, металлическими глазами и злым, сипловатым голосом.

Слова его были протяжны. Фразы встряхивались на конце энергичными прихохатываниями. Он подал руку как бы нехотя, заговорил, как бы не интересуясь, куда-то в сторону, и все время перескакивая на замечания, отдаваемые по поводу театральных дел.

Мне тогда показалось, что он враждебен. Это была ошибка. Просто сосредоточенный мальчик, сопя, мастерил шестое свое сооружение, и оно

не держалось, он злился. Слишком много глаз кругом глядело злорадно: «А вот и зря! А вот и не выйдет! А вот и не вышло!»

Он знал и сейчас, что спектакль не удался. Поведение его рождалось из усталости, смешанной с невероятным упорством.

Мы сейчас называем это упорство большевистским. Мы знаем, что есть победы, которые измеряются количеством, а в особенности качеством предыдущих поражений. У Пискатора сквозь все плутание и всю рискованность путей есть высокое, настоящее изобретательское качество. Он боем заслужил отличную ненависть к себе врагов. Недаром после постановки «Берлинского купца» в 1928 году фашисты писали, обвиняя его в оскорблении германской армии:

«...Его замысл — агитация. Его дело — партийный театр вместо искусства. Его стремление — разрушение. Его цель — Москва».

После шестого краха в 1931 году Пискатор переехал в Москву и стал работать в кино.

Но злоба врагов неугасима. Фашисты издали книгу «Евреи смотрят на тебя» — это фотографии виднейших деятелей культуры, начиная с Эйнштейна, с палаческими комментариями у каждой фамилии.

Разверните книгу на букве «П».

Пискатор Эрвин. Приписка около его имени не длинна, она кончается словами: «Еще не повешен».

ГАНС ЭЙСЛЕР

Время действия — 1931 год. Место действия — «Нейе вельт» («Новый свет»), большой концертный зал берлинского предместья. Людская масса, конституции плотной, расщепляемой по вертикали. Натуры активные тискаются, дабы за четверть часа пройти шагов тридцать. Натуры пассивные вращаются двумя течениями — входящими и выходящими, вращаются, как на шарикоподшипниках. Вращение не размалывает людей. Локти прижаты к бокам. Ноги берегут празднично начищенные ботинки соседа. Деликатнейшие слова извинения отмечают каждый нанесенный толчок.

Здесь — Германия.

На мужских шеях крахмальные воротнички, но пальцы натружены, и ногти на многих поломаны. Заутюжена складка штанов, но они стары. Ботинки ношены-переношены. Кожа лиц нездоровая, серая, ранние морщины на лбах.

Здесь — пролетарская Германия.

Но в фойе решительные фигуры людей. Вороты зеленых рубах распахнуты, поза — а ну, тронь! От черной, моряцкого типа фуражки, оковав лицо,— лакированный подбородок. У ворот «Нейе вельт» черный лак назатыльников шупо, как зовут в Берлине шуцманов. В киосках фойе — книги: Фадеев «Девятнадцать» (так по-немецки называется «Разгром»), Эренбург, Рейснер. На обложке знакомый профиль Людвига Ренна. Над головами рука тянет свежий номер журнала «Арбейтер Театр». Чей-то голос выкрикивает «Москауер Рундшау».

Здесь — коммунистическая Германия.

Вон двое приятелей прощаются, подняв правые кулаки к плечу.

Я обращаюсь к одному:

— Заген зи... (Скажите...)

Он сурово настораживается:

— Варум загст ду «зи»? («Почему ты говоришь «вы»?)

Парень успокаивается, блеснув кимовским значком.

Конферансье в голубой, заправленной в брюки рубашке, без пиджака.

Оркестр ведет дирижер с гармошкой в руках. Это пролетарская танцгруппа Вейдта. Невероятная изломанность поз. Судорога. Перенапряженность. Близко танцу Валески Герт. Если классический танец, ритмичный, симметричный — «танец стихами», то Вейдт танцует прозой.

В основе — обычные движения: потягиваюсь, рублю, убегаю, подманиваю, мету, заламываю руки, потираю лоб, несу на плечах. Но эти движения перенапряжены, раздуты, затянуты. Уже не заламываю руки, а беснуюсь. Не подманиваю, а гипнотизирую. Не несу на плечах, а не могу вышагнуть из-под глыбы, навалившейся на мои плечи.

Трагизм. Мрачность. Может быть, тут скрестились национальная серьезность немца с разлитым по всей Германии гнетом поражения. Надлом этого танца просачивается в рабочую залу, перебивая оптимистический мажор только что выступавших «Красных рупоров».

«Красные рупоры» — германские синеблузники. В их жанре физкультурные движения стадионов заплетены выкриками демонстраций. Как они прекрасно читают, а главное, без декламативного воя — четко и просто. Потом конферансье называет два имени:

— Буш и Эйслер.

Имена падают в треск таких аплодисментов, словно слоны побежали по хворосту. Замолкли продавцы газет. Вытянули шеи киосочники. Ложась на спины передних, хлынули зрители из-за колонн, чтобы увидеть сцену хоть глазком.

Певец Буш. Без пиджака. Рубаха с заправкой в брюки. Руки в карманах. Независимая поза. В такой любят стоять в Германии рабочие парни, насмешливо оглядывая господина в котелке, с одышкой и золотыми перстнями, чуть опасливо обходящего их, чтобы позвонить в парадное своей квартиры, на двери которой — эмалированная доска: «Вход только для господ. Слугам и рассыльным пользоваться черным ходом».

Ничего на этом Буше нет схожего с фраком солиста, ни с крахмалом его пластрона. И трубочки нот нет в руках.

А за роялем — гном, широкоплечий, головастый, в блестящей лысине и штанах, сбегающих гармоникой к пяткам.

Это композитор песен, которые будет петь Буш,— Ганс Эйслер.

Я не слыхал еще такой дикции и фразировки, как у Буша. Нет ни одного слова, которое смазалось бы патокой мелодии. Сразу не поймешь даже, песня ли то,— так это похоже на разговор по душам, на рассказ издевательских анекдотов о враге.

Вот песня о том, как наивный негр Джимм добивался, почему это в американском трамвае два отделения: одно — для белых, другое — для черных джентльменов. Негра линчуют, но и в петле он спрашивает тревожно: неужели и в трамвае, везущем на тот свет, тоже

Существует отделение
Для белых джентльменов.
Существует отделение
Для черных джен...

И саркастические слова покачиваются на иноходи джазбанда. Синкопированный ритм джаза част в вещах Эйслера. В этом одна из причин, почему музыкальные весталки, блюдшие у нас в СССР до апрельского постановления ЦК чистоту музыкальных нравов[1], так туго продвигали Эйслера в печать, дабы не оскоромить советский слух.

---

[1] Имеется в виду постановление ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 года «О перестройке литературно-художественных организаций», ликвидировавшее РАПП и РАПМ (Российскую Ассоциацию пролетарских музыкантов), совершивших ряд грубых политических ошибок, в частности, объявлявших чуждым пролетариату творчество многих крупных композиторов и писателей.

Вот мелодия нежнейшего сентиментального романса, наивного, как маленькая Гретхен с двумя торчащими косичками. И уже давится смехом аудитория, ибо романс этот говорит о редиске, которая снаружи красная, а внутри — белая. А последний куплет романса разоблачает, что редиска — это социал-демократы.

Песня английских стачечников-горняков. Грозная. Мрачная. Одновременно и марш и предостережение. Написанная на слова подлинной английской горняцкой песни:

Себе могилу роя,
Себя кладя в дыру,
Я сам себе могильщик
И в то же время — труп.
Глядите веселее,
Кто нос воротит — вон!
Не скличет, что ль, рабочих
Хозяйских денег звон?
Кто вдрызг и вхруст раздавлен,
Вам первым в недра ход.
Попы поют молитвы,
Когда семья взревет.
Но час настанет судный,
Раздастся трухлый гроб,
Мы встанем — но не в белом,
А в саже черных роб.
Мы глянем в стекла окон
Угрюмым дном орбит,—
Уже в хозяйском горле
Веселый смех убит.
Вы воры в нашей крови,
Пусть ваша кровь течет.
А ну, на суд, хозяин,
Последний брать расчет!

Песня безработного. Измученный, отработанный, высосанный и разуверившийся до предела человек, воющий по-собачьему накануне последнего яростного взрыва, когда ногти начнут выцарапывать булыжник из мостовых. И в середине этого воя — пародия на сентиментальную школьную песенку.

— «Хлопок»,— кричит аудитория.— «Сборщик хлопка!»

И опять минорные, мучительные и напряженные предаккорды, музыка «костями на гвоздях», и голос Буша:

Носит король мою работу,
И миллионер, и президент,
А у меня, у оборванца,
Найди в кармане хотя цент.

Ирония не только в словах, она и в музыке. Вот песня о рождестве, где церковный хорал искажен в наглый, самодовольный зоологический вопль, подобно тому, как в карикатурах Гросса искажен до предела мерзости средний благопристойный немец.

Песня о филантропах с припевом:

Ладно, но это пфенниг,
А марка, марка-то где?

На каждую песню аудитория отвечает бурей ладоней и восторженным топотом ног.

Буш и Эйслер выходят, кланяются, уходят, снова выходят. И, уставши ходить, начинают новую песню.

Рабочие сами заказывают любимые песни. Чаще всего слышен выкрик: «Зайфе!..» — это значит: «Мыло!..»

В 1927 году на выборах социал-демократы раздавали избирателям мыльца с вытисненным лозунгом: «Голосуйте за с.-д.». Тогда Эйслер и написал песенку с ироническим припевом от имени социал-демократов:

Мы взбиваем пену,
Мы вмыливаем,
Мы умываем наши руки.

А «вмыливаем» в переносном смысле по-немецки значит — обжуливаем.

Детство Эйслера — это венская гимназия, передовая и респектабельная семья. Очень пристойные гимназические марксистские кружки. Первые музыкальные композиции и длинные волосы, носимые по-артистически.

Семнадцатилетним школьником попал Эйслер на фронт. Его однополчане, венгерские мужики, издевались над барчуком-чистюлей, который после нескольких суток езды в телячьем вагоне натянул на руки перчатки, брезгуя брать пищу грязными пальцами.

Но эти же солдаты зауважали тихоню, увидав, что он умеет записывать мелодии на бумагу и воспроизводить их по записи. Они охотно делились с ним своими деревенскими песнями.

Слава о музыкальном колдуне дошла до штаба дивизии.

Запомнился ему солдат, по фамилии Пеликан. У него в бумагах стояли буквы «р. у.», что значило — политически неблагонадежен.

Впервые считавший себя социалистом гимназист увидел настоящего социалиста.

Офицеры травили Пеликана:

— Предатель отечества! Вонючая сволочь! — и науськивали на чеха и горожанина темных венгерских крестьян. Пеликан не принимал боя. Не теряя достоинства, он спокойно гнул свою линию и не шел на провокации.

Его поведение было для Эйслера первым предметным уроком революционного самообладания.

Впрочем, и однополчане и народные песни были для гимназиста материей низменной, обыденщиной. Кроме этого существовало некое «святая святых», сфера «чистого искусства», откладывавшегося композициями на листах нотной бумаги, копившимися в заветной папке, содержимым которой музыкальному ефрейтору никогда бы не пришло в голову поделиться с кем-нибудь из соседей по окопам, шедшим по реке Изонцо.

Однополчане до папки не добрались, но до нее дорвался снаряд итальянского миномета.

Папка сгорела дотла в окопном пожаре.

Окончилась война. Началась музыкальная школа в Вене.

Учитель Эйслера, знаменитый теоретик атональной музыки Арнольд Шенберг, воспитывал своего одаренного ученика в духе крайнего модернизма. Но одновременно прививал ему вкус к таким силачам классической музыки, как Иоганн Себастьян Бах.

Но и школа, и Шенберг, и композиции — все это было «для души». Для тела же надо было подрабатывать, то работая корректором, то дирижируя или преподавательствуя в рабочих певческих ферейнах.

Об этой последней работе Эйслер рассказывает не без гордости, ощущая ее чем-то вроде общественной нагрузки.

Тут, несомненно, были корни Эйслера-общественника.

Уже в те годы определился активный и боевой темперамент будущего музыканта-организатора.

Еще в 1919 году организовал Эйслер в Флорисдорфе певческий кружок имени Карла Либкнехта.

В другом кружке он провел успешную борьбу со старым руководителем из реформистов, который кормил рабочих музыкальной пошлятиной. За линию Эйслера встали рядовые члены ферейна, и руководству пришлось провести молодого бунтаря заместителем председателя, надеясь таким образом его обезвредить.

И все-таки обе сферы — чистая музыка и музыка прикладная — продолжали жить в юном композиторе раздельно. В этом была типичная для буржуазного интеллигента расщепленность сознания: теория, отделенная от практики; творчество, противопоставленное работе; личное, оторванное от общественного.

Окончил Эйслер учение блестяще, получив первую государственную премию.

Реально это означало тысячу марок, известность и обеспеченную музыкальную карьеру — ведь первый его музыкальный опус издательство приобрело сроком на десять лет.

Все толкало композитора на легкий жизненный путь.

Но он им не пошел.

Очень уж отвратительной ему казалась аудитория буржуазных концертных залов, где в музыкальном наркозе гурманы смакуют сервированные музыкальные изыски.

В молодом композиторе проснулось чувство анархического протеста против них.

Словом, молодой атоналист, молодой и необузданный, взбунтовался против меломанов.

«Вы ждете остренького? — злобно решил он.— Так я вам изготовлю кушанье из гвоздей».

Так создавался цикл «романсов» специально для буржуазной аудитории. Все было как в обычных романсах. Но вместо текста были взяты газетные объявления.

Так, под названием «Любовный романс» исполнялось объявление из брачной газеты:

«Где тот, кто протянет руку, чтоб вывести из родительского дома?

Мне 23 года. Я из семьи землевладельца. Говорят, недурна. Здорова. Знаю домоводство.

Писать в контору до востребования. Условный адрес: «Священный союз».

На музыку были положены анонсы о продажах, стишки уличных хулиганов, анкеты школьника:

«— Кто такое отец?

— Тот, кто приносит в семью деньги, а также порет нас, когда мы балуемся.

— Что такое смерть?

— Переход в мир, который лучше, чем этот...»

Диковинный концерт взорвал аудиторию. Она почувствовала удар врага. Мистификация была полной. Испытанные клиенты концертных залов уходили, крича: «Мерзость!» Немногие снобы бешено аплодировали, видя в этом последнее откровение модернизма.

Может быть, больше всех удивился сам композитор: он хотел эпатировать, а создал какую-то новую музыку; в чистом искусстве оглушительно взорвались самые грязные темы современного повседневья, дав самому отвлеченному из искусств политическую направленность.

Неожиданно свежо и резко зазвучал публицистический документ в концертном храме, который должен был уводить слушателя от действительности.

Термин — документальная музыка — слетел с языка. Он означал музыку, сопровождающую сугубо непоэтические, публицистические тексты.

Так впервые, непредвиденно для самого музыканта, встретились его высшие сферы (чистое искусство для избранных) с низменными (газетная публицистика), и стало ясно, что трещина в сознании интеллигента может быть устранена.

Так же ясно стало, что трещина, прошедшая между взбунтовавшимся музыкантом и буржуазными концертменами, не устранится никогда.

Ненависть к концертному залу, к «незаинтересованному» потреблению музыкального наркотика была так велика, что она в дальнейшем окрасила его вторжение в пролетарское музыкальное движение.

А пока он задорно углублял траншею войны не только музыкальными парадоксами, но и словесным эпатажем.

«В юные годы музыканты неосторожно предаются камерной музыке,— иронизирует Эйслер, пародируя профессорские рекламы-брошюры о борьбе с онанизмом.— Часть врачей считает это совершенно губительным, и министерству следовало бы принять меры противодействия, популяризуя среди ученых консерватории соответствующие гигиенические средства или же педагогические фильмы, вроде: «Последствия сольной скрипичной сонаты и средства предупреждения их».

Эйслер знает, сколько в храме буржуазной музыки неучей и шарлатанов. Это им адресует он свои задиристые афоризмы:

«Не надо воображать, что музыканту достаточно быть неграмотным в области одной только музыки. Нет. Он должен быть вдохновенным неучем и во всех остальных областях»».

Он святотатствует в лаборатории музыкальной науки и берет под

обстрел всю изолированную касту музыкантов, всех этих филистеров мелодии, бюрократов контрапункта, мономанов полифонии, жречествующих в консерваториях и концертных залах.

«...Что такое полифония? Четыре человека совместно кричат, дабы убедить слушателя в том, что им абсолютно нечего ему сказать».

Расчищая дорогу ясному, действенному публицистическому тексту песни, он издевается над текстами традиционных хоров, предлагая:

«...по старому обычаю дать каждому голосу самостоятельный текст, увязав их, впрочем, тематически, чтоб получалось, примерно, такое:

Первый тенор *(поет)*. Слушайте утренний звон колоколен.

Первый бас. Скажи скорей, который час?

Второй тенор. Заткни, ради бога, будильник.

Второй бас. Ой, опоздал! Ой, опоздал!»

«...Спроси композитора, сочиняющего для джаза,— изрекает Эйслер в стиле Козьмы Пруткова,— неужто не существует слабительных для заткнутых пузырями труб?»

И особенно достается от него капельмейстерам, которых он сравнивает с коммивояжерами:

«...Кому не дано стать композитором и кто раз навсегда отказался от безнадежной попытки научиться играть на каком-либо инструменте, тот становится дирижером».

Эйслер позвал меня в гости. Проспекты Берлин-Вестен сменились узкими кривыми, подобно московской Малой Бронной, улицами старого Берлина. Путь шел проходными дворами и каменными заборами, на которых в немом соревновании перекрикивали друг друга «Рот фронт» и «Хайль Гитлер», пятиконечная звезда и свастика — следы предвыборных боев. Вход в квартиру Эйслера был с улицы заперт. Хотя я ему заранее позвонил по телефону, он, видимо, забыл о времени. Спутник стал свистать на мотив «Красного Веддинга», досвистывая до Эйслерова четвертого этажа весть о себе.

Была уже холодноватая осень. Сквозь закрытые окна навстречу нашему свисту приглушенно гремела баховская фуга.

— Если Ганс выгрался, то, будьте спокойны, он не услышит даже паровозного гудка над самым ухом.

Мы долго слушали Баха и долго свистали, пока не попали в какую-то из пауз. Тогда нам отперли.

Мы вошли в очень теплую и очень тесную комнату.

Эйслер листал ноты на пюпитре пианино и хвалил Баха. Он в нем искал союзника в борьбе за хор, который должна исполнять вся аудитория, в противовес сегодняшнему членению концерта на исполнительскую эстраду и пассивно слушающий зал. Высокую культуру хора, соединяющего людей, скрепляющего, вводящего в единый такт и в единую эмоцию, Эйслер искал у тех времен, когда церковь культивировала хоровое пение, мобилизуя для этой цели гениальных людей своего времени.

Концерт как музыкальное наслажденчество Эйслеру враждебен изначала.

— Вы хотите знать, что такое «кич»? — осведомляется Эйслер.—

Я вам поясню. «Волгалидер», затасканный ресторанными оркестрами,— вот вам ваш русский «кич».

И он смешно, вибрирующим голосом поет мелодию «Эй, ухнем...», затем заводит: «Из-за острова на стрежень...», а для пущего доказательства, что это — «кич», садится за стол, подперев голову кулаком и охватив другой рукой воображаемый стакан водки.

Публицистичность Эйслера не только в тексте. Музыка его не только аккомпанемент. Она — звучащая оплеуха буржуазному канону сентиментального романса, наивной песенки, чванного марша, ибо жизнь уродливо искривлена и бессмысленно загнута мордой к хвосту.

Музыка Эйслера не иллюстрирует. Она, наоборот, чаще всего строится вразрез тексту, создавая саркастический эффект.

Так создается Эйслером новый жанр политической эстрадной песни, который мы бы назвали музыкальнопублицистическим фельетоном.

В этом жанре Эйслер не имеет себе равных по мастерству, выразительности, популярности.

Вспомним, что одними только граммофонными пластинками марш «Красный Веддинг» разошелся в количестве свыше сорока тысяч экземпляров.

Эйслер начинает писать эти песни в 1927 году, войдя в движение агитпроптрупп — самодеятельных кружков пролетарской эстрады, похожих на нашу «Синюю блузу», выросших в значительной мере под ее влиянием, имевших не менее широкое распространение, чем она.

С этого момента песня Эйслера становится такой же обязательной составной частью каждой политической кампании, каждого митинга и концерта, как стихи Вайнерта, как плакаты Хартфильда.

Известнейший марш Эйслера «Коминтерн» написан по заданию агитпроптруппы.

«Песня горняка», «Сборщик хлопка», «Песня солидарности», «Защищайте Советский Союз», «Песня о филантропии», «Песня безработного», «Песня единого фронта» — вот наугад взятые названия огромного списка песен Эйслера.

Работая над песней, Эйслер встречается и срабатывается с поэтом-драматургом Б. Брехтом, чья концепция политического театра совпадает с устремлениями Эйслера и чья ироническая поэзия перекликается с приверженностью Эйслера к музыкальному парадоксу.

По всей Германии идут протесты против знаменитого параграфа 218-го, карающего за аборт.

Эйслер пишет на слова Брехта песню-диалог между работницей, умоляющей об аборте, и врачом, стоящим на страже закона.

Она *(ноюще)*. Ах, доктор. Третий месяц...
Д-р *(торжественно)*. Так-с. Будущая мать?
Что ж? Численность населений
Полезно поднимать.

(Переходя с торжественного на приплясывающий ритм.)

Нужны парни для промышленности нашей,
Вы станете отличною мамашей,
На то вам дана утроба,

А впрочем — учеба.
Глядели бы в оба.
Довольно! Закон таков!
Рожайте! И без дураков...

Припев пляшет на синкопе фокстрота, и эта синкопа постыдно подбрасывает и встряхивает солиднейшую, затянутую в сюртук и респектабельность фигуру непререкаемого «херр доктора».

Эйслер садится за пианино. Он играет «Марш костылей». Минорный и грозный, как, впрочем, минорны все почти его композиции:

С дороги! С дороги! С дороги!
Мы — гвардия калек!
У нас были руки и ноги,
Война их отгрызла навек.
Наш ротный урезан грубо,
Наш полковник — четыре крюка,
Наш фельдмаршал — сплошной обрубок,
Ползет по земле на руках.

Про ротного по-немецки сказано жесточе: его кастрировал снаряд.

Большая голова, совсем розовая, нависла над клавиатурой. Он шлепает по клавишам ладонями своих маленьких рук, как младенец шлепает по воде ванны. Он не педалирует, он топчет ногою педаль, словно это гадюка. Он громко сопит в такт маршу. Голос его хрипл и яростен. Накал марша калек подымается:

Эй, хозяева, мы — ваши гости!
Нас не ждали, но мы пришли.
Вы нам завинтили в кости
Прекрасные костыли.
Вы сказали: протезы проще
Какой-то руки и ноги.
Вы сказали: слепые на ощупь
Читают не хуже других...

В соседней комнате тикают аккуратные часы, и опрятная квартирохозяйка, привычная к музыкальному неистовству своего жильца (впрочем, лишь до 11 часов 30 минут, ибо позже хозяин квартиры ложится спать), вносит и ставит на низкий плетеный столик три чашки кофе. Поверхность кофе трясется, ибо Эйслер марширует с инвалидами все дальше и дальше:

Не беда! Пусть последнюю ногу
Оторвет заводским колесом.
Но до вашей хозяйской глотки
Мы свою пятерню донесем.
Мы — гвардия огрызков
На деревянных когтях.
И мы стучим, что близко
Идет мировой Октябрь.

Эйслер подымается от пианино. Он задыхается. Он как из ванны. Жирен блеск его розовеющей головы. Он рассказывает о том, как трудно работать в одном из самых закостенелых углов культурного движения германского пролетариата — в хоровых кружках. Эйслер — вожак песенной оппозиции.

Сорок лет воспитывали реформисты германского рабочего на хоровой песне, которая должна была заполнить его досуг, подымая над уровнем сероватой и скучноватой жизни. В 1927 году рабочие хоры исполнили торжественную мессу Бетховена, и социал-демократы ликовали: какая победа! Ученичество кончено, пролетарские голоса умеют исполнять мировые произведения. Социал-демократы ликовали, а христианские социалисты, католики и лютеранские пасторы потирали руки: пусть это Бетховен, но ведь это — обедня, это — церковные песнопения, эстетическое обаяние которых в конце концов лежит так близко от религиозного гипноза.

Сначала коммунистическая песня ворвалась одиночкой в социал-демократические концерты, программа которых была сентиментальна, слащава, похабновата и в редких случаях грешила туманным революционизмом:

Вперед! Вперед,
Трудящийся народ...

Коммунисты — Эйслер со своей группой (Ранкль, Фогель, Вольпе) — принесли на эстраду этих концертов новые, жгущиеся темы. Слова стали конкретнее, а музыкальное качество этих новых программ так высоко, что уже с первого коммунистического концерта в 1929 году начался приток мелкобуржуазных попутчиков.

Но закупоренные банки концертных залов были способны замариновать даже коммунистическую песнь. Не смешно ли, что песню Эйслера, начинавшуюся словами: «Пойте на улице», систематически исполняли только в закрытых помещениях. Коммунистическая песня не выдержала и бросилась на улицу, в демонстрации, в стачки. Но с первых же ее шагов стало ясно, что песня, хорошо звучавшая на концертной эстраде, была для улицы непригодна. Смакуемая меломанами, она была слишком во власти музыкальных вывертов. На улице ей надо было быть проще, грубее, легче разучиваться, совпадать с шагом маршей. Но, выведя песню на улицу, эйслеровцы совершили «левый загиб»: они объявили концертные залы ликвидированными. Реформистам этого только и нужно было:

— Вам угодно вон из наших залов? Сделайте одолжение!

Исправляя ошибку, пришлось коммунистической песне возвратиться в концертный зал. Но она вернулась оплодотворенная уличными ритмами и конкретностью боевых задач. Так создался «Лерштюк» — дидактическая пьеса, первым образцом которой явилась «Высшая мера», написанная Брехтом и озвученная Эйслером.

«Высшая мера» — инсценировка партийного суда. Воплощенная в хоре, контрольная комиссия судит четырех агитаторов-подпольщиков, которые вынуждены были для пользы дела ликвидировать пятого своего товарища, слишком жалостливого и недисциплинированного, поставившего дело партии перед угрозой провала.

Этот «контроль-хор» не только задает вопросы подотчетным партийцам, он и резюмирует свои мнения в песнях, среди которых одной из сильнейших является «Хвала партии»:

У одиночки два глаза,
Партия — тысячеглаза.

Одиночка знает свою секунду,
Партия знает дни и годы.
Партия видит народы и земли,
Одиночка знает лишь свой квартал...

— «Лерштюк»,— говорит Эйслер,— не просто музыкальное произведение, исполняемое для прослушания. Оно особого рода политический семинар по вопросам партийной стратегии и тактики. Участники хора на репетициях будут прорабатывать политические вопросы, но это будет происходить в запоминающейся и увлекательной форме хорового исполнения. «Лерштюк» не для концертов. Это лишь способ педагогической работы с учащимися марксистских школ и пролетарских коллективов.

Я видел исполнение «Высшей меры» в Берлине.

На специальный подиум вышли четыре агитатора и эпизод за эпизодом демонстрировали хору, как происходили события. Натянув на лицо желтые полумаски с косыми китайскими разрезами глаз, они перекинули через плечи канат, и пантомима началась. Цуг китайских кули поет свои надрывные бурляцкие песни, а жалостливый агитатор мечется и, забыв про агитацию, подкладывает камешки под скользящие подошвы бурлаков.

Агитация срывается. Надсмотрщик натравливает на жалостливца бурлаков. Товарищи разъясняют ему ошибку. Хор поет сентенцию-фугу на цитату из Ленина:

Мудр не тот, кто промахов не знал,—
Мудр, кто их немедля исправить сумел.

Но, не в пример уличному периоду коммунистической песни, «Лерштюк» не ограничился примитивными мелодийками. Он мобилизовал высокое мастерство композитора и всю колоссальную техническую оборудованность современного концерта. «Лерштюк» по-новому поставил еще недавно высмеиваемую проблему большого полотна, но использовал это полотно не как экран для изображения, а как полотно дороги, ведущей в коммунизм.

Пьеса должна выпускать человека переделанным. Она есть процесс переоценки мира. Вот лозунг сторонников дидактической пьесы, обоснованной Брехтом и нашедшей в Эйслере ярого и деятельного поборника. Оперативный политик ищет, как поставить на боевую работу свое искусство. Музыкант-коммунист ищет, как превратить музыку в артиллерию классовых битв.

Тяга композитора к большой форме на этом не останавливается. Он идет к высшему философскому музыкальному жанру — симфонии.

Когда-то, в юности, он сочинял симфонию на китайские мотивы, почерпнутые у Клабунда. Смутно выраженное неприятие войны лежало в основе этих симфонических опытов.

Потом, в пору эстетического максимализма и борьбы с концертностью и камерностью, Эйслер увлекся принципом монтажа, когда куски, объединенные одной творческой установкой, просто сопоставляются, но не перерастают один в другой по законам художественного силлогизма.

Характерно, что в это время Эйслер, не занимающийся симфониями, пишет несколько сюит, как раз и отличающихся от симфонии преобладанием монтажного принципа.

И уже пройдя весь освежающий путь музыкального творчества в политической борьбе и для нее, композитор на новой основе, обогащенный темами, жанрами и чувством новой аудитории, возвращается к симфонии.

Первая его симфония исполнялась в Лондоне с большим успехом.

Вторую он пишет на тему о заключенных в концентрационных лагерях. В основе этой симфонии — «Песня болотных солдат», сложенная самими заключенными, которых гноили на каторжных работах по осушке болот.

Эйслер пришел к симфонии. Но он не бросил песни.

Песня Эйслера, как первый бегущий огонек грядущего пожара, вспыхивает то в комнате, то в уличном марше, то в прогулочной компании, то в школьном классе. Она прилипчива. Раз услыхав, ее начинают напевать. И вот уже бегут шуцманы в лакированных касках, пытаясь захлопать эти первые языки огня ударами резиновых дубинок, затоптать их цокотом полицейских коней. Ведь и «Коминтерн» известен в СССР не меньше, чем «Буденновская».

Я видел сам на берлинской улице 1931 года, как в процессию ребятишек допионерского возраста ворвался увесистый полицейский в зеленой форме и пенсне. Он бил детишек по щекам руками в белых перчатках, рвал им уши. За что? За эйслеровскую песню.

Путь этой песни в массу был нелегок. Пока Эйслер выступал как композитор-модернист, пусть даже очень экстравагантный, его издавали. Пока революция ограничивалась революцией формы, песни были терпимы. Их не только терпели, но слушали, причем не только пожимая плечами, но и отдавая должное большому таланту и темпераменту. Но как только композиция приобрела политическую окраску и установку, разговор переменился. Буржуазного слушателя сменил буржуазный «глушитель».

Эйслер написал хоры про безработных, «Об убийстве», «О крестьянской революции». В одном из хоров есть строка:

> Сажайте красных петухов
> На крыши монастырей.

Последовала резолюция — запретить.

Эйслер озвучил фильм «Ничья земля». Но в фильме хор:

> Рабочий! Крестьянин! В руки винтовку!
> Штык пролетарский остер...
> Ржавую землю на перековку,
> Жги мировой костер...

Следовательно — запретить.

Эйслер написал музыку для хоров пьесы Брехта «Мать». Но хоры говорят:

> Когда властители откомандуют,
> Начнут говорить подвластные.
> ...Побежденный сегодня — повелителем будет
> завтра.
> А из «никогда» родится «ныне».

Следовательно — запретить.

Фашисты обложили этим «запретить» всего Эйслера целиком.

Ноты его песен полетели в костер.

Их изъяли из хоровых обществ и библиотек. Там же, где мелодии нельзя было вытравить из памяти, им подсовывали новые слова.

Граммофонные пластинки, на которых было имя Эйслера или Буша, разбили.

Эйслер в эмиграции.

Тут особенно стало заметно, какой это неукротимый, настойчивый, неунывающий боец и агитатор.

Ни на секунду не раскисает. Творит, не выпуская врага из прицела.

Музыка его, грозная и в то же время ироническая, становится все проще и проще.

Вот его колыбельные пролетарских матерей:

У меня ты рос в утробе,
Я дралась за каждый лишний грош.
Знала я: когда родишься,
В неприютный мир войдешь.

В мелодии, заунывной и запоминающейся, и укачивание и шаг марша одновременно.

Мы знаем поэта-фельетониста, поднимающего на острие пера очередную злобу политического дня. Таков Эрих Вайнерт. Мы знаем художника-публициста, рисунок которого ежедневен на газетной полосе, например Хартфильд. Эйслер — музыкант-фельетонист. Музыкант-плакатчик.

«Маляр Гитлер» — несомненный «мело-фельетон», продолжающий линию таких фельетонов, как «Мыло» или «Редиска». А такие марши на слова Брехта, как «Долой войну», «Все или ничего», «Единый фронт», «Песня узника концлагеря»,— это все «мело-плакаты», предостерегающие и суровые.

Из Европы Эйслер едет в Америку, и приезд его сразу оживляет фронт революционной музыки. Его концерты не только насыщают музыкальную аудиторию — от его концертов идет ток, превращающий поющую толпу на эстраде в боевой отряд, способный мерить улицу шагами. И чем больше следишь по журналам за кипением этого непоседы, тем больше берет досада, что он, запрещаемый где только возможно в капиталистических странах, еще не нашел должного к себе отношения у нас.

Он заслужил монографию, он имеет право на издание своих музыкальных сочинений, и в первую очередь песен.

Где, как не в Советском Союзе, может быть оказано настоящее внимание этому беспокойному партизану революционной музыки? Здесь его настоящая социалистическая родина, в стране, где каждый, от пионера и до старика колхозника, знает эйслеровские:

Заводы, вставайте!
Шеренги смыкайте!

Эйслер приезжал к нам. И не раз. Он ездил к горе Магнитной и записывал песни казахов-кочевников, песни, в которых уже встречалось новое слово «Магнитка»; он смотрел, как строят комсомольцы свою домну и как растет город на вчера еще пустой степи.

Это он готовился писать песню для фильма Йориса Ивенса.

Помню вечер в «Новомосковской гостинице». В окна были видны замороженная Москва-река и огни Кремля. Эйслер ходил по комнате, шарахаясь от раззолоченных гнутых кресел. Он был возбужден: полчаса тому назад песня была кончена. Штаны широкими складками падали к каблукам. Он сел за пианино и запел, ломая русский язык, невероятно унылым и звонким голосом:

Ураль, Ураль,
Железнайя руда!
Ураль, Ураль,
Атач-гора крута,
Но партийа сказала
Дать тшугуна, дать тшугуна.

— Эйслер,— говорю,— опять твоя боевая песня написана в миноре?

— Правильно. Минор многозначительнее. «Коминтерн» тоже в миноре, но разве он грустен, разве в нем убывает сила от такого минора? Он только грознее.

Колотит подошва педаль. Бьет пятерня клавиши. Хрипит голос, всхлипывая на вздохах:

И комсомоль отвэтиль:
«Домна сашшена».

В такт ногам и рукам Эйслер остервенело мотает головой, требуя, чтобы все подтягивали. И вместе с ним, единым хором, пугая администрацию гостиницы, поем мы заключительные строки:

С прорывами и гадами
Дрались мы бригадами,
Строили,
Выстроили
Ма-а-
гнито-
строй!

ФРИДРИХ ВОЛЬФ

Врачи говорят — я хороший писатель.
Писатели утверждают — я хороший врач.
Милые друзья, чем я заслужил это?

Фридрих Вольф

Дом — белый куб. Отколок санатория. И имя у улицы ясное, алюминиевое, воздушное — улица Цеппелина. Схожи по виду с меловыми улицами Ялты или Севастополя.

Штутгарт лежит двумя горными подковами. Из окна дома-куба, если глянуть вниз, видны лестницы, проходящие между садиками, посаженными за толстые проволочные сетки. Еще ниже на пустыре огородник разбил свои гряды. Над грядами — труба водопровода для искусственного дождевания. Сейчас февраль, в тени лежит иней, но его не боится ни синяя капуста, ни капуста гофрированная. А там, где солнце, огородник снимает с гряд рогожные одеяла, подставляя нарождающиеся овощи его лучам.

Я гость в доме-кубе. Проснувшись, выбрался из-под взбитого пуховика, заменяющего в Германии одеяло. В доме-кубе абсолютно чисто, ничего лишнего на стенах. В доме-кубе абсолютно тихо. Только одна комната задает утренний концерт. Он складывается из шорканья, человеческого кряка и водяного плеска.

Раскаленный докрасна человек сидит на корточках в ванне и студеной зимней водой оплескивает себе ляжки. Так до ста раз. Потом обливает плечи. Быстро падает в воду на спину и встает. Он вытягивается во весь рост, растирая двумя щетками спину, затылок, тело, подобно тому как чистильщик начищает ботинок.

— При таком способе омовения,— цитирует он,— простуда исключается. Кишечные газы удаляются во время ванны. Чаще всего можно сразу после обтирания приступить к опорожнению желудка.

Мне нравится этот, из красной меди отлитый легкоатлет. Вот ноги, которые не утомятся отсчитать десятки тысяч шагов марафонского бега. Вот грудная клетка, которая сорвет цилиндры с любых спирометров. Такими руками можно избоксировать не одного неприятеля. Мускулы ведут свою отчетливую напряженную жизнь, между ними и кожей не легло никакого успокоительного жира.

Раздается шип душа. Я говорю:

— С добрым утром, хозяин! Мне нравится, как ты устроен, товарищ Вольф.

Я попал в точку, похвалив самое любимое произведение хозяина: его самого.

Белый куб-дом он не любит так. Да что дом! — я думаю, лучшей своей пьесе он не радуется так, как вот этим литым мускулам, верным линиям

ног, веселости рук, в которых не накопилось ни миллиграмма еще ядов взрослой усталости, этому торсу.

Сощурив улыбкой глаза, хитрые глаза, и, подобно глазам, сощурив улыбкой же рот, он вдруг вскрикивает хвастовски:

— А ну, гадай, сколько мне лет?!

Стою недоуменно.

— Бис тебя знает, сколько тебе лет! Ногам твоим — ну, двадцать пять; откиду волос, чуть-чуть прореживающемуся, скажем, тридцать; глазам, замятым в привычные складки (посчитай, сколько же их за жизнь откроешь-раскроешь), ну, скажем, тридцать три; морщине на лбу и под затылком можно дать тридцать пять, а можно и двадцать пять...

— А мне сорок один,— говорит он с той же гордостью, с какой писатель сообщает о повести, что она выдержала сорок одно издание.

Не говорите ему, что он такой уж уродился. Обидится. Он сам себя таким сделал, во всяком случае сохранил.

— Пойдем завтракать, я тебе покажу, как это делается,— говорит он.

В столовой тоже ничего лишнего. Столы большие, деревянные, ничем не накрытые, гладко выскребленные. О меловой балкон бьется пронзительное солнце.

Это не завтрак, это — учеба. Я ищу соль. На меня смотрят с упреком:

— Зачем соль? Брось варварскую русскую привычку пересаливать. Не отягощай крови. Чем меньше соли, тем лучше. Не забудь: есть подозрение, что пересол значится в причинах рака. А знаешь, что такое рак? Рак сейчас в Германии — чемпион среди болезней, он уже перекрывает по количеству заболеваний туберкулез.

Мяса тоже нет за этим столом. Мясо старит кишечник и отравляет организм.

— Наши деды ели грубый хлеб — их желудки работали мышцами. Мы едим хлеб тонкой муки, разваренные овощи, наши желудки дряблы и безмускульны. Пища вяло идет кишечником. В толстой кишке она залеживается и разлагается, отравляя организм. Стул у нормального горожанина бывает раз в сутки,— значит, двадцать четыре часа мы даем отраве работать внутри нас. Смотри на спортсменов, они едят за обедом яйцо и два бисквита,— и какая сила и выносливость. Дай им бифштекс, они раскиснут.

— Порридж надо есть вместо мяса. Порридж — ту самую овсянку, которой начинает свой день англичанин.

— Вегетарианец Карл Манн прошел за один прием от Берлина до Дрездена — двести два километра — за двадцать семь часов.

— Надо есть грубо молотый хлеб, кислую капусту, сырую репу, виноград с косточками.

Законы этого дома строги, как у старообрядцев. Во время прогулки я покупаю в городе кусок колбасы, чтоб съесть у себя в комнате, и прячу затем свое мясом оскверненное дыхание так же, как в семье сурового раскольника надо спрятать дыхание, оскверненное табаком.

На столе вареные рис и другие крупы. На столе сырая морковь и редька, салат и орехи, сметана, мед и ягурт вместо чая и кофе. Запоминается название одного из блюд «лейпцигер аллерляй» (лейпцигская всякая вся-

чина). Еда на столе не просто меню — в этом меню есть пламенность убеждения, суровость догмата. Этот стол как бы приподнят над всем миром, а морковь агитирует взволнованным голосом, и в патетическом тоне говорит «лейпцигская всякая всячина», готовая хоть на голгофу во имя разгрузки человека от гниющей в нем дряни.

Сектантская одержимость есть и в этой проповеди вегетарианского сыроядения. («Рокост» называется по-немецки эта теория, имеющая свои столовые, поваренные книги, своих миссионеров и мучеников, своих святых, а пожалуй, и своих инквизиторов.)

В еще большей мере пришлось мне наблюдать эту сектантскую осиянность в движении, называемом «Накткультур» (культура обнаженного тела). «Нактовцы» норовят возможно большее количество времени проводить нагишом, они собираются для совместной физкультуры, совместных купаний, живут летом лагерями, имеют свои журналы. Краем их задел фильм «Куле Вампе», где показан кусочек быта такой физкультурной группы. Стоят на берегу озера зашнурованные на ночь палатки. Из одной палатки выглядывает нога, потом колено, а затем голый парень мчится вприпрыжку, расплескивая озерную воду. Из другой палатки таким же манером — женщина. Еще и еще... И вот начинается совместное купание этих «беструсовцев».

И опять, добро бы то была просто физкультурная идея. Нет, не так просто. «Беструсовцы» — это почти секта, религиозное верование, одержимость. Для них весь прочий мир — это погрязающие «во грехе», «одежники», или «стыдники», готовые потопить горстку праведников в мещанском хихике и ригористической возмущенности.

Все свои упражнения они проводят с такими лицами и с таким подчеркнутым старанием, будто весь мир стал кольцом вокруг них, показывая на них пальцами, и готов в любую минуту крикнуть: «Распни их!» То же радение, только навыворот.

Может быть, они и правы, внося такую сектантскую приподнятость и запальчивость. Слишком душны и предрассудки стыдливости, идущей из христианского средневековья, и беспорядочное всеядение, которое, вероятно, немалую роль играет в укорачивании человеческой жизни. Ведь нормальный срок человеческой жизни, к которому приспособлены все ткани нашего тела, как заявляют ученые, это сто шестьдесят — сто восемьдесят лет. Есть из-за чего и посектантствовать.

Я проявляю за столом явную иронию. Она неуместна. Мои скромные замечания должны быть расшатаны в корне. Хозяин берет меня под руку и уводит в кабинет, где стекло и никель, сталь хирургических инструментов, совки подколенников гинекологического кресла и короба регистрационных карточек.

Он раскладывает передо мной веер книг. Автор — доктор медицины Фридрих Вольф.

Мы привыкли, что произведения докторов медицины, особенно же германских,— это солидные тома, а здесь: меловые обложки в красном и черном. Глянешь издали — похоже на обложки авантюрных романов. Заглавие — «Несмотря на темп 1000, я здоров». И черные буквы слов и красные цифры даны в стремительном полете, откидывающем их ворсинки назад.

И тут же фотоотряды трусоносцев из «школ здоровья», и макет физкультурной школы, и две фигуры в ванне: большая — отец, маленькая — сын. Обе растираются щетками. Узнаю отца: это сам автор.

Писатель-врач, публицистические пьесы которого, рождающиеся стремительно, требовательны, как рецепты. Врач-писатель, медицинские книги которого напоминают агитки или авантюрные драмы. Действующие лица: недотепа желудок, не по своей вине набиваемый пересоленными супами, безвитаминными овощами из консервных банок, переперченным и перегорчиченным мясом, заливаемый пивом, злодей рак, благородный герой-спаситель — «рокост».

На обложке очертания вскрытого чрева. В красном желудке сидит толстяк и пожирает курицу. Зацепясь за дно желудка, тянет его вниз тучная баба, уплетающая торт. Желудок провисает под тяжестью пьяницы, роняющего пену с кружки. А в районе толстых кишок сидит полускелет, чахлый, изможденный, голодающий. Через все это — надпись: «Твой желудок не увеселительное заведение, а силовая станция».

Текст книги прорезают подзаголовки:

«Басня Менения Агриппы»

«Господин доктор, я кушаю то, что мне нравится»

«Ресторанный желудок»

«Как мы голодаем при полном желудке»

«Овсянка сильнее мяса»

«Фальшивая еда — белый хлеб и белый сахар»

Еще книга: «Долой кровяное давление», «Кто худ, тот здоров», и, наконец, громадный фолиант «Природа — врач и помощник».

И что ни страница, то фотография. На фотографиях этих то он бежит тропинкой, то его поливает из шланга сынишка, то он обтирается в саду у крана, или делает стойку на одной руке, или, одетый в шляпу и трусы, работает за высокой конторкой прямо в саду. Все он же — одновременно и автор, и главный аргумент книги, первый мим своих медицинских скетчей — доктор Фридрих Вольф.

Не вяжется как-то все это. Мы привыкли, что Фридрих Вольф — писатель, драматург, публицист. Мы склонны думать, что медицина у него между прочим, ну, скажем, как был медиком Чехов.

Нет, медицина у него всерьез. Воспоминание о Чехове, человеке, который готовил себя в врачи, а стал писателем, способно только подчеркнуть своеобразие вольфовской фигуры. Вот человек, для которого гинекологическое кресло и театральная рампа одинаково являются профессиональными инструментами, назначение которых — помочь коммунистической пропаганде в борьбе за новую, умную, здоровую жизнь.

Медицина у Вольфа далеко не «между прочим». Пока в предгитлеровской Германии можно работать, он — врач, принимающий ежедневно по многу пациентов. Его приемные дни расписаны вперед. Его любят и с ним охотно советуются штутгартовские пролетарии. Этому свидетельство — толстые кипы регистрационных карточек. Вольф — врач, который мыслит городками здоровья и школами физкультуры. Он норовит породнить всех людей с воздухом, солнцем и водой. Он гордится соляриями и гимнастическими школами, выстроенными при его участии. Он говорит на медицин-

ские темы убедительно и охотно. Кстати, когда он приезжал на Украину, его там встречали именно как врача и советовались с ним по физиотерапии.

Хотите стать сторонником мелких проточных озер для городской детворы, где бы она могла полоскаться летом, как, например, в Вене? Задумайтесь над вопросом, почему это в городах фонтаны струятся исключительно для красоты, когда они могут быть превращены в уличные души для людей?

Если вам не кажется пустою прихотью, когда приезжающие к нам иностранцы жалуются на тяжелый стол, где так мало овощей и фруктов, поговорите с доктором медицины Фридрихом Вольфом.

Существует недоверие к людям совмещенных профессий. Общеизвестны насмешливые поговорки, вроде: «Лучший поэт среди авиаторов и лучший авиатор среди поэтов». Так говорят о талантливых дилетантах.

Про Вольфа-писателя кто-то сказал: он стреляет навскид и из пятнадцати раз попадает один замечательно. В этой формулировке существенно не столько разовое гениальное попадание, сколько теза о пятнадцати выстрелах навскид.

Действительно, Вольф пишет с необычайной легкостью и импульсивностью. У него чутье настоящего газетчика. Он издали угадывает очередную тему в воздухе современья. Перо в работу! И вещь уже готова. О ней можно спорить, насколько она глубока и своеобразна, но всегда бесспорно то, что она современна и своевременна, темпераментна, талантлива.

Вольф — драматург-газетчик, драматург-репортер, вернее, даже не репортер, а фельетонист. (Я считаю это высочайшим качеством у писателя.) Именно по-газетчески он всегда очень хорошо чувствует драматургическую ценность сенсации, своеобразность эпизода. Примечательна его приверженность к такому газетнейшему роду искусства, как радиопьеса.

Вот одна из них: «Джон Д. завоевывает мир», стремительный скетч о жизни Рокфеллера. Старт этой пьесы в 1861 году. Двадцатидвухлетний клерк Рокфеллер начинает свое дело двумя тысячами долларов, взятых взаймы.

В 26 лет у него семьдесят две тысячи. В 31 год у него миллион и только что основанная «Стандарт Ойл-Компани».

В 42 года у него семьдесят миллионов долларов, он нефтяной король, создатель нефтепроводов, победитель в знаменитом «ламповом походе» на Китай, внедрившем в каждую китайскую фанзу керосиновую лампу, а вслед за лампой керосин марки «Стандарт Ойл-Компани».

В 60 лет основной капитал его треста двести миллионов долларов.

Сейчас ему — 93. Он может спокойно отвалить пять миллионов церковной общине, десять миллионов на закупку Рафаэля или Рембрандта для нью-йоркской галереи.

А в противовес этой капиталистической эпопее об одном из самых хищных волков буржуазной конкуренции Вольф пишет радиоповесть о героях наших дней — повесть о подвиге ледокола «Красин».

В качестве мотто для этой вещи взята реплика ленинградского металлиста Мескина, призвавшего товарищей отчислить десятую часть недельного заработка на организацию спасательной экспедиции.

В этой повести не все ладно. Немного в христианском разрезе страктован весь подвиг «Красина». Романтично? Пожалуй. Но это органический романтизм Вольфа, шагающий с ним издалека, из его интеллигентской юности, сквозь войну, и медленно превращающийся в отчетливый и простой, именно в простоте своей особенно потрясающий, реализм нашего социалистического боя.

Первая пьеса Вольфа «Черное солнце» — утопическая комедия о том, как жители будущих веков обнаружили в ледяной глыбе предпринимателя военного времени и оживили его (напрашивается параллель с «Клопом» Маяковского). У директора сохранился электрический фонарик, люди объявляют его богом, принесшим на землю солнце, и заставляют его священнодействовать. А в действительности «бог» — лавочник и мещанин — норовит удовлетворить свои мелкие страстишки.

Следующим классом политической учебы для Вольфа был 1923 год, бои в Ремшейде. Он вел пролетарские красные сотни в бой против капповских белогвардейцев. Эти бои могли кончиться для врача-писателя плохо. Он был взят в плен и посажен в подвал — наутро грозил расстрел. Но посаженных было много, подвал был ветх, до рассвета они выбрались и ушли к своим.

Путч Каппа был сбит, но раздавлено было и вооруженное коммунистическое восстание. У пролетариев не хватило союзников. Не отсюда ли тема крестьянина, к которой Вольф возвращается настойчивее, чем многие другие германские писатели?

В романе «Креатура», непосредственно выросшем из ремшейдских эпизодов, ставится вопрос о превращении деревенского батрака в пролетария. А роман «Бедный Конрад» берет того же крестьянина во времена крестьянских войн. Много позже, накануне прихода Гитлера к власти, в годы политических колебаний и раздумий германского крестьянства, загоняемого кризисом в нищету, Вольф пишет пьесу «Дело крестьянина Бетца».

В дни красного Рура создана была книга новелл о горняках — «Борьба в Коленпоте». Этой книгой Вольф вошел в школьные хрестоматии.

«Искусство — оружие» озаглавливает Вольф политическую брошюру по вопросам искусства. Но буря и натиск послевоенных лет затихают на время. Марка из бумажной становится золотой. Наступает период относительной стабилизации и удвоенной безотносительной эксплуатации пролетариата.

Прежние радикалы начинают издавать пацифистские ноты в духе Лиги наций.

В это время Вольф с ячейкой синдикалистов из военноувечных на клочке государственной земли пытается создать нечто вроде сельскохозяйственной артели. Они корчуют лес, в болотах роют торф. Инвалиды приводят землю в плодоносящий вид, отстраивают себе жилища. Но истекает срок аренды, и государство предписывает вернуть землю. Колонисты сжигают все ими построенное и садятся в тюрьму. Вольф — с ними.

Этот эпизод стал основой пьесы «Колонне Хунд». Эту пьесу впоследствии с большим успехом ставит режиссер Вангенгейм в Берлине, в дни кровавого мая 1929 года. Вангенгейм говорит, что от названия этой пьесы

родилось имя одного из лучших агитколлективов германского самодеятельного театра — «Колонне линкс».

Пьесы Вольфа прорываются на сцены буржуазных театров в ореоле политического скандала. Они жгутся, царапаются, увечат.

В финале «Колонне Хунд» рабочие с красными знаменами идут на выручку строителям трудовой колонии.

Директор театра потребовал:

— Какие угодно флаги — черные, зеленые, но только не красные.

Репетировали с черно-зелеными. Но среди статистов было много красных фронтовиков. Премьера прошла благополучно, начался финал, рабочие вступили на сцену. Шаг... два... И вдруг вся сцена затрепетала маленькими красными флажками, выдернутыми из-за пазух...

Рабочие квартала расстреляны в Берлине. Социал-демократы говорят рабочим: «Нечего соваться на улицу! Сидите дома!» Коммунисты требуют: «Улицы — пролетариату!» (1929 год). Вольф пишет пьесу «Та-ян просыпается». На вид эта пьеса китайская, а в действительности сквозь китайские очертания проступает сегодняшняя Германия.

1930 год. С неожиданной стремительностью идет вверх кривая роста фашизма, и Вольф, угадывая стержневую тему, пишет пьесу «Монсовские парни» на тему о штурмовом отряде. В основу он кладет сенсационный эпизод с руководителем английского фашизма капитаном Кемпбеллом, который оказался женщиной. Но театра для постановки этой пьесы ему в Германии найти не удалось.

Японские пушки громят Чапей, растут дивиденды снарядных заводов, все грозовее становится чернота кризиса. И с обычной своей стремительностью газетчика Вольф делает радиопьесу «От Берлина до Шанхая».

Если вы спросите газетчика, какое из своих произведений он любит больше других, он ответит: последнее написанное.

Но Вольф больше других своих вещей любит «Матросов из Каттаро». Эта пьеса живет несколько отдельно от календаря событий. Это почти документальное произведение, сделанное по рассказу участника востания, флотского офицера. Вольф ценит «Матросов из Каттаро» даже выше «Цианкали», значительнейшей его пьесы.

Потрясающий успех «Цианкали» не только в Германии, но и за ее пределами создал Вольфу как писателю международно звучащее имя. Пьеса эта сильна не только потому, что неутомимый снайпер попал в самую центральную точку социальной мишени. Особая сила этой вещи еще и в том, что на ней скрестились оба Вольфа — Вольф-врач и Вольф-драматург. Во всех прочих произведениях материал брался со стороны. Здесь он взят изнутри, из основной профессии, из производственной биографии автора.

Эта пьеса стала классической в агитационно-боевом репертуаре коммунистов всех стран. Она родилась из недр борьбы против § 218, воспрещающего аборт, этого волчьего законодательства буржуазии, ставящего под удар судьбу женщины-матери.

Вряд ли в кодексах капиталистических государств окажется много параграфов такой подлой популярности, как § 218. Он преследует врачей не только за совершение абортов, но и за удостоверения, что аборт нужен, если без него жизни женщины грозит опасность.

У § 218 есть не менее гнусный брат — § 184, которым воспрещается всякая, даже врачебная, пропаганда противозачаточных средств.

Запрещается именно научная пропаганда в интересах охраны материнства. Продавать? Пожалуйста. В уборной каждого ресторана или кабаре, на стенке лестницы, ведущей в уличный писсуар, висят автоматы, в которые можно опустить монету и получить пакет с презервативами. Возможна надпись на автомате вроде: «Не забудь меня купить». Или фирма резинщика.

Впрочем, здесь эти предметы предлагаются не столько в интересах матери, сколько в интересах предусмотрительного гуляки. Также в германских кодексах законов, видимо, нет параграфов, запрещающих существование специальных магазинов сексуальной литературы, перед порнографическими витринами которых стынут побледневшие подростки. В германских кодексах нет статей, борющихся с притонами и театрами-варьете, у дверей которых швейцары сообщают предупредительным шепотком в ладошки: «Накт-балет (то есть «голый балет»). Совершенно, сударь, голый».

Впрочем, пьеса «Цианкали» оказалась всего первым актом длительной драмы на тему о праве работницы на аборт.

Акт второй наступил через два года.

В 1931 году некий социал-демократ, посмотрев на штутгартской сцене «Матросов из Каттаро», заметил Вольфу:

— Это будем вам стоить головы.

— Они до меня добираются,— говорил Вольф весной 1931 года, в бытность мою у него.— Я чувствую глухую возню вокруг себя.

Он оказался прав.

Через четыре дня после моего отъезда в дом-куб вошла полиция. Из всех вещей в доме ее больше всего интересовала картотека, перечень пациентов. Вольфа вызвали в арестный дом и посадили.

Может быть, я ошибаюсь, но в моей памяти штутгартский арестный дом ассоциируется с тяжелыми розоватыми казенными стенами медицинской академии, той самой, из которой полтораста лет тому назад сбежал, не выдержав казарменной муштры, вольнолюбивый военный фельдшер, он же драматург — Фридрих Шиллер.

Одновременно с Вольфом арестовали женщину-врача Кинле. Основанием для ареста были доносы врачей социал-демократов. Вольф и Кинле якобы противозаконно занимались производством абортов в целях обогащения.

Защитники § 218 двигались широкою цепью. Папа римский только что издал свою энциклику, начинающуюся словами: «Касти конубии», что по-русски значит: «Во имя чистоты брака». Это злобное и подлое циркулярное письмо обрушивалось на право женщины самой распоряжаться своим деторождением. Католическая печать травила Вольфа и его союзников с тем же остервенением, с каким она за несколько недель до того, в связи с процессами вредителей в Москве, визжала на страницах своей прессы об ужасах, чинимых безбожниками-большевиками.

Однако процесс Вольфа был состряпан не только грязными, но и неумелыми руками. Кинле предъявили список ста шести якобы прерванных

ею беременностей. При проверке этих ста шести фамилий семеро из них оказались принадлежащими мужчинам.

Следователь, допрашивавший Вольфа, возмущался, как смел врач предписать женщине противозачаточные.

— Это преступление,— говорил следователь.

— Нет, это гуманность,— отвечал врач.— Она пролетарка, и у нее уже восемь человек детей.

— Это преступление,— повторил следователь.— Может быть, в лице того девятого, который по вине ваших противозачаточных не родился, мы потеряли спасителя Германии.

Ответом на подготовку процесса была общественная буря протестов против § 218. Не только коммунистическая, но вслед за ней и вся леворадикальная печать встала на защиту Вольфа. Газеты, пробовавшие замолчать процесс, платились падением тиражей.

Вольфу удалось вырваться из-под ареста, и он немедленно бросился в объезд городов с докладами о § 218.

Я слушал его в берлинском «Спорт-Паласе». Двенадцать тысяч человек наполняли зал. Ближе к трибуне люди стояли вплотную, а трибуна и стол президиума казались плотом на человеческой пучине. Вольфа и Кинле встретили цветами и криками. Слова оратора падали в совершенно перенакаленную массу.

— Несмотря на параграф двести восемнадцатый,— спокойно говорил с трибуны Вольф, и слова эти, увеличенные до размеров пушечных ядер, радиогрохотом проносились над слушателями,— несмотря на запрет, в Германии происходит миллион абортов в год, из которых лишь шесть тысяч попадают в лапы суда.

Двадцать пять тысяч женских трупов складывается в год к подножью параграфа двести восемнадцатого. Это умершие от неудачного аборта.

— Позор! — негодует зал. Негодует высоким женским голосом.

— Восемьдесят тысяч женщин возвращается ежегодно в семьи изувеченные абортом.

— Долой! — огрызается зал.

— Говорят, будто параграф нужен, дабы не падал прирост населения. Не там ищут. В Советском Союзе, где аборты разрешены, прирост двадцать три на тысячу. А в Германии, где аборт запрещен, прирост вдвое меньше — двенадцать на тысячу.

— Да здравствует Советский Союз! — отвечает зал.

— Кричат о культур-большевизме,— продолжает Вольф,— а знаете ли вы, что в СССР на тысячу рожениц приходится только три случая родильной горячки, а в Германии,— слушайте, слушайте! — пятнадцать на тысячу. Пят-над-цать!

После митинга на улице я видел, как шуцманы били Вольфа резиновыми палками только за то, что он вышел окруженный группой слушателей.

В Южной Германии священники в проповедях удерживали прихожанок от посещения докладов Вольфа. Фашистские хулиганы бросали надутые воздухом презервативы женщинам, пришедшим на митинг, крича: «Это вам нужно!»

Вольф выступает перед рабочими одного из крупнейших металлургических комбинатов Рура. Рабочие там голодали так, что у детей ноги начинали становиться «мармеладными». Это те страшные мягкокостные ноги детей военных лет, когда за отсутствием жиров их питали только свекольным сиропом, по-немецки — «мармеладе».

Здесь шла неугасимая война между рабочими и фашистами, которые совершали налеты на жилища коммунистов. Здесь можно было встретить рабочих с шрамами от фашистских ножей за один только выкрик: «Да здравствует Москва!»

Аудитория была человек триста. В середине доклада пронеслась весть — фашисты громят квартиры, чтобы сорвать митинг. Оставленные патрули смяты. Аудитория сказала оратору:

— Повремени, товарищ!

Триста сношенных тусклых рабочих велосипедов захрустели спицами по направлению к жилью. Атака была отбита, караулы утроены. Тогда аудитория в полном составе вернулась, заняла места и сказала оратору:

— Продолжай, товарищ! Мы тебя слушаем.

Прошло несколько месяцев. Я сижу рядом с Вольфом на эстраде зала Заводов в московском ПКиО. Из-за дощатых стен зала слышна музыка, голоса гуляющих и удары волейбольных мячей. А в зале скамьи полны. Настороженное внимание, веселые глаза, вскинутые навстречу этому красивому, ладно сложенному парню из Германии.

— Пусть товарищ Вольф расскажет про фашистов.

И Вольф начинает, к удивлению присутствующих, по-русски:

— Товарищи, я скажу...— но языка на большее не хватает, и он продолжает по-немецки:— Вы знаете лейтенанта Шерингера? Это крупный фашист, посаженный в тюрьму за попытку фашистского переворота. В тюрьме он сблизился с коммунистами, стал читать Маркса, Ленина и в конце концов объявил о своем переходе под коммунистические знамена. Когда я делал доклад в городе Ульме, на митинг явился штурмовой отряд этого самого лейтенанта. Фашисты пришли, чтобы сорвать доклад. Их попросили об одном: в течение получаса спокойно прослушать факты и цифры. А когда эти полчаса прошли и штурмовикам дали слово, они взошли на трибуну под красные знамена, сорвали с рукавов свастики и заявили, что будут стоять караулом, оберегающим безопасность трибуны.

Фашисты затевают процесс против меня,— продолжает Вольф,— но они не рискнут довести дело до судебного разбирательства, ибо оно обратится против них.

Вольф был прав. Угрозы устроить процесс остались только угрозами. Суд не состоялся. Был приговор без суда.

Этот приговор был приведен в исполнение штурмовиками Геббельса в тот знаменитый вечер, когда книги Вольфа легли в фашистский костер, и огонь, охвативший их, стал той лучшей рецензией, на которую может рассчитывать в наши дни писатель-коммунист.

Вольф ненавистен фашистам втройне: он коммунист, он еврей, он революционный писатель.

Когда коричневые гончие бросились за ним, его ждала месть за все — за «§ 218», за «Матросов из Каттаро», за «Монсовских ребят», за шерин-

геровскую дружину. Но он ушел от них на лыжах по мартовскому снегу пограничных гор.

Ушел ходким шагом ежедневно тренированного физкультурника, и «рокост» помог ему не задохнуться на этом бегу.

Эмиграция по-разному отзывается на писателях. Одни ее переживают болезненно и замолкают. Другие как бы теряют прицел и ищут темы на боковых линиях.

Если сравнить уход в эмиграцию с отступлением, то Вольф — это боевая часть, отступившая в самом блестящем порядке.

Я думаю, он и часу не потерял для своей работы. Пожалуй, в его биографии не отыщется таких наполненных самой отточенной, яростной и меткой литературной работой лет, как годы антифашистской эмиграции.

Именно в эти годы его пьесы приобретают широчайшую международную слышимость. Антифашистские пьесы Вольфа взрываются подобно хорошим гранатам.

«Трагедия Христиана Бетца» шла в Штутгарте изо дня в день. Она шла и в вечер, когда горел в Берлине рейхстаг, и на следующий день, вплоть до момента, когда в зал ворвались штурмовики и палками разогнали аудиторию.

Восьмого апреля (значит, через месяц с лишком) штутгартская полиция ликовала, выловив из реки Некара мешок, в котором оказалось триста экземпляров «Христиана Бетца», этой, как выразилась полиция, «провокационной вещи, прославляющей насильственное противодействие властям».

Это струхнувшие издатели пытались сплавить с фашистских глаз опасный груз взрывчатой литературы.

После первого представления «Матросов из Каттаро», еще в 1931 году, публика не расходилась из зала до двух ночи, хотя давно уже был спущен железный занавес.

— Скажите им что-нибудь, чтобы они ушли! — взмолился к Вольфу директор театра.

Вольф сказал:

— Товарищи! Надо не только рукоплескать, но и кое-чему выучиться. Например, научиться поступать не так, как «Матросы из Каттаро», а как матросы из Кронштадта!

На другой день малоосведомленный в географии и истории критик написал в газете: «Если вы, сударь, подразумевали под кронштадтскими русских матросов, это заявление может стоить вам головы».

И через два дня Вольф был арестован.

Пьесы Вольфа идут всеми театрами мира, как хорошие солдаты антифашистской армии. Фашисты знают цену его пьесам.

Когда весною 1935 года в Цюрихе, вблизи германской границы, театр поставил «Мамлока», фашисты забросали выходящую публику бомбами-пугачами и руганью.

Тринадцать вечеров они держали театр в осаде, так что даже полиция тихого города Цюриха вынуждена была стать лагерем у театра, чтоб охранить принципы демократии.

Площадь около театра напоминала военные маневры. Здесь были бро-

невики, прожекторы и даже четыре гидранта. А фашистская пресса ближайших германских городов буквально задыхалась от бешенства по поводу «наглых проделок еврея-эмигранта», позволяющего себе издеваться над Третьей империей у самого ее порога.

Вольф ездил в Америку, где его пьесы идут на Бродвее и где его слова о неизбежной победе советской Германии были поддержаны рукоплесканиями пяти тысяч человек, присутствовавших на открытии первого всеамериканского писательского съезда.

— Ты не можешь себе представить,— говорил Вольф после поездки,— до чего неизбежную социальную реакцию порождаем мы везде, где возникаем. Достаточно мне было появиться в магазине, в кафе, в холле гостиницы, и сразу присутствующие распадались на два лагеря: союзников и врагов.

Вольф возвращался в Советский Союз на океанском лайнере, где были и бассейны с морской водой для плавания.

Купающихся обслуживали специальные стюарды, вымуштрованные, движущиеся как на шарнирах люди с непроницаемыми физиономиями, ловящие каждое движение клиентов, которые, уходя, вручали им чаевые, принимаемые с корректным поклоном. Вольф выкупался, был вытерт стюардом и, уходя, протянул ему, согласно общему порядку, монету.

Но стюард не принял. Вольф спросил:

— Мало?

Быстрым движением стюард поднял руку, сведенную в кулак, к плечу жестом «Рот фронт».

— Отдать эти деньги в Межрабпом? — шепнул Вольф.

Стюард стремительно кивнул головой и снова застыл в позе непроницаемого автомата.

Во время плавания на пароход пришло известие о гибели самолета «Максим Горький».

Вечером в салоне шел обычный дансинг. Вольф же с оказавшимся на пароходе приятелем ходил по палубе, обсуждая катастрофу.

И вдруг их тихо окликнули из-за угла. То были кочегар и какой-то стюард, видимо только что с работы,— люди, которым на эту палубу вход строго запрещен.

Они узнали Вольфа, прочтя его фамилию в списках пассажиров, и пришли попросить его, едущего в Советский Союз, принять их соболезнование.

Кочегар сказал с величайшим негодованием:

— Эти там, внизу, позволяют себе танцевать, когда сегодня разбился «Максим Горький»! Ну, ничего! Дождутся они!

А через день в каюту Вольфа постучал один из радистов парохода. Когда Вольф открыл ему дверь, он сказал только:

— Слушайте! Они строят уже три новых!

Это был не коммунист и, по существу, человек чужой, которому никакого дела не было до куда-то, в дальние каюты, закинутого пассажира. Но он знал, что этот пассажир из Страны Советов, он знал, что у Страны Советов горе, и он пришел утешить этого человека, быть может бессознательно чуя, что это горе есть и его собственное горе.

ОСКАР МАРИЯ ГРАФ

— Откуда в твоем имени эта женственная «Мария»? Тебе ее дали благочестивые родители-католики? Или, быть может, прав анекдот о тебе, будто ты это имя вписал в свои документы на пари?

— Ничего подобного! Происхождение «Марии» литературно и профессионально.

В литературу я прищел из хлебопекарни. Мюнхенская газета напечатала мою фронтовую новеллу. Я подписался «Оскар Граф». А через несколько дней получил письмо от редакции о том, что профессор Оскар Граф, живописец при ставке главнокомандующего, требует изменения подписи, ибо иначе создается впечатление, будто он пишет о военных событиях, чего делать он, однако, не смеет.

Пришлось стать Оскаром Граф-Бергом.

Берг — родное селение Графа.

— Но это имя не понравилось некоему снобу-символисту, отравленному стихами Стефана Георге настолько, что даже жесты и манеры были у него от Георге.

«Оскар Граф-Берг, фу как примитивно! — сказал он.— Надо назваться ну хотя бы Оскар Мария Граф». (Несомненно, мысль его шла от испанского поэта-символиста Хозе-Мария Эредиа.)

И я сразу согласился, решив, что когда буду писать о пустяках, оставлю подпись — Оксар Граф-Берг. А когда напишу что-нибудь стоящее, подпишусь «Оскар Мария Граф».

Впрочем, все это есть в моей книге «Мы в ловушке». Прочитай. Забавная биография. Много происшествий.

Я еще тогда не читал этой книги. Но поверил.

Происшествия клубятся и пузырятся за ним, подобно пене за винтом парохода. Да и сам он — воплощенное происшествие.

Как мне забыть скошенные глаза и поджатые губы особого сорта чрезмерно застегнутых, чрезмерно самоуважающих, чрезмерно подозрительных моих сограждан в дни писательского съезда в Москве!

— Зачем он в этот шутовской костюм разоделся? Кому нужно, чтобы он выставлял свои жирные коленки из этих дурацких трусиков? Разоделся, как цирковой борец или шарманщик. И перышки на зеленую шляпу насадил.

Губы презрительников сжимались так плотно, что обращались в дощечку, а от слов оставался один только шип:

— Ишш! Бесс-сс-стыдный шшут! Подумаешшь!

А Граф оглушительно хлопал себя по розовым коленкам громадными пятернями, смеялся во все зубы, раздвигая в стороны глянцевитый румянец своих фальстафовских щек, и объяснял:

— Это ж удивительно, до чего меня знают по штанам, а не по книгам!

Штаны у меня веселые, книги скучные. Каждый думает, будто я в этот костюм оделся специально, чтобы его позлить. Но ты понимаешь, я толстый. Во всяком другом костюме я буду потеть: ведь сейчас лето. Это ж крестьянский костюм моей родной Баварии...

И, уже увлекаясь:

— Во-первых, дешево. Все, включая шляпу с перышками,— сто марок. А сколько носите! (Указательный тугой палец вверх.) Вот эту шляпу таскаю семь лет. А ведь штаны, заметь, они только лет через пять настоящими штанами сделаются, когда пропотеют да заскорузнут как следует. Баварцы говорят: настоящие штаны должны так застыть в своей форме, чтобы, быв поставлены на пол, не завалились.

Жирный смех и умение кушать так исправно, что родная мать, сухонькая набожная баварская старушка, скрестив руки, замечает из-за спины: «Глядя на то, как ты ешь, Оскар, приобретаешь нечестивый аппетит».

Шумный бурш, величайшее наслаждение для которого отравлять жизнь своим деловитым знакомым по местечку утренними заходами не вовремя. Придет, рассядется и наблюдает, как они злятся на вторжение и в то же время из вежливости не решаются выгнать по-честному.

Так вот и ходит, плечистый и толстый. Кожаные подпруги подтяжек по белой рубахе, фальстафьи веселые лапищи. Поставь его сниматься в середину группы, немедленно же двух соседей облапит. Особенно если эти соседи — соседи. Облапит примерно такой же привычной хваткой, какой забирал под мышку трехпудовые мешки, когда в юности работал у мельника. Сутулая его чудовищно громадная спина сплющена этими мешками. Вечерами после работы отдирал он закровенившуюся рубаху вместе с кожей...

— Прочитай «Мы в ловушке». Там и это есть. Только тогда я был длинным и костлявым от худобы. Уж и больно же было! — смеется он весело, вспоминая об ужасах детства своего без раздражения, иногда как бы удивляясь: могло же такое случиться?

Умные глаза смотрят из-под выпуклин большого, по-детски большого лба.

Как была бита эта голова! Бита кулаком, канчуком, поленом. Можно даже подумать, что пальцы его толсты потому, что вспухли, защищая голову от ударов, нанося которые приходил в истощение его старший брат Макс, страшный мордобоец и пугало семьи.

Но уцелел. Смеется, вспоминая. И смехом ему отвечает улица.

— Эх, борец, борец! — кричат уличные мальчишки, скача за ним по панелям Ростова.

— Выйдите, гражданин, из магазина! Продавать невозможно! Видите, сколько народу набежало! — говорит ему обескураженная продавщица в Тифлисе.

Стоило ему в московском парке культуры и отдыха оторваться на десять шагов от переводчика, началось происшествие. Девушки махали ему руками, парни теснились к нему и заговаривали.

Он смеялся и тоже махал ладонью. В ногах сгрудившейся толпы, виясь, шныряли малолетние самодеятельные «хулиганы, в просторечии

ругаемые пацанами или шкетами». Их интересовала плотность баварских штанов.

Граф ощутил укол булавкой. Он издал вопль, в который вложил знакомое русское слово, правда, неизвестное по смыслу: «Хорошо!» Окружающие, приняв это за краткий спич, зааплодировали. Укол повторился.

— Спасибо! — прокричал Граф в отчаянии второе знакомое ему слово.

Никто ничего не понимал. Граф схватился за подвернувшегося милиционера и, бормоча: «Писатели... писатели...», был доставлен к автомобилю.

Рассказывал он об этом происшествии с большим аппетитом и совершенно незлобиво. Может быть, потому, что врагами были ребята, и притом сосредоточенно изобретательные. Точь-в-точь такие, каким он сам был в детстве, когда между пастьбой коровы и ночной работой в пекарне изобретал на чердаке, вдали от кулаков брата, всякие не виданные еще миром приспособления, например самооткрывающуюся пробку или снималку для сапог. А затем рассылал торговым фирмам письма с предложением реализовать эти изобретения и подписывался без тени издевательства: «Оскар Граф, изобретатель».

Он знал, что так делают серьезные взрослые, и сам пробовал жить всерьез.

Внешне он лентяй и тихоход, ненавистник записных книжек. В совместной нашей поездке по Советскому Союзу как издевался он над спутником своим, поэтом Эренштейном[1], который упрекал его за отсутствие блокнотов.

— Мой дорогой мизантроп,— грохотал Граф, имитируя пальцем запись у себя на ладони,— столбики цифирочек тебе все равно не помогут.

И, быстро успокоясь, шел дальше, сутулый, ненавязчивый, пристальноглазый, давая мелочам легко стекать с памяти.

Весомое остается.

И вот двадцать книг за семнадцать лет работы, где и сборники стихов, и монографии о художниках, и новеллы, и романы.

Граф гордится тем, что он не только немецкий писатель. Он и баварский писатель. Среди его романов есть написанные на диалекте, а также сборники рассказов, построенные подобно старым календарям, где каждому дню была посвящена соответствующая занятная история.

«Баварский Декамерон» — сборник очень сочных эротических новелл, широко распространенный везде, где говорят на верхнемецком диалекте.

Граф знает цену диалекту и любит его как родник и освежитель всякого языка. Поэтому его очень встревожило, как бы ведущаяся у нас в советской литературе борьба за чистоту языка не обратилась против диалекта.

И в то же время он — человек точнейшей литературной работы. Диалектное изобилие клубится у него над крепкой и простой языковой основой. Не назову его ювелиром языка. В ювелире слишком много скрупулез-

---

[1] Эренштейн Альберт (1886—1950) — немецкий писатель, экспрессионист, в ранних книгах выражал пацифистский протест против войны 1914—1918 гг. Умер в США.

ной лупы и неподвижности больших мышц. Скорее — токарь по металлу слова. Он знает толк в смысловом весе слов, он знает цену стойкости верно построенного оборота.

— На моей странице все должно быть взвешено и точно. Если я запутаюсь в фразе, то обычно отбрасываю испорченную страницу и переписываю ее сызнова.

Список читанного Графом был громаден уже к семнадцати годам. Он глотал Шекспира и Шопенгауэра, Штирнера и Гейне, Стриндберга, Ницше и Мопассана, Бальзака, Ведекинда, Ибсена, Золя, Шиллера, Флобера... Его учителями были Достоевский и Толстой.

— Ты, Оскар, вероятно, любишь Рабле? — говорю я, глядя на его обширные щеки, и ошибаюсь.

— Нет. Я не люблю Рабле, я люблю Дон Кихота.

Удивительно: Фальстаф, а любит Дон Кихота. Вот так немец!

— Прочитай все-таки «Мы в ловушке». Прочитай, если хочешь понять, что такое немцы.

Чувствую, как и в день знакомства с Брехтом, что передо мной человек, знающий изнутри тугое бюргерство и ведущий с этим бюргерством спор всеми строками своих книг.

И в то же время он сам, конечно, до конца ногтей немец, даже внешностью своей напоминающий того плакатного «боша», которым французские няньки пугают капризничающих детей.

В годы моего школьничества немца дразнили: «Цирлих-манирлих, ганц аккурат».

Сквозь десятилетия нашей литературы проходит этот немец. «Хлебник, немец аккуратный» Пушкина, и педантичный Карл Иваныч из «Детства и отрочества», и трогательный в музыкальной экзальтации тургеневский Лемм, и жестянщик Шиллер из «Невского проспекта», который:

> «...был совершенный немец в полном смысле этого слова. Еще с двадцатилетнего возраста размерил всю свою жизнь и ни в коем случае не делал исключения. Он положил вставать в семь часов, обедать в два, быть точным во всем и быть пьяным каждое воскресенье.
>
> ...Аккуратность его простиралась до того, что он положил целовать жену свою в сутки не более двух раз, а чтобы как-нибудь не поцеловать лишний раз, он никогда не клал перцу более одной ложечки в свой суп».

Этот облик у германского мещанина, ремесленника, домовладельца, лавочника сохранился, оказывается, и по сей день. Устойчивый облик, с трудом размываемый едким током истории.

Над этим обликом потрудились многие. В нем суровость цеховых и гильдейских правил, обязательных для средневекового гражданина. Скрупулезная честность мастера, для которого доброе имя фирмы — всё. Патриархальная семья до сих пор чувствуется в немце. На фоне государственной расчлененности и порабощенности семья в Германии была сильнее, чем в других странах. Врага нельзя было опрокинуть силой, его приходилось преодолевать культурным напряжением изнутри. Ячейкой этой куль-

туры была семья, подпираемая круговой порукой внутри приходской общины.

А чего стоит прусская казарменная канцелярская муштра, которую бюргер принял с благоговением, ибо именно она сделала его гражданином мировой державы, его, вчерашнего подданного мелких княжеств и королевств.

Я рассказал Графу, как мой квартирохозяин в Берлине нашел на полу чужой пятикопеечный карандаш и два дня мучился, не находя его владельца.

Ему посоветовали оставить карандаш себе. Он ужаснулся. Эта форма присвоения была ему нестерпима. В ней отсутствовал тот «обрядовый титул», который был нужен еще древнему римлянину, когда торжественными церемониями так называемой виндикации совершалось над вещью великое таинство принятия в собственность.

Карандаш жег хозяину руки. Он созвал жильцов и в последний раз спросил: не их ли карандаш? Услышав «нет», он на виду у всех сломал его и бросил в мусорную корзину.

И успокоился.

— Успокоился? — мрачновато замечает Граф.— Я знаю, зачем такому успокоиться надо. Чтобы с тем большим спокойствием и совершенно безжалостно взыскать с квартиранта, как бы он беден ни был.

И рассказывает, как у него в Мюнхене такая же вот совестливая квартирохозяйка не постеснялась всю последнюю одежду заарестовать, пока не будет заплачено ей несколько марок за пятно на скатерти.

Мы говорим с Оскаром об удивительной прямонаправленности немцев. Каждый данный момент немец (конечно, речь идет все о той же классической разновидности немецкого бюргера) может делать только одно какое-то дело, мобилизуя на это всю свою психику и все свое чувство долга.

Мы вспоминали чиновников, которые идут в свои бюро по утрам берлинскими улицами. Эти люди, только что оторвавшиеся от утренней чашки кофе, уже на ходу вступают в исполнение служебных обязанностей. У них выдвинуты нижние челюсти, в бровях многозначительность зевсов-громовержцев, осанка говорит о величайшем самоуважении, а походка их уже не походка, а марш.

Француз устроен по-иному. У него есть двойное зрение. Он, делая работу, в то же время умеет каким-то уголком глаза следить за совершающимся рядом. На самом серьезном марше он ухитрится ущипнуть кого-нибудь и во время торжественнейшей речи сделает игривое замечание в сторону.

Я рассказал Графу про неприятный случай, бывший со мной в почтовом отделении маленького германского городка.

Чиновник принял от меня заказное письмо в окошечко. Стол его был как алтарь. Все на нем было разложено под абсолютно прямыми углами. Чиновник, прочитывая адрес, держал письмо, как дароносицу.

Он безымянными пальцами заправил в рукава высунувшиеся манжеты, и началась мистерия превращения частной писульки в вещь, на которую сходит святой дух государственности.

Он взял слева папку с марками, раскрыл перед собой, вынул початый лист, оторвал ленточку розовых марок, положил на письмо, закрыл папку и возложил на прежнее место, следя, чтобы края ее совпали с краями стола.

Он взял папку справа и с теми же предосторожностями отделил синюю марку. Она легла на письмо впереди ленточки розовых. Он отщипнул от рулончика, по которому без конца шло «заказное, заказное», полоску длиной в одно слово, пододвинул стеклянный валик с водой, снял со шпильки квитанцию для заказных писем, положил около конверта, придвинул чернильницу...

И в этот миг черт меня дернул забыть, что шутить в присутственных местах не только непристойно, но и опасно.

Посетителей на почте было мало. Время текло вяло. Уподобляя в писательском воображении синюю переднюю марку паровозу, а следующие за ней, розовые, вагонам, я сказал очень приветливо, хотя и достаточно неуместно:

«Тут у вас целый поезд марок на конверте уместился».

Рука чиновника застыла в воздухе, и он произнес, впрочем не повернув лица ко мне: «Письмо отправится не поездом, а воздушной почтой».

Я поправил:

«Речь о марках. Марки напоминают поезд».

«Марки на поезде не продаются. Марки продаются в почтовом отделении...»

Настала страшная пауза. Лицо чиновника медленно и изумленно повернулось ко мне.

«Извиняюсь, херр постмейстер, я хотел только пошутить. Мне эта синяя марка напоминает паровоз, а розовые вслед за ней — цепь товарных вагонов. Не правда ли?»

Детские глаза чиновника стали звериными, лицо — красным; он хлопнул ладонью по столу и захлебнулся криком:

«Неуместные шутки, сударь! В служебное время! В официальном месте! Бесстыдство! Отсутствие минимального уважения к человеческой занятости!»

Он употреблял только абстрактные термины.

«...Что вы позволяете себе думать, сударь?! Это издевательство, сударь!»

И он бурно забегал по маленькому своему помещению, схватив за спиной ладонью ладонь и двигая пальцами престиссимо.

— Ты представляешь себе мой конфуз, Граф?

Но граф уже исходил хохотом во все тридцать два зуба, хлопал в ладоши, как маленький, и кричал:

— Правильно! Здорово! На немца попал! Разве ты не знаешь четыре великих принципа: пфлихт — что значит общественный долг; грюндлихкейт — основательность: анштендихкейт — благопристойность и трейе — верность. Ты влопался, бедняга, не зная, что немец ничего не делает просто. Он всегда выполняет долг. Даже когда поет в своем хоровом ферейне. Даже когда веселится.

Ты видишь, каких страшных уродов может плодить наше общество?

Ты понимаешь теперь, до чего реалистичны шаржи Георга Гросса? Я и сам должен был стать таким. Меня к этому готовили. Но я не стал. Я вырвался. Читай мой роман «Мы в ловушке». Там сказано все. Читай.

Я прочел эту книгу.

Первый немецкий читатель, которому рукопись ее попала в купе вагона, говорят, просмеялся, как сумасшедший, от Лейпцига до самого Берлина.

«Lustig und Gemütlich!» — говорит Граф о своей книге, лукаво серьезничая: «Весело и уютно».

Не знаю, мне от нее было никак не весело. А порою даже пробирало холодком по коже.

В этой книге дана жизнь сына пекаря из баварской деревни от детства его и до дня гибели Советской баварской республики.

Отец — инвалид франко-прусской войны: окостенелая рука. Прожектер-неудачник, самолюбивый спорщик, всегда готовый вспетушиться. Ненавистник чиновников и судей. Бедняк, презираемый состоятельными владельцами экономий, сумевший жениться на дочери такого эконома, за что ее жалело все село. Он — ворчун и задира.

Управляющий приезжего князька, покупавший у него хлеб, предложил ему титул «поставщика двора».

Вместо того чтобы просиять, раздраженный пекарь обиделся.

«Спасибо, ваша светлость, но я не хочу иметь большего, чем каждый честный предприниматель, знающий свой долг и долги».

Вечный прожектер, он промотал приданое жены.

Мстил судьбе за незадачливость пьянством. Пытался оправдываться:

«Человек по-настоящему вскрывается в вине».

Тон его всегда был груб.

Как-то односельчане похвалили ему пение его детей. В глазах старика блеснула удовлетворенность, но он ответил безразлично:

«Вопят с голодухи, вот и все».

Он врал. Дети никогда в этой семье не голодали.

Чувство, что все на свете происходит из-за материальных благ, было в нем сильно. Он так объяснял сыну причины Тридцатилетней войны:

«Тилли и Валленштейн дрались из-за древесины».

Среда — маленькие собственники, у которых будто когти вырастают на пальцах, когда они бьются за свою собственность.

Жестокая домашняя муштра. Тяжелый и беспощадный труд. Искреннее желание мальчика поступать так, как поступают взрослые, кажущиеся ему образцами. Мечта о внезапной денежной удаче, но результаты, похожие на издевательство. Маленький Оскар изобретает. Но изобретения приносят убыток, ибо запатентовать стоит семьдесят пять марок. А предприниматели не отвечают на его письма с предложениями, хотя подписаны они: «Оскар Граф, изобретатель».

Уже юношей, сбежав в город, Оскар делает то же с литературной работой: пишет, как маньяк, и рассылает во все журналы, а в свой блокнот записывает столбики денежных поступлений, веруя, что за печатанием дело не станет. Ведь посланное не хуже многого, что печатается в журналах.

Человек пытается рассуждать «по совести» в мире капиталистических фантомов. Когда эти фантомы рассыпаются, неустойчивая психика кровоточит.

В эпилоге книги, как бы оглянувшись на пройденный путь страниц, Граф рассказывает самые потрясающие эпизоды, которые ломали его такое, казалось бы, прочное в деревенской наивности мироздание.

Ребенком он был болезненно религиозен. Готовясь к причастию, он верил словам взрослых, что бог войдет в него через облатку и освятит его изнутри. Его запугивали повестью об адских муках за неверие. Мальчик жил в состоянии непрерывного страха: а вдруг согрешу? Часто половину ночи он не спал, выборматывая молитвы. После каждой еды он полоскал рот и фанатически чистил зубы. Бог в виде причастия должен был войти не только в чистую душу, но и в чистый желудок.

Состояние блаженства, когда мир, казалось, расплывался, становясь нереальным, сменилось тяжелым чувством греховности и обреченности. Он с завистью смотрел на старших, которые ежегодно причащались. Но что было самым страшным: все из года в год глотали бога, но не изменялись ни на йоту. Отец, вернувшись после причастия, немедленно напивался и устраивал в доме пьяный дебош, как всегда.

Мальчика потрясало: почему же все остаются неизменными, несмотря на то что бог входил в них? Страшное подозрение охватило его. Неужели все были святотатцами? Всех ждали адские пытки...

Мальчик часто плакал в темной спальне. Его мучили кошмары. После отцовских дебошей он забивался на сеновал и корчился там, ожидая, что вот-вот тяжелая молния божьего гнева ударит в отца.

Но вот пришел день, когда его самого повели к первому причастию. Он раскрыл рот в предчувствии блаженства и ощутил облатку на языке. Ему казалось, сейчас он должен вспыхнуть изнутри. Он должен стать лучезарным, но...

> «...ноги шли точь-в-точь как прежде, ничего изнутри не загоралось, все выглядело, как и раньше. Ничего не изменилось. Священник солгал. Никакого бога не было в облатке. Вообще не было никакого бога. Не было ада. Мой страх, мои молитвы, мои слезы — все это было зря. Не было никакого бога, никакого покоя, никакого чуда, никакого преображения. Не было ничего. Совсем ничего».

Вторая травма была, когда Оскар впервые узнал женщину. Он это долго предчувствовал в своем воображении, не смея в подавляющей застенчивости своей не только коснуться ее, но даже приблизиться к ней.

Первая женщина, которая сама сказала ему: «Пойдем со мной», была старая хихикающая проститутка с городского перекрестка. Она привела его в свою комнату. Когда первый пароксизм прошел и медленно вернулось чувство реальности к неуклюжему конфузливому парню, он захотел смеяться, говорить, но вместо этого горестно заплакал и стал сбивчиво рассказывать свою жизнь. В страшном одиночестве человека, извергнутого родной средой, потерявшего бога и семью и никого не нашедшего вза-

мен в жестоком городе, где знали только власть денег, показалось, что он нашел родного человека.

Он рычал, выл, всхлипывал на всю комнату в полуистерическом припадке:

> «...Возьми все! Делай со мною что хочешь! Ты! Ты! Ты мне так дорога! Я хочу на тебе жениться! Ты мне нужна! Ты! Ты! Я буду работать! Я сделаю все! Ты! Ты!»

Перепуганная проститутка поспешила вытолкнуть его на улицу, и он ушел вдоль массивных домовых стен в ночь, в страшную обреченность, с убитою верою в чудо, с убитою верою в любовь.

Людей кругом не было. Идей тоже. Оставалось последнее, за что можно было ухватиться. Собственное «Я».

«Я» было реальностью. Все остальное — фантомы, облака, призраки.

Война загнала Графа в казарму. Его учили тянуться, шагать, отдавать честь начальству. И тут чувство серьезности, державшее Оскара в путаном переплете действительности, покинуло его.

Дело было так. Новобранцы шагали вокруг фельдфебеля, маленького, круглого и крикливого, держа руку у козырька и крича: «Здравия желаем!»

И вдруг вид фельдфебеля напомнил Графу «чижика», которого в детской игре надо было подбрасывать ударом палки. Вспоминались смешные стишки про коротышку, который, взлетев, лопнул под облаками. И новобранца Графа прорвало смехом. Шлепает подошвами по земле, рука у козырька, глаза заведены на фельдфебеля, а непристойный смех раздирает губы.

Фельдфебель удивился, прикрикнул, затем завизжал, затопал ногами, заскакал подобно мячу. Но странный новобранец не унимался. Смех перешел в хохот, хохот стал судорожно неистов, и солдат от хохота упал наземь. Он лежал, держа руку под козырек, сучил ногами и хохотал в небо.

Уже в этой сцене читатель чувствует некоторую неловкость. Он теряет чувство сотрудничества с героем книги.

Вспомните «Бравого солдата Швейка». С ним бывают диковиннейшие приключения, он попадает в положения двусмысленнейшие, необычайные. Но он всегда сохраняет содружество с читателем, как бы подмигивая ему. Швейк — это тот сказочный хитрец, который заставляет врага попадать в дурацкое положение даже тогда, когда, казалось бы, попадает в дурацкое положение сам.

У героя книги «Мы в ловушке» это иначе. Правда, он тоже противопоставлен вражескому лагерю, всем этим предпринимателям, которым пишет письма,— домовладельцам, хозяевам хлебопекарен, офицерам, врачам-психиатрам, палачу-брату и полицейским всех стран, но он так же оторван и от читателя. Он идет своей странной одинокой дорогой — дорогой замкнутого в себе юродивого, и мы следим за ним с мучительной внимательностью людей, перед глазами которых улицу, беснующуюся автомобилями, трамваями, экипажами, переходит слепой.

Есть в книге еще эпизод. После отказа Графа выполнить приказ офицера в фронтовой полосе его ведут солдаты на следствие. Возможно, что его расстреляют. Конвоиры сосредоточены на страшной мысли о судьбе своего товарища, и вдруг арестант начинает петь.

И снова мы, читатели, чувствуем, что эта песня, подобно тому смеху, есть не признак мужества человека, сумевшего перебороть естественный ужас гибели. Это просто поведение субъекта, который не отдает себе отчета в совершающемся.

Томас Манн встретил книгу «Мы в ловушке» восторженной рецензией, где есть фраза:

«...Легкая идиотия, глубокий юмор...»

Идиотию надо понимать, конечно, не в обыденном ругательном смысле. Речь идет об идиотии как об индивидуальном смысле. Речь идет об идиотии как об индивидуализме, доведенном до абсурда. Как о таком своезаконии поведения, которое совершенно не считается с порядком окружающей среды.

В этой «идиотии», в чрезвычайной настойчивости импульса, в абсолютной серьезности поступков одержимого Оскаром Мария Графом найден тот художественный образ человека не от мира сего, который помогает автору так же оплеушить мир господ, как с позиции хитрой придурковатости Швейка хлещет его Гашек, как с позиции идиотии лирической освистывает его Чарли Чаплин, как с позиции идиотии героической атакует его Дон Кихот.

Полубессмысленный смех новобранца Графа (впрочем, социально он очень осмыслен), смех настойчивый, неприятный, пристальный, перекликается с другими страницами этой же книги.

Вот рассказ о том, как Оскар со сверстниками мстил человеку, который их избивал, а главное, расстроил их веселое и дружное охотничье сообщество.

Этот человек, старший брат Оскара, Макс — воплощение жестокой германской военщины.

Как мстили дети:

> «...По воскресеньям мы разрушали скамьи общества благоустройства, председателем которого был Макс, вырывали недавно посаженные деревья или поджигали какой-нибудь стог сена. Мы ненавидели своих односельчан...
>
> Мельник оставил среди пашни свой железный плуг. Мы его разобрали и разбросали части на все четыре стороны. Хозяин кафе построил на холме будку. Мы трудились четыре воскресенья, пока она не отделилась от земли и, грохоча, рухнула с холма. Бургомистр выпустил своих жеребят на луг. Мы отвели воду из соседнего ручья на этот луг, разложили посередине костер и загоняли скотину так, что она совсем запарилась; потом мы открыли загородку луга, и жеребята убежали. Мы воровали скатерти с накрытых в саду харчевни столов и сжигали их».

Так с детства готовились будущие разрушители для годов мировой войны.

Но здесь же были и первые семена той вражды к мучительному и ненавистному порядку, которая впоследствии могла дозреть до бунта.

Это ребячье разрушительство не прошло бесследно.

Оно въелось в психику, как болезнь.

Граф мне рассказывал, каким забавам он предавался уже взрослым у одного своего приятеля-художника, владевшего крохотным поместьем.

Хозяин любил прыскать сонного Графа водою в лицо. Его забавляло, как великан свирепел спросонья. Граф стал запираться. Хозяин, просверлил потолок над постелью и снова брызнул водой.

Граф в отместку приколотил хозяйские ботинки и туфли гвоздями к полу. Хозяин за обедом зажег под столом несколько петард и шутих. Люди с обгорающими брюками попадали со стульев.

— Sehr gemütlich! (очень уютно),— говорит Граф серьезнейше, подымает указательный палец и издает два коротеньких свиста, которые у него играют роль восклицательного знака.

— Дорогой Оскар,— пытаюсь я комментировать,— но ведь легкая идиотия ваших забав очень напоминает пресловутые забавы Макса и Морица?

— А как же иначе? — соглашается он.— «Макс и Мориц» ведь произведение, в высокой степени отмеченное национальным духом.

Граф недолго побыл солдатом. Из его своезакония было только два выхода — или в тюрьму, или в психиатрическую больницу. Он попал в желтый дом.

Общество моральных уродов и социально искалеченных людей извергло из себя того, кто сослепу пошел наперерез движению рядов этого общества, ибо «я» казалось ему единственной опорой.

Все связи с окружающим были утеряны. Не потому ли пережил Граф длинную полосу полной потери речи? Может быть, для человека, который остался один в целом мире, язык и не был нужен?

В те же самые месяцы, когда подозрительные врачи кололи булавками и опрашивали в сумасшедшем доме солдата Графа, в другом госпитале отсиживался Георг Гросс, бегством в наркотики спасался Бехер.

Покинув «мы» своего класса, ощутив капиталистический мир как уродство и преступление, еще не так легко было обрести «мы» пролетарских рядов, где ждало спасение и возрождение. Для этого надо было перемучиться войною до конца и выйти на подступы революции.

Не у всех выходцев из буржуазии, которым суждено было стать впоследствии бойцами за социализм, этот путь пролег так легко и ясно, как, например, у Пискатора или у Джона Хартфильда, которые были коммунистами с первого дня революции.

Сначала мне показалось — есть два Графа. Один живой, которого я знаю, умеющий рассказывать о большой и тяжелой жизни своей с еле видной улыбкой в углах рта, с чуть заметной интонацией усмешки. У живого Графа есть двойное зрение на себя самого. Тот, который в книге,— человек сгущенной серьезности. Тот Граф сосредоточеннейше действует, мня себя субъектом и не подозревая, что он — только объект пристального и безжалостного наблюдения «этого» Графа.

— Вы разные,— говорил и писал я Графу настойчиво.

— Нет, это я сам,— не менее настойчиво утверждал писатель.

— Ты нарочно сгустил в изображении себя элементы идиотии и одержимости? Ведь даже в автопортрете художник всегда односторонен.

— Нет. Ты не знаешь тех времен. Они страшные. Это все было именно так.

Думаю все же, прав был я.

«Я скорчил кислую мину», «Я улыбнулся хитро» — таких вещей не пишут, если нет пафоса расстояния между художником и его автопортретом, если художник не смотрит на себя со стороны.

Во всяком случае «Мы в ловушке» — одна из самых безжалостных и откровенных книг на свете. Писатель относится к себе с совершенной беспощадностью. Нет ни одной самой постыдной мелочи, которую бы он со спокойствием анатома не вскрыл на странице.

Порою хочется сравнить по откровенности эту книгу с «Исповедью» Руссо.

«У этой книги одна задача — быть человеческим документом той эпохи»,— пишет Граф в предисловии.

Все обнажено у него и в интимной и в социальной жизни. Вот человек бунтарски замахнулся на мучителя рукой, но вместо удара кулак разжимается, и просящая ладонь протягивается за монетой к тому, кого внутренне презирают. Один шаг отделяет здесь громилу от попрошайки, хитрость от наивности, удаль от прострации, подвиг от подлости, богомольство от богохульства.

Простейшим вещам человеку приходится учиться на собственной шкуре, несмотря на все прочтенные книги.

Знакомый ремесленник приглашает его к анархистам. Граф идет, забывает адрес и обращается за адресом к полицейскому.

Проходит много лет, эта наивность повторяется. Графу поручают напечатать пораженческие прокламации. Он сдает этот «заказ» в частную типографию. У него непоколебимое убеждение: содержание бумаг не должно интересовать типографа. Его должны интересовать деньги, которые будут уплачены. В результате Графа и его сообщников арестовывают.

Знакомую девушку покинул сожитель. Графу очень ее жалко. Он не знает, как ее утешить. Он предлагает ей выйти замуж за него. Так начинаются мучительные годы бессмысленного брака с болезненным, ограниченным, а главное, нелюбимым человеком.

Непосильная, каторжная работа на бисквитной фабрике доводит до совершенного отупления. Пресс труда завинчен до последнего витка, дальше одно: собрать остаток энергии в ослепительный фокус злобы и устроить беспамятный погром.

Где путь?

В мире было сказано столько умных слов, но которые же из них правильны? Ежеминутно чуешь рядом столько человеческих дыханий, но это — либо такие же слепые и несчастные, как и ты сам, либо враги, ждущие схватить тебя за глотку. В лучшем случае — это холодные безразличники.

Растениям, тем легче. У них солнце, к нему и тянутся. Но как быть человеку, если единственное солнце его — это деньги?

Скудно приходят эти деньги в ответ на изнуряющий труд. А так соблазнительны повести об удачливости, о находках, открытиях, о случайностях, приносящих золото, а вместе с ним уверенность, спокойствие, довольство,— словом, все, что можно купить, начиная от котлеты и автомобиля и кончая стихами и поцелуями.

Вот и тянет на выклянчивание субсидий, стипендии у меценатов и меценатиков или в каких-то бессмысленных литературных благотворительных организациях. Вот и не стыдно нахлебничать в качестве приживалы и «дворцового шута» некоего голландского шибера-спекулянта.

Вот уже сам начинает спекулировать. Но не хватает оборотливости, а главное, всегда назойливо терзает мысль о выходе в какую-то настоящую жизнь.

Где путь?

Каждый точит сквозь мрак действительности свои собственные извилистые ходы, и каждому нет дела до соседа. Хорошо еще, если человека держит поток однотипных с ним особей. Тяжело, медленно и вязко идет жизнь деревни, скрепленная подозрительной верой в бога и суеверным страхом перед биржевою пляской цен.

У чиновников есть свой кастовый язык.

Вот рабочие, их цементирует профессиональное тяготение друг к другу и интуитивная неприязнь к хозяину, хищнику, паразиту, титулу. У них свой язык — язык ферейнов, собраний, стачек.

А что делать таким, потерявшим свой коллектив промежуточникам, как Граф?

Самое ужасное — у человека нет масштабов. Факты лежат рядом одинаковые, измеряясь лишь длительностью да степенью субъективного впечатления.

Какой-то профессор, прочтя пару юношеских его стихов, требует писать драму, обещает стипендию.

О, не здесь ли путь к славе?

Взрослый человек мочится в постель и наутро с ужасом размышляет: не сигнал ли это о конце? Не венерик ли он? И вот уже перепуганная жена бежит за доктором, и, беспомощный, дрожит, охваченный страшными предчувствиями, человек перед врачом, веселый хохот которого не сразу успокаивает его, страдающего воспалением мочевого пузыря...

Не стать ли духовным вождем? (Мало ли их кругом!) И вот появляется реклама: «Журнал «Целина», орган независимой мысли. Редактор-издатель Оскар Мария Граф».

И, словно клуб дыма, истаивает «Целина», не завербовав ни одного подписчика.

Война кончалась, нарастала злоба. Уже бывали схватки около булочных. Уже кричали женщины, что император Вильгельм — это главный шибер.

Уже пронеслась весть о февральской революции в России. Впрочем, весть радовала недолго.

«Эти Керенские продолжают вести войну»,— скорбно говорили в очередях. Эта революция оказывалась не настоящей революцией, способной вывести мир из бойни.

Появились миролюбивые письма папы Сикста[1].

Не здесь ли выход?

Австрийское правительство заявило о желании мира.

Может быть, тут конец войны?

Люди на улицах слипались в толпы, полицейские расшвыривали их. Раскалялась атмосфера политических митингов. Граф попал на собрание. Тут он впервые увидел Эрнста Толлера[2], который произносил речь против войны:

> «Воспламененно, в экстазе, с дикой жестикуляцией и искаженженным лицом, извергал он чувства, владеющие им. Он дрожал, словно лихорадя, и пена была на его губах. Мне он показался совсем черным. Глубокие черные глаза, черные густые волосы, прекрасные брови и чуть с желтизною лицо.
>
> — Слушайте, матери! — снова и снова восклицал он, озаряя художественно-риторическим пламенем ужасы войны.
>
> — Слушайте, братья и сестры!
>
> Он зажигал всех. Некоторые женщины плакали или сатанели.
>
> — Долой войну! На виселицу Людендорфа! — вторили ему все.
>
> — Всеобщая стачка! — кричали анархисты.
>
> — Вооружение народа! — требовали независимцы и спартаковцы.
>
> — Уничтожить все машины, бастовать! Перестать делать что бы то ни было! — зарычал долговязый и страшно худой юнец с горящими в глубоких орбитах глазами загнанного животного.
>
> Это был Граф».

Одни кричали ему: «Анархист!»

— Берегись, парень, тебя заберут,— предупреждали другие.

Но парень уже сорвался с цепи.

— Плевал! Пусть забирают! Но это должно начаться!

А потом, отдышавшись в своей комнатенке, впадал в новые сомнения: чему же быть дальше? И шел к профессорам, которые так здорово умели говорить.

> «...Рабочие работают, крестьяне пашут и боронят. А эти люди объясняют, что правильно, что неверно, что законно и противозаконно, нравственно и безнравственно. Словом, эти люди задают всему тон. Они повелевают».

Эти люди так жонглировали словами «дух» и «духовная сущность», умели придавать простым словам так много трудноуловимых смыслов,

---

[1] Неточность. С 1914 по 1922 г. папой был Бенедикт XV, которому и принадлежит упоминаемое в тексте послание воюющим сторонам (от 1 августа 1917 г.) с предложением о мирных переговорах.

[2] Толлер Эрнст (1893—1939) — немецкий писатель, принимавший участие в создании Баварской Советской республики. После подавления ее был посажен в тюрьму. В ранних произведениях испытал влияние экспрессионизма. Во время фашистской диктатуры в Германии находился в эмиграции и 22 мая 1939 года покончил жизнь самоубийством.

что парень на момент начинал перед ними чувствовать почти безотчетный страх.

Но медленно в упрямую голову парня забивались первые сомнения в подлинной полезности этих людей, из которых:

> «...один часами мог толковать о словоупотреблении в каком-то верхненемецком стихотворении. Другой исходил исследованиями о психологическом принципе в творчестве Ницше. Третий рассуждал о богопочитании в древности и в наши дни. Последний читал об «уголовном праве и его основах в современном государстве».

А парень переводил глаза с профессоров на студентов, удивляясь — до чего же у них одинаковые лица, и думал:

> «Пройдут года, одни из них выйдут в профессора и заговорят, взойдя на кафедры, другие станут судьями, чтобы судить его и его детей, третьи сделаются священниками, чтобы читать проповеди. А иные станут чиновниками и, возвысясь до высоких должностей и чинов, будут им управлять».

И снова мысль не находила выхода, и накипавшая злоба вела к взрыву:

> «Любой старьевщик с помойных ям мне дороже этих студентов и студенток! — вскипал парень».

И, словно задувая вспышку, махали на него профессора руками, говорили: «Вы рационалист. Вы нигилист. Вы забыли, что университет — вышка национальной мудрости».

И заводили разговоры о моральном ядре нации и о германском духе.

Метания и вспышки Графа были только показателями общей расплавленности. Революция стояла на пороге.

Женщина читала на улице Мюнхена газету, стоном отвечая на сообщение о новом наступлении. Но через ее плечо жадные глаза Графа уже ловили совсем другое:

> «...Революция в России. Керенский свергнут. Петербург и Москва в руках революционеров. Власть рабочих и крестьян в России».

Словно потрясенный электрическим разрядом, вырвал Граф чужую газету и закричал стоящему рядом человеку:

> «— Человек! Слушай! Революция! Революция!»

Он был как в бреду. Ему было ясно:

> «...Революция начинается. Во всем мире. Все станет совсем, совсем другим...»

— Для России, пожалуй,— заметила черство владелица газеты.

А человек, к которому он обращался, промолвил насмешливо:

— Вы романтик.

Но чудо уже совершилось. Новая сила вошла в сознание. Граф ринулся к своему другу:

> «...Революция! Революция! — жужжал, свистал, пел и клохтал,

я, врываясь в квартиру.— Ого, ого! Теперь начинается! И в первую очередь полетят эти университеты с их духовным дерьмом! Революция!»

Прошло немало времени, пока Граф начал приходить в себя:

«...Теперь и у нас революция не заставит долго ждать. Может быть, она начнется завтра, даже сегодня!»

Он ликовал.

Мне это место кажется значительнейшим в книге и в биографии. Впервые свет резанул по глазам человека, слепо ходившего во тьме. И человек зазвучал, как натянутая до отказа струна.

Тема Октября вошла и осталась.

Пусть снова набегал мрак. Неистовствовала полиция. Иронизировала и умничала в студиях художественная богема. Тяжело рожала нелюбимая жена.

Но снова прорезали мрак газетные строки о брест-литовских переговорах, и великое сочувствие вызвал образ безоружной страны, против которой, вымогая волчий мир, двинулись германские полки вместе с белогвардейскими отрядами.

Брест запомнился. Эхо его отдалось через восемь месяцев, когда Германия стала на колени перед союзниками.

В книге рассказано, как стенали потрясенные бюргеры над газетой, где было написано про перемирие и отречение императора. Им казалось, что все погибло...

— Это вам отплата за Брест-Литовск! — крикнул тогда из толпы рабочий с изможденным от голода лицом и в растерзанной солдатской куртке.

И никто не смог ему возразить.

Накал достиг точки плавления. Невиданно бил в улицах Мюнхена прибой народных толп. Залы политических дискуссий стали зажигательными агитационными трибунами.

Эрих Мюзам во весь голос кричал с трибуны (это было еще задолго до перемирия):

— Спросите фронтовиков, как они относятся к миру? — и требовал у женщин, чтобы не прекращали демонстраций за мир.

И снова вскочил Граф, распаленный, чувствуя в себе нарастание темного рокота революции, и, трясясь всем телом, прокричал в кипящий котел аудитории:

— Революция придет! Она идет уже! Я призываю солдат перестать повиноваться и выйти из казарм!

Он почувствовал, что может быть искрой, зажигающей сочувственного восторга.

Он почувствовал себя не одиноким, ибо вслед за ним вскочил на трибуну другой и прокричал:

— Правильно! Уничтожай оружие! Кончай со всей этой лавочкой!

А третий, тоже никому не известный, уже откликался с галереи:

— Не пройдет и трех дней, как это начнется. Да здравствует мировая революция!

Бюргеры криво ухмылялись. Газеты ругались: «Вшивые дезертиры!»

Но в тех же газетах через день появилась весть о кильском восстании, о красных флагах на мачтах военных кораблей, о том, как сдалось адмиралтейство Совету солдатских депутатов.

Все было в смятении — и в митинговых залах и в сознании.

Граф метался от постели жены к уличным толпам, от встревоженных профессоров к попойкам и дебошам у спекулянта.

«Плюнь! Какое тебе до всего дело?» — сказал ему иронически внутренний голос.

Но тут через секунду он понял, что этот голос — ложь, и ему есть дело до всего. Буквально все происходящее — это его кровное дело.

Массы вышли на улицы Мюнхена. Они уже не боялись ни полицейских, ни солдат. Шли матросы занимать правительственные здания. Шли крестьяне, предводимые слепым широкоплечим вожаком Гандорфером. Казармы падали по пути шествия одна за другой.

Уже Совет рабочих депутатов выбирал правительство, во главе которого стал литератор Эйснер. Бавария становилась независимой республикой.

Прежний одиночка шел в толпах, кричал с толпами, бросался вместе с толпами на солдатские шеренги.

Раньше это было только «я», отъединенное от всех остальных. Сейчас произошло обратное. Он потерял себя, свое имя и волю и стал только пассивно беснующейся каплей общего взволнованного океана.

И ему нравилось это растворение нацело в массе.

Но как в детстве с ожиданием преображения, так и сейчас события шли не так, как смутно ожидалось. Новая эпоха не распахивалась во всей своей лучезарности. Правда, на стенах выклеивались плакаты против шиберов, но шиберы хитренько улыбались и продолжали спекулировать. Студенты в университетах устраивали белогвардейские заговоры.

А по улицам то и дело проводили рабочих, арестованных за самочинные выступления и вмешательства в государственные дела.

Пока кто-нибудь из вождей говорил с трибуны, казалось, что все ясно и все в порядке. Но стоило ему замолчать, вновь начиналась толчея мнений и чувств.

Однажды раздосадованный чем-то Граф бросился в ландтаг за советом. Караул не пропустил его. Он немедленно заругался:

— Эта революция еще хуже, чем императорские времена!

— Повремени,— успокаивал старый рабочий.— Дай нам добраться до оружия и установить новую власть.

— Значит, опять воевать? Но ведь ты же пацифист?

— Для такой войны я не пацифист.

Этого Граф не понимал.

— Зачем стрелять? — завопил он.— Просто нужна всеобщая стачка! — повторил он запомнившийся на митингах лозунг анархистов.— Никому воды! Никому хлеба! Никому перевозок, и они сдадутся! Только обязательно, чтобы это делали все! А стрельба... мы же все время агитировали против войны?!

Была мысль: вот спартаковцы возьмут оружие, Карл и Роза распорядятся. Тогда пойдет по-правильному.

Реакция ответила осадным положением, карательными экспедициями Носке, убийством Розы и Карла.

В Мюнхене началось контрреволюционной демонстрацией студентов, потом раздались пять выстрелов из-за угла ночью в Мюзама. Антисемитские листовки появились на стенах и прилавках лавчонок. Курт Эйснер был убит.

Около его трупа поднялась новая волна народного негодования. Создалось правительство, с виду советское, в действительности же полное соглашателей и предателей.

Каратели подступали к Мюнхену. На попытку восстания внутри города Советы ответили созданием подлинной советской республики с коммунистом во главе. Впервые буржуа почувствовал на своей холке руку пролетариата-диктатора. Но было уже поздно.

Грохотали пушки под Дахау. Белые генералы вели офицерские и студенческие роты приканчивать советскую власть.

Улицами Мюнхена к местам боев шли вооруженные рабочие с винтовками за плечами. Шли молодые, шли старые, с обветренными морщинистыми лицами.

Быть может, тут впервые по-настоящему заглянул Граф в лицо пролетарской революции, и краска горького стыда бросилась ему в лицо. Он поспешно вытащил из кармана пачку папирос, чтобы угостить хоть чем-нибудь проходившего мимо старика с винтовкой и с морщинами сурового долга на лице.

Принимал парад красной армии матрос Эгельхофер. В открытом окне стоял он и обращался к проходившим, время от времени подымая свой сжатый кулак.

Красная армия изнемогала на фронте. Уже независимцы призвали сдавать оружие, чтобы начать переговоры с врагом. Только коммунистические отряды бились до конца.

Начался отток рабочих, поверивших призыву. Они возвращались в Мюнхен и отдавали свои винтовки доверчиво, не предполагая, что через два дня за ними начнут охотиться ворвавшиеся в город белогвардейцы, а притаившиеся мюнхенские буржуа вылезут из щелей и, надев на рукав бело-голубую повязку, кинутся с револьверами приканчивать всякого, на ком чудится грозный отблеск пролетарской революции.

Эгельхофер расстрелян. Ландауэр убит.

Граф метался по улицам, где шла бойня. Он оказался с несколькими прохожими на углу улицы. На противоположном тротуаре залег солдат карательного отряда. Старая женщина торопилась перейти улицу. Солдат выстрелил, и женщина упала на мостовую.

Тогда из-за спины Графа вырвался мальчик. В руке у него был небольшой красный платок. Он кинулся к трупу. Солдат выстрелил вторично. Пронзительно закричал маленький, перекувырнулся в судороге и упал рядом со старухой.

Толпа, в которую был зажат Граф, металась под выстрелами от угла к углу, от подъезда к подъезду. Они все были бледны, потрясены, безоружны.

Большая мысль осветила сознание:

«Мы в ловушке!»

И эти слова не только стали заглавием книги. Они значили, что у человека по-настоящему раскрываются глаза на окружающий его мир хищников.

Военно-полевые суды работали день и ночь. Социал-демократ Густав Носке протелеграфировал сердечную благодарность генералам фон Офену и Мэлю за успешное проведение операции.

Граф ждал только одного — неизбежного ареста. Он желал этого ареста. Он понял наконец, с кем он и во имя чего.

Графа взяли на вокзале.

Тюремная камера была так переполнена, что люди были вынуждены спать стоя. Все бывшие в камере ждали одного — расстрела. Каждый новый, вталкиваемый туда, приносил сообщения одно чудовищнее другого.

Один сообщил: Левинэ-Ниссен взят.

И всем стало ясно, что ждет руководителя Советской Баварии, коммуниста Левинэ-Ниссен. Пришедший добавил, что Левинэ здесь, в этой же тюрьме. И вся камера насторожилась. Плачущие перестали плакать, дремавшие — дремать, утешавшиеся в углу азартной игрой бросили карты. Лица загорелись.

> «...Каждый поглядел в глаза другому долгим взглядом. Наступило немое молчание. Слышны были только чьи-то всхлипывания. И вдруг несколько голосов закричали: «Хох! Хох, Левинэ-Ниссен!» И это ударило, как возбуждающий сигнал. Кто-то взмолился: «Не кричите! Вы погубите нас!» Ему ответили: «Трус». И снова грянула камера: «Хох, Хох, Левинэ-Ниссен! Хох!»
>
> И уже неслись ответы из всех тюремных окошек, снизу доверху, справа налево. Вся тюрьма кричала: «Хох, Левинэ-Ниссен!» Во дворе защелкали затворы. Все бросились к окнам...
>
> И пока, бешено ругаясь, бежали конвойные к дверям камер, выкрик сменила песня. Тюрьма пела «Марсельезу». «Марсельеза» перешла в «Интернационал».

А когда кончился «Интернационал», Граф предложил спеть веселую «Смажьте гильотину» и подсказывал слова.

Когда Графа вызвали на допрос, он знал, что перед ним сидит враг, и он держался с ним нагло, как с врагом.

Когда стража ворвалась в камеру, все молчали. На вопрос «Кто пел?» был дан ответ спокойный и вызывающий: «Никто».

У него требовали свидетелей его невиновности. Он требовал: предъявите сначала обвинителей. Его снова вернули в тюрьму, потом перевели в другую.

Однажды ночью его вызвали. Он шел, уверенный, что это конец. Во дворе ему сказали: «Вы свободны».

Он шел, не чуя своих шагов. Ноги были чужими. За воротами тюрьмы ждала его женщина, которая должна была стать его второй женой.

В одну из ближайших ночей после расстрела Левинэ, в парке он встретил рабочего, сидевшего вместе с ним в камере. Рабочий рассказывал ему дрожащим от горя голосом суровую повесть о том, как убили его отца

в пивном погребе, как болела его жена, у которой случились преждевременные роды, как избивали его самого по дороге в полицию, его, четыре года гнившего в окопах, трижды раненного.

А ведь на заводе ружья были выданы всем. И он же свое ружье вернул. Не в силах совладать со слезами, рабочий шептал, припав беспомощно к Графу:

> «...Он был прав, этот Левинэ. Нас слишком много для тех. Мы ведь только у смерти в отпуску... Лучше бы они меня расстреляли».

Граф гладил его по волосам и говорил то, чего он никогда не смог бы сказать раньше:

— Не падай духом. Все это было не напрасно.

И тогда рабочий, тяжело вздохнув, поднялся со скамьи и поднял сжатый кулак. Голос его был глух и грозен:

> «...Когда это случится снова, тогда я буду драться. Я буду драться до последнего издыхания. Я буду по крайней мере знать, что это делается для меня... Этот час настанет».

И, пожав Графу руку, он ушел в темноту.

Граф хорошо запомнил ночной разговор на скамейке.

Я видел его у шуцбундовцев в Ростове. Там они работают на Сельмаше[1]. Они были рады ему вдвойне, втройне. Они радовались его кожаным трусам и зеленой шляпе с перышками. И толстым его щекам. И тому, что это Граф, чьи книги и соленые рассказики они читали у себя. И тому, что он умел им ответить на вопросы: «Где такой-то? А ты с моим дядькой не встречался? А деревню такую-то тебе проезжать не пришлось?»

А еще они радовались, что можно было с ним поговорить на верхненемецком языке родных деревень. Они обступали его, хлопали по пояснице, радовались, когда он хлопал их ответно или брал за плечи и дружески встряхивал.

Писатель сидел среди них преображенный. С него вместе с литературным немецким языком слетела и последняя тень интеллигентской насмешливой прищуренности.

Так мог бы сидеть в деревенской корчме, беседуя с односельчанами,— ну, дровосек, пришедший с гор, или усталый почтальон, вернувшийся из города и рассказывающий серьезные новости, или мастер-сыровар, обмозговывающий с работниками сыроварни, не пора ли вступить в союз.

Я видел, как тяжко нахмурился Граф, сутулясь как бы под очень тяжелым мешком, когда тусклыми голосами рассказывали ему товарищи про одного негодяя, который предпочел выпросить себе у фашистского правительства разрешение вернуться, предав за это восьмерых товарищей.

Я видел, каким напряженно-встревоженным взглядом уставился Граф в шуцбундовца, который начал ему ворчать на то, что с водопроводом нелады и питание в столовой не первосортное. И с каким веселым тре-

---

[1] В тридцатых годах на советских предприятиях работало много иностранных рабочих и специалистов.

ском хватил он этого собеседника по плечу, когда тот, подняв от половиц глаза свои, закончил задорно:

— Впрочем, чепуха! Это все мы поправим! Самое же главное — и у меня, и у жены моей, и у детей есть наше верное «завтра».

Закончил Граф свою повесть так:

> «...Сердце во мне теплело. Снова прошли передо мною картины, врезанные в память: толпы улиц, рабочая армия, тягостные ряды арестованных, трупы расстрелянных и вот этот один товарищ.
>
> И все становилось еще острее и неистребимее. А этот один товарищ превратился в легион.
>
> «Час придет»,— охватила меня внезапная радость.
>
> «Все это было не напрасно»,— повторял я в волнении. Мой крошечный заколдованный круг распался. Я стал бо́льшим, чем одно только «я». И великое счастье пронизало меня...»

Так закончилось перевоплощение человека, растворившего свое маленькое смятенное алчное «я» в расплаве бунта и вновь нашедшего это «я» рядом с товарищами по трудному и долгому походу, который называется революцией.

Всякий раз, когда я думаю о Графе и других интеллигентах, мучительно и вслепую находивших дорогу свою к Октябрю, вспоминаю иной случай, поразивший мое воображение.

Это было в Баварии. В окрестностях швабского города Аугсбурга. Может быть, то было даже недалеко от селения, где маленький Оскар таскал корзины с булками и пас корову.

Оснеженным плоскогорьем, издревле родившим ячмень — основу пива, лежала Швабия. Деревни обозначались католическими колокольнями, похожими на Ивана Великого.

По слякоти дорог медленно ехали подводы, в которые рядом с лошадью была впряжена корова.

Тихие стояли экскаваторы над черной дугой недоконченного канала, который должен был осушить болото.

Канал грозил полноводью речонки. На ней крутились три мельницы, и мельники требовали себе отступного больше десяти тысяч.

Двухэтажные каменные дома, со всех сторон изрешеченные большими окнами, стояли тихие и безрадостные. Хозяева в кладовых качали головами над полками сыров и масла, не зная, куда его сбыть, ибо скоро молоко обещало стать дешевле клевера, который скармливали корове.

В одних деревушках русских не уважали, потому что в католических журналах было написано, что они расстреливают всякого, кто идет в церковь молиться. В других деревушках русских уважали, потому что они недавно наезжали и закупили хороших племенных коров по хорошей цене, обнаружив хорошее знание дела.

Хозяин гостиницы, возивший меня по деревням, остановился в отдаленном сельце около постоялого двора и спросил лукаво:

— Хотите посмотреть соотечественника?

На облупленном крыльце нас встретил небритый, коричневолицый, с

подвешенным жировым подбородком баварец и спросил угрюмо на баварском диалекте, который прочие немцы понимают с трудом.

Спутник толкнул меня под локоть:

— Поговорите-ка с ним по-русски.

Я сказал:

— Здравствуйте!

Баварец побелел и шарахнулся, явно испугавшись меня. Я назвал ему себя и спросил, как зовут его.

— Травин,— ответил он.— Иоганн Травин.

— Иван? — поправил я.

— Нет, Иоганн. Я уже католик. А вообще мы воронежские...

Слова он произносил залпом, окончания их как бы размыло. Это был уже не язык, а воспоминание о языке.

Мешая русские слова с баварскими, он рассказал, что у него до сих пор живы старики в Воронежской губернии и они изредка пишут письма ему, попавшему в германский плен в 1914 году. Он батрачил у корчмаря, а когда тот умер, его взяла замуж вдова и прижила с ним вот этих самых рыжеватых Лизль и Хансль, ни слова уже не говорящих по-русски. Он до сих пор добивается немецкого подданства, но это не так просто, хотя ему помогает священник, обративший его в католичество.

— Хотел бы попасть к старикам, глянуть, как живут,— размечтался Иоганн.— Только не знаю, как с паспортом.

Жена глядела на него подозрительно. Она не понимала, но чуяла недоброе. Видимо, не в первый раз под этим тучным лбом шевелилась эта мысль, неопределенная, как у птиц весною позыв лететь на север.

— А вам старики что-нибудь писали о колхозах?

— Нет. И слова такого не встречал.

— О пятилетке?

— Я вас не понимаю.

— Советские газеты вам в руки попадали?

— Редко.

— Какая, «Известия»?

— Нет, название как будто короче.

— «Правда»?

— Нет, еще короче.

Я стал перебирать вслух короткие названия.

— «Труд»?

— Вспомнил! — обрадовался Травин.— «Руль» я читал. «Руль», «Руль»...

Это из белогвардейского «Руля» складывалась его информация о Советском Союзе. Мне стало понятным, почему он меня испугался. Это за ним пришли красные взять его, повинного в том, что он не явился вовремя, за это...

Наш разговор перешел на местные темы. Он жаловался, что жить трудно. Люди меньше пьют пива. Молоко с восемнадцати пфеннигов слезло до двенадцати, а к косьбе, наверное, падет до девяти. Батрака прямо держать нельзя, так это невыгодно. Осенью выдавать старшую дочь замуж, и

вот приходится продавать корову, чтобы сколотить приданое, потому что меньше чем с пятью тысячами ее не возьмут.

Беседуя, я делал мысленный перемонтаж этого человека. Он мог и не прижиться при корчмарке, а вернуться из плена после Брестского мира, ехать сыпнотифозными теплушками, выкидывая под откос обнаруженных офицеров. Он мог быть комбедом под Воронежем и комбатом под Батайском. Он мог бы восстанавливать заводы, приветствовать пионеров в первомайские дни. Веселым и возбужденным возвращаться с субботников. Тревожить куриные кости и лайковые руки мощей в соборах. Он мог бы сурово допрашивать прячущих хлеб кулаков; инструктировать колхозных трактористов. Быть бригадиром-ударником в МТС или начальником цеха на заводе и ощутить, наконец, розетку с профилем Ленина слева под плечом, там, где сейчас висел засаленный карман, за которым ожирелое пивное сердце баварского кулака.

Он угрюмо попрощался по-баварски. Уткнув в темно-зеленое сукно ношеной куртки жировой кадык, он стоял на крыльце, как вертикально поставленная колода. В этой колоде дотлевал воронежский солдат годов мировой войны.

У дорог, в память о человеческих гибелях, вбивают столбы.

Иоганн Травин мне кажется одним из таких столбов, воздвигнувшихся на обочине большой дороги наших дней. Человеческая жизнь искривилась, и человек погиб, вросши в отравленную стяжательскими и бессмысленными ядами почву той самой баварской деревни, из которой вырвался и унес себя, широкоплечего, ясного и мудрого, Оскар Мария Граф.

Еще раз оглядываюсь на книгу и дивлюсь, с какой исключительной беспощадностью к себе самому она написана.

Как много позорных мелочей опустил бы всякий, менее мужественный автобиограф.

Хочется, чтобы эта книга дошла до нашей молодежи, дабы эти ясные ребята, перед которыми раскрыты прозрачные горизонты времени, поняли, какая страшная и путаная ловушка — капиталистический мир и ценою каких кровоподтеков и вывихов достается одиночке выход из этой ловушки, возможный только в слиянии с массой на ее революционных путях.

Дни Советской Баварии навсегда оторвали диковатого, упрямолобого парня от чванных студентов, от беспощадных офицеров, от преисполненных самоуважения профессоров, от лавочников и домовладельцев, от всех тех, гаже и яростнее которых не бывает в среде гнусных хищников и пресмыкающихся, особенно когда они мстят за обиды, нанесенные их собственности.

Его эмиграция из гитлеровской Германии только завершила этот разрыв.

Фашисты ответили на его уход не только обыском, конфискацией книг и бумаг, разорением папок с собранными для будущих книг материалами.

Они учинили бóльшую гнусность.

Они внесли некоторые его книги (конечно, не «Мы в ловушке») в рекомендательный «белый список».

В великой ярости опубликовал тогда писатель свой протест, облетевший газеты всего мира:

«Сожгите меня!

Безграмотные писаки-конъюнктуристы и безудержного вандализма ныне властвующие правители сейчас пытаются свести на нет все то, что в германской литературе и искусстве имело мировое значение. Они пробуют заменить понятие «немецкий» узколобым национализмом, тем самым национализмом, произволом которого моих достойных товарищей-социалистов преследуют, заключают в тюрьмы, пытают, избивают или доводят до самоубийства.

И вот представители этого варварского национализма, у которого нет ничего общего с германским естеством, осмеливаются поместить меня на так называемую «белую доску», которая перед лицом мировой совести может быть только черной доской.

Я не заслужил этого бесчестия.

Вся моя жизнь и литературная деятельность дают мне право требовать, чтобы книги мои достались чистому огню костра, а не кровавым рукам и грязным мозгам коричневых бандитов.

Сжигаются творения немецкого гения. Он так же неистребим, как и ваш позор».

Крик писателя дошел до цели. Книги были изъяты из обращения. Квартира отобрана. Сам — лишен гражданства.

Он ответил на это антифашистским романом «Бездна», написанным уже в эмиграции.

В 1934 году Граф проехал по Советскому Союзу. Он видел много городов, собраний, заводов, школ. Но больше всего его поразил Вовка.

Мы были в пионерском санатории в Крыму, где лечатся присланные детдомами трудные, изломанные дети из беспризорников.

В честь приезда иностранных писателей они развели костер перед амфитеатром скамей и, освещенные скачущими вымпелами пламени, плясали, пели и читали лучшее, что могли.

Все они, выйдя на сцену, немедленно вступали в сложные отношения с аудиторией. Одни конфузились, другие бравировали, третьи как бы оправдывались.

Одному только Вовке не было никакого дела до аудитории.

Не по возрасту коротенький, большеголовый и озабоченный, он был занят только огнем. Он не ускорял шага, если его торопили подбросить полено в костер. Он знал свой темп и свои сроки. Он норовил бросить сухие листья или поленья в самую середину огня. Но пламя жгло ему лицо, и надо было спустить козырек. Но руки были заняты. Он сдвигал его на лоб сложным движением локтя, но с отвращением отверг чью-то снисходительную помощь.

В нем была уверенность человека, занятого своим делом и увлеченного им до полного забвения окружающего. Но дело было общественно полезным, и потому всех нас, и в первую очередь Графа, очаровало его слияние абсолютной индивидуальной целоустремленности («идиотия», вспомнилось мне замечание Томаса Манна) и общественного интереса.

Граф подозвал Вовку. Призыв настиг его, когда он тащил полено.

Он не кинул полена, не заторопился на зов. Нет. Он подошел к костру, обдумал, с какого конца лучше действовать, кинув в пламя обломок де-

рева, зашел с другого конца взглянуть, хорошо ли полено легло, обил ладони одну о другую, заложил руки за спину — и только тогда, не торопясь и серьезно, подошел к Графу.

Тот хотел было его попросту поднять на руки, но Вовка немедленно поднял свои руки, съежился и выскользнул.

Он совершенно не желал быть для кого-то куклой.

— Ну вот, я пришел! — сказал Вовка.

И почудилось, что большой — он, а перед ним стоит маленький и конфузящийся Граф, толком не зная, о чем говорить.

— Садись рядом,— сказал Граф, еще раз оглядел Вовку и в неистовом восторге ударил себя по коленкам.

Это Вовке понравилось, и он ударил себя так же по коленкам.

Но от Графа исходило восхищение, а Вовка был лишен сентиментальности. Скоро ему наскучило сидеть, и он снова ушел к огню. А потом прочел нам стихи по-настоящему, с хорошей, занятной жестикуляцией.

Море билось за садом. Пионерки пели. Граф дернул меня за рукав и сказал шепотом:

— Слушай, это же невероятно! Он даже не интересуется моими штанами? Они для него в порядке вещей! И в то же время — кто назовет его малоинтересующимся ребенком? Просто это ребенок иной породы.

— А может быть, обычный ребенок, но растущий в человеческих условиях Советской страны.

— Такой вырастет в настоящего человека.

Уже уехав к себе домой, в чешский город Брно, Граф вспоминал неоднократно о Вовке.

Впечатления, впитанные за время поездки, откладывались страницами писем. Писатель, знающий, какое чудо способна совершать над слепым одиночкой революция, даже неудавшаяся, изумлялся чудесам, которые совершает революция победившая. Он писал:

«Дорогие друзья!

Я пристально вдумываюсь, и мне кажется, что прежняя Россия мечтательно-негативной мудрости, Россия необъятной бездеятельности вымерла полностью, освобождая место новой России, девственно здоровой и почти по-детски оптимистической.

Этот исключительный, увлекающий оптимизм был лично для меня переживанием потрясающим.

Ведь человек, подобно мне более или менее знающий предреволюционную вашу литературу, способен все это пережить и перечувствовать гораздо интенсивнее, чем те, кто в этой литературе не осведомлен.

Милые, хорошие друзья! Разве же не неслыханный путь пройден от обломовской России к стране активных ударников?

Сопоставьте разуверившегося, истощенного, меланхолически сомневающегося чеховского земского врача хотя бы с врачом санатория Ливадии в Крыму!

Или сравните бодрых, лишенных сентиментальности, чрезвычайно развитых духовно и физически колхозников с прежними мужиками а-ля Толстой или Лесков!

Возьмите мелких чиновников из книг Гоголя и Достоевского, этих

льстивых, расплющенных, мелких обманщиков с лакейскими душонками, возьмите их и сравните с любым младшим командиром вашей армии или низовым политработником!

Изменения, происшедшие в людях, почти невероятны. Надо пережить вместе с ними это преображение, чтобы по-настоящему судить о достижениях советской власти».

Наши молодые, озорные, изобретательные, падкие на учебу и технику ребята как бы мстили перед лицом всего мира за его собственное трудное и путаное детство и за детство многих других, похожих на него.

И у него возникло желание написать книгу, в которой рассказать еще подробнее, чем в прежних вещах, о своих детских годах.

Вовка дал Графу заказ. И Граф этот заказ выполнить должен.

РАЗГОВОР С БЕХЕРОМ

Бывают люди цельнотянутые. Сухожильный Брехт, например. Бывают люди кованые. Скажем, тренированный бегун Вольф.

А вот этот — литой. Из чугуна.

И как не лопнут рукава пиджака его от этой мощи мышц?

Воображаю, что станет с одеждой, если он, ошибившись вешалкой, натянет на себя чужую! Можно подумать, часто проламывал он путь себе в переспрессованной толпе,— как ледоколом выдвигает вперед он коромысло плеча, напоминающего слоновий лоб.

Он весь в ширину. Невысок, хотя задирает брови и чуть бычится, проходя под притолоками дверей. Медленный атлет-тяжеловес. Ну, скажем, может подобрать на улице кирпич, внести его в комнату, положить на рукописи, ничего не сказать, только выдвинуть вперед плечо и уйти бесшумно. Это будет значить: он сострил.

В Москве день тяжелой торжественности. Флаги в черных кантах, потому что в белом зале Дома союзов лежит на цветах Клара Цеткин.

Смотрю на притихшую — вспоминаю встречи. От первой — в театре Мейерхольда в дни «Земли дыбом» — до одной из последних, в Берлине.

С хоров германского рейхстага хорошо видно — острым клином вбит в депутатские места сектор коммунистов. Вот он встал, голосуя,— топор, вогнанный в древесный пень. И в острие этого клина — голова старухи. Черные очки, как орбиты, ставшие сплошным зрачком. На палку опираются руки. Но не сгорблена стать. И светит восторг. И свеж гнев.

Огненная Клара...

Как она говорит!

На высочайшей огненной ноте выклик речи, направленной, как пуля, а руки беспомощно трепещут на пюпитре, руки маленькие, с слишком тонкой кожей и слишком толстыми жилами. Она кончает фразу, округлив по-детски испуганные глаза. Это действительно испуг — сейчас надо вздохнуть. Вздохнуть и набрать воздуха для нового абзаца, это большая работа. Слишком узки плечи, слишком хрупка выщелоченная десятилетиями грудная клетка. Воздух входит в легкие со свистом, с полустоном удушья. Воздух кажется грубым и материальным в сравнении с этой истонченной плотью.

Складка напряжения ложится на лоб. Глаза закрываются. Кажется, вот откачнется, сядет, ослабнет, скажет: «Не могу больше».

Но нет! Вновь открываются глаза, тело подается вперед, и новые слова, энергичные, веские, хорошо отставленные одно от другого, слышные издалека, звенящие, падают в молчание аудитории.

Голос молод, он боевой. Это голос человека, привыкшего перекрывать трудные просторы аудиторий и более трудные пространства человеческих сознаний.

И снова звенящая нота. И снова испуганные, остановившиеся глаза. Но закрылись глаза и пересекли лоб морщиною усилия, она тянет новый выдох.

Вот такою она лежит в Колонном зале.

Будто передышка перед тем, как вздохнуть.

Смотришь, и кажется, трудный вздох кончится, откроются глаза, и вибрирующий страстный голос отшвырнет в сторону вязкую мелодию погребального оркестра, заставит сверкнуть по-настоящему желтое электричество в паутине траура.

Затаиваешь дыхание, ожидая, когда она кончит переводить свое дыхание. Но пауза длится, и неподвижна прекрасная линия лица, будто даже подернутого легким румянцем усилия. Волосы белее кожи, и молодо округл подбородок большевички, упрямой и воинствующей.

Ее семьдесят пять лет были возрастом величайшей молодости.

Кому бы пришло в голову назвать ее «бабушкой Кларой»?

Товарищ Клара — да. Наша Клара — да. Но не бабушка. Слишком она для этого беспокойна, напряжена, насторожена, активна.

Голос ее звенит и дрожит... И за голосом начинает она дрожать сама, как неуспокаивающаяся струна, и, заметив это, подходят ее близкие, гладят по рукам, рассказывают ей что-то тихое, бережно отводя ее внимание в сторону. Но завыла сирена, зовущая в зал заседаний, и, встрепенувшись, вот уже она ловит пальцами в воздухе руку соседа, чтобы опереться на нее. Ведь она почти слепа.

Как глухим кричат на ухо преувеличенно громко, так к ней люди проникают лицом вплотную, и она, доселе смотревшая взором, как бы раздвигающим стены, вдруг узнает человека, и на лицо ее набегает пристальность.

В последний раз я слышал ее в начале 1933 года на вечере в честь Анри Барбюса. Думали, она скажет слова два-три. Пузырек с каплями стоял у нее под рукой, мягкое кресло должно было ее избавить от всяких лишних движений. Но ей достаточно было только начать. Она встала и, задыхаясь после каждой фразы, произнесла великолепную горячую речь, длившуюся больше получаса, речь, самую молодую из всех речей, произнесенных в тот вечер. И лишь кончив последний абзац, она опустилась в кресло и огляделась робко, как бы извиняясь за слабость. А хилое ее, колеблемое тремя четвертями столетия тело почти поднял на руки, чтобы отнести в комнату, ее сын-врач.

Близкие рассказывали, как она умерла. Ее давно уже мучила неопределенная болезнь вроде малярии, на долгие периоды истощавшая ее повышенной температурой. Перед последней ночью ей было особенно не по себе. Собиралась гроза. (Помню, какой ударил гром около полуночи 19 июня.) Она задыхалась и бредила в дремоте, сидя в кресле. В два часа десять минут бред оборвался.

...Она давно уже не могла читать, но ей читали ежедневно и помногу. Ей уже трудно было писать, но она диктовала систематически. Она ра-

ботала над статьей о предателях из II Интернационала. Она мечтала приняться за мемуары.

Последнее слово, которое она написала своей рукой, подчеркнув два раза, было «Геринг». Последним словом имя врага в часы жесточайшей битвы,— это хорошо для бойца.

Погребальные мелодии — это смерть. Обугленные по краю знамена — это смерть. Креп на люстрах — это тоже смерть. Но лежащая в цветах, как бы на высоких подушках, Клара — это не смерть.

Смерть — это же исчезновение. А какое исчезновение тут, когда в неиссякаемом людском потоке живет, движется огненная Клара, воительница-коммунистка, изо дня в день вкладывавшая свою энергию, волю, знание, слово, борьбу в дело, расцветшее на одной шестой части земного шара.

Ведь огонь ее слов, произнесенных с трибун за пять десятилетий, горит в кумаче пионерских галстуков. И ее шаги по полу тюремных камер обернулись легкой поступью молодежи, несущей на груди значки готовности и силы. Страницы написанного ею оживают складчатыми треугольниками заводских знамен, проносимых вокруг ее последнего ложа.

Каждое вложенное в революцию слово и дело дает свой плод.

Товарищ Клара донесла свою эстафету и передала ее в верные руки. Они понесут эстафету коммунизма дальше.

Это и есть бессмертие.

Бехер вдвигается ко мне в комнату и говорит:

— Я написал стихи о Кларе. Переведи их. Сделай это, если можешь, сегодня.

В моем ответном молчании он, видимо, читает вопросы: а выйдет ли? А ритм? А рифма? А время? И добавляет:

— Это очень просто. Возьми, прочти. Ты, вероятно, не знаешь моих последних стихов.

— К стыду моему, товарищ Бехер, я не знаю никаких твоих стихов. Ты тот поэт, о котором я составил себе представление только по критическим очеркам. И я не сказал бы, чтоб это представление мне очень нравилось. Правоверен, патетичен, скучен — вот что у меня осталось от повествований о тебе.

— Прочти эти стихи,— повторяет он.

Часто бывает, знаешь человека только по фамилии. И по фамилии строишь этого человека в своем воображении. А потом встречаешь, а он оказывается совершенно непохожим. До такой степени непохожим, что расхохочешься, здороваясь.

— Давай рукопись.

И вот из неровных, то бесконечно длинных, то в два слова, коротких строчек вместо ожидаемого поэтического середнячка встает передо мною поэт большого дыхания. Я знал из статей, что Бехер — экспрессионист. Я ожидал в его стихах увидеть всякие бронзовые завитушки, взвизги эмоционального излишества, а вместо этого движутся буднично одетые строки, говоря совершенно простые вещи — вещи, которые можно прочитать в газетных телеграммах. Никаких метафор, никаких «как», «как

будто», «словно». Разве только в настойчивом возвращении к предсмертно-зорким глазам Клары, которая смотрит сквозь версты и годы, есть приподнятая торжественность шага, которым люди идут в похоронном марше.

Нет рифмы. Нет ритмического, привычного для стихов членения. Каждая строка — это один речевой выдох. Речевой, а не декламационный. Голос идет ровным, эпическим, повествующим ходом, но эпос не холоден, сквозь него розовеет пламенный уголь подлинной человеческой скорби:

Товарища Клары не стало.
И перед смертью глаза ее видели Германию.
Не обожженные ни одной слезой,
Смотрели ее гаснущие, умеющие видеть
Далеко глаза туда, на Германию.

— Я переведу эти стихи, товарищ Бехер. Скажи мне только, откуда этот торжественный библеизм некоторых строк? Не отзвук ли это твоих экспрессионистских времен?

— Я думаю, нет,— отвечает Бехер.— Здесь просто сходство эпических стилей. Разве ты не видишь в моих строках переклички и с эпическою строкой Брехта?

В рядах экспрессионистов Бехер значился одним из самых неистовых насилователей академического немецкого языка.

Экспрессионисты писали вывороченно, понятно немногим. Глагол плюс восклицательный знак, одинокое существительное заменяли целое предложение. Иногда пять-шесть существительных слипались в необычный словесный конгломерат. Иногда поэт, не находя слов, выражал необычайность своих эмоциональных напряжений, нагромождая восклицательные знаки на вопросительные и многоточия. Нормальный строй речи был сломан.

У дадаистов была такая же ломка, но с их стороны это было холодным циническим выпадом по адресу канонов языка и способом эпатировать буржуа.

Экспрессионисты же свою абракадабру проделывали всерьез, считая, что таким образом добывается из творческого нутра художника особо обостренное и действенное восприятие. Экспрессионист не знает понятий — класс, товарищество. Он орудует понятиями — человечество, человечность, братство. «Шписбюргер» — главный враг: мещанин. Но это категория не социально-экономическая, а этическая. Мещанина экспрессионист обнаруживает и среди капиталистов и среди рабочих.

Вот как пишет Бехер в военные годы:

Закрой глаза. Играйте, гильотины!
Клуб тел людских, сметайся с площадей.
Пальцев лучи направьте косым прицелом
Через пространства в сердце королей...

Типично это «королей». Вообще. Абстрактно. Королей, а не короля. И тем менее какого-нибудь определенного короля, скажем Вильгельма II.

Но для радикальных интеллигентов, шалеющих в кузнице войны, даже такие строки несли на себе революционный потенциал.

Поэт Газенклевер, тоже экспрессионист, писал в то время злобные, жгущие презрительным холодом, обостренно-зоркие стихи о сжигаемых городах, о людях, истребляемых тысячами, о вине офицерских попоек, подаваемом на подносе, украденном из разгромленного собора, об ураганном огне и о спектакле «Розенкавалир» — нежной оперетте Гофмансталя-Штрауса, которую смакуют убийцы-офицеры.

Поэт отождествлял себя с отрывшимся из братской могилы мертвецом, который видит на земле все тот же ужас и слышит все тот же офицерский окрик.

Не первый этот бродячий мертвец империалистической войны. Есть он и у Брехта. Вернее, у кого из поэтов-радикалов той поры нет бродячего мертвеца? Он еще бродит, он еще не улегся под Триумфальной аркой в могилу «Неизвестного солдата».

Но продолжаю перевод о Кларе:

Стены тают.
Зрачки свои она напрягает до дрожи,
Заглядывает в ячейки
И каждого товарища в отдельности
Принимает во взор свой,
Как мать берет в теплые руки дитя.
Не обожженными ни одной слезой,
Она видит острыми в предсмертии глазами
Концентрационные лагеря...

Прерываю на полустрофе, чтобы спросить Бехера по существу некоторых слов. Из последних строк этого абзаца встают передо мной и сухощавый, в себя запрятанный Ренн, вечно кутающийся в свой шерстяной свитер, и бородатый болезненный Мюзам, и гамбургский крепыш Бредель. При переводе из тюрьмы в тюрьму видели Ренна. Его лицо было в кровоподтеках. А где Вайнерт? Вдруг он тоже в концлагере? Он, чьи стихи запрещены до последней строки, потому что они — порох.

— Скажи, Иоханнес, как ты определил бы разницу между Вайнертом и собою в переводе на наш, советский язык?

Думает долго.

— Точных аналогий нет, но если хочешь очень отдаленную, то Вайнерт — это вроде германского Демьяна Бедного, а я — Маяковского. Вайнерт поэт-боевик, газетчик, ежедневно газетной строкой откликающийся на события. Из газеты он переходит в прибаутку, в песню. Каждая следующая его вещь захлестывает предыдущую температурой злободневности. Я же только начинаю быть газетчиком. У меня больше формального эксперимента.

Товарищи прощаются с нею, обступая ее.
Тела их размозжены, и вспухли глаза от побоев.
Они подпирают друг друга, слабея,
Но крепятся,
И у них тоже нет слез.

— Слушай, Бехер, тебя бы жестоко били штурмовики, если бы сумели взять?

— Да, меня били бы особо жестоко, потому что я сильный. Было время — я значился крупным спортсменом. Это было еще тогда, когда моими учителями в поэзии были Новалис, Демель, Хельдерлин, Пшибышевский. Я был одним из лучших пловцов Германии. Я на одну ладонь не дотянул до ее первенства. Мы с Вернером Шипом, тоже первоклассным пловцом, создали стиль «кроль», когда плывут лицом к воде, размалывая руками воду под грудью и винтообразно работая ногами. Так вот, до нас этого винтообразия не существовало, ноги были неподвижны, для баланса... Меня били бы, но ведь и я дрался бы тоже.

В Берлине на Феребеллинерплатц, где она жила в свой последний приезд

Видит товарищ Клара, как рабочий парнишка
Тайком выклеивает листовку.
Глазами умирающими и дальнозоркими
Спрашивает она:
— Что делаешь, товарищ? —
И он, узнав ее, отвечает:
— Товарищ Клара, работа идет... Побудь еще с нами...
Разве можно сейчас уходить?..

— Может быть, этот мальчишка выклеивал на листовке твое двухстрочие, Иоханнес?

Гитлер хлеба дать не смог,
Потому рейхстаг поджег.

— А что ж? Моих двухстрочий много выклеивается сейчас по немецким городам.

Такие стихи называются в Германии «кнюппельферзе» (стихи-дубинки). Их пращур — средневековый поэт-поговорочник Ганс Сакс. Ими написан «Макс и Мориц» Вильгельма Буша. В какой-то степени они похожи на русские лубочные двустишия (вроде «Конька-горбунка»). Эти стихи чрезвычайно внедрены в немецкий быт. Протестантизм был иконоборцем. Он изгнал иконы со стен; их заместили надписи. Эти надписи, вроде как у русских на полотенцах и блюдах: «Хлеб-соль ешь, а правду режь», или: «Не красна изба углами, а красна пирогами»,— висят во всех комнатах традиционной немецкой квартиры. Над кроватями что-нибудь вроде: «Без бога ни до порога». В столовой сентенция: «У утреннего часа — золото во рту». Даже в уборной, между умывальником и унитазом, висит строфа:

Ток студеной влаги
Прибавит отваги.

Затем «кнюппельферзе» были подхвачены торговой рекламой. Они электрическими буквами побежали по фасадам домов, приклеились к окнам вагонов. Каждый, кто был в Берлине, помнит назойливые строки под ступенями лестниц, ведущих в метро:

Ундерберг — для желудка — Ундерберг.
Для семейства — Ундерберг — для семейства.
Ундерберг — перед пищей — Ундерберг.
После пищи — Ундерберг — после пищи...

— Я ехал в подземке,— говорит Бехер,— и обратил внимание на удивительную липкость строки, рекламирующей сапожную мазь:

Крем сапожный «Урбин»
(Опровергнуть рискни!)
Есть единственный блеск
В наши смутные дни.

Пришла мысль, что такие строки годны и для политической агитации. Языком Макса и Морица можно говорить с широчайшей массой обывателей, которой этот стиль привычен. Так Бехер перешел — это было в последние месяцы перед Гитлером — к работе над стихами-наклейками.

Нужно пожалеть, что Бехеру незнаком большой советский опыт работы над такой лозунговой строкой, что он не знал работ Маяковского в окнах РОСТа и эпиграмм Безыменского, которые наклеивались на стенках бракоделов, на молочных бутылках, спичечных и папиросных коробках заводских ларьков. Стихотворный лозунг у нас в Советском Союзе — это вещь, вошедшая в плоть и кровь наших газет, начиная от центральных и кончая стенными. Но Бехер не знал. Стихи — это искусство, туже всех других преодолевающее национальную разобщенность.

Бехер пробует бушевским стилем писать вещи большого лирического напряжения. И они ему удаются. Таков, например, стих «Нашим убитым товарищам».

Но возвращаюсь к его стиху о Кларе:

А еще увидала товарищ Клара
Перед началом речи своей над скамьями рейхстага —
Вот неуязвимейший Геринг сидит, обдумывая убийство
(Он еще не был тогда всемирно известным поджигателем).
И Геббельс сидит, и Эпп, и Фрик.
Но и они увидали ее,
Стоящую наверху,
И стали писклявыми зычные верзилы
И смылись.
Расступились скамьи, и раздались стены,
И товарищ Клара с трибуны увидела Германию:
И ее узнали шахты и штольни,
Сквозь колеса машин смотрели ей в очи
Рабочие всех заводов.

Я вспоминаю рассказы про тот изумительный день, когда Клара, поддерживаемая с двух сторон, стояла на трибуне и говорила на весь мир. Врач стоял рядом, делая ей впрыскивания, когда она вот-вот готова была рухнуть в обморок. Но партия требовала, и эта прозрачная плотью, но могучая духом старуха продолжала стоять на посту, слышная всему миру.

«Человек, который идет в строю»,— излюбленный образ Бехера.

Право идти в пролетарском строю нелегко добывалось лучшими интел-

лигентами, откалывавшимися от буржуазного массива. Бехер — председатель Германского союза революционных писателей — рассказывает, как накапливалось постепенно около партии это интеллигентское писательское ядро.

Война отщепила их от буржуазного массива. Революция привела к пролетариату. Бехер пришел от экспрессионистов. Из пацифистов пришли к коммунизму Вольф, Вайнерт, Берта Ласк, из буржуазной прессы — Эгон Эрвин Киш. Из индивидуалистов-циников пришел Брехт, из аристократического офицерства — Ренн.

Был тяжелый год проверки — 1923-й, когда шла расправа с коммунистическим движением. Тогда отхлынули многие, примкнувшие было на победоносном этапе, но зато остались отборные. А пополнение к ним двинулось уже из рядов пролетариата и рабкоров: Мархвица, Бредель, Гинкель, Ткачик, Турек, Нейкранц.

Бехер рассказывает, каким гигантским электромагнитом была война. В силовых ее линиях отклонялись и надламывались самые, казалось бы, буржуазно-предопределенные биографии.

Он знает это по опыту собственной биографии. Его отец-прокурор по утрам за кофе рассказывал о подробностях казней, на которых он по должности присутствовал. Дальше шло хулиганство гимназиста, мечтавшего стать офицером, потом богемский упадочный анархизм человека, проклявшего войну и порвавшего свои документы. Годы войны — это перманентное дезертирство в социально опустошенной атмосфере. Спасаясь от мобилизационных сетей, Бехер кидается из города в город. Он бросается в черную яму наркоза все для того же, чтобы не даться войне. Он глушит ясность разума припадками эмоционально перевозбужденного стихотворства. Но на самом краю, казалось бы, окончательного физического и морального уничтожения побеждает здоровая натура, человек становится на ноги. Сквозь бредовый хаос тех дней Бехер вспоминает произведшую на него огромное впечатление рабочую демонстрацию под красными флагами. Он встречает в 1916 году Розу Люксембург. Он сходится с политическими кружками. Анархо-эстетическое бунтарство вливается в жесткие формы политической осмысленности. Красный ноябрь 1918 года Бехер встречает спартаковцем.

С тех пор и доныне он «человек, идущий в строю», сустав за суставом выламывая в себе старый экспрессионистский выверт, пьяную патетику необузданности, культ своего всесмеющего «я».

И вот увидела товарищ Клара — встает человечек.
Зовут его Гугенберг. Он что-то бормочет, не подымая глаз.
А к концу его речи встают у него за спиною стальные шлемы,
штыки и дула орудий.
Но с востока приходит ответ,
Спокойный и мощный ответ победившего класса.
Отвечают вышки Баку,
Отвечают турбины Днепрокомбината,
И домны Магнитогорска дают исчерпывающий ответ.
«Отвечай!» — крикнул Донбасс Кузнецку.
И ответил Кузнецк.
И ответили тракторные колонны.

Пролагая глубокие ровные борозды.
Ответили хлопковые поля, чайные плантации и колхозы...
«К удару — готовы!»
Человечек задергался на стуле.
И стул треснул под ним.

— Ты помнишь, где мы познакомились, Бехер? Это было вечером на улице Тифлиса, в тысяча девятьсот двадцать седьмом, а может быть, в тысяча девятьсот двадцать восьмом году.

В сумерках, недалеко от редакции «Зари Востока», набежала на меня орава знакомых московских веселых голосов. Мне крикнули: «Знакомься!», и ко мне придвинулось плотное плечо и мясистое спокойное лицо, накрытое мягким щегольством заграничной кепки.

Это был самый канун пятилетки. От Москвы ты ехал мимо Тулы, где еще не было косогорских домен, и ходил по Харькову, где еще не вырос ХТЗ. Ты оставил справа Днепр, на берегу которого лишь начинали возиться грабари, а пороги еще кудлатились первобытною пеной.

Поезд пронес тебя сквозь Донбасс, где еще не засияли имена Карташова, Изотова, Либгарта[1]. В Ростове еще не вырос Сельмаш. В северокавказской степи подавал первый младенческий голос совхоз «Гигант». За калмыцкими степями на Волге около Сталинграда был разворочен стройкой волжский берег, а если провести прямую линию дальше, через Сталинград к Уралу, то в казахстанской степи можно было бы заметить на пустыре около железомагнитных бугров первое копошение разведчиков.

Ты ехал через терские степи, где люди гордились тем, что у них в колхозы сведено пять процентов крестьян!

Но Тифлис был уже залит электричеством Земо-Авчальской станции. Над ней посмеивались остроумцы, ибо четыре ее турбины были загружены разве что на десять процентов. Заводы, которые от этих турбин должны были питаться, еще только вычерчивались на кальке.

По тем же местам продвигаюсь мысленно теперь, через пять лет, читая твою эпопею «Великий план».

В этой вещи окончательно ликвидирован прежний экспрессивный лирик. Действительность сильнее любой эмоциональной судороги. От простой газетной строки исходят токи более сильные, чем от самого яростного поэтического радения.

Действительность своими растущими городами, рождающимися заводами, переделывающимися людьми разворачивает такую повесть, что тоска по эпосу становится понятной. И поэт, припав вниманием к основному источнику сегодняшнего эпоса — газете, сводит этот строительный материал в строение большой мощи. Рифмы нет. В этом бубенце не нуждается строка, добивающаяся того, чтобы стать предельно содержа-

---

[1] Карташов Константин Кириллович (1904—1959) — видный деятель советской угольной промышленности, создатель новой системы угледобычи; Изотов Никита Алексеевич (1902—1951) — один из зачинателей движения ударников в Донбассе; Либгарт — немецкий специалист, работавший в Донбассе и награжденный орденом за свою работу.

тельной. Текст высушен, из него изгнаны метафоры. Не Брехт ли, злейший образоборец, здесь подействовал на тебя, товарищ Бехер? Ты отрицаешь? Ты допускаешь, что отдаленно повлияла поэма «150 000 000» Маяковского, одна из немногих его вещей, переведенных на немецкий язык.

Та же борьба с личностным началом, что и у Маяковского, воспевшего массу и ее серые ряды, олицетворяемые собирательным Иваном.

Как характерен для поэтов, преодолевающих свой прежний анархический перенакаленный индивидуализм, «человек, идущий в строю». Проклясть биографию. Уйти в массу, раствориться, стать безымянкой, оставить себе вместо имени только номер партийного билета, обезличиться, оказаться только рядовым, только одним из миллионов, которые идут в строю.

Вот почему в «Великом плане» действующими лицами являются, с одной стороны, потрясающие факты и события — «Турксиб», «Магнитогорск», «Баку», а с другой — сведенная в схемы масса: «человек, который идет в строю», «неизвестный солдат», откопавшийся из своей могилы, вредитель (даже когда этот вредитель называется профессорской фамилией, он говорит языком, с которого тщательно стерты уже все признаки индивидуальности). Маловер, реформист, шофер у вокзала в Париже, в прошлом красновский казак, символизирующий собою белогвардейщину.

Вещь построена мастерски. Это диалектический монтаж, предназначенный исключительно для слушания. Здесь его родство с радиопьесами. Движение образов драмы заменено в нем движением идей и логических аргументов. Это опять-таки роднит «Великий план» с дидактическими пьесами Брехта.

Но если Брехт в своей «Высшей мере» оставляет место для зрелищно-театрального показа, то Бехер с величайшей последовательностью обращает своего зрителя целиком в слух.

Вот как строится одна из глав этого эпоса:

Перекличка городов.

В эту перекличку вмешивает свою скептическую реплику маловер. Реплика тонет в хоре социалистического строительства, говорящем о единстве партии.

Шофер у станции Сен-Лазар вспоминает своих товарищей по белогвардейским походам.

Хор говорит, что герои стройки — города, герои стройки — целые районы.

...Разговор прохожих на улице Парижа о параде близ могилы «Неизвестного солдата».

...Выдержка из газетной хроники.

...Песня о сельскохозяйственной коммуне «Интернационал», о коллективной работе.

Перекличка членов контрреволюционного центра.

И в «Высшей мере» и в «Великом плане» резюмирующую роль играет хор. Но у Бехера это бесстрастный, резонирующий хор античной трагедии. У Брехта же в позицию этого хора введена страстная напряженность: хор не только резонер, но и судья.

Эпическим рефреном проходят сквозь «Великий план» хоровые строки:

Великий план выполнен будет,
В четыре года выполнен будет
Великий план,
Который рассчитан был на пять лет.

Поэт работает нарочито скупым набором слов. Никаких излишеств. Чтобы усилить впечатление, чтобы заставить запомнить простые слова, он кружит по одному и тому же месту, как бы утаптывая его:

Человек шел в строю,
Полицейские стреляли.
Упал человек,
Шедший в строю.
Он упал,
Простреленный в грудь
Полицейским.
В Берлине,
В Лондоне,
В Варшаве,
Чикаго
Упал человек,
Шедший в строю.

И отвечает хор социалистической стройки:

В Берлине,
В Лондоне,
В Варшаве,
Чикаго
Упал человек,
Шедший в строю.
Несите его,
Высоко подняв,
Чтоб весь мир его видел.
Напишите крупно в газетах,
Скажите в радиорупоры:
Человек упал,
Шедший в строю.
Человек
Идет в строю.
Огонь
По врагам революции!

«Великий план» положен на музыку. Рабочие хоры были привлечены к исполнению. Хоровое движение в Германии может тягаться со спортивным. Хоровая песня может быть не только развлечением или автоматизатором марша. Репетиция хоровой песни может стать способом проработки политического вопроса.

Однако товарищи из Германии сообщали, что «Великий план» не имел особого успеха в пролетарских массах. На эпический холодок было отвечено холодком же.

— Может быть, это потому, что газета обогнала поэму,— говорили товарищи. Самыми острыми эмоциями — гневом и радостью, опасениями и ликованиями — они, зарубежные участники пятилетки, уже вспыхивали в ответ на газетные телеграммы. Вещь Бехера только повторила прой-

денное. Поэма, подобно конным граблям, прошлась по уже сжатому полю.

Но тягу к простому слову она обнаружила. Тому простому, которым написаны и строфы «Клары».

. . . .

Не стало товарища Клары,
Но она увидела своими зорчайшими глазами перед смертью,
Что валят дерево, и готовят брусья, и строят виселицы,
Но слезе она воли не дает.
Вот уже виселица готова, она обводит нас всех по очереди
глазами
И говорит — и голос ее слаб,— она говорит одно лишь:
— Пора. За дело, товарищи!

. . . .

Бехера-прозаика я узнал раньше, чем Бехера-поэта. Его роман «Люизит» остался в памяти как одна из лучших книг, настораживающих беспокойство на грядущую войну. Эту беспощаднейшую войну в своем романе Бехер увидел диалектическим зрачком отчетливее, чем многие современные писатели.

Но главное — он сказал о войне голосом необычайной взрывчатой силы. Пожалуй, не проделай он своего поэтического пути, он не сумел бы дать такой прозы.

Путь поэта:

от стихотворного неистовства через эпос великих фактов к оперативному делению жизни — к работе газетчика-лозунгаря.

Путь человека:

от наглого барича, мечтающего стать офицером, через отравленного богемца, живущего единой мыслью — прочь от войны, к человеку, идущему в строю пролетарского наступления, цель которого одна, и она неизбежна...

Не стало товарища Клары,
А в комнате, где умерла, висел на стене портрет
товарища Ленина.
И товарищ Ленин смотрел в ее умирающие глаза
И видел из комнаты этой через жаркие степи и рощи
берез,
Видел в ее зорчайших, угасающих глазах
Советскую Германию.

Я кончил перевод твоего стихотворения о Кларе, товарищ Иоханнес.

ТОВАРИЩ МАРТИН

Помню суетливейший день мой в чинном законченном Копенгагене, будто старая уютная мебель, куда я приехал читать доклад о колхозах и писателях.

Перст некоего газетного Вия уже указал на меня. Репортеры и фотографы пылко и послушно уже обрабатывали ничего им не говорящее буквосочетание Т-р-е-т-ь-я-к-о-в.

Дело происходило днем, в полпредстве. Полпред, товарищ Кобецкий, в который раз уже напоминает о часе свидания с писателями, высвобождая меня из клещей четырех интервьюеров.

Завинчивая перья без надежды получить ответ, уже на ходу задают они привычное:

— Чем питается писатель в СССР?

— Как относится советская литература к ГПУ?

— Каков сенсационнейший случай в вашей жизни?

В соседней комнате незнакомые люди и звон кофейных чашек. Люди смотрят на меня, не одобряя за опоздание, но с вежливым оживлением, примеряя к зрительному впечатлению прочитанные строки из газетной хроники.

Ладонь проходит цепь писательских рукопожатий. Они разные. Один встряхивает руку, словно микстуру. Другой отдергивается, будто куснув мягкою пастью пальцев. Третьи руки разрешают себя подержать, холодные и безвольные.

И вот рука — большая, уютная, она задерживается в рукопожатии, лишенная рывка, пассивности и нарочитости. И в рукопожатии этом возникает небольшая, но вся широкая и раскрытая вперед фигура. Широка выпуклая грудь, широк выпуклый лоб под прозрачным сиянием седоватых волос, рукою времени отодвинутых назад. Выпуклы раз навсегда изумившиеся глаза. Изваяна улыбка в углах рта, жесткие лезвия губ как бы сделаны одним врубом на этом большом лице.

— Мартин Андерсен-Нексе,— говорит он. И я перестаю себя чувствовать в Копенгагене, мне становится просто, как если бы я был в Москве.

Дания явно узка для его широко развернутых плеч. Дания явно мала для напористо выставленной груди и очень крепких локтей, тех локтей, которыми он, сын угрюмого каменщика, пробивался сквозь толкучки городских базаров и уличных скоплений и в те времена, когда из пастушонка стал сапожным подмастерьем в городских закоулках.

Есть бычья сила и бычье упорство в той коренастой походке, которой он совершил свое медленное, но обстоятельное восхождение на вершину славы.

Ему было два года от роду, когда Тьер расстреливал Парижскую коммуну. В это время в зарождающемся социалистическом движении Дания

была энергичным и самым молодым отрядом. В дни расправ генерала Галифе родилась датская социал-демократия и газета «Социал-демократен», существующая до сих пор. Тогда эта газета была бедная, но у нее был свежий голос. Сейчас у этой газеты одна из самых богатых на континенте ротаций, на которой можно печатать многокрасочные картины и плакаты. Однако газета печатает закаты с рыбачьими лодками и букеты в вазах.

Ибо самое важное — чтоб рабочий жил смирно.

Забубенная, пьяная мастеровщина, нищающий датский ремесленник в те годы перерастали в пролетария. В первых слепых и наивных схватках с хозяевами в единстве ненависти своей черпали рабочие первую учебу солидарности.

С ростом пролетариата рос Андерсен-Нексе. Не было ни единой ступени, пройденной его классом, на которую он сам не ступил бы своей подошвой. Не было ни единого кровоподтека на теле его класса, который не багровел бы под его собственной кожей.

Он не сразу понял силу сплоченности. Его внимание долго приковывали незаурядные одиночки, умевшие вспыхивать протестом, эксцессом и проходившие одиноко, бесстрашно и презрительно сквозь жизнь, задыхающуюся в отчаянии или окаменевающую в тупое мещанство.

Многое роднит первоначальный путь Андерсена-Нексе с путем Максима Горького. Одинаково оба проходят от самых низов, сквозь тюрьмы человеческого общества. Одинаково обоими в юности владеет романтика смелого и цинического люмпена. Также оба в «притирку» знают те вещи, события и людей, о которых они рассказывают на своих страницах. Это удивительная зоркость неумолимых свидетелей, умеющих видеть самое страшное, чтобы об этом передать поколениям мстителей и созидателей.

Последняя книга Нексе «Малыш» — это автобиографическая повесть, аналогичная «Детству» Горького.

Жизнь обкатывает человека, как речной голыш. Об этой обкатке рассказывает Андерсен-Нексе. Он говорит о травмах детства, остающихся на всю жизнь:

— о месте подлинной казни и зловонной яме возле него, куда, по рассказам, сваливали тела казненных, но которая оказалась просто солдатским нужником;

— о драках рабочих с полицией, из которых отцы возвращались окровавленными;

— о детях, которые, заблудившись, пропадали.

Школа уважала «настоящих мальчишек».

«Если прохожие просили показать дорогу, надо было запутать их, чтобы они пошли неверным путем. Если маляр ставил на тротуар ведро с краской, то было нашей священной обязанностью опрокинуть его мимоходом ногой, а детскую коляску, оставшуюся без присмотра, надо было столкнуть на мостовую, с опасностью, что она опрокинется и ребенок вывалится».

Мартину трудно было стать «настоящим мальчишкой». Он был слаб и болезнен с детства. Он был так золотушен, что однажды покрытые яз-

вами губы приболели одна к другой и срослись, а отцу пришлось разрезать ему ротовое отверстие.

Главная книга его — «Пелле-завоеватель» — повесть о крестьянском мальчонке, делающемся мастеровым; мастеровой же перерестает в пролетария, и не просто в рядового классовых боев, а в командира-вождя, завоевывающего неорганизованную массу.

На три четверти путь Пелле — это путь самого Нексе. В этом огромное литературное счастье писателя, который может рассказать свою эпоху своей собственной биографией.

И снова та же удивительная зоркость, тем более потрясающая, чем тоньше деталь:

«...Да, здесь пахнет мышами,— подтвердил Пелле,— травинки гнутся наружу, должно быть, старых мышей нет дома».

А вот молочница:

«...На толстых руках ее горели шрамы, точно татуировка. Это коровы захлестали ее хвостами во время последней дойки».

«...Матери возвращались с работы и кормили детей. Из подвала раздавался однообразный колыбельный мотив,— это пела Грета, укладывая спать свою тряпичную куклу. У настоящих матерей не было песен».

«...Хлеб дешевле всего, и все-таки они не могут иметь сколько надо. Сегодня я сунул какой-то старушке хлебец, она поцеловала его и заплакала от радости».

«...Я встретил бога, на нем была казацкая одежда, сбоку висела нагайка... «Ты не принадлежишь к моим избранникам, пошел прочь»,— сказал бог и хватил меня по спине нагайкой».

В детали он — зорчайший. Но чем дальше от детали к общим очертаниям людей и событий, тем контуры становятся мягче. Многого не видно на горизонтах романа. «Пелле-завоеватель» кончается смутным видением:

«...Сотни тысяч рабочих Дании строят роскошный замок, и он (Пелле) его строитель.

Когда замок был выстроен, он повел при звуках гимна все несметное войско рабочих по длинным коридорам в лучезарные залы. Но залы исчезли, замок превратился в тюрьму, а они шли все дальше и дальше, без конца, и не могли найти выхода».

— Социал-демократия! Реформизм! — восклицали критики, выискивая клеймо, что б нелегко отмывалось.

Социалисты в юности! Нексе были той силой, которая превращала вчерашнего одинокого буяна-забулдыгу в организованного пролетария.

На языке маленького Мартина «социал-демократ» означало, что отец-рабочий, доселе ходивший по воскресеньям в кабак и заканчивавший день дебошем, оставался дома с детишками, водя их гулять и читая им книжки.

Но отношение раннего Нексе к социал-демократии с годами становилось сложней и натянутей.

Иногда их пути сближались, и казалось, что Нексе полностью приручен, даже взят на откуп своей ли датской или гораздо более мощной германской социал-демократией, обеспечивавшей в своих издательствах устойчивый спрос на его книги. Но история делала новый шаг, и путь то-

варища Мартина резко поворачивал в сторону, вызывая недовольство, иногда полубойкот, чаще попытку прижать рублем. Ему пришлось туго, надо было выворачиваться. И все-таки он предпочитал выворачиваться и перебиваться из пятого в десятое, чем изменить этому повороту, подсказанному ему верным инстинктом революционера.

Ведь реформистом он никогда не был. В безболезненное рождение бесклассового общества он не верит. Он травленый волк и недоверчивый драчун, он знает жизнь не из вторых рук.

Любят ли Андерсена-Нексе на родине?

— Нет,— отвечает мне датчанин.— Его не любят благочинные буржуазные литераторы.

Они не любят полнокровного плебея, вломившегося в литературу своей развалистой походкой. Они, воспитанные на изощренностях символизма, не могут ослабшими зубами разжевать его тяжелых кровяных литературных блюд.

Понтоппидан — вот их классик, расчисленный в синтаксисе, прозрачнейший в языке. А язык Нексе мутен, как река в весеннее половодье,— плодородно мутен. И ткань его насыщена словами и оборотами простонародья.

Но не только для этих чинных литературных нотаблей Андерсен-Нексе — человек, нарушающий удобную симметрию их литературного производства.

Я спрашивал представителей радикальствующей датской литературной молодежи, любят ли они Нексе. Они тоже ответили: «Нет». Для одних он старомоден, для других, быть может, недостаточно радикален.

В Дании у него нет того литературного резонанса, которого мы могли бы ожидать. Ну что ж, большие радиобашни, говорящие на весь мир, часто бывают не слышны у их подножия.

В чем дело?

Разве это первый случай, что большой писатель должен пожертвовать любовью ближних, чтоб завоевать любовь дальних?

В чем дело?

Он не зол, но шаг его, рассчитанный на долгий путь, увесист, на мозоли он наступать умеет, он бесцеремонен, ершист, остр на язык, замечания жестковаты, бьют в цель больно, его плебейская прямота и хмурая ирония для ушей деликатных могут отдавать бестактностью.

Когда умер король Христиан Девятый, Нексе был газетным репортером.

Вот что увидел он, получив задание описать настроение после смерти «горячо любимого» короля.

Он увидел колбасника, который обложил свиную голову в витрине венком черных кровяных колбас.

Господ в цилиндрах, которые вели элегантную собачку с траурным бантиком. И вдруг собачка зафлиртовала с громадным ординарным псом, придя в резвость, явно нарушающую респектабельность траура, и господа долго отгоняли ее тросточкой от пса.

Эти рассказы раздражали буржуа. Но они же упрочили за Нексе славу прекрасного и едкого рассказчика.

Его побаиваются. Может задрать. И в то же время к нему тянет. Особенно эта бестактная резкость притягивает рабочих.

Молодой датский журналист рассказывал мне, как в замок Эльсинор, место, где, по преданию, жил Гамлет и где туристам даже показывают могилу Гамлета,— в действительности же могилу любимой кошки одного из владельцев замка,— ехал цвет датского писательства на шекспировские торжества.

Писатели группировались на верхней палубе вокруг златоустейшего критика с мировым именем. То был Брандес. Но в это же время на палубе третьего класса появился человек в простой широкополой шляпе, в потертом мешковатом костюме. И сразу начался переход писателей верхней палубы туда, где стоял человек, красноречие которого было угловато, как работа каменотеса, но зато все, что он говорил, стоило запомнить.

Как он зубаст, этот молодой старик. Впрочем, слово «старик» надо отбросить в применении к этому человеку, цветущему мужественностью. Ему шестьдесят пять лет, его последнему ребенку два года. Он гордится обилием своих детей. Смеется: это привилегия пролетариев.

Пролетарий ведь по-латыни значит — «богатый потомством». У него уже внуки есть старше этого последнего сына. И по-молодому глядят его изумленные шестидесятипятилетние глаза на солнце, на детей, на женщин.

Дети — это радость, но дети — это же и разбухающий бюджет, а значит, надо много работать, напряженно беспокоиться и надо много печатать. А отсюда постоянная тревога — не разучился ли писать?

После «Пелле-завоевателя» — связанный с ним творческой преемственностью роман «Дитте — дитя человеческое». Повесть о батрачке, умершей, не увидав жизни.

Третьей книгой должен быть роман о детях Пелле и Стины.

Им суждено войти в социализм. Местом действия этой книги будет Советский Союз.

Об этом Андерсен-Нексе говорит часто, упорно, глубоко.

В 1922 году Нексе поехал в Москву. На одной из германских границ его арестовали. Выручил его таможенник, услыхав фамилию Андерсена.

— Как же, как же,— сказал он,— господина Андерсена да не знать? С большим удовольствием в детстве читал ваши сказки.

Таможенник был старше Нексе лет на пятнадцать.

О его пребывании в Москве мне рассказывал товарищ Кобецкий, встретившийся с ним на IV Конгрессе Коминтерна.

Нексе в московском общежитии чувствовал себя как рыба в воде. Грозное слово «ВЧК», сбившее с позиции самых благорасположенных к Советскому Союзу людей, Нексе воспринял как естественнейшее учреждение пролетарской диктатуры.

Детская колония ГПУ в Самаре выбрала его почетным шефом. Он решил поехать. Проводников не было. Поехал сам, не зная почти ни слова по-русски. В Москве сказал в билетную кассу: «Самара», в Самаре заявил извозчику: «Вечека». Извозчик привез его в Губчека. Там все спали. Нексе долго стучал, никого не добился, рассердился, поехал сам колесить по

городу, нашел свой детдом. Ребята вскарабкались на него. Начался невероятный разговор. Ребята тыкали ему в нос опорки. Нексе разобрался в вопросах. Он пошел на рынок, купил шестьдесят пар валенок (а ведь он не из щедрых) и обул ребят.

Вернувшись в Москву, он предложил Государственному издательству, чтобы весь его советский гонорар уплачивали этому дому. Время шло, дом расформировался, гонорара не платили, но до сих пор любит товарищ Мартин вспоминать об этой поездке своей в Самару.

Вернувшись в Данию, написал сочувственную статью о Советском Союзе. Объяснил — да, стране тяжело, но виноваты враги. Но вот она, партия, подымающая и сплачивающая нас, бедняков, говорил он с гордостью о большевиках. Может быть, наша бедность тех времен особенно роднила советскую жизнь с ним, знавшим горечь нищеты.

На него обрушились побывавшие в РСФСР датчане:

— Тебя обманули. Это все декорация.

— Что значит обманули? — озлился Нексе.— Вы пишете — голод, террор, расстрелы, отчаяние. А вот я проехал за свой счет путь Ленинград — Москва — Самара. Я видел миллионы людей. Они были бодры и веселы. Неужели они представлялись ради меня одного? Но даже если «бандиты»-большевики сумели ради меня одного сорганизовать комедию на всех станциях своей страны, значит, они гениальные организаторы. Значит, они добьются, чего захотят.

Впечатлению от своего свидания с Советским Союзом он остался верен на всю жизнь. И даже после, вновь сближаясь с социал-демократами и огрызаясь на датских коммунистов, он никогда, ни разу, ни одним словом не выступил против Советского Союза.

Гитлеровщина вымела книги Нексе с германского рынка, он снова приехал в Союз, уже в третий по счету раз. Он был на Беломорско-Балтийском канале.

Вернувшись, сказал:

— Когда-то я писал, что советским рабочим живется лучше, чем безработным в капиталистических странах. А теперь скажу — ни одному рабочему Запада не живется так хорошо и полно, как советскому.

Но это не значит, что Нексе аллилуйствует. Ирония не покидала его и во время путешествий по Советскому Союзу. Так, о первом путешествии он написал: «Во всей Москве не мог найти свежего яйца. Видимо, даже куры занимаются саботажем и несут гнилые яйца».

Может быть, только с детьми говорит он тоном равенственного уважения. В чьем творчестве ребенок окружен более пристальным почетом, чем у Нексе?

Но особое, ни с чем не сравнимое, бережное уважение есть у товарища Мартина к Ленину.

Может быть, в Ленине ему предельно импонирует ясная до конца логика, эта прозрачность мысли, которой так часто не хватало зоркому, но эмоционально возбужденному и часто рассыпающемуся мелочью эпизодов Андерсену-Нексе.

Ленина он увидел на IV Конгрессе Коминтерна.

Ленин на конгрессе выступал в предпоследний раз перед болезнью.

Весь вид его говорил: что-то неладно. Обычно он выступал в пиджаке, в галстуке, а тут вышел одетый в непривычный френч. Обычно Ленин светился гармонией воли и действия, а тут проступала какая-то судорожность, беспокойство, оглядка. Видно было, что говорить ему стоит величайшего напряжения. Когда он окончил речь, на лицо его опустилось выражение смертельной усталости.

В этот момент Нексе встревоженно схватил товарища за руку и сказал:

— Ты видел? Это рука смерти.

Нексе — газетчик. Нексе знает силу локтей. Немножко напористости — и он мог бы встретиться с Лениным для беседы в дни конгресса. Но он этого тогда не сделал, быть может, потому, что поберег Ильича.

На много лет позже, когда в день шестидесятилетия Нексе датские радикалы решили почтить его юбилейными торжествами, Нексе произнес речь о Ленине, большую, страстную, резкую, как о подлинном вожде трудящихся. А было это в дни, когда усиленно кричали об охлаждении Нексе к Советскому Союзу.

Чтоб замазать выступление о Ленине, газетчики из «Социал-демократен» придумали трюк.

«...Юбиляр,— написали они,— с большой похвалой отозвался о Левине».

Маленькая подмена буквы — и имя Ленина было превращено в имя малозначительного датского писателя.

Но разве можно мелким пакостничеством запятнать большие имена?

Как ни копошись, как ни злословь вокруг подошв большого человека, все равно голос его слышен далеко, в первых шеренгах антифашистской борьбы.

Все равно — шелухой опадают сомнения, промахи, извилья путей, срывы, мелочности трудного датчанина Андерсена-Нексе, и тем отчетливей, родней пролетариям мира встает облик одного из родоначальников искусства пролетариата, товарища Мартина.



пять недель
в Чехословакии


С. ТРЕТЬЯКОВ
СТРАНА-ПЕРЕКРЕСТОК

ВВОД

Чехословакия — нож у горла Германии,— сказал руководитель германских фашистов. А германских детей заставляют решать такую «задачку»: «Скорость бомбардировщика днем — 280 километров в час, ночью — 240. Сколько времени должен продолжаться полет из Бреславля в Прагу днем и сколько ночью?»[1]

— Чехословакия — аппендицит Европы,— острили затейники этой страны, артисты Восковец и Верих, исполняя песню о больной Европе перед картой, превращенной в портрет, где Испания — голова, Италия — нога, Франция — торс, Германия — кринолин, а Чехословакия — червеобразный отросток толстой кишки.

Сейчас в их спектакле отросток этот исчез из карты Европы. Чехословакия стала сколкой, соединяющей Францию и Советский Союз.

Действительно, она подобна узенькому мосту между странами мира, который тем многозначительней, чем настойчивее стремится разрушить его устои мутный вал фашизма.

Слишком много интересов скрестилось и вожделений нависло над этой страной, родившейся к самостоятельности в 1918 году на развалинах мировой войны, когда наконец стали государственным единством среднеевропейские славянские области Богемия и Моравия, входившие в состав Австрии, и Словакия с Закарпатской Украиной, бывшие под Венгрией.

На весах европейской политики страна эта, всего девятая в Европе по населенности и четырнадцатая по размерам (равная примерно Голландии или Бельгии), весит неизмеримо больше своих размеров.

«Это Европа в миниатюре,— говорит о своей родине писатель Карел Чапек.— Если, судя по поперечнику, нигде не превышающему двести пятьдесят километров, это страна маленькая, то по длине, равной длине Англии, или Италии, или Германии,— это страна большая».

Конечно, это большая страна, особенно если учесть то разнообразие укладов, которое уместилось на протяжении тысячи километров, от промышленных центров высокой индустриально-европейской цивилизации, как Пльзень, и до карпатских деревушек, где в лесных трущобах сохранился нетронутым быт чуть ли не каменного века.

Страна молодая? Да. Всего восемнадцати лет от роду. Но в 1926 году страна эта праздновала тысячелетие зарождения своей государственности, когда, еще в эпоху Византии, вышла она на арену истории в виде великоморавской державы.

---

[1] Задача из фашистского учебника арифметики. См. газету «Правда» от 13 марта 1937 г., № 71 (*С. Т.*).

Воистину проходным двором истории был этот край, огороженный с севера горами — Исполиновыми, Татрами, Карпатами, в прорезь которых уходят на север реки Эльба и Одер.

Страна, ниспадающая теплыми холмами и реками в мягкой сизой дымке к придунайским степям.

Вулканические силы сотрясали эту землю задолго до того, как на ней появилась жизнь. Эти силы до сих пор дают себя знать в горячих гейзерах. Карлсбада и Мариенбада, всемирно известных курортов, где люди лечились уже шестьсот лет назад. Вулканическое пламя пузырится раскаленной целебной грязью на дне реки Гуты в Пиштянах, где в витрине великолепного вестибюля лежат костыли Хенни Портен, знаменитой кинозвезды, протезы и металлические корсеты других знаменитостей, получивших исцеление на этом курорте, в гербе которого изображен атлет, ломающий костыль о колено.

Этот вулканический огонь помогает остроумцам. «Чехословакия стоит на вулканах»,— острят они всякий раз, как новый пограничный инцидент возникает в Тешине, местечке, которое Польша считает неправильно отошедшим к Чехословакии, или когда в Судетских горах, откуда виден на горизонте Дрезден, проносится новый фашистский вопль о воссоединении с германским материком тех трех миллионов чехословацких немцев, которые населяют эту приграничную полосу.

Но сила огня скрестилась в этой стране с силой стужи.

Именно у барьера гор, огородивших Чехословакию с севера, остановился язык великого глетчера, в ледниковый период надвинувшегося на Европу. Здесь, в Моравии, ледяной стеной отжатый к югу, бродил и жил в карстовых пустотах известковых скал первобытный человек. Кремневыми ножами и копьями он бил носорогов и мамонтов, чьи кости и бивни лежат в земле неподалеку от стекло-бетонных кубов сегодняшних обувных фабрик Бати, от сепараторов сахарных заводов, от цементных шоссе, которыми пролетают автомобили туристов.

Придунайские степи были мировым проспектом, которым из Азии шли в поисках травы для стад своих и дичи для своих стрел галлы, готы, славяне.

Но с юга сюда же, сквозь леса и горы, навстречу варварам пробивались римские легионы. На тех местах, где сейчас стоят молоты и блюминги шкодовских заводов, во времена Гая Юлия Цезаря уже плавили отличное железо.

Здесь в непроходимых пущах оборвался натиск римских легионов, разбитых германскими племенами. Остатки этих лесов существуют и посейчас в расчищенном виде, прибранные для туристов, населенные ланями и глухарями.

Но страна была серебром богаче, чем железом. Все серебро австро-венгерской монархии добывалось в богемских рудниках. «Ефимок», ходовая монета средневековой Московии,— это же серебряный талер, чеканившийся в Иоахимстале (Иоахим — Ефим), городе, прославившемся в начале XX века тем, что из залежей его урановой руды супругами Кюри был выделен элемент, произведший революцию в химии и физике,— радий.

До земель сегодняшней Чехословакии дохлестывали с юга полчища Османов, угрожавших Европе. Ядра турецких орудий доселе в остатках стен средневековых крепостей.

И эту же страну огнем и мечом прошли с севера шведы под командованием Густава Адольфа и французы в истребительные годы Тридцатилетней войны.

Здесь, у города Брно, на полях Моравии, путь, который прошагали русские мужики в лосиных рейтузах и в покрытых сальной пудрой париках, скрестился с путем наполеоновских армий под Аустерлицем.

Страна эта не только водораздел рек Средней Европы, не только северный рубеж кукурузы, табака и винограда, она и тот исторический фронт, где столкнулись лбом ко лбу притязания церквей: западной — католической и восточной — ортодоксальной.

Богемия была далекой окраиной папской религиозной сатрапии. Папским рукам было труднее сюда дотянуться,— вот почему ереси успевали здесь свободнее вызреть. В XIV веке Прага была самым культурным городом Центральной Европы. Король Карл IV, чье имя до сих пор носят в Чехословакии великолепные древние мосты, храмы, бурги и даже курорт Карлсбад,— этот король, за благочестие прозванный «королем попов», вряд ли мог предполагать, создавая пражский университет, что это высшее учебное заведение через какие-нибудь пятьдесят лет изберет ректором своим магистра Яна Гуса, одного из величайших предшественников Возрождения, перенесшего в Чехию и развившего здесь еретические учения Виклефа, мыслителя другой папской окраины, Англии.

Гус за сто лет до Лютера поднял борьбу против индульгенций, против бюрократической развращенности папской системы, против многого, что, по его мнению, затемняло первоначальный смысл христианского вероучения.

Он выступил в удачный исторический момент, когда папство раскалывалось в самой сердцевине своей и двое пап, из которых один имел резиденцию в Риме, другой — в Авиньоне, состояли друг с другом в перманентной ругани и драке.

Гуса вызвал Констанцский собор для объяснений. Император Сигизмунд гарантировал ученому неприкосновенность, но предал его немедля по прибытии в Констанцу.

Гуса сожгли на костре, но пламя этого костра оказалось страшным и для императора и для папы.

Из лозунгов Гуса, казалось бы чисто религиозных, выросли лозунги социальные и политические.

Очень быстро протест против индульгенций и требование причастия под двумя видами переросли в формулы «долой папистов», «долой императора», и по всей тогдашней Чехии прокатилась волна восстаний под гуситским черным флагом с красною на нем чашею.

Началось так: ширилась молва.

Последний праведник на земле сожжен. Папа — антихрист. Индульгенции — печать дьявола. Уже где-то народился семиглавый змий. Уже

видели чудовищного всадника апокалипсиса разъезжающим по земле. Последние времена пришли.

Крестьяне деревушки, что в девяноста километрах к югу от Праги, вышли со всеми домочадцами встречать второе пришествие. Они погнали перед собою скот и везли скарб на тяжелых деревенских фургонах.

В семи километрах стали табором. Составили кольцом фургоны. Цепи, выкованные деревенскими кузнецами, скрепили эту ограду.

Ждали. Имущество было объявлено общим: все равно конец мира близок.

Но второе пришествие наступало медленно. Быстрее наступали карательные отряды папы-анархиста — латники на конях, посланные против еретиков, прекративших платить налоги и церкви и императору.

Обычно бои всадников, закованных в панцири, решались почти турнирного характера сшибками.

Казалось, что могут против латников деревенские сермяжники, с их топорами, вилами и цепами или, в редких случаях, с бомбардами — неуклюжими пушками, укрепленными на телеге. Впрочем, эти тачанки средневековья приносили больше шума, чем вреда врагу.

Но взять табор латникам оказалось непросто. Перескочить барьер повозок, стянутых цепями, перегруженные кони не могли.

Приходилось спешиваться, но тут-то неповоротливых броненосцев брали в топоры и вилами выковыривали из брони.

А если не спешивались сами, их спешивали ударами цепов с высоких телег.

Измором взять табор, полный снеди, было немыслимо. А главное — деревня за деревней «выходили из себя», и подвижные крепостцы таборов вырастали по стране.

Начиналась беспощадная война. Приобретали очертания боевая организация и дисциплина. Нарождались народные полководцы, виднейшими из которых были Ян Жижка и таборит Прокоп Великий, которого враги за лысину злобно называли Прокопом Голым.

Одноглазый Жижка, гусит из мелкопоместных дворян, главнокомандующий соединенными гуситскими силами, наголову разбил императора Сигизмунда в околопражской деревне, где сейчас квартал Праги, именуемый Жижков.

Жижка сумел на боевой практике таборов построить новую для своего времени военную тактику и стратегию, обеспечившую гуситам потрясающий успех.

Жижка создал и легкую крестьянскую конницу, незаменимую в погонях за бегущими папистами.

Сметая императорских чиновников, католических монахов, занося топор и на собственных панов, гуситы доходили до берегов Балтики.

Но гуситское движение захлебнулось в противоречиях религиозных и социально-экономических. Отряды Жижки, именовавшие себя после его смерти «Сиротским войском», совместно с пражскими бюргерами и дворянами идя на компромисс с императором, обрушились на непримиримых таборитов. Сражение при Липанах покончило с таборитами.

Ста лет не прошло, как победоносные крестьяне оказались снова закованными в цепи крепостной зависимости.

Только имя провинциального городишка Табора напоминает о месте, где, готовясь к страшному суду, стал первый крестьянский повстанческий лагерь пятьсот лет тому назад.

Но дело было сделано. Именно здесь, в Богемии, было положено начало крестьянским войнам, в которых вызревал протестантизм.

Как видно, уже и тогда Чехия была достаточно острым ножом в лопатках Европы.

Из гуситских войн Чехия вышла самостоятельным и мощным королевством. Чешский король этой державы Юрий Подебрадский, как говорят, был пропагандистом идей некоего союза народов. Об этом охотно вспоминают в сегодняшней Чехии публицисты, если речь заходит о Лиге наций.

Бурная эпоха, только что описанная, рождала не только героев революционных боев, но и столь своеобразных мыслителей, как, например, Хельчицкий, самобытный философ, во многом являющийся предшественником Льва Толстого.

А двумястами лет позже Чехия породила такого мыслителя мирового масштаба, как Амос Коменский. Основоположник современной педагогики, крупный общественный деятель своего времени и патриот, он вынужден был эмигрировать из Чехии, разгромленной после неудачного восстания чешских дворян против абсолютистской и католической политики Габсбургской династии, которой Чехия досталась в XVI веке. Душою этого восстания были так называемые «богемские братья», духовные преемники гуситов. Жестоко подавленное восстание было прологом к Тридцатилетней войне, длившейся до середины XVII века, разорившей Центральную Европу, а Чехию, население которой было истреблено на две трети, превратившей в нищую, жестоко онемечиваемую и окатоличиваемую страну. XVII и XVIII века были временем глубокого национального падения Чехии.

Умелыми колонизаторскими маневрами габсбургская бюрократия превращала имущую и правящую прослойку чехов в людей, не только говорящих по-немецки, но и думающих по-габсбургски. Эти онемеченные магистры, землевладельцы, лавочники, предприниматели, священники стыдились своего родного языка так же, как в России, например, во времена Екатерины офранцуженные дворяне стыдились русского языка, на котором говорили их крепостные мужики.

Нужен был удар грома, как Французская революция, объявившая принцип самоопределения наций, чтобы в Чехии проснулось и выросло национально-освободительное движение «будителей ческего народу».

За одно только XIX столетие чехи и словаки показали, как велика творческая энергия, живущая в массах, которых не могли сломить двести лет утонченнейшего гнета.

Создатель истории чешской литературы Юнгман, переводчик Гёте и Мильтона, был двадцатилетним юношей, когда в конвенте произносил свои речи Робеспьер. Он был вдохновителем молодых романтиков с Вац-

лавом Ганкой во главе, собирателем фольклора и переводчиком «Слова о полку Игореве».

Ганка вместе с друзьями был автором знаменитой «Краледворской рукописи», которая должна была заменить утерянный в Чехии былинно-героический и летописный эпос. Эта подделка, не уступавшая по мастерству да и по общественному значению знаменитым поэмам Оссиана, была разоблачена много позже, когда романтиков сменили ученые так называемой реалистической школы, одним из известнейших представителей которой был первый президент Чехословацкой республики Массарик.

Начало XIX столетия выдвинуло такие фигуры европейского масштаба, как первый историк Чехии Палацкий, создатель чешской грамматики Добровский, поэт Маха.

«Наш Пушкин»,— говорят чехи про Маху, умершего ровно сто лет назад, совсем молодым — двадцати шести лет.

Движение «будителей» было предтечей возникновения чешской промышленности. Помещиками были в основном немцы, в руках чехов было ремесло. Чех-техник, чех-инженер стал внедряться в растущую промышленность, которой, впрочем, командовал капитал не чешский.

И до сих пор крупнейшие промышленные предприятия Чехословакии контролируются не чешскими капиталистами: Шкода — французскими, витковицкая угледобыча — австрийским Ротшильдом, Кольбен-Данек — германскими банками. Характерно, что первый чисто чешский банк — это «живностенский» (живность — значит по-чешски ремесло).

В Чехии в начале XIX века создался первый в Европе инженерный институт. Техническая мысль работала в это время вовсю.

После того как Стефенсон пустил свой паровоз в Англии, первая железная дорога на континенте была построена в чешском городе Будейовицах чешским инженером Антоном Герстнером, тем самым, который впоследствии построил и первую дорогу в России — от Петербурга до Царского Села.

Резкую политическую окраску движение «будителей» приобрело с революции 1848 года.

Сельские романы Божены Немцовой заложили фундамент чешской прозы.

Сатирик Карл Гавличек-Боровский, проведший много лет в тирольской ссылке, продолжает ироническую линию Генриха Гейне. Его издевательские тирольские элегии и «Крещение святого Владимира» свежи и посейчас.

Поэт и журналист Ян Неруда, поэт Врхлицкий, романист Ирасек утверждают искусство возрождающейся Чехии параллельно таким мировым величинам в музыке, как Бедржих Смéтана и Дворжак.

Смéтана вырастает как антагонист Рихарда Вагнера. В опере «Проданная невеста» он продолжает музыкально-комедийную линию моцартовского «Фигаро», а в своих патриотических симфониях подымает богатейшие пласты народных музыкальных сокровищ.

Собирать национальные силы во время реакции было легче всего по линии искусства. Вот почему не только писатель, но и музыкант,

обращавшийся к народному фольклору, тем самым становился общественным трибуном.

Широкое хоровое движение подняло на высоту народную песню. Австрийцы не позволяли в государственном театре играть на чешском языке. Чехи построили в Праге свой собственный театр на всенародные пожертвования.

Даже созданное Тыршем гимнастическое движение «соколов» было в какой-то мере производным того же движения романтиков-«будителей».

Во втором кремле Праги, в старинном Вышеграде, безлюдном и удаленном от городского шума, на холме, где, по преданиям, началось чешское государство, находится кладбище. Оно очень скученно, могильные плиты его почти соприкасаются. Каменные ступени ведут на помост, над которым мемориальная доска и на доске имена «будителей ческего народу».

Почти все они лежат здесь.

И изваяние крылатой женщины, склоненной над саркофагом, венчает памятную доску.

Этот памятник называется «Сла́вин», от слова «слава».

1. АТЬ ЖИЕ!

— Ать жие Советский Сваз!

— Наздар! Наздар! Здар!

Так скандируют толпы у вокзальных подъездов, когда мы, «списователи а новинаржи» — писатели и журналисты, встреченные на перроне хозяевами — чехословацкими журналистами и общественными деятелями, с обнаженными головами проходим к автомобилям.

Эти встречи перехлестывают границы этикета. От города к городу они становятся бурней и многолюдней. Вот уже красные знамена заклиниваются над головами, одетыми в кепки.

— Чест праци! — Слава труду!

Так приветствуют коммунисты.

За спинами чинных полицейских подымаются к плечу сжатые в ротфронтовском приветствии кулаки, сияют порой исступленно-изможденные лица, самые дорогие нам здесь и родные.

Песня непроизвольно встает над толпою. Ей сейчас нет помехи. Это гимн нашей страны.

Если мы садимся в автомобили, нам стучат в стекло, прилипают лицом, кричат приветственно, машут шляпами. Если открытый автобус — протягивают руку, чтоб пожать. Часто нашу книжку подают через борт автобуса с просьбой об автографе. Если нет книжки, протягивают за автографом блокнот, визитную карточку, даже папиросную коробку. Подымают детей на руках. Мы здороваемся, спрашиваем: как зовут? Вацлав, Злата, Божена, Милада, Франтишек.

Так — в Праге и в Пльзене, Брно и Оломоуце, Братиславе и Моравской Остраве.

Это самое замечательное.

Правильно заметил председатель нашей делегации Михаил Кольцов в прощальной речи:

— Нас больше всего поразила и тронула именно эта всенародность дружественного внимания, далеко перехлестнувшая границы официального визита.

Меня иногда спрашивали: «Трудновато небось было Чехословакии раскачаться в такой короткий срок на симпатию к Советскому Союзу?»

Думается, что вопрос о раскачивании неверен. Впечатление такое, будто открыли заслонку, и симпатия, никогда в этом народе не угасавшая, а в его широчайших трудовых массах и в прогрессивной интеллигенции всегда активно возраставшая параллельно росту Советского Союза,— вырвалась наружу, как бы только ожидая этого момента.

Источники, питавшие эту симпатию, разнообразны.

Тут сказалась в первую очередь культура советская — компас и магнит революционного пролетариата Чехии. А в частности, влияние левого советского искусства — Маяковский, Хлебников, Татлин[1], Мейерхольд,— сыгравшего решающую роль в формировании сознания левого крыла современной чешской поэзии, живописи, театра.

Тут и русская классическая культура — Пушкин, Толстой, Достоевский, Чехов,— формировавшая сознание либеральных и радикальных чешских интеллигентов, из которых встарь многие получали образование в российских гимназиях и университетах. Тут и легионеры — бывшие военнопленные, научившиеся в России русскому языку, зачастую вывезшие в Чехию русских жен.

Тут сыграло роль даже старинное славянофильство (конечно, не в крайних своих проявлениях, как, например, у Крамаржа, заклятого врага Советов, апологета русского великодержавничества).

Равнодействующая всех этих силовых линий скрестилась сегодня в точке чехословацко-советской дружбы.

2. ЯЗЫК

Я сказал чеху, что мне нравится их язык. Чех удивился:

— Странно! Над нашим языком нередко смеются и говорят, что он похож на трещотку.

Это неверно. Несмотря на конгломерат согласных — «Крчь», «Брно», «Скрз», «Грб», «Прст», в языке этом много, я бы сказал, украинской мягкости. Особенно поют пражаки, длинно затягивая и повышая последний слог.

Ритмический узор языка весьма своеобразен.

Согласные тоже имеют ударение. В слове «Брно» ударение не на «о», а на «р». «Пльзень» произносится как двусложное, с ударением на «л».

---

[1] Татлин Владимир Евграфович (1885—1953) — советский художник, видный представитель конструктивистского течения в искусстве первых лет революции, автор модели «Башни III Интернационала» (1920) и др. произведений.

Ударение обязательно на первом слоге, но есть еще длинные гласные, которые образуют как бы второе, интонационное ударение:

«Клобоук долу!» — говорит чех.— «Шапку долой!»

И в этой фразе звучат одновременно и хорей и ямб.

Это ритмическое своеобразие «открыто» не так давно, и на нем новая чешская поэзия построила свою поэтику. До того же чешский язык пытались втиснуть в формальную схему то силлабического, то тонического стихосложения, считая народный стих и все его производные вульгарными и неправильными.

Те тяжкие спондеи односложных слов, которые в нашей поэзии с таким успехом культивировал Маяковский, додавая зачастую спондеического свинца могучим своим голосом и манерой читки,— в чешском языке разрешаются просто и совершенно органически.

Вот, к примеру, две чешские стихотворные строки:

Грэйтэ ми мое блууз,
Маам глад.
(Сыграйте мне мой блюз,
Я голоден.)

По-чешски можно не писать этих двух последних тяжелых слов каждое в отдельную строчку для того, чтобы подчеркнуть их спондеическую нагруженность.

Уже по этим строчкам русский читатель видит, как много общего корневого в наших языках. Только в живой речи это корневое заслонено произношением да смещенным смыслом. Этот смещенный смысл является тем первым парадоксальным эффектом, на котором вырастает внимание к языку:

«Пóзор! Пóзор!» — кричит носильщик на перроне. Вы оглядываетесь на этот парламентский гневный окрик, не зная, в чем ваша вина. Вы отступаете к рельсам. И снова железнодорожник остерегающе протягивает руку и кричит вам: «Пóзор на влаак!»

А потом вы узнаете, что «пóзор» — значит «берегись» — позирай. А «влаак» — это поезд (влачащий вагоны).

Но совершенно неожиданно, что скорый поезд называется «рыхлывлаак», или — короче — «рыхлик», ибо прилагательное «рыхлый» — значит «скорый».

Тут начинается экзотика.

«Черствый» хлеб негаданно для вас значит — свежий. Впрочем, тут же приходит на ум слово, которое на нашем собственном языке повернулось уже на 180 градусов вокруг своей оси; это слово — «запомнить», основное значение которого «запамятовать» — забыть.

«Ходьте хитро», сказанное по-словацки, значит по-нашему «идите быстро».

Целый ряд наших обыденных слов звучит для чеха парадоксально, а подчас и не слишком вежливо. Так, некий русский, узнав, что по-чешски «восток» будет «восход», заговорил о своем блестящем знании «заходной литературы», чем вызвал большое смущение, так как «заход» по-чешски — «нужник». «Запад» же так и будет «запад».

Наше слово «запах» по-чешски означает «зловоние». Ежели вы хотите повествовать о благовонном, скажите — «вунь». «Духи» по-чешски — «вонявки».

Также «мла́денец» по-чешски значит «молодой человек».

«Скупина мла́денцев» — «общество молодых людей».

Если вы внимательно вслушиваетесь в стихию чешского языка, она задает вашему языковому чутью большую и крайне интересную работу.

Так, я удивился, когда при мне было произнесено о ком-то из великих людей «несмертельный списователь». Это значило — «бессмертный писатель».

В чешском языке многие наши привычные слова, происхождение которых мы позабыли, это происхождение обретают.

«Убийца» по-чешски — «враг», и «вражда» — это «убийство». Слово «вздор» означает «сопротивление». А «ласка» по-чешски — «любовь». Иногда, беседуя о языке, я нащупывал целые лестницы одинаковых слов, имеющих разный смысл у нас и чехов.

Началось со слова «пушка». Чешское слово «пушка» означает нашу «винтовку». В свою очередь наша «пушка» по-чешски — «дело». Наше «дело» по-чешски — «чин». Наше «чин» по-чешски — «годность». И только слово «годность» переводилось на чешский язык словом, которого у нас не имеется. Так, наше слово «забор» по-чешски — «плот»; наше «плот» по-чешски — «вор»; по-русски «вор» — по-чешски «злодей», а злодея чех называет «злочинец».

«Авантюрист» по-чешски называется «добродруг», а «приключения» — «добродружестви». Смысл сравнительно с нашим обратный, а есть смыслы куда-то в сторону, словно ход коня.

Чешское слово «питомец» в переводе значит «болван». А наше слово «подводник» значит «шулер».

Уже возник на этой почве анекдот, как некий наш подводник возымел трудности при получении визы, ибо это обозначение профессии навело чехов на сомнения.

Многие слова трогательны своей наивной образностью: «затыкач» — это приказ об аресте, «губичка» — «поцелуй», «гасич» — «пожарный».

Я не слишком большой поклонник адмирала Шишкова, достаравшегося в оберегании чистоты русского языка до «мокроступов», которыми он заменял слово «галоши», но я с искренним удовольствием услышал четкое и ясное слово «умелец», как по-чешски называется «художник»,— слово, говорящее о мастере, который умеет, а термин «железарня» просится заменить собою сложное построение — «металлургический завод».

Все то, что мною здесь написано,— это лишь первая стадия, когда новое заинтересовывает странностью, когда первые шаги осваивания языка похожи на восстановление шахматной партии, фигуры которой сбиты толчком с клеток. За первым шагом должен идти второй — настоящее и внеэкзотическое изучение языка. Пытаюсь.

Кстати, заодно, заговорив о языке, надо отметить высокое качество чешской транскрипции. В чешской азбуке много меньше букв, чем у нас.

Крючочек («чарка») над буквой превращает «с» в «ш», «ц» в «ч», «з» в «ж». Эта транскрипция введена еще Яном Гусом, и чехи по справедливости гордятся ее удобопонятностью и простотой.

3. ПРАГА

Иностранца на тротуарах Праги узнают потому, что он толкается, неудобнейшим образом идет наперекор движению прогуливающихся толп. Впрочем, если этот иностранец обживется в Праге и вернется домой, то он будет толкаться у себя на родине. Объясняется это тем, что в Чехословакии движутся не правой стороной, а левой.

Вспоминаю то неотвязное чувство катастрофы, которое преследовало меня вначале, когда приходилось ездить по Чехословакии на автомобиле. Неопытному шоферу плохо. Еще хуже шоферу, не знакомому с пражскими улицами.

Вот с широчайшей артерии Праги — вернее, это даже не артерия, а аорта: так огромна и коротка эта улица, именуемая Вацлавской площадью,— шофер въезжает в значительно более узкую, но все же просторную улицу старой Праги. Предположим, что он по неопытности проскочил поворот и решил свернуть на следующем. Тут-то и начинается верша. Вторая улица, не выводя ни на какие проспекты, подводит машину к третьей улице, еще более узкой. В четвертой уличке автомобиль почти скребет боками стены и, наконец, въезжает во двор-тупик, из которого уйти можно только пятясь.

В средневековой части Праги улички напоминают ходы, проточенные жуком-древоточцем. Здесь темная глушь средних веков живет в обнимку с сегодняшним днем.

Брусничный свет неоновых трубок и тут же железная дверь той часовни, где проповедовал Ян Гус в XIV веке. Старый театр, где Моцарт давал премьеру своего «Дон-Жуана», а рядом крикливое веселье бара, все равно какого: того ли, где, подобно бару в местечке Мельник, кресла имитируют распиленные бочки, а в люстрах лампочки засунуты в пивные бутылки; того ли, где на главном пивном столе стоит гроб и самое заведение называется по-страшному — «néant» — «ничто»; того ли, где над входом изображена бригантина, а внутри зала все имитирует мореходство в этой сухопутнейшей из стран.

Любящие вкусный анекдот пражаки покажут и дом, где жил Моцарт, когда писал «Дон-Жуана», добавив при этом, как приходилось беспутного композитора запирать в комнате и не давать ему денег, чтобы опера все же писалась.

Универсальный магазин типа Вульворт, а рядом — рынок, где под полотняными навесами или гигантскими зонтами торгуют женщины в платках, где фрукты словацких садов лежат красиво сложенными грудами. А вот цветов, к слову сказать, здесь мало. Только здесь становится понятным, какой цветочный город наша Москва. Цветы здесь на базаре чаще фигурируют в виде погребальных венков, и обычное зрелище — трамвайный вагон, идущий в сторону кладбищ, на передке которого снаружи висит громадный венок, отвозимый кем-нибудь из пассажиров.

«Каварни» — кофейни — весьма многочисленны. Новые — это насто-

ящие дворцы, разделанные согласно современнейшим требованиям искусства архитектурного интерьера, которое в Чехословакии стоит очень высоко. В кофейни приходят не столько пить кофе, сколько читать газеты и беседовать. Подается чашка кофе и к ней — стакан воды, который то и дело сменяется новым. Искусство в том, сколько стаканов воды пересидит посетитель за одной чашкой кофе. Очень часты за столиками компании судачащих пожилых женщин,— тут начинаешь понимать точное значение немецкого термина «каффетанте» — «кофейная тетка».

А у выхода из кафе уличный торговец продает «парки» — горячие сосиски, соединенные попарно, из медного котла, над которым из тонкой трубочки бьет пар, являясь своеобразной зрительной, а может быть, и обонятельной вывеской этого маленького предприятия.

И прохожие, ухватив парку пальцами, окунают ее в густую беловатую горчицу на бумажной тарелке.

Мускулисто изогнут камень на зданиях чешского барокко, и тут же стеклянными кристаллами, освещенными изнутри, выстраиваются здания новейшей архитектуры. Изваяние, характерное для скрещений средневековых уличек, продолжает стоять на углу меж двух модернизированнейше оформленных витрин конфекциона, где остроумно расставлены фигуры манекенов, настолько живо сделанных, что когда в витрину влезает приказчик их переодеть, то в момент его раздумья не сразу сообразишь, который здесь живой, а которые восковые,— разве что живой всегда худосочнее восковых.

Кстати — о манекенах.

Вацлавская площадь с ее широчайшими тротуарами и многочисленными магазинами, кино и кофейнями — это «фойе» Праги. Там, особенно под вечер, прогуливаются люди степенным шагом, осматривая витрины и проходящих. Газетчики кричат названия «вечерок». Лотерейщики стоят у досок, испещренных цифрами выигрышей. Такси косой штриховкой в два фронта вытянулись вдоль всей улицы. Привычные нищие караулят у входов в магазины: кто из них крутит ручку театра марионеток, а кто просто стоит, протянув шапку и выставив надпись на груди — «slepec».

Чучела веселых, но давно приевшихся манекенов зыблются высоко над головами гуляющих. Человек, идущий в манекене, смотрит в дырочку, проделанную в животе гиганта.

И вот в этом-то кипении мы со спутником увидали куклу. Она была сделана с большим искусством. Обычного для пражских улиц вида парень стоял под выставленной на тротуаре рекламной надписью, прислонясь к подпорке в той позе, которую принимают люди, измеряющие рост во врачебном кабинете. Но было в этой кукле что-то такое, что заставило, пройдя, обернуться еще раз. Мелькнула подсознательная мысль: не живой ли это человек? Вернулись. Вгляделись. Нет, очевидная кукла. Так недвижимо человек стоять не может. И так долго... Но, с другой стороны, что за странные глаза? Или уж действительно велик талант у скульптора, сделавшего эти глаза, в которых было напряжение человеческого взора, уставившегося куда-то на середину мостовой, в автомобильные колеса?

Я сказал:

— Человек! Вглядитесь в глаза.

Спутник возразил:

— Кукла,— отметьте неподвижность и явно искусственную окраску скул.

Мы уже не могли двигаться дальше, и что самое интересное — кругом стояли люди, ведшие, видимо, тот же спор, что и мы.

«Да ну, улыбнись же хоть краешком рта, истукан!» — рассердился я внутренне, когда мне показалось, что где-то у губ куклы промелькнула полуулыбка. Но тут же мне стало жалко себя, наивного провинциала, которого так легко обмануть искусно сработанным муляжом. Не слишком ли долго стоим мы около этой рекламы? Право же, она того не заслуживает. Пора идти дальше. И в этот момент, сделав глубочайший выдох, кукла вывернулась из-под рекламы и, не глядя ни на кого, убежала в ворота пассажа, так и не дав сообразить, что это было — реклама ли или просто шутка на пари.

Мы после этого долго беседовали со спутником на тему о новом кризисном парадоксе. Когда-то бо́льшая дешевизна куклы заставила торговца поместить в витрине ее вместо живого манекена. А теперь человеческие руки стали так дешевы, что имеет смысл нанимать безработных и сажать в витрину, чтобы они там исполняли роль восковых кукол.

Беседа оборвалась фантазией на тему о скетче, который кончился бы забастовкой восковых кукол в витрине.

Словом, история о «ро́боте» навыворот.

Впрочем, эти фантазии находят много подтверждений в скверной действительности. Было же опубликовано в «Прагер прессе» объявление вконец изголодавшегося безработного интеллигента, предлагавшего себя для любых медицинских опытов, лишь бы опыты эти и самая его смерть были оплачены семье. Чем не повесть о китайцах, которых можно нанять пойти на казнь вместо приговоренного!

В Прагу вживаешься легко и быстро. Мне это было тем легче, что она действительно во многом напоминала Китай. И не только средневековьем, башнями, узкими, в размах человеческих рук, переулками, магазинами, гнездящимися в глуби домовых дворов, превращенных в пассажи, но и обилием мельчайшей уличной торговли. Улица и так узка, а тут еще около тротуара стоят густые кучки людей, обращенных лицами куда-то в середину. Там болтливый человек около плоской кадки с водой гоняет по воде пароходики, работающие взаправдашними моторами. Иной продает чулки или последнюю германскую игрушку «танк», который ползет, трещит и пыхает разноцветными искрами из пушки. Другие торгуют конвертами, спичками, прочищалками для трубок, дешевыми книгами, бусами, шерстяными обезьянками.

Прага встает рано. Уже в семь часов утра она кипит. Обедает с двенадцати до двух, но зато в одиннадцать вечера уже пустынна. В ночные часы на ее перекрестках бодрствуют лишь газетчики да торговцы.

Шлемастые «стражники», как здесь именуют полицейских, скучают на пустых перекрестках или снисходительно беседуют с газетчиками.

Реку Влтаву я в первый раз увидал, подъезжая к Праге в абсолют-

ной ночной черноте. Невидимая река была пунктиром фонарей, отмечающих ее набережную.

Во второй раз я увидал ее в мелодии сметановской симфонии «Моя страна». Здесь с более чем зрительной осязательностью рассказано звуками рождение реки из ручейков, ее говорливый бег в огиб холмов, ее вступление в пору речной зрелости, когда она пробивает скалы и кипит над порогами, ревя и всплескиваясь, чтобы выйти на широкие поймы созревшей, большой судоходной реки.

И лишь в третий раз я увидал Влтаву воочию.

Она немного шире Москвы-реки, бережно разделена ледоломами, дамбами, плотинами. Мост за мостом перекидываются через нее. Традиционные удильщики недвижны в лодках под мостами, давая вечную пищу газетным юмористам. Карлов мост — живое средневековье, начиная статуей короля Карла у входа на мост и средневековой предмостной башней. На самом мосту — скульптуры и громадный крест, окаймленный золоченой надписью: «Свят, свят, свят!» Надпись эта сделана еврейскими буквами. Ее вынужден был вмонтировать в крест некий богатый еврей, обвинявшийся в богохульстве в давно прошедшие времена.

Пройдите, оставив позади мост Легии и Национальный театр, вниз по течению, к легкому мосту, висящему на стальных жгутах, и вы совершите за несколько минут от камня Карлова моста и стали подвесного моста путешествие из средневековья в сегодня.

А там, где Влтава двумя рукавами охватывает островок, подобный тому, на котором у нас на Москве-реке стоит сладкая фабрика «Красный Октябрь», вы услышите смех и звон голосов и странный зимний скрип, несмотря на то что кругом погожая осень и двенадцать градусов тепла.

На этом островке — каток из искусственного льда, открывающийся задолго до того, как первый мороз скует воду в этой стране удивительно мягкого и теплого климата.

И то, что Прага — вся горбатая, делало ее мне, москвичу, понятнее. Есть прекрасное место в окрестностях Праги — Баррандов, обнаженные обрывы и скалы над Влтавой. Это своего рода Воробьевы горы Праги. Тут расположена крупнейшая кинофабрика Чехословакии. На этих баррандовских каменных террасах выстроены по самому последнему слову архитектурной техники кафе и виллы.

Баррандов сразу узнается, если летишь в самолете над Прагой,— словно брошены на берегу черные ленты с цветистым горошком. Это столики кафейных террас. Под Баррандовом по лесному берегу проносятся поезда. Еще ниже — река, глубокая и темная, огибает высокий берег, неся на себе суда к Праге. И вдали — Прага, стрельчатая, всегда в мягкой седоватой дымке, обставленная взгорьями.

В Праге два кремля — Вышеград и Град — и одна низина «Старе место» образуют треугольник, в который вписаны важнейшие даты чешской истории.

Вышеград — это самый старый кремль. От него сейчас остались даже не стены, а разве что фундамент древних стен. Существующие же стены — это крепостной форт терезианских времен.

Здесь когда-то обосновалось чешское племя, положившее начало Че-

хии. Здесь же была цитадель легендарной княгини Любуши, которая, по преданию, взяв за себя замуж пахаря-мужика Пржемысла, начала первую чешскую династию.

Любуша — вернее, по-чешски Либуше,— стала впоследствии патриотическим символом самостоятельности Чехословакии, и недаром Смéтана посвятил этой фигуре одно из значительнейших своих патетико-патриотических произведений.

Основной кремль — это Град, высоко взнесенный на противоположном, гористом берегу Влтавы. Там дворец президента, там государственные учреждения, там пульс сегодняшнего дня. Различны формы легионеров, сменяющихся на карауле у въезда в Град. Они напоминают о тех временах, когда в мировую войну чехи формировали армию своей независимости в государствах Антанты — в России, Франции, Америке, Италии.

Здания Града — величественный памятник феодализма. В стрельчатом готическом соборе св. Вита, фундаменты которого уходят в XII век, лежат чешские короли. Костьми короли лежат внутри саркофагов, а грозными мраморными фигурами — на их каменных крышках. Они лежат веером вокруг алтаря, обращенные к нему головами..

Заалтарная стена собора — сплошные стрельчатые окна, на которых роспись из стекла и солнечного света.

В последнее время храм этот был расширен. И почти парадоксом по сравнению с бледными витражами средневековья звучат полумодернистские — бурных синих и красных тонов и беспокойных линий — новые витражи, изготовленные для этого придела художником Кисела.

Град обжимают дворцы старочешской знати. Дворец фамилии Шварценбергов, дворец рода Розенберг, «Чернинский палац», дворец Валленштейна.

Этот прославленный Шиллером полководец, воевавший с шведским королем Густавом Адольфом в Тридцатилетнюю войну, превратившую Центральную Европу надолго в пустырь, и посейчас ощутим в широких матерчатых креслах, в лепных гнутых потолках, в изразцах печей, стали рапир и тонком кружеве воротника, зажатого под стекло. На воротнике — ржавые пятна.

Эти кружева были на шее Валленштейна в ту ночь, когда его убили собственные офицеры, после того как он вошел в переговоры со своим противником.

Последним впечатлением в этом дворце является «мыльня» Валленштейна, учреждение замысловатое и мучительное. Она сделана в виде громадной сталактитовой пещеры, в стене ее — маленький, короткий и очень неудобный для мытья бассейн. Воду грели в котлах, а затем наливали в эту неуклюжих форм ванну.

В королевский дворец мы входим по деревянным ступеням, по мощности способным выдержать танк. Дерево ступеней поражает.

Что это? Ремонт? Нехватка средств?

Ничего подобного! Лестница всегда была деревянной, и по ней рыцари в полном вооружении въезжали на своих железом окованных конях прямо в Вацлавский зал. Зал этот размерами с добрый манеж. Нервю-

ры готических сводов здесь уже потеряли строгость, впали в декаданс. Они напоминают стебли водорослей, которые ленивыми и изнеженными движениями взбегают к сводам, чтобы скреститься на стыке арок. Чешская готика.

В этом зале рыцари в конном строю бились на турнирах.

А вот в высокой башне комнатка — канцелярия штатгальтера, управляющего Чехией, и то знаменитое окно, в которое этого штатгальтера вместе с присными выкинули, что стало поводом к Тридцатилетней войне. Пресловутая «дефенестрация», специфически чешский способ расправы с противниками, описанный уже не одним десятком новеллистов и репортеров.

А последнее, что запоминаешь в Граде особенно крепко,— это «Злата уличка» — уличка алхимиков. Строй тесно прижавшихся друг к другу непомерно маленьких домов с непомерно же большими трубами. Теми самыми, куда непреложно вылетали субсидии королей и вельмож, для которых здесь, в этих домиках, алхимики искали философский камень, обращающий в золото неблагородные металлы.

Перед этими самыми печами, склонясь над простоватой аппаратурой, алхимики, тщась найти философский камень средневековой магии, в действительности, не отдавая себе в том отчета, рождали подлинный камень современной науки химии. Не потомки ли этих неуклюжих дымоходов трубы сегодняшних химических заводов Чехословакии?

И не мечту ли о философском камне, превращающем элементы, реализовал элемент-революционер — радий, открытый в Париже Кюри, но добытый из иоахимстальской урановой руды, залегающей в пределах Чехословакии?

Только здесь, лицом к лицу с этими домами, похожими не то на курятники, не то на русские печи, какие у нас складывают в степях на вольном воздухе, чувствуешь, как неуютна была жизнь средневекового изобретателя и как просто было ему переступить из своей хибарки на «Златой уличке» в камеру пыток.

Хорошо, что дома алхимиков не уподоблены музейным экспонатам и не отгорожены от зрителей традиционным шнуром. Нет, в них живут обыватели, приветливые старушки впускают внутрь, дают поглядеть на жерло печи, являвшееся в то же самое время вытяжным шкапом и прекрасно служащее им сейчас, когда надо жарить, скажем, гуся с кнедлями по-пражски — крутыми хлебными клецками.

Старушки продают попутно открытки с видами Града. А против домиков, на другой стороне улички, подманивающая вывеска: «Ясновидящая мадам де Теб». Видимо, имя знаменитой предсказательницы, умершей давным-давно, стало нарицательным, а место для предсказаний выбрано не без умысла как раз напротив овеянных мистикой лабораторий.

Если Град отнесен от города за реку и возвышен над ним, то ратуша и ее окрестности, так называемое «Старе место», стоит в ложбине и натесно сцеплено с теми кварталами, где жили горожане, гильдейские купцы, цеховые ремесленники, студенты, стряпчие и прочий торговый и служилый люд.

Ратуша, центр старинной пражской демократии, теснейше связана с борьбою Чехии за свою независимость.

В приемной пражского приматора (городского головы) висят портреты прежних приматоров. Не все: часть погибла в пожаре.

Тут люди и в брыжах, и в кружевных воротниках, и в кудрявых львиных париках, и в буклях. Но лица у всех поколений — плебейские лица: широкие, угрюмые, лица горожан, не забывших родной деревни, оборотистых, неуступчивых, скопидомных и домовитых.

И когда под этими портретами появляется сегодняшний приматор Бакса, он плоть от плоти этой длинной галереи своих административных предков.

Под лестницей ратуши — чулан. Там нельзя стоять вытянувшись. Там можно лишь сидеть, сгорбившись, на каменной длинной приступке. В этом чулане триста лет тому назад сидели чешские дворяне, поднявшиеся против Габсбургов за независимость Чехии. Их восстание было разбито на Белой горе, неподалеку от Праги.

В этом чулане проводили они свою последнюю ночь. А наутро их вывели под стены ратуши и казнили на том самом месте, где сейчас на панели мелкой каменной мозаикой выложены кресты и памятные даты. Имена казненных — тут же, на каменной доске.

Это были духовные потомки гуситов. Памятник им громадным каменным стогом возвышается против ратуши, отодвинутый в сторону, ибо в центре площади стояла колонна со статуей богоматери, связанная с идеей австрийского владычества, и в австрийские времена памятник тут поставить не позволили. И в самом памятнике такой же сдвиг, ибо одинокая, как свеча, фигура Гуса отнесена в сторону от груды тел гибнущих в боях гуситов.

Иностранец, часто бывавший в Чехии, как-то высказывал мне свои соображения по поводу новых чешских памятников, ссылаясь в первую очередь на только что мною упомянутый, а также и на другой, изображающий историографа Чехии Палацкого, сидящего в кресле, сильно откачнувшись назад. Иностранец говорил:

— В новых чешских памятниках есть какая-то неустойчивость, смещенность центра тяжести. Не думаете ли вы, что в этом сказывается такая же смещенность политического центра тяжести и большое чувство неуверенности?..

Но возвращаюсь к ратуше. В своей демократической функции, как центр вольнолюбивых чешских горожан, она дожила до наших дней. Когда после провозглашения республики президент Массарик[1] прибыл в Прагу, ему подали придворную карету, чтобы ехать во дворец. Но он отказался и сел в первый попавшийся автомобиль, проехал прямо к стенам ратуши и там возложил венок на месте казни, со словами: «Вы отомщены».

---

[1] Массарик (Масарик) Томаш Гарриг (1850—1937) — чехословацкий буржуазный политический деятель, президент Чехословацкой республики с ноября 1918 по декабрь 1935. Проводил реакционную политику поддержки буржуазии и подавления революционного движения. Во внешней политике ориентировался на западные империалистические державы.

А мстить было за что. Австрийское владычество было для Чехии не только школой выдержки, но и страшной, поколения длившейся пыточной камерой. Германизация велась с таким остервенением и с такою настойчивостью, что даже чешский язык в течение более чем двух столетий сохранялся лишь как язык крепостных мужиков, на котором горожанам и знати говорить было зазорно.

С германизацией, которую проводила Австрия, соревновалась мадьяризация словаков Венгрией. О словацком языке граф Тисса говорил, что такого языка не было и не будет.

В Братиславе журналист-словак показал мне книгу, бережно хранимую им в книжном шкапу. То был русский букварь. Переплет его был скороблен и словно изгрызен.

— По этой азбуке мой отец учился русскому языку,— сказал он.— Когда началась война, он эту книгу закопал в землю. Если бы ее нашли, отца бы обвинили в сочувствии неприятелю, а то и в шпионаже.

4. МЕТАЛЛ И ОГОНЬ

Знаком стрелы с вертикальным трехперым крылом, в котором прорезан круглый птичий глаз, отмечены вещи завода Шкоды. Сталь с этим клеймом конкурирует со сталью, на которой выгравированы знаки Круппа.

Заводы Шкоды в пивопрославленном городе Пльзене — это целый самостоятельный город цехов и складов, прорезанный железнодорожными линиями, шуршащий электровозами, ухающий молотами, визжащий сверлами.

Пять тысяч тонн — шкодовский пресс. Мощнее в зарубежной Европе только десятитысячный крупповский..

Мы долго ходили громадными цехами, правда в достаточной мере темными, а кое-где и тесными, минуя трансформаторы, кожухи для агрегатов, вагонные скаты, стальные круглые балки, пока не подошли к выходу из цеха.

У этого выхода, отвернувшись в сторону и глядя в верхний угол здания, стояла пушка. Она замыкала мирную половину завода, и она же была знаком, что дальше — нельзя. Дальше — мост и другая половина завода, военная.

Это ремесло заводы Шкоды знают неплохо. Шкодовцы гордятся тем, что их директор — один из тех инженеров, по чьим чертежам была изготовлена знаменитая пушка «Колоссаль», обстреливавшая Париж за сто с лишним километров. Чудовище, изготовленное частью и на шкодовских заводах.

Если б эту пушку с германской границы направить на Пльзень, она дала бы еще с полсотни километров перелета.

Весь восточный участок Чехословакии на протяжении примерно трехсот пятидесяти километров, там, где она зажата между Польшей и Венгрией, снаряд этой пушки перелетел бы, не задев.

На стене заводской аудиенц-залы висит фотография одного из творений Шкоды: это руль величайшего в мире лайнера «Нормандия». Он

свинчен из двух кусков восемью гайками, каждая величиною в широкополую шляпу. Обойти этот лежащий руль — целая прогулка.

Но Пльзень всемирно славен, конечно, не столько Шкодой, сколько своим пивом. На заводе «Праздрой» мы почтительно заглядывали в бродильные чаны, где может утонуть всадник, и ходили выбитыми в известковом грунте тоннелями — погребами общей длиной в девять километров.

Нам рассказывали провожатые о том, сколько попыток было скопировать в точности пльзенское пиво. Но безуспешно. «Кроме ганацкого ячменя и чешского хмеля,— говорили они,— видимо, необходимо, чтобы пиво выдерживалось именно в известковых подземельях Пльзеня».

Инженеры пражских заводов «Кольбен-Данек» гордились тем, что их завод производит лучшие в мире прожекторные зеркала, чья шлифованная сталь превосходит даже американскую, и показывали нам окруженный синими защитными стеклами, отвернутый от людей прожектор, излучающий смертельное для глаза сияние в миллионы свечей.

Чехи по праву славятся высотою своей техники и изобретательностью инженеров, и вы совершите несправедливость, помыслив упрощенно чехословаков как «славян немецкой школы», или если скажете: «Ваше трудолюбие, ваша техническая мысль не ниже германской». Собеседник-чех обычно пояснит вам, что еще большой вопрос, у кого кто эти качества перенял, ибо Чехия была уже великой державой с сильной по своему времени техникой и развитым ремеслом, когда нынешняя Германия была только в зародыше.

В истории техники чехи занимают хорошее место. Прокоп Дивиш изобрел громоотвод одновременно с Вениамином Франклином и независимо от него. Богемский лесничий Иосиф Ресслъ считается первым изобретателем корабельного винта и первым строителем винтового парохода в Триесте в 1828 году.

Не парадокс ли это для столь сугубо сухопутной страны, как Чехия, которая, как известно, омывается морем только в шекспировской «Зимней сказке» — классический ляпсус Шекспира, доставляющий столько радости всем ратующим за безбрежность поэтического вымысла.

Впрочем, к слову сказать, говорят, что изобретатель пароходного винта есть чуть ли не в каждой стране,— лишнее доказательство того, как назревшие идеи носятся в воздухе и реализуются одновременно.

В городе Пардубице стоит памятник братьям Веверка, изобретателям отвального плуга.

Даже создание первого автомобиля приписывается чеху Иозефу Божеку, который демонстрировал свое изобретение в Праге уже в 1815 году. Вероятно, это было нечто аналогичное паровому автомобилю Кюньо, несколько раньше созданному во Франции.

Высокая промышленность толкала вперед техническую мысль. Создатель каплановой водяной трубы был чех. Конструктор паровых турбин Звоничек, создатель дуговой лампы Кржижек, изобретатель новейшего тифдрука Карел Клич, ученый, открывший давление света, Якоб Гус-

ник[1] — все это имена, ведомые далеко за пределами своей родины.

Чешский промышленник по своему отношению к модернизации производства ближе к типу германского промышленника, чем, скажем, английского.

Взять хотя бы уголь. В Чехии добыча его механизирована почти на 80 процентов, немногим меньше, чем в Германии. А в Англии этот процент — всего 33.

Впрочем, сейчас, в дни кризиса, в капиталистической стране такая механизация только обостряет безработицу и ненависть пролетария к машинам.

Пожалуй, не случайно, что именно в промышленной Чехословакии одним из виднейших ее писателей, Карелом Чапеком, была написана страшная пьеса о рóботах, которые, являясь беспрекословным орудием в руках хозяев, обрекали живых пролетариев на рабство и вымирание. Ведь «рóбот» — это среднее между очеловеченной машиной и машинизированным человеком. Страшное привидение в глазах тех, кто видит, как в условиях капиталистического строя машина действительно загрызает своего раба — пролетария во славу господина,— видит, но не знает путей (или не хочет знать), идя которыми пролетарий может превратить рóбота из врага в помощника.

Витковицкий завод, что стал в Моравской Остраве на силезском угле, который выдают на-гора тут же, в городских кварталах, гордится в первую очередь самим собою как громадной машиной с очень высоким коэффициентом полезного действия.

Инженер-путеводитель показывал, как доменные газы идут двигать паровые турбины и как отработанный пар из этих турбин подогревает воду для населения, чтоб не пропал зря ни один градус тепла.

Витковицкий завод, не в пример Шкоде, высоко модернизирован. Есть прокатные цехи, кажущиеся совсем безлюдными, ибо все работы исполняются машинами, люди же только контролируют их исправность. Над грохотом раскаленных болванок, плывущих рольгангами, здесь слышен только свист стоящих на капитанском мостике машинистов, дающих болванкам старт.

Такая механизация нас, советских людей, радует.

Я шел цехами вслед движению вагонных скатов, изготовляемых заводом по нашему, советскому заказу, и думал: вероятно, и у нас в Краматорске, Азовстали, Уралмаше такие же газоны, подходящие вплотную к подошвам доменных печей, такие же высокие коэффициенты полезного действия. В здешних же условиях машина, выбрасывающая из цеха рабочих,— это злобный враг.

Вот почему бормотания рольгангов перекрывались угрожающей интонацией стихов старого остравского пролетарского поэта Безруча, пишущего на местном «ляшском» диалекте. Эти стихи, подаренные нам, советским журналистам, в прощальный вечер, начинались так:

---

[1] Неточность. Якоб Гусник (1837—1916) работал в области фотомеханических способов репродуцирования, в 1868 г. разработал один из наиболее художественных способов репродуцирования — фототипию. Открытие давления света и его доказательство принадлежит знаменитому русскому физику П. Н. Лебедеву.

Мой хлеб — с углем.
И, как отцы,
Бегу с работы на работу.
А над Дунаем
Блестят дворцы
От крови моей и поту.

И кончались строфой:

Всем вам, силезцы,
Говорю:
Все ваше —
Горы, долы, шахты!
Настанет день,
Когда огню
Придется счет
Свести со шляхтой.

Правда, слово «шляхта», в переводе звучащее антипольски, в подлиннике звучит иначе. Там сказано — «паны».

5. «БАТЯ»

Он здесь везде.

Вы едете в поезде, в автомобиле, а с городских стен, с сельских заборов или нарочно воздвигнутых в поле щитов навстречу мчатся изображения туфель, сапог, ботинок. Это почти иконы — так светлы белые нимбы на этих изображениях.

Сначала вам кажется, что в эти нимбы вписаны именно ботинки. Но потом начинаете сомневаться. Не ботинки в нимбах. В нимбах — цифры, цены.

Эти цифры «психически снижены», обычно кончаясь цифрой «девять».

69 крон — это все-таки 60, а не 70.

Вы едете сквозь ночь, и над кровавыми неоновыми гребнями вечерней суматохой охваченных городов умиротворяющий зеленый свет обтекает четыре буквы: «Батя». Подойдите к дому, над которым этот свет. В нем есть нечто летательное.

Помнится в детстве, еще до братьев Райт, весь из коробчатых змеев летательный аппарат Сантос Дюмона. Жердинки, стяжки и тугие ленты по краю. Здесь, в здании, ленты бетонные, все остальное — стекло.

Магазин? Не магазин, а «Дом обслуживания».

— Вы рабочий этого предприятия или служащий?

— У Бати нет рабочих и служащих, только сотрудники,— гласит верноподданнический ответ.

«Наш заказник — наш пан»,— тянется чешская надпись стеклянными стенами магазинов.

В Батином генштабе нам дают свой перевод этой сентенции на русский: «Наш потребитель — наш повелитель».

В «Доме обслуживания» — все, чего человеческая нога хотеть может. Ботинок, туфля, галоша, носки, чулки, ваксы, мази, стельки, мозольные операторы. Пригонка обуви к дефектам ног, обходительнейшие приказчики, серьезные уговаривающие сентенции на стенах.

Правда, качество обуви — добротный середняк. Когда хотят что-нибудь особо изящного или особого прочного, ищут не у Бати. То, что у Бати,— это ширпотреб в полном значении этого слова.

Газеты прокричали о перелете батевских самолетов из Чехословакии на южную оконечность Африки.

По Замбези идут баржи, груженные ящиками, и на ящиках те же очертания знакомого четырехбуквенного слова, которое горит на «Домах обслуживания».

— Человеческая ступня диктует нам формы продукта,— говорит инженер Бати.— Славянская нога — широкая и большая. Другие требования у маленькой французской ноги. Нога американца — узкая и длинная. У китайца исключительно высокий подъем. У индуса пальцы расходятся веером.

Почти библией звучит один из рекламных призывов этой фирмы: «Придите к нам, и мы обуем вас». С высот конструктивистской Галилеи светится: «Придите ко мне, нуждающиеся, и аз...»

А что «аз» — увидим дальше.

Едем туда, где родятся эти ботинки и эти цитаты.

Вечер. Долина витой реки Моравы. В памяти мешаются ратуши минованных городов, каменные строгие красавицы в завитках барокко, острокрышие дома деревень, плоеные буфы и кружевные воротники на плечах ганацких нарядниц. До горизонта — поля. Длинные телеги запряжены коровами. Мальчики в крахмальных манишках и воротничках бегают темноватыми перронами железнодорожных станций, крича нараспев: «Пиво-о! Пивечко!» И искусно взбитая пивная пена подобна твердым белым розам.

Серые пятна удобрений на сукне полей напоминают о матчах шашистов. Тонкие стожки клевера в сумерках кажутся деревцами.

Река Морава без волны светилась во взволнованных берегах. Холмы забегали за холмы. Потом стало совсем темно.

И тогда нас вынесло из темноты прямо в многоэтажную и электрическую Америку. Такую, какой себе ее мыслят не бывшие в Америке.

— Злин,— сказал шофер.

Стекло-бетонные небоскребы подымали в ночное небо девятые и десятые этажи. Это были чудовищные самосветящиеся кристаллы, где сталью и бетоном лишь прихвачена прозрачность стеклянных плит.

Синее и красное электричество бежало карнизами, фронтонами, крышами.

В одних из кристаллов рокотали машины, в других сновали люди вдоль прилавков или жевали у столов. Толстые буквы зеленого слова «Батя» с растительным спокойствием укоренились в шлифованных плоскостях крыши.

Над всем доминировала гостиница. Однако и она называлась не именем, а псевдонимом. Она именовалась «Сполечный дум», что значит — «Общественный дом».

Это прекрасная, глубоко продуманная до последних деталей комфорта и лишенная каких-либо излишеств гостиница, где площадь и высота стола соразмерны с корпуленцией и потребностями жильца; где двери, окра-

шенные нитрокраской, чисты, как слоновая кость; там кресла из стальных труб долго дрожат после прикосновения к ним; там шкафы загнаны в толщу стен, а все коридоры и лестницы устланы резиновыми коврами, обеспечивающими тишину и отсутствие пыли; там не забыта фаянсовая рукоять над ванной, чтобы моющийся не поскользнулся на мыльном дне ее.

В этой гостинице — конторы, рестораны, кафе; биллиардные залы и комнаты шахматистов; выставки картин и богемского стекла.

Злин — старый ремесленный городишко — раздавлен, загнан в угол индустриальными кварталами.

Здесь все подчинено единому плану, единому замыслу, единому стилю.

Большого характера был Томаш Батя, этот человек с пристальным взором и рассеченным лбом, от сапожного подмастерья поднявшийся в обувные Форды не только Чехословакии, но и всего земного шара.

В 1922 году в обстановке чрезвычайной депрессии Томаш Батя объявил снижение цен и выпустил плакат — кулак разбивает цепи дороговизны.

Американцы не продавали патента своих обувных машин, предпочитая их сдавать в аренду, а это обходилось дорого. Батя завел собственное обувное машиностроение и сделал свое предприятие самым модернизированным в мире. Он рационально устроил цехи, светлые и просторные, довел до предела хозрасчет.

У нас в Советском Союзе отлично разбираются, где что первоклассно в области техники, и недаром наши обувные гиганты связаны договором технической помощи с предприятиями Бати, а цифры Батиной продуктивности являются тем мерилом, которым мы измеряем достижения наших обувных фабрик.

Заботясь, в целях увеличения прибылей, о чистоте и смазке для машин, Батя вполне резонно распространил этот принцип на двуногие свои машины — рабочих.

Эта вторая смазка — дело очень тонкое, и изготовлением ее заведует цех, который на карте Злина не обозначен, но существует: это цех социальной демагогии.

Есть у капитализма одна сказка, сладкая и ядовитая: о чистильщике сапог, ставшем миллиардером. Миллиардер этот, конечно, романтик: он дает безработным заработок, убогим — воспомоществование, всем — душеспасительные советы, а иногда (и это самое трогательное), переодевшись в рвань, садится на перекрестке на стул мальчика-чистильщика, чистит прохожим ботинки, а деньги отдает мальчику.

На этом сказка обрывается. Впрочем, ее можно было бы продолжить: потрясенный мальчик-чистильщик идет за миллиардером и становится у него если не счетоводом, то шефом рекламы или редактором газеты, дабы восхвалять господина своего с рвением, достойным солдата армии спасения, надсадно поющего на перекрестке о том, как богородица отучила его пить водку.

Но да не подумают досточтимые «батиоты» (так злые языки в Чехословакии называют Батиных штатных апостолов), что я хочу их срав-

нить с каким-то пьяницей из армии спасения. Наоборот, они фанатически не пьют и исступленно не курят, занимаясь гримировкой своего предприятия в цвета провинциального «капитал-социализма». Они очень хорошо понимают, эти деловитые и оборотистые апостолы, что сегодня разговаривать с рабочим не на языке социализма очень трудно.

— С 1922 года наше предприятие работает по плану,— говорят они.

И вдруг вы слишите многозначительный переход с этой в конечном итоге предпринимательски резонной фразы на историко-философское обобщение:

— А ваш Советский Союз пришел к плановому хозяйству только в 1928 году.

Бригады в цехах Бати делают однотипную работу и тянутся перекрыть одна другую.

— У нас тоже соревнование,— говорит батиот и делает ударение на слове «тоже».

— У нас есть свои «ударники»,— продолжает он,— особо продуктивных рабочих (виноват, у нас нет рабочих, у нас есть сотрудники!) мы делаем участниками в прибылях.

Почему небольшие премиальные, выдаваемые за перевыработку, и наградные по распоряжению начальства для особо послушных не выдать за элементы социализма, к которому рабочие тянутся?

Все это — имитация идей, как бывает имитация шевро или замши.

Я вспомнил наших ударников, веселых, полнокровных, настоящих хозяев своей страны, для которых работа — это радостное творчество, когда увидел «ударников» Батиных, утомленных и землистых после трудового дня. В глазах у этих «участников предприятия» чаще всего был страх сорваться и быть выкинутыми за борт предприятия в кризис и безработицу.

Батиоты добрые и вежливые люди. Они всех любят. Ненавидят они только коммунистов. Коммунисты не впадают в батиотизм. Впрочем, против коммунистов применяется не философия, а более радикальные средства. Философия остается для остальных.

На двери одного из цехов выклеен большой плакат, на нем в три этажа притча о двух ослах. Над одним ослом написано: «Хозяин», над другим: «Рабочий».

Верхний рисунок: два связанных друг с другом осла тянутся врозь к двум кучам зерна. И не могут до них достать. (Читай: вредно, если между капиталистами и пролетариями рознь.)

Рисунок средний: оба осла солидно едят первую кучу.

Рисунок последний: оба осла едят вторую кучу.

Более краткого и выразительного изложения идей содружества капитала и труда я не видел нигде.

Вопрос, конечно, в том — кто в действительности осел, а кто одурачивающий хищник, вкрадчивый, но когтистый, ловко напяливший на себя мирную ослиную шкуру.

Сколько съест один осел и сколько заглотит другой, нуждается, конечно, в специальном анализе.

На картинке оба осла одинаковы. В жизни они разные. И один из них — большой мастер по сочинению сентенций.

Порой, когда смотришь на стены Батиных цехов, кажется — листаешь бетонную книгу — так густо они исписаны.

«Темпо! Темпо!» — время от времени изрыгает труба громкоговорителя, передающая в цех производственную команду.

«Веселей в работе!» — подстегивает надпись.

«Ошибаясь, обкрадываешь себя!»

«Пять раз примерь, быстро отрежь!»

«Будь первым и лучшим!»

«Учись у каждого!»

«Не выполнять работу — то же, что не начинать ее!»

«Здоровье — богатство, берегись несчастья!»

«Человеку мыслить — машине работать!»

Какие усовершенствованные кнуты, сплетенные из строчек самых добротных философов!

Окончив трудовой день, устав от всех погонялок, рабочий идет в Батин ресторан. Он покупает себе одежду у Батиных прилавков, он идет в Батино кино — бетонный короб без единого окна, построенный, кажется, Корбюзье. Он отправляется на квартиру: кирпичные домики-кубики стоят полукругом на очень слабо озелененном пустыре перед стеклянными громадами ведущих домов, как бы символизируя подлинную роль в производстве этих «участников в прибылях», больше всего на свете боящихся, как бы не потерять место и не быть выброшенным в тяжелое море безработицы, бьющее своими волнами о благословенный остров капиталистического просперити.

Батины гиды настаивают: Злин — это остров счастья, где так светлы и обширны рабочие места и где, по словам сопровождающего нас инженера, каждый энергичный сапожник может стать большим директором.

Но ужасают серые лица и утомленно-мутные глаза у завтракающих за ресторанной стойкой рабочих, словно они раздавлены и выжаты непосильным трудом, несмотря на утверждение: «Человеку мыслить — машине работать».

Здесь, казалось бы, благоденствие: газеты и журналы, Первого мая происходит всеобщая демонстрация, где, как говорят, сам шеф предприятия выступает с праздничной речью, одетый в красную сорочку.

Но почему захлебывающаяся речь инженера не может заглушить иных голосов?

«Это персонажи из страшных сказок Гофмана»,— сказал крупный европейский писатель, увидев рабочих Батиной фабрики в конце трудового дня.

Почему все же не угасает здесь беспокойное коммунистическое движение, несмотря на то что каждого коммуниста ждет незавидная участь быть выкинутым с производства?

Здесь не пьют и не курят. Проституция, по словам руководителей, искоренена. Здесь уютные дома призрения, образцовая больница и школа

для детей. Казалось бы, раз начав работать здесь, человек покидал бы Злин только со смертью.

А в действительности самый неприятный для здешних руководителей вопрос, который им может быть задан,— это о текучести рабочих кадров.

Дольше трех лет рабочие этого «благоденствия» не выдерживают. По другим данным — даже двух.

И ведь это в тот момент, когда к «благословенному» острову, к этому «капиталистическому фаланстеру», тянутся жадные руки заеденных безработицей людей.

В Злине есть школа, готовящая кадры. Она называется «Школой молодых мужчин и женщин». В ней 1500 вакансий. В прошлом году на эти вакансии было подано 12 тысяч прошений.

В вестибюле школы выгравированы десять заповедей:

1. Верь только в труд.
2. Не избегай трудностей.
3. Работай с умом.
4. Не верь в низменность того, что узнал.
5. Будь честолюбив.
6. Не трать время зря.
7. Не трать больше, чем заработал.
8. Выдвигай способного.
9. Блюди верность.
10. Пусть после тебя останется след полноценного человека.

Дортуары похожи на операционные. Койки на стальных шестах в два этажа. На пустых стенах только портрет Бати в окружении строки из гуситского гимна: «Не умрем в постели, а умрем в поле!» — и черный силуэт врезающегося в землю самолета.

Под подушками — приходо-расходные книжки. Учат бережливости, заставляя заносить расходы по мельчайшим графам: пища, комната, школа, одежда, белье, обувь, взыскания, развлечения, карманные расходы, купание и разное.

По законам предприятия надо за два года скопить 10 тысяч крон. В книжке, попавшей в мои руки, редкостным упорством против графы «развлечения» из недели в неделю стояла одна и та же цифра — пять крон.

Комнаты эти — конвейер, на котором изготавливаются нужного формата и фасона человеческие души: прочные, непромокаемые, удобно облегающие, податливые. Они изготовляются, пронизанные глазом наблюдения, разанатомированные в графах бюджетной книжки, преследуемые философскими сентенциями со стен:

«Плох, кто за кусок хлеба продаст правду» (Ян Гус).

«Или молчи, или говори то, что лучше молчания» (Пифагор).

«Преуспевать в знании и падать морально хуже, чем совсем ничего не знать».

В комнате, особенно густо увешанной надписями, бывают заседания школьного трибунала для суда над провинившимся против писаных и неписаных уставов этого строгого ордена.

Обвиняемый должен явиться в парадной одежде. Ему говорят «вы», от него требуют покаяния и карают его главным образом денежно, снижая выдачу на руки до самого предельного минимума, остальное же оставляют на счету до определенного времени или пересылают родным.

Здесь стало ясно: заводы Бати изготовляют не только обувь, но и людей. Батя — это не только организация производства, но и религиозная секта.

Батя — это остров просперити, где полторы тысячи могут получить ордер на унылое, бесперспективное счастье, до которого, однако, большинство не дотянется, в два-три года выжатое изнурительной работой.

И когда Батины руководы кичатся его предприятиями как единственно прошедшими нерушимо сквозь чистилище кризиса, стоит вспомнить окутанную загадкой смерть Бати, выпавшего из самолета при взлете на собственном аэродроме в разгар кризиса.

Допустим даже (допустим, чтобы не слишком огорчать цех демагогии), что его обувного предприятия кризис не коснулся. Но ведь он сам говорил: «Ботинки для меня подробность». Его замыслы шли гораздо дальше.

Карта нашей пятилетки висела в его кабинете. Он мысленно соревновался. Он хотел построить пристань на Мораве, доводя до Злина морские пароходы Дунаем. Он думал о собственных заводах и каменноугольных копях. Он собирался переходить на автостроение. Его мечтой был исполинский комбинат, где бы производилось все — от иголки и до автомобиля.

Кризис стал неодолимым барьером к этой мечте. И со всего разлета об этот барьер расшибся жестокий человек с рассеченным лбом, ханжески цитировавший философов и в то же время говоривший цинически:

«Вы верите в рабочий энтузиазм? Для меня он не существует. Алчность и зависть — вот двигатели».

Потому-то его падение с самолета в 1932 году так навязчиво зовет за собою неприятное и в Злине непроизносимое слово. Это слово — самоубийство.

6. ЗЕМЛЯ

Ганак медлителен и обстоятелен. Когда он говорит на своем диалекте, то кажется, будто желание сохранить силы диктует ему даже своеобразие произношения — на «о» и на «е». Он говорит «мэш» вместо «мышь», «зеб» вместо «зуб», «сэто» вместо «сито».

В его родной Гане лучшие на Моравии коровы и ячмень, который дает отменнейший солод для пльзенского пива. И несомненно, богатейшая деревня в Гане — это виденные нами Пржиказы.

Правда, здесь не столько сеют ячмень, сколько сажают сахарную свеклу, которую сдают близлежащему сахарному заводу. Сахарная — одна из крупнейших индустрий Чехии. На отходах этого завода тучнеют в стойлах превосходные свиньи. На кооперативные взносы и операции существует отличный племенной пункт. В торжественных случаях ганачки

Пржиказ надевают, вероятно еще бабушкиных времен, костюмы с плоеными буфарами на плечах, жабо в стиле XVI века и юбки такой ширины, что их родство с кринолинами становится несомненным.

Хозяева этой деревни утверждают, что высокой техники своей они добились исключительно кооперативным путем, нигде не беря субсидий.

Но среди водивших нас по деревне были и скептики, которые крутили головой, указывая на то, что Гана всегда имела депутатов в парламенте и ганаков в правительстве, а значит, вопрос об отсутствии субсидий еще нуждается в проверке.

Семнадцать гектаров на хозяйство — это немало, особенно при интенсивном использовании химических удобрений. Казалось бы, что это совсем немало, если сообразить, что цены на продукты сельского хозяйства в Чехословакии защищены государственной монополией, которая держит их на высоком уровне. И все-таки семнадцать гектаров — это, оказывается, мало, раз хозяин, стоя на своем внутреннем дворе, окруженном жилыми комнатами, свинятником, закромами и машинами, после осторожной и медлительной прикидки сообщает, что чистого у него за год остается не больше трех тысяч крон — рублей двухсот золотом на дореволюционный счет.

Если так поджат бюджет кулака, почти помещика, то можно себе представить, как бедно живут средний и малоземельный крестьяне.

Сквозь словацкую деревню «Святой юр», славную своими виноградниками, идет отличная дорога. Асфальт. Но по асфальту этому, несмотря на позднюю осень, стайки школьников бегут на две трети босые.

Безработные батраки и сезонники сидят около корчм, убивая никому не нужное время свое на игру в кегли, или печальные пересуды, или воспоминания о тех временах, когда, выпав из работы на родине, можно было сесть на океанский пароход и уехать в землю обетованную — в Америку.

«Выселенец» — какая частая и назойливая для чехословацкой литературы тема!

Выселенец, поехавший добывать счастье, уходя от помещика с его арендной кабалой, от ростовщика, от жандарма, подогреваемый рассказами об американских дядюшках, ставших за океаном миллионерами.

Выселенец, тянущий в Америке лямку рабочей скотины. Он славянин, а по-английски «слэв» значит и «славянин», и «раб». Его труд — самый дешевый.

Выселенец, возвращающийся на родину с опустошенной и озлобленной душой, пустыми руками, ощущением зря израсходованной жизни, очерствевший, изморщинившийся, нелюдимый.

Все эти выселенцы пройдут перед вашими глазами, чью бы, чешскую или словацкую, книгу вы ни открыли — Чапека, Ванчуры, Ольбрахта, Копты, Незвала, Майеровой...

Только за последние годы этот выселенец стал менее заметен.

Но не потому, что ему стало лучше жить в родной деревне и аграрное перенаселение ослабло. Нет, просто Америка, отбиваясь от кризиса, обставила строгими рогатками иммиграцию.

И если раньше путь выселенца лежал на «Остров слез», откуда видны нью-йоркские небоскребы и где ведающие иммигрантами чиновники за-

держивают сомнительных, сейчас путь этого выселенца гораздо короче. «Острова слез» лежат около каждой деревенской харчевни, около бирж труда и в городах или просто на перекрестках улиц, где мускулистые люди с умными глазами продают всякую чепуху.

— Наша революция, создавшая Чехословацкую республику, ликвидировала крупное помещичье землевладение,— говорит мой спутник.

— Стало ли крестьянство от этого богаче? — задаю я встречный вопрос.

Разговор тускнеет. Это — больное место.

Действительно, молодая республика приняла закон, по которому отнимали (конечно, «за справедливую оплату») имения у помещиков, владевших более чем полутораста гектарами земли.

Этот удар приходился в основном по немецкому и венгерскому дворянству. Впрочем, помещиков этих оказалось не так много, всего около полутора тысяч. За ними впоследствии оставили «кое-какие» наделы — пахоты, леса, общей сложностью гектаров до девятисот на каждого владельца.

Национально-политический эффект этой меры во много раз перевесил эффект социально-экономический. На основную массу крестьянства пришлось в среднем по одному гектару прирезки на хозяйство, причем чаще всего это был тот же самый гектар, который крестьянин и раньше арендовал у помещика.

За счет помещичьей земли было создано две тысячи стогектарных хозяйств, затем в приграничных землях расселили три тысячи легионеров, дав каждому по двенадцати гектаров. А в общем на сегодня для мелкого крестьянина положение создалось очень безотрадное.

Больше полутора миллионов бедноты, у которой не свыше пяти гектаров на хозяйство, владеет сорока процентами всей земли, а пятнадцать с лишним тысяч помещиков, у которых на хозяйство приходится от пятидесяти гектаров и больше, держат в своих руках сорок три процента земли.

Вам скажут: хлебная монополия, государство держит принудительно хлебные цены на высоком уровне в интересах крестьянства. Вы вспомните, с каким рвением таможенники осматривают на границе провиантские корзины пассажиров.

Но слова «хлебная монополия» не радуют полтора миллиона крестьянских хозяйств.

Для тех, у кого семья большая, земли же всего гектара три-два, а то и один, эта хлебная монополия только горе. Ведь малоземельный крестьянин, тот самый, который подрабатывает ремеслом да отхожими промыслами, никогда не мог пропитаться собственным хлебом и должен прикупать его на рынке по высоким монопольным ценам.

Монополия — дело рук аграриев, тех самых помещиков и полупомещиков, одно хозяйство которых в Чехословакии приходится на сто крестьянских хозяйств. И монополия эта бьет по крестьянину-бедняку.

Вот почему и контрасты между сельскохозяйственными укладами в Чехословакии еще разительнее, чем контрасты между промышленностью и ремеслом.

Далеко ли от Ганы до Карпат? Километров триста. А ведь там совершенный каменный век.

Учитель Плицка сделал фильм о крестьянской жизни в Словакии и Закарпатье. Фильм называется «Песнь земли», и в манере съемки видно отчетливое влияние эйзенштейновской картины «Старое и новое». Ориентирован был фильм на фольклор, на показ деревенской экзотики, костюма, праздника, обычая. Но он показал и другое. Пожилая крестьянка, собравшая на своем клочке стог ячменя, ложится на него спиною, долго вяжет на груди веревочный узел, так что сразу не поймешь — не удавиться ли она собралась; потом становится на колени, бугор ячменя дыбом встает над ее спиной. Под этой сырою тяжестью она выпрямляется, ноги ее колеблются, она несет урожай в дол, к хате.

Русинские пастухи в вывернутых мехом наружу бараньих телогреях забавляются под праздник. Поставив одного на четвереньки, хватают другого за руки и за ноги и, раскачав, бьют его задом по заду первого — кто дольше выдержит.

А если кроме этого фильма вглядеться еще в прекрасные страницы книги Ивана Ольбрахта «Никола Шугай», станет понятно, почему в душистых горах и лесах беспросветный труд, хищное обирательство и надменное угнетение порождали вспышки бунта в простодушных людях, замученных работой и замордованных начальством и ростовщиками.

7. АРХИТЕКТУРА

Просвет между домами. С высоты Града в сумерках Прага совсем необыкновенная. Сизая дымка легла плотным озером, а из него — только готические шпили и каменные мышцы барокко.

Только верхушки. Уже на горизонте первой загорелась зеленая надпись: «Батя», одинаковая для всех его магазинов во всех городах этой страны.

Еще несколько минут, и распунктируется чертеж города, его набережных и мостов, а подсвеченные прожекторами, станут в ночи виднее, чем днем, старые башни и церкви, ворота и фасады массивных зданий.

Быть может, в эти ночные светоносные часы Прага по-настоящему оправдывает свое прозвище «Злата Прага», которое с нею срослось так же, как слово «белокаменная» с Москвой.

Стоящий рядом со мной над синим озером сумерек с утопленными в нем домами праголюб-иностранец тревожно спрашивает спокойного, чуть иронически прищуренного пражака:

— Достаточно ли блюдутся интересы этой прекрасной старины и не грозят ли дома новой архитектуры съесть старую Злату Прагу?

Был же ведь недавно случай, что на уличке редкостной древности купил себе участок Батя, и не успела городская власть оглянуться, как старинный дом оказался снесен и на месте его выстроен из стекла и бетона белый, ясный, в электричестве и никеле куб, обычный для построек обувного короля.

Но пражак величаво спокоен:

— Новый дом не съест старой Праги. Будьте спокойны! Они прекрасно уживутся.

И действительно, уживаются, как, впрочем, уживается многое — века, племена, уклады в этой стране — на перекрестке истории.

Чехословакия последних десятилетий видна в городах сразу по кварталам и вкрапинам зданий конструктивного типа.

Так строятся кооперативы и гостиницы, больницы и магазины, санатории и частные особняки. Чистота, целесообразность, легкость в сочетании, правда, с некоторой рассудочностью и холодноватостью характеризуют левую архитектурную мысль Чехословакии.

Но не чувствуется, чтобы эта мысль занимала непримиримую и сектантски исключительно правильную позицию. Да и трудно было бы сектантствовать в стране такой первоклассной старой архитектуры, как Чехословакия, где не только готические уникумы и перенасыщенные художническим темпераментом здания пражского барокко, но и легкое изящество архитектурных пропорций, создавшихся под влиянием той Вены, которая была в свое время архитектурной учительницей Парижа,— до сих пор впечатляют и зрителя и обитателя.

Может быть, наиболее крайним выразителем чистого утилитаризма в строительном искусстве является Батя. Но это и приводит к тому, что трудно на свете представить себе что-нибудь более унылое, чем приземистые красные кирпичики монотонно повторяющихся домов рабочих, в самом ранжире которых на неозелененных пустырях есть уныние схематизированного кладбища.

Но Батины здания, повторяю, крайность, где обожествленная стереометрия и полые параллелепипеды, столь характерные для стиля Корбюзье, сохранены в аскетической незапятнанности.

В остальной же массе произведений новой архитектуры интереснейшим является проникание в конструктивизм старых архитектурных мотивов, осложняющих конструкцию, благодаря чему здания приобретают запоминающийся, индивидуальный вид.

Ратуша в Брно — это не только пример, но, пожалуй, символ возможностей взаимопроникновения и взаимооплодотворения различных архитектур.

Трехсотлетней давности постройка, части которой восходят к еще более далеким векам, была отдана в руки современных архитекторов, и они обновили ее, не поранив и не приглушив ни одной из характерных особенностей.

Были мобилизованы вся сегодняшняя техника и громадный вкус, что в особенности касается искусства интерьера, и получилось своеобразное произведение, где сводчатые коридоры прекрасно уживаются с горизонтальными и цилиндрическими лампами. Модернизированная подсветка помогает по-настоящему разглядеть роспись плафона в зале заседания; дракон водостока не противоречит перегородкам из стеклянных кирпичей, возведенным в вестибюле; стены XVII века уживаются с абсолютно сегодняшней, скупой, прямолинейной, полированной утилитарной мебелью.

Большая техническая культура страны помогает архитектору в его

разделке внутренности зданий. Это вовсе не значит, что всюду насовывается мебель из стальных труб или диваны из разъемных мягких кубов.

Нет, формы мебели чрезвычайно разнообразны. Дерево встречается гораздо чаще металла, ткани отведено очень много места. Но, когда строят шкаф, думают не столько о том, какими бы орнаментами покрыть его древесину и какие капительки насадить на колонны, сколько о том, чтобы шкаф был наряден своей изящной простотой, чтоб он был емок и действительно приспособлен к выполняемой им работе.

Когда вешают ткани, то помнят, что кроме эстетической функции они еще умеют быть пылесобирателями. Вот почему избегают матерчатых, да и к тому же еще плиссированных, абажуров, по возможности заменяя их стеклом.

Не надо превращать комнаты в операционные, но ту заботливость о человеческом здоровье, о его легких и коже, которая находит свое предельное выражение в культуре операционных залов, новая архитектура резонно вводит в жилье, подозрительнейше относясь к любым пыле- и микробохранилищам, каким являются в традиционной квартире пространства под шкафами и диванами и затхлые щели под ваннами, если они не облицованы кафелем до самого пола.

Запомнился стол заседаний в сокольском доме имени Тырша в Праге. Это был сплошной громадный стол, но широкие стороны его шли не параллельно, а сближаясь, так что люди, сидящие по бокам, всегда видели президиум и президиум видел их.

Мебель клубов, кафе и гостиниц, построенных за последнее время, не только носит печать настоящей творческой работы художника, но и прекрасна по качеству. Чех-мебельщик по праву стоит рядом с чехом стеклодувом.

Левые архитекторы объединены в «Союз социалистических архитекторов». Такое объединение обеспечивает и достаточную теоретическую работу. Вот почему нововыстроенные дома и кварталы не производят впечатления случайных произведений архитекторов, охваченных модным поветрием, но имеют черты единого стиля — и стиля, повторяю, своеобразного, поскольку архитектурные элементы иных эпох и племен гнут, дыбят, смещают исходную схематическую пропорцию левой архитектуры, космополитической, рожденной утилитарными пропорциями заводского цеха. В Брно, в кварталах, застроенных бело-серыми плоскокрышими домами, в узких палисадниках есть один особнячок, на дощечке которого стоит имя: «И. Крога».

Черная, как бы лакированная колонна поддерживает угловой выступ дома. Тяжелый четырехугольный, кажущийся полым брус проходит в комнате на высоте, угрожавшей моей голове.

Тесно. Хочется ходить, прижимая локти к ребрам. Много картин на стенах. Все сплошь или кубистские или футуристические — кисти хозяина. Фотографий нет.

Крога — видный левый архитектор. Громадный лоб. Года отодвинули волосы далеко назад. Аскетически напряженное лицо. Он смотрит на губы собеседника, а когда голос говорящего снижается, то надвигается на собеседника левым плечом, как бы слушая сердцем.

Так оно и есть. Слуховая мембрана висит у него на груди слева, черная змейка трубки тянется к уху.

Он демонстрирует свои архитектурные проекты. Ему достается от блюстителей абсолютной левизны в архитектуре за то, что для него архитектурное искусство не только техника, но и эстетика.

Судьба Кроги, являющегося профессором архитектурного техникума в Брно, примечательна. Это один из самых преданных Советскому Союзу людей. Он выступал пламенным апологетом нашей социалистической стройки еще тогда, когда отношения между Союзом и Чехословакией были ниже нуля.

За эти выступления он подвергся гонениям.

Как профессор, он занимался особенно настоятельно проблемами жилища и, в частности, сверхмаленького жилья.

Поиски возможностей наиболее удобно организовать быт семьи, вынужденной капиталистическими условиями ютиться в маленькой квартире, заставили архитектора внимательнейше приглядеться вообще к бытовым условиям разных социальных слоев.

В его столовой к стене прислонена толстая пачка больших картонов. Это социальные фотомонтажи. С настойчивой последовательностью изображенное на этих картонах разбито на три вертикальные колонки. Первая колонка посвящена пролетариату, вторая — миттельштанду, третья — буржуазии. Как спят люди в каждой из этих трех колонок, как питаются, как проводят досуг. Какой мебелью заполнено их жилье. Какой вид имеет типичная входная дверь. (Здесь хороша прогрессия от утлого замка, которому, собственно, и стеречь-то нечего, до пышных решеток и патентованных затворов банковского подъезда и богатого особняка.) Какую работу делает представитель каждой из этих трех прослоек и каков его пищевой рацион. Как спят. Как любят. Сколько рождается и умирает детей в этих трех типовых семьях.

Отдельные картоны имеют в середине фотомонтажные розетки. Подобно часам на циферблате, врезаны фотографии, показывающие суточный цикл занятий пролетарки, интеллигентки-домохозяйки, богатой светской женщины.

Есть фотомонтаж, который просто демонстрирует типичные для каждой категории лица.

Есть картоны, где скомпонована одежда без людей, и другие — где люди без одежды, а нагота дана и как объект торговли, и как источник здоровья, и как выразитель уродующего влияния капиталистического труда.

Схематически расчерчены квартиры, и видно, как скученно лежат на кроватях рабочих жилищ черные силуэты членов семьи и какие просторы окружают немногочисленных обитателей особняков и вилл.

Каждый из этих картонов — итог большого исследовательского труда, значительных статистических работ. Архитектор-социалист настойчиво накапливает эти фотомонтажи, складывающиеся в выразительный обвинительный акт против капитализма.

Крошечный садик, напоминающий китайские карликовые, спускается по склону к подъезду Кроги, выходящему на лакированный чугун оди-

нокой колонны. В нескольких кварталах отсюда стоит церковь — редкостное создание утилитаристской фантазии. Церковь — в конструктивном стиле, вся из кубов и параллелепипедов. Даже часы на колокольне модернизованы и вместо цифр имеют лишь черные черточки. Какому всевышнему октаэдру может быть посвящено такое сооружение? Жаль, не пришлось войти внутрь! Церковь была закрыта. Но, судя по наружному виду, у нее должны быть конусообразные никелированные колокола с механическим боем, крест «распятия» по крайней мере из железобетона, радиорупор вместо проповедника и стерилизационные автоклавы для причастия.

Впрочем, разве есть пределы приспособляемости рабьих предрассудков? Не родная ли сестра эта церковь тому сделанному из бамбука и бумаги несгораемому шкафу, который несут за гробом богача в китайской погребальной церемонии, чтобы сжечь этот несгораемый шкаф вместе с имитацией банковских кредиток и тем самым переслать усопшему на тот свет достаточное количество банкнот?

Конструктивистская церковь не единственный парадокс современной архитектуры. В том же Брно есть крематорий. Это — страшное сооружение на пустыре, расчлененное и технически оборудованное. Единственная идея, которую он способен выражать,— это предельный безнадежный ужас перед лицом смерти. Фасад его с квадратным входом и двумя круглыми окнами напоминает пучеглазую голову осьминога, а крыша — ложе средневековой пытки, утыканное железными клиньями. При виде его мне по контрасту вспомнилось средневековое еврейское кладбище в Праге, где надгробные камни, словно предвосхищая пророчество Иезекииля, встопорщились подобно перьям разъяренной птицы, буквально налезая друг на друга. Так жались за чертой своих гетто травимые средневековьем евреи.

И тут и там смерть воспринимается как ужас, только на старом кладбище этот ужас истеричен, а в модернизованном остекленело-безнадежен.

Если надписи, высеченные на паническом стаде кладбищенских камней, повторяют библейскую мысль: «Земля еси и в землю отыдеши», то крематорий как бы говорит: «Из ничего возник и в ничто уходишь».

Только на той ступени человеческой истории, на которую поднялись мы, говорится: «Ты — от масс. И в деле товарищей твоих ты бессмертен».

Но чтобы так изменилась человеческая психика, надо, чтобы изменилась действительность. И чем в этой действительности острее контрасты, тем, значит, больше накоплено социального электричества, сулящего громовой разряд.

8. СТЕКЛО

Сначала световой удар в глаза, после которого относительно светлый цех погружается как бы в предгрозовой сумрак, заслонка задвигает жерло печи, и на конце штанги возникает ослепительная капля.

Стеклодув не сразу начинает дуть. Он долго ведет сложную игру с этой тяжелой, ослепительно розовеющей каплей. Он качает полую штангу, он делает ею движения, подобные движениям полкового тамбурмажора. Он клонит штангу манием дирижера, ведущего осторожное фермато. Он чувствует все время вес медленно густеющего стекла, он размещает его массу так, как это ему нужно, и лишь затем вдувает немного воздуха, который в вязком расплаве выдавливает пространство, куда в будущем нальют вино.

Розовая капля стынет медленно. Когда стеклодув, стоящий как бы у края круглой эстрады, в центре которой то и дело открываются солнца печей, опускает свой далеко еще не созревший бокал в чан с теплой водой, то, против всех ожиданий профанов, вода не вскипает, стекло не лопается, оно углем тлеет под водой, храня розовый цвет, густеет и делается нужно-вязкой консистенции.

Тогда мастер передает трубку подмастерью. Тот дует, вертит. С нежной силой вставляет стеклянную мякоть в мокрую деревянную форму, продолжает дуть дальше, стекло входит во все поры формы, вздувается над нею, розоватость гаснет, и уже становятся видными предметы сквозь затвердевший пузырь.

Подмастерье вынимает хрусталь, осторожным движением мокрого острия отсекает от конца трубки, и вещь легко падает на подставленную учеником длинную вилку, на которой тот несет ее сквозь цех к термическим печам, явно показывая, откуда взялись на средневековых религиозных картинах пресловутые черти, прислуживающие с вилами в раскаленном аду.

А уже снова блеснуло солнце печи, и новую пылающую каплю выносит из огня мастер, чтобы стала она бокалом, графином, чашей, флягой, пепельницей, вазой знаменитого карлсбадского стекла.

Самое ответственное — это сварить стекло до нужной температуры и взять именно нужное его количество на конце трубки.

Это делает мастер. Часто он тут же передает взятое подмастерью, если тот достаточно ловок.

Ученик еще долго побегает вокруг помоста, подхватывая на вилы легкие, еще без стеклянной подошвы бокалы.

Время от времени слышится звук разбиваемого стекла. Это, осмотрев выдутую вещь, подмастерье нашел в ней дефект и безжалостно бросил в ящик брака.

Но вот кончается цех огня и начинаются цехи наждака и корунда. Стекло проходит процессы обточки, заглаживания, шлифовки. Граверы в очках сидят, склонясь к шлифовальным станкам, маленьким как микроскопы, и награвировывают от руки именные заказные сервизы.

Вот герб города, которому нужны бокалы для банкетов.

Вот папские инициалы для вещей, предназначенных Ватикану.

Мне показывают выщербленный стакан (он потому и остался здесь на полке) с награвированным серпом и молотом — заказ одного из наших полпредств.

Есть комната, где работает машина-паук. Это копировальная машина.

Человек обводит узор-образец штифтом, а целая система стальных лап-рычагов на шарнирах движет, точно повторяя гравера, еще дюжину острий по поверхности двенадцати одинаковых блюдец, задымленных восковой пленкой.

Гравер кончает обводить. На воске блюдечек точно процарапаны узоры, подобные лежащему перед ним.

Машина замечательна не только тем, что она одновременно дает много копий, но и способностью уменьшать оригинал в любом масштабе.

Отсюда изделия пойдут в кислотные ванны, которые на месте царапин выедят стекло.

Вот оно, готовое, стоит в выставочном зале, стекло нежнейших тонов, лимонного цвета и дымчатое, цвета морской воды и аметистовое, и дорогое темно-красное, того оттенка, который имеет лист бегонии, если через него смотреть на солнце. Это золотое стекло — оно получается добавкою золота в шихту.

Есть граненые стаканы с раззолоченным дном. Есть вазы с матовыми рельефами, есть тяжелые литые сосуды, ребрастые, словно здесь стекло резали острым ножом, как липовую древесину.

Некоторые фляги, окруженные стаканчиками того же цвета, имеют странный декадентский покосившийся вид. Такими бы могли привидеться бутылки пьянице в последнем градусе. Впрочем, эта художническая прихоть в стеклянных изделиях редка, и они обычно сохраняют формы, выработанные много десятилетий, если не веков, тому назад.

Века прошли над стекловарней, мало изменив ее. Моторы у шлифовальных станков — вот, пожалуй, основное из нововведений. Секреты переходят из поколения в поколение. На круглой эстраде размахивают розовыми вздутиями чехи и немцы, чьи прадеды и прапрадеды размахивали ими так же в XVII и XVI веках.

Продуктивность завода крайне низка. Если не ошибаюсь, до тысячи единиц посуды в день.

Спрашиваю инженера: неужели ничего нельзя придумать, дабы механизировать литье, отдать машине дирижерские движения мастеров и поднять производительность, чтоб довести прекрасное стекло до каждого, даже самого бедного стола?

Инженер качает головой:

— Мы в этом не заинтересованы. Миллионеров, посольств, министерств и ратуш на наш завод и на наш век хватит. И даже с избытком. Не забудьте: в нас ценят именно то, что наше стекло — ручная работа, не обезличенная машиной.

Собеседник боится машины. Зачем мечтать о машине, если из каждых десяти стеклодувов, граверов, шлифовальщиков семеро безработны уже много лет? Увеличить продукцию? Но ведь это значит еще более сбить цены, без надежды расширить круг покупателей.

Вон Габлонц — ныне Яблонец — город, имя которого стало нарицательным для стеклянных безделушек по всему миру, вплоть до африканских лесов и гренландских тундр, где предприниматели выменивали на бусы, серьги, зеркальца все — от слоновьих бивней до песцовых шкурок. Яблонец захирел и сжался в кризисной сухотке.

Неистовствует вымеренное пламя в печах, точнейшими руками колеблются пламенные капли, визжат наждачные диски граверов. Здесь должна бы изготовляться радость для глаз, для конца пальцев, для губ человека.

Дома на столе у подмастерья и ученика стоят обыкновенные стаканы, простые блюдца.

В выставочной комнате переплескивается и переливается солнцем цветной хрусталь. Его ненавидят. Он слишком медленно выменивается на деньги. На него досадуют, как досадует молочница на коров, переставших давать молоко.

9. НАРОД-УМЕЛЕЦ

Старый тихий человек стоит на гравии у закусочной, где останавливаются автобусы. За его спиной витрина, загроможденная бутылками знаменитых чешских и словацких водок — сливовицы, меруницы, старорежни — и славных вин придунайских виноградников Словакии. Мимо человека по асфальту дороги пролетают маленькие чешские кремовые автомобили «татра» низкой посадки, напоминающие авиэтки без крыльев. Тихое озеро «Штрбско плесо» лежит по-осеннему пустынное, окаймленное по-внесезонному безлюдными гостиницами и лесами.

Из гущи деревьев вырвалась кверху плетеная металлическая колонна, от которой изогнутый скат. Там зимою прыгают лыжники. Колонна высока, но горы за ней еще выше. И на вершинах они розовеют первой проседью осеннего инея в заходящем солнце.

Это — Высокие Татры. Противоположный склон их — уже Польша.

Туристы собираются к автобусу. Человек протягивает им на ладонях круглые вязаные салфеточки, искусно разноцветную паутину, изделия словацких рукодельниц.

— Десять крон,— говорит он. Это полдоллара, сегодняшнего похудевшего доллара.

Туристы заходят в закусочную глотнуть водки, глядят на озеро, где нет ни лодок, ни пловцов, одна древесина пустых купален, и медленно лезут в автобус.

— Восемь крон,— говорит человек тем же равнодушным голосом.

Шофер дает гудок отправления.

— Шесть крон...

Пусто. Через дорогу вниз, там, куда скатываются горы, лежит наполненная сизым воздухом долина, просторная на десятки километров. Кое-где серебряные гусеницы паровозного дыма, кое-где синий воздух сгущается в коричневый. Это города. Если прищурить глаза, остается только синева, и тогда долина кажется морем.

Ниже пояса осыпей и лугов бронзовеют осенние леса. Еще ниже — лужайки пастбищ, огороженных длинными жердинами. Поля. Гумна и риги. Телеги, груженные хворостом. Изредка провезут бревно.

Вдоль дороги пояс санаториев и вилл. Ослепительные новизной и чистотой, они разные — тут и многогранные гостиницы нежных расцветок, и цементные плоскокрышие кубы особняков, и германского стиля

строения, где в каменных стенах коричневыми брусьями перекрещивается деревянная арматура.

Безлюдно.

Правда, уже октябрь. Но вспоминаешь наши Сочи, Кисловодск, Ялту, где слово «пустовать» незнакомо.

В комнатах стекло, тюль, цветной лак, никель. В комнатах лежит сгущенный, мягкий, как сливки, дневной свет. Но комнаты пусты. Кто может платить, уже уехал в более модные по сезону места. Остальные платить не могут. Пусть даже цены невысоки.

Падает ночь. С балкона видно, как тяжелый сумрак заполняет емкую, на десятки километров открытую глазу чашу долины. Долина, сопутствуя реке Горнад, уходит на восток. Там Карпато-русь. Так ее называют в Чехословакии. Мы ее зовем Закарпатской Украиной.

Бедная глухая страна горных пастухов, лесорубов, пахарей. Страна, увидев которую американский писатель воскликнул изумленно: «Каменный век! Каменный век в сердце Европы!»

Журналист из Закарпатья, отдыхающий в этой же гостинице, рассказывает, какая там бедность, какое разноплеменье и разноверье и какая идет на этом спекуляция темных политических махинаторов.

Запоминается фамилия некоего Фенцина — фюрера в уездном масштабе, который сам по национальности немец, орудует на польские деньги среди украинцев, опираясь на содействие православных попов. Живой анекдот, которому можно было бы улыбнуться, если б не тянуло от этого анекдота душным запахом крови, провокации, политического гешефта.

Ночь уже наполнила долину до краев. Теперь она — море. И города, видные отсюда лишь как мутные созвездия скорее чувствуемых, чем различаемых искорок, плывут по ночной пучине подобно пассажирским пароходам в безлунную ночь.

Как много талантливого средневековья в ремесле и рукоделии этой страны!

Над входами в дома чешских деревень — ниши, и в них деревянные скульптуры старой верной резки на библейские темы.

До сих пор деревенские богомазы пишут на стекле иконы, пишут, сперва нанося волосы и румянец щек, а затем кладя тон кожи, то есть в обратном порядке, чем это делает обычный живописец.

В коллекциях собирателей фольклора висят «пуссэ» — миниатюрные портреты, вылепленные или выдутые из воска. Это предшественники дагерротипов. В емких рамках, напоминающих киоты, эти тонкие, бледных оттенков изделия напоминают камеи.

Для тех, кому не по карману оказывается художник, лепщик «пуссэ» был единственным доступным портретистом.

Так в Китае бедные семьи доселе заказывают портрет уличному лепщику, который в десять минут изготовляет статуэтку из прокрашенного рисового теста, с годами застывающего в камень, если только раньше ее не источат хлебные черви.

Вдоль гор Богемии целые районы знамениты своими искусственными

цветами — цветами из бумаги, цветами из коры, цветами из шелка.

Я вспомнил об этих цветах в Карловых Варах, по-старому — Карлсбаде, где в киосках около кипящих источников, покрывающих водоемы коричневой известковой накипью, продаются букеты живых цветов, окаменевших в ржавую известь после того, как их подержали в вулканическом кипятке гейзеров.

Затейливый узор обегает арки дверей и окон в деревнях Словакии.

Гончар сидит перед глиняной «чуторой» — круглой флягой, которую можно носить на ремне, и вырисовывает синим по белому розаны, и тюльпаны, и скачущих оленей — излюбленный в Чехословакии народный мотив, столь же популярный, как петухи на русских рушниках.

Модра — знаменитое своею керамикой словацкое селение.

«Модра чутора»,— говорит гончар, но это значит не «модрская чутора», а синяя. Модрый — по-чешски синий.

Стопы тарелок в синих узорах, шеренги нарядных корчаг, чашки, полоскательницы — словом, вся утварь для стола. И очень много богородиц, распятий, естественных в Чехословакии, все еще в большинстве католической, несмотря на то что здесь родился и действовал тот, который нанес один из самых ранних и сокрушительных ударов папизму,— великий еретик Ян Гус.

Здесь на столах модрской гончарни можно видеть, как мотивы, стили и интересы соревнуются в самых глубоких толщах народа. Шеренгу одинаковых Христов замыкают веселые шаровары и невероятные усы Яношика, знаменитого словацкого шугая, как здесь называют благородных разбойников.

При взгляде на черноглазого Яношика становится весело, и вспоминаешь народные лубки о том, как Яношик принимал в свою ватагу молодцов, заставляя их прыгать через костер с пистолетами в руках. Во время прыжка они должны были отстрелить две елочные верхушки.

А за Яношиком, уже совсем перенося вас в XX век, бегут фаянсовые лыжники, гимнасты и гимнастки в сокольских одеждах и без.

И снова прыгает малиновый олень через синие розы на фалангах чутор, и старый народный мотив не хочет уходить и сдаваться ни Христам с богоматерями, ни гонщикам мотоциклеток.

Через страну проходили завоеватели, переселение народов прокладывало путь через нее, методическое насилие колонизаторов давило ее, и там, где иной, менее стойкий народ давно бы погиб, оставив по себе разве что воспоминание в именах городов и рек, погиб, растворившись в чужой культуре и растерявши свои художественные богатства, там Чехословакия не только это искусство не потеряла, но и обогатила его, жадно впитывая элементы иных племен и культур.

«Умелец» называется по-чешски художник — тот, кто умеет. Умельцем хочется называть этот народ-рукодельник, проявляющий высокий вкус не только в формах и вещах, которые, когда-то быв созданными, имитируются из десятилетия в десятилетие, но и в ремеслах, окрашенных свежей изобретательностью.

Этот народ умеет не только хранить, но и творить вновь.

Художественная полноценность средневекового цехового ремесла, где

мастер и художник объединены в одном лице, жива в стране до сих пор.

Высокий вкус обнаруживает себя даже там, где труд безобразно отупляющ и автоматичен, где он тяжек, потому что тяжка нужда.

Подобно пчеле, строящей геометрически совершенный сот, прекрасным узором, передаваемым из поколения в поколение, заплетает деревенский бедняк-корзиночник ивовые прутья на сотой, тысячной, стотысячной корзине.

Народ-умелец во всех областях ремесла родит художников. В их работы входит движение, разлитое в плясках, в очертаниях облаков и древесных веток, в изгибе птичьих крыл и поступи зверей, в предсвадебных хороводах и беге речной воды.

Мастер и мастерица запечатлевают это движение красками на штукатурке стен, на дереве и стекле, ведут вышивками по ткани, нижут бисером, вшлифовывают в стекло, ваяют на камне, врезают в древесину, заплетают берестяными ремнями на коробах, выдувают из стекла тоньше мыльного пузыря.

Правда, в модернизованных стеклянных танцовщицах и бегунах чувствуются современные влияния театра, стадиона, но все же эти рафинированные статуэтки — прямые потомки тех примитивных, плетенных из ремешков, вылепленных из глины, вырезанных из чурок, хлестко размалеванных деревенских игрушек, в застылой скованности которых как бы воплощена ограниченность деревенской жизни.

Если в деревнях морковообразные чурки, отдаленно напоминающие спеленатых младенцев, служат лишь поводом для игры ребячьей фантазии, то стоящие в городских витринах игрушки современных художников-модернистов построены как раз наоборот. В них безудержна и, если можно так выразиться, директивна игра фантазии самого художника. Их ребенку нечем дополнить.

Может быть, такие игрушки более способны радовать глаза взрослых, знающих цену остроте, шаржу, парадоксу. Если художник изобразил животных, то ребенку надо быть заранее знакомым с их очертаниями, чтобы узнать их в слоне, похожем на цистерну, в носороге, напоминающем пулемет, в верблюде, смахивающем на походную кухню.

Кстати, на этих двух полюсах игрушечного ремесла видно, как глубок эстетический, а значит, и социальный разрыв между городом и деревней в Чехословакии.

Если деревенская матрешка в образцовом городском детском саду, не говоря уже о тех комнатах, где фребелевские кубики и диски досушены до геометрических и колористических схем, неприемлема педагогическим вкусам и находит себе приют разве что на подзеркальниках будуаров, так же точно можно себе представить недоумение, с которым деревенский ребенок встретит стилизованную игрушку модерниста.

Народы Чехословакии (и чем восточнее, тем богаче) создали и сохранили большое декоративное искусство, разлитое во всей толще народной жизни, особенно деревенской,— искусство, родное хотя бы богатейшему народному искусству нашей Украины.

Стоит взглянуть на кружевные воротники и плоеные буфы ганацких франтих, на расшитые чулки словачек, на расписные куртки и бисером

унизанные шляпы карпатских парней, чтобы понять народность этих мотивов.

Но в то же время какие только века и племена не скрестились здесь! Испанское жабо, французские кринолины, монгольские подвески на кичке, войлочная шляпа пастуха совсем как на чабане Сванетии, а прилакированная к голове прическа девушки напоминает о китаянке.

Краска и линия, вихрясь узором, простым в основе, но в каждом звене изгибающимся по-новому, подобно мелодии в музыкальном произведении, обегают окна и порталы домов.

В свадебный день деревенские мастерицы рисуют разведенным мелом и охрой прямо на земле дороги, ведущей в церковь, ковер-картину. Ей суждено существовать лишь раз и быть затоптанной каблуками свадебного кортежа.

Ежесекундно родится художественное творчество в массах, окруженных большим, в труде столетий ими же созданным искусством.

Вот у забора присели на корточки деревенские ребятишки. Они напевают песни — в Чехословакии так много хороших песен.

Под вышитыми плахтами шевелятся босые ноги, припоминая танец. Копируя взрослых, детишки лепят, строгают, напевают, плетут.

Жить трудно, и становится все труднее. Надо делать хлеб. Надо заработать на картошку. Надо промаслить ботинки. Сплошной отупляющий труд наваливается на сознание, глуша песни. Нужда блокирует людей.

Где-то там, наверху,— «большое искусство», столичные театры, художественные выставки, артистические кафе, модные романы, картины, скульптуры и далеко слышны имена их творцов.

Попасть туда? Пожалуй, и помечтать трудно. Разве что удастся пробиться в ремесленную школу, где можно будет развернуть природный свой вкус в работе таких профессий, как официант, парикмахер, витринщик, переплетчик.

Таких ремесленных школ по городам Чехословакии немало.

Я был в братиславской.

Здесь умеют беречь природное дарование и вкус. С одной стороны, тренируют руку, глаз, выдумку по образцам и прописям, но, с другой стороны, всячески поощряют собственную выдумку, не душимую прописью. Дают ком глины — лепи; карандаш — рисуй; компонуй так, как тебе воображение приказывает.

Из правильного соотношения этих двух сторон педагогического метода вырастает умение, и технически тренированное и изобретательное в одно и то же время.

Проходя мимо выставочных шкафов этой школы, я с отвращением вспомнил гимназических учителей чистописания моих школьных лет. Вот где душили прописью, вгоняя в пальцы нормы некоего совершенно обезличенного канцелярского почерка, и никогда ни слова не говорили нам о том, как выработать наиболее емкую и удобную скоропись, компактную, красивую и индивидуальную в то же самое время. И мы, школьники, писали, подобно канцеляристам, для учителя, а самоучкой, независимо от него, вырабатывали свой собственный почерк.

Но это лишь к слову.

Начав лепкой, строганием, столярничанием, учащиеся переходят на специальные отделения. Будущий витринщик размещает перчатки в оконном квадрате так, что пальцы их образуют лучи некоего северного сияния. Другой гнет из жести очертания манекена, на который будет накинуто платье.

Здесь, в этой работе, получают смысл теоретические эксперименты кубистов, футуристов, они оживают по-новому, для совершенно практических целей.

Мне вспомнились абстрактные контррельефы ранних вхутемасовцев, когда я увидел в Братиславе гнутые из металла человеческие фигуры — вернее, намеки на фигуры, постаменты для товаров, чернильные приборы.

Казалось бы, простая вещь — сделать из куска жести, изогнув ее волнообразно, подставку для карандашей.

Но вот модель, в которой найдены тот угол среза жести и та кривая гофра, которые сообщают незамысловатой вещи качество художественного произведения.

В одних классах строгают будущие мебельщики, в других учатся лепке керамисты.

Приверженность к фактуре в работах учеников фотографического отделения заставляет вспомнить наших советских левых фотографов.

Впрочем, здесь это старание снять шерстяной плед, или шелковый галстук, или шеренгу хрустальных ваз, или соломенную шляпу, чтобы был виден лоск соломы, объясняется тем, что эти фотографы в основном будут обслуживать рекламные страницы журналов. Им нужно будет на своих фотографиях «сервировать» вещь так же заманчиво и вкусно, как в соседнем классе сервируют пиршественный стол будущие метрдотели и официанты.

Лязгом ножниц встречает гостей последний класс. Двустороннее зеркало разгораживает комнату во всю длину. Здесь будущие парикмахеры учатся наружной обработке человеческих голов. Покорно сидят стригомые.

Им за это платят.

10. НАРОДЫ РЯДОМ

Аккуратны лестницы Высшей немецкой школы в Брно. Ведет директор, профессор Ильтис. Эта школа строена им, он ею руководит. Он проверял чертежи каждой парты, каждой ступеньки, каждой двери.

Профессор Ильтис — один из тех чешских немцев, которые чувствуют Чехословакию родиной и связаны всей своей работой и общественными устремлениями с этой страной. Им чужды великодержавные мечты фашизируемых немцев. Они связаны теснейше с представителями подлинной германской культуры, с теми эмигрантами, для которых гитлеровский режим сделал пребывание в пределах Германии невозможным.

Его кабинет высоко над городом. Солидная черепица крыш. Леса

новостроек внизу. Но среди этого современья — необычное: в гущу сегодняшних кварталов врезана деревенская улица, обставленная с двух сторон каменными острокрышими хибарками вприжимку, а в конце этой улицы — руина присадистого здания.

Этой руине почти триста лет. Это «Шмалка» — былая мануфактура, рабочие которой жили в этих самых домах, когда знаменитый издавна текстильный центр Моравии Брно — по-немецки Брюнн — был еще только бургом в окружении ткацких поселков.

В кабинете профессора Ильтиса много книг, в заглавиях которых преобладает слово «раса». Он марксист-расовед, и глаза его загораются злым блеском, когда заходит разговор о расовых теориях фашистов и о «мифе крови» Геббельса и Розенберга.

Кроме того, он биограф Менделя. Беломраморная статуя этого знаменитого прелата-натуралиста стоит, затененная зеленью деревьев, неподалеку от корпуса Августинского монастыря; под окнами его — садишко, крохотный, на несколько шагов, в котором странноватый епископ четыре десятилетия скрещивал горох, чтобы вывести основанный на тысячах подсчетов белых, голубоватых и синих зерен знаменитый закон менделизма — закон наследования признаков.

Впрочем, памятник ему поставлен так, что в нем слишком много прелата, и пышные епископские одежды заслоняют собою упрямый лоб исследователя, по существу говоря спрятавшегося в сутану для того, чтобы получить возможность спокойно делать свое научное дело.

Работал одиноко, непризнанно. Пожилым уже человеком сообщил знаменитому физиологу Нэгели о своем открытии, основанном на десяти тысячах опытов.

Ответ был черств. Нэгели советовал исследователю начать все сначала.

Мендель не был признан ни при жизни, ни в течение шестнадцати лет после смерти. В 1900 году сразу трое исследователей в разных странах вновь открыли закон менделизма.

Тяжко одиночество мудреца в негостеприимную эпоху.

У профессора Ильтиса висит портрет-профиль того же Менделя, с пытливым напряжением рассматривающего ветку, увешанную стручками. Это вернее, чем беломраморный прелат.

Мы говорили о судьбе этого человека, проходя стеклянные витрины с его рукописями, и вспоминались мне другие имена — Вавилов, Тулайков, Лысенко, Цицин и замечательные ребята по хатам-лабораториям нашей страны, где исследователь не знает разрыва с эпохой.

Есть в Брно другой грустный памятник. Тоже на тему о темнице. Римская волчица на каменном столбе, поставленном в честь карбонария Сильвио Пеллико, чья книга «Мои темницы» в свое время прогремела по всему миру.

Замок Шпильберг, этот Шлиссельбург Габсбургов, разоренным ястребиным гнездом высится над Брно.

Сейчас там казармы, и солдаты чешской армии обучаются строю и ружейным приемам в крепостных дворах, прямых и глубоких, как пустые камеры шлюзов.

Проехав через Польшу с ее гонористо выпяченной на первый план военщиной, понимаешь, до какой степени «цивильна» чешская армия. Ни солдат, ни офицер ее не бросаются в глаза — на улицах ли или в общественных местах. Больше того — имеют вид почти застенчивый.

Кто знает, может быть, в этом сказывается не изжитое еще отвращение к военной службе Габсбургам. Ведь чех в армии был объектом издевательств для начальства, как фигура комичная.

Только Гашек в «Швейке» гениально повернул это издевательство над чехом против тех, кто командовал и издевался.

Разговорился случайно в вагон-ресторане с немцем. Оптовик по конскому волосу. Поэтому рыщет степными странами. Сейчас едет из Румынии. Разговор начался глубоко элегической нотой по поводу того, что с советским конским волосом дела с некоторого времени у германского оптовика свелись к нулю.

— Какая замечательная ваша страна! — качает он сочувственно головой.— Какой удивительный конский волос! Вы да мы! Ведь весь мир лежал бы у наших ног. Как много роковых ошибок делает история...

Дальнейший разговор он ведет на тему об «ошибке», то есть о сегодняшнем фашистском режиме в Германии, пытаясь, как всякий университетски образованный оптовик, «воздать должное» и даже в дурном вскрыть доброе.

Но интересно, как, начиная с мажорных нот, он неизбежно, словно подтолкнутый к краю пропасти, зажмуривает глаза и падает голосом в предчувствии чего-то страшного, но, увы, неизбежного, когда произносит слово «война».

Когда он говорит, ясно слышна фашистская терминология, уже крепко вросшая в этого — он упорно это подчеркивает — отнюдь не фашиста.

Он восхищен военной выправкой и шагистикой сегодняшней германской молодежи. Он глубочайше презирает виденное им французское юношество, неврастеническое, по его мнению, разболтанное и развращенное.

Он снова возвращается к марширующим утром, марширующим вечером, марширующим днем, марширующим всегда юным германцам, но вдруг голос его становится тревожным.

— Вы знаете, что это значит? — говорит он.— Ведь режим отменил возрастную границу, после которой в прежнее время военнообязанный выходил в отставку. Ведь режим включил в ряды военнообязанных женщин. Ведь шестилетних мальчишек можно увидеть марширующими в молодежных рядах. Моя страна сейчас — огромная казарма, тренирующая сорокамиллионную армию.

— Кто верит в фашистскую доктрину? — переспрашивает он раздраженно.— Две категории: дураки и прохвосты. То есть, простите, прохвосты не верят, они ее рекламируют.

Как страшно калечит национальный гнет людские сознания! Отстой злобы, густой и трудно растворимой, ложится на дно сознания целых поколений.

В словацкой столице Братиславе, там, где славянский клин, перешагивая через Дунай, подходит вплотную к Вене, где народ переносил не только немецкое иго Австрии, но был объектом и мадьярского националистического надругательства, есть словаки по крови, которые носят мадьярское имя и фамилию. Мадьяризация словаков велась просто: в полицейском порядке словацких младенцев снабжали в метрических книгах мадьярскими именами и фамилиями.

Когда я приехал в Братиславу из Брно делать доклад о советском писателе в социалистической стройке, один словацкий интеллигент спросил меня с упреком:

— Как это было возможно, чтоб вы, русский писатель, в чешском городе Брно доклад читали по-немецки?

Когда делегация советских писателей и журналистов была в Братиславе чествуема банкетом, мне довелось сидеть рядом с крупным политическим и финансовым деятелем, насколько помнится, из партии аграриев, относящейся в достаточной мере прохладно к советской системе. Беседа наша шла о Чехословакии как о конгломерате разных национальностей, исторически поставленных в трудные между собою взаимоотношения, и о методах, при которых из конгломерата может получиться единый звонкий сплав.

Собеседник говорил серьезно и озабоченно. Беседу он закончил так:

— Я знаю только одну страну, где национальный вопрос разрешен гениально, действительно гениально,— подчеркнул он.— Это страна — ваша.

Если в Чехословакии обратиться по-немецки хотя бы к железнодорожному служащему на перроне, то не всегда можно получить немедленный и приветливый ответ.

Старая социальная обида, переносимая на речь, угасает не так быстро.

Дело другое, если вы сначала обратились на ином языке, которого спрашиваемый не знает, а затем спросили его, нельзя ли объясниться по-немецки,— с вами предупредительнейше заговорят на этом языке.

Слишком долга и мучительна была операция, которую Габсбурги проделывали над Чехословакией. Двести лет Чехия не имела даже своего чешского букваря.

Слишком зловеща и сейчас угроза, идущая из немецких массивов, расположенных вдоль германской границы, где распространены фашистские настроения, откуда несет шовинистической надменностью колонизаторов, оскорбленных тем, что вчерашний раб сегодня им ровня.

И, несмотря на все это, надо отметить в Чехословакии большую терпимость к немецкому.

В Праге мы однажды толковали по-немецки со знакомцем, немецким эмигрантом-антифашистом, в кишевшей людьми автомат-закусочной.

Вдруг от стены, где толпятся люди у пивных кранов, послышался по нашему адресу выкрик, в котором можно было разобрать слова:

— ...Нэмэцки... Гитлеру...

Какой-то пьяный, услыхав нашу немецкую речь, предлагал нам отправляться разговаривать в Германию.

Но, прежде чем крикнувший смог продолжить свою речь, по меньшей мере полтора десятка бывших поблизости чехов стало плотной стеною между ним и нами. Некоторые из них окружили его кольцом и стали вразумительно убеждать, а двое подошли ко мне и, сняв шляпы, извинились за недостойное поведение своего соотечественника. Эти извинения стали особенно горячи, когда они узнали, что я советский журналист.

11. МАЦОХА

Круто взлетающие скалы «Моравского Краса». Ветви заглядывают в пропасть дороги через горный карниз.

Над будкой с открытками план на фанерном щите. Синяя, то раздувающаяся, то спадающая кишка реки. Желтые пузыри и нити. Размытые пятна солнца, зеленоватого сквозь листву, накладывают свою беспокойную путаницу на замысловатость чертежа.

Лестница подымается между деревьями. Известковый обрыв с зацепившимися кое-где кустами идет в небо под углом «задери голову». А потом лестница кончается дверью, врубленной прямо в горный отвес. Ноздреватые недра известковых гор принимают путника в свое темное чрево.

Впрочем, «темное» — это скорее литературный оборот. Здесь путешествие обставлено много комфортабельнее, чем жюльверновское путешествие к центру земли.

Кровля провисает полотнищем каменной палатки. Вам хочется втянуть голову в плечи, чтоб не удариться. Но нет, вы проходите свободно. Это предусморено. Темные щели полны мрака, страшно протянуть в них руку. Не бойтесь. В этих щелях не чудовища, не змеи. Там штепсель, от которого вспыхивает электрическая лампа впереди вас и гаснет сзади.

Вот-вот, кажется вам, вы оступитесь. И опять — нет. Наоборот, идти легко, и, приглядевшись к тропинке, вы замечаете, что она выровнена, забалластирована.

Внимание! Известковый мокрый сосок грязноватого цвета свешивается с потолка. Это — сталактит. А снизу, навстречу ему, тупым обмылком подымается сталагмит.

Своды тускло поблескивают влагой. Это она разъедает карстовые пустоты в известняковом массиве. Капли медленно назревают на концах сталактитов. Лампочки вспыхивают предупредительно, освещая то сплыв нескольких сталактитов, превратившихся почти в изваяние, то тончайшую известковую занавесь прекрасных ворсистых складок, свесившуюся в углу пещеры. Этих занавесей много. Они по-тканевому складчаты: кажется, дунь — заколышутся, а в действительности хрупки.

Вокруг лампочки на влажном камне будто бы зелень. Сначала не

верите глазу. Откуда зелень в этой каменной тьме? Нет, действительно — зелень, настоящая, не лишай, а травинка — она тянется, согреваемая лампой, своим подземным солнцем. И лишь задав вопрос, откуда взялась эта зелень, вы начинаете чувствовать ровный ток ветра, идущего пещерой. А впрочем, зерно или спора могли быть занесены сюда и на рукаве монтера.

Обмыленная, выглаженная поверхность хода нарушается рубцами перфораторов. Здесь люди рвали камень, расширяя проход, пробивая дорогу из тупика в соседнюю горную полость.

Путь длится немало. Гаснут лампы сзади, вспыхивают впереди. Скользко светятся известковые наплывы. Пластины подобны выщелоченным листьям банана. Подземные холмы стоят на пути, во впадины сбегает тропа, и, наконец, через полчаса ходьбы в глаза ударяет зеленовато-синий, но не электрический, а естественный свет.

Вы в пропасти «Мацоха». Это значит «мачеха». Узкая воронка взлетает краями в небо на 180 метров. Оползни, поросшие кустами, пристыли к краям этого кратера. Тут была когда-то невероятной вышины карстовая пещера. Она провалилась.

Смотрите и вспоминайте провал из «Страшной мести» Гоголя. Как сине небо в этом каменном жерле!

На самом дне Мацохи мутно-голубое бельмо озерка. Тридцатиметровый клин воды вбит в дно пропасти.

С озелененных краев этой знаменитой пропасти бросались самоубийцы. Как-то в вагон-ресторане старый альпинист, инженер, рассказывал мне, что в начале века, еще молодым студентом, он одним из первых опустился на дно Мацохи. Тогда подземного хода еще не было.

Мацоху ненавидела деревня, в районе которой эта пропасть находится. На ее сельчанах лежала обязанность извлекать трупы самоубийц.

Приятель инженера бросился в Мацоху. Деревня отказалась лезть за ним.

Альпиниста спустили на веревках; он увязал останки друга в мешок и, устав, сидел около озера, следя за форелями.

Их закинуло сюда, быть может, подземным током, но уйти, как он объяснял, рыбы не могли, боясь двинуться в подземную темноту, и они выросли здесь до чудовищных размеров.

Из озерца бежит ручей и пропадает в скале.

Под пройденным нами сухим этажом пещер ручей впадает в водяной этаж, где течет река Пунква, выныривающая на поверхность земли за много километров отсюда. Мы вступили под зловещую каменную арку и спустились к подземной пристани. Плоскодонные лодки с мифологическими названиями «Стикс», «Харон» теснились у деревянного причала.

Сначала река бежит неглубокая — метр, много — полтора. Камни трепещут на ее дне, видные глазу. И вдруг вода приобретает густоту сине-зеленого тона. Она светится — в ней утоплены яркие электрические лампы. «Здесь тридцать метров глубины»,— говорит гребец. И мы с уважением вглядываемся во флуоресцирующую толщу воды и замечаем, как бока тоннеля загибаются под водою. Там, внизу, возможно, второй тоннель, над дырой в потолке которого мы сейчас проплываем.

И снова смыкается дно под нами, и погруженные в воду прожекторы колеблются стеклянными переплесками истончившейся воды.

Берег подземной реки. Ниша.

Нива хрупчайших соломинок растет с потолка вниз.

Этот подземный заповедник обнесен решеткой, ибо не только от прикосновения руки — от одного дыхания, мнится, опадет и рассыплется этот застывший в окаменелом мгновении ливень.

Есть соломинки длиной метра в полтора. Есть в два. Есть уже уткнувшиеся в пол — это напоминает струны арфы. Тут сталактиты классических форм — тончайшая трубочка с бегущей внутри каплей известковой воды. Их называют макароны.

Если в макарону попадет соринка, вода проточит себе ход наружу и начнет стекать по внешней стенке трубки. Набухнет известковая опухоль, примет форму моркови, утолстится. Если засорилась низко, отяжелеет, оборвется. Если высоко — прикипит к потолку и обратится в грубое известковое вымя, способное за тысячелетия вырасти в колонну, наращивая по миллиметру за пятнадцать лет.

Вспоминаются достопримечательности Германии — назойливые указательные пальцы-стрелки, поучительно вторгающаяся в природу рука человека, не дающая путнику самостоятельно мыслить.

В светящихся водах Мацохи и даже в лампочках, подсвечивающих сталактиты, соблюдена мера тактичности.

Человек взял куски природы, осторожно электрическим карандашом подчеркнул выразительнейшие и неназойливо смонтировал.

Но чтоб провести людей подземельями к глубокому озеру, которого до тех пор достигали лишь самоубийцы и смельчаки, потребовалось время, деньги, машины, человеческая настойчивость.

На стене, омываемой подземною Пунквой, только одна вещь не имеет прямого отношения к подземной прогулке. Увеличенная фотография насосов прикреплена к скале и освещена прожектором.

Это насосы, которыми откачивались воды во время производства здесь работ. Фирма дала их при условии, что фотография останется в виде рекламы.

Целое акционерное общество ведет это подземное предприятие, требующее ремонтов, новых раскопок, окарауливания.

Когда же я спросил об инициаторе, мне ответили: «Профессор Абсолон».

Подымитесь по сводчатой лестнице мимо каменных стволов в древнем доме над одним из брновских базаров. Старая дверь отворится, и от неоновых реклам, трамвайных мачт и электрических фонарей вы перешагнете через порог четырехсот лет в кабинет доктора Фауста, в стены, утолщенные книжными полками, к столам, заваленным чертежами и камнями.

Но ошибка думать, что эти камни от улицы отделяют четыреста лет.

Не четыреста, а сорок тысяч.

Нервный, уверенный человек встает навстречу из-за простого струганого стола. На его ладони камешки того размера, которыми любят лукать граждане в возрасте от шести до восьми лет.

Вглядываетесь в камешки и вдруг на щербатой, затертой веками поверхности чувствуете смутные очертания, на одном — слоновьей головы, на другом — носорожьей.

— Это работа пещерных людей,— говорит профессор Абсолон.— Примерно сорок — пятьдесят тысяч лет тому назад носороги и мамонты еще водились в Моравии.

На столах — ящики, в ящиках — продолговатые камни.

— Кремневый наконечник копья,— говорит профессор, вынимая ребристый осколок.

Неопытному глазу он напоминает простой голыш, к которому никогда не прикасалась человеческая рука. Рядом лежат иные камни: их копьеобразная форма очевидна, раковистые впадины обивок мелки. В истории техники их от первого кремня отделяет большее расстояние, чем деревянный плуг от авиационного мотора.

Оживленно беседуя о своих советских знакомых — академике Губкине, Ферсмане, поминая геологические съезды, профессор Абсолон ведет нас через город к своему созданию — палеонтологическому отделу на брновской выставке. По дороге он рассказывает, как трудно было превратить подземные щели Мацохи в нынешние показательные предприятия, как сложно было пробивать под землею стенки, соединять потоки и пещеры, но как труднее всего было пробуравить мягкие стены человеческой невнимательности.

Первое, что на выставке бросается в глаза, это во много этажей вышиною слепок стены испанской пещеры «Дель Мар», камень которой расписан изображениями бизонов, водившихся там в доисторическую эпоху.

Эта репродукция сделана самим профессором Абсолоном. Его же детище — чучело мамонтенка, ростом с полутораэтажный дом. Оно стоит над точной копией мамонтового кладбища. Кости лежат в глине и песке, подобно балкам и доскам разрушенного оползнем дома.

Вокруг кладбища под стеклянными колпаками слепки праисторических черепов, найденных в разных концах земного шара. Один из них, именуемый «Homo brunensis», был обнаружен в окрестностях Брно. Два муляжа, пытающихся представить нам в живом виде обладателя этого черепа, говорят о низкобровом, бешеноглазом существе, среднем между гориллой и человеком. Это тот самый пещерный джентльмен, перед которым я публично извинился на банкете журналистов города Брно после того, как назвал гитлеровских фашистов воскрешателями пещерного периода в истории человечества.

Нет, этот плосконосый и массивночелюстной был прост и наивен. Он примитивно убивал кремневым топором, но для того, чтобы додуматься до костра из книг или посылки родным цинкового гроба с останками запытанного человека, его мозг, согревавший костные черепки, найденные в Моравии, был слишком честен и бесхитростен.

12. ПЕРО И РАМПА

Одна чехословацкая газета к приезду нашей делегации попыталась перечислить названия переведенных в Чехословакии советских книг. Она дошла до сотни и не исчерпала списков. Одна только немецкая «Прагер прессе», опубликовавшая на своих страницах шестьсот переводов с русского, половину этого количества дала из советской литературы.

Братиславский режиссер Янко Брадач ставит тринадцатую советскую пьесу. Это «Портрет» Афиногенова. Он уже поставил «Булычева», «Страх», «Чужого ребенка», «Фабрику молодости», «Квадратуру круга», «Миллион терзаний» и другие.

Брненцы с гордостью утверждают, что их театр первым в Чехословакии поставил советскую оперу.

Молодые актеры в Моравской Остраве — Ружичкова и Карл Константин — буквально до рассвета не отпускали нас в канун отъезда нашей делегации, заставляя рассказывать о Москве, о Станиславском, о Мейерхольде, об Охлопкове. Их ненасытный интерес перемежался только вздохами: «Вот бы приехать!»

В Братиславе шла «Леди Макбет Мценского уезда»; в Оломоуце день Октябрьской революции был отмечен «Оптимистической трагедией».

Отмечу постановку пьесы драматурга-легионера Лангра «Кавалерийский разъезд». Премьера этой пьесы была необычна. Зрительный зал заполняли легионеры, участники происходящего на сцене.

За полгода пьеса эта была поставлена на свыше чем ста театральных сценах Чехословакии (считая, конечно, и любительские кружки).

Лангра надо отметить как представителя того течения в легионерской литературе, которое описывает гражданскую войну в России, воздавая должное героизму Красной Армии и партизан.

В пражском театре «Д-36», режиссера-коммуниста Буриана[1], я смотрел «Бравого солдата «Швейка» и погодинских «Аристократов».

Театр этого режиссера — исключительное явление на фоне современной театральной действительности Чехословакии. Это левый театр не только по своему репертуару, но и по режиссерским приемам. Театр исключительно беден. Небольшое помещение, и то лишь в редкие дни заполненное зрителями наполовину (театры вообще жалуются на слабую посещаемость), несколько оструганных жердей, дюжина листов фанеры, немного ткани — вот по существу весь реквизит и все декорации. Человек двадцать актеров и студентов самоотверженны в решимости хоть голодать, но делать настоящее искусство.

В постановках много мейерхольдовского. Вместо занавеса выключают свет. Вместо рампы — прожекторы. Декоративная установка напоминает времена «Зорь» или «Мистерии-буфф». Отличает этот театр от театра

---

[1] Буриан Эмиль Франтишек (1904—1959) — чешский театральный деятель — режиссер, актер и драматург. Во время фашистской оккупации был в марте 1941 г. арестован гестапо за постановку антифашистского балета и находился в концлагере до 1945 г. После освобождения Чехословакии был руководителем одного из театров в Праге.

Мейерхольда то, что в нем слово на первом месте. Но слово возникает не из жеста, не из работы, не из какого-то конкретного действия. Жесты и позы зачастую статуарны, они сменяются по неким симфоническим законам; это, быть может, объясняется тем, что Буриан — музыкант. Поэтому порой создается чувство некоторой нереальности, вернее было бы сказать — надреальности действия.

Но всегда реальна речь.

По композиции весь «Швейк» у Буриана — это серия плакатов. Сам же Швейк держится на авансцене и является по существу трагикомическим конферансье этих картин.

Швейка играет талантливый актер Болек, круглолицый, мясистый, курносый. Своеобразен двойственный эффект, когда он, держась на пушечный выстрел от какого-либо намека на натурализм, одинокий и трагичный, говорит полнокровные, мясные, пахучие, гашековские тирады.

В «Аристократах» особенно сильна Соня. Порою сильнее, чем виденная в Москве у Охлопкова.

Маленькая деталь. Когда после разговора чекист подает ей руку, в Москве Соня хватает ее экстатически, и с этого момента зрителю ясно, что проблема перековки решена окончательно. Бурианова же Соня подает руку вялым движением утомленного непривычным разговором человека, а затем вдруг капризно-истерическим движением вырывает ее. И зритель ждет дальнейших перипетий этой, очевидно, еще не окончившейся борьбы.

У театра не хватает актеров. В обильных действующими лицами пьесах (а советские преимущественно таковы) приходится сдваивать персонажи. Так Буриан свел коменданта и Громова в одно лицо, что, конечно, сразу же смяло четкий и чистый образ чекиста.

Однажды я пришел к Буриану на репетицию новой пьесы. Днем проникнуть в театр было почти так же трудно, как на конспиративную квартиру. Пришлось дожидаться в граммофонном магазине поблизости, пока за мной не пришел один из актеров и не повел дворами, лестницами, подвалами и переходами за кулисы театра.

На сцене стояли грубо сколоченные рамы, ширмы, стремянки. Среди них метался небольшого роста человек, напоминавший несколько хищную птичку, залетевшую на заваленный разным скарбом чердак.

Это был Буриан. Очень черный низко спущенный бобрик волос. Очень черно надчеркнутые бровями глаза. Чрезмерно черные и густые усы, рванувшиеся от носа к углам губ.

Сверля глазами и не видя никого, он подлетал к стоявшим в разных местах сцены людям, произносил, отскакивал, изгибался, протягивал руки, снова кидался к ширме, к раме, изображавшей зеркало. Это он когтил, клевал, раздалбливал попавшую ему в руки пьесу, превращая ее в спектакль.

И, несмотря на слабый, пыльный свет, своеобразное его лицо было виднее в этом сумраке, чем что-нибудь иное, лицо, исполненное жирным углем усов, глаз и прически по смуглой коже.

А потом, сбежав со сцены, он садился за рояль, терзал его клавиатуру, и ритм музыкального сопровождения уже обрисовал ту ритмику, в которой будет двигаться спектакль.

Именно здесь, на репетиции, видишь, какой это талантливый режиссер, одержимый и своеобразный, потому что это режиссер-музыкант, строящий каждый свой спектакль по законам музыкального произведения.

Интереснейшие возможности сулит у Бериана высокая и музыкальная культура театральной речи, которой, к сожалению, было так мало в нашем левом театре.

Мне довелось слышать особую музыкально-речевую композицию из стихов поэта Незвала с музыкой Буриана в исполнении актеров его театра. Это цепь «блюз», грустных песенок в американском стиле, то грозных, как «Блюз горняка», то растерянно-сентиментальных, как «Блюз безработной девушки», мечтающей попасть на службу в бар.

Кроме Буриана на левом крыле чехословацкого театра значительны имена Восковца и Вериха[1].

Они — поэты, кинорежиссеры, певцы-речевики, актеры в одно и то же время. Их жанр — политическое ревю.

Восковец — это красивый, серьезный и находчивый «клоун-джентльмен».

Верих — здоровущий дядя, с обликом французского боксера-профессионала — играет в паре роль запинающегося увальня, простодушного раззявы.

Одно упоминание их имен вызывает немедленную веселую настороженность не только потому, что это первоклассные мастера своего эстрадного дела, но и потому, что каждое их выступление сулит новую едкую политическую остроту, ядовитый удар направо, хлесткий, запоминающийся фельетон.

Чтобы делать эстрадную работу так, как ее делают Восковец и Верих, надо быть не только, подобно им, разносторонне образованными и высокоинтеллигентными людьми, не только быть постоянно в курсе политических и общественных событий, но и обладать инстинктом и тренировкой подлинных газетчиков высокой марки.

Они относительно редко зубоскалят впустую, на невиданно-обывательские темы. Эта полоса ими уже пройдена.

Чаще их песни, запоминающиеся мелодии к которым пишет третий сочлен их содружества, талантливый композитор Ежек, направлены против фашизма во всех его проявлениях.

Песнями этими пересыпаны их обозрения, но не менее песен выразительны и остроумны речевые тексты.

Ведь Восковец и Верих — это же коренные пражаки, воспитанные на своеобразном юморе, давшем миру таких сатириков, как Гашек и Эгон Эрвин Киш.

Большое чувство языка (не забудем, чехи — классические лингвисты)

---

[1] Восковец Йиржи (род. в 1905) и Верих Ян (род. в 1905) — чехословацкие актеры и драматурги. С 1927 года работали в театре политической сатиры «Освобожденный театр». В 1938—1945 находились в эмиграции в США, в 1945 вернулись на родину. Восковец в 1948 году, женившись на американке, уехал в США, где работает режиссером и актером. Верих в 1955 году организовал чехословацкий драматический театр «АБЦ» и до 1959 года возглавлял его.

объясняет их тончайшую словесную эквилибристику, где они жонглируют всеми языками — и чешским, и немецким, и английским, и русским.

Начав со случайных эстрадных выступлений, Восковец и Верих создали свой собственный театр — «Освобозене дивадло» («Освобожденный театр»), для которого писали свои политические обозрения — например, обозрение «Цезарь», где античный сюжет был использован для пародии на сегодняшние политические события (аналогично «Прекрасной Елене» Оффенбаха).

Они гордятся, что в их театре Владимир Маяковский читал «Левый марш». Он записал в своем дневнике:

«В театре левых «Освобозене дивадло» (обозрение, мелкие пьески, мюзикхолльные и синеблузные вещи) я выступил между номерами с «Нашим» и «Левым» маршами».

Весной 1935 года Восковец и Верих поставили обозрение «Палач и шут». Центральная баллада этого обозрения стала политическим событием.

На вид наивная народная, баллада эта рассказывала о незадачливом короле, которому не везло, и подданные над ним смеялись, на что он роптал.

Но баба-яга посоветовала ему завести палача и шута, и с тех пор король стал веселым. Но перестал смеяться и возроптал народ.

Прошли века, и вдруг, в наши культурные дни, король, которому наскучил такой «тройственный союз», решил взять на себя единолично и функцию палача, и функцию шута.

Так вылупилась в современье новая, невиданная тварь — шут-диктатор.

Чешские фашисты, главным образом молодцы из политических групп Гайды и Стржибрного, ворвались в театр и закидали помещение вонючими бомбами.

Зритель, боясь скандала, перестал ходить.

«Освобожденный театр» вынужден был закрыться.

На этот разгром неунывающие Восковец и Верих откликнулись куплетами, которые называются «Усмиренная песня».

В диалоге, предшествующем песне, они издеваются над пражскими газетами, имеющими обыкновение выходить заранее. Утренняя продается уже с вечера, вечерняя готова утром.

Предложив далее проект переименования «Освобожденного театра» в «Унифицированный театр» (по гитлеровской терминологии), они толкуют о приглашении в Германию:

«Поедем первым классом, вернемся в чемоданах»,— намекая на обычай фашистов возвращать семьям трупы жертв в запломбированных гробах.

А потом поют оду, якобы изготовленную для этой поездки в Германию, оду в честь «Адольфа Когосе» («когосе» — по-чешски родительный падеж слова «кдоси», что значит «некто»), маскируя фамилию, которую по дипломатическим соображениям нельзя произносить.

В оде на «Адольфа Когосе» они сконцентрировали все, чем можно отхлестать фашизм с эстрады.

Тут и травля евреев, и расовая чистота, и арийцы, и марксисты, расстреливаемые в спину «при попытке к бегству», и пожар рейхстага, и костер из книг, разложенный Адольфом, чтобы «согреть замерзших поэтов», и крючковатый крест, который Адольф переложил на рамена своих подданных, поскольку собственные плечи ему нужны для того, чтобы нести прибыли.

Мне говорили, что значение Восковца и Вериха как поэтов и декламаторов идет далеко за пределы эстрады. Чешский стих еще находится в стадии борьбы за новую поэтику. И тут-то свободная легкость, с которой Восковец и Верих распоряжаются ударением и рифмой в столь, казалось бы, детерминированном языке, как чешский, революционирует речь.

Впрочем, Восковца и Вериха фашисты ненадолго вышибли из театрального седла. Когда я навестил артистов в квартале «Кампа», что на берегу Влтавы под Карловым мостом, они как раз писали свое новое обозрение — «Баллада о лохмотьях», сюжетом которой является биография Франсуа Вийона, а идеей то, что голод гонит человека на преступление.

Обозрение это шло уже в новом театре, который, в противоположность «Освобожденному», был назван «Спутане дивадло», то есть «Закованным театром».

Восковец и Верих утверждают, что в названии этом нет политической окраски — лишь намек на тесноту помещения.

Не будем спорить с тончайшими ирониками Чехословакии.

Спектакль оказался на высоте предыдущих. День за днем он прошел уже больше двухсот раз, поражая зрителей эксцентрикой, остротой и неожиданностью. Огромная надпись в вестибюле: «Чистка всех» — предваряла спектакль, а зеркало на лестничной площадке, мимо которого двигался поток публики, было окаймлено гоголевской цитатой: «Неча на зеркало пенять, коли рожа крива».

Восковец и Верих знают, что буржуа и мещанин, идущие в их театр примерно так же, как любитель бани лезет париться на полок, говорят об их театре снисходительно, как об острой клоунаде.

Их это сердит. Они уже переросли период клоунады, и их подмостки давно уже стали политической трибуной, серьезной и полноценной, несмотря на всю эксцентричность.

Подтверждение этому то, что песенка «Проти ветру» стала в Чехословакии боевою песнью единого фронта.

Вот она:

За ветром плесневеть
Нельзя, товарищи!
Хоть очи буря нам
Сечет до слез,
Плыть по течению
Бойцам пристойно ли,
Чтоб черный ветер их
На свалку снес.
По ветру разве что
Мочало треплется,
Остановившийся
Родник протух.

Жизнь ли в безветрии
Амбарной крысою?
Чем буря яростней,
Тем тверже дух.
Так смыкайтесь против ветра,
Миллионы, в поход!
Пусть шаги не шире метра —
Метр к метру примкнет.
Мракобесы, войте ветром,
Нам не страшен подъем.
Шаг за шагом, метр за метром
Километры пройдем.

13. СОЗДАТЕЛЬ «РОБОТА»

У садовой калитки сложены камни. Невысокий ссутуленный человек, с холодными глазами и брезгливым ртом, только что подававший реплики, не лишенные ипохондрического налета, останавливается у камней, и в голосе его появляются подлинная заинтересованность и энергия.

Из этих камней он будет что-то строить в своем саду, с которым он возится так любвеобильно, что сад этот перелез даже в карикатуры, на которых фигурируют знакомый искривленный рот и не дающий себя пригладить фонтанчик волос, бьющий из того места на затылке, откуда волосы растекаются по голове.

Этот садовод — Карел Чапек, автор знаменитой пьесы «Р.У.Р.», создавший образ механического рабочего — «рóбота», образ, крепко вросший в культурный фонд сегодняшнего человечества, вызвавший к жизни продолжателей и подражателей. Вспомним — пьеса Алексея Толстого «Бунт машин» в основном построена на фабуле и образах вещи Чапека. Семен Кирсанов написал поэму «Робот».

Наибольшую популярность «Р.У.Р.», а за ней и остальные вещи Чапека имеют в Англии и вообще у англосаксонской интеллигенции.

Влияние технической фантастики Герберта Уэллса несомненно у Чапека не только в драме о рóботе.

У него есть повесть «Кракатит», где в центре действия — изобретатель взрывчатого вещества фантастической силы. Вокруг этого изобретения идет грызня военных министерств и нагромождение политической уголовщины. Здесь та же основная мысль: цивилизация, построенная на технике, есть зло, она никуда не приводит.

«...Единственное совершенство, которого достигает современная цивилизация,— пишет Чапек в книге об Англии,— совершенство в механике. Машины великолепны и безупречны, но жизнь, которая им служит или которую они обслуживают, не великолепна и не безупречна, не совершенна и не изящна; и работа машин не совершенна и не изящна; но сами они, машины, подобны богам. И я должен сказать, что нашел настоящего идола во Дворце индустрии. Это — вращающийся, неуязвимый, несгораемый ящик, глянцевитый и бронированный, который спокойно вращается себе и вращается на черном алтаре. Это удивительно и как-то неуютно».

Поэтому «Кракатит» кончается «впадением героя в примитив» — взрыв истребляет наличное количество вещества, а шок от взрыва отшибает изобретателю память. Он не может вспомнить формул и находит сладостное успокоение у простых людей простого труда, среди простой природы. Там — уютно.

«...Разве есть какая-нибудь красота в фабриках, доках и складах, портовых лебедках, башнях стальных заводов, веренице газометров, стучащих возах с товарами, высоких трубах и грохочущих паровых молотах, железных строениях с перекладинами, водяных буйках и горах угля? Я, жалкий грешник, нахожу все эти вещи весьма прекрасными, живописными и замечательными; но порожденная ими жизнь ни прекрасна, ни живописна; она лишена дыхания природы, жестока, грязна и липка, шумна, дымна и гнетуща, беспорядочна и обременительна, более обременительна, чем голод, и более беспорядочна, чем шквал; меня окутала тоска, излучаемая миллионами, и я бежал из Глазго, не имея мужества смотреть и сравнивать».

С Англией Чапека также роднит и прагматизм. В нем есть много от повадок так называемых «высокобровых» — секты «аристократов интеллекта» — цинических, разуверившихся, культивирующих созерцание для созерцания.

«...Я утверждаю, что готический храм не является самым сложным из кристаллов. Даже среди нас самих упорствует могущество кристаллов. Весь Египет кристаллизован в пирамидах. Греция — в колоннах, готика — в зубчатых башенках и Лондон — в кубах из черной глины. Бесчисленные законы структуры и композиции проходят через весь материал, как тайные математические молниеносные вспышки. Мы должны быть точны, математичны и геометричны для того, чтобы быть заодно с природой. Числа и фантазия, законы и изобилие суть проявления лихорадочной силы природы. Приближаешься к природе не тем, что сидишь под зеленым деревом, а тем, что создаешь кристаллы и идеи, пропитываешь материю пылающим огнем волшебного вычисления.

Ах, до чего бедна и неоригинальна поэзия, как мало дерзновенна она и как мелочна!»

«Я алогист»,— может прервать Чапек, пожав плечами, любую беседу и со скучающим видом сделать ироническое замечание в сторону, замечание высокомерное в своем снисходительном парадоксализме.

Он был в Англии. Он видел ее улицы. Но он не видел на этих улицах революционных толп. И он пишет:

«...Поэзия английского «home» существует за счет английской улицы, совершенно лишенной поэзии. И здесь никакие революционные толпы не будут ходить по улицам, потому что улицы слишком длинны. А также и слишком скучны».

Но все это, думается, в значительной мере внешность. Внутренне же Чапек далеко не такой пресыщенный космополит, каким он кажется. Копните глубже и увидите достойного гражданина маленькой, но героической страны, глубоко не равнодушного ко всему, что в ней творится, неспособного духовно эмигрировать из ее идеологической атмосферы даже в благоденствующую страну космополитического безразличия.

Очень частая в чешской литературе тема о человеке, выселяющемся под нажимом нужды за океан в поисках счастья и возвращающемся на суровую родину, не найдя этого счастья, разработана также и Чапеком. Из его трилогии, посвященной этой теме, роман «Гордубал» должен появиться на русском языке. Это повесть о выселенце, который на чужбине молча трудится как вол и даже отвыкает говорить. Он возвращается домой, жена его сошлась за это время с другим человеком, родная земля попала в чужие руки. Отсюда проистекает кровавый финал, социально, однако, ничего не разрешающий.

Прислушайтесь, с каким волнением он пишет о своей родной стране. У него есть предисловие к бедекеру по Чехословакии, где он пишет о героической истории своего народа с не меньшей теплотой и взволнованностью, чем о дяде своем, сельском хозяине в чешской провинции, которого он противопоставляет индустриальной суматохе Англии.

Порой лирические ноты буколического родинолюбца подымаются до напряженных звучаний, неожиданно напоминающих о националистическом великодержавничестве, питаемом к тому же воспоминаниями об эпохах великого государственного могущества родной страны:

«...О страна моя, лишенная моря, не ограничен ли твой горизонт и не тоскуешь ли ты по таинственному шепоту, исходящему из далеких мест? Да, да, пусть вокруг нас шумно и суетливо пожираются пространства; лишенные возможности плавать на кораблях, мы можем по крайней мере мыслить и облетать на крыльях гения весь широкий мир; уверяю вас, для экспедиций и больших судов будет всегда достаточно простора. Да, надо продолжать идти вперед; решительность всегда найдет себе океан».

И в то же время Чапек — истый пражак, и пражский юмор неистребим у него, несмотря на весь его интеллектуалистический холодок, в который кутается он, как в некий чайльд-гарольдов плащ.

«...Невозможно вкратце определить, что такое представляет собою английский джентльмен; вам необходимо прежде познакомиться с клубным официантом, с конторщиком на железнодорожной станции, а главное — с полисменом. Джентльмен есть равномерное сочетание молчаливости, вежливости, собственного достоинства, спорта, газет и честности».

Прочтите его книгу «Старая веселая Англия» — талантливую, полнокровную — и посмотрите, как под наблюдательною вежливостью змеится пражский смех:

«...Английское воскресенье, например, вызывает ужас. Говорят, что воскресенье создано для того, чтобы дать возможность людям выехать за город; но это неправда: люди в дикой панике бегут из города, чтобы спастись от английского воскресенья. По субботам каждого бритта, подобно животному, инстинктивно спасающемуся от надвигающегося землетрясения, охватывает чувство самосохранения. Не имеющие возможности бежать ищут по крайней мере убежища в церкви, где и проводят страшный день в молитвах и песнопениях. В этот день не варят, не путешествуют, не созерцают и не думают. Не могу понять, за какое преступление бог еженедельно подвергает Англию наказанию воскресеньем».

У Чапека есть два сборника, написанные им вместе с братом, ху-

дожником Иосифом Чапеком. «Рассказы из одного кармана» и «Рассказы из другого кармана» называются эти сборники.

На вид — это забавные фельетоны на темы уголовной хроники. По существу — бытовые зарисовки, зачастую полемические, продолжающие сардоническую традицию рассказов Гашека (только социально гораздо менее заостренно). Если копнуться в истории, традиция эта восходит к Гавличку-Боровскому, талантливейшему продолжателю на чешской почве дела Генриха Гейне.

В одной из новелл (не помню, из которого «кармана») Чапек издевается над поэтами-сюрреалистами, проповедующими «спонтанную имажинацию», то есть бесконтрольное нанизывание свободных ассоциаций.

В его новелле поэт в пьяном виде присутствует при том, как автомобиль переехал прохожего. Надо установить номер машины. Никто не помнит. Но поэт написал о катастрофе стихотворение, где есть строки:

И шея лебедя и груди,
Литавры-барабан...

И вот оказывается, что в этих строках заключен мелькнувший перед глазами поэта номер автомобиля: шея лебедя — двойка, груди — тройка, а литавры-барабан — это пятерка, брюшко которой напоминает барабан, а хвостик наверху — прикрепленные над барабаном медные тарелки.

Диваны вдоль стен опоясывают комнату в особняке Чапека. Картины висят по стенам. Тут и произведения его брата и пейзажи Шпала, продолжающего в Чехии творческую линию художника Мунха. На диванах сидят, беседуя, художники, писатели, публицисты, философы.

Тут драматург Лангер, романист Кратохвил. Деятели литературы и искусств, группирующиеся вокруг Чапека, теснейшим образом связаны с основными фигурами Чехословацкой республики — Массариком и Бенешем[1]. У Чапека есть целая книга этюдов «Разговоры с Массариком». Последний этюд называется «Молчание с Массариком».

В беседе говорим об усилении фашистского влияния среди немцев, населяющих чешские окраины.

— Не делайте пугала из этих немцев,— говорит один из присутствующих,— какие-нибудь два года, и весь этот кажущийся фашистский монолит рассыплется.

— Но отпущены ли вам эти два года историей? Будь генлейновцы одним из течений чехословацкой общественности, мысля свое развитие в пределах вашей государственности, может быть, вы и были бы правы. Ну, а если это не просто одна из парламентских партий, а, так сказать, авангард фашистских оккупационных армий, уже расположившийся на территории республики? Тогда как?

---

[1] Бенеш Эдуард (1884—1948) — чехословацкий буржуазный политический деятель, министр иностранных дел Чехословакии в 1918—1935, президент Чехословакии с декабря 1935 по октябрь 1938 и с 1946 по 7 июня 1948. Проводил антинародную политику. В 1938 году в обстановке начавшейся гитлеровской агрессии отказался от советской военной помощи. После провала попытки контрреволюционного переворота, организованной в феврале 1948 года силами реакции, пользовавшимися поддержкой Бенеша, ушел в отставку с поста президента.

Разговор увядает. Последнее мнение не имеет большинства. Конечно, угроза фашистских соседей, тучей нависших над маленькой республикой, неотвязна и мучительна. Но все-таки хочется обмануться — может быть, пронесет, может быть, рассосется.

Разговор в особняке заканчивается, переходя на Советский Союз, на обещание Чапека приехать к нам в гости, и я вспоминаю, с каким неподдельным волнением говорила о советском искусстве жена писателя, виднейшая чешская артистка и сама писательница Ольга Шенфлугова, противопоставляя бесперспективность заграничного артиста, прогрессирующего год от году, окрыленности и уверенности нашего работника искусства, сильного тем, что он знает, что строит, куда движется, к чему придет.

14. ОЛЬБРАХТ. ВАНЧУРА

Тяжелая монументальность банковского подъезда неожиданно разрешается просторной и колоннастой, как вестибюль метро, залой. Стеклянная прерывистая плоскость, заполняющая всю залу, отражает в себе люстры. Это столы, еще не обсаженные привычными посетителями кафе. Они придут позже, когда кончится кино. Проходит полчаса, и вот уже люди бочком подсаживаются к чужим столам. Незнакомец с черными толстыми усами, обветренным лицом, одетый в зеленую охотничью куртку, подсаживается вполоборота к нам.

В незнакомом месте трудно по внешности определять социальное лицо человека. Обращаюсь за помощью к собеседнику. Маленький, полнокровный, пышущий румянцем щек, не потускневших за пятьдесят лет, он вскидывает на незнакомца глаза младенческой голубизны, глаза той первичной наивности, когда они еще как бы сосут весь окружающий мир, сосут эгоистически, ничего не отдавая взамен.

Потом он многозначительно хмурится, что его лицу, ясному, как полдень, трудно, и резюмирует:

— Возможно, что это крупный лесничий, но еще вернее — помещик из горных районов и уж конечно — аграрий.

В это время помещик поворачивается грудью к столу. В петлице его сверкает гранатовая пятиконечная звезда с серпом и молотом. Это значок «единого фронта».

— Ты ошибся, товарищ Ольбрахт,— говорю я голубым глазам.

— Бывает,— соглашается он миролюбиво и рассеянно, потому что внимание его младенчески ненасытных глаз уже привлекла какая-то другая фигура, интересная лицом ли, станом или повадкой.

Он совсем иной, Иван Ольбрахт, чем сидящий тут же рядом большой друг его и значительный романист Ванчура[1], врач в маленьком городке под Прагой.

В очерке сухощавого лица Ванчуры, его голого черепа есть упор-

---

[1] Ванчура Владислав (1891—1942) — выдающийся чешский писатель. В 1942 г., во время фашистской оккупации Чехословакии, расстрелян гитлеровцами как участник антифашистского сопротивления.

ная принципиальность. Таких людей называют «общественной совестью». «Честный работник пера» — вот характеристика, которую Ванчура дал сам себе. Он пишет вкусно, его лепка простых и честных людей разнообразна и выразительна. Пекарь Ян Маргоул, тоже «честный работник», проносящий себя через всю жизнь незапятнанным, обнаруживает в себе черты самого Ванчуры.

«Ян Маргоул» — это повесть о пекаре в провинциальном местечке, человеке предельной ясности и доброты. Настолько безмятежен этот ремесленник, и полнокровен, и честен, что порой в поступках кажется человеком не от мира сего, блаженным юродивым. Но жизнь кругом жестка, законы ее суровы, люди хищны. И читатель следит со все нарастающей тревогой, пока на конвейере этой жизни, как на инквизиционном колесе, пытают маленького, но предельно ясного и солнечного человека. Он умирает, но умирает, сохранив наперекор действительности свое внутреннее свечение и свою социальную слепоту.

Но своеобразно, что простых своих героев, простых и в доброте и в мерзости, Ванчура пишет пером торжественным, языком усложненно-приподнятым, языком барокко, перенасыщенным образами, порой достигающими экспрессионистской избыточности.

Смотришь на этого, словно подсушенного, сдержанного человека и диву даешься, откуда у него это речевое изобилие, характерное, впрочем, не для него одного, но и для всей сегодняшней чешской прозы.

— Ваша советская фактография,— говорили мне в Чехословакии, подразумевая под этим советский художественный очерк,— оказала большое влияние на развитие нашего современного реалистического романа. Ваше пристальное отношение к действительности, публицистичность, переходящая в оперативность, острота социального зрения — вот что нам ценно.

Возможно, что это так. Но зато речевой арсенал чехословацких прозаиков, их изобразительные средства, думается мне, от современной французской прозы.

Ванчура обстоятельно и методично дознается у меня о том, как живет и растет литература у нас в Союзе, что нового в теории, как понимать социалистический реализм. Но, пожалуйста, поточнее. И это требование точности звучит почти как требование рецептуры.

Там, где Ванчура размерен, замкнут, Ольбрахт бурен и непостоянен, легко переходя от омраченности к веселому просветлению.

Рубенсовское полнокровие играло на щеках и в глазах этого человека, когда в танцзале он следил за игрой скрипача, выделывавшего своей скрипкой уморительнейшие штуки. Он то изображал, как на скрипке играют гитлеровцы: темп марша, пятки вместе, гусиный шаг, смычок — палаш, «Хайль Гитлер»... А то, присев на корточки и уперев смычок животом в пол, напиликивал на нем перевернутой скрипкой нужную мелодию, хитро поглядывал на публику и замечал: «Тирольские пильщики так играют». А потом у него лопались волосы на смычке, и он играл, опоясав скрипку смычком, играл над головой, играл за спиной, играл, просунув смычок меж ног, играл, острил, шутил. И первым, кто отзывался из залы на шутку шуткой же, кто всю эту веселую эквилибристику пожирал гла-

зами и слухом с аппетитом здорового человека, любящего и умеющего покушать, был Ольбрахт.

Он здесь свой. Впрочем, он и во всей Праге свой. Короче его адреса, пожалуй, ни у кого нет. «Прага, Крч, Ольбрахту».

Крч — это предместье.

Большая слава пришла к Ольбрахту вслед за книгой «Никола Шугай». Закарпатская деревня дана в этой книге в подлинном аромате своих гор, потоков, лесов, девичьих песен, в грозном молчании изъеденных ростовщиками, замордованных жандармами деревень, в ослепительных взрывах бунта.

Простодушный и честный разбойник Никола Шугай, скитаясь по горам и «оборогам» — лесным сеновалам в долине реки Колочавы, мстит богатым, помогает бедным, любит свою Эржику и гибнет от предательства своих подручных. В этом повторен эпический мотив разбойничьих легенд всех народов.

Лиризм этой замечательной книги высок. В ней могут не запомниться эпизоды, но она въедается в память, как музыка, как благоухание.

«...Три ночи ожидал Эржику.

Птицу Эржику! Рыбку Эржику! Эржику черноволосую, розовую, пахнущую вишневым деревцем, Эржику, за которой человек должен идти следом, хотя бы он был за семью горами, семью морями».

Это еще до того, как Никола поссорился насмерть с властями, травившими его, как зверя:

«...Не стреляйте! — закричал Никола, увидев жандармские перья..

Но они выстрелили.

И он — тоже.

На черном болоте остался лежать с простреленной головой молодой ловец — жандармский унтер-офицер.

Тогда-то стал расти из Николы — Никола Шугай.

Далеко́, широко, от Тареша до Стиньяка, от Камионской до равнины Хуста, не было хаты, где бы отказали ему в крове или в ложке кукурузной каши. Он — единственный, кто посмел спорить с бедой. Никола! Герой Никола! Только с ним была правда, все другие лгали. А пока каждый, у кого здоровый кулак, не пойдет за ним в горы, пока не будут перебиты все жандармы, нотариусы, лесники, богатые — конца не будет.

Беги, Николко! Беги, стреляй, убивай за себя и за нас! А сгинешь — только раз тебя мать породила, только раз и умрешь».

. . . .

«...Солдаты вынесли из школы украшенный гроб, в нем лежал убитый. Раздалась военная команда. Пешая рота и жандармы отдали мертвому честь. Барабан тихо загудел, как отдаленная пушечная стрельба, и замолк. А колочавцы, скрываясь за изгородями двориков, за окнами хат, глядели на черно-белые одеяния католических священников, на представителей власти в форме, на множество панов, которые одним росчерком пера могут уничтожить Колочаву и отомстить за смерть своего. Мрачная поступь жандармских колонн, медленный воинский шаг, хруст голышей и гальки на улицах были злыми и будили мысль о голоде. Звонил един-

ственный оставшийся колокол церкви, и его звук, удвоенный эхом, падал на дерево зловеще, как ночной разлив.

Колочава молчала».

Принужден был скрываться. Тосковал по дому, по жене...

«...Когда глядел с Заподрины на две вершины Дервайки, так похожие на женские груди, думал о ней, и когда, подперев лицо руками, сидел на камне и следил глазами за течением реки, за мягкими линиями волн, тосковал о ее теле. Засыпал в обороге с мыслью о ней, полон ее аромата, и когда вечером играл на сопилке, казалось ему, что стоит Эржика за ним, тихо слушает и, как окончит, обоймет его сзади. В солнечные дни лежал целыми часами за скалой над Колочавой и упорно глядел в украденный бинокль на хату старого Драча. Выйдет ли из отцовской хаты? Увидит ли, как в подоткнутой рубашке она пойдет со жбаном за водой? Но кто это там уже три раза прошел около хаты? И глаза Николы дико заблестели, как и в тот раз. Если войдет к ней в хату — застрелит его при выходе. Если хорошо прицелится, то достанет».

Но жандарм завладел его Эржикой. А соратники занялись простой уголовщиной, пачкая имя Шугая, и потом, позарившись на деньги, обещанные за его голову, прирезали его.

«...В узких долинах, на склонах, где леса уступили место лугам, живут люди — в хатах, подобных избушкам на курьих ножках или семье грибов под березами. Мужчины пахнут ветром, женщины — дымом изб. Они — пастухи и дровосеки — не дошли еще до земледельческого периода, и плуг здесь пока еще неизвестен. Потомки пастухов, укрывшихся в эти неприступные горы от набегов татарских ханов на украинские равнины, праправнуки мятежных невольников, бежавших от бичей и виселиц подстарост и атаманов Иозефа Потоцкого, правнуки тех, кто взбунтовался против вымогателей — румынских бояр, турецких пашей и венгерских магнатов, отцы, братья и сыновья убитых на бойнях за австрийских императоров, сами преследуемые ростовщиками и чешскими новыми господами. И все — в глубине души — разбойники. Это единственный знакомый им способ обороны. Обороны на неделю, на месяц, на год, на два года, как у Николы Шугая, на семь лет, как у Олексы Довбуша. Что до того, что обходится эта оборона дешевле жизни? Разве жизнь вечна? Однажды тебя мать породила, однажды и умрешь. И в каждой кровинке их живет неясное воспоминание о минувшей кривде и жгучее сознание кривды сегодняшней, и в каждом нерве — дикое стремление к свободе, стремление Довбуша, стремление Шугая. За это любимы они».

Как органически ощутима в чехословацкой литературе деревня! Ольбрахт любит свои Карпаты, и творчество его питается их соками.

Сейчас он написал книгу очерков о закарпатской деревне — «Века и горы». Когда Ольбрахт говорит о Карпатах, чувствуешь: он в Праге только гость, а его основа, его родина — там.

Культура в Чехословакии сильно деконцентрирована. Не только большие города соперничают театрами, университетами, писателями, музыкантами, но даже и в меньших есть своя высококультурная жизнь.

В Оломоуце нас приветствовала мать замечательного поэта Иржия Волькера, умершего в год смерти Ленина.

Тут же работает Вацлавек[1], историк литературы, организатор группы революционных реалистов «Блок».

Безруч пишет, живя в Моравской Остраве, накрепко вросши в шахтерскую гущу.

При посещении Пльзеня мне подарила том антологии советской поэзии писательница Марчанова, работающая с Матезиусом, лучшим из переводчиков с русского, совершенно исключительно переведшим «Двенадцать» Блока.

Питер Илемницкий пишет романы о словацкой деревне, учительствуя в далеком углу Словакии.

И Мило Урбан, молодой писатель-клерикал, автор романа «Живой бич», где война, деревня и католические патеры (один отвратительный, а другой героический), тоже сидит и работает в провинции, аналогично тому, как у нас работает, например, Шолохов в станице Вешенской, не досягаемый ни для московских телефонов, ни для пригласительных билетов, ни для повесток на заседания.

В этой деконцентрации культурных сил проявляется все та же большая культурно-техническая насыщенность страны.

Столица — это место, куда надо съездить для учебы и можно время от времени наезжать, когда провинция утомит. Но жить и работать надо у себя, в родном городишке или деревне.

Во всяком случае в сознании тамошней интеллигенции деревня весит много. Родина — это именно деревня.

15. СЮРРЕАЛИСТЫ

По фасаду конструктивистского дома, выстроенного на самом берегу Влтавы, написано электричеством: «Манэс».

Это — имя одного из крупнейших художников Чехии. Его именем назван этот пражский дом, где кафе и выставочные залы.

На выставке — разное: начиная от натуралистических пейзажей и кончая кусками облаков, сшитых черными или белыми нитками, и розоватыми женскими торсами, у которых головы и ноги от колена как бы оттаяли.

Эти торсы характерны для картин сюрреалиста Шимы. Хотя на выставке все стили от права до лева, но тон выставке задают именно сюрреалисты. В их композициях нет футуристского распада формы, нет кубистской кристаллизации по первичным геометрическим формам, нет беспредметнического любования декоративным сочетанием красок и очертаний.

Картины сюрреалистов — ребусы, и притом ребусы не художественные, а литературные. Это по существу психоаналитические записи, сделанные в рисунке и в краске. Комбинация каких-то извлеченных из подсознательного зыбких протоплазматических комков, которые застывают в парадоксальной фантастике сопоставления самого, казалось бы,

---

[1] Вацлавек Бедржих (1897—1943) — видный чешский историк литературы, критик и публицист. Казнен гитлеровцами во время оккупации Чехословакии.

нереального и призрачного с самыми что ни есть будничными вещами.

Вот картина Ваксмана. Унылая бухта, пустынные дюны, тяжелая вода. Иссиня-черное небо — и на нем луна, светящая пронзительно и невыносимо, какой она кажется глазам лихорадящего человека.. А на береговой дюне — обыденный трехногий умывальник, и над ним — испуганный мальчик в матроске, закрывший лицо. А вокруг мальчика — призраки, словно сплетенные из жгутов разноцветного дыма. В разрывы тел этих призраков видна местность. Черты их смещены. Так бывает во сне.

Вот и все. Тут много фрейдизма и совершенно неудержимого субъективизма. Эти произведения говорят зрителям на незнакомом, а главное, чрезвычайно личном и трудно усвояемом языке.

Помню яростный спор на квартире левого карикатуриста Гофмейстера. Темой был сюрреализм и социалистический реализм.

Через несколько минут стало ясно, как плохо информированы наши чехословацкие друзья о социалистическом реализме, который они принимают за обязательный стиль письма «с бытовщинкой».

Пришлось убеждать их в том, что социалистический реализм не стиль, а художественный метод, который предполагает соревнование разных стилей и самое широкое целеобоснованное новаторство, но что две необходимых предпосылки социалистического реализма — это: признание объективно существующей действительности, развивающейся по законам материалистической диалектики, и, во-вторых, социалистическая направленность каждой строки произведения и каждой фибры художника.

Сюрреалист берет выхваченный из подсознания протоплазматический пульсирующий ком субъективных ассоциаций, в которых он тщится увидеть единственно подлинную правду, и эта протоплазма окаменевает на полотнах картин, под кистью людей, которые, несомненно, тоскуют по материалу и понимают толк и в фанере, и в стекле, и в фаянсе, и в бархатностях, и в шершавостях. Тоскуют они по большой социальной идее, но за нею ходят к Фрейду и Джойсу. Люди с материалистическими руками, но идеалистическими мозгами.

А писатель — сторонник социалистического реализма — берет явление, трехмерную вещь, он прослеживает ее во времени, в экономике, в социальной борьбе. Он как бы смотрит сквозь эту вещь, словно сквозь подзорную трубу, в будущее, и вещь становится движущейся, проницаемой, многозначительной, живой.

Сюрреалист повернут глазами внутрь себя самого. Он поставлен спиной к окружающей его социальной действительности. Он больше занимается самораскапыванием. Но не форма ли это своеобразного дезертирства от эпохи?

Сюрреалисты говорят: каждый человек рождается поэтом, но капиталистическая действительность не дает развиться этому дарованию. Коммунистический строй — единственный, могущий обеспечить такое вызревание поэта.

Но поэта они понимают как мастера «спонтанной имажинации», то есть стихийного воображения, как человека, способного в наборе произвольных ассоциаций выразить подсознательное, в котором-де и находится подлинная человеческая правда. Они анархически требуют освобож-

дения поэтической мысли от какой бы то ни было скованности. Так создаются композиции по принципу «что в голову взбредет».

Может быть, я грубо формулирую их учение, но, право же, большего я не сумел извлечь из их манифестов, невероятно пышных, но в то же время чрезвычайно неудобопонятных, очень «левых» по терминологии и насквозь буржуазных по существу.

Они тяготеют к коммунистической партии, среди них есть партийцы, но в то же время они не гнушаются знакомством с групккой парижских сюрреалистов, явно антисоветской по заявлениям и выходкам.

Они утверждают, что эта связь не политическая, но лишь художественная. Но утверждение это только лишний раз подтверждает двусмысленность сюрреализма и его оторванность от действительности.

Вот поэт-сюрреалист Витеслав Незвал[1]. В его творчестве противоречиво скрещиваются воспевание борьбы пролетариев и фрейдистское самоковыряние, политическая трибуна и записная книжка со страницами разного цвета, где он на одних записывает рифмы, на других сны, которые, как говорят, он считает чуть ли не основным сырьем поэта. Не забудем: фрейдизм — одна из самых изнурительных болезней сегодняшнего европейского интеллектуала. Но там, где сам Фрейд с его учением о сфере подсознательного в человеке с тревогой останавливается перед этой зоологической клеткой первобытных инстинктов и похоти и приветствует как победу каждый клочок сознательного и волевого, отвоевываемый человеком от сидящего в нем животного, там фрейдисты с рвением мистических сектантов не без сладострастия переселяются в смутные, стихийные, невропатические подземелья психики, с большей легкостью находя там и своеобразный наркоз, а заодно и оправдание жизни обессмысленной, эгоистической, беспринципной.

Вот почему так больно сознавать эту расщепленность такого талантливого человека, как Незвал.

В стихах он то космополит, бульвардье, «парижская косточка», то глубоко народный поэт, идущий от народной песни, баллады, думки. То строфа его, имажинистически напыщенная, перегружена, изобилует аффектацией, иностранными словами, то становится певучей, прозрачной и чистой по языку. Но эта вторая половина и делает его значительнейшим из сегодняшних поэтов Чехословакии.

В лучших стихах его нет-нет да и проскользнет та самая деревенская свежая лирика, которая так радует у Ольбрахта.

В этих случаях компактный строй народной песенной строфы прекрасно уживается со свободными ассоциативными переходами от строфы к строфе,— иногда, правда, превращающими стих в ребус.

Тема чеха-выселенца, уехавшего в Америку и грустящего о родине ритмами американских «блюзов», хорошо и социально резко решается Незвалом, может быть, именно в силу отмеченной двойственности его.

Несколько этих вещей я попытался перевести:

---

[1] Незвал Витеслав (Витезслав, 1900—1958) — крупнейший чешский поэт, коммунист. Испытав в первой половине своей деятельности влияние сюрреализма, впоследствии стал революционным поэтом-патриотом. В 1953 г. был удостоен Международной премии мира.

ВЫСЕЛЕНЕЦ

Ищу недаром
Край иной.
Мне край был старый
Не родной.
Лютее мачех
Его извод,
Но паспорт чехом
Меня зовет.
В американском
Злом аду
Авось без родины
Не пропаду.
Но не забуду
По-чешски клясть,
И сына выучу
По-чешски клясть.

В книге «Стеклянный кубок» есть целый цикл «блюзов», частью — просто скорбных стихов, частью — подымающихся до нот тревоги и гнева. В некоторых из них своеобразны, как мучительно долгое тиканье часов, рефрены между песенными строками. Я перевел:

БЛЮЗ ГОРНЯКА

Я не черный,
Я не белый,—
Половинка я.
  Нет просвета.
  Кровь из тела
  Выжата моя.
Пол костей,
Пол черных легких —
В морге рассекут.
  Голы стены,
  Медяка нет
  Даже на клюку.
Жду.
  Половин пропавших не найду.
  Так всю жизнь в офсайде проведу.
  Обочью бреду.
Я не левый,
Я не правый —
Просто углекоп.
  Смерть настанет,
  Рухнет лава,
  Лопнет хмурый лоб.
Гόрю точка.
Стачкам точка.
Все обвал погреб.
  Через тысячу
  Лет раскопщик
  Мой отроет гроб.
Ба!
Труп сидячий! Древние гроба!
Задудит дурак ученый, как труба.
Глупая труба.
  Красен сердцем,
  Черен голый
  В трауре беды...

Что бедняге
Ореолы
Горя и нужды?
Нож за пояс,
Лампу в руки,
А рука верна.
Революций,
Гряньте, звуки!
Площадь зажжена!
Всклочь
Разлетается над шахтой ночь.
Улетает птица смерти прочь.
Птица смерти прочь.

Простота и сила! Это — основное незваловское, и думается, что никакому изощренству этой основы не изуродовать. Ведь интернационализм строится на национальном. В космополитизме интернационализма нет. Незвал любит Маяковского. Стихи, посвященные ему, есть в его сборниках. В 1924 году, будучи еще совсем молодым студентом, он написал стихотворение на смерть Ленина. Оно было печально и пышно. В нем Ленин сравнивался с Дионисом, который умирает, чтобы дать радость людям.

Среди всех карикатур Гофмейстера самые похожие — это шаржи на Незвала: грузность, сведенная к уступам сильных скул, подпирающих глаза, казалось бы — сонные, но в действительности готовые вспыхнуть. Чем? Страстью агитатора, электризующего рабочую аудиторию к волевой борьбе? Или диким анархическим скандалом?

16. ГАШЕК

В Чехии я услышал слово «швейковать». Оно означает вообще — выкручиваться из тяжелой ситуации всеми способами лавирования, по пути поддавая себе бодрости смачной остротой.

Швейковать научила чехов Австро-Венгрия. Швейковать — это значит обойтись без встречи с врагом лицом к лицу, без прямого удара.

Родоначальник этого термина, но и сам производное этого общественного явления, бравый солдат Швейк бегал от винтовки и ловчился, проскальзывал меж зверских рыл Кацей, Лукашей, Брейтшнейдеров. В их лице Гашек дал прямых предшественников сегодняшнего фашизма — стерилизаторов, штурмовиков, расопевцев, погромщиков.

Есть в Чехословакии интеллигенты, которые не любят Швейка. Им кажется, что он — покушение на национальное достоинство страны. Они берут только его придурковатую позу и думают, что это всерьез и всеобще. Над общественной ролью этого придурковатого, а в действительности очень неглупого, лукавого, полнокровного, оптимистического мужика, умеющего ловко срывать маски с командиров, обирал, насильников, они не задумываются.

Сам Гашек для них скорее «непристойной жизни литератор», чем гениальный писатель.

Я думаю, эта порода неважно настроенных к Швейку и Гашеку интеллигентов находится в родстве с теми, кого зло травил и мистифицировал сам Гашек.

А мистифицировать он умел, как никто.

Мне рассказывал его друг, писатель Иосиф Мах, несколько эпизодов.

Началась война, русские наступали на Карпаты, шпиономания была в разгаре. В шикарную гостиницу Праги въехал постоялец и зарегистрировался примерно так:

Имя, отчество и фамилия: Николай Николаевич Абрамов.

Род занятий: Русский шпион.

Через двадцать минут на гостиницу нагрянули полицейские и сыщики.

Через двадцать пять минут их объяло раздражение.

Писавший был Ярослав Гашек. Его штучки они знали.

К чинной и очень почтенной престарелой чете пристал Гашек, когда они, выходя из кафе, вели на поводке собачонку.

— Позвольте,— налетел он.— Как? У вас собачка ходит без попонки? Да знаете ли вы, что по закону 1883 года все граждане обязаны одевать своих собак в попонки?

И, увидав на растерянных лицах выражение страха перед, быть может, действительно нарушенным законом, он кончил полупримирительно:

— Шляетесь по кафе, предаетесь удовольствиям, а чтобы бедное животное пожалеть, на это вас не хватает.

Шли выборы в парламент. Пародируя их, Гашек основал свою собственную партию. Его пристанищем в этом время был один из кабачков предместья. Собутыльники идею поддержали, и партия была зарегистрирована официально. Она называлась «Партия постепенного развития в рамках закона».

Лозунги были таковы:

1. С бедняком построже!

2. Сберкассы духовенству!

3. Дворников на государственную службу!

В окнах кабачка, за неимением печатного органа, выставляли писанные от руки объявления:

«Добропорядочный молодой человек требуется срочно для оклеветания политических противников».

На выборах Гашек собрал 16 голосов.

Он любил мистифицировать мещанство предместий, лавочников, ремесленников, чиновников, исполненных самоуважения, традиций и плоских идеек.

Так, однажды он, объявив лекцию о дереве, собрал полон зал всякого деревообделочного люда. Битых три часа он с серьезным видом рассуждал на тему о том, что дерево бывает пяти родов:

1. Твердое дерево.

2. Мягкое дерево.

3. Сладкое дерево (так называется по-немецки корень, который дают сосать детям).

4. Дерево честного животворящего креста господня.

И наконец:

5. Сверленое дерево (по-русски это будет примерно — дубина стоеросовая).

А еще раз он разжег и возглавил целое движение «против укорачивания сосисок», вбив последователям в головы, что в этом — злостное покушение на права граждан.

«Похождения бравого солдата Швейка» только подытоживали собственный опыт военной службы Гашека и сотен ему подобных.

Но обратите внимание, как Швейк совершенно по-иному расцветает, когда из обстановки бессмысленной и насильнической капиталистической армии попадает в армию революции.

Недавно коммунистическое «Руде право» опубликовало в Праге интересный документ — доклад Гашека об интернациональной работе в красноармейской дивизии, политкомиссаром которой он был в Сибири. Это уже не придурковатый дезертир. Это человек ясной решимости — не выпускать из рук винтовки и биться до конца за свое дело.

Годы пребывания в Красной Армии были годами и физического перерождения Гашека. Тяжкий алкоголик, он за эти годы не взял ни капельки спиртного в рот. И снова запил, когда вернулся в 1921 году к себе домой.

Когда по окончании гражданской войны Гашек возвратился в Прагу, он был заклеймен славой красного комиссара. Прежние друзья или охотники до его рассказов и шуток шарахнулись от него. Он кочевал по кабакам, падая ниже и ниже.

Ходили слухи, будто он расстреливал легионеров. Поймав одного из бывших приятелей, Гашек спросил удивленно:

— Прежде чем осудить меня, ты же должен знать, как это было на самом деле. Представь себе. Сибирская стужа. Шинель застегнуть нельзя. Все пять пуговиц оторвались. Ниток нет. Пуговицы носим в руках. Локтями прижимаем шинель к телу, чтобы не распахивалась. Но ведь стрелять-то надо? Солдаты мы или не солдаты?! Что делать? Выбрал я тогда самых откормленных и толстопузых легионеров. Застрелили мы их с ребятами, вынули кишки, высушили, скрутили и этими кишками смогли пришить пуговицы, чтобы воевать дальше.

Некая американская журналистка, искавшая материала о большевистских зверствах, спрашивала легионеров: не едят ли большевики детей?

Ей обычно отвечали: «Не знаем». Но однажды добавили:

— Пошли бы вы к Гашеку. Он в Красной Армии был. Он все это знать должен.

В кафе «Арко» нашла журналистка Гашека.

— Как большевики едят детей: сырыми или варят?

Гашек стал галантен и очарователен.

— Это, леди, слишком примитивный подход,— сказал он.— Надо смотреть глубже. Русские дети вообще неважное кушанье. Приходится

совать их в кипяток, потому что кожа невкусная и ее надо ободрать. Но вот, я вам доложу, леди, калмыцкие дети — это совсем другое дело. Если у них взять ладошку, мелко изрубить, полить уксусом и прованским маслом, то, я ручаюсь, вы бы пальчики себе облизали. Я вам очень рекомендовал бы. А впрочем, куда вы, леди, торопитесь? Невежливо же убегать, не дослушав...

Гашек умер тяжело, отравленный алкоголем.

В предместье Жижков каждый знает имя Франты Сауэра.

Грубоватый, анархический шутник. С него Гашек писал своего Швейка. Его имя вспоминают, проходя по площади перед ратушей, где стоит памятник Гусу, сдвинутый к стороне.

Освобожденная Прага знала свое свержение Вандомской колонны. Этой колонной был австрийский столб с богородицей, стоявший против ратуши, а главным свергателем — Франта Сауэр, приведший из предместий народ с канатами. Депутаты городского совета прибежали прекратить самоуправство. Но Франта Сауэр, только что произнесший с цоколя речь о позорном столбе, к которому была Габсбургами привязана Чехия, грозно спросил депутатов:

— Кто вы такие?

— Мы исполнители воли народной.

— Ну так вот: мы — народ. А волю нашу сейчас увидите.

И колонна рухнула.

В другой раз он дал о себе знать, когда одна из политических партий устраивала историческую инсценировку боя чехов-гуситов с императором Сигизмундом у Виткова, где Жижка разбил Сигизмунда.

Вакансии гуситов заместились быстро. А быть папистами охотников не находилось.

Роль Жижки исполнял некий колбасник.

Тогда Франта Сауэр взял в обработку мясника из соседнего квартала, жесточайшего конкурента колбасника. Он долго его уговаривал, накалял, и наконец мясник согласился играть Сигизмунда и даже привел с собою на поле сражения еще несколько десятков своих приверженцев. Но когда сражение дошло до критической точки и паписты должны были броситься в бегство, они с такою яростью атаковали дружину колбасника Жижки, что та в панике бежала, крича: «Что вы делаете? Вы же должны быть побитыми!» Так Франта Сауэр скорректировал историю.

Коренной пражак умеет и любит вкусно порассказать.

— Хотите факт? — слышу вопрос в огороженной ширмами кабине пражской кофейни.

Эти слова сказаны хрипловато. Им сопутствует лукавый, искоса брошенный из-под очков взгляд, причем губы пытаются соблюдать серьезность, особенно верхняя, изогнутая подобно сластолюбивому хоботку, которым замечательно можно поглаживать поверхность свеженалитого вина, перед тем как его глотнуть.

Это Арне Лаурин, редактор влиятельной газеты «Прагер прессе», неистощимый собеседник, чей монотонный, с хрипотцой, голос можно слушать не уставая и кто умеет многозначительнейше понижать его,

делая очередной талейрановский диагноз какому-нибудь запутаннейшему политическому узлу.

Если б устроить редакционный кабинет в каком-нибудь из залов Третьяковской галереи, предварительно эту комнату скрестив с комнатой Румянцевской библиотеки, и посадить за стол невысокого человека, с черепом, сквозящим сквозь волосы, хмурыми глазами и веселыми губами, то можно представить себе Лаурина в редакционном кабинете.

Я вошел в этот кабинет рассеянно, и в первый момент мне показалось, что он полон сотрудников. Через мгновение я понял, что ошибся. Это были скульптуры.

Впрочем, они подобраны не без остроумия и напоминают одна — сотрудника, принесшего рукопись, другая — передовика, разводящего беспомощно руками в ответ на упрек редактора.

Стен нет. Стены аннулированы картинами. Картинами и книгами. Картины выбегают из кабинета редактора, продолжаются в архиве, светятся красками в иностранном отделе, в машинном бюро, в отделе информации и, перебежав через лестничный пролет, продолжаются в квартире Лаурина, расположенной тут же.

Картины отобраны с большим вкусом. Здесь есть французы, но больше всего чехов. А из чехов обращает на себя внимание серия вещей иллюстраторши и карикатуристки «Прагер прессе», молодой самоучки Милады Марешевой. Продуктивность ее совершенно поразительна. Собственно говоря, в такой продуктивности может раствориться любой талант. Но ее талант выдерживает испытание и особенной выразительности достигает в иронических жанровых рисунках, главным образом на темы мещанских браков и мещанских похорон.

Собирание картин у Лаурина — как запой. Каждую свободную крону он отдает картине и книге. И бойтесь, пересматривая и перелистывая, что-нибудь крепко похвалить, ибо за этим может последовать гордый жест, заменяющий дарственную запись.

Впрочем, хозяин достаточно влюблен в эти развешанные по стенам и расставленные на полках вещи, чтоб раздарить их почем зря, из одной только благодарности за совосхищение.

Одни коллекционируют марки, другие — монеты. В Лаурине силен азарт мецената. Он коллекционирует то, что талантливо,— книги ли то, картины или люди.

Без экзальтации, всегда блюдя иронический прищур глаза, он умеет кожуру простой информационной заметки наполнить фельетонным соком анекдота.

— Я вам расскажу,— говорит он, погладив губою кофе,— но только имейте в виду — это чистейший факт, а не анекдот.

Дело было в конце войны. Город был на военном положении. Законы были строгие. Мы с приятелем набедокурили в кабачке, и нас забрал полицейский. Он грозно намекнул, что за этакие дела могут и к стенке поставить, и повел нас.

Растерявшись, я собрался ему доказывать ничтожность нашей вины. Но приятель оборвал меня:

«Не говори ему ни слова. Пускай он доведет нас. Я там скажу, кто мой отец. Он ошалеет».

Полицейский прикрикнул, довел до перекрестка, положил руку на рукоять револьвера и сказал, намекая на оживленное движение, в которое можно было нырнуть:

«Посмейте только двинуться!»

«Не говори ему ни слова,— снова сказал мой спутник.— Пусть ведет. Я там скажу, кто мой отец. Посмотрим, какую он состроит мину!»

«Я выполняю только долг,— сказал дрогнувшим голосом полицейский.— Я обращаюсь с вами вежливо».

«Не говори ему ни слова! — рявкнул приятель.— Я там расскажу, кто мой отец, и мы посмотрим».

Голос полицейского стал падать:

«Я не понимаю вашего поведения, судари. В конце концов, чем я виноват? У меня жена и трое детей...»

«Не говори ему ничего, пусть ведет. Там я скажу, кто мой отец».

На безлюдной улице полицейский остановился.

«Вот что, судари. Дайте-ка мне слово, что буянить не будете, и шагайте по домам».

«Не вступай с ним в разговоры! — разъярился приятель.— Без дураков! Пусть ведет! Когда я скажу, кто мой отец, тогда и потолкуем!»

И оба двинулись вслед за полицейским, прибавившим шагу.

Они проводили его до полицейского управления. Там полицейский снова стал суров. Он проконвоировал арестованных в зал ожидания, сказал строго: «Ждать здесь!» — и удалился.

Оба ждали пять минут, десять, полчаса. Потом приятель пошел на разведку и, вернувшись, уныло сообщил:

«Так и есть: полицейский скрылся другим ходом».

«А кто все-таки твой отец?» — поинтересовался тогда Лаурин.

«Переплетчик из Смихова»,— был невозмутимый ответ.

Рассказчик засмеялся беззвучно, одними только губами, глаза его подмигнули из-под очков иронически, как бы спрашивая: факт или анекдот?

17. ДОМ ПОД ТРЕМЯ МЕДВЕДЯМИ

В путанице сверхузких переулков, окружающих пражскую ратушу, есть «Железная уличка».

В доме, где над воротами высечены три медведя, когда-то жили приматоры Праги, ее городские старосты.

Ключ от ворот такой, какие сдающиеся города приносили победителям. Сунутый в карман рукоятью, он бородкой жал под мышкой. Впрочем, если его забыть, то ворота открывались просто гвоздем.

В этом доме есть квартира, где остановилось время.

Арками придавлен сумрачный простор комнат, и неподвижный воздух тяжел, как раствор веков. Старые кресла напряженно стоят у стены.

Дерево шкафов почернело. Темные прадеды глядят с картин. Прошлым столетием отдает от платьев и поз длинной картины, изображающей свадьбу.

Побыв в такой комнате, можно написать сказку в духе Гофмана — о том, как ночью стулья, стараясь не шуметь, ходят по-паучьи в соседнюю комнату к задохнувшемуся нафталином гардеробу и манерной печке, лоснящейся кафелями. Именно в таких квартирах, согласно романтической традиции, могут водиться призраки.

И лишь в одной из комнат — никель инструментов, клеенка хирургического стола и белизна халатов.

Обитатели дома принимают меня в гостиной. Молчаливый хирург, склонив густую проседь бобрика над рюмкой вермута, подымает ее за здоровье матери своей — осанистой семидесятитрехлетней женщины с внимательным, огненным взглядом.

Когда он произносит: «Твое здоровье, мама!» — в нем проступает маленький мальчик, которому впору влезать на хмурое кресло или прятаться за изразцами. В этом доме он вырос, под этими арками пришли к нему седина и сутулость плеч.

Он водит меня по комнатам. Заходим в самую древнюю — спальню матери, обжитую, но слишком громадную, чтобы быть уютной.

В этой комнате семидесятитрехлетняя женщина спит на вековой кровати, под трехсотлетней росписью арок, и толстые стены комнаты оперты на массивы семисотлетних погребов. Под подоконником — стопа чемоданов. Второй сын старухи бросил их здесь, после того как заезжал домой, вырвавшись из гитлеровского плена.

— Он всегда такой,— говорит старуха.— Залетит, нашумит, исчезнет, и вот идут года и идут. Знаю, был он в Австралии. Читали мы здесь. В Париже тоже был. Быть может, вы знаете, не собирался ли он заехать домой?

И она смотрит на портрет, зажатый между дверью и окном.

Я узнаю его сразу. Не хватает только закушенной в углу рта папироски. Но глаз под тяжелыми складками лба верен — глаз стрелка, спускающего курок.

— Это — Эгон Эрвин Киш. Самый яростный непоседа из всех репортеров земного шара, смелый в своем ремесле до авантюры, дерзкий и мужественный, совершивший в пятьдесят лет прыжок с борта парохода на землю Австралии.

Старая мать качает головой одобрительно, слушая в который уже раз эту повесть.

— Он, вероятно, всегда вам доставлял много хлопот?

Говорю это, зная, какою славой, запечатленной в анекдотах и легендах, пользовалась она — властная матрона, хозяйка дома под тремя медведями, строгая к своим сынам.

Говорит же пражское предание, что, когда в дни революции в Вене начальник красногвардейского отряда Эгон Эрвин Киш ворвался в кабинет своего брата, редактора газеты «Нейе фрейе прессе», и потребовал, под угрозой применения силы, сдать редакцию красногвардейцам, брат швырнул ему ключи и сказал:

— Бери. Но смотри: об этом я скажу маме.

Впрочем, даже в анекдотах проскальзывает особая приязнь матери к своему беспокойному сыну. Когда ей сказали с осуждением:

— А знаете ли, что ваш сын с большевиками?

Она будто бы ответила уверенно:

— Раз Эгон с ними, значит, из их дела будет толк.

Вот и сейчас, вместо обычного снисходительного утверждения престарелых матерей о проказниках и причиненных ими огорчениях, я слышу прямой и несколько взволнованный ответ:

— Нет. Какие хлопоты? Беспокоен он был всегда и пропадал почасту и возвращался не вовремя. Но я была спокойна. Я доверяла ему, зная, что он честен и мужествен.

И при этих словах я замечаю в опухших глазах старой женщины то же выражение, что у человека на портрете,— огненный и верный взгляд стрелка, спускающего курок.

18. ЗАВТРАШНИЕ

Мне рассказали о двух чешских школьниках. Они ушли спасать «Челюскин» в дни, когда весь мир напряженно прислушивался к подвигу, который творился над арктической немотой.

Не сговариваясь со своими советскими сверстниками, писавшими письма товарищу Куйбышеву с предложениями, как лучше спасти челюскинцев,— тут были и шары-прыгуны, и подводные лодки, проплавляющие лед, и танки-вездеходы,— эти чехословацкие дети оказались в русле той же героико-романтической идеи. В сегодняшнюю страну подвигов они двинулись так же светло и безоговорочно, как их деды в свое время бегали в Америку прерий и благородных индейцев, украшенных орлиными перьями.

Через несколько дней, конечно, молодых путешественников поймали и вернули домой. Но тяга осталась и остался восторг. Осталась песня у чехословацких ребят, сложенная ими самими:

Воет
Полярный океан.
Буря
Пургою гонится.
Льдами
В кольцо зажатый,
«Челюскин» доблестный
Ломает лед.
Полярным светом
Багрятся лица
Тех, кто осмелились
В опасный лед.
Режет
«Челюскин» море.
Профессор Отто Шмидт
Его ведет.

В одной из школ, где довелось быть нашей делегации, школьники забросали нас, писателей, вопросами:

— Сколько в Советском Союзе колхозов?

— Под каким градусом северной широты Игарка?

— Сколько у вас доменных печей?

— Сколько детей учится в школах?

— Какой длины границы Союза?

А затем рассказали не без гордости, что в дни, когда класс занимается особенно хорошо, учитель в награду читает главу из книги Ильина «Великий план».

А еще раз мы были в образцовом детском саду, если не ошибаюсь — в городке общественного призрения. Дети рисовали разные картинки, густо оклеивая нарисованные избушки сердечками из глянцевой бумаги. Они раскрашивали цветы — цветов этих было большое обилие — и населяли воздух птицами величиною с мух и мухами величиною с птиц. Это была упрямо-буколическая тематика уютных сказок, куда, по понятиям родителей и воспитателей, не должен был врываться сегодняшний день во всей его взрослой жестокости.

Но один из мальчиков, показывая свой рисунок, ткнул карандашом в лётевшую между толстых бабочек тоненькую стрекозу и сказал:

— Летадло!

Это значило — самолет.

И так как соседка молодого художника подкрепила его замечание именем «Новак», то я понял, что на рисунке летит свой, чехословацкий, самолет, а правит им знаменитый летчик Новак, гордость чехословацкой авиации, мастер лёта, занявший второе место на мировых состязаниях по воздушной акробатике в Португалии. Из замечаний ребятишек мне стало ясно, что самолет на их рисунках — это уже не просто увлекательное техническое открытие, поражающее детское воображение,— нет, этот самолет уже имел адрес и маршрут, он уже был окрашен в тона приязни и гордости. Потому что есть в мире и другие самолеты. На их крыльях крючковатые кресты свастики. Этим самолетам нужно лишь каких-нибудь двадцать минут, чтобы долететь до сердца страны.

Когда дети поймут, что это за самолеты, и начертят их на своих рисунках, то избушку нельзя будет нарисовать уютно и прямо. Она должна будет распасться на угловатые осколки, и дым, который сейчас предобеденно подымается из трубы, обернется ядовитым дымом пожара.

Аэродромы этих самолетов подкрадываются все ближе к границам, и рокот их моторов становится все слышнее. Вот почему врывается Новак в пейзажи детских рисунков и носится над карандашными цветами так же сторожко и настойчиво, как пролетает он над плавными реками своей родины, сторожа ее мягкие всхолмия, тронутые пятнами темной осенней бронзы, и лесом заросшие горы, и полосы полей, и глубокие зеркала озер.

— Не надо путать детей в политику. Пусть поживут в блаженном неведении,— говорили мне не раз те, кому еще страшно посмотреть в глаза исторической действительности и кто предпочитает, мучась и стиснув пальцами виски, заклинать завтрашний день словами: «Авось, пронесет. Авось, обойдется как-нибудь».

Эти люди чаще всего добрые и милые, но растерянные. Они болезненно жмурятся перед беспощадными строками газетных информаций, перед

рассказами школьников о том, как воюют у них пионеры с молодыми фашистами, вынужденные эту войну вести так, чтобы не заметила администрация, ибо в школе политика недопустима.

— Не подпускайте детей к политике.

Но как же не подпустишь, когда она сама идет к ним.

Мне рассказывали: на сквере, где гуляют на досуге, кормят голубей и возят детей в колясочках, однажды появился необычный человек. Видимо, безработный и, видимо, очень изголодавшийся — так впалы и желты были его щеки. Он, выворачивая карманы, выцарапывал оттуда крошки и сыпал их перед собою, сникая на ослабших ногах почти на корточки.

Голодный, кормящий голубей, был так невероятен, что матери, широко раскрыв глаза, звали своих детей посмотреть на него. Пожилые супруги шептали: «Как трогательно!» Толстый господин с палкой остановился, сочувственно качая головой.

Голуби трепыхались у самых ног безработного. Крошки сыпались из его грязных рук. Он склонялся над клюющими голубями все ниже и вдруг грудью стремительно упал на голубиную стаю, схватил двух и, пока разлетелись остальные, побежал, засовывая их на бегу за борта пиджака. И тотчас же, подняв палку, кинулся за ним толстый господин; мамаши закричали: «Зверь! Негодяй!» Вскрикнули дети. Аллея пришла в движение. Убегавший был слаб. Его уже нагоняли, вопя.

В этот миг женщина, катившая коляску с младенцем по обочине аллеи, резко повернула ее и врезалась между бегущим и его преследователями. «Извините»,— сказала она наскочившему на коляску господину с палкой. Он чуть не сшиб коляску, остановился. За ним налетели остальные. Это длилось секунду. Но человек, уносивший голубей, был уже спасен и скрылся за поворотом.

Ребенок, конечно, не знал, что произошло. Но то, что произошло, была политика.

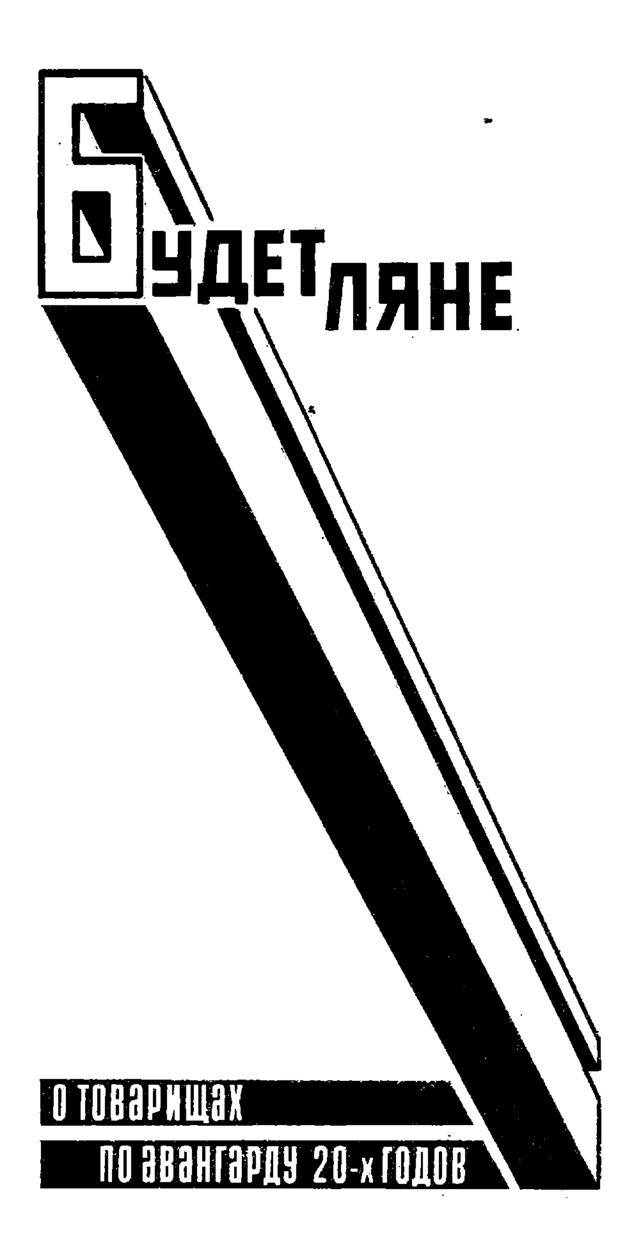
Все острей противоречия. Уже нельзя жмуриться и отворачиваться от завтрашнего дня, неизбежного, громадного, героического. Все чаще гаснет в неожиданное время свет в городах, воют сирены, и люди проверяют пазы у дверей газоубежищ.

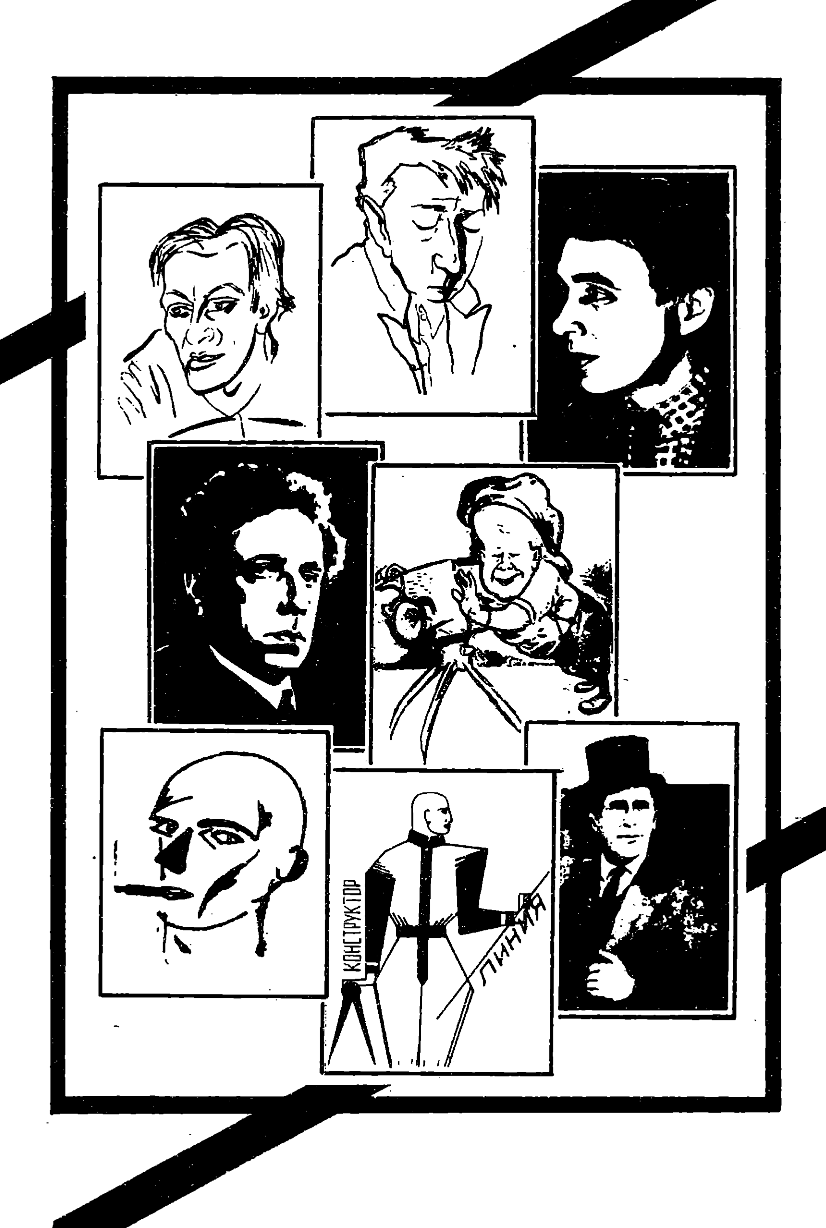
Страна знает — мир надо отстоять. Нельзя, чтоб к следам орд, уже прошедших ее полями и дорогами, примешались новые следы. Надо стоять зорким часовым в сердце Европы на страже мира. Напряженным часовым, готовым к удару, не «бравым воякой» гашековской книги.

Должен затвердеть металл в характере народа. Дело идет о судьбах передового прогрессивного человечества. Дело идет о судьбах собственных детей.

Вот они проходят улицами чехословацких городов. Идут серьезные, крепкие, хозяйственно озирая витрины, облака, колокольни, афиши.

Эти сегодняшние подростки — они инженеры, врачи, учителя, летчики 1960 года. Дети страны прекрасного напряженного труда, большого искусства, пламенного сердца, хозяева той Чехословакии грядущих поколений, в которой уже никому и ни в каком случае не надо будет «швейковать».


Будетляне
о товарищах
по авангарду 20-х годов


КОНСТРУКТОР
ЛИНИЯ

ВМЕСТЕ С МАЯКОВСКИМ

Обычно мы с Маяковским писали так: я заготовлял стихотворение и затем, прослушав его, он делал свои исправления, а то и брал домой для того, чтобы вставить целые строфы. Следить за тем, что он поправит, имело двойной интерес — это была и корректура неоспоримого мастера, у которого я учился законам агит- и реклам-стиха, а с другой стороны, здесь увлекало наблюдение за тем, как то или иное поэтическое задание оформляет поэт иного склада, чем ты сам.

Сейчас, конечно, трудно точно воспроизвести все поправки Маяковского, но кое-какие, поразившие в свое время воображение своей неожиданностью, остались в памяти.

«Новый хозяин в рабочей кепке»,— написал я в «Рассказе про то, как узнал Фадей закон, защищающий рабочих людей».

«Новый хозяин — рабочий в кепке»,— исправил Маяковский мой метафорический оборот на плакатно-однозначный и недвусмысленный. Я писал:

Пропорол рабочий хозяйский жилет,
пригвоздив штыком на нужное место.

Художник-плакатист, знающий цену рядом положенным чистым пятнам краски, Маяковский исправил «пригвоздив» на «пригвоздил».

У меня было:

Во всякой нужде, всякой беде
помощи лучшей не найдешь нигде.

Маяковский переделал:

Во всякой беде
во всякой невязке
В завком направляйте шаг пролетарский.

У меня было по пункту о прозодежде написано:

Свою на заводе не стану трепать я,
Подавай, союз, рабочее платье.

Маяковский поправил:

Подавай, союз,— спецодежду-платье.

У меня было о «Кодексе законов о труде»: «А под этой книжкой подпись Калинин».

Маяковский уточнил: «А при нем (кодексе) Закон и надпись — Калинин».

Ломка привычной поэтики и литературной фразы в интересах наиболь-

шей ясности и недвусмысленности для читателя вещи, облик, словарь и стиль которого все время вел творческую мысль поэта,— вот что запомнилось мне из этой работы с Маяковским.

Добавлю, что заглавия для совместных работ сделаны Маяковским.

Когда я принес Маяковскому реклам-поэму о «Климе из черноземных мест, про Всероссийскую выставку и Резинотрест», написанную мной в стиле его агитки о том, как кума о Врангеле толковала без всякого ума,— вещь ему очень понравилась. Он хвалил ее парадоксально-гиперболические, а также частушечные места:

Лошадь, а не кура.

В это время дождь пошел
В руку толщиною.

Без галош тяжело ж.

Каплет с носа, каплет с уха,
а в галошах всюду сухо.
Каплет с уха, каплет с носа,
а галошам нет износа.

Это трубка не простая,
а отнюдь клистирная.

Не гребенка, а краса,
вся из каучука.
Я гребенкой волоса
виться научу-ка.

Припоминаю некоторые исправления Маяковского.

«Тут и фруктов глянец» —

Он изменил на:

«Тут и фрукты в глянце».

У меня:

Видит — выводок вещей
Марки Треугольник.

У Маяковского:

Видит: выводок вещей
С маркой треугольной.

У меня:

Тут тебе и малый мяч
И большой футбольный.

У Маяковского:

Красный мяч, да пестрый мяч,
и большой футбольный.

Когда я ему читал строфу:

Из корзины Клим берет
Разные игрушки,—

Маяковский, чем-то отвлекшись, спросил вдруг: «Что берет?»

— «Разные игрушки»,— повторил я строку.

Но на реплику уже пришли строки:

Из корзины Клим берет...
Что берет? Игрушки.

У меня было:

Хороша машина,
Новенькая шина.

Маяковский исправил:

Хвастаясь машиною,
гонит новой шиною.

Но особенно запомнилось, как Маяковский работал над вторым и третьим вступительными четверостишиями, которые мне не дались. Рифма заела: «Выставка» — «Сельскохозяйственная» — «Всероссийская». Помню, написалось вроде:

Сердце, радость выстукай,
Звонче лейтесь речи.
...сельской выставкой
на Замоскворечьи.

И еще были строки:

Век нигде не выискать
и... всероссийская.

Маяковский забраковал первые строки, в особенности же вторую насчет речей, которая явно была пристегнута для рифмы.

Работали мы в его кабинете на Водопьяном переулке. Был тут и Асеев. Маяковский не шел ни на какие легкие варианты, где труднорифмующиеся слова засовывались бы в середину строки.

Он ходил по комнате, бормоча рифмы, напоминавшие то «аиста», то «свиста», и произнося найденные им две заключительные строки:

Это дело не простое,
дело всероссийское.

Он, рявкая, браковал предложения мои и Асеева. Так длилось полчаса, час. Он уже носился по комнате бурей. Асеев сдался, я лег на диван. Иногда, найдя четверостишие, Маяковский выбегал в соседнюю комнату, где были гости, и читал найденное. Оно было остроумно, но к стихотворению не подходило.

Прошло полтора часа. Я тоже выбыл из строя. Но Маяковский, чем больше ускользала от него строфа, тем азартнее он старался ее одолеть. Он вдруг повернул найденное им двустишие на несколько градусов:

Сразу видно — не простая,
Всероссийская.

И прочел его начало:

В небесах — моторов стая,
Снизу — люди тискаясь.

И через несколько минут шагания прочел, торжествуя, первую строфу, которая и меня и Асеева поразила неожиданностью своего решения, полнозвучностью и большой зримостью:

Кумача казистого
пламя улиц за сто:
Первая из Выставок
Сельского хозяйства.

ВЕЛИМИР ХЛЕБНИКОВ

«28 июня в Крестцах (бл⟨из⟩ Петрограда) скончался поэт Велимир Хлебников, который последнее время был разбит параличом. Развившаяся быстро гангрена привела к смертельному исходу. До самой смерти Хлебников работал над книгой «Доски судьбы» (газ. «Петроградская правда», 4 июля).

По происхождению из Астрахани. Студент Питерского университета. Математик. У него уже в стихах русалки пели, держа в руках учебник Сахарова. Алхимик слова. Слово он чувствовал как никто, процесс рождения слова — объективирующего ясно и точно то, что за минуту еще бесплотно и слепо ворошилось под половицами человеческой мысли.

Первый родоначальный футурист. Завтрашник. Будетлянин, как он сам назвал футуристов. Бегун из страны штампованной обывательщины в «Гилею» — страну древних «сеньоров», где так вольно и певуче говорится новорожденными словами, теплыми и мясными вместо оловянных бляшек наших разговоров, реплик, газетных хроник и передовиц.

К истокам языка ушел он, сочетая оригинальнейшее чутье лингвиста с неугасаемой работой поэта — словопроизводителя и словосцепщика. Отыскать за официальным корнем нашего обиходного слова его прародителя — пра-корень, найти основные звучания, выражающие основные движения человеческой психики, которые, видоизменяясь, создают хаотические россыпи слов нашего языка,— уловить организационный принцип, по которому видоизменяются, превращаются слова,— было его манией за все время его работы.

«Бык» и «бок» — это слова одного корня, говорил он. Но бык — это то, чем ударяют (активное орудие); бок — то, во что бьют (принимающая среда). И, развивая это положение, он клал начало своей гипотезе внутрикорневого склонения. Каждый звук речи в отдельности имел для него глубокую психологическую окраску, чувство которой надо восста-

новить и в обиходе. Ведь в те времена, когда язык только рождался, он был прост, немногозвучен, и в первоначальные сцепления звуков вкладывались человеком первоначальные общие чувствования и представления.

Хлебников был как никто зорок к той «одежде» слова как живого действенного организма, которая создается приставками, суффиксами и др. Он умел делать затвердевший корень снова текущим, как ручьевая вода, и под его пером росли слова, родные по корню,— то жестокие, то нежные, то широкие, то отточенные, злые или радостные. Он пишет свое «Заклинание смехом», весь сюжет и все движение которого заключалось именно в движении возможных оттенков и значений, несомых одним и тем же речением:

О, рассмейтесь, смехачи!
О, засмейтесь, смехачи!
Что смеются смехами, что смеянствуют смеяльно,
О, засмейтесь усмеяльно!
О, рассмещищ надсмеяльных — смех усмейных смехачей!
О, иссмейся рассмеяльно, смех надсмейных смеячей!
Смейево, смейево,
Усмей, осмей, смешики, смешики,
Смеюнчики, смеюнчики.
О, рассмейтесь, смехачи!
О, засмейтесь, смехачи!

Словом дивных застрекочет
Нас сердцами закипей...
Ты мотри, мотри, за горкой
Подымается луна!
У смешливого Егорки
Есть звенящие звена.

Хлебников родил русской поэзии выразительное и звучащее слово, он первый потребовал, чтобы к слову подходили с большим вниманием и во всеоружии знаний природы слова, не боясь нарушить чье-либо спокойствие хирургической работой над закоснелым словом. Отсюда, из его лабораторий, пошла дружина русских словоработников — футуристов. И неустанным товарищем-соработником и другом-одобрителем был им Хлебников, этот крупнейший из зачинателей русского футуризма, выступивший в 1909 — 10 годах в сборниках «Садок судей» и «Пощечина общественному вкусу».

Как предчувствует и чувствует Хлебников революцию? Ощущение разлада с собственнически-мещанским миром необычайно остро. Основная проблема его в области отношений личности и общества: почему всякое дерзание, всякое духовное домогательство, всякая юность гасится в людях пыльным влиянием среды и возраста? Да здравствует «правительство земного шара» — Совет юнейшин вместо прежних Советов старейшин, знаменовавших собою культ прошлого. Надо порвать с тем миром, где пассивные массы «приобретателей» живут за счет исканий и реализованных усилий немногих «изобретателей». Это те самые приобретатели, которые в момент строительства немногими новых систем, форм и

вещей гонят их, а затем возводят в сан святых и угодников, а сами приспосабливают созданное на пользу своей мещанской неподвижности.

Разве в этом противоположении изобретателей и приобретателей не чувствуется задачи переплавить психологию потребителя (приобретателя) в мироощущение производителя (изобретателя)?

И сквозь оголтелый свист и рев ломившейся на футуристические первомитинги московской и питерской публики, сквозь полет гнилых огурцов и апельсинов и замах кулаками и графинами послышался четкий голос критика футуристов, критика недоверчиво-иронического, о том, что это стихотворение — гениально, что в нем все — и новизна, и смелость, и настежь распахнутые двери в новый поиск для русской поэзии. Этот критик был Корней Чуковский (1913 г.). В этом стихотворении — весь Хлебников с его почти жертвенной любовью к слову и действительно гениальным проникновением в существо слова как вещи, как живого организма, который надо уметь создать для того, чтобы слово на потребу людскую жглось, ласкалось, царапалось и высверливало в заплывшем сознании четкие ходы.

Часто издевались, глядя в страницы Хлебникова. Да разве это стихи? Это же какие-то упражнения в подборе звуков, это же какие-то ничем между собой не связанные словонанизывания!

Верно. Это и были упражнения — больше того, каждая книга Хлебникова — это открытая дверь в его словомастерскую, где все на виду: и стружки, и пробные склепки. Книги Хлебникова — это записные книжки, это записи, где рядом с куском стихотворения или записью построений на звук «р» значились и математические формулы и, быть может, даже счеты за стирку белья. Парадно-книжного, отделанного и отделенного от автора, «сервированного в томик» для желающих «вкусить» — ни в одной книге Хлебникова не найдете.

Обнаженный прием, метод словоустройства — вот что характерно для Хлебникова, этого неустанного лаборанта слова. Подметил его у него и проработал в обстоятельном блестящем труде молодой ученый-лингвист Якобсон в своей книге «Новейшая русская поэзия» (1921 год).

Бобэоби пелись губы,
Вээоми пелись взоры,
Пиээо пелись брови,
Лиэээй — пелся облик,
Гзи-гзи-гзэо пелась цепь.

Так звуками пишет Хлебников портрет.

А сколько зоркости и удивительной предельной простоты скованных до максимальной экономики образов несет само поэтическое чувствование, «соглядатайство» Хлебникова!

Уж белохвост
Проносит рыбу.
Могуч и прост,
Он сел на глыбу.

И веселым звонким ручьем льется его речь!

Взлететь в страну из серебра,
Стать звонким вестником добра...

У колодца расколоться
Так хотела бы вода,
Чтоб в болотце с позолотцей
Отразились повода.

Он всюду, где речь может достигнуть наивысшей звуковой выразительности,— в пляске, в легенде, в русалочьих кликах, в полевых кутерьмах.

Крылышкуя золотописьмом
Тончайших жил,
Кузнечик в кузов пуза уложил
Прибрежных много трав и вер.
«Пинь, пинь, пинь!» — тарарахнул зинзивер.
О, лебедиво!
О, озари!

Русалки поют,— а может быть, это язык воды переведен на человечий.

Иа ио цолк.
Цио иа пацо!
Пиц пацо! Пиц пацо!

А вот пляс:

Я смеярышня смехочеств
Смехистелинно беру,
Нераскаянных хохочеств
Кинь злооку — губирю.
Пусть гопочичь, пусть хохотчичь
Гопо гоп гопопей...

Братская община не угасающих в поиске изобретателей — это та цель, во имя которой Хлебников в своих манифестах зовет от обеспечивающих собственника государственных форм к будущему безгосударственному человечеству.

Земля собственников — дворян должна смениться землею работников — творян.

Это шествуют творяне,
Заменивши дэ на тэ,
Ладомира соборяне
С Трудомиром на шесте.

(«Ладомир»)

Никогда не угасала в поэте жгучая ненависть к людской самодовольной инертности. Она кричит в «Трубе марсиан» (1916 г.):

«Якобы ваше знамя — Пушкин и Лермонтов — были *вами* некогда прикончены как бешеные собаки за городом, в поле! Лобачевский отсылался *вами* в приходские учителя».

С ними ему, неугасимому изобретателю, было не по пути. Вот зачем приветствовал революцию, как ⟨вспышку⟩ пороха в дуле истории, которая с невиданной скоростью понесет человечество сквозь толщи.

И будет молния рыдать,
Что вечно носится слугой,
И будет некому продать
Мешок от золота тугой.

(«Ладомир»)

Где отношения человеческие будут измеряться не куплей-продажей, а обменом радостных проявлений торжественности:

Часы меняя на часы,
Платя улыбкою за ужин,
Удары сердца на весы
Кладешь, где счет работы нужен.

(«Ладомир»)

Будетлянин-футурист в стихах, мятежник и философ, он практически плохо ориентировался в сегодняшнем дне, «сегодняшником» его не назовешь.

Погруженный в свои конструкции, почти ничего кругом не замечающий из того, что люди считают существенным, он, несуразный и длинный, нескладный Велимир I, звучал почти нелепостью на наших мостовых и в наших комнатах. Большой ребенок, за которым нужен был глаз да глаз. Он видел вперед, он был в величественных обобщениях, но создать себе своего личного быта он не смог.

Несколько характеристик по рассказам.

Когда в 1909 году его в Питере нашел Д. Бурлюк, Хлебников жил в утлой комнате, где стол заменял ему ящик, набитый бумагами-рукописями, старательно по написании скомканными в крутяки. Эти же рукописи составляли начинку тюфяка. Бурлюк предложил Хлебникову ехать в Москву для работы.

«Хршо»,— сказал тот своим обычным тихим голосом, сжимая слова в катышок согласных. И пошел немедленно, даже не взглянув на комнату, забрав только рукопись. Бурлюк хозяйственным глазом окинул комнату, перед выходом заметил и поднял с пола завалившиеся комочки. Расправил. Это была рукопись «Смехачей» — этого определеннейшего и характернейшего для Хлебникова произведения...

Хлебников не цеплялся за место, где он жил, наоборот, он все время был в движении, живя то у одних, то у других друзей, которые были для него по существу нянькой. Всегда в пути — от Перми до Питера...

Была морозная ночь. Велимир ежился в драненьком пальтишке. Ему купили шубу со скунсовым воротником. Он был горд и, надев ее, важно улыбался. Через два дня его встретили — шуба была надета странно: в один рукав, а пола перекинута через плечо,— и это на улицах Москвы,— так что закрывалось тело лишь выше колен. В чем же дело? «Пгвицы трвальсь»,— сообщило серьезно несуразное дитя.

Н. Асеев передает: во время мартовской 17 года демонстрации в Питере выделялся автомобиль, на полотнище которого была надпись: «Едет правительство земного шара». Какой-то возмущенный рабочий вырвал плакат. С машины сошла и двинулась к рабочему стремительная фигура.

— Отдай!

Глаза рабочего и требователя встретились, и рабочий, не улыбнувшись, серьезно — отдал плакат Хлебникову...

19 год. Хлебников в Харькове. Его прикомандировали к какому-то из

учреждений. Долго не дает о себе знать друзьям. Обеспокоились, приехали за ним. Не комната, а хлев по тяжелому запаху. В углу гниет какая-то помойная яма. Оказывается, полученные пайки приносились домой, но съедалось из них только то, что можно было есть без варки,— все же остальное сваливалось в угол, и поэт голодал, потому что вопрос о варке был для него невозможно сложен.

Его, голодного, завшивевшего, взяли в Москву. Одели. Умыли. Место выхлопотали. Прошло несколько дней. Была весна 20-го года.

Иду однажды по улице — навстречу Хлебников с малюсеньким свертком.

— Куда?

Машет неопределенно рукой:

— В Харьков!

— Да Вы ошалели! Убегать от места в таком состоянии. Оставайтесь!

— Нет. В Харьков. Там сейчас черемухе цвести.

— Да ведь у Вас ни пропуска, ни билета на поезд нет.

Непроницаем.

— В Харьков! Там весна.

Так и уехал на крыше вагона в адских условиях блокадного железнодорожного движения...

Друг Хлебникова О. Б. рассказывает:

«Принес Велимир стихи. Новая поэма, интереснейшее произведение. Конфузливо следит, как пробегают глазами строчки. Вдруг выпаливает:

— Если плохо, поправьте сами!»

В 1919 году или в 1920-м имажинисты, расцветая махрово, уловили Хлебникова. Взяли от него произведение «Ночь в окопе», напечатали, а затем устроили публичное «посвящение Хлебникова в имажинисты», с возложением рук и прочим балаганом, а в конце заставили его декламировать.

Но декламация Хлебникова — это же кудахтанье, да еще шепотом, тем более что он был способен, дойдя до середины стихотворения, заявить: «И так далее». Публика покатывалась.

Вернулся он после этого в Харьков и сразу попал на футур-митинг своего приятеля П., который, увидя Велимира пробирающимся к эстраде, начал довольно резко издеваться над его «имажинизацией» и кончил вопросом: «Много ли тебе заплатили?»

— Пять рублей,— это был спокойный, обычным тихим, будто сконфуженным голосом, ответ поэта, умевшего ставить и разрешать всякие проблемы, кроме проблем обыденной практики.

И умер он на каком-то перевалочном пункте, в предбаннике, откуда-то выехав и куда-то не доехав,— этот несегодняшний бродяга, этот ласковый, зоркий и горящий неустанник, искатель форм не только новой поэзии, но и новой жизни.

Не почестей посмертных, не канонизации, величавых могильных плит и памятников, запоминания имени и запоздалого интересования требует от меня — футуриста — смерть футуриста-товарища. Для футуриста не существует смерти, поскольку задача его — наиболее полно и концент-

рированно расплавлять себя в действенном сознании современников, а следовательно, и грядущих поколений.

Не в имени дело, а в том, что наши нынешние и грядущие способы пользования языком обязаны во многом хлебниковским поискам и достижениям. Хлебников лег прочной мостовиной в жизни русской поэзии, его из нее не вычеркнешь,— последние 10 лет идут под его знаком. Пока будет существовать язык и любовно-работническое, изобретательское к нему отношение — жив и Хлебников.

Не вечная память и не вечный покой тому, кто умел всегда забывать себя предыдущего и быть неугасимым беспокойством,— а товарищеское спасибо другу-соратнику, сдавшему и замолчавшему 28 июня 1922 года по «независимым от него обстоятельствам».

Работа продолжается.

БУКА РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

(Об Алексее Крученых)

Пожалуй, ни на одного из поэтов-футуристов не сыпалось столько издевательств, обвинений, насмешек, дешевых острот, как на Алексея Крученых. Вспомнить его первые дебюты в 1912 — 1913 годах со странными книжками, где среди кувыркающихся букв и слогов, часто вовсе не произносимых, вдруг обозначалось:

Дыр бул щыл
Убещур
Скум!
Вы со бу
Р л эз

Или:

Сарча кроча буга навихроль...
Беляматокияй!

Да еще и с мотивировочной припиской о том, что в одной этой строчке «сарча, кроча...» больше русского подлинного языкового духа, чем во всем Лермонтове.

Взвизг публики по этому поводу был не меньший, чем при виде разрисованного Бурлюка или нахала в желтой кофте, Маяковского, в благопристойных собраниях Литературно-Художественного общества, швырявшего булыжниками строк своих:

А вы ноктюрн сыграть могли бы
На флейте водосточных труб?..

И попрек желтой кофтой Маяковского и дырбулщылом Крученых до сего времени еще является главным, презрительным аргументом обывателя, протестующего против «хулиганского издевательства» над святостью быта и священностью «великого, правдивого» и прочая и прочая тургеневского языка.

Ведь Крученых первый колуном дерзости расколол слежавшиеся поленья слов на свежие бруски и щепки и с неописуемой любовностью вдыхал в себя свежий запах речевой древесины — языкового материала. Корней Чуковский, пытавшийся в 1913 году классифицировать буйное новаторство футуристов, отметивший гениальность дарования Хлебникова,— проглядел Крученых.

Критик заметил лишь те стихи Крученых, где тот пародировал парикмахерские поэзы, издеваясь над изящной альбомностью, буквально вздергивая ей подол хотя бы такими обворожительными строками, как:

За глаза красотки девы
Жизнью жертвует всяк смело,
Как за рай!

Критика перепугало привидение всероссийского косматого чучела, данного поэтом в строках:

Лежу и греюсь близ свиньи...
На теплой глине
Испарь свинины
И запах псины...

И критик воспринял поэта не как лицедея, но как проповедника этой «скуки».

Критик решил подойти по содержанию туда, где единственным содержанием была форма, и не учуял большой остроты фонетического восприятия слов в строфе:

Сарча кроча...—

где есть и парча, и сарынь, и рычать, и кровь, смелым узором брошенные в ковровое пятно.

Разработка фонетики — в этом основное оправдание работы Крученых. И проблема универсального эмоционально-выразительного языка — его задача. Беря речезвуки и сопрягая их в неслыханные еще узлы, стараясь уловить игру налипших на эти звуки, в силу употребления их в речи, ассоциаций и чувствований,— Крученых действовал с восторженным упорством химика-лаборанта, проделывающего тысячи химических соединений и анализов.

В 1912 году Крученых создает свою декларацию о заумном языке, то есть языке, строющемся вне логики познания, по логике эмоций. Он подмечает эмоциональную выразительность ласкательных слов и звукосочетаний, криков злобы и ругани, необычайных имен и прозвищ.

Создание языка чистых эмоций и есть прорыв в «заумь», как он называет свои выразительные словопостроения. Чутким ухом уловив оттенки говоров, наречий, диалектов, он пишет строки, по своему звукоподобию похожие на японские, испанские и т. д., и сообщает, что «отныне он пишет на всех языках». И действительно, для людей, только слышавших, но не понимающих речь этих народов, строки Крученых передавали очень близко особенности звучания этой речи.

Еще одна особенность у Крученых. Кроме эмоциональностей чуткости уха у него несомненная зрительная чуткость.

Просмотрите его книжки, литографированные или написанные от руки.

Буквы и слога вразбивку разных размеров и начертаний; реже эти буквы печатные, чаще писанные от руки и притом коряво, так что, не будучи графологом, сразу чуешь какую-то кряжистую, тугую со скрипом в суставах психику за этими буквами. Кроме того, эти буквы весьма неспокойны,— бука говорит:

строчки нужны чиновникам и Бальмонтам,
от них смерть!
У нас слова летают!..

И действительно, они летают, кувыркаются, играют в чехарду, лазят и скачут по всей странице. Люди ахают: это стихи? Нет, это не стихи. Это рисунки; в них преобладает графика, но графика буквенная, несущая с собою в качестве аккомпанемента ощущение звучаний и наросты ассоциаций, сопряженных с речезвуками.

Графическая заумь у Крученых шла параллельно звуковой и имеет место еще до сих пор. Объясняется это явление, по-моему, тем, что до сих пор не проведена граница между языком видимым (буквенным) и слышимым (звуковым). Недаром же в свое время кто-то из футуристов, найдя в стихотворении строчку о морском прибое с тремя «б», находил, что хвостики буквы «б» над строчкой передают выплески волн.

И, конечно, прав был лабораторник Крученых, принявший в свою лабораторию на равных основаниях и зримое и слышимое, тем более что зрительное воздействие шрифтов и почерков применялось и итальянскими футуристами (а еще раньше афишей, вывеской, газетным заголовком и т. д.).

Какую же заумь культивировал Крученых?

Он был далек от заумных построений романтических, типа Илайяли (Гамсун), он был достаточно реалист и враг символистическому сахарину. Он создавал заумные речения, которые, по его же словам, должны были входить в сознание туго, коряво, как несмазанный сапог.

Выразительность его поиска всегда враждебна изящному, элегантному, будуарному. Недаром Чуковский сказал, что поэзия Крученых — это корявый африканский идол (и, конечно, в глубине души, сопоставив этого идола с Милосской Венерой, галантно отдал предпочтение последней). Даром, что ли, Чуковский ставил творчество Крученых в связь с деревенским хулиганством, накипающими эксцессами и злобой, от которых в 1913 году по-овечьи дрожали сердца хороших баринов вроде Бунина и заряжались мистические (впоследствии мистификаторские) уста Мережковского выстрелом — «Грядущий Хам».

Можно много толковать на тему о предчувствиях стихии и выразителях ее близившегося восстания — не в этом дело, тем более что, быть может, никогда не было человека, более добросовестно избегавшего сюжета и всякого рода литературности и идейности в своей работе, чем Крученых.

Война. Революция. Крученых на Кавказе. В Москве. Новые его книги.

Ого-го! Целая плеяда заумников. Малевич, Розанова, Терентьев, Алягров, Зданевич. И целый ряд новых книжек Крученых, наполненных и лабораторными сплавами-пробами, и стихами, и критикой, и идеологическими

статьями. Работа над членением слова дала свои результаты, и когда Крученых теперь пользуется им для сюжетных построений, то слово у него звучит весьма полноценно, оно подчиняется любому изгибу и имеет характерную звуковую окраску. Приемы усиления выразительности слова путем его частичных видоизменений при большой чуткости к психологической окраске каждого звука разнообразны и бьют в цель. Вот его стихотворение из книги «Заумники»:

РЕФЛЕКС СЛОВ

I

В ревущий чор — день
Батистом, как сереброюньем звеня,
Графиня хупалась в мирюзовой ванне.
А злостный зирпич падал с карниза
В темечко, свеже-клокочное, норовя!
Она окунулась, чуть взвизгнув,
И в ванне хупайской
Дребезгом хнычет над нею
Электро — заря!
Рявкнул о смерти хрустящей
Последней хринцессы
Радио — телеграф!..

II

Злюстра зияет над графом заиндевелым
Мороз его задымил, взнуздал...

III

Шлюстра шипит над шиперным графом...
. . . .

IV

Хде-то холод заговора
Хде-то вяжут простыни,
Дырку дырят потолочно —
Хоре хоре старому!..
Хлюстра упала хилому графу на лысину
Когда собирался завещание одной хохотке Ниню написать!
Он так испугался, что вовсе не пискнул!
А за пухлым наследством
За пачкой пудовой
Сквозь решетки и щели
В дверь надвигалась поющих родственников
О-ра-а-ва
   га, га-га-га!..

Примечание: последние три строчки — нараспев маршем.

(«Заумники» 2-е издание)

Здесь характерна передача чувства смешного в смешных словах (так же, как смешны именами своими Бобчинский и Добчинский у Гоголя).

А с другой стороны, интересна инструментовка, искривление слов, согласно общей интонации строки: хуповая (красивая) — дает хупалась и хупайский. Смягчение бирюзы дает мирюзу. А дальше строки строятся по выразительным звукам.

Злой — окрашивает в «З» строку.

Злюстра зияет (вместо сияет)

над графом заиндевелым —

Шип создает строку:

Шлюстра шипит над шиперным графом.

А дальше хилое «х» дает расслабленно-паралитичные строки:

Где-то холод, Хоре...

И это гусиное гоготание входящих родственников:

О-ра-а-ва
га-га-га!

И еще: граф-то возник во второй части стиха не потому ли, что его родил «радио-телеграф» первого абзаца? Так логика фабулы жизнеподобной заменяется логикой звуков и чувств.

В той же зауми неоднократные окрашивания рядом стоящих слов в некоторый выразительный для строки звук: «вороная восень» «мокредная мосень», цветущая весна-цвесна, алое лето-алето. И в то же время образная экономность и чуткость построений.

МОКРЕДНАЯ МОСЕНЬ

Сошлися черное шоссе с асфальтом неба
И дождь забором встал
Нет выхода из бревен водяного плена
— С-с-с-с ш-ш-ш-ш —

А вот из стихотворения «Цвесна» (цвести):

УЖЕ
МЕЖ ГЛЫБ эфира
Яички голубые
Весенних туч порхают,
И в голубянце полдня
Невыразимые весны
Бла-го-у-ха-ют!..
Там авнаторы,
Взнуздав бензиновых козлов,
Хохощут сверлами,
По громоходам
Скачут!
. . . .

И юрких птиц оркестр
По стеклам неба
Как шалугун
Трезвоном:
— Ц-цах!
Синь-винь
Цим-бам, цим-бам, циб-бам!..
А на пригорке припотевшем
В сапожках искристых
Ясавец Лель
Губами нежными,
Как у Иосифа пухового
Перед зачатием Христа,
Целует пурпур крыл
Еще замерзшего
Эрота!..

Интересны его фантастико-юмористические построения:

В половинчатых шляпах
Совсем отемневшие
Горгона с Гаргосом,
Сму-у-тно вращая инфернальным умом
И волоча чугунное ядро,
Прикованное к ноге,
Идут на базар,
Чтобы купить там
Дело в шляпе
Для позументной маменьки
Мормо!
Их повстречал
Ме-фи-ти-ческий мясник Чекунда
И жена его Овдотья —
Огантированные ручки,—
Предлагая откушать голышей:
Дарвалдайтесь! С чесночком!
Вонзите точеный зубляк в горыню мишучлу,
Берите кузовом!
Закусывайте зеленой пяточкой морского водоглаза...

Конечно, всякий, приученный искать в стихе поучительной тенденции и из фантастики признающий лишь фантастику фабулы раз навсегда напетых сказок,— всякий такой читатель с самодовольным негодованием отвернется от этих строк, где сами слова превращаются в кривляющихся и скачущих паяцев (слово «паяц», конечно, вызовет презрительную усмешку на благопристойном лице). Слова дергаются, скачут, распадаются, срастаются, теряют свой общеустановленный смысл и требуют от читателя влить в них тот смысл, те чувствования, которые вызываются речезвуками, взятыми в прихотливо переплетенных конструкциях.

А когда поэт ставит себе задачей «изобразить» что-либо, опять это изображение наливается тем соком и полнотой, какую трудно найти в языке, застывшем в повседневных шаблонах, изменяющемся в порядке стихийной (не сознаваемой) эволюции чрезвычайно медленно.

Вот строки о пасхальном столе из книги «Зудесник», где по отдельной, звуковой аналогии мы или угадываем название блюд или, слыша их впервые, подходим к ним так же, как к замысловатым именам кушаний или

напитков в прейскурантах (удивительно «вкусное название» — что-то за ним кроется?).

В сарафане красном Хатарина
Хитро-цветисто
Голосом нежней, чем голубиный пух под мышкою,
Приглашала дорогих гостей
И дорожных приезжан:
— Любохари, любуйцы — помаюйте!
Бросьте декабрюнить!
С какой поры мы все сентябрим и сентябрим
Закутавшись в фуфайки и рогожи!..
Вот на столе пасхальном
Блюдоносном
Рассыпан щедрою рукою
Сахарный сохрун
Мохнатенький мухрун
Кусочки зользы
И сладкостный мизюль (мизюнь)
— Что в общежитьи называется ИЗЮМ! —
Вот сфабрикованные мною фру-фру,
А кто захочет — есть хрю-хрю
Брыкающийся окорок!..
А вот закуски:
Юненький сырок
Сырная баба в кружевах
И храсные
И голубые
Юйца —
Что вам полюбится,
То и глотайте!..

(«Весна с угощением»)

И еще оттуда же варианты:

Тут дочь ее — Назлы,
Вертлявая, как шестикрылый воробей,
Протарахтела:
— Какой прелестный сахранец!
Засладила все зубы, право!
И чудо, и мосторг!
Мой мосторг! Мой мосторг!!!..
...И снова льются Хатарины приглашальные слова...

А муж ее
Угрыз Талыблы
Нижней педалью глотки
Добавил:
— Любохари, блюдохари,
Губайте вин сочливое соченье;
Вот крепкий шишидрон
И сладкий наслаждец!

В томате вьется скользкий иезуй,
Да корчатся огромные соленые зудавы
И агарышка с луком —
Цапайте все зубами!..
Главгвоздь гостей
Эсей Эсеич

Развеселись —
Вот для тебя тут
Паром дышит
Жирный разомлюй!..
Для правоверных немцев
Всегда есть —
ДЕР ГИБЕН ГАГАЙ КЛОПС ШМАК
АЙС ВАЙС, ПЮС, КАПЕРДУФЕН —
БИТЕ!..
А вот глазами рококоча,
Глядит на вас с укором
РОКОКОВЫЙ РОКОКУЙ!
Как вам понравится размашистое разменю
И наше блюдословье?!.
Погуще нажимайте
На мещерявый мешуй
Зубайте все!
Без передышки!
Глотайте улицей
И перулками
до со-н-но-го отвала
Ы — АК!

Эти немецкие строки в стихе еще раз демонстрируют необычайную чуткость поэта к фонетической окраске языков (вспомните, как в «Войне и мире» солдат перелицовывает на русский лад французские песни). Поэту мало раз данного слова, он его видоизменяет в целях большей выразительности.

«Дырка»,— «ы» слишком широко и глубоко: как дать впечатление узкого стиснутого отверстия? Наиболее, до свиста суженное впечатление дает — ю. И поэт пишет:

Из дюрки лезут
Слова мои
Потные,
Как мотоциклет!..

«Насколько до нас писали напыщенно и ложно торжественно (символисты), настолько мы весело, искренно, задорно»,— говорит он в одном из критических обзоров и приводит для примера отрывок из Дра (драмы) И. Зданевича — «Янко Круль Албанский», написанную согласно указаниям автора.

«На албанском, идущем от евонного!», Янко (испуганный):

папася мамася
банька какуйка визийка
будютитька васька мамудя
уюля авайка зыбититюшка!..

В этом смешным говором переданном лепете действительно много подмечено из детского лепета и фонетически вполне передан быстрый испуганный рассказ ребенка на его ребячьем языке (обычно всегда заумном и выразительном в смысле соответствия звучаний тем эмоциям, которые вызывают у ребенка тот или другой предмет).

Крученых — блестящий чтец своих произведений. Кроме хороших

голосовых данных. Крученых располагает большой интерпретационной гибкостью, используя всевозможные интонации и тембры практической и поэтической речи: пение муэдзина, марш гогочущих родственников, шаманий вой и полунапевный ритм стиха и дроворубку прозаического разговора.

Та же чуткость, которая имеется у него по отношению к речи в письме, заставляет его прорабатывать ее и в живом голосе. Крученых не чуждо представление о заклинательной речи. Его чтение порой дает эффекты шаманского гипноза, особенно отмечу «Зиму» (в «Голодняке» и «Фактуре слова»), в которой звук «з» бесконечно варьируется, ни на минуту не отпуская напряженного внимания слушателя.

И как бы ни относиться к Крученых, нельзя отказать ему в том, что «разработка слова» проводится им неуклонно, добросовестно и с большим остроумием. И остроумие обывателей, потешающихся над его «нечленоразделями», так же смешно, как желание написать письмо на бумажной массе, лежащей в чане, как сшить штаны из пряжи, как требование вскипятить воду не в медном самоваре, а в медных закисях, окисях и перекисях, проходящих колбы химика.

На огромном словопрокатном заводе современной поэзии не может не быть литейного цеха, где расплавляется и химически анализируется весь словесный лом и ржа для того, чтобы затем, пройдя через другие отделения, сверкнуть светлою сталью — режущей и упругой.

И роль такой словоплавильни играет Крученых со своей группой заумников.

ВСЕВОЛОД МЕЙЕРХОЛЬД

Четыре встречи

ПЕРВАЯ

Рижское взморье 1913 года. Этакая чайльдгарольдовая фигура в гишпанском плаще на фоне дюн. Романтическая кипь желторотого поэта в восхищении. Восхищение должно быть реализовано. Отправной пункт, как и подобает поэту,— фонетический: имя Мейерхольд. Пишется нечто гиперкузминское с испанскими рифмами.

. . . . Кобольд,
Когда он рыл подземные альгамбры
И тонкий вздох, подобный вздоху
амбры,
Чертил на черном имя — Мейерхольд.

Стихотворение пропадает — восхищение остается.

ВТОРАЯ

Питер. Квартира режиссера Александринского театра. Начало 14 года. Завариваемый футуркотел кипит вовсю. Основное впечатление при посещении — респектабельность. Разговор на литературные темы — ждешь, вот бабахнет тебя сдержанным скепсисом за футурь и уже готовишь солидные аргументы. И вдруг заявление — «во всем этом движении молодых масса интересного и обещающего развиться в неслыханные вещи!».

Прикидываю в уме фамилии, конечно, наиболее скромных футуристов, к кому бы относились эти слова: Северянин, Бурлюк, Шершеневич. Ответ неожиданный: «Василиск Гнедов» — питерский заумник, крайняя левая. Недоуменно смотрю на респектабельный сюртук.

ТРЕТЬЯ

Июль 1921 года. Москва. Дачный поезд. Красная феска, под феской нос. Кемаль-паша? Нет — Мейерхольд. Усталый. Не всякому октябрю победа дается в неделю — у театрального, например, на этот счет туго.

Несколько фраз восстанавливают взаимоузнавание.

ЧЕТВЕРТАЯ

Осень 1922 года. Дальневосточная драка за Октябрь искусства еще издали роднит нас вплотную с московскими атаками. Мастерская Мейерхольда — активнейший участок левого фронта искусства. «Зори» и «Мистерия» уже позади. Уже «Рогоносец» плюет не на пол, а в плева-

тельницы. Уже нэп берет себе на содержание аклицедейство. Мастерская Мейерхольда устраивает вылазки — в Политехнический, в Дом печати. Здоровущие горланы в синей прозодежде поражают. Да разве же это актеры? Ну Максимовы, например? Никакой деликатности.

После такой вылазки в Лубянском проезде у трамвая четвертая встреча.

— Идите к нам работать,— говорит Мейерхольд.

— Идет!

* * *

Что существенно?

То, что Мейерхольд, человек типично богемской закалки эстетического театра, умеет переламывать не только уже реализованные формы театрального действия, которые его не удовлетворяют как средство коммунизации психики пролетария. Он умеет переламывать самого себя, а это самое ценное. Есть новаторы, все новаторство которых суть лишь вылазки из устойчивой крепости некоего основного бытового затвердевания. Мейерхольд весь в походном марше. Сжечь, чему поклонялся,— пожалуйста, но поклоняться тому, что сжигал, не то что шея не повернется, а просто за новой стройкой недосуг будет. Доверит другим. Любители попоклоняться найдутся. А переламывать себя есть в чем — психика богемы, этого типичного деклассированного слоя интеллектуального пролетариата, очень неврастеническая вещь. Кулисы с их привычкой к нутру, к стихийно-вдохновенной работе вместо организованной, с их болезненной подозрительностью и склокой — вещь необычайно прочная и трудно поддающаяся изживанию. Но она должна быть уничтожена в том процессе выработки тренированных, интеллектуально и физически оборудованных работников, который ведет Мейерхольд.

Что важно?

Что Мейерхольд, работая в театре и при помощи театра, идет к бестеатральной действительности.

Что его актер не лицедей, а тренированный распорядитель, своими мускулами и нервными связями организующий себя согласно коллективному устремлению.

Что его режиссер — организатор масс, социальный инженер в зачатке.

Что его спектакли не показы, а приказы по линии организации воли работников к достижению Коммуны.

Что имя Мейерхольд — знамя непрекращающегося восстания на базаре искусства и что хватким и горящим знаменосцем его является революционная молодежь, которая споро и слитно шагает в свое будущее и среди воинственных кличей и сигналов которой есть и такой:

ВЗВЕЙ
МЕЙ
ВВЕРХ
ЕРХ
ВОЛЬТ!
ОЛЬД!

ЭЙЗЕНШТЕЙН — РЕЖИССЕР-ИНЖЕНЕР

Есть режиссеры, которые целиком в себе. Слушает такой режиссер, что у него в «нутре» делается, потом вдруг засунет клюв в это самое свое «нутро» и извлечет оттуда «новую ценность» — очередную штучку, индивидуально-искривленную. Понравилась штучка публике — режиссеру овация; не понравилась — режиссеру остается поворчать на профанов, ничего не понимающих в «жемчужинах», извлекаемых из загадочных глубин творческого «я».

Есть режиссеры, находящиеся в состоянии «перманентного поединка» со своим материалом. Враждебно-изобретательским взором нацелены они на вещи и людей, из которых они должны сделать спектакль, и точно приговаривают: «А ну-ка, дай я тебя этак переломлю! А ну-ка, дай я тебя этаким узлом завяжу! Выдержишь или не выдержишь?»

И есть, вернее, не есть, а нарождается третий вид режиссера. Он целиком в задании, в том социальном эффекте, который он обязан произвести на аудиторию. Его материал — аудитория в самом широком смысле этого слова. Вся система личных эмоций — не более чем топливо в двигателе; весь комплект актеров и действующих в спектакле вещей — это только строительный материал, и из этого материала режиссер-инженер с величайшей изобретательностью строит самые диковинные и простые инструменты, при помощи которых надлежит оперировать громоздкую тушу аудитории, омолаживая, обмускуливая, огневляя эмоции этой аудитории.

Мне кажется, что Эйзенштейн принадлежит к числу режиссеров именно этого третьего рода. От перегнившего болота шарлатанства, жречества и знахарства — к каким-то новым формам режиссуры, граничащей с социальной инженерией, с деятельностью Наркомздрава и Агитпропа — вот путь режиссера новой формации; от абсолютного преклонения перед стихийным вдохновенным характером творчества к по возможности научно обоснованной, сложной работе над формовкой социальных эмоций.

Напрасно будут искать у Эйзенштейна стиля, то есть тех, одному только ему свойственных, искривлений и изуродованностей, которыми так гордятся художники, ибо из этих искривлений слагается вывеска их кустарной мастерской. Не может быть и речи о стиле там, где каждый элемент материала изгибается, плющится, формируется в ту или другую сторону, не потому что в эту сторону прирожденная, творческая судорога дергает руку художника, а потому что инженерийное сознание диктует режиссеру — сделать это искривление. Так будет достигнут эмоциональный эффект большей нагрузки, чем при других комбинациях. Стиля нет, есть целесообразность коструккций! Также нет и цепляния за раз найденные формы. Наоборот, надо перепробовать предельное количество форм и комбинаций, чтобы из них отобрать наиболее сильно действующие.

Вот почему монтаж «Стачки» есть нечто совсем новое для русской кинематографии, на чем нашим режиссерам надлежит учиться. Вот почему в «Потемкине» — таком предельно безыскусственном и потрясающе-простом по комбинациям — мы встречаем новый драгоценный прием, когда объектив аппарата оказался в зрачке подстреленного обывателя и вместе с этим обывателем рухнул по лестнице, а в кадре сознания взлетели ввысь ступени. Насколько помнится, такого приема встречать еще не приходилось.

И еще одну черту хочется отметить в Эйзенштейне, вытекающую из всего вышесказанного,— это его огромная доскональность и скупость в использовании материала: одна лестница с толпой и один корабль с матросами. И на этих двух материальных предпосылках строится совершенно потрясающее количество и качество режиссерских комбинаций. Там, где другой режиссер, клюнув два-три раза броненосец, ускакал бы прочь — в горы, или на фабрику, или в лес, или в салон «для разнообразия»,— там Эйзенштейн упорно и уверенно добывает стопроцентную художественную вытяжку из одного только этого броненосца, но... но он разработает этот броненосец так исчерпывающе, что вряд ли другим режиссерам удастся поживиться чем-либо на броненосце, попадая ежеминутно ногою в след, оставленный Эйзенштейном. Такие «попадания» мы уже видели после «Стачки». Там, где прошел Эйзенштейн,— уже не растет трава для кормежки вслед идущих режиссеров. Эйзенштейну нельзя подражать, ибо у него нет стиля. По Эйзенштейну можно учиться переносить в кинопроизводство социально-инженерный подход и рациональные методы разработки и эксплуатации материала, рождаемые в глубине индустриальных лабораторий.

ПЕРЕГИБАЙТЕ ПАЛКУ!

У Ленинграда есть театры и в театрах этих своя театральная инерция, в меру затхлая, в меру корректная, в меру «созвучная».

В Ленинграде есть унылый холодный и полупустой особняк, называемый Домом печати. В особняке этом работает театр Игоря Терентьева.

Этого театра центровые ленинградцы не знают так же, как они не знают великолепного строительства своих рабочих окраин.

От этого театра ленинградская театральная критика либо ядовито отфыркивается, либо, что еще ядовитее, отмалчивается.

Понятно.

На фронте сегодняшнего благонамеренного середнячества нашей театральной жизни терентьевский театр оказывается чуть ли не единственным задирой, выдумщиком и смельчаком.

А быть задирой трудно в атмосфере, насыщенной нарочитой патетикой, то есть пафосом, выродившимся в стиль,— «стиль патетик».

Терентьева, буффона и пародиста, я видел в «Ревизоре». В одну эту вещь вложено веселой выдумки больше, чем все остальные ленинградские режиссеры способны выдавить из себя в течение года.

Когда Хлестаков чуть не на полузевке нехотя отвечает на грубость Осипа «как ты смеешь»; когда в пьяном виде, забравшись на диван, он тычется носом в городничихин бок и врет без всякого энтузиазма, почти засыпая,— я вижу Хлестакова, театрально-выдуманную фигуру, которая вот уже восемьдесят лет врет, не слезая с театральных подмостков, и это вранье надоело Хлестакову хуже зевоты.

Высоким мастерством выдумки поражает финал. «Приехавший по именному повелению» ревизор оказывается тем же Хлестаковым, он проходит вдоль окаменелой группы и произносит финальную ремарку Гоголя, своеобразно конферируя немую сцену и превращая в бессмысленную «чертову мельницу» тот трагизм возмездия, в который красила «Ревизор» традиция интеллигентско-учительского театра.

Пародируя инсценировки театрами романов, Терентьев берет «Наталью Тарпову» и превращает ее текст в реплики, не повредив обычного для романов третьего лица.

Зрители сначала возмущаются, орут, что это «Графиня Эльвира», когда персонаж, садясь в кресло, говорит про себя вроде: «он грузно сел и закинул ногу на ногу».

Увы,— плачется Терентьев,— уже к третьему акту зритель привыкает и дальше слушает третье лицо как обычное первое.

Терентьев один из очень немногих режиссеров, умеющих любовно обращаться с словом на сцене и владеющих секретом острого речевого монтажа, построенного на фонетических и синтаксических сдвигах. Мы

полагаем, что театральной работе его надо всячески помочь, ибо в ней есть такие редкие и ценные вещи, как веселое изобретательство, крепкий сарказм, высокая техничность и чувство злободневности.

На таком фонде можно строить, хотя бы даже на первых порах он давал трюковые перегрузки. Мы этого не боимся.

Мы не поддакиваем людям, привычный лозунг которых «не перегибайте палку».

Наоборот, где только можно открыть клапаны изобретательства,— перегибайте палку.

Перегибайте палку, товарищи изобретатели, перегибайте сильнее! В любителях выравнивать эту палку — недостатка не будет.

РОДЧЕНКО

Как создается эстетический рантье? Прежде всего немного своего индивидуального уродства, отличительности, своеобразия. Это основной капитал. Затем — достаточно назойливости, чтобы к этой особенности приучить потребителя.

Трогательнейшая бережливость по отношению к раз найденному, не похожему на других стилю,— это сейф. И вот живет эстетический рантье, в десятитысячный раз оборачивая копеечку того, что потребитель называет талантом, и наживая себе на этой копеечке самые что ни на есть наркомфиновские рубли.

Впрочем, даже необязательно иметь эту копеечку. Копеечку может заменить длительное всовывание своего имени в поле зрения потребителя. Когда чья-нибудь фамилия произнесена сто раз, то начинает казаться, будто эта фамилия значительная. Так создаются поэты и романисты из редакционных канцеляристов, просовывающих свою продукцию — свои люди — в нужный момент на подверсточку. Так может возникнуть уважение к художнику только потому, что это маклер целого табуна эстетических рантье, бегающий по заказчикам и пристраивающий картины.

Кто развязнее «учителей жизни», будь ли то литератор, поэт, живописец и композитор, произносит затверженную тираду о том, что надо идти все вперед и вперед, изобретать все новое и новое. И как мало людей, которые вместо лживого пафоса старьевщиков умеют действительно зачеркивать себя пройденных с тем, чтобы очертя голову бросаться в совершенно новый, сомнительный, никакими обществами не страхуемый риск.

У Родченко лежат целые пароходные трубы холстов той эпохи, когда он был беспредметным. У него целые склады композиций и конструкций последующих эпох. Культуртрегеры и Делатели культуры задним числом, до которых наконец сейчас дошли работы периода беспредметничества, упрашивают его — дайте ваши работы на выставку, продайте их в музей. Но Родченко отказывает, ибо тот футурист Родченко и Родченко-беспредметник — жестокие враги сегодняшнему Родченко-фотографу.

У нас много эстетических торговцев, но очень мало принципиальных людей.

У нас, одиннадцатью годами революции приученных к жесткости классовой борьбы в области политики, борьба за свои убеждения в области искусства сводится к нравам плохонького циркового чемпионата. «Бойцам искусства», только что поносившим друг друга навозными словами с дискуссионной трибуны, ничего не стоит, слезши с нее, похлопать друг друга по животу и позвать чай пить.

В 1921 году был момент, когда искусство, следуя идейному нажиму Октября, доплеснулось до той высшей точки, где оно декретировало

упразднение себя в качестве кондитерской человечества и потребовало своим работникам места в честных индустриально-производственных цехах. Это был тот момент, когда работники художественного труда, объединенные в группу конструктивистов Института художественной культуры (ИНХУК), заявили свой отказ от писания станковых картин и потребовали от художника, чтобы он стал инженером и техником. Конструктивизм и производственничество — вот школы, возникшие на заявлении группы конструктивистов ИНХУКа. Станковист-мазилка стал словом ругательным в широчайших художественных кругах. Художники делали плакаты, обложки, карикатуры, уличные киоски, мебель, узоры для тканей, утварь. Так было бы, если бы заказчиком остался бы социалистический план. Но нэп привел другого заказчика — рынок. Кочевой период революции кончился, началась оседлость, а с оседлостью вернулись загашенные было на миг эстетические вкусы и навыки. Началось повальное ренегатство художников, возвраты к картинкам. Более развязные называли это выздоровлением от глупой футуристической моды. Более совестливые просто опускали глаза в ответ на вопрос — «картинками занимаетесь» — и говорили — «жрать надо».

Началась обратная станковизация искусства, поощряемая индивидуальными и коллективными советскими меценатами, которым по наивности казалось, что хороший нарком или пред только тогда достоин войти в историю, если он будет покровительствовать искусствам не хуже Перикла или Козимо Медичи.

В разгар этой эпохи (по-ихнему Возрождение, по-нашему загнивание искусства) Родченко был задан вопрос:

— Почему ты не начинаешь писать картины? Ведь все же кругом это делают.

И Родченко ответил:

— Если я начну писать картины, то всем перестанет быть совестно.

Он остался стоять, как водомерная шкала схлынувшего наводнения, не давая стереть отметку, стоящую живым укором обмелению.

Родченко — человек, лишенный совершенно чувства фетишизма. В вопросах культуры и техники он на передовых позициях. Если пишущая машинка работает лучше ручки, он выбросит ручку. Если объектив фиксирует полнее карандаша, он отложит карандаш, не давая соблазнить себя ни одному из аргументов, которыми так любят щеголять защитники индивидуально-художественного производства.

— Новая техника бездушна. Карандаш одухотворен. Фотография механистична, а в мазке кисти сказывается личность и темперамент художника.

Словом, если все сводить к выявлению личности так называемого творца, тогда, конечно, Родченко лежит на лопатках. Но если на минутку отвлечься от изгибов и темпераментов творческой личности и заняться вопросом социально нужной продукции, то поборникам одухотворенности придется с немедленным визгом бежать под прикрытие фалд меценатских толстовок и френчей.

В искусстве время у нас двурушное. С одной стороны, социальный заказ, с другой — творец-индивидуал.

С одной стороны, нет стен, чтобы вешать картины, а с другой стороны — «оберегание наследия».

Когда-то один наивный человек обмолвился странным термином. Он сказал: я — идеалистический материалист.

Сейчас идеалистический материалист — самая модная штука в применении к искусству. Особенно рьяно этим занимаются ВАППовские теоретики. Их задача — примирить плановость и индустриализацию с бытием эстетических кустарей. Отсюда такое повышенное внимание к переживанию, психологизму, катарсису (моменту очищения души через художественный восторг). Не потому ли они Гегеля охотнее изучают, чем Маркса, что у Гегеля идеализм вплотную граничит с диалектикой. Потому же против всех антифетишистов ВАППами и им подобными «идеалистическими материалистами» выдвинут термин «деляческого техницизма». Они вообще не мыслят себе социалистико-строительной работы без атрибутов упадочной интеллигентщины, без больной совести, без раздутой рефлексии, без выпяченной эмоционалистики — словом, без целого ряда трагедий индивидуально-психологического порядка.

Конечно, Родченко у них ходит под этим ярлыком.

Родченко 1922 и 1923 годов — это главным образом обложка. То, что сейчас называется «конструктивным стилем» и что действительно выродилось уже в стиль шрифтовой, прямоугольный, безвиньеточный (композиции больших масс), было сделано Родченко и ближайшими к нему товарищами (Степанова, Ган и др.).

1923—1924 годы Родченко — реклам-плакатчик (Моссельпром) и фотомонтажер. Введенный им фотомонтаж, то есть композиция, делаемая из готовых фотографических кусков с введением сюда чертежного момента как монтажно-вспомогательного средства,— получает всеобщее распространение, превращаясь в своего рода поветрие.

Вражеские голоса кричат — при чем тут Родченко. Фотомонтаж всегда существовал в иностранных журналах для целей рекламы.

Отвечаем. В том-то и сила, что Родченко прием, пользованный для рекламы, использовал для иллюстрации, вытесняя из этой иллюстрации карандаш художника.

В фотомонтаже Родченко оперировал чужими фотографиями. Материал был чужой. Логический шаг был — к своему материалу. Родченко сменил кисть на фотоаппарат, холст на бромистое серебро, студию на темную комнату, уставленную фотохимикалиями.

Во-первых, в фотографии он стал на страже ее фотографических интересов в защиту от вторжения в нее живописи.

Достаточно перелистать наши журналы и газеты, наполненные станковыми фотографиями обобщенного типа — «Лето», «На Москва-реке», «Пионеры идут», «В истоме». Достаточно заглянуть в витрины фотоателье, где нэпманши и актрисы сняты под штуковских демонесс, а писатели и актеры расплываются непосредственностью серых туманов Карьера, чтобы понять, как велика страна художественного в фотографии.

Не надо забывать, что то же самое двурушничество, о котором я писал по отношению к литературе, имеется и в фото.

Журнал «Северное фото», обучающий любителей изяществу манер,

дающий им советы, как изготовить фотографические картинки для развешивания по стенам,— лучший пример этой двойственности.

Деформация снимаемого материала, пресловутые ракурсы сверху вниз и снизу вверх, примененные Родченко, имеют меньше всего значение как установителей новых точек зрения на вещи. Ибо что значит новая точка, взятая вообще без уяснения того, какую именно цель преследует фотография.

Но это родченковское вытягивание ввысь и приплющивание к земле имеют бесспорное значение, как постоянные деканонизаторы устойчивого, ведущего свою родословную от Рембрандтов и Рафаэлей живописного приема, пользуемого фотографами.

Тут новая опасность. Деканонизуя старую художественность, неизбежно канонизуешь новую и даешь пищу левым эстетам утверждать рождение конструктивного, динамического, урбанистического стиля в новых родченковских фотокомпозициях.

Единственное лечение против этой канонизации — работа над целевой фотографией. Фоторепортер-публицист и фототехник — вот две фигуры, которые противопоставляют фотохудожнику.

Фоторепортер, увязывающий свою работу с общей работой публицистической фиксации нашей действительности и ее переделки на новый социалистический лад,— это та фигура, в которую сейчас вырастает Родченко. Он также легко зачеркнет себя вчерашнего и возьмется за новые задачи, как это делал раньше, и также от азов добросовестно, не жречествуя будет изучать трудное новое дело в своей комнате, где много стекла, никеля, регистраторов, аппаратуры, как в лаборатории изобретателя.

РАБОТА ВИКТОРА ПАЛЬМОВА

В настоящее время на левом крыле русского изобразительного искусства (живопись, скульптура) идет бой между двумя идеологиями — беспредметников и производственников.

Главный спор идет о ценности так называемого «эстетического состояния», то есть совершенно особого рода переживаний, связанных с созерцанием произведения искусства. В этом случае произведение мыслится как особый мир, в себе самом таящий ценность свою. Произведение есть мир запечатленных преодолений художником своего материала (краска, твердое тело).

Жизнеподобный мирок, заключенный в картине, отображающей действительность или близкую к действительности фантазию художника, давно уже взорван последовательными атаками работников искусства, начиная с импрессионистов, выдвигавших на смену прежнему, «что» писать — новое, «как» писать. Эти натиски обращали главное внимание на материал картины — цвет, поверхность (фактуру), взаимоотношение этих элементов и на способы обработки этих материалов для получения наиболее выразительного зрительного представления.

Сезанн установил принцип «зрительного осязания» — то есть такого использования цвета, при котором через цвет и взаимодействие цветов создается материальная форма. Это открытие Сезанна толкнуло художников, нашедших способ передачи мускульно-осязательного чувства массы, тяжести и сопротивления вещества, на работу над формами, наиболее резко выражающими силовые соотношения масс.

Так возникает кубизм, для которого весь мир есть не что иное, как сцепленные между собой глыбы простейшей формы. Художник любуется и упивается буквально впервые открытым чувством тяжести, упругости, твердости, которое он передает цветом.

Материальные соотношения вызывают интерес к соотношениям силовым. Ощущение движения материала не через спайку, а через излом, сдвиг, интерес к передаче всех силовых ощущений, вызываемых в нас вещью, порождает футуризм (в узком живописном смысле) с его зачинателем Пикассо. Предмет в движении ставится темою художника; разбивается вдребезги принцип неделимости, принцип единой точки зрения.

Предмет рисуется одновременно с разных сторон (метод этот есть и в иконописи, и в китайском искусстве, и в детском искусстве). Наибольшая полнота ощущения, создаваемого вещью, толкает на интереснейшие изобретания в области пляски красок и разработки поверхностей картин. Уже не обязательно писать предмет в состоянии неподвижного позирования или моментального снимка — художник фиксирует на неподвижном полотне последовательный ряд смещений предмета и даже сам создает такие смещения, общие или частичные. Художник вводит в картину чет-

вертое измерение — время, которое самые твердые предметы способно сделать проницаемыми и проходящими друг сквозь друга, как кристалл прорастает. Картина превращается в сплошной механизм, в некую машину, которая действует взаимодействием масс и сил (передаваемых зрительно-осязательными эффектами цвета и фактуры).

Постепенно прежняя роль картины — быть окном в некий, художником отображаемый мир, которым надо любоваться, перед которым надо застывать в радости или ужасе созерцания, заменяется новою — усвоить картину, то есть пройти на сочетании цветов, линий и поверхностей путь художнической конструкции, организации материала, слаживания элементов для достижения эффекта материального или энергетического напряжения.

Краска на плоскости перестает удовлетворять. Художник вводит посторонние материалы (жесть, дерево, металлы, бумагу), располагая их в различных плоскостях по отношению к основной. Возникает контррельефизм, постепенно отходящий совсем от основной плоскости картины и работающий над материалами, сцепляющий их друг с другом, гнущий, режущий. Цвет материала, вводившийся уже футуристами в картину, окончательно вытесняет цвет краски. Художник начинает строгать, сверлить, паять, свинчивать. Эту работу в России особенно выпукло и логично проделал Татлин, контррельефы которого уже напоминают модели вещей (машин, аппаратов, утвари).

К художнику возвращается чуткость и любовь к материалу, из которого приготовляются практически нужные вещи — чувства, свойственные ремесленнику, технику, конструктору.

Один шаг — и художником будет называться тот, кто, зная и любя материал и его обработку, будет со всей изобретательностью организовывать, «формировать» этот материал не в формы, назначенные исключительно для созерцания, но в формы, практически полезные. Художник сольется с ремесленником, с техником. Картина, окно в другой мир, мир «творчества», будет не нужна, ибо «миром творчества» должна будет стать наша повседневная практическая жизнь. Вот эти-то последние утверждения и делают производственники, подводя итоги левому движению в искусстве — футуризму, гениально взорвавшему изнутри картину как объект самодовлеющего эстетического наслаждения и развившему чутье «организаторов материала» до предела.

Чистое искусство умерло, ибо нет досугов, которые надо им заполнять, уводя психику в мир «творчества»,— говорят они,— да здравствует производственное искусство, в котором старый принцип «прекрасное» совпадает со столь презираемым принципом «целесообразное» в новом понятии «конструктивное». Это движение стоит в тесной связи с реорганизацией психики человека на основах реорганизации его производственно-экономического бытия — задача социальной революции. В этом движении растет мечта о создании человека-организатора, человека-конструктора-изобретателя, человека, радующегося активному преодолению материи и стихии в процессе согласованных усилий,— человека, формирующего материю (форма) на потребу (содержание) человека.

Это вступление я считал нужным для того, чтобы осветить узел столк-

новений в области искусства, дабы в зависимости от него решать вопрос о творчестве Пальмова (правильнее сказать — во избежание привкуса «жречества», которым тянет от слова «творчество»,— о работе или о конструкциях Пальмова).

Пальмов — футурист, вернее кубофутурист, потому что в его живописных построениях с особенным упорством и изобретательностью через цвет и фактуру разрешаются задачи взаимодействия масс и сил.

Производственник ли он? Пока нет, но, несомненно, и через эту стадию он пройдет, если учесть его неудержимый ход, сначала от влияния к влиянию — Сезанн, Пикассо, Глез, Меценже, Лефоконье,— а затем от конструкции к конструкции. Плохо ли это?

Это естественно, если учесть ту власть, которую над краской имеет Пальмов и которую цвет имеет над ним самим, если учесть поразительное разнообразие работ его, из которых редко-редко две-три застаиваются на точке использования одних и тех же материалов.

Грубо членя деятельность Пальмова на Дальнем Востоке по сие время, можно установить три основных периода: владивостокский, тихоокеанский и читинский.

Владивосток — гамма красок еще относительно тускла. Идет разработка проблемы движения через сдвиг, выработка интересного линейного сдвинутого рисунка. Движение дается смешанной перспективой (дома, парикмахерские), смещением центра тяжести (улицы), смещением масс и плоскостей (семейный портрет Бурлюка). Ассоциативный (особенно свойственный Бурлюку) метод создания представления о сложных процессах — выдергивание на картину лишь наиболее характерных для данного процесса явлений, вещей и движений («Швея», «Танец», «Переворот»). Попытки введения в картину красочных материальных пятен — куски материи, коробок, бумаги. По последнему методу в черно-фиолетовой гамме дана превосходная иконно законченная «Скорбь», перекосы лица которой дают в самую точку больший психологический эффект.

Япония и Тихий океан — зрительное осязание изощряется, художник овладевает яркой и выразительной краской. Главная гамма его сине-зеленая, как океанская толща воды. Обостряется чувство материальности. Он трактует тела людей точно сделанными из листового железа и свинченных чугунных труб. Его вода — твердые каменные кристаллы. Его воздух — синяя причудливо кованная сталь. Для него мир приобретает особую материализованную твердость, в которой он, как скульптор, ударами кисти высекает выбоины, остроребрые, тугие. Такой из металла сконструированный мир мы видим в его «Рыбаке», «Капитане парохода», «Японце с раковиной», «Прогулке по улице». Особая расчетливость и четкость по отношению к каждому клочку картины вырабатывается у художника. И во то же время смена десятков перспективных плоскостей на каждой картине превращает картины не в застылые кристаллические поля, но в движущиеся, острыми волнами переплескивающиеся зыби твердого моря.

Этой особенностью трактовки рушится плоскость картины, она превращается из «окна» в некую организованную «груду», которую надо

обследовать со всех сторон, рискуя изрезать лазающий глаз об острые края вещей и материалов.

Тихоокеанские тропические острова еще усиливают интенсивность расцветки пальмовских картин. Его металл, такой же четкий и сложный в зубцах и выступах, начинает прокаливаться до красного каления. Сумасшедшая тропическая зелень и багровая вулканическая почва создают эту яростную драку, эту атаку цвета на цвет. А купы деревьев, оперенье пальм дают ему повод сконструировать просвечивающие друг сквозь друга зеленые и синие стеклянные пузыри и шары и поставить знак равенства между излюбленным художником стеклометаллом и вечным кудлахой — деревом (вспомните левитановскую зеленую воду на стволах).

Чита — тон картины делается суровей. Наша суровая эпоха дает себя чувствовать. Каленый кристаллизованный металл сменяется трактовкой тяжелых сукон, дерюги, войлока, металлических копченых поршней и зубчаток. Появляются белые, снежные пятна. Усиливается работа над фактурой. Вводится стекло и металлический блеск — серебряная бумага. Создаются материально-цветовые организмы на плоскости, одетые острой блестящей чешуей. То, что в картине называется фоном, подвергается особой напряженной обработке. Вводится декоративный орнамент, и между пляшущими по картине орнаментальными «вышивками» и насыщенным конструкциями фоном зажатая трещит грудная клетка темы (сюжета в литературном смысле), чаще всего символистически-революционного. Металлический фон и тяготеющие к нему цветовые и фактурные окрестности создают аналогию с иконописью. Художник пишет современно внесюжетные, то есть не могущие быть названными определенным именем картины — цветовые монтировки и установки с цветовым и линейным центром тяжести, сюжет которых — в борьбе или, наоборот, в солидарном взаимодействии цветовых и фактурных пятен.

Позыв изобретателя-конструктора и умение любоваться материалом и преодолевать его через формовку гонит художника дальше, не давая застаиваться, как я уже говорил выше, на какой-либо из достигнутых комбинаций. Каждая картина есть лишь усиление способов обработки художником своего материала, нужных для следующей работы. И вне этого требования нет иных ценностей в картине.

Так нужно ли все это? — спросят, быть может. Да, нужно. Работа художника-футуриста на обрамленной плоскости картины еще не кончена, хотя и прозвучал уже зов производственников. Еще не выкорчевана в душах людских тяга к картине, как к окну, через которое хочется глазам поваляться на мягких лугах «творимого» художником «иного мира». Еще не исчезло обаяние лозунга «воспроизведение действительности». Еще не приучили себя люди подходить к картине как к конструктивному чертежу, дабы преодолеть, повторяю, все те усилия, которые совершает художник, создавая этот красочный плоскостной организм.

Понятно, почему всех, ищущих в картинах Пальмова сюжета, так давит материализация таких вещей, как воздух и вода, эта металлическая ковка пространства красочными мазками. Их сбивает с ног и с толку эта необходимость облазать глазами все извилины и изломы структуры

картины. Ведь сюжет для Пальмова — не цель, а средство, повод, которым он вызывает несколько привычных представлений, а затем своим сдвигом плоскостей, уводом глаза и внимания в самую гущу своей «обработки материала» заставляет искать не «выявленного предмета», а системы усилий и приемов, изобретенных и затраченных для этого выявления. Понятно, что, продержав зрителя под таким психологическим «вечным шахом» конструкций и преодолений, он отпускает его недоуменно растерянным, после чего зрителю остается только вопить от глубины своего оскорбленного за традицию и исконное право «спокойного созерцания» чувства — сакраментальные фразы «до сердца не дошло», «не понимаю!».

Пальмов — один из великолепных таранов, расшибающих изнутри идею самодовлеющей, эстетически замкнутой в себе картины, а снаружи — пассивный подход «воспринимающей», но не желающей «преодолевать» обывательской психологии.

И если производственники — это фронт, бьющий в лоб своими требованиями соподчинения эстетики и практики задачам солидарного строительства жизни, во имя нового человека — конструктора, то футурист Пальмов — это партизан в противничьем тылу. Он весь в плоскости картины, и в то же время это уже не картина, а конструктивные чертежи. Он взрывает мосты взаимопонимания между картиною и зрителем, которому остается либо отступить в склепы прошлого «великого» искусства, либо двинуться напролом путем преодоления конструктивных задач, выраженных в картине.

Эта работа футуриста-художника практически ценна и необходима. Притом не менее чем работа производственников, ибо через совместную их работу принцип относительных оценок революционной напряженности и выработка целесообразнейших методов преодоления всяческой косности, и материальной и психической, вводится в сознание хлебнувших революции людей.

Все, что может быть введено в сферу человеческого преодоления, должно быть введено. Критическая мысль, напряженная изобретательность, тактическая гибкость, радость солидарной организации косного или стихийного материала — вот русла, по которым революция просачивается в психику и закрепляется в ней.

Работа Пальмова — боевой участок огромного фронта, который бьется за то, чтобы взамен противоположных друг другу — многомиллионной армии пассивных созерцателей и небольшой группы спецов — изобретателей в искусстве — стало единое, солидное в труде человечество, просоченное общею для всех радостью постоянного видения мира по-новому в едином изобретательском натиске выразительного конструирования всего, что на потребу человеческую.

О МОЕМ ОТЦЕ

О Сергее Михайловиче Третьякове мало кто у нас знает — в 1989 году исполнилось 50 лет со дня его смерти, если верить справке, выданной после его реабилитации в 1956 году. Вот поэтому я хочу рассказать о его жизни и о том, что он успел сделать за эту недолгую — всего 47 лет — жизнь.

Он родился 21 июня 1892 года в курляндском городе Голдингене (ныне Кулдига Латвийской ССР), а умер (согласно выданной справке) 9 августа 1939 г. Он был старшим из 8 детей учителя Михаила Константиновича Третьякова и его жены Эльфриды Эммануиловны, урожденной Меллер. Мать Сергея Михайловича происходила из немецко-голландской семьи лютеранского вероисповедания. Выходя замуж, она приняла православие под именем Елизавета. Детство он провел в Латвии, в 1913-м окончил рижскую гимназию и поступил на юридический факультет Московского университета, который окончил в 1916-м. Семья была очень дружная, все дети способные — хорошо рисовали, с успехом учились музыке, писали стихи. Сергей Михайлович обладал абсолютным слухом и играл на пианино так, что заслужил похвалу самого Скрябина. Стихи начал писать с ранней юности — шутливые братьям и сестрам, а потом серьезные — под влиянием символистов. В 1913 году, когда он приехал в Москву для поступления в университет, он впервые встретился с В. В. Маяковским, подружился с ним, стал его соратником-футуристом.

Первый сборник его стихов «Железная пауза» выходит во Владивостоке, куда он приехал в 1919-м. В этот год он знакомится с моей матерью Ольгой Викторовной Гомолицкой, женится на ней, и я приобретаю отца. Мне 6 лет. Живем мы в семье акушерки приемного покоя Штемпель, которую все называют «бабуся» и потому имени и отчества не помню. Мама дружит с ее дочерью Верой и сыном Борисом. Семья интеллигентная, дружная, приветливая. В доме пианино. Память подбрасывает картину: Сергей Михайлович аккомпанирует маме, которая поет романс «Я б тебя поцеловала, да боюсь, увидят звезды...». Во Владивостоке собралась целая группа футуристов: Давид Бурлюк, Николай Асеев, Петр Незнамов, Сергей Алымов, художники Виктор Пальмов, Михаил Аветов и др. Они часто бывают у нас, а еще чаще собираются в литературном кафе «Балаганчик», где читают стихи, а однажды своими силами ставят любительский спектакль «Похищение сабинянок». Играют все — в том числе и Сергей Михайлович, моя мать и Асеев с женой Оксаной. Еще картина: мама собирается на встречу Нового года, на ней вечернее открытое платье из японской материи, полотнище которой двухцветное — половина цвета морской волны переходит во вторую половину — черную, а бретельки из мелких синих ракушек. На плече ей Давид Бурлюк пишет маслом золотую рыбку.

Обстановка на Дальнем Востоке сложная, власть переходит из рук в руки. На владивостокском рейде стоят английские, американские, французские и японские корабли. В январе 1920 года город занимают партизаны. Выходит из под-

полья большевик Н. Чужак. Англичане, американцы и французы уходят. Японцы остаются, и 4 апреля начинают наступление, оккупируют город, часть красных войск разоружают, часть вытесняют снова в сопки. Военный совет — Лазо, Луцкого и Сибирцева арестовывают. Три дня Владивосток был без власти, а потом японцам, для своего же удобства, пришлось разыскивать остатки разгромленного ими же правительства, т. е. тех же самых большевиков (ибо в этот период большевики были гегемонами владивостокской коалиции) и заключить с ними соглашение о дальнейшем управлении краем. Третьяков и Асеев сотрудничают в коммунистической газете «Красное знамя» и журнале «Творчество», пишут антияпонские стихотворные фельетоны и статьи. Третьяков принимает активное участие в борьбе против японских оккупантов и белогвардейцев. За ним охотятся, и ему приходится скрываться. Тайно, в трюме парохода он вместе с моей матерью едет в Китай (Тяньзин, Пекин). Меня примерно через месяц уже легально отправляют следом.

В Тяньзине живем месяца три. Кормилец семьи — мама. Она работает продавщицей в галантерейном магазине. Заработки Сергея Михайловича мизерные — он пишет маленькие фельетоны и статьи для ведущей советскую линию «Шанхайской жизни» и владивостокской прессы, но платят так мало, что на это жить нельзя. Он всегда дома и, когда я заболеваю — он моя сиделка. Развлекает меня тем, что делает бумажных голубей и с увлечением запускает их по комнате. Наконец весной 1921 года через Харбин (это единственно возможный путь) приезжаем в Читу. Туда уже приехали Н. Чужак, поэты Н. Асеев, П. Незнамов, О. Петровская, В. Силков, С. Алымов, художники В. Пальмов и М. Аветов, в общем, вся группа «Творчество», в работу которой немедленно включается Третьяков. Кроме того он становится товарищем министра просвещения Дальневосточной республики (ДВР) и заведующим государственным издательством. Организует вечера, посвященные футуризму, выпускает детский журнал и основывает мастерские нового искусства в ДВР. В Чите выпускает еще два сборника стихов в 1922 году — «Ясныш» и «Путевка». После краткой поездки в Москву летом 1921-го, где он встретился с В. В. Маяковским и А. В. Луначарским, организует выпуск, подобный окнам РОСТА Маяковского. Окна ДАЛЬТА (Дальневосточное телеграфное агентство), для которых пишет стихотворные подписи к рисункам Пальмова.

Живем мы при художественно-промышленной школе в квартире с ее директором Виктором Пальмовым. В ней три комнаты и кухня. Одну занимает Пальмов с женой, в другой мы, а третья, проходная — столовая, где собираемся все вместе за едой. Рядом со мной сидит, подобранный котенком, абсолютно черный кот по имени Кнопка. Лапу он кладет на край стола и зорко следит за тем, что едят. Сам он ест все, даже хлеб с горчицей — время голодное. Готовит, видимо, мама, жены Пальмова на кухне я не помню. Кнопка попадает даже в написанные мне отцом именинные стихи:

В Татьянин день, в Татьянин день
Несите все Татьяне дань.

Дальше не помню, но последние строчки посвящены Кнопке:

А уж Кнопка-то ласкается и мурлычет и поет
Знать, от Таньки-именинницы будет праздничный паек:
Рыбьи кости,

Наступ на хвостик,
На шею орден
Да раз по морде.

Отец вообще часто писал мне шуточные стихи по разным поводам и стихотворные сказки. По вечерам Третьяков играл с Пальмовым в шахматы, очень не любил проигрывать, но, видимо, был слабее своего партнера и поэтому при ничьей сообщал маме торжествующе: «Я сделал Пальмову пат». При проигрыше мрачнел и, когда мама спрашивала: «Сереженька, ты что такой грустный?» — отвечал: «Да. нет, я просто трубку чищу».

В то время, когда я лежу в больнице, болея скарлатиной, приезжают вызванные из совсем голодного Николаевска (ныне Пугачевск) отец Сергея Михайловича и его младший брат Лев. Мать Сергея Михайловича умерла там от тифа, и я ее никогда не видела. Мой «дядя» Лева всего на четыре года старше меня, он хорошо рисует и посылает мне в больницу перерисованных из книги Чуковского «Крокодил» всех персонажей сказки. Они вырезаны из бумаги и приклеены к бумажным же подставкам. Я с увлечением ими играю, выздоравливая, и, когда я вышла из больницы, мы делаемся неразлучными друзьями. Отец Сергея Михайловича чудесный человек, мы все его очень любим и называем «папой», я в том числе. Он обожает старшего сына, гордится им, хотя взгляды на искусство у них разные. Они часто спорят, но уважают взгляды друг друга и остаются самыми нежными друзьями. У него золотые руки — он все умеет, даже чинить обувь. Живем дружно и весело, подшучиваем друг над другом. Заводила — Сергей Михайлович, но мы с Левой тоже стараемся. Так, готовясь к встрече Нового года, мы включились в изготовление шуточных подарков для своих и приглашенных — Асеева с Оксаной и, кажется, семьи востоковеда Харнского. Тут пригодилось Левино умение рисовать и даже, под руководством Сергея Михайловича, сочинять шуточные стихи.

Осенью 1922 года мы вместе с Асеевым едем в Москву, где уже собрались все оставшиеся в живых члены семьи Третьяковых. Это три сестры — Наталия Михайловна, Нина Михайловна и самая младшая Евгения Михайловна. Последняя живет в бывшей гостинице Лубянское подворье (этот дом снесли, он был там, где сейчас сквер перед Политехническим музеем). У нее поселяются Михаил Константинович с Левой. Нам жить негде, и В. В. Маяковский уступает нам на несколько месяцев свою рабочую комнату в Лубянском проезде (ныне проезд Серова). Третьяков включается в работу ЦК Всесоюзного пролеткульта, становится автором и сотрудником Сергея Михайловича Эйзенштейна в Первом рабочем театре Московского Пролеткульта, и мы получаем комнату в общежитии Пролеткульта на углу Воздвиженки (ныне проспект Калинина) и Нижне-Кисловского переулка. Театр Пролеткульта был на углу напротив, в здании, где сейчас Дом Дружбы. Тут начинается драматургическая работа Третьякова. Он пишет пьесы для Театра Пролеткульта: «Мудрец» (переработка пьесы Островского «На всякого мудреца довольно простоты»). Это было злободневное, политическое обозрение на международные и внутренние темы — в жанре эстрадно-цирковой буффонады. Озорной спектакль, поставленный С. М. Эйзенштейном по методу «монтаж аттракционов», премьера которого состоялась 26 апреля 1923 года. Премьера второй пьесы «Слышишь, Москва?» состоялась 7 ноября 1923 года, а третьей — «Противогазы» — 29 февраля 1924 года.

4 марта 1923 года в Театре Мейерхольда состоялась премьера пьесы Третьяко-

ва «Земля дыбом» (переработка пьесы Марселя Мартинэ «Ночь»), выдержавшей за год 100 спектаклей. В этом же году Третьяков написал для «комсомольского рождества» небольшой фарс по мотивам «Гавриилиады» А. С. Пушкина — «Непорзач» (непорочное зачатие).

Кроме работы в этих двух театрах, где он занимался постановкой дикции у актеров, Третьяков в эти годы был руководителем мастерской газетной и журнальной работы, разрабатывал концепции нового быта, писал вместе с Маяковским агитационные стихи (например, «Рассказ про Клима из черноземных мест, про сельскохозяйственную выставку и Резинотрест»), работал в редакции выпускаемого Маяковским журнала «ЛЕФ» и писал для журнала программные статьи, выступал, выпустил сборники стихов: «Октябревичи» (М., «Молодая гвардия», 1924), «Итого» (М., ГИЗ, 1924). В этом же году изданы его пьесы «Слышишь, Москва?» и «Противогазы».

В конце года он приглашен читать лекции по русской литературе в Пекинский национальный университет, и едет в Пекин.

Мы с мамой приехали туда на несколько месяцев позже. Живем в двухкомнатной квартире в советском посольстве, занимающем довольно большую площадь посольского квартала. Посольство обнесено высоким забором, прямо против ворот центральное здание — резиденция посла, которым был в то время Л. М. Карахан, талантливый дипломат, остроумный и приветливый человек. В остальных зданиях располагались столовая, клуб, жили сотрудники посольства и пять красных командиров, служивших охраной посольства в отличие от других посольств, в которых охрана состояла из целых воинских подразделений и у ворот всегда стояли солдаты. У ворот нашего посольства был один привратник — старый китаец.

Третьяков сразу же занялся общественной деятельностью — организовал спортивные площадки, выпускал стенгазету, дал шутливые названия зданиям посольства: центральное здание — Кремль, сад за ним — Нескучный сад, столовая — Обжорный ряд, канава, проходившая по территории,— Коровий брод, а дом, где жили мы,— Третьяковская галерея. К какому-то празднику, кажется 8 Марта, написал шутливую песенку обо всех мужчинах посольства на мотив известной тогда песенки с припевом:

Эх, Дуня, Дуня, я
Комсомолочка моя!

Начиналась она так:

Фу-ты, ну-ты на фу-фу
Едет Дуня в О-го-фу (русское посольство).

Дальше следует припев, а потом:

Перед Дуней бездыхан
Пишет ноты Карахан.

Снова припев.

Дальше обо всем мужском населении посольства. Помню, что и себя не забыл:

Третьяков от горя высох —
Дуня, знать, не любит лысых.

Старался поглубже изучить жизнь и быт Китая. Время было бурное. То и дело вспыхивали студенческие демонстрации против англичан и американцев. В самой гуще бывал Третьяков, который потом опишет это в своих очерках. Один из его студентов, влюбленный в театр, водил нас в китайский театр. Об этом он тоже напишет и пригласит к себе уличного скульптора, который из разноцветного рисового теста делает фигурки и маски китайского театра. Подробно опишет, как это делается.

Мама работает машинисткой в шифровальном отделе посольства. Я учусь в американской школе. Там кроме основных предметов учат китайскому языку, и за тот год, что я там была, я прилично научилась говорить по-китайски. Это мне очень пригодилось, когда во время перелета Москва — Пекин наши летчики во главе с М. М. Громовым прилетели в Пекин и им показывали достопримечательности города. Меня взяли с собой по просьбе мамы, а оказалось, что никто, кроме меня, не говорит ни на каком языке, кроме русского. Так что я в свои 10 лет служила им переводчиком.

В августе 1925-го Сергей Михайлович возвращается в Москву. Мы с мамой приезжаем несколько позже — ее задерживают на работе. Результатом поездки Сергея Михайловича в Китай были 50 очерков о Китае и пьеса «Рычи, Китай!», поставленная в Театре им. Мейерхольда В. Федоровым под руководством Мейерхольда. Премьера состоялась 23 января 1926 года. Пьеса идет в репертуаре с большим успехом 6 лет. Пьеса была переведена на языки республик Союза ССР — украинский, татарский, узбекский, армянский и шла в этих республиках в переводе, помимо гастролей Театра Мейерхольда, проходивших во многих городах. Она была переведена и шла в переводах на эстонском, английском в 1932 году в Англии и Америке, на польском в нескольких городах также в 1932-м, на немецком в ряде городов в 30-е годы, была поставлена в Вене. На испанском языке шла в Аргентине в 1935 году, на норвежском — в 1936 году в Бергене, на японском в Токио в 1933 — 1934 годах, на китайском в 1936-м в Рабочем театре во Владивостоке. На еврейском языке пьеса шла в Варшаве в еврейском театре и в Аргентине в 30-е годы. В 1944 году в нацистском лагере в Польше, комендант которого не был эсэсовцем, он разрешил заключенным устроить свой театр, и актер Варшавского еврейского театра Ши Тигель поставил там «Рычи, Китай!». Спектакль шел всего один раз — слишком была очевидна параллель между эксплуатацией китайских кули и рабским трудом заключенных. В последний раз «Рычи, Китай!» шел в двух швейцарских городах в 1975 году — в Цюрихе — на немецком и в Женеве — на французском. Иная судьба постигла пьесу Третьякова «Хочу ребенка!», написанную в 1926-м для Театра им. Мейерхольда. Мейерхольду ее поставить не пришлось, хотя ему одному разрешили ее ставить. Его план постановки предусматривал спектакль-дискуссию, в которой должны были участвовать зрители, а зал, в котором временно, до строительства нового здания театра, шли спектакли Театра им. Мейерхольда (сейчас Театр им. Еромоловой), для этого не подходил. Эль Лисицкий сделал макет оформления, и шли репетиции, но строительство нового здания затянулось, а в 1937 году был арестован Третьяков, Мейерхольда постигла та же судьба в 1939-м.

Вернувшись из Китая в 1925-м, он начинает работать в кино — становится заместителем председателя художественного совета Первой московской киностудии, участвует в работе С. М. Эйзенштейна над фильмом «Броненосец Потемкин» (делает к этому фильму надписи), пишет сценарий фильма-путешествия «Москва —

Пекин» (фильм не был поставлен), пишет статьи по вопросам кино, набрасывает план совместной работы с Эйзенштейном и Александровым над новым фильмом (предположительно — «Капитал»), пишет сценарии для трехсерийного приключенческого фильма о Китае «Желтая опасность», «Голубой экспресс», «Рычи, Китай!». Предполагалось для съемки этого фильма и десяти короткометражных фильмов осуществить поездку Третьякова со съемочной группой Эйзенштейна в Китай. Однако планы эти не осуществились. В этом же 1926 году выпущена книга стихов «Рычи, Китай!» (М., 1926. 48 с.).

В 1927 году начинается работа Сергея Михайловича в Госкинпроме Грузии. Он консультант по сценарной драматургии. Пишет сценарии к фильмам «Соль Сванетии» (1927, режиссер М. Калатозов), «Элисо» (1928, режиссер Н. Шенгелая) и «Хабарда» (1930, режиссер М. Чиаурели). Первый сценарий написан после поездки в Сванетию. В этом же году выпущен сборник очерков о Китае «Джунго» (М., 1927. 261 с., 2-е издание в 1930 г.).

С 1925-го по конец 1927 года мы живем в ужасной комнате, снятой Сергеем Михайловичем по приезде из Китая в частном доме. Она имеет форму буквы Г и зимой в ней +7° на полу и +11° наверху. К концу 1927 года мама находит кооператив Госстраха, который продает несколько квартир. Мы поселяемся в 2-комнатной квартире на первом этаже дома № 21/13 по Малой Бронной. В этой квартире практически находится редакция издаваемого Маяковским журнала «Новый ЛЕФ». Журнал просуществовал 2 года — 1927—1928. Последние пять номеров, когда Маяковский ушел из ЛЕФа, вышли под редакцией Третьякова. Мама была литературным секретарем журнала и собирала архив всех лефовцев. Архив погиб при аресте Сергея Михайловича в 1937 году. Квартира была благоустроенная — в кухне, достаточно просторной для того, чтобы быть столовой (8 м^2), была газовая плита и стенной шкаф, в ванной — газовая колонка, что было редкостью в эти годы. Был даже вытяжной дымоход для самовара и мусоропровод, но последний был сразу закрыт наглухо и в доме им никто не пользовался, так как в Москве еще не было службы, забирающей мусор из мусоропроводов. В этой кухне угощали молодых грузинских режиссеров Николая Шенгелая, Михаила Калатозова, Михаила Чиаурели и критика Бесо Жчеити, приехавших в Москву в одну морозную зиму. Лучше всех для наших холодов был экипирован Бесо Жчеити — на нем была огромная меховая шуба, и Третьяков тут же сострил: «Этой шубе сноса не будет, она будет греть Ваших потомков, Бесо, еще тогда, когда в Тифлисе будут улицы Вашего имени — Бесовская и Жчеитовская».

Ванная была одновременно и фотолабораторией. Сергей Михайлович увлекался фотографией, проявлял и печатал сам. Свои очерки иллюстрировал своими же фото. Делал фотопортреты друзей и знакомых, практиковался в этом на мне. Архив негативов — тоже пропал — пришедшие с обыском ходили по брошенным на пол рукописям и негативам и говорили: «Вот, человек работал, а теперь это никому не нужно». Обстановка в комнатах была самая скромная — в кабинете отца стоял письменный стол, кресло, ложе в виде пружинного матраса на ножках, небольшой плоский шкаф, спроектированный художницей-лефовкой Еленой Владимировной Семеновой, и стеллаж для книг во всю стену от пола до потолка, а потолки были высокие — 4 метра. В нашей с мамой комнате было два ложа, одно — матрас на ножках, второе мое — кресло-кровать, жутко уродливое, обтянутое зеленым дерматином (в тридцатых годах оно было заменено матрасом на ножках), стол для пишущей машинки, платяной шкаф и так называемый шведский книжный шкаф

с застекленными полками. Потом еще прибавился круглый стол, и в этой комнате тоже принимали гостей. В этой комнате в течение двух недель мы выхаживали после срочной операции Елену Вайгель, приехавшую вместе с Брехтом в начале тридцатых годов, принимали Пола Робсона с женой, гостей Первого съезда писателей Сесиль Честертон, Карин Микаэлис, Марию-Терезу Леон и Рафаэля Альберти, китайского актера Мей Лан-фана, Бертольта Брехта, Ганса Эйслера, Фридриха Вольфа, Джона Хартфильда и многих других. Сергей Михайлович был заместителем Кольцова по иностранной комиссии Союза писателей, и так как он хорошо знал немецкий, то все немцы были на его попечении.

Довольно часто гостил у нас большой друг нашей семьи председатель коммуны «Коммунистический маяк» Иван Кириллович Мартовицкий, с которым Сергей Михайлович познакомился в июле 1928 года, когда первый раз поехал, откликнувшись на призыв: «Писатели, в колхозы!», в Георгиевский район Ставропольского края, где эта коммуна организовалась еще в 1920-м. Иван Кириллович был ее первым трактористом, а потом ее председателем и председателем объединившихся вокруг нее в комбинат «Вызов» других колхозов. Это был талантливейший организатор, о котором в письме к Брехту Третьяков писал: «Он хозяйствует, как поет Карузо». Сергей Михайлович каждый год проводил в этом колхозе несколько месяцев, входя во все хозяйственные дела, улучшая быт колхозников, выпуская многотиражку «Вызов». На второй год он стал членом коммуны, а на третий — членом совета комбината «Вызов». Он считал, что задача писателя не в том, «чтобы мельком взглянуть на них (колхозы), написать книгу и уйти, а для того, чтобы, войдя в их жизнь, не выпустить их из виду и, наблюдая год за годом, рассказывать во многих книгах, как они живут». Они с Иваном Кирилловичем нежно любили друг друга и учились друг у друга — Сергей Михайлович приобщал Ивана Кирилловича к культуре, а тот учил его сельскому хозяйству. Гибель Сергея Михайловича Иван Кириллович глубоко переживал и сделал все для увековечивания его памяти — в колхозном музее, организованном по инициативе Мартовицкого, Третьякову отведено почетное место. Там стоят его книги о колхозе «Вызов», «Месяц в деревне» и «Тысяча и один трудодень», все другие произведения, висят его фотографии.

В этом же 1928-м Сергей Михайлович совершает вторую поездку в Сванетию и выпускает книгу очерков «Сванетия» (М., 1928. 64 с.).

В феврале 1929 года Сергей Михайлович — участник аэросанного пробега в качестве корреспондента газет «Рабочая Москва» и «Вечерняя Москва». В этом же году выходит книга очерков об этом пробеге: С. Третьяков и В. Громов. «Полным скользом» (М., Молодая гвардия. 1929. 107 с.) и сборник стихов «Речевик» (М.— Л., 1929).

С января по март 1930 года Третьяков в колхозе и поэтому его нет на открытии выставки Маяковского «20 лет работы». Мы с мамой были. Маленький зал с крошечной сценой, на которой с трудом умещался стол, покрытый красным, несколько стульев и кафедра, был переполнен молодежью. Из лефовцев помню Лилю Юрьевну и Осипа Максимовича Брик, Виктора Шкловского и Л. Ф. Волкова-Ланита. Маяковский сидел за столом один, положив руки на спинки пустых стульев. Он был какой-то мрачно настороженный и как будто чего-то ждал. Наверное, он сидел так не более одной-двух минут, но мне казалось, что это длится очень долго. От писательских организаций никто не пришел поздравить Маяковского с открытием выставки. Официального открытия вечера не было. Маяковский встал, подошел к кафедре

и сказал: «Ну, что ж, «бороды» не пришли — обойдемся без них»,— и начал рассказывать, для чего он устроил выставку своих работ.

Когда он кончил говорить, кто-то из молодых ребят, стоявших у стены, крикнул примерно следующее: «Владимир Владимирович, наплевать на то, что «бороды» не пришли. Вы наш поэт, поэт молодежи, и мы вас очень любим». Потом он читал свою поэму «Во весь голос». Это было 1 февраля. В конце марта отец возвращается из колхоза. Утром 14 апреля звонит телефон. Мама поднимает трубку, бледнеет и говорит: «Володя застрелился». Звонила наша бывшая домашняя работница — соседка Маяковского по квартире в Лубянском проезде. Ужас беспредельный. Я плачу. Мама каменеет. Отец немедленно едет туда. Возвращается черный. И целый день звонит телефон, мама отвечает: «Да, правда, сегодня утром». Все звонят нам потому, что, если Ольга Викторовна сказала, значит, правда. Вечером мы идем на Гендриков переулок — его уже перевезли туда. Он лежит в своей комнате на кушетке, покрытый пледом по грудь, а на груди роза, и только поэтому приходится верить, что он мертвый. Мы сидим в соседней комнате, придавленные безмерным горем. Это были не только потрясение и горечь потери великого поэта и близкого друга, но и какое-то непонятное ощущение надвигающегося ужаса. Маяковский раньше других почувствовал ложь и увидел то, во что превращается «светлое будущее», в которое он глубоко верил и ради которого становился «на горло собственной песне». Он не мог больше жить.

Потом мы все дни были на улице Воровского, стояли в почетном карауле. Отец выступал на траурном митинге. Потом был долгий путь в крематорий по улицам, заполненным толпами людей. Люди были даже на крышах домов. Толпа у крематория, через которую с трудом удается провести родных и близких. Потом конец и страшная тоска. Отец бросается в работу. Выходит первое издание его книги «Дэн Ши-хуа. Био-интервью» (М., 1930. 392 с.). Ее переиздают, переводят и издают на немецком, английском, польском и чешском языках. Он уезжает опять в колхоз до сентября, а в декабре едет в Германию.

В следующий 1931 год он с перерывами в Германии. Делает доклад в ряде городов «Писатель и социалистическая деревня», знакомится с героями своей будущей книги «Люди одного костра»: Брехтом, Хартфильдом, Пискатором, Вольфом, Эйслером, Бехером, Графом, во время краткого заезда в Данию с Мартином Андерсеном-Нексе. Публикует очерки о поездках в газетах и журналах. В 1931 году выходит вторая книга колхозных очерков «Тысяча и один трудодень» (М.,1931. 256 с.). Выбранные очерки из этой и первой книги «Вызов» переводят на немецкий и выпускают под названием «Хозяева полей» («Feld-Herren»). В этом же году по инициативе Третьякова создается писательская бригада для радиорепортажей с Красной площади в праздничные дни. Третьяков ее бригадир. Он пишет партитуры передач, но не тексты. Тогда еще это был настоящий радиорепортаж — участники, как вспоминает Лев Кассиль, импровизировали, до визирования еще не дошло. Но каждая передача шла под знаком какой-нибудь темы. Так, например, в одну из передач, кажется майскую 1935-го, была включена запись речи К. Э. Циолковского, сделанная заранее. Перед каждой передачей отец ужасно волновался и, бывало, терял голос. Тогда принимались срочные меры, кажется, помогало глотание сырых яиц. Передачи он вел до самого 1937 года.

В 1932-м после поездки в Сибирь пишет очерки, посвященные Ангаро-Енисейской проблеме и выпускает книгу «Страна А-Е» (М., 1932. 161 с.).

С 1934-го по 1935 год он редактор русского издания журнала «Интернациональ-

ная литература», одновременно сотрудничает в немецкой редакции этого журнала. В июне 1934 года он один из организаторов Всесоюзного съезда очеркистов. В августе — участник Первого съезда писателей, его выступление посвящено международному сотрудничеству писателей. Протоколы съезда вышли под его редакцией. После съезда писателей вместе с моей матерью сопровождает иностранных писателей в их поездке по Союзу. Он опекает немецких писателей (Граф, Пливье, Херцфельде, Бехер, Толлер, Отвальд, Бредель, Шарер и др.). Моя мать подружилась в поездке с испанцами Марией-Терезой Леон и Рафаэлем Альберти и датской писательницей Карин Михаэлис. Мария-Тереза предложила маме погадать по руке и сказала: «Ах, Ольга, когда тебе будет 42 года, в твоей жизни будет ужасная трагедия». Сорок два года маме исполнилось в 1937 году...

Итак, осталось четыре года творческой жизни (а может быть и физической — 10 лет без права переписки означало тогда расстрел) моего отца. За эти годы он опубликовал пять книг: «Тысяча и один трудодень» (М., 1934. 144 с.); «Эпические драмы. Бертольт Брехт» (М.— Л., 1934. 184 с. Перевод С. М. Третьякова); «Люди одного костра. Литературные портреты». (М., 1936. 268 с.); «Джон Хартфильд» (М., 1936. 80 с. Монография, написанная вместе с С. Телингатором); «Страна-перекресток. 5 недель в Чехословакии».(М., 1937. 176 с.).

И вот он наступил, этот страшный 37 год.

Летом отец ложится в кремлевскую больницу на обследование. У него тяжелое нервное расстройство, расшатавшее весь организм. 26 июля его арестовывают в больнице. Меня нет в Москве, и я не присутствовала при обыске. Об этом мне потом расскажет мама. Ее забирают 5 ноября, но она выживает и возвращается ко мне через 17 лет — девять с половиной лет в лагере (5 по приговору и четыре с половиной по особому распоряжению во время войны). Потом, с 1946-го по 1951 год работает вольнонаемной в поликлинике Княжпогоста, Александровска и, наконец, почтальоном в Переславле-Залесском. В 1951 году новый арест и вечная ссылка в Северном Казахстане. В 1954 году она полностью реабилитирована, возвращается в Москву, добивается реабилитации отца в 1956-м и начинает собирать его книги у друзей, статьи в Ленинской библиотеке, находит пьесу «Хочу ребенка!» в ЦГАЛИ в архиве Мейерхольда.

С 1937 по 1956 год книги моего отца лежали в спецхране библиотек, а имя его было проклято, как написал Бертольт Брехт в своем стихотворении «Непогрешим ли народ?», когда узнал о его гибели. Брехт, первым переводчиком и популяризатором которого был Третьяков, называл его своим учителем, и стихотворение так и начинается:

Мой учитель Третьяков,
Огромный, приветливый,
Расстрелян по приговору суда народа.
Как шпион. Его имя проклято.
Его книги уничтожены. Разговоры о нем
Считаются подозрительными. Их обрывают.
А что, если он невиновен?

За все это время у нас не было выпущено ни одной книги о нем, а сборник воспоминаний уже около 15 лет лежит в иркутском издательстве. С переизданием его работ дело обстояло также трудно: вышел только один сборник избранных произведений в 1962 году в издательстве «Советский писатель» и сборник пьес в 1966-м в издательстве «Искусство».

Зато в других странах, где интерес к нашему искусству 20-х годов велик и сейчас, Третьякова не забыли и переиздают заново переведенный его документальный роман о китайском студенте «Дэн Ши-хуа» (в 1952-м в ФРГ, в 1958-м в Польше, Чехословакии и ГДР, в 1960-м в Венгрии). В 1972 году к 80-летию С. М. Третьякова в ГДР выходит сборник его произведений, куда входят стихи, пьесы, колхозные очерки и статьи в переводе Фрица Мирау, а в ФРГ — сборник статей, очерков и литературных портретов (из книги «Люди одного костра») в переводе Карлы Хильшер. В 1975 году в ГДР в переводе Фрица Мирау выпущены две пьесы «Рычи, Китай!» и «Хочу ребенка!». Перевод Фрица Мирау последней пьесы второй, первый перевод в 30-е годы был сделан для Брехта, которому пьеса очень понравилась, Эрнстом Хубе. Поставить ее Брехт не смог — в Германию пришел фашизм, и Брехт эмигрировал в США. В этом, втором, переводе пьесу «Хочу ребенка!» поставил в 1980 году прогрессивный режиссер Гюнтер Бальхаузен на сцене Городского театра в Карлсруэ (ФРГ). В 1983-м в ГДР ее поставили студенты театрального факультета в студенческом театре Университета им. Гумбольдта (Берлин).

В 1985-м в ГДР выходит книга «Gesichter der Avantgarde» — «Лица авангарда», она содержит литературные портреты, статьи и письма С. М. Третьякова к Бертольту Брехту, Оскару Марии Графу и Гансу Эйслеру, хронику жизни и творчества С. М. Третьякова, составленную Фрицем Мирау. Большинство переводов литературных портретов и статей также сделаны Фрицем Мирау.

И, наконец, в январе 1989 года, в котором исполняется 50 лет со дня смерти С. М. Третьякова, в Англии в университете города Бирмингем состоялась международная конференция «Третьяков — учитель Брехта», пять дней шла пьеса «Хочу ребенка!», поставленная режиссером Робертом Личем. Играли студенты-дипломники факультета театрального искусства. Спектакль пользовался большим успехом. Кроме того, участникам конференции была показана документальная картина «Соль Сванетии», которая вызвала большой интерес у зрителей.

В 1990 году Роберт Лич поставил пьесу «Хочу ребенка!» в московском театре-студии «У Никитских ворот». Кроме того, он собирается еще поставить пьесу Третьякова «Противогазы», издать сборник его пьес и выпустить о Третьякове книгу.

К нам Третьяков начинает возвращаться с 1987 года — в майском № 20 журнале «Огонек» в разделе поэтическая антология «Русская муза XX века» опубликованы его стихи, во втором номере журнала «Современная драматургия» за 1988 г.— его пьеса «Хочу ребенка!» и вот теперь эта книга.

Т. С. ГОМОЛИЦКАЯ-ТРЕТЬЯКОВА

КОММЕНТАРИИ

«Дэн Ши-хуа». Публикация была начата отрывками, напечатанными в журналах «Новый Леф» (1927, № 7; 1928, № 3 и 7) и «Молодая гвардия» (1928, № 11) и в газете «Рабочая Москва» (9 — 30 июня, 7 — 10, 12 — 13, 15, 18 — 19, 21 — 24, 26 — 27 июля, 3, 5, 10 — 12 и 14 августа 1928 года). В 1928 году отдельной брошюрой в издательстве «Рабочая Москва» была опубликована глава «Свадьба Дэн Ши-хуа». Полностью было опубликовано отдельным изданием в 1930 году и переиздавалось (с некоторыми изменениями) в 1931, 1932, 1935 и 1962 годах.

В 1928 году публиковались отрывки предназначенной для юношества переработки книги («Пионер», 1928, №№ 2—6; «Пионерская правда», 1928, №№ 64—77, 11 августа — 26 сентября — под заглавием «Маленький Дэн»). В 1931 году она вышла отдельным изданием под названием «Детство Дэн Ши-хуа».

В 1933 году появилось второе издание.

В 1932 — 1936 годах появились переводы «Дэн Ши-хуа» на немецкий, английский (два издания — в Англии и США), чешский и польский языки. В 1958 — 1960 гг. появились новые переводы в Польше, Чехословакии, ГДР, Венгрии. В ФРГ повторный перевод был опубликован в 1952 г.

О ходе работы над книгой и о значении жанрового обозначения ее «био-интервью» автор писал в послесловии («Как возникла эта книга») ко второму изданию юношеского варианта книги («Детство Дэн Ши-хуа»):

«Я предложил своему студенту Дэн Ши-хуа написать его биографию и стал его подробно расспрашивать, выясняя каждую мелочь в его жизни. Такой способ составлять статью — из расспросов человека — называется по-газетному интервью. Но здесь было интервью не о маленьком каком-нибудь эпизоде, а о целой человеческой биографии. Вот почему книгу я называю «био-интервью».

Почти полгода проработали мы со студентом, занимаясь по многу часов в день. Он плохо и медленно говорил по-русски, и там, где трудно было рассказать, он рисовал. А когда материал был собран, я его обработал и превратил в книгу «Дэн Ши-хуа».

Работа над этой книгой относится к годам, когда в советской литературе происходила оживленная полемика между сторонниками «показа живого человека» и приверженцами «литературы факта». Показательны в этом отношении те изменения, которые внес автор в предисловие к «Дэн Ши-хуа» в издании 1935 года. Если ранее, в 1-м и 2-м изданиях, он выступал как ожесточенный противник «выдумки» в литературе, в духе лефовской платформы («Ненавистна выдуманная повесть и сочиненный роман. Почетное когда-то звание «сочинителя» звучит в наше время оскорбительно. Настоящий сегодняшний литератор — «открыватель нового материала», бережный, не искажающий формовщик его»), то в предисловии к изданию 1935 года, воспроизводимом в настоящем однотомнике, мы находим уже отказ от ортодоксальной лефовской позиции непризнания героя, созданного «из особенностей разных наблюдаемых людей».

«Дэн Ши-хуа» печатается по изданию 1962 года.

В подстрочных примечаниях даются краткие сведения об упоминаемых в тексте китайских политических деятелях и событиях, уточнения некоторых ошибочных сведений, вкравшихся в рассказ Дэн Ши-хуа. Транскрипция китайских имен и географических названий в тексте оставлена такой, как она была у автора и была общепринятой в те годы. Некоторые транскрипции сычуанца Дэн Ши-хуа расходятся не только с принятыми сейчас написаниями, но и с транскрипцией тех лет. В этих случаях в примечаниях после авторской транскрипции в скобках дается общепринятая сейчас.

«Люди одного костра». Первая публикация в кн.: С. Третьяков. Люди одного костра (Литературные портреты). М., 1936.

Вторая публикация в книге: С. Третьяков. Дэн Ши-хуа. Люди одного костра. Страна-перекресток. М., Советский писатель, 1962. Во второй публикации отсутствуют очерки «Теодор Пливье» и «Грегор Гог». Печатается по тексту первой публикации.

Стр. ...*Это Э. Э. Киш, это Э. Толлер...*

Эгон Эрвин Киш (1885 — 1948), чешско-австрийский писатель, мастер художественной публицистики. Член КП Австрии с 1918 г.

Эрих Вайнерт (1890 — 1958), немецкий поэт (ГДР), автор политико-сатирических и антифашистских стихов, переводчик Лермонтова, Шевченко и др. В 1933 — 1946 гг. в эмиграции. Член КПГ с 1929 г.

Людвиг Ренн (1889 — 1971), немецкий писатель (ГДР), автор социально-критических и автобиографических романов «Война» (1928) и «После войны» (1930), обличающих милитаризм. Член КПГ.

«Джонни» — Джон Хартфильд (1891 — 1968), художник-график, фотомонтажер.

Стр. ... ...*появляется Бэстер Кэйтон.* Современная транскрипция — Бестер Китон — знаменитый американский комик немого кино 20-х годов (1896 — 1966), в 30-е — первой половине 40-х годов снялся в ряде звуковых фильмов, потом из-за тяжелой болезни не снимался до начала 50-х годов. Последний фильм с его участием — «Смешное путешествие на пути к форуму» (1966).

Стр. ... *Об изобретении фотомонтажа художник Георг Гросс...*

Георг Гросс (1893 — 1959), настоящие имя и фамилия Георг Эренфрид. Немецкий график и живописец, дадаист (дадаизм — от французского слова dada — конек, деревянная лошадка — литературно-художественное течение в 1916 — 1920 годах, идеологически выражавшееся в протесте против ужасов империалистической войны, социальных и эстетических ценностей, ее оправдывающих, заимствовавшее у кубизма технику коллажа, у футуристов страсть к манифестам и публичным эпатажным действиям, у абстракционизма спонтанность творчества), выступавший против милитаризма и буржуазного строя. Член КПГ с 1918 г. Автор графических циклов, выполненных в острогротескной манере «лица господствующего класса».

Стр. ... *...совместно с радикальным литератором Куртом Тахольским...*

Курт Тухольский (1890—1935) — немецкий писатель-публицист. С 1933 г. жил в эмиграции.

«Берт Брехт» — Бертольт Брехт (1898 — 1956), немецкий драматург, режиссер, поэт. В 1933 — 1947 годах находился в эмиграции: с 1948-го — в ГДР, где создал и возглавил театр «Берлинер ансамбль».

Стр. ... *...он тренировал целое поколение актеров, Карола...*

Карола Нейэр (1900 — 1942), немецкая актриса театра и кино, играла в фильме «Трехгрошовая опера». В 1933 году эмигрировала в СССР. В 1937 г. незаконно репрессирована органами НКВД, в 1942 (?) умерла в лагере. Посмертно реабилитирована.

Хелена Вайгель (1900 — 1971), немецкая (ГДР) актриса, жена Б. Брехта. После его смерти возглавляла его театр «Берлинер ансамбль». Исполняла женские роли в «Матери», «Мамаше Кураж», «Кавказском меловом круге», «Кориолане» и др. Дважды привозила эти спектакли на гастроли в Москву.

Эрнст Буш (1900 — 1980), немецкий (ГДР) певец, исполнитель революционных и антифашистских песен, с 1950 г. актер театра «Берлинер ансамбль». Был в фашистских лагерях и тюрьмах.

Стр. ... *Осип Брик тонко подметил...*

Осип Максимович Брик (1888 — 1945), писатель, литературовед, теоретик группы ЛЕФ (Левый фронт искусства), друг В. В. Маяковского.

Первая публикация очерка «Берт Брехт» в кн.: Б. Брехт. Эпические драмы. Пер. С. Третьякова. М.— Л., 1934.

«Шесть крахов»

Стр. ... — *Товарищ Пискатор...*

Эрвин Пискатор (1893 — 1966), немецкий режиссер театра и кино. С 1933 г. жил в эмиграции — в СССР, Франции, США. С 1962 г. руководитель театра «Фрайс Фольксбюне» в Западном Берлине.

Стр. ... *Они говорили вслед Леонгарду Франку...*

Леонгард Франк (1882 — 1961), немецкий писатель (ФРГ). С 1933 по 1950 жил в эмиграции. Автор сборника новелл «Человек добр» (1917), романов «Шайка разбойников» (1914), «Оксенфуртский мужской квартет» (1927), «Ученики Иисуса» (1949) и др.

Стр. ... *Вот слух: архитектор Гроппиус строит...*

Вальтер Гроппиус (1888 — 1969), немецкий архитектор, дизайнер и теоретик. Основоположник функционализма, разрабатывал рационалистические принципы в архитектуре и дизайне.

Стр. ... *...позыв в свидетели против Пискатора...*

Александр Федорович Трепов (1862 — 1928), Председатель Совета министров в 1916 г. Боролся с влиянием Г. Е. Распутина.

Анна Александровна Вырубова (1884 — 1929), последняя фрейлина императрицы Александры Федоровны, посредница между царской семьей и Г. Е. Распутиным. Очерк «Шесть крахов» впервые напечатан в журнале «Октябрь», 1935, № 1.

«Теодор Пливье»

Теодор Пливье (1892 — 1955), немецкий писатель. С 1933 г. жил в эмиграции. Первая публикация очерка «Теодор Пливье» была в журнале «Интернациональная литература», 1936, № 1. Вторая публикация в кн.: С. Третьяков. Люди одного костра (Литературные портреты). М., 1936. Печатается по тексту книги.

«Разговор с Бехером»

Иоганнес Роберт Бехер (1891 — 1958), немецкий писатель и государственный деятель ГДР. С 1933 г. по 1945 г. жил в эмиграции.

Первая публикация очерка о Бехере в журнале «Литературный критик», 1934, № 2. Вторая публикация в кн.: С. Третьяков. Люди одного костра. М., 1936. Третья публикация в кн.: С. Третьяков. Дэн Ши-хуа. Люди одного костра. Страна-перекресток. М., 1962. Печатается по тексту второй публикации.

«Товарищ Мартин»

Мартин Андерсен-Нексе (1869 — 1954), настоящая фамилия Андерсен, Нексе — псевдоним, член КП Дании с 1919 г.

Стр. ... *Понтоппидан — вот их классик...*

Хенрик Понтоппидан (1857 — 1943) — датский писатель, автор социально-критической психологической трилогии «Обетованная земля» (1891 — 1895), философских романов «Счастливчик Пер» (1898 — 1904), «Царство мертвых» (1912 — 1916). В 1917 г. получил Нобелевскую премию.

«Ганс Эйслер»

Ганс Эйслер (1898 — 1962), немецкий композитор, педагог, общественный деятель (ГДР). С 1933 г. жил в эмиграции.

Стр. ... Близко к танцу Валески Герт.

Валеска Герт (1892 — 1978), немецкая эстрадная актриса, знаменитая в 20-е годы своими эксцентрическими танцами и песнями, снималась в фильме Пабста, экранизировавшего «Трехгрошовую оперу» Б. Брехта — К. Вайля, и в фильме Ф. Феллини «Джульетта и духи».

Стр. ... *...писать песню для фильма Йориса Ивенса...*

Йорис Ивенс (1898 — 1989), нидерландский кинорежиссер-документалист. Первые фильмы «Мост», «Дождь», «Зюдер-Зе» (1928 — 1930) снимал о Нидерландах. В 1932 г. снял фильм о строителях Магнитогорска «Песнь о героях», для которого Эйслер написал музыку к песне на стихи С. Третьякова. В 1933 г.—

фильм о классовой борьбе бельгийских горняков, в 1937 г.— о борьбе испанского народа с фашизмом, в 1942 г.— о морском конвое, плывущем в Мурманск, снимал фильмы в Индонезии, на Кубе, в Италии, в Чили. С 1970 года по конец 80-х годов работал в Китае.

«Фридрих Вольф»

Фридрих Вольф (1888 — 1953), немецкий драматург (ГДР). Автор пьес: «Матросы из Катарро» (1930), «Профессор Мамлок» (1934), «Томас Мюллер» (поставлена в 1954 г.). Очерк «Фридрих Вольф» впервые был опубликован в ж. «Интернациональная литература», 1933, № 6.

«Оскар Мария Граф»

Оскар Мария Граф (1894 — 1967), немецкий писатель. С 1933 г. в эмиграции, с 1938 — в США.

Стр. ... Эрих Мюзам во весь голос кричал...

Эрих Мюзам (1878 — 1934), немецкий писатель-антифашист. Автор бунтарских сатирических пьес, стихов, посвященных борьбе рабочего класса, публицистических статей. Умер в нацистском концлагере.

«Король бродяг» (Грегор Гог)

Даты жизни Грегора Гога не установлены.

Стр. ... Там есть дом, выстроенный Бруно Таутом...

Бруно Таут (1880 — 1938), немецкий архитектор. Представитель функционализма, применял в строительстве стекло и бетон.

Стр. ... *...гнуться в стиле Кетэ Кольвиц.*

Кетэ Кольвиц (1867 — 1945), немецкая художница-график и скульптор.

Стр. ... *показавший Германии Кандинского, Гросса, Мазерееля.*

Франц Мазереель (1889 — 1972), бельгийский график и живописец. Член Компартии Бельгии. Кн. С. Третьякова «Страна-перекресток. Литературные портреты». М., 1936. Вышла в его оформлении.

«Страна-перекресток». Первая публикация под заглавием «Будемте знакомы» (Заметки о поездке в Чехословакию) в ж. «Красная новь», 1936, №№ 1 и 2. Отдельным изданием, со значительными дополнениями вышло: С. Третьяков. Страна-перекресток (Пять недель в Чехословакии). М., 1937. Последнее издание в сб.: С. Третьяков. Дэн Ши-хуа. Люди одного костра. Страна-перекресток. М., Советский писатель, 1962.

Стр. ... *...артисты Восковец и Верих, исполняя песню...*

Ян Верих (1905 — 1980), чехословацкий актер театра и кино, сценарист, пи-

сатель. Народный артист ЧССР (1963). Один из основателей «Освобожденного театра» (1927). Выступал вместе с Йиржи Восковцем (родился в 1905 г.) и писал с ним скетчи. С 1938 — 1945 оба находились в эмиграции. В 1945 г. вернулись на родину. Восковец в 1948 году, женившись на американке, уехал в США.

Стр. ... *...говорит о своей родине писатель Карел Чапек...*

Карел Чапек (1890 — 1938), чешский писатель, драматург. Лучшие произведения — фантастический роман «Война с саламандрами» (1936), пьесы «Белая болезнь» (1937), «Мать» (1938).

...в горячих гейзерах Карлебада и Мариенбада...

Карлсбад — бывшее немецкое название города ЧССР Карловы-Вары, Мариенбад — бывшее немецкое название города ЧССР Марианске-Лазне.

Хенни Портен (1890 — 1960), немецкая киноактриса, режиссер (ГДР).

Стр. ... как, например, Хальчицкий...

Петр Хельчицкий (около 1390 — около 1460), философ, идеолог умеренных таборитов в Чехии. Выступал за создание (отрицая революционные методы) общества, основанного на равенстве и обязательном труде.

Стр. ... *...Юнгман, переводчик Гете...*

Йозеф Юнгман (1773 — 1847), профессор (с 1799) языка и литературы в гимназиях Литомержице и Праги. Автор труда по истории чешского языка, литературы и культуры.

...поэт Маха...

Карел Маха (1810 — 1836), чешский поэт. Представитель революционного романтизма.

Стр. ... *Сельские романы Божены Немцовой...*

Божена Немцова (1820 — 1862), чешская писательница. Автор реалистических рассказов и повести из крестьянской жизни.

Сатирик Гавличек-Боровский...

Карел Гавличек-Боровский (1821 — 1856), чешский поэт, публицист, политический деятель.

Поэт и журналист Ян Неруда, поэт Врхлицкий, романист Ирасек...

Ян Неруда (1834 — 1891), чешский писатель, автор лирических сборников «Книги стихов» (1868), «Баллады и романсы» (1883), социальных повестей и рассказов из жизни городских низов.

Ярослав Врхлицкий (1853 — 1912), чешский поэт, автор поэтического сборника «Эпопея человечества».

Алоис Ирасек (1851 — 1930), чешский писатель, автор исторических романов.

Стр. ... *...как, например, у Крамаржа...*

Карел Крамарж (1860 — 1937), глава правительства Чехословакии в 1918 — 1919 гг., сторонник интервенции в Советскую Россию.

Стр. ... *...Богемский лесничий Иосиф Рессель...*

Современная транскрипция — Йосеф Рессель (1793 — 1857), чехословацкий изобретатель. Предложил новый судовой двигатель — грибной винт (патент 1827).

...создатель дуговой лампы Кржижек...

Современная транскрипция — Кржижик Франтишек (1847 — 1941), чешский электротехник. Изобрел экономичную дуговую лампу, усовершенствовал железнодорожную сигнализацию и блокировку (1873).

Стр. ... *Учитель Плицка сделал фильм...*

Карел Плицка (родился в 1894 г.), чехословацкий режиссер, сценарист, фотограф. Народный артист ЧССР (1968). Лучшее произведение — «Земля поет» (1933, приз Международного кинофестиваля в Венеции). Видимо, речь идет именно об этом фильме.

Стр. ... *...и вспоминаются мне другие имена...*

Николай Максимович Тулайков (1875 — 1938), советский агроном и почвовед, академик АН СССР (1932) и ВАСХНИЛ (1935). Незаконно репрессирован в 1937 г., погиб в 1938 г. Посмертно реабилитирован.

Николай Васильевич Цицин (родился в 1898 г.), советский ботаник и селекционер, академик АН СССР (1939) и ВАСХНИЛ (1938).

Стр. ... *Ты ошибся, товарищ Ольбрахт...*

Иван Ольбрахт (1882 — 1952), чешский писатель. Один из основателей КП Чехословакии (1921).

Стр. ... *...с Матезиусом, лучшим переводчиком с русского...*

Вилем Матезиус (1882 — 1945), чешский языковед. Глава Пражского лингвистического кружка. Один из основоположников функциональной лингвистики.

Питер Илемницкий пишет романы...

Современная транскрипция — Петер Илемницкий (1901 — 1949), словацкий писатель. Член КП Чехословакии с 1921 г.

Стр. ... *В их лице Гашек...*

Ярослав Гашек (1883 — 1922), чешский писатель-сатирик, автор антимилитаристического романа «Похождения бравого солдата Швейка во время мировой войны».

«Будетляне. О товарищах по авангарду 20-х годов»

«Вместе с Маяковским». Печатается по публикации в сб.: «Маяковский в воспоминаниях современников». М., «Государственное издательство художественной литературы». 1963, с. 231—235.

Написано было по просьбе В. А. Катанян для 5 тома собрания сочинений В. В. Маяковского, который готовился к выходу в 1937 г. Этот том содержал помимо других вещей совместные работы Маяковского с его товарищами — Третьяковым, Асеевым, Кирсановым, Незнамовым. В пятом томе этого нет, так как к моменту корректуры Третьяков был арестован.

«Велимир Хлебников».

Опубликовано в читинской газете «Дальневосточный путь» 26 июля 1922 г., № 194. Печатается по тексту газетной публикации с исправлением стихотворных цитат по позднейшим изданиям Хлебникова.

Стр. ... *28 июня в Крестцах...*— Хлебников умер в деревне Санталово Новгородской губернии.

Стр. ... *По происхождению из Астрахани.*— Хлебников родился в селе Малые Дербеты Астраханской губернии.

Стр. ... *Студент Питерского университета.*— Хлебников учился сначала в Казанском, затем в Петербургском университете (не окончил).

Стр. ... *«Бык» и «бок» — это слова одного корня...* — Рассуждение из статьи Хлебникова «Учитель и ученик» (1912).

Стр. ... *«О, рассмейтесь, смехачи!»* — Стихотворение «Заклятие смехом» (1908 — 1909).

Стр. ... *«Словом дивных застрекочет...»* — Из стихотворения «Черный любирь», опубликованного в 1913 г.

Стр. ... *«Бобэоби пелись губы...»* — Из стихотворения, начинающегося этой строчкой (1908 — 1909).

Стр. ... *«Уж белохвост...»*— Из поэмы «И и Э» (1911 — 1912).

Стр. ... *«Взлететь в страну из серебра...»* — Из стихотворения «Гонимый — кем, почем я знаю?» (1912).

Стр. ... *«Крылышкуя золотописьмом...»* — Стихотворение «Кузнечик» (1908 — 1909).

Стр. ... *«Иа ио цолк».*— Из драматизированного стихотворения «Ночь в Галиции» (1913).

Стр. ... *«Я смеярышня смехочеств...»* — Из стихотворения «Черный любирь».

Стр. ... *Взяли от него произведение «Ночь в окопе»...*— Поэма «Ночь в окопе» передана в апреле 1920 г. в Харькове С. Есенину. Издана в марте 1921 в издательстве «Имажинисты».

Стр. ... *...устроили публичное «посвящение Хлебникова в имажинисты»...*— Подробно рассказывает об этом А. Мариенгоф в книге воспоминаний «Роман без вранья» (1927).

Стр. ... *...своего приятеля П.*— По всей видимости, речь идет о поэте Григории Петникове.

«Бука русской литературы». Об Алексее Крученых. Публиковалось впервые в газете «Дальневосточный телеграф». 23 июня 1922 г. Печатается по тексту в книге «Жив Крученых!» М., 1925, с. 3—17.

Алексей Елисеевич Крученых (1886—1968). Начинал как художник, участвовал в выставке, организованной Николаем Кулибиным в 1909 г. в Петербурге. Ранние стихи под влиянием символистов. В 1912 году вместе с В. Маяковским присоединился к футуристу В. Хлебникову, вместе с которым написал поэму «Игра в аду», диаволиада в стиле народного лубка. Участвовал в манифесте кубофутуристов «Пощечина общественному вкусу» и других манифестах авангарда. В декабре 1913 г. в Петербурге поставлена опера «Победа над солнцем» — автор текста Крученых, пролога Хлебников, музыка Матюшина, оформление Малевича. 1914 г.— первая книга о В. Маяковском. 1916 — 1921 г. в Тбилиси и Баку — член группы «41» вместе с Ильей Зданевичем (1894 — 1975) и Игорем Терентьевым (1892 — 1941). С августа 1921 г. в Москве, публикует свои стихи в журналах «ЛЕФ» и «Новый ЛЕФ» и в собственных стеклографических изданиях — стихи, памфлеты, исследования литературного языка.

«Мейерхольд. Четыре встречи». Первая публикация в сборнике к 5-летнему юбилею театра Мейерхольда «Мейерхольд». Тверь. Изд-во «Октябрь». 1923, с. 32, вторая публикация в кн.: С. Третьяков. Слышишь, Москва? Противогазы, Рычи, Китай! М., изд-во «Искусство», 1966, с. 162—165. Печатается по изданию 1923 г.

Всеволод Эмилиевич Мейерхольд (1874 — 1940), советский режиссер, новатор, теоретик театра. Незаконно репрессирован в 1939 году, посмертно реабилитирован в 1955 г.

«Эйзенштейн — режиссер-инженер». Первая публикация в журнале «Советский экран». 1926. № 1, с. 6. Вторая публикация в кн.: «Потемкин на экране мира». М., 1968, с. 295. Печатается по первой публикации.

Сергей Михайлович Эйзенштейн (1898 — 1948), советский кинорежиссер, теоретик искусства и педагог.

«Перегибайте палку» (О театре Игоря Терентьева). Печатается по единственной публикации в журнале «Новый ЛЕФ». 1928, № 5, с. 33—34.

Игорь Герасимович Терентьев (1892 — 1941) — начинал как поэт-футурист. В 1918 г. он жил в Тифлисе и под влиянием А. Крученых писал «заумные стихи». В театре начал работать в 1924 г. в Ленинграде, поставив пьесу «Джон Рид» в Красном театре, а в дальнейшем стал руководить театром Ленинградского дома печати, где среди других постановок были «Ревизор» и инсценировка романа «Наталья Тарнова», с которыми он приезжал на гастроли в Москву в 1928 г. В планы будущих постановок входили «Война и мир» Л. Толстого и «Хочу ребенка!» С. Третьякова. Ни один из спектаклей не был осуществлен. Терентьев изложил свою концепцию постановки этих пьес в статьях: «Семейно-исторический роман на сцене». Новый ЛЕФ, 1928. № 10, с. 33—36 и «Хочу ребенка!». План постановки. Новый ЛЕФ, 1928. № 12, с. 32—35.

Незаконно репрессирован в 1937 г., посмертно реабилитирован.

«Родченко».

Александр Михайлович Родченко (1891 — 1961), художник, график, живописец, фотограф, фотомонтажер.

Печатается по машинописному тексту из архива, собранного Ольгой Викторовной Третьяковой. Установить источник публикации не удалось.

«Работа Виктора Пальмова». Печатается по тексту кн.: Н. Асеев и С. Третьяков. Художник Пальмов. 1922. Чита, с. 11 — 16.

Виктор Никанорович Пальмов (1888 — 1929). В 1910 г. учился в Высшем художественном училище в Пензе, в 1910 — 1914 гг. учился в Высшей школе живописи, зодчества и ваяния в Москве, в которой в 1914 г. учился В. В. Маяковский. В 1917 г. уехал на Дальний Восток. Вместе с Давидом Бурлюком (1882—1967) в 1920 г. поехал в Японию с выставкой своих и Бурлюка картин. С 1921 по 1922 был директором Художественно-промышленной школы в Чите. В конце 1922 г., после присоединения Дальневосточной республики к РСФСР, вернулся в Москву, работал в ЛЕФе. 1925 — 1929 г.— профессор Академии художеств в Киеве.

СОДЕРЖАНИЕ

Составитель
Татьяна Сергеевна Гомолицкая-Третьякова

Сергей Михайлович Третьяков

СТРАНА-ПЕРЕКРЕСТОК

Редактор *И. Ю. Ковалева*
Художественный редактор *В. В. Медведев*
Технический редактор *Е. Л. Воронько*
Корректор *Т. В. Малышева*

ИБ № 7469

Сдано в набор 01.10.90. Подписано к печати 20.03.91.
Формат 60×90 1/16. Бумага офс. № 2.
Литературная гарнитура. Офсетная печать.
Усл. печ. л. 36. Уч.-изд. л. 43,08.
Тираж 100 000 экз. Заказ № 680. Цена 3 р. 60 к.
Ордена Дружбы народов издательство «Советский писатель»,
121069, Москва, ул. Воровского, 11.
Тульская типография Государственного комитета СССР по печати,
300600, г. Тула, проспект Ленина, 109

Третьяков С. М.

Т 66 Страна-перекресток: Документальная проза.— М.: Советский писатель, 1991.—576 с.

ISBN 5—265—01203—6

Сергей Михайлович Третьяков (1892 — 1939) — соратник В. Маяковского, один из теоретиков ЛЕФа (Левый фронт искусств), профессор Пекинского университета в 1924 — 1925 гг.— широко печатался в 20 — 30-е годы, затем был обречен на неизвестность, впоследствии реабилитирован.

В этой книге читатель найдет самые широкие картины китайской действительности 20-х годов («Дэн Ши-Хуа»), а также литературные портреты тех людей, с которыми был знаком С. Третьяков,— В. Маяковского, В. Хлебникова, Вс. Мейерхольда, С. Эйзенштейна, И. Бехера, Б. Брехта, М. Андерсена-Нексе и других.

$$Т \frac{4702010201—134}{083(02)—91} 138—90$$

ББК 84 Р7